Д.Л. МОРДОВЦЕВ

Scan Kreyder - 17.11.2018 - STERLITAMAK

БИБЛИОТЕКА
исторической
ПРОЗЫ

Д.Л. МОРДОВЦЕВ

Собрание сочинений

в четырнадцати томах

МОСКВА
«ТЕРРА» —«TERRA»
1995

Д.Л. МОРДОВЦЕВ

Собрание сочинений

Том
ВОСЬМОЙ

МОСКВА
«ТЕРРА» —«TERRA»
1995

ББК 84Р1
М79

Оформление художника
Б. ЛАВРОВА

Мордовцев Д. Л.
М79 Собрание сочинений: В 14 т. Т. 8. — М.: ТЕРРА, 1995. — 575 с. — (Библиотека исторической прозы).
ISBN 5-300-00242-9 (т. 8)
ISBN 5-300-00170-8

В восьмой том Собрания сочинений включены историческая монография «Вспышки понизовой вольницы в 1812 г.», повести «Беглый король», «Новые люди» и роман «Царь без царства».

М 4702010100-277 Подписное
А30(03)-95
ББК 84Р1
ISBN 5-300-00242-9 (т. 8)
ISBN 5-300-00170-8
© Издательский центр «ТЕРРА», 1995

Вспышки понизовой вольницы в 1812 году

ИСТОРИЧЕСКАЯ МОНОГРАФИЯ

I

В монографии о последних политических движениях южнорусского народа «Гайдамачина» мы по возможности выяснили ту аналогичность явлений, какая существовала в народных движениях южной России, собственно Украины, с Россиею восточной, между гайдамачиной, понизовой вольницей и пугачевщиной, и ту органическую связь, которою связывались в нечто единое и цельное движения народных масс обеих половин России. В них была одна душа, одно знамя. В числе понизовых добрых молодцев были и гайдамаки с Днепра. Днепровские же добрые молодцы, мешаясь в общем деле с поволжскими добрыми молодцами, участвуя нередко в одних и тех же шайках, были отчасти и подготовителями пугачевщины. Как те, так и другие говорили: «Мы тряхнем Москвою». В другом случае удалые добрые молодцы хвастались: «Мы Российское государство вверх дном поставим», или по идиомам южнорусской речи, на которой объяснялись добрые молодцы, — не вверх дном, а «до горы ногами» (чего им, конечно, не удалось). Элементы этих народных движений, самая закваска брожений не улегшихся народных сил, как оказывается, долго не выдыхались из характера русского народа, и брожение это ясно чуется еще в 1812 году. Какой-нибудь попович Ильин, как мы увидим ниже, хочет воскресить времена Стеньки Разина, в народе проявляется общее «озорничество», как тогда выражались, задор и «шумство». В публичных местах слышатся «необычные» угрозы, неизвестно к кому обращенные: мы-де вас переберем, мы-де до всех доберемся. А когда такое шумство проявляется в народе, естественно, — понизовая вольница, по-видимому вымершая, снова поднимает голову. Старые явления повторяются. Рассматривая такие исторические явления, как понизовая вольница, как все казачества на южных и восточных окраинах России, как Запорожская Сечь и как органическое выделение и продолжение ее — гайдамачина, рассматривая это всеобщее народное «шумство» с точки зрения общечеловечески-исторического развития, мы

не можем не прийти к убеждению, что все эти явления не что иное, как формы или видоизменение проявлений одной и той же силы, в которой совершается процесс исторического роста, что аналогические эти явления раньше прошли по всем фазисам развития на западе, что Запорожская Сечь, гайдамачина и понизовая вольница, только в некоторых иных формах и с своими наименованиями, были и в западной Европе, что и западная Европа видела и свое казачество, и свою понизовую вольницу, и свою гайдамачину, и даже свою пугачевщину. На Западе сечевики и удалые добрые молодцы носили название то мальтийских рыцарей, то храмовников, то меченосцев. У западных добрых молодцев были свои сечи, свои укрепленные места, свои «станы» и «притоны», какие были и у гайдамаков, где-нибудь на реке Синюхе, и у поволжских добрых молодцев, где-нибудь на волжском острове, в глухом буераке, в отдаленном степном урочище. Во всем этом видны явления одного и того же химического процесса горения или растения человеческих обществ, процессы отживания, гниения и разложения одних и тех же тел и возникновение из них новых, с другими проявлениями деятельности, только на Западе все это шло несколько иначе, чем у нас, на Востоке, как и все там шло не совсем так, как у нас, и не к тем приводило результатам, к каким приводит у нас. Таким образом, когда тогдашняя русская правительственная регламентация стала давить Запорожскую Сечь и в ней самой, как и во всех тогдашних казачествах, начался процесс отживания, горения, гниения или разложения, то от давимого и разлагающегося тела стали отделяться особые частицы, которые, вследствие унесенных ими из прежнего тела жизненных, еще не умерших начал, слагались в отдельные живые или только в полуживые организмы, а эти последние, полуживые или больные организмы в свою очередь силились воспроизвести, для укрытия себя, для рощения, питания и покоя, свои норы, трущобы и логовища. Эти норы на Западе назывались орденами (ордена тамплиеров, тевтонитов и все монашествующие и нищенствующие шайки западной понизовой вольницы), а у нас или гайдамацкими притонами, или разбойничьими станами, — наконец, просто «воровскими рощами». В эти станы и притоны, как и в Запорожскую Сечь, как и в рыцарские ордена, стекалось все недовольное существовавшими порядками, не уживавшееся с общею обрядовою, традиционною стороною жизни, или все пригнетенное, придавленное обстоятельствами, порой спившееся с кругу, порой не удовлетворяющееся

узостью круга рядовой пошлости и благонамеренной дюжинности, подобно тому, как и удалый добрый молодец Степан Разин, сын Тимофеевич,

Во казачий круг Степанушка не хаживал,
Он с нами, казаками, думу не думывал,
Ходил, гулял Степанушка во царев кабак,
Он думал крепку думушку с голытьбою[1].

Эти бродячие протестующие силы русского народа вызвали в народном творчестве целую литературу, которая вошла воспитательным и поучительным элементом в жизнь нескольких сот генераций русского народа как в XVII, так XVIII и даже XIX веке. Это та литература, которую противная протестующей стороне часть русского общества, то есть те, с которыми ни Степанушка, ни другие добрые молодцы не хотели «думать крепкую думушку» — назвали литературою «разбойною» или песням «разбойничьими», «удалыми». Литература эта до сих пор обращается в устах народа, и то, о чем он поет, и те удалые добрые молодцы, которых прославляет песня, составляют как бы гордость народа, его прошедшую славу, его собственную, прочувствованную всем народом историю. Для историка явление это составляет одно из таких исторических явлении прошедшей жизни русского народа, которое давно должно бы было вызвать особенно тщательную разработку условий народной жизни и событий, вызвавших это крупное явление. Что народ глубоко сочувственно относился к этому протестующему элементу, доказывается не только тем, что он создал целую литературу этого любимого им предмета, как создал «Илиаду» и «Одиссею», но и передал ее противной стороне, не протестующей. Благонамеренные и образованные классы русского общества не менее протестующей голытьбы восхищались этими разбойничьими песнями, и мы все пели и до сих пор поем их, как нечто всем родное и дорогое. Это уже освящает собой не только самое явление, вызвавшее народное творчество, но даже и самые факты, ставшие достоянием всего русского народа и потому получившие право на память истории. Вся Россия доныне поет, как народный гимн, знаменитую русскую песню:

Вниз по матушке по Волге,
По широкому раздолью...

---

[1] Голытьба, голь кабацкая — на восточной окраине России; голота, гольтепака — на южной.

Устами и сочувствием целой России освящена эта песня. Она как бы характеризует весь русский народ, всю Россию, как характеризует ее «камаринский мужик» в музыке Глинки, как «Partant pour la Syrie» характеризует дух француза, как «Wo ist des Deutschen Faterland» характеризует дух немца; чтобы показать Европе, какая в репертуаре русских народных песен наиболее русская, наиболее характеристичная и наиболее любимая, русский непременно пропоет «Вниз по матушке по Волге». А между тем эта песня — разбойничья, удалая. В ней воспевается все та же «вольная», «раздольная» Волга, все та же знаменитая «лодочка», в которой гуляла понизовая вольница и разбивала «суда», «бусы», «корабли» и «расшивы». На ней гребцы — все те же «ребята», все те же удалые добрые молодцы. Как устами и сочувствием целой России освящена эта песня, так этими же устами и народным сочувствием освящена вся разбойничья литература, весь цикл поэзии понизовой вольницы. Вот почему явление это, его видоизменения, его былая летопись и прославленные народом выразители этого явления, удалые добрые молодцы и их «атаманушки», должны непременно занять соответствующее им место в русской истории, как в истории западных народов заняли свои места удалые добрые молодцы — меченосцы, крестоносцы, тамплиеры, тевтониты, мальтийцы, иезуиты, как в истории южной России заняли подобающее им место запорожцы, а потом как их преемники гайдамаки. Обращаясь к истории южных славян, мы и там находим и удалых добрых молодцев, и понизовую вольницу. Это — «ускоки», «хайдуци» — то же, что «воры-разбойники», то же, что «сходцы», «бродники», «гультаи», «гайдамаки», голытьба, голь. «Ускоки» такой же протестующий элемент в южном славянстве, покорившемся турецкому ярму и турецким порядкам, такие же бродячие силы, какими являются понизовые добрые молодцы и гайдамаки, только «ускоки» ведут войну с врагами своего племени, с врагами христианства. Как и удалые добрые молодцы, ускоки не имеют ни родного дома, ни родной семьи — это все они покинули, не вынося существующих порядков, и скитаются по скалам и темным лесам, по «планинам» и «горам зеленым» Балканского полуострова. У ускоков, как и у понизовой вольницы, есть свои станы в горах и лесах, а иногда они находят пристанодержателей и между своим родным славянским населением. Как творчество русского народа создало целую литературу, воспевающую подвиги удалых добрых молодцев, так и творчество южных славян создало свою литературу об

«ускоках» и других борцах за народное дело, начиная от Марка Королевича и кончая последним «момче неженено». Как русская литература сочувственно относится к удалым добрым молодцам и их представителям, «славным атаманушкам», так и южнославянская народная поэзия отдает свои симпатии героям национального дела, в том числе и простым «ускокам». Для народа драгоценен всякий малейший штрих, обрисовывающий не только характер его любимцев-героев, но и их наружность, их привычки. Описание их подвигов и всего до них относящегося, принимает чисто эпическую форму. Как понизовая вольница, ускоки также являются всегда небольшими партиями, шайкам, «четами». Они смело появляются около городов и селений, нагоняют страх на турок и исчезают бесследно[1].

Иош зарица не забиелила,
Ни даница лица помолила,
А од дана ни помена нема,
Но продьоше четири ускока
Перед Иаица града биелого,
Сваки води пе два добра конья,
Сваки носи по тридест стриела,
Све иеднаке у неге лииева,
Сваки носи по двадест пушака,
Све на иедну бурму завииене,
Сваки носи зелене гадаре
Под колане с обадвиие стране,
О поиасу сабље аламанке,
А на ньима од челика балие,
На главе им капе од три вука,
На ледьима коже од медьера,
На рамена биели штитови.

Против них, как и против понизовой вольницы, всегда высылают вдвое, втрое и вдесятеро сильнейшие отряды, и ускоки непременно разбивают их, потому собственно, что они выражают собою народ, его чаяния, его протестующую силу. Так, например, появляется около турецкого города партия из четырех ускоков — Иована Шандича, Вука Мандушевича, Марка Карапанджи и Дмитрия Удбара — и из города высылают против них четыреста турецких охотников под предводительством Ибрагима. Турки настигают ускоков в лесу, но не решаются атаковать их. Тогда самый младший из ускоков, у которого еще было совершенно девическое лицо, без усов и бороды, Дмитро Удбар, решается один

[1] Вот для сравнения с описаниями партии понизовой вольницы эпическое описание одной небольшой партии «ускоков».

идти в турецкий отряд. Тридцатью стрелами он убивает их еще двадцать, а «зеленым гадаром» разгоняет всех по лесу. Такова сила ускоков. Такова же, по выражению народной поэзии, и сила удалых добрых молодцев, которые «кистенем махнут — корабли берут». Как необыкновенна сила у удалых добрых молодцев, так необыкновенны у них и кони, которые и понимают их, и говорят с ними. Когда ускок Дмитро Удбар разогнал всех турок, которые разбежались по лесу, покинув своих лошадей, то он позарился на вскормленных турецких жеребцов и, оставив своего коня, стал загонять турецкий табун. Опомнившиеся турки напали на пешего Удбара и отрезали ему голову. Тогда остальные три ускока в свою очередь напали на турок, всех их убили, но не могли убить одного из предводителей, Ибрагима, который обратился в бегство на коне Удбара. За ним поскакал вдогонку старший из ускоков, седобородый Иован Шандич, но не мог настигнуть своего врага, потому что под ним был добрый конь ускока. Тогда седобородый Шандич закричал к коню Удбара, «крчату»:

«Стан, крчате, изиели те вуци!
Не носи ми Дмитрова крвника».
Таде коньиц усерд полья стаде,
Иел позднаде друга Дмитровога.

Все это общие эпические черты как у русских удалых добрых молодцев, так и у югославянских ускоков. Неудивительно после этого, что освященная сочувствием народа понизовая вольница становится таким живучим явлением, что, проходя самой яркой полосой через всю народную историю, не вымирает даже в нынешнем столетии, как по настоящее время не вымирают югославянские ускоки, хотя теперь они действуют под другими именами и добиваются не совсем того, чего добивались их предки ускоки. В исторических очерках понизовой вольницы последним из атаманов поволжской голытьбы показан нами Брагин, действовавший со своею шайкою около восьмидесятых годов прошлого века. К концу этого века и к переходу в девятнадцатое столетие народные волнения мало-помалу улегаются, становятся реже. разобщеннее и вообще теряют характер общности, стихийности. Проходит двадцать, тридцать лет. и понизовая вольница снова дает знать о своем существовании. В первой четверти девятнадцатого столетия голытьба и другие протестующие личности опять тянутся из всех концов России на Волгу, где все еще представляется возможность погулять на воле, помыкаться «по ши-

рокому раздолью», «пошалить», и понизовая вольница, таким образом, не вымирает окончательно, обнаруживая своим появлением только то, что условия жизни, его вызывавшие, все еще были настолько неблагоприятны, что новые общественные формы, в которые улеглась русская жизнь, не в силах были заставить улечься в рамках этих форм бродячие стихийные силы народа, которые, повинуясь общим законам тяготения, искали свой центр притяжения и не находили его. Вспышки понизовой вольницы особенно обнаруживаются в памятном для России 1812 году. Вот действия некоторых шаек вольницы, гулявших по Волге в 1811 и 1812 годах.

II

29 апреля 1812 года в громадское правление Покровского города, или Покровской слободы, что против Саратова за Волгой, явился один малороссиянин по имени Моисей Гульпенко, бывший работником у малороссиянина же Артема Баланды, и объявил, что в бытность на хуторе Баланды, находящемся на речке Карамане, за Волгой же, в степи, расстоянием от Покровской слободы верстах во сто, в ночь с 25 на 26 апреля, «приехавшие в показанный хутор неизвестно какого звания люди, несколько человек, *оруженные огнестрельными орудиями и прочим припасом тому подобным*, насильством, разбойническим образом, несмотря на находившихся при оном хуторе рабочих людей, его, Баланды, хутор разграбили. Разграбив хутор, неизвестные люди скрылись в степи». Громадское правление, выслушав заявление Гульпенко, тотчас же сообщило об этом происшествии в Саратов. Из Саратова немедленно дали знать о поимке неизвестных разбойников, находившихся в Заволжье, подлежащим властям, сообщили в соседние уезды, в контору опекунства иностранных поселенцев и в другие места. Но в то время, когда власти делали эти распоряжения о розыске и поимке неведомых разбойников, разбойники нагрянули на самую слободу Покровскую. Это было 1 мая вечером. В громадское правление прибежал малороссиянин Тихон Быковченко и объявил, что к дому слободского головы Пономаренко «приехали неизвестные люди, вооруженные огнестрельными орудиями, и начали делать из оных во дворе выстрелы». Нападение разбойников на дом головы Пономаренко сделано было в его

отсутствие: Пономаренко находился в это время в громадском правлении и за несколько минут до прихода Быковченко вышел, чтоб отправиться домой. Притом нападение сделано было в самом центре многолюдного городка. Слободской атаман Зоря и десятники немедленно оповестили об этом дерзком и неожиданном нападении на слободу всему населению. Между тем Пономаренко, приближаясь к своему дому и ничего не зная о случившемся, услышал ружейные выстрелы, и потому тотчас же приказал бить в набат в обеих церквах, «в колоколы». По набату сбежался народ. Но разбойники, не думая отступать, «начали делать на них (то есть на сбежавшихся малороссиян) из огнестрельных орудиев выстрелы», и пока собралась большая масса народу, они успели ограбить дом Пономаренко и «мучительски тиранили жену его, мать и сына». Захватив добычу[1], они ускакали из слободы «с такою поспешностью, что по наступившей темной ночи не можно было заметить, куда они скрылись». Для розыска разбойников громадское правление в ту же ночь отрядило в разные места сорок верховых, которым, конечно, нелегко было ловить конных хищников в необозримой заволжской степи, особенно, когда даже неизвестно было, куда они отправились — на юг, на восток или на север. О нападении на слободу дали знать в Саратов. Из Саратова тоже были наряжены две конные команды для розыска разбойников, и команды эти должны были преследовать хищников — одна по луговой, другая по нагорной стороне Волги. Оповещено было также

---

[1] Небезынтересно описание вещей, пограбленных разбойниками у Пономаренко, преимущественно носильного платья. Вот что носили богатые малороссияне-колонисты Поволжья 58 лет назад: «2 кафтана темно-зеленого сукна, обложенные золотым гасом, стоящих 300 рублей, 3-й кафтан же палевого цвета сукна, обложенный золотым гасом, переплетенным черным шелком, стоящий 200 рублей, 4-й и 5-й темно-зеленого сукна, обложенные золотым гасом, стоящие 250 руб.; 2 бешмета: 1-й штофной, малинового цвета, 2-й черный атласный, обложенные золотым гасом, стоящие 200 р.; 11 жилетов разных материй, стоящих 100 р., 2 шелковых с разными цветами, из коих 1 с золотыми кистями, 150 р., 5-й шелковый же малинового цвета, стоящий 35 р.; черкеску, сшитую на манер кафтана с английской нанки бланжевого цвета, обложенную золотым гасом, стоящую 50 рублей; три платка шелковые, из коих 1 ранжевого цвета с золотыми цветами, стоящий 20 р., 2-й шелковый клетчатый, стоящий 25 р., 3-й малинового цвета с золотыми цветами; женских два креста серебряных с позолотою и с камнями, стоящих 55 рублей, три пары серег же серебряных с позолотою, стоящие 20 р., пряжки серебряные насыпные, стоящие 20 р., золотого гасу на 30 р., медальоны и проч., да денег 400 р.».

об этом во все соседние правительственные учреждения. На другой день в слободу пришли новые вести о разбойниках. В громадское правление явился малороссиянин Федор Черторый и объявил следующее. Находился он при речке Еруслане, состоящей от слободы Покровской в отдаленности также состоящего при оной речке тестя его, малороссиянина Василия Зимы, хутора при хлебопашестве, отколь того ж апреля 30-го числа пред вечером приехал он к показанному своему тестю Зиме в хутор для взятия на посев пшеницы; но по приезде его, оный тесть его, Зима, известил ему, что сего апреля с 29-го на 30-е число вечером приехали к нему на хутор неизвестных четыре человека, вооруженных огнестрельными орудиями, *из коих у одного ноздри вырваты*, начали мучительски тиранить его, Зиму, и жену, намереваясь сжечь огнем, дабы они чинили о деньгах признание и отдавали бы оные им, но денег у него не было, то они только взяли несколько пирогов, один пуд сала, арчак, ведро вина, и близ оного хутора у находившегося при гурте саратовского купца Дениса Канина работника его, по имени неизвестного, арчак, и самого его мучительски тиранили, убили из ружья теленка, коего сваря, у него, Зимы, себе для пищи, потом уехали незнаемо куда. Снова последовало распоряжение о розыске разбойников, снова о том же подтверждено конным командам, но все напрасно. В этот же день еще пришли вести о разбойниках, и все из-за Волги. 29 апреля из слободы Новотроицкой вышла партия рекрутов, составленная из новобранцев слободы Александрова Гая, заключавшая в себе человек пятьдесят и сопровождаемая «многим народом». Начальником партии был голова четвертой Узеньской волости Бардин.

Переправившись через реку Малый Узень, партия остановилась на роздых и на корм лошадей. В это время к партии явился экономический крестьянин слободы Малого Узеня Агеев, избранный обществом для отдачи рекрутов новоузенских, которых он и вел к общей рекрутской партии. «Агеев, — пишет голова Бардин в своем донесении, — подошедши, показывает мне бои, причиненные наехавшими на них со степи; отъехавши от реки Малого Узеня, расстоянием в тридцати верстах, где был прежде пост, называемый Ямы, не далее от них пяти верст, четыре человека разбойников, с орудиями, по одному ружью, два пустулетов и одной сабли, которого они нещадно били плетьми, отняли у него, Агеева, данных от общества на отдачу рекрут денег сто тридцать пять

рублей, причем, кроме его, обиды никому не учинили». Бардин присовокупил, что Агеева они тотчас освидетельствовали и нашли, что он, действительно, «по плечам бит». Между тем розыски разбойников продолжались. Разосланные везде конные казачьи команды и конные малороссияне Покровской слободы под начальством брата головы Пономаренко напали на след беглецов, которые, по-видимому, действовали не совсем осторожно, надеясь на быстроту своих коней и на свое вооружение. Наконец, через неделю в Саратов пришло утешительное известие, что разбойники после отчаянной схватки с ними казаков, малороссиян и немецких колонистов и после жаркой перестрелки, захвачены живыми в руки, хотя тяжко раненные, и только атаман шайки убит во время перестрелки. Разбойники настигнуты были и выдержали стычку со своими преследователями уже не в заволжской степи, где они разбойничали, а на нагорной стороне Волги, далеко ниже Саратова, между селением Ахматом и немецкой колонией Севастьяновкой. По первоначальному дознанию оказалось, что эти разбойники осенью 1811 года приехали на лодке на стоящий у Волги хутор Шаловый, к покровскому малороссиянину Куяниченко, и просили отвести их «для перезимовки» в степные места, как это обыкновенно делали шайки понизовой вольницы перед наступлением зимних холодов, когда по Волге в косных лодках гулять становилось неудобно. Куяниченко согласился отправить их в глубь степей Заволжья, именно в урочище Малый Гашон, отстоящее от Покровской слободы на 9 верстах. Там Куяниченко сделал для зимовки разбойников землянку и в течение зимы снабжал их «съестными и ружейными припасами». За это разбойники дали Куяниченке 945 рублей. На основании этих известий, из Покровской слободы немедленно были командированы нарочные на хутор Шаловый для привода малороссияна Куяниченко. Куяниченко был представлен в громадское правление и сознался, что действительно осенью 1811 года на хутор к нему приезжали разбойники на лодке, которую и оставили около хутора, а сами просили Куяниченко отвезти их «в безопасное для пребывания место», обещая ему за это и за доставление как съестных припасов, так равно пуль и пороху, не 945 рублей, а только пятьсот. Куяниченко согласился на предложение разбойников, и отвез их в урочище, называемое Гашонские Вершины, расстояниям от Покровской слободы верстах в девяноста. Но при этом Куяниченко говорил, что землянки разбойникам не делал и съестных припасов к ним не возил. Правда, раз он намерен был доставить припасы в разбойни-

чий притон, «но когда оные повез, то начал идти сильный снег, и не довезши верст за двадцать, воротился обратно в свой дом». Так как Куяниченко показал, что он отвез в разбойничий притон пять разбойников, а теперь были пойманы только трое, то из Покровской слободы вновь командированы были конные отряды в Гашонские Вершины и в окрестные степные места для розыска и поимки остальных разбойников, а равно «для разведывания, не участвовал ли кто из малороссиян, имеющих близ сказанного урочища свои хутора, в доставлении оным разбойникам съестных припасов и прочего». Из Покровской слободы Куяниченко привезен был в Саратов. Здесь снова начался допрос. Куяниченко и в Саратове показывал на допросе то же, что показал в громадском правлении, только с большими подробностями. В 1811 году, в одну из осенних ночей, вошли к нему на двор два неизвестных человека и просили продать им съестных припасов. Полагая, что неизвестные были просто бурлаки, приехавшие с судна на берег для закупки провизии, как это часто случалось, и не видя в них ничего подозрительного, Куяниченко продал им печеного хлеба и арбузов, за что и получил деньги. Пришельцы, не входя к нему в избу и ни о чем не говоря, ушли на Волгу. На следующую ночь, по прошествии суток, очень поздней порой, когда Куяниченко уже потушил у себя в доме огонь и все его семейство легло спать, он услышал стук в дверь. Куяниченко встал и вздул огонь. Но едва он отпер дверь, чтобы узнать кто там стучит, как к нему в дом вошли пять неизвестных человек, с ружьями и пистолетами, но были ли при них сабли, Куяниченко не мог потом припомнить. В числе пришедших он узнал в лицо и тех двоих, которые прошлою ночью приходили к нему за хлебом. Наружность их была так подозрительна, что Куяниченко спросил:

— Вы что за люди?

— Мы беглые из Сибири — делаем разбойничество, — отвечали пришедшие.

Затем разбойники тотчас же «велели» Куяниченко отвезти их в безопасное для зимовки место, которого «не можно было бы никому знать, и чтобы снабдил их хлебом и говядиною, да и впредь доставлял бы им съестные припасы». По словам Куяниченко он отказывался от исполнения этого требования разбойников, «но они устрашивали его убить до смерти». Тогда Куяниченко запряг в сани пару своих лошадей, положил четыре мешка пшеничной муки пудов в двенадцать, два мешка пшена в пять пудов, пуд коровьего масла и отвез разбойников в степь за 90 верст от Шалового ху-

тора, в урочище Гашонские Вершины, «где ни пашни, ни гумен, ни скотоводства не состоит и даже проездом никто не бывает», — следовательно, поместил их в самом глухом степном месте, «в небольшом буераке при лесочке». Разбойники заплатили Куяниченко за все это пятьсот рублей и приказали ему и на будущее время доставлять в притон съестные припасы, обещая за все платить ему деньги. Куяниченко, воротясь домой, никому не говорил о разбойниках, а на полученные от них деньги исправил некоторые хозяйственные надобности — запасся солевозными фурами, потому что по профессии был солевозчиком, купил пару лошадей и проч. Затем, в первых числах декабря, вновь собрался ехать к разбойникам, и для этого нагрузил фуру съестными припасами. Но в глухой степи, по дороге к разбойничьему стану, Куяниченко захвачен был зимнею непогодью, сбился с дороги, так как ехал «целиком», то есть без всякого пути, провел вьюжную ночь в степи и на другой день воротился домой. К этому Куяниченко прибавил, «что с теми разбойниками нигде и никогда по сие время не видался и с ними в грабеже сообщества не имел и следов им кого-либо грабить не пересказывал, грабленого имущества не принимал, землянки им в помянутом урочище не рыл и к рытью ничего не давал, кроме как только взяли они у него топор для варения пищи они имели у себя два медные котелка, и из них разбойников *у трех вырваны ноздри*, зовут их Матвей, Федор, а прочих имена не припомнит, и *Матвея с вырванными ноздрями в голубом кафтане называли атаманом*». Взята была и жена Куяниченко и привезена в Саратов. Она показала во всем согласно с мужем. Вслед за тем в Саратов пришли более подробные сведения о поимке разбойников. Об этой поимке так сообщает чиновник Конищев, отряженный саратовским губернатором Панчулидзевым для преследования разбойников 2 мая. Конищев прибыл в Покровскую слободу и потребовал от начальника казачьей команды Копыгина вооруженных казаков. Здесь Конищев узнал от головы Пономаренко только то, что разбойники были каторжные, так как в этом изобличали их рваные ноздри. Конищев учредил в слободе особый караул и тут же узнал от малороссиянина Островского, приехавшего из соседней немецкой колонии, что разбойники, разряженные в награбленное у Пономаренко богатое платье, были в колонии Кизицкой, купили там два штофа французской водки и неизвестно куда уехали. Островский сообщил также, что вслед за разбойниками поскакал брат головы Пономаренко

с конными малороссиянами; Конищев также отправился по следам беглецов. В колонии Кизицкой он узнал от местного форштегера, что разбойники действительно купили у тамошнего целовальника два штофа французской водки, заплатили за нее пять рублей и за колонком Березовым пили эту водку и «усильно» напоили пьяным конного пастуха. Оттуда они направились в колонию Кукс. Конищев со своею командою скакал вслед за ними. В колонии Кукс он узнал, что накануне его приезда разбойники в самый полдень наняли тамошних колонистов и бурлаков, которые и перевезли их вместе с лошадьми на нагорный берег Волги, в село Ахмат, окрестности которого издавна славились притонами шаек понизовой вольницы. За ними по пятам гнался Пономаренко с вооруженными малороссиянами и также переправился через Волгу. Конищев несколько опоздал со своими казаками: когда он переправился в Ахмат, а оттуда доехал до колонии Севастьяновки, то от колонистов узнал, что разбойники уже настигнуты малороссиянами и колонистами в ближайших дачах, но так как завязалась с обеих сторон перестрелка и разбойники отчаянно защищаются, то их взять и не могут. Конищев с казаками поскакал на выручку малороссиян и колонистов, которых разбойники, отчаянно защищаясь, могли победить и перестрелять. Но не доезжая до места схватки, он уже с горы увидел, что перестрелка кончилась, что одолели преследователи и что разбойники уже взяты. Конищев нашел пленных страшно израненными и избитыми. Особенно сильно пострадал атаман шайки, каторжник Ястребов. Раны его были так жестоки, что он едва довезен был до Ахмата, где тотчас же и умер. Конищев от преследовавшей разбойников партии малороссиян и колонистов требовал объяснения, почему они так жестоко ранили беглецов, и те объяснили, что они ранили их по необходимости, защищая свою собственную жизнь от их смертельных выстрелов, так как при этом и из колонистов многие были ранены разбойниками. Кто убил их атамана — осталось неизвестным. От оставшихся в живых разбойников Конищев узнал, что как убитый атаман их, так и они сами бежали из Сибири и производили разбои на Волге, что против Саратова, с хутора Шалова, их перевез в зимний притон неизвестный им малороссиянин, который и получил с них за это 945 рублей, а потом доставлял им хлеб, вино и прочее, что он же советовал им на весну ограбить голову Пономаренко, а из табуна Баланды взять под свою шайку добрых коней. Из Ахмата разбойники были привезены в Саратов, вместе с захваченными у них

деньгами (245 рублей), имуществом, лошадьми, оружием, кроме того, что было расхватано колонистами после схватки с шайкою. Раненые в схватке колонисты были освидетельствованы и сданы на лечение лекарям. Атамана шайки похоронили в Ахмате.

III

В Саратове разоблачены были еще большие подробности о начале и похождениях шайки Ястребова и о том, что шайка эта составляла как бы малейший осколок невидимой народной армии, которая отдельными и весьма мелкими партиями вела свою партизанскую войну, цели которой сильно расходились с целями партизанских действий Фигнера, Дениса Давыдова и других известных сподвижников Отечественной войны. Шайка Ястребова, о которой теперь идет речь, состояла большею частью из людей, бежавших с каторги, и каторжники же составляли ядро и начальство этой шайки. Люди эти сошлись на Волгу со всех концов России, побывав прежде в Сибири; так, покойный атаман Ястребов был родом с Волги, малороссиянин Камышинского уезда[1], другие разбойники, как, например, Соболев — из Архангельска, следовательно, самого далекого русского Севера, сосланный в Сибирь за грабеж Смирнов — из Калуги, из знаменитых лесов брынских. Разбойники эти работали прежде на нерчинских заводах. В 1811 году, весною, Ястребов подговорил с собою двенадцать других каторжников, которые и бежали с заводов в леса. Часть беглецов осталась в нерчинских лесах, а другие, под предводительством Ястребова, пробрались до Екатеринбурга, питаясь воровством и разбоем, так как иным способом они не могли питаться, ибо вырванные ноздри изобличали в них беглых каторжников. Ястребов вел товарищей на Волгу, на вольное и «широкое раздолье», где он сам родился и где с самого детства как бы напитался традициями понизовой вольницы. Разбойников не тянуло ни в далекий Архангельск, ни в центральную Калугу, ни даже в брынские леса, некогда славившиеся своими удалыми добрыми молодцами. Их, напротив, тянуло на Волгу, где находили исход все бродячие, не улегшиеся в гражданские формы беспокойные, стихийные силы русского народа, начиная от элементов некогда вольного и

[1] Вообще малороссияне, потомки запорожцев и гайдамаков, играли не последнюю роль в истории поволжской вольницы.

преимущественно своевольного казачества, от Ермака Тимофеевича, Игнатки Некрасова, Стеньки Разина, Стеньки же Маноцкова, уцелевших гайдамаков вроде Дударенка, Дегтяренка, Шагалы и кончая Пугачевым, поповичем Заметаевым, поповичем Казанским и напоследок каторжником Ястребовым. Из Екатеринбурга Ястребов повел своих товарищей на реку Чусовую. Перебравшись через Уральский хребет, разбойники у самых верховьев Чусовой приобрели себе лодку, купив ее, как показывали на допросе, у неизвестных людей, а может быть, и украли, подобно тому, как украли ружья и прочее вооружение[1].

По Чусовой они вышли в Каму, проплыли Пермь, Оханск, Осу и другие города и выбрались на Волгу. Это громадное расстояние от верховьев Чусовой до устьев Камы они должны были проплыть по возможности осторожно, воровски, питаясь тем, что могла послать им судьба и добыть ко всему привычная воровская рука, скрывать свои рваные ноздри и от чиновника, и от мужика, ночевать вдали от селений, по тальникам и по оврагам. На причале, ниже Сенгилея, в лесу, они сошлись еще с одним бродягой, Матвеевым, который (как впоследствии разбойники показывали на допросе), «узнав о нас настоящее, согласился ехать с нами». Это был — надо полагать поэтому — «жигулевец», удалый добрый молодец с Жигулевских гор, имевших тоже немалое значение в истории понизовой вольницы, не только в XVIII, но даже и в прошлом столетии. «Настоящее», следовательно, не испугало жигулевца — и он пошел в шайку. Какими именно разбойными подвигами сопровождалось путешествие шайки Ястребова от Нерчинска до Саратова, с какими другими шайками сходилась шайка Ястребова и много ли на долю этой последней пришлось грабежей и убийств в течение лета — этого разбойники не выдали на допросе. Но по всей видимости, 1811 год был для них довольно удачен: у Ястребова, у беглого каторжника, которому в начале побега нечем было кормиться, к концу лета скопилась значительная казна, так что шайка за одно пристанодержательство в течение нескольких месяцев могла заплатить до тысячи рублей — сумма, которой в то время, без сомнения, не платили даже за самые дорогие губернаторские квартиры. Подвиги шайки Ястребова несколько разоблачаются уже в пределах Саратовской губернии, и то потому только, что разоблачение

[1] «...сняли с пружин у тамошних обывателей поставленные на убой оленей ружья».

это последовало помимо собственного желания разбойников. Из показаний добрых молодцев оказывается, что Куяниченко, он же и Шкварин, сам пригласил их в свой дом, когда атаман шайки вместе с одним из товарищей явились на хутор Шаловой за покупкой припасов. Куяниченко, когда разбойники «склонили» его поступить в их шайку, принял их предложение, согласясь помогать тайным намерениям разбойников. На другой день Ястребов и его товарищи вместе пьянствовали в Покровской слободе. Из слободы уже Куяниченко повез их в степь, в самое глухое из урочищ, в Малый Гашон, где и устроил им зимний притон. Землянка была возведена быстро, потому что орудия для этой работы привез с собой Куяниченко — топоры, железные и деревянные лопаты, все это доставил разбойникам опытный Куяниченко. Полозья от саней, на которых разбойники приехали в Малый Гашон, были поставлены в землянке вместо дверных косяков у входа в притон. Тут же Куяниченко снова пропьянствовал с разбойниками два дня и в пьяном виде похвалялся своими разбойническими качествами и своею опытностью. Через неделю Куяниченко приехал в разбойничий стан с целою фурою припасов — пять ведер вина, куль печеного хлеба, сухари, более двадцати пудов пшеничной муки, пшена на кашу, пороху, свинцу для жеребьевых пуль и дроби. Оказалось, что это был человек бывалый, много видевший на своем веку, несмотря на свою захолустную жизнь в глухом хуторе. Куяниченко сознавался разбойникам, что, назад тому лет семь или более, по неудовольствию на голову Пономаренко, он намеревался лишить его жизни и уже накинул на него петлю, но только удушить не успел по непредвиденным обстоятельствам (по случаю помешательства). Он прибавлял, что много видывал он «таковых партей», что много гостило у него «добрых людей», что «до двудесяти атаманов» перебывало у него для «совета» и всем им он находил и «укрывательство», и «работу». Признание Куяниченко бросает, таким образом, свет на состояние всего Поволжья в 1811 и 1812 годах: понизовая вольница, по-видимому, несколько примолкшая в первые годы царствования Александра I, к 12-му году встала с новой силой и наводнила собой приволжский край, преимущественно, кажется, левое Заволжье, где шайкам вольницы удобнее было скрываться, и из пасущихся там табунов выбирать для себя походных коней, как это и делала шайка Ястребова. Косные лодки в это время, по-видимому, стали выходить из моды у разбойников, потому что за Волгой и за ходом

по ней караванов все более и более начало сторожить правительство, и к косным лодкам добрые молодцы стали прибегать только в крайней необходимости или по особым расчетам. Один Куяниченко насчитывает до двадцати «партей» и до двадцати атаманов — следовательно, все Поволжье могло насчитывать сотни партий понизовой вольницы.

Из показаний разбойников обнаруживается также, что Куяниченко во время посещения разбойничьего стана давал шайке некоторые советы и по его указаниям разбойники потом, с наступлением весны, совершили нападение на Покровскую слободу, собственно на дом головы Пономаренко, и на хутор Баланды. В землянке своей разбойники провели целую зиму, никуда не отлучаясь, потому что у них было всего вдоволь — и «горячего вина», и хлеба, и сухарей, и свиного сала, и других припасов, да и самая степь с небольшим леском по оврагу Гашон давала им возможность охотиться на зайцев и на зимнюю птицу. Только разлитие вод выгнало их из землянки, и хотя еще было довольно холодно, однако они вышли в степь в конце великого поста, на вербной неделе. До Пасхи они скитались по степи, питаясь (как сами они говорили потом) «остальным хлебом и битыми из ружей дикими гусями, вареными в бывшем с ними котелке». На Пасху, по совету Куяниченко, разбойники направились через степь в хутор Баланды, стоявший на реке Карамане, в уединенном месте. Хутор этот они ограбили, выбрали себе из табуна лошадей, захватили верховую конскую упряжь, седла, узды, пороху, свинцу, съестных припасов и снова потянулись в степь, ища новой добычи. Они добрались до Узеней. На Ямах они напали на партию рекрутов, взяли у этой партии общественные деньги, приглашали молодых рекрутов идти с ними на вольное, разбойное дело, хотя никто из рекрутов на призыв разбойников не пошел, несмотря даже и на то, что разбойники рисковали тех из новобранцев, которые закованы были в железа. Далее следует нападение на табун, поездка на Еруслан, посещение хутора Зимы, ссора с жигулевским разбойником, происшедшая во время гульни в степи. Жигулевец, уснувший от излишнего употребления «горячего вина», брошен ими на дороге на произвол судьбы[1]. Затем — возвращение к Волге, нападение на Покровский городок, истязание жены Пономаренко и сына, грабеж дома. Часовой, оставленный разбойниками у ворот дома Пономаренко, ружейными выстрелами

[1] Тем не менее атаман оставил покидаемому им товарищу небольшую сумму денег, — разбойничья честность!

устрашал и останавливал малороссиян, которые по набатному звону колоколов сбегались на место происшествия. Несмотря на общую тревогу, разбойники успели навьючить своих лошадей награбленным ими добром и благополучно выбраться из «городка Покровского» в степь. Дорога разбойникам лежала на юг, и они отправились через Узморскую слободу на немецкие колонии. Ехали они уже наряженные в богатое платье головы Пономаренко и пьянствовали при первой возможности, не особенно стесняясь присутствием немцев: денег у них было довольно, кони добрые, оружие хорошее, а о будущем они не думали. Они позволяли себе даже изысканные удовольствия: так, около колонии Березовой они взяли пастуха конских табунов, немца, «усильством» напоили его допьяна французской водкой и заставили плясать — и немец выплясывал по степи, в виду своего табуна, в угоду развеселившимся удалым молодцам. За пляску дали ему «худой тафтяной платок». Разбойники везде действовали самоуправно, не боясь народа. Колонистов они заставляли делать все, что им было угодно, и целые колонии не смели им сопротивляться, вероятно, принимая их, по их богатому одеянию, за людей влиятельных, несмотря на то, что у них ноздри были рваны. Впрочем, за работу и за послугу разбойники платили деньгами: так, в колонии Кукс они принудили колонистов перевезти их на нагорный берег Волги в расшиве, принадлежавшей бурлакам, но бурлаков не обидели, а, напротив, заплатили за расшиву десять рублей. Заезжая к ловцам, они брали у них рыбу, но в то же время давали и деньги, как бы в награду за послушание. Так они поступили и с рыбаками села Ахмата и колонистами колоний Севастьяновка и Антоновка. Но разбойники не подозревали, что по пятам их следует погоня — казаки, малороссияне и колонисты. За Антоновкой разбойники остановились в лесу на роздых и стали варить себе уху из купленных у рыбаков стерлядей. Лошади их паслись в том же лесу. Наскакала погоня. Завязалась жаркая перестрелка с обеих сторон. Разбойники стреляли пулями и картечью, под которой, вероятно, надо разуметь неправильные жеребьи, нарезываемые из свинцовых полос[1]. Стычка кончилась не в пользу разбойников, потому что численное превосходство было на стороне их противников. Атаман, весь покрытый ранами, отдался в руки преследователей. Раненные, избитые и истомленные продолжительной борьбой разбойники также

[1] Стреляли в тех колонистов и малороссиян пулями и картечью из ружей.

принуждены были сдаться. Мы видели уже, что атаман скоро умер от ран и похоронен в Ахмате, а другие разбойники — привезены в Саратов. Но прежде отправки их в Саратов, на место происшествия командированы были из губернского города доктора. По свидетельству их, оказалось, что раны разбойников не смертельны. Из числа раненых колонистов один 60-летний старик Эйхнер не подавал надежды к выздоровлению: он был прострелен и избит, и даже один глаз был поврежден ружейным выстрелом. Другие раненые колонисты — Мецгер, Бауер, Кайзер и Бопп — находились вне опасности, и им подано было медицинское пособие со стороны приехавших из Саратова штаб-лекаря Константиновича и доктора Эглау. После схватки и победы над разбойниками имущество их, особенно же ценное, почти все было растащено колонистами, но и оставшегося в целости было немало. Кроме лошадей, оружия и конской сбруи, тут были и женские медальоны, и женские дорогие серьги, дорогие золотые и серебряные кресты, чашки, ложки и куски червонного золота, оцененные в 120 рублей. В то время, когда разбитая и переловленная шайка атамана Ястребова допрашиваема была в Саратове, за Волгой производились розыски как остатков этой шайки, так и других разбойничьих партий. Посланные из Покровской слободы для разведываний малороссияне Шапран и другие принесли известие, что «во время их поиска нашли следы и даже слухи о нахождении в луговой стороне, в глухом и весьма отдаленном месте от означенной слободы, разбойников, верхами на лошадях, вооруженных ружьями, пистолетами, саблями и дротиками, но по малости числа малороссияне преследовать тех разбойников не могли, стремление коих, по слуху, должно быть вниз около реки Волги».

Послали погоню и за этой новой партией, но найти ее нигде не могли. Конные шайки делали свои переезды слишком быстро и легко могли рыскать незамеченными или принимаемыми за казацкие отряды, переходя то на возвышенный сырт дальнего Заволжья, то на плоскую возвышенность волжско-медведицкого водораздела, где и встарь было такое приволье для сухопутных шаек понизовой вольницы, от Волги доходившей до реки Вороны и далее. Другую разведочную партию малороссиян послали на место бывшего притона шайки атамана Ястребова, к Гашонским Вершинам, где должны были, как предполагали власти, оставаться еще два разбойника этой же шайки. Разъездная партия воротилась с поисков и привезла сведения: «По прибытии нашем к оному урочищу, усмотрели мы, что разбойническая землянка уже сожжена неизвестно

кем, на развалинах которой начала уже вырастать трава, близ места землянки имеются свежие конские следы, которые, начинаясь от сего места, продолжались по ерику Гашону вниз оного по примеру верст в восемь, потом замяты пасущимися там табунами малороссийского скота. Почему, не зная, в которую они сторону обратились и по неполучении ни от кого по разведыванию нашему о том известия, мы, объездив в многие места, преследование оставили. Проезжая по следам сих, легко было нам приметить по влажным местам, что лошадей было четыре и столько же на них человек, ибо где они останавливались для роздыху, тут приметные по смятой траве места лежания их. А что они должны быть подобны прежде пойманным разбойникам и, может быть, товарищи их, можно заключить из того, что приезжали на место убежища разбойников, куда никто ни за чем ездить надобности не имеет, равно из показания там живущего при речке Еруслане малороссиянина Василия Зимы, что саратовского купца Павла Канина работник, в проезд к речке Узеню, говорил ему, что расстоянием от урочища Гашона, верстах в пятнадцати, видел он четырех человек, вооруженных огнестрельными орудиями, разъезжающих по степи верхами, кои и отняли было у него арчак, но когда увидели, что оный за ветхостью не способен, бросили оный, а сами уехали». За этой партией снова послали сыскную команду, но, как и предыдущие двадцать «партей» с их двадцатью атаманами, о которых говорил Куяниченко, так и эта партия исчезла бесследно, может быть, продолжая рыскать по степям Заволжья, или находя себе «удобные притоны и работу» на более населенной нагорной стороне. Для окончательного уяснения нападения шайки Ястребова на Покровскую слободу, взяты были личные показания головы Пономаренко, его жены и матери, исключительно пострадавших во время нападения.

«Сего мая 1-го числа вечером находился я по должности моей в громадском правлении, — показывал Пономаренко, — откуда уже в десятом часу пополудни пошел домой с десятником малороссиянином Семеном Зимою, но, не доходя на небольшое к оному расстояние, услышал топот бегущих необычайно людей и говорящих между собой, что в доме моем разбойники. Я, чрезвычайно сему удивясь, а особенно услыхавши уже выстрел, послал того десятника Зиму к дому моему, о сем происшествии известясь, уведомить меня, а сам остановился от их дому двора через два. Десятник Зима, немедленно возвратясь ко мне уже с сотником Степаном Козорезом, сказал, что дом мой грабят воры, стреляя при том из ружей, присовокупляя, что их должно быть немалое число, но за

темнотою ночи ничего не видно. Между тем я слышал множество бегущих людей к дому моему и от оного, но также по темноте никого из оных именно приметить не мог. Сколько встревоженный сим случаем рассудок мой, да и самая опасность жизни моей мне внушили, я приказал сему ж десятнику и сотнику Козорезову бежать по разным улицам, крича, требовать у обывателей помощи к защите от грабежа дому моему и поимке самих разбойников, но, видя или более слыша притекающих к дому моему и обратно, устрашась выстрелов бегущих, потерял в том надежду. Явившимся обратно ко мне десятнику и сотнику опять приказал послать по церквам бить в колокола тревогу, а самим всемерно понуждать обывателей к подаче помощи. Напоследок, когда уже было бито в набат, узнал я, что разбойники из дому моего выехали. Я пошел в оный и увидел приехавшего в то только время из степи брата моего, малороссиянина Ивана ж Пономаренко, коему велел ехать для преследования бывших в доме моем разбойников, взяв с собою, кого поскорости будет можно атаману ж Василию Зоре, ко мне тогда явившемуся, также приказал отправить в самой поспешности в разные стороны для поимки тех разбойников потребное число людей, снабдя их верховыми лошадьми и орудиями, какие отыскать будет можно, и известить о сем живущих в хуторах и слободе Узморской малороссиян, также и разных колоний колонистов. Учиня такое распоряжение, вошел в горницу, где увидел жену мою от бесчеловечного истязания в обморок падшую. По приведении ее через немалое время в чувство, она рассказала, каким образом разбойники, нечаянно вбежа в дом мой, страхом и побоями принудили ее отдать им деньги и показать разное имущество и платье. В соучаствовании ж в грабеже моего дома из малороссиян моего ведомства ни на кого я подозрения не имею».

Жена Пономаренко говорила: «Первого мая вечером поздно находился муж мой в громадском правлении, почему и была я в доме только одна с малолетним сыном моим Гаврилом и свекровью Марьею Акимовою и во время ужина, увидев вбежавшего нечаянно и с великою поспешностью сперва одного человека великого росту и страшного вида с вырванными ноздрями, в пестром халате, имеющего в одной руке пистолет и стремящегося прямо на нас, крайне испугалась. Сей человек и еще другой небольшого росту, видом черноватый, тут же оказавшийся, связав меня и приставив ко мне пистолеты, требовали отдать им деньги и показать платье и прочее имущество, угрожая в противном случае меня убить. Я, видя, что они разбойники, и быв в совершенной опасности о моей жизни, при-

нуждена была приказать сыну моему, чтобы он, сыскав ключи, показал им платье и разное имущество. Но разбойники, не дожидая сего, внеся бревно, разбили шкаф, в котором находилось разное платье, деньги и имущество, которое они ограбили. Во время грабежа разбойники причинили мне и сыну моему Гавриле удары разными имевшимися в руках их орудиями, надев на сего последнего на шею петлю из ремня и водя то за сей ремень, то за волосы по горнице для показывания вещей. Свекровь мою один из разбойников ударил прикладом ружья, отчего она упала, но, опомятовавшись, ушла в окно в соседний дом малороссиянина Авраама Вергуна. Сии два разбойника были вооружены ружьями, саблями, пистолетами и кинжалами. Мы, бывшие в горнице, слышали на дворе частые ружейные выстрелы, а когда последовал колокольный звон, тогда разбойники с ограбленным имением с поспешностью из дома нашего удалились. Сколько ж числом было всех разбойников, того я не знаю». «Когда вбежали в горницу разбойники и производили грабеж имущества, — показывала, наконец, мать Пономаренко, — тогда я получила от одного из них удар прикладом ружья, от коего упала в беспамятстве, по прийдении ж в чувство, ушла из горницы в окно в соседний двор малороссиянина Авраама Вергуна, в коем случившимся зятю его малороссиянину Тихону Быковченко и сыну Василию Вергуну объявя о происходящем в доме сына моего, просила их бежать в громадское правление и дать оному о том знать, почему они в то же самое время в оное и бежали, а сама оставалась в доме Вергуна до совершенного прекращения беспокойствия».

Три года сидели разбойники в остроге, пока тянулось об них дело. Наконец, вышло им решение: спины, уже испытавшие кнут перед первой ссылкой, снова выдержали по двести ударов того же кнута, рваные ноздри снова были вырваны на лицах их, уже отмеченных «штемпелевыми знаками», снова поставлены эти знаки для большей наглядности, подобно тому, как землемер возобновляет ветхие межевые знаки. В свою очередь Куяниченко как руководитель в некоторой степени шаек понизовой вольницы получил двести пятьдесят ударов кнутом[1], жена его пятьдесят, и тот, и другая лишились ноздрей, и тот, и другая отмечены позорными клеймами, и все сосланы на каторгу, только уже не в Нерчинск, а в Херсон, где в то время производились каторжные работы. Так распалась одна из тех двадцати

[1] Куяниченко, значит, подвергся более жестокой казни, чем сами разбойники.

поволжских шаек понизовой вольницы, которые приходилось знавать Куяниченко и давать им не только убежище, но и «работу».

IV

Но распадение шаек не было их конечным уничтожением. Погибали их атаманы, как погиб Ястребов в схватке со своими преследователями, многие пропадали без вести, многие шли в каторгу, и снова бегали оттуда; вместо бывших атаманов выбирались новые, вместо выбывших рядовых разбойников, находились новые товарищи, которые искали своей доли либо в камышах, либо в вольной степи, либо в темном лесу да на поволжском широком раздолье. Так было и в 12-м году. Наводнение в этом году Поволжья разбойничьими шайками объясняется, кроме общего неудачного хода исторической жизни русского народа, еще и тем, что ожидание нападения на Россию Наполеона I требовало особенного напряжения сил государства, а усиленные рекрутские наборы вызывали усиленные побеги рекрутов, уже забритых, или тех, которых ждала рекрутская очередь. Вот несколько случаев проявления усиленного движения понизовой вольницы в это время. Летом 12-го года огромная партия солевозцев возвращалась с солью от Эльтона к Саратову. 15 июня, вечером, партия эта остановилась в степи на ночлег и на корм волов и, по обыкновению того времени, столь беспокойного, расположилась по-военному — «табором». Впрочем, так как солевозцы были малороссияне, то они в расположении своих обозов таборами руководствовались, конечно, преданиями и воспоминаниями, вынесенными из своей родины, где соседство татар и всяких хищников научило не только запорожцев, но и простых чумаков, солевозцев, рыбовозцев всякую остановку в дороге делать табором. Фуры обыкновенно ставились в круг или в каре, плотно, фура к фуре, а в середине обыкновенно собирались чумаки и варили себе на треногах кашу. В этот круг, как и в майдан или на городскую площадь, сходилось все общество чумаков, а на внешней стороне табора становились часовые или просто пастухи и подпаски со своими помощниками и ночными дозорцами — собаками, и сторожили волов, пасшихся в стороне от табора. Во время нападения хищников волы сгонялись в круг табора, где находились и сами чумаки, и защищаемые фурами, весьма стойко принимали и удачно отражали нападения неприятеля, стреляя в нападающих из-за

своих фур, нередко укрепляемых «полостями», то есть кошмами или толстыми войлоками, сквозь которые не всегда могла простреляться пуля. Таким образом остановилась в заволжской степи партия солевозцев, возвращавшаяся с Эльтона. Ночью, когда весь табор уже спал, чумаки разбужены были ружейными выстрелами, раздавшимися в той стороне, где паслись их волы под надзором «еще не бывших доселе в ходке молодых ребят». Затем послышались крики подпасков, призывавших чумаков на помощь. Многие чумаки, «с великою поспешностью вооружаясь, кто имел, киями, дротиками и огнестрельными орудиями», бросились на призыв подпасков и увидели, что «неведомые люди, числом, по примеру, более десяти, верхами и якобы в военном одеянии, с немалою стремительностью, завернув по степи, волов гнали». Чумаки бросились наперерез хищникам и стали кричать им, «чтоб волов их не трогали и от табора в степь не отбивали». Неведомые люди отвечали выстрелами и одного из чумаков «пулею пониже локтя в правую руку простелом ранили». Другие из них бросились на табор и, подскакав расстоянием не более как на две фуры, закричали: «Кто обозу атаман?» Малороссияне, помня предание и даже порядки своей родины, некогда свободной Малороссии и Запорожья, и даже по переселении в великую Россию удержали некоторые из своих общественных порядков: так они не только избирали атаманов в своих новых селениях и отдавали им в руки, на правах выборного начала, управление общественными делами, но они сохранили этот обычай и в других случаях, где применимы были или артельные, или общинные начала, как, например — во время чумацких ходок они иногда избирали себе атамана, который и заправлял делами всего обоза в качестве начальника или капитана на пароходе. «Кто обозу атаман?» — повторили неведомые люди, остановившись перед табором и «угроживая дротиками и саблями». Из табора никто не отвечал.

— Кто между вами старшина, тот выходи из табора, — снова сказали неизвестные люди.

— А вы что за люди? — ответили из табора.

— Мы люди вольные, и вам волю привезли, — говорили неизвестные хищники.

— Нам вашей воли не надобно, — отвечал из табора малороссиянин Семен Дудник, бывший атаманом обоза. — Ступайте своею дорогой и нас не трогайте, как мы вас не трогаем.

Неизвестные люди настаивали на том, чтобы к ним из табора выслали атамана. Но Дудник не выходил, «опасаючися за свою жизнь». Тогда неизвестные люди открыли по табору

«нестерпимую ружейную пальбу». Из табора также отвечали выстрелами из «имевшихся у некоторых чумаков винтовок и дробовиков». Хотя перестрелка продолжалась недолго, однако чумаки, «опасаясь быть на смерть побитыми», уговорили атамана выйти к разбойникам и спросить их, чего они требуют от обоза. Дудник вышел. Один из нападающих, по-видимому, атаман оной разбойнической партии, «поздоровкавшися с ним, Дудником, и назвав его по имю и отечеству, спросил: много ли у вас громадских денег?» Дудник отвечал, что у них в обозе громадских денег нет. Тогда один из разбойников громко сказал: «У дяди Дудника всегда деньги бывали — он человек достаточный».

«По сим речам оными чумаками опознан был малороссиянин Узморской слободы Максим Середенко», — говорится в объявлении, поданном чумаками в громадское правление Покровской слободы. Как оказалось, Максим Середенко был отдан в последний набор в рекруты, бежал из Саратова вместе с другими новобранцами, поступил потом в одну из шаек понизовой вольницы и по голосу был опознан чумаками в числе прочих разбойников. Дудник снова говорил, что у него нет ни своих, ни громадских денег и просил разбойников возвратить обозу отогнанных у него волов. «Неправду сказывает дядя Дудник, — снова закричал из шайки разбойников Середенко, — у него деньги задолблены в важнице». Надо заметить, что малороссийские чумаки, отправляясь куда-либо в далекий извоз («в ходку») «в дорогу» — на Маныч ли за солью, или на Дон за рыбой, или в Крым, или на Эльтон, имели обыкновение прятать находившиеся с ними в дороге деньги так, чтобы никто не мог догадаться о месте их нахождения. Иметь при себе деньги считалось неосторожным в виду частых опасностей от воров и разбойников; также неосторожным считалось зашивать деньги куда-либо в платье. Самым безопасным способом хранения денег в дороге считался следующий: отправляясь в ходку, чумак обыкновенно просверливал или продалбливал у своей фуры оглоблю (у конной фуры) или важницу (у фуры воловьей), так, чтобы в это продолбленное место можно было спрятать деньги, — и оттого у чумаков до сих пор в обычае особенно тщательно беречь свои важницы. Вот на это-то обстоятельство указывал и разбойник Середенко. По этому указанию разбойники требовали у Дудника выдачи важницы. Дудник и тут не послушался. Тогда разбойники «мучительски его тиранили», то есть били нагайками и «имевшимися у них сыромятными путами», заставляли выдать не только важницу, в которой, когда ее изрубили, ничего не оказалось, но и день-

ги, 325 рублей, которые хранились в самой фуре. Получив деньги, разбойники оставили у себя одного только вола, вероятно, себе в пищу, и не сделав больше никакого вреда чумакам, скрылись в степи.

Возвратившись в Покровскую слободу, чумаки подали в громадское правление объявление о нападении на их обоз разбойников. Громадское правление донесло об этом в Саратов. Посланы были розыски во все заволжские места и по нагорной стороне Волги. Но разбойники исчезли бесследно. Около этого же времени много наделала шуму в Поволжье одна разбойничья шайка, атаманом которой был попович. Участие поповичей в делах понизовой вольницы — явление не новое и весьма характеристическое, на которое мы и обратили внимание в одной из прежних наших монографий[1]. Явление это до сих пор еще не было подмечено ни одним из русских историков, а оно стоит того, чтоб история выяснила все фазисы его развития, его источник и все его видоизменения, имеющие важное значение в истории русского общества. Явление это представляет такие крупные, ярко выдающиеся рельефы в историческом прошлом русского народа, что наглядно обрисовывает, при тщательном исследовании его, весь процесс государственной жизни России.

Не вдаваясь в дальнейшее развитие этого вопроса (так как он, только косвенно относясь к содержанию нашей настоящей статьи, должен быть избран предметом особого исследования), мы считаем необходимым указать лишь на то, что знаменитый Заметаев, которого правительство официально называло «чудовищем» и который после Пугачева взволновал было все юго-восточное Поволжье, был сын дьячка; что одним из весьма опасных агитаторов того же времени был попович Казанский (из Камышина), поднявший на ноги калмыков, киргиз-кайсаков, волжских казаков и поволжских бурлаков, и что, наконец, в редкой шайке понизовой вольницы XVIII века не было деятельных агентов из поповичей — или сын попа, или сын протопопа, или дьячковский сын и т. д. В 1807 году из Николаевского городка, что против Камышина, за Волгой, заселенного в XVIII веке выходцами из Украины, бежал сын тамошнего попа Ильина, Данило Ильин. По-видимому, он был преследуем в своем городке за буйственный характер и неповиновение как отцу, так и местным властям. Четыре года пропадал попович, и на родину об нем не приходило никаких вестей. Впоследствии оказалось, что он все

[1] «Участие семинаристов в народных движениях XVIII века».

четыре года мыкался по Поволжью и за границей. Бежав из родительского дома и подделав себе фальшивый паспорт, он под именем крестьянина Семена Петрова поступил на судно (на расшиву) астраханского купца Хлебникова в качестве бурлака и на этом судне сплыл до Астрахани. «Намерение мое было, — говорил впоследствии Ильин на допросе, — каким ни на есть способом пробратца в Персию и, обогатясь там, выдтить обратно в Россию, а естли сие не удастся, то, полонив, какую попадется, богатую княжну персицкую, на которой женясь и получа богатое приданое, навсегда в Персии остатца. Естли в Персии мне не посчастливится, то думал сделатца таковым же, как был Стенька Разин, и подговоря охотных людей, коих в Астрахани довольно шатаетца без дела и промыслу, намеревался с оными разбивать корабли персицкие с товарами». Планы поповича были, таким образом, очень широкие, только исполнение их, особенно в девятнадцатом веке, было уже не так легко, как это могло быть в семнадцатом, даже в восемнадцатом веке, при Пугачеве и до него. Судьба и слава Стеньки Разина были, как видно, очень заманчивы в глазах поповича, и без сомнения с историей Разина он познакомился по народным песням, очень распространенным по всему юго-востоку России. Как бы то ни было, Ильин пробрался в Астрахань, а оттуда на каком-то «морском судне» одного персиянина ему удалось попасть и в Персию. Надо полагать, что в Персии он не нашел того, чего искал, — ни богатства, ни персидской княжны, ни возможности сделаться новым Стенькою Разиным. Во всяком случае, он умалчивает о своей жизни и о своих похождениях за границей, а говорит, что «проживши там с год времени в работниках, скучился по своей стороне и обратно прибыл в Астрахань». Работая на рыболовных ватагах, Ильин сошелся с некоторыми из личностей, недовольных своим положением и искавших выхода куда бы то ни было из своей незавидной доли, и задумал вместе с ними выбиться из унизительной роли ватажного рабочего, если уже ему не суждено было сделаться вторым Стенькою Разиным. Весною 1810 года попович навербовал себе до двадцати человек охотников, которые и выбрали его своим атаманом «с общего согласия». В день избрания атамана, эта вновь сформированная шайка, по указанию ватажного работника Луки, без отчества и фамилии, и под начальством нового атамана, руководившего первой разбойничьей экспедицией, напала на рыболовную ватагу купца Крюкова, ограбили ее, взяли съестные припасы, ружья, порох и несколько кусков свинцу на пули, тут же захватили «старую медную пушку с

клеймом», две лодки, бочонок водки, двух телок и, разместившись на этих двух захваченных лодках, отъехали на ближайший остров, «причем никто из ватажан ни убит, ни ранен не был». На острове разбойники зарезали и сжарили обеих телок, взятых на ватаге, устроили себе пиршество и в эту же ночь отправились вдоль морского побережья. В течение двух дней попович со своею шайкою ограбил еще несколько ватаг, увеличил запас оружия и продовольствия, приобрел в артельную казну до пятисот рублей, три пушки, много ценного платья и вывел свою маленькую флотилию, состоявшую из пяти лодок, при сорока и более разбойниках, в открытое море. В первый же день вывода своей флотилии в море попович напал на шедшее по направлению из Астрахани морское судно и дал первое морское сражение. «Выпаля из пушек и окружа оное судно, я взошел на него с моею командою, но смертного убийства не чинили, а только экипаж и начальника судна связали, деньги же, а равно все для моей команды пригодное взяли и между собою поделили», — говорил попович на допросе, по-видимому, даже кичась своими подвигами и «своею командою». Второе морское сражение с персидским судном попович имел в виду Тюленьего острова, но судна этого не взял «за быстрым оного ходом и за сильною в меня пушечною пальбою, которою одна в моей команде лодка и потоплена в море, из коей мною спасены только два человека». У атамана, таким образом, осталось всего четыре лодки. После этого сражения разбойники долго крейсировали вдоль морского берега, а потом ввиду того, что «на всех ватагах нами много шуму было наделано, — говорил атаман, — я повел свою команду к трухменским берегам, думая там переждать некоторое время, доколе молва о наших разбоях не утихомирится». Но молва, по-видимому, «не утихомирилась». Когда разбойники, придерживаясь берега, пробирались около волжско-каспийского берега, то у Долгой косы они столкнулись с двумя «казенными баркасами», которые были вооружены пушками, и здесь, у этой косы, попович-атаман должен был выдержать третье морское сражение. «Мои пушки осилили, и оные баркасы, поворотя, за косою скрылись», — признавался впоследствии атаман-попович в своих подвигах.

Оттуда атаман провел свою шайку вдоль левого морского побережья, причем разбойники заходили иногда на ватаги «по знаемости оных некоторым команды моей людям», как выражался атаман-попович, и там запасались хлебом и другими припасами, когда шайка начинала чувствовать в них недостаток. Так она прошла до устья реки Урала, миновав Гурьев

городок пробралась до устья реки Эмбы, до Мертвого Култука. В этих местах разбойников захватила осень, а потом зима, и потому они принуждены были разбиться на мелкие шайки и скитаться по берегу в виде рабочих людей. Атаман, однако, с небольшою частью своей шайки нашел пустую рыболовную ватагу с теплым помещением, в которой оставшиеся семь человек разбойников и провели зиму, «питаясь угоняемою у кочевавших там по близости киргизов скотиною и убиваемыми из ружей зайцами». На весну, как видно, атаман уже не мог собрать всех разбойников, бывших в его первой, весьма многочисленной шайке, которую он гордо именовал «своею командою», и должен был ограничиться одною лодкою и одною пушкою[1]. Прочие разбойники разбились на отдельные шайки и избрали себе других атаманов, как это всегда бывало в обычаях понизовой вольницы. Причины неудовольствия разбойников на своего прежнего атамана попович не объяснил, хотя слава его, как хорошего и удачливого атамана, должна была бы привлечь к нему всех, бывших под его командою и счастливо выдержавших три сражения. Надо полагать, что атаман-попович не всегда соблюдал артельные разбойничьи начала, в силу которых в шайке преобладали общинные права, вся добыча шла в дуван, а на казну, находившуюся в заведывании атамана, всякий разбойник имел почти равные права с атаманом. В одном месте Ильин выразился, что, когда перед наступлением зимы, захватившей его шайку у Мертвого Култука, некоторые из разбойников требовали у атамана себе на зиму денег (на харчи), то атаман «в деньгах им до весны отказал».

Оставшись с небольшим числом разбойников, весною 1811 года попович вывел их на Волгу, пробравшись мимо Астрахани в ночное время. По-видимому, поповичу хотелось пройти на родину, в малороссийскую Николаевскую слободу. Дорогой у него отстало три человека, «кои намерение имели идтить на Дон к родным», а в Царицыне, на пристани, между бурлаками он нашел двух охотников, которые оказались беглыми рекрутами, принятыми в Камышине в последний набор. Через несколько дней атаман был уже на родине. Что его тянуло туда — неизвестно, только ночью 2 июля он явился в свою родимую слободу и пробрался к дому отца, старого священника Ильина.

Отец и мать Данилы ужинали, когда он вошел к ним в дом.

---

[1] «...всех же команды моей людей, за выбранием оными себе новых атаманов, собрать было невозможно».

— Хлеб-соль, батюшка с матушкою, — сказал атаман, здороваясь с родителями, которых не видал четыре года. — Признаете меня?

«Не столь обрадовавшись оному, сколько испугавшись, поелику не чаяли видеть своего сына в живых», отвечали (писал потом священник в своем заявлении камышинскому земскому суду):

— Ежели ты добрый человек, то признаем в тебе нашего сына, а естли обесчестил наше имя, то уходи, откуда пришел.

— Я добрый человек, и вы меня принять должны, — сказал атаман, и при этом вынул из кармана мешок с золотом и, показывая деньги отцу, прибавил. — Вот моя казна — с казною я повсюду находил отца с матерью: теперь и вы меня богатого не прогоните.

— Каким делом ты оные деньги добыл? — спросил отец.

— Добрым делом. Ныне я уже не попович, а командир.

— Кто ж тебя в командиры пожаловал? — снова спросил отец.

— Сам, — отвечал атаман.

«Устрашенный сими словами паче прежнего», старик священник не знал, что ему делать, «боясь ответственности перед строгостью закона».

— Где ж ты был по сие время? — спросил старик («думая расспросами удержать его у себя и тайно донести о том начальству для задержания оного беспутного сына моего», прибавил он в заявлении).

— Бывал я в персицкой земле, и иностранные корабли на море разбивал, — снова отвечал попович, — а ныне пришел с долгами расплачиваться.

Оказалось, что это была угроза: попович явился на родину с тем, чтобы отмстить своим прежним врагам. В то время когда он говорил с отцом, недалеко вспыхнул пожар. Попович, подойдя к окну и указывая на зарево, сказал:

— Видите, это моя команда за мои долги золотом расплачивается.

«Сии слова повергли меня в беспамятство, — писал старик священник, — и когда я пришел в чувствие, то оного злодея, сына моего Данилы, в горнице уже не было, и где он ныне находится, мне також неизвестно».

Разбойники, по приказу и по указанию атамана, подожгли дом бывшего писаря Дежи.

Дежа был личным врагом атамана-поповича, когда Данило жил у отца. Старик по совету Дежи хотел отдать своего беспутного сына в рекруты, а потому тот и бежал.

Вот что на другой день писали в Камышин из Николаевской слободы:

«Сего месяца, 25 числа, ночью, явившись к дому оной слободы малороссиянина Антона Дежи, три неизвестные человека и тот дом с причелка зажгли, и когда оный Дежа, выбегши на улицу, кричал о помощи, то одним из тех злодеев, подошедшим к Деже и ударившим его ружейным прикладом в грудь, ответствовано: «Вот тебе поклон от нашего батюшки Даниила Захарьевича», и в ту ж минуту скрылись. И по тем оных злодеев словам уповательно, что оный поджог учинен по наущению бежавшего из оной слободы священника нашего Захария сына Даниила, который в ту ж ночь к отцу своему священнику Захарии приходил, не бывши с четыре года, и отмстить угроживал, а кому — не сказал, только на горящий писаря Дежи дом показывая, сказал, что-де моя команда за меня золотом платит, и с теми словами неведомо где скрылся, а священник Захария от таких угроживаний сына своего упал без чувств и потому злодея задержать не мог». О розыске и поимке разбойников немедленно дано было знать во все соседственные места. Вызван был в Камышин отец атамана разбойников, священник Захария, который и дал вышепоказанное объяснение о ночном посещении его сыном атаманом. Прошел почти год, но поиски ни к чему не привели: ни атамана, ни его шайки никто более не видал в тех местах и о подвигах их ничего не было слышно.

Правда, носились слухи о разбоях, видели на Волге, по лесам и по степям, бродяг и разбойников, ловили их и допрашивали но ни сам попович не давался в руки, ни один из его разбойников. Атаман-попович между тем снова был далеко от места своей родины. Его, как видно, тянуло в Казань, к Макарью, на макарьевскую ярмарку, на которую со всех концов России и Азии всегда стекались такие разнородные элементы и где в толпах пришлого и приезжего народа привольно было толкаться мелким шайкам понизовой вольницы. И Ильин действительно водил туда своих товарищей, хотя и не говорит о своих похождениях на ярмарке, а упоминает только в своем показании, что лодку свою разбойники по прибытии к Макарью оставляли «у знакомого товарищу их Петру Красину ловца, за Волгою». На возвратном пути атаман заводил своих товарищей в Казань, но в этом городе они «никакого дела не делали, а только, в рассуждении уже холодных ночей, купили себе теплой одежды и обуви, да в Казанском монастыре у чудотворной иконы Казанския Божия Матери по свечке поставили».

V

Последний факт, что разбойники от усердия своего поставили по свечке перед образом Казанской Богородицы, — эта замечательная черта в характере всего русского народа. Просматривая сотни разбойничьих дел XVIII века, мы постоянно видели в признаниях разбойников, нередко жестоких и бесчеловечных убийц, что они усердно «у исповеди и святого причастия бывали». Поднося нож к горлу своей жертвы, иной разбойник творит крестное знамение и призывает Бога, чтоб он помог удачно зарезать того, кто ему под руку подвернулся. Показывая награбленные с помощью убийств и пожаров деньги, разбойники говорят об этих деньгах, что это «Бог им дал». Вот почему атаман-попович ведет своих подкомандных разбойников в Казанский монастырь, чтоб образу Богородицы по свечке поставить. Это — от усердия, от своих трудов праведных, как выражается русский человек, потому что для понизового доброго молодца разбой — труд, «ремесло», дело, как всякое другое дело, не осуждаемое ни гражданским чувством, ни гражданскими правилами. Вот почему в народных песнях, когда «воеводы, лихие супостаты» высылают для поимки удалых добрых молодцев частые высылки, называя добрых молодцев «ворами, разбойниками», народное чувство как бы вступается за добрых молодцев, и народ поет их именем:

Мы не воры, не разбойнички,
Мы люди добрые, ребята все поволжские,
Ходим мы на Волге не первый год,
Пьем, едим на Волге все готовое,
Цветно платье носим припасенное —
Воровства, грабительства довольно есть.

Последняя строка в песне прибавляется как бы для того, чтобы показать, что и без добрых молодцев везде царит грабеж и воровство. Таким образом, поставив по свечке в Казанском монастыре и удовлетворив тем чувству набожности, а может быть, просто обрядовой стороне народного воспитания, разбойники продолжали свой путь вниз по Волге. Ниже Саратова, у села Золотого, у них была схватка с «неизвестными проезжими». Надо полагать, что «проезжие» были также добрые молодцы, как и товарищи «командира-поповича», и таким образом шайка нарвалась на другую разбойничью шайку. Из показаний разбойников видно, что «проезжие напали на них ночью, в небольшой лодке со снастями» и, «выпаля из ружья», требовали, чтоб те остановились. Но когда

с лодки атамана Ильина также отвечали выстрелами и атаман, скомандовав «на греблю», закричал «лови их мошенников», — неизвестные проезжие обратились в бегство. Лодка Ильина гналась за ними вплоть до самого берега, но достигнуть не могла. Преследуемые, выскочив из лодки на берег, скрылись в лес, оставя лодку, в которой Ильин нашел железный лом и небольшой «казанок» (котелок), а в казанке два куска золотой парчи, аршина на четыре, пустую церковную кружку, медную лампадку и «скрученную в трубку серебряную ризу Спасителя». По вещам, найденным в покинутой неизвестными людьми лодке, и в особенности по оставленной ими в казанке парче, церковной кружке, лампадке и ризе от образа, можно заключить, что лодка эта тоже принадлежала разбойникам, которые ограбили какую-либо церковь, и, не зная, с кем их столкнул случай на Волге, намеревались было ограбить таких же, как и сами, удалых добрых молодцев, но только встретили в них опасных противников и должны были сами спасаться бегством. Приехав в Камышин, атаман-попович узнал, что его с шайкою разыскивают и что приметы его разосланы по всем тамошним местам. Оставаться, таким образом, вблизи своей родины было небезопасно, а между тем наступила зима, надо было подумать о том, где и как провести это время, когда нельзя будет ни на лодке разъезжать по Волге, ни ночевать под яром и кустом, ни скитаться по снегу. Надо было распустить шайку до весны, чтоб «каждый о себе подумал». Разбойники разошлись. Но прежде чем проститься с атаманом, они продали лодку незнакомым рыбакам, а пушку и ружья, которые при них были, равно пистолеты, сабли и прочие военные снаряды, «обвив соломою и циновками, в яр, повыше города Камышина, к вершинам Кривова барака в землю зарыли». Оставшись один, атаман-попович на зиму превратился в купца. Накупив в Камышине соленой красной рыбы, добыв себе лошадь «с пошевнями», он всю зиму разъезжал по дальним селениям и станицам на реке Медведице и продавал казакам рыбу. На весну 1812 года он снова появился на Волге в качестве атамана шайки. В «малиновой черкеске, обшитой золотым гасом», с пистолетом за поясом и с «персицкою высокого разбора саблею» при бедре, попович красовался на лодке, которая в случае надобности могла пустить в дело двенадцать весел, и в течение лета успел разбить до пяти больших судов. На одном судне во время схватки купец, хозяин судна, ранил атамана-поповича в левую ключицу, и попович, высадив на берег рабочих этого судна, обобрав у купца деньги, паспорта рабочих, хлеб и сухари, вместе с хозяином-куп-

цом затопил в Волге судно, пониже станицы Короваинки. Сожжением дома писаря Дежи в Николаевской слободе, как видно, не вполне было удовлетворено чувство мести поповича, и потому он снова тайно явился в свою родимую слободу, подломал алтарь в церкви, унес церковные деньги и серебряную утварь, зажег дом атамана этой слободы Артема Гарковенка и снова ушел на Волгу. Но к концу лета атаман-попович был пойман с одним из своих товарищей, с разбойником Петром Красиным. Его схватили в Камышине, в слободке, в доме его любовницы, солдатской жены Натальи Любимовой, у которой он пировал всю ночь накануне Спаса-Преображения. После первых допросов, снятых с разбойников и раскрывших всю сложную историю похождений атамана-поповича и его шайки, атаман и его товарищ Красин по оплошности караульных солдат бежали. Что сталось потом с атаманом-поповичем и его шайкою — из дела не видно. Во всяком случае, мечты его — сделаться вторым Стенькою Разиным — далеко не осуществились. Не то было уже время и не те люди, с которыми ему приходилось бороться. Пожалуй, можно было бы и в то время поднять на ноги половину России, как это сделал за сорок лет до него Пугачев, но явление Пугачева было мотивировано иными условиями государственной жизни и иначе обставлено было самое его дело. Имя Пугачева становилось знаменем известной идеи, известных исканий целого народа, а атаман-попович, по-видимому, широко и глубоко не загадывал: он не был народным знаменем, как был им, до известной степени, в свое время Стенька Разин, которому попович вздумал неудачно и несвоевременно подражать. Как бы то ни было, но из всего вышесказанного достаточно, кажется, явствует, что и пятьдесят восемь лет назад, при отцах наших, условия государственной и общественной жизни нашего отечества были еще таковы, что понизовая вольница продолжала жить между нами и топтать ногами некоторые права наши, как доселе в объединенной Италии, рядом с Гарибальди и его сыновьями, шайки бандитов этой итальянской понизовой вольницы топчут своими ногами те человеческие права, которые, кажется, достаточно освящены историей и наукой. А кто виноват? История и на это должна дать категорический ответ — и она скоро даст его.

Беглый король

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

I. В КАМЧАТКЕ — АЛЬПИЙСКАЯ РОЗА

Это было в Камчатке, в Большерецком остроге.

Зима приближалась к концу, и бесконечные северные ночи, хотя и значительно укоротились, однако все еще были томительно долги.

В одну из таких ночей, уже близко к полуночи, в просторной деревянной избе, с широкими нарами, сидели несколько человек. Сальная свеча, поставленная на столе, слабо освещала их пасмурные лица.

— Странный ты человек, Батурин, — сказал один из сидевших у стола, плотный мужчина лет за пятьдесят, с сильной проседью в черных волосах, обращаясь к белому как лунь старику, с блестящими, как у юноши, черными глазами.

— Чем же я странен? — спросил старик.

— Да как же! Говоришь, что здесь жизнь — раздолье.

— Конечно, государь мой, раздолье. Не забудь — кто мы. А вот ходим без цепей, дышим не спертым воздухом подземных казематов, а воздухом полей, лесов...

— И тундр, — перебил его первый.

— И подлинно, — вмешался в их разговор третий, более молодой мужчина с серыми грустными глазами, — у нашего воеводы живем, как у Христа за пазухой.

— Ах, государи мои! — покачал головою первый, седой как лунь старик, которого называли Батуриным. — Видно, что вы новички в этой шкуре.

— Хороши новички! — перебили его собеседники. — Скоро, кажется, сгнием здесь от цинги.

— Эх! — махнул рукой старик. — А вы попробовали бы моего! Ровно двадцать лет в Шлиссельбургском каземате, в одиночном заключении — ведь это, государи мои, семь тысяч триста дней играть в молчанку.

— Семь тысяч триста дней! Это ужасно! — согласились собеседники.

— Да, государи мои, ужасно, — продолжал старик. — Удивляюсь, как я не разучился говорить! И еще что, государи

мои: каждый час ждешь, что вот-вот звякнет ключ в дверях, а там... Я, знаете, государи мои, от тоски считал там дни и часы. И знаете, сколько часов насчитал? Четыреста тридцать восемь тысяч!

— Капиталец! — протянули серые грустные глаза. — И вы счет вели?

— Вел-с — что ж было делать! Как только кончался день, я и ставлю крест на стене — похерил один день! Таких хером я и нацарапал семь тысяч триста с хвостиком.

— Это висококосы в хвост? — улыбнулись серые глаза.

— Висококосы, точно. А часы, государи мои, я считал особо. Как звякнет колокол на башенных часах и гулко отдастся у меня в сердце, — я черточку на стене провожу. Все стены каземата исчертил.

— Ну, летопись! Дневничок занятный! — снова улыбнулись грустные серые глаза.

— Да-с, государи мои, — вот я так все и чертил. А потом начну считать да снова пересчитывать, так день и пройдет.

Он задумался, машинально перебирая пряди своих серебристых волос.

— Так-с, — тоже задумчиво сказали грустные серые глаза, — это ты, брат, помечал на стенах дни и часы, а годы сама природа отмечала мелом вот на этих волосах, что серебром отдают.

Тот плотный мужчина, что первый заговорил со стариком, встал и быстро зашагал по избе.

— Это ужасно! — сказал он, как бы про себя. — Семь тысяч триста крестов, четыреста тридцать восемь тысяч черточек! Да я б не вынес этого, я голову размозжил бы об стену и мозгом бездольной головы моей забрызгал бы и эти кресты, и черточки.

— Н-ну! — отозвались серые глаза. — Батурин был умнее нас.

— Не умнее, — возразил старик, — а жить хотелось мне, думать и — любить! Смешно сказать — любить в одиночном заключении! А я любил, государи мои.

— В каземате-то?

— В каземате, государи мои.

— Кого же это?

— А паука-с.

— Как паука?

— Так просто-с, — паука. Представьте себе, государи мои, — старик встал и оперся руками на стол, — завелся

над моею койкой, в углу, паучок, свил себе тенетцы тонкие — ну, и бегает по нитям своим, а то сидит и глядит на меня. Мне казалось, что он понимает меня и охотно, как друг, разделяет со мною мою неволю. И удивительное дело, скажу я вам: он также, бывало, как и я, вздрагивал на своих тенетцах, когда, бывало, ударит колокол на башенных часах либо звякнет запор и замок у нашей двери — он тотчас же прятался в углу. И, представьте себе, до чего доводит одиночество: я так привязался к моему паучку, что, когда мне объявлена была милость — вместо каземата ссылка сюда, в Большерецкий острог, — мне жаль стало моего паучка: с кем-то ты, думаю, останешься, мой друг?

Он помолчал. Молчали и остальные его собеседники. Было тихо в избе, только за печкою трещал сверчок да за окном уныло гудел ветер.

— Так-то, государи мои, — снова продолжал старик, садясь на прежнее место. — А здесь что? Здесь раздолье! Здесь вот я вас вижу, с вами беседую, здесь я хожу вольно по этому пустынному острогу, по тундрам, вижу небо, горы, а по пути сюда так и пение птиц слышал... А вот чудно, государи мои: никакой птице я так не обрадовался, как сороке, когда в первый раз увидел ее в дороге после двадцатилетнего шлиссельбургского сидения. А ты, Хрущов, что молчишь? Все тоскуешь небось?

Слова эти относились к четвертому собеседнику, который сидел в стороне у окна и не принимал участия в разговоре. Это был стройный блондин, с тонкими чертами лица и черными глазами.

— Что — тоскуешь, друг? — повторил старик.

— Нет, — отвечал тот, которого назвали Хрущовым, — не тоскую, а слушаю, как под окном вольный ветер плачет.

— Эх ты, поэт! — отозвались серые глаза. — Об чем там ветру плакать? Разве он ссыльный, как мы с тобой? Он у нашего идола Нилова не под командой: ему вольно лететь куда угодно, хоть в Питер.

— Питер! — с горечью повторил, как бы про себя, тот, которого назвали Хрущовым. — Ах, как живо помню я этот Питер и этот хмурый день, когда меня да брата Алексея, да Гурьевых трех братьев в тяжелых кандалах привели на место казни. Сколько народу, войска! И стали читать... Помню я даже слова этого чтения: я думал, что это были последние слова, которые суждено мне было услышать на земле... «За богомерзкое и столь злодейское

дело, как изблевание хулы величества, по всем законам, Петра Хрущова да Гурьева Семена, яко главных в том деле зачинщиков, — четвертовать и голову отсечь, а Гурьевым Ивану и Петру — тож головы отсечь»... И глухо, глухо там, где-то под нами, барабан стучит... И жду я, безумец, жду — вот шевельнется масса, вот послышатся голоса из толпы: «Зачем казнить? Они за законного государя да за нас стояли». Нет, все молчит кругом — один барабан говорит... Ветерок повеял мне прямо в лицо и бросил на лицо прядь моих волос, и я вспомнил, как эту прядь когда-то ласкала милая рука, а теперь эту прядь схватит рука палача, чтоб вместе с головой сбросить вниз, к ногам толпы... А около меня все читают: «Повелеваем меч, нам Богом данный и, по словесам Его, не без ума носимый нами, удержать в ножнах и, жизнь оставя им, послать в Камчатку на вечное житье»... И вот я здесь! Семь лет гнию средь этих тундр, в снегах, семь долгих лет все думаю о том, что вечно закрыто для меня!

— Эх, поэт, поэт! — вздохнули серые глаза. — Все-то изукрасит цветами красноречия, даже тоску свою.

— А что не видать Гурьева? — оглянулся Хрущов на остальных.

— Да он все дома сидит, редко к нам ходит, — отвечал один из собеседников.

— Он что-то дичится нас, — заметил другой.

— Давно не был и Бениовский, — вставил третий.

— Он рисует карту Камчатки и Курильских островов, — пояснил первый.

— Зачем она ему?

— На случай — пригодится.

— А может быть, для своей ученицы.

— Для Афанасии Григорьевны?

— Да... Он, кажется, к ней — тово.

— Да и она тоже... А славная девочка! И как такой роскошный цветок распустился на снегах Камчатки, среди проклятой тундры!

— Альпийская роза: она и на снегу растет.

В сенях избы послышались чьи-то шаги.

— Кто-то идет! Уж не он ли?

Дверь отворилась, и на пороге показалась высокая, стройная фигура мужчины лет за сорок, со смелым взглядом продолговатых, точно у сфинкса, и, как у сфинкса, почти не мигающих глаз.

— Ба-ба! Легок на помине!

II. «НЕ ВО ВРЕД РОССИИ»

Вошедший был знаменитый в прошлом веке энтузиаст, барон Мориц Анадар Бениовский.

Бениовский считался венгерцем, но он скорее был поляк и по рождению, и по воспитанию, и по своим политическим симпатиям. Вместе с польскими конфедератами Пулавским, Огинским и Пацем он сражался против русских войск, которыми и был взят в плен, а в 1760 году сослан был в Камчатку, в Большерецкий острог.

Здесь он сошелся с другими ссыльными русскими, с которыми мы уже отчасти познакомились в предыдущей главе. Серебристоголовый старик, говоривший о своем двадцатилетнем пребывании в Шлиссельбургской крепости, был Батурин Яков. До ссылки он состоял в артиллерии, в чине полковника, и за покушение в 1748 году возвести на престол великого князя Петра Федоровича был заключен в Шлиссельбургский каземат, где действительно и высидел в одиночном заключении двадцать лет. Затем, в 1769 году, одиночное заключение было заменено для него вечною ссылкою в Камчатку же, в Большерецкий острог.

Другой, плотный мужчина, с сильной проседью, был Степанов Ипполит, некогда капитан армии, а теперь тоже арестант Большерецкого острога. Это был, по-видимому, очень мощный и энергичный человек с силой буйвола.

Серые грустные глаза принадлежали его молодому другу Панову, товарищу по ссылке. Панов был душою и любимцем этого небольшого кружка ссыльных, и хотя он постоянно шутил и острил, развлекая товарищей в минуты тоски по родине и вызывая улыбки на их хмурые лица, но глаза его при этом постоянно оставались задумчивыми и грустными. Оттого шутки его отдавали какою-то скрытою горечью и веселость казалась напускною.

Тот, кого он называл поэтом, был Петр Хрущов, некогда поручик лейб-гвардии Измайловского полка, а с 1762 года — арестант Большерецкого острога. Петр Хрущов был главою известного заговора Хрущовых и Гурьевых — заговора, которым, так сказать, открылось царствование императрицы Екатерины II. Это была натура нервная до болезненности, а потому подчас бессильная обуздать свое пылкое, тоже до болезненности, воображение.

— Что вы такие мрачные, друзья мои? — спросил Бениовский, садясь около Батурина.

— Да вот все Хрущов смущает, — отвечал Панов, кивая головой по направлению к Хрущову.

— Чем же это?

— Да все поэзией — такое несет, что уши вянут: говорит, что слушает, как ветер плачет, — и чего ему плакать? То сам с ветром разговаривает, и будто бы ветер говорит ему: «Ах, брат Хрущов, как устал я носиться вокруг земного шара». А кто его, дурака, гонит? «Пролетал я, — говорит, — будто бы Америкой и Тихим океаном, и везде-то, — говорит, — все Хрущовы хнычут. Хотелось бы мне, — говорит, — в Россию полететь (и кто мешает?), посмотреть, что «там». А Хрущов и говорит ветру: «Лети, братец, да поклонись родной сторонке — скажи, как мы здесь изнываем по воле». А я и говорю: да ты не очень-то подбивай ветер, а то и его, дурака, постегают да сюда же сошлют под команду Нилову — шутить-то там и ветру не позволят. Вон на что галки — птицы! — а и галок сот пять сослали, говорят, в Пелымь за то, что, глупые, глазели над дворцом, когда там изволил почивать светлейший герцог Бирон.

Бениовский загадочно улыбнулся.

— Bene, bene! — сказал он весело. — Si non e vero, ben'trovato — похоже на истину: у вас на святой Руси все возможно.

Хрущов встал с нервным подергиванием губ.

— Не говорите так, пан Бениовский! — горячо сказал он. — Вы не то поляк, не то венгерец, — вы не поймете нас.

— Действительно, я вас не понимаю, — пожал плечами ссыльный конфедерат. — Вы бы стыдились любить такую родину, как ваша.

— А вы свою! — горячился Хрущов. — Да у вас и родины-то нет... За кого ж вы бились? За панов? За Пулавских да Огинских? Им вы продали свой меч и свою кровь!

Вскочил в свою очередь и Бениовский.

— Ложь! — сказал он, побледнев. — Я ничего не продавал! Я бился за вульность, рувность, неподлеглость, и буду биться за них везде, на кого б не надели цепи рабства, будь то в Польше, в Камчатке ли — все равно!

— И за пелымских галок? — вставил Панов.

— Я рыцарь! — продолжал, не слушая его, Бениовский. — Только я рыцарь нового покроя и ношу цвета моей прекрасной дамы, и буду везде за ее честь сражаться — в Польше ли, бок о бок с Огинским и Пулавским, в Камчатке ли — рядом с вами...

— И с Ниловым? — не утерпел Панов.

Но Бениовский не слушал его.

— Только этой даме я и посвятил и кровь мою, и меч.

— А позвольте узнать имя вашей прекрасной дамы? — спросил Панов.

— Свобода!

— А! — протянул Панов. — Мы с этой милой дамой не знакомы... Она и вам, злодейка, изменила...

— О нет! — горячо, но загадочно возразил конфедерат. — Она лишь прячется стыдливо от грубой силы русских... А хотите, я вас представлю ей?

— О да! — отвечал Степанов. — Мы все вас об этом просим.

— Только не я! — возразил Хрущов. — Я не желаю *вашей* дамы, господин барон. Я лучше буду жить с моей бедной дамой — с разбитой надеждой. И я когда-то мечтал, и я надеялся... Но видите ли?.. Тот гренадер, который клялся мне за согласие всего своего полка, — этот самый гренадер, когда нам с Гурьевыми читали указ о смертной казни, глядя на нас, преспокойно ковырял в носу.

— Жаль мне вас, Хрущов, — сочувственно сказал Бениовский. — И мне понятны муки разбитых надежд. Памятны мне тяжелые мгновения из прежней жизни: шли мы с Пулавским против русских, в свой отряд мы всю душу вложили, они клялись стоять, хотя бы их живыми зарывали в землю... И как горячо я целовал их, плакал с ними! А они меня и Пулавского — словно краденые сапоги за кварту горелки — отдали герр фон Бринку. И вот я здесь, а Пулавский — в Казани.

— А галки галдят в Пелыме, — не унимался Панов.

— Правда, друг, — улыбнулся Степанов, — ведь ты вместе с галками сослан в Пелым, а в Камчатку попал ошибкой.

— Правда и то! — согласился Панов. — Ведь мы с тобой вместе каркали, когда императрица в Москву наказ прислала и велела нам уложение сочинять — помнишь? Ты каркал вороном, а я только галчонком.

— Помню, помню! — отозвался тот. — Да не в этом, друг мой, дело.

Бениовский прервал их разговор. Он, видимо, хотел сказать что-то особенное, и потому лицо его выражало и нетерпение, и твердую решимость.

— Оставьте, господа, бесполезные разговоры, — сказал он как будто с раздражением в голосе, — довольно мы вели здесь пустых бесед, довольно и бесполезно плакались, как бабы, на свою участь. Надо дело делать. Где остальные наши товарищи по острогу? Винблад, Мейдер, Гурьев, Гурченинов?

— Зачем вам они? — спросил Батурин.

— Дело есть, — был ответ.

— Какое дело?

— Сейчас скажу!

— Да на Гурьева плоха надежда для дела, — заметил Батурин.

— А что? — спросил конфедерат.

— Не надежен он — удаляется... А Гурченинов бесполезен для беседы. На что годится человек, у которого вырезали язык?

— Ах да! Скажите, пожалуйста, за что его у бедного вырезали? — спросил Бениовский. — Я до сих пор этого не знаю.

— Да за то, — сказал Панов загадочно, — за что сослали Овидия.

— Полно тебе болтать! — перебил его Батурин. — Гурченинов был камер-лакеем у правительницы Анны Иоанновны, и в 1742 году косвенно участвовал в заговоре против Елизаветы Петровны, то есть он просто смолчал там, где от него требовали ответа, и вот для того, чтоб уж он никогда не говорил, ему на плахе и совсем вырезали язык.

— Остроумно! — улыбнулся конфедерат. — Это будет почище Овидия... Впрочем, — прибавил Бениовский, — такой человек всего более пригодится в нашем деле.

— Своим красноречием? — спросил Панов лукаво.

— Именно красноречием! — горячо ответил конфедерат. — Красноречив факт — для народа... Слушайте же!

Он выпрямился, огляделся, потом взял со стола свечу и вышел в сени. Там он осмотрел все углы, запер сени и воротился в избу.

— Друзья и товарищи моего печального плена! — начал он торжественно, дрогнувшим голосом. — Я пришел к вам с великим делом. Клянетесь ли вы мне, что то, что я сообщу вам сейчас, останется тайною между нами? Клянетесь ли?

— Если только не во вред России, — возразил Хрущов.

— Не во вред, — спокойно отвечал конфедерат. — Клянетесь ли?

— Я клянусь! — сказал Батурин.

— Клянусь и я! — повторил за ним, поднимая правую руку, Панов.

— И я! И я! — повторили Степанов и Хрущов.

— Но, — прибавил медленно Батурин как старейший, — мы можем и не принять того, что вы нам предложите!

— Это ваша воля, — отвечал конфедерат, — но я убежден глубоко, что вы примете. Слушайте же! Я все вам открою.

III. ЗА ПАВЛА ПЕРВОГО

— Я давно лелею в душе великий план, — начал Бениовский торжественно, и немигающие глаза его, казалось, остеклели и похолодели. — Мое сердце, как, надеюсь, и ваше, жадно просит воли, а с волею — и счастья. Душе так обидно томиться в этом склепе, в этой снежной могиле, где только дикий ворон крячет да по ночам стонет филин над забытыми могилами погибших здесь, вдали от родины. Нас всех ждет эта могила: мы присланы сюда на вечное житье, на вечное! Разве мысль ваша не ищет живого дела, руки — работы, только не каторжной? А нас окопали снегами, обвели холодным, беспредельным морем, как души умерших эллинов обводили мрачным Стиксом. Но то ведь были тени мертвых, а мы — мы живые! Мы жизни просим, свободы! И я все это дам вам, дам, клянусь всемогущим Богом!

Он остановился, тяжело дыша. Все сидели, потупив головы.

— Я дам вам все, все! — продолжал конфедерат. — Как сказочная птица, помчу я всех вас на могучих крыльях. Из могилы — не мертвых, а живых вас, сильных, я выну и, как евангельский демон Христу, покажу вам все царствия мира, сказочные царства — Японию, Китай, Офир библейский. Я покажу вам край, где пальмы зреют, где нет снегов, где воздух негой дышит, где нет ни тундр, ни тюрем, ни цепей! Обеих Индий страны покажу вам, Великого Могола царства, Цейлон роскошный и Мадагаскар, я родину вам негров покажу, страны, где львы гуляют на свободе и зреют лопасти банана! А там — все дальше, дальше понесу вас!

Батурин безнадежно махнул рукой, еще ниже опустив свою серебряную голову.

— Эх! Это сон несбыточный, но сладкий сон! — тихо сказал он, поднимая бледное лицо и глядя в глаза конфедерату. — Зачем вы демоном сюда явились, чтоб наш покой могильный нарушать? Зачем, когда мы жаждой умираем в степи безводной, вы нам показали моря воды живой, чтоб агонию нашу, муки смерти увеличить?

Бениовский ничего не отвечал. Как ловкий оратор, привыкший говорить на сеймах, он ждал первого эффекта своей речи.

Панов с жестом отчаяния подошел к конфедерату.

— Бениовский! Демон! Вы точно демон! — задыхаясь, говорил он. — Зачем мой смех и шутку вы убили? Мне плакать хочется!

— Извините, — сказал в свою очередь Хрущов, — все это — только польское красноречие. Зачем мне львы и лопасти бананов? Вы дайте мне Россию, край мой милый и далекий! Дайте поглядеть мне на русские избушки, на беленькие хатки Украины, на степи и поля! А то бананы, тамаринды!

Конфедерат был, видимо, задет за живое словами Хрущова... «Польское красноречие, лопасти бананов»!..

Он подошел к столу, вынул из кармана карту и разложил ее на столе. Собеседники окружили стол.

— Вот каким путем я поведу вас к русским избушкам и к беленьким хаткам Украины, — серьезно сказал конфедерат, обращаясь к Хрущову. — Сначала Камчатским морем, потом вдоль Курильских островов до Японии — вот этим курсом, нанесенным мною на карту. Оттуда Корейским проливом мы выйдем к Китаю... Дальше — следите за моим пальцем — Формоза, Кантон, Макао, Сайгон, Сингапур, Суматра. Далее мы огибаем Африку, а оттуда к Европе путь направим... А там — кресты родимых колоколен, поля родные, речь родная — и милые старые лица, которые нас детьми любили и ласкали: там и русские избушки, и беленькие хатки Украины.

— Богатая фантазия! — грустно покачал седою головою Батурин. — Но мы не дети, чтоб верить сказкам. Откуда вы, наш чародей, возьмете ковер-самолет, чтоб на ковре этом, через морские бездны, пронести нас по воздуху вокруг земного шара, подобно тому, как ангел переносит души умерших от ложа смерти в незримый край новой жизни? Сказки! Сказки, мой друг!

— Иллюзии! — грустно повторил и Степанов.

— Фантазии, барон, фантазии! — насмешливо махнул рукой и Панов. — Вы только доказываете этим верность пословицы, что у всякого барона своя фантазия.

— Нет, не фантазия! — гордо выпрямился конфедерат. — Садитесь и слушайте дальше!

Он прошелся несколько раз по комнате, обдумывая то, что намерен был сказать. Глаза его снова сделались холодны и неподвижны.

— Так слушайте ж! — начал он, останавливаясь посреди комнаты. — Камчатка, где мы живем теперь и ждем безвременной и бесславной могилы, как вам известно, почти безлюдный край, а Большерецк — ничтожный городишко, в котором всего тридцать пять маленьких избушек. Гарнизон большерецкий вы также знаете — всего полсотни казаков, и

притом хромых, кривых, слепых и безоружных. Вся казна — у Нилова, у коменданта: мы возьмем ее. Пушки, порох, свинец, гранаты, картечь, ружья — все это у нас под руками, и стоит только руку протянуть, чтоб взять. Провианту у нас порядочный запас — надолго хватит. Мы овладеем острогом без всяких усилий и на каланче разовьем государственное знамя с именем — *Павел Первый*!

Батурин прервал эту речь знаком нетерпения.

— Как вам не стыдно, барон, играть нашими чувствами! — с горечью сказал он. — Что ж, вы думаете отделить Камчатку от России? Довольно того, что и Польши-то вы не смогли отделить от России!

— Нет! — горячо возразил конфедерат. — Не того я хочу... С большерецкой каланчи мы знамя *Павла Первого* перенесем на стены Петропавловской крепости.

— Каким это образом?

— Вы не дали мне досказать, — холодно ответил Бениовский.

— Виноват, государь мой, — погорячился... Мои лета... — и Батурин махнул рукой.

Конфедерат опять прошелся по комнате, как бы припоминая что-то.

— Да! — остановился он как вкопанный. — Еще тогда, когда мы плыли из Охотска вот с ними, — он указал на Степанова и на Панова, — прошлым летом на галиоте, когда нас в Большерецк ссылали, а вас на особом судне отправляли, — во мне созрел уж замысел спасти себя и вас. В открытом море, ночью, я думал стражу заманить в каюты — в открытом море стража так беспечна, — и, люки заклепав, принять команду над галиотом и направить путь наш к югу, к владениям испанским. Но тогда ведь время было неудобное — лето к осени сближалось, а на гальоте было мало и орудий, и провианту, а равно боевых запасов и команды: нам пришлось бы голодом томиться в неведомых морях, без карт, без инструментов, и в конце концов мы попали бы в руки пиратов. Теперь не то! — он понизил голос до шепота. — Теперь у нас будет прочный военный галиот, пушки, порох, все боевые припасы, ружья, провиант и казна... У нас команды до ста человек, у нас морские карты, инструменты! У нас и флаг, и прапор царский! А на прапоре мы имя императора поставим. От имени царя нас примут как представителей России. На морях и в гаванях будет развеваться российский флаг, и флаг тот будут созерцать и берега Китая, и обеих Индий, колонии испанцев и французов, и берега Европы будут видеть

наш полосатый флаг и прапор царский! Проснитесь же! Весна уж недалеко: с разливом рек должны мы выйти в море!

Речь смелого конфедерата произвела ошеломляющее впечатление.

— О сон отрадный! — как бы простонал Батурин.

— Сон! Но, Боже, как сладок этот сон! — с тоскою произнес Степанов.

— А мне так плакать хочется от несбыточного счастья, и слезы мне шутить уж не дают... Но это — только сон! — безнадежно опустил голову Панов.

— Не сон! — возразил Бениовский. — Проснитесь же! Весна стучится в двери!

— Ах, не весна — стучатся слезы в горло, глаза мне застилают! — махнул рукою Панов. — Видите, я плачу...

Он действительно плакал.

Бениовский видел, что произведенное им впечатление было очень сильно, и, боясь скорого отрезвления своих слушателей, продолжал говорить:

— За нами пойдут Винблад, Мейдер, Гурченинов, Чулошников, Бочаров, Чурин, Рюмин да Уфтюжанинов — мой ученик: он за меня пойдет в огонь и в воду... Гурьев...

— Гурьев не надежен, — тихо сказал Хрущов.

— А команда? — спросил Батурин.

— С посадскими и казаками — до ста человек, и все это народ надежный: они чего-то ждут, а я, как порох на огонь, не раз уже бросал в народ имя Павла и «зеленую грамоту».

— Какую «зеленую грамоту»?

— Об этом после, после!

— А галиот? — спросил Батурин.

— Галиот готов, хотя не для нас, — отвечал загадочно конфедерат, — но он наш! Это вернее смерти — за галиот я ручаюсь.

Седая голова Батурина тряслась от волнения, когда он встал и зашагал по комнате, бормоча словно в забытьи:

— Полны соблазна демонские речи... Горячим пламенем они льются в душу, и это пламя течет по старым жилам — я снова молод! Седой мой волос снова почернел, я снова чую в себе силу, как в тот день, когда я шел со шпагою на целый полк и на престоле видел уж Петра — теперь же Павла!

— И вы увидите его там! — настойчиво подтвердил конфедерат.

— И родину увидим? Родные кровли?

— Все, все увидите, только клянитесь — поклянитесь именем Отца и Сына и Святого Духа! Клянитесь потерянною вами свободой и честью, головами клянитесь идти со мной!

Батурин поднял руку. На глазах его сверкали слезы.

— Клянусь! — сказал он сильным голосом. — Клянусь седою головой и честью!.. Клянусь двадцатилетнею неволей!.. Клянусь землею и небом, и тем, что под землею и на небе, — клянусь идти в огонь и в воду, на жизнь и смерть!

Словно безумные, вторили ему в один голос и Степанов, и Панов, и Хрущов:

— Клянусь и я!.. Клянусь... клянусь!

Бениовский горячо всех обнял и вынул из кармана какие-то бумаги.

— Теперь, друзья, обсудим наше предприятие, — сказал он, перебирая бумаги.

Но в это время что-то постучалось под окном — и он мгновенно умолк. Стук повторился отчетливее.

— Кто там? — спросил Бениовский.

— Вестовой! — послышался ответ.

— Чего тебе?

— Барона командир спрашивают.

— Кто спрашивает меня?

— Командир, ваше благородие!

— А где он?

— Дома был — у себя.

— Пьян?

— Есть, кубыть, маленько.

— Так скажи, что скоро буду.

— Семинут приказано, ваше благородие.

Бениовский значительно переглянулся с товарищами.

— Хорошо — иду! До свидания, товарищи! До завтра!

И он ушел, оставив всех в глубоком волнении и точно онемевшими.

IV. НА РОДИНУ — БЕЗ МЕНЯ!

И над Камчаткой наконец ходит весеннее солнце. Оно смело́ и снежные сугробы вокруг Большерецка, и белый иней смело́ с тощих групп искривленного березняка, и жалкую зелень вызвало из неприветливых тундр. Но только река еще не вскрылась ото льда, хотя посинела уже и местами вздулась. Из-за пригорка виднеется колокольня церкви Большерецкого

острога. Берегом речки идет казак с тенетами за плечами и тянет заунывную песню.

Ах, талан ли мой, талан таков,
Али участь моя горькая,
На роду ли мне написано,
Али на деле досталося,
Что со младости до старости,
До седова, бела волоса
Во весь век мне горе мыкати,
Что до самой гробовой доски.

И казак скрывается за возвышением. Из-за березняка показываются две фигуры — не то казаки, не то матросы.

— Ее, слышь, мать-ту, прочат в монастырь, — говорит первый, высокий рыжий мужик.

— За што так? — спрашивает другой, низенький, с простодушным взглядом.

— За што — знамо, за родителя да ради спасения молиться.

— А нешто и они в грехе, то ись?

— Каков случай... Не ровен час, а лукавый, чу, силен... Она ж тово...

— Поди ты — на! А он-то?

— А он себе знай — ну, и тово.

— Ишь ты! Вот дела!

— А то как же! Всяко бывает.

— Ну, и что ж, паря?

— Ну, и тово — по боку.

— А сын-то как же?.. А?

— Ну, сын, знамо: ты незамай, слышь, — он отец мой был...

— Ишь ты куда! Та-та-та-та!

— Н-да, каков ни на есть отец, а все ж...

— И точно — отец, сказать бы — родитель.

— Ну, причта та и вышла, — а вот и к нам.

— А мы-то што ж, паря?

— Штобы мы, значит, за ево.

— На кой пес?

— На кой! Бейнак сказывал, — зелену, чу, грамоту привез за печатью да за ево рукой.

— Ой ли — за ево рукой!.. И зелена?... К кому ж она?

— А к Кесарю, баит: наш-то жениться задумал, дак у Кесаря дочь сватать хочет.

— А Кесарь что ж?

— Как што! Он на нас пойдет, коль мы зятю ево не дадим присяги.

— Вон оно куда гнет! А кто ж зять-ту?

— Да наш-то! Али не смекнул?

— Кубыть, теперь мекаю... Она тово, а он тово, — ну, мекаю... Ишь ты!

Беседующие также скрылись за возвышением, из-за которого высился крест большерецкой колокольни.

День обещал быть тихим и теплым. В голубом небе заливались жаворонки, для которых и угрюмые тундры Камчатки были так же милы, как и привольные степи далекой родины Бениовского.

Это он выходит из-за пригорка и в глубоком раздумье останавливается на берегу реки. За последнее время он как будто похудел, но зато в лице его и в глазах заметно было более мягкости, теплоты.

Он думал о своем деле, о далекой родине, о разбитых надеждах молодости. Песня казака, которую он слышал, нагнала на него щемящую тоску. Казалось, что песня эта, ее трогательная, грустная мелодия, и слова, полные безнадежного отчаяния, как долгое эхо, стояли в его сердце, и он невольно становился этим эхом...

На роду ли мне написано,
Или на деле досталося,
Что со младости до старости,
До седова, бела волоса...

Он невольно, как-то машинально захватил за ухом прядь своих длинных вьющихся волос и притянул к глазам. В длинной пряди черных, как вороново крыло, волос блестели серебряные нити. Он грустно покачал головой: «Да, вот он, седой, белый волос, да и не один»...

Машинально он опустился на камень, торчавший над пологим берегом реки. Невеселые мысли теснились ему в голову. Неужели к этим угрюмым тундрам рвалось его сердце, когда он бросил свою родину, мать, родную кровлю, табуны отцовских коней и все, все милое и привычное, когда, в последний раз поцеловав дорогую низко наклоненную, всю в слезах, золотистую головку Ванды, — пошел искать боевых подвигов, рыцарской славы бок о бок с Пулавским и Огинским. Чем-то невыразимо прекрасным и дорогим казались ему теперь его родные Угры, где его юное воображение ласкали и знойные степи, и темные рощи, и звонкие горные ручьи, и синева небес глубоких. И вместо всего этого — Камчатка, холодное море, полярные льды. Здесь, на безотрадном конце вселенной, ему суждено томиться теперь в неволе, довольствоваться этой чахлой природой и небом, таким же печальным,

жалким, бесприветным. Ему казалось, что кругом все тоскует, как и он, все по жизни ноет, и небо тоскует, и лес такой же чахлый, как трава и люди, и чахлое, как этот березняк, солнце, чахлое и злое, как чахлы тут и злы люди, и холодное, как цепи, которые он когда-то носил здесь на своих ногах. Мрачно настроенному воображению его представлялось, что тут все тоскует, все тут в цепях, все в вечной ссылке — и небо, и люди, и тундры, и солнце — все в ссылке, от всего тут отвернулось лицо Создателя — и стала ссыльной тут, опальной вся природа, точно преступник пред всемогущим и милостивым Богом!

Он глянул на реку, потом на солнце. Река, казалось, и не думала вскрываться — так все лето и не вскроется! Солнце не в силах растопить лед своими жалкими лучами, не порвет эти ледяные запоры, и воды, и реки не потекут свободно в море, чтоб унести с собою невольников и их тоску.

Он готов был броситься на землю и плакать, плакать, как он это делал ребенком, но нечаянно взгляд его упал на медленно двигавшуюся от Большерецка, по берегу реки, женскую фигуру. Он тотчас же узнал эту задумчиво наклоненную голову. То была Афанасия, молоденькая дочка капитана Нилова, большерецкого воеводы и главного начальника Камчатки, — ученица Бениовского.

«Бедное дитя! — подумал он, любуясь ее стройною походкой. — Ребенок милый! Нежный цветочек, распустившийся под этим неприветливым солнцем, цветок, которым гордилось бы по праву и наше жаркое солнце, и наше голубое небо, — и вот он вырос на жалких тундрах, среди природы, от которой отвернулось лицо Создателя и Бога, — вырос затем, чтобы завянуть, не изведав счастья. Бедное дитя! Большое горе ждет тебя, и в этом горе я буду повинен: я дам тебе это горе, бедное дитя, а сам я унесу с собою более глубокие страдания и горе большей глубины, чем то, которое тебе я дам...»

Девушка увидела его и в нерешимости остановилась. Бениовский встал с камня и подошел к ней.

Это была еще очень молоденькая девушка, лет пятнадцати-шестнадцати, но вполне сложившаяся. Высокенькая и стройная, с мягко округленными плечами и бюстом, с белым личиком, как первый зимний снег Камчатки, и светло-голубыми глазами, как летнее небо ее родины, с немножко вздернутым кверху носиком и с роскошною пепельного цвета косою, заплетенною в два толстых жгута, Афанасия действительно напоминала альпийскую розу в снегах Камчатки.

— Здравствуйте, Фанни, — ласково сказал Бениовский, протягивая Афанасии руку.

— Здравствуйте, барон, — отвечала девушка, и лицо ее покрылось нежным, едва заметным румянцем, — вы зачем здесь?

— А вы как попали сюда и притом так далеко от дому? — в свою очередь спросил конфедерат. — Вы не боитесь?

— Чего же мне бояться? Я здесь всегда одна гуляю летом — меня все знают.

— Но теперь еще не лето, — каким-то глухим голосом произнес Бениовский.

— Лето скоро придет, — отвечала девушка, — я каждый год хожу сюда в апреле или мае, чтоб любоваться, как река вскрывается ото льда.

При последних словах, Бениовский вздрогнул и заметно побледнел.

— А вы все грустите? — участливо поглядела на него девушка.

— Да... Вы знаете, милая девочка, что вот уже третий год мне гложет сердце тоска по родине, — тихо отвечал конфедерат, не смея взглянуть в доверчивые глаза своей собеседницы.

— Ах, зачем тосковать! — горячо заговорила последняя. — Вас все здесь полюбили! Папа со всеми ссыльными из благородных ласков, а вас он особенно любит и уважает за то еще, что вы меня и брата моего учите. А вот и лето скоро придет — летом так хорошо здесь! Мы будем гулять, рвать цветы, кататься на лодке, рыбу удить!

Она вся зарделась, говоря это. Ей припомнилось прошлое лето, катания в лодке вечерами при луне, когда она первый раз в жизни испытала сладостное ощущение, и это тревожное, но томительно-сладкое чувство вызывала почему-то близость Бениовского, его голос, его неразгаданные глаза, ощущение его сильной, горячей руки...

— Бедный ребенок! — с нежностью в голосе произнес конфедерат. — Вы здесь выросли, среди грустных картин, как нежный цветок на тундрах. Здесь ваша родина и все здесь вам родное. А моей родины вы не знаете, милое дитя! Моя родина далеко — о! как далеко, милая Фанни! И как она не похожа на вашу родину! Там и солнце приветливее и жарче, чем у вас в Камчатке, там и зелень зеленее и цветнее, там и птичья песня звонче, небо голубее! Сам Бог там ласковее смотрит на свое создание — на милую природу, на людей. Там и люди любить умеют жарче!

Как очарованная, слушала его девушка, и чудной музыкой звучал для нее его голос. Но при последних словах она смело подняла побледневшее от волнения личико.

— Жарче! — сказала она горячо. — Нет, не жарче!.. И здесь умеют любить... У вас жаркое солнце, а у нас и под снегом клокочет лава наших сопок, и из-под льда бегут ключи живой воды.

Теперь она вся раскраснелась. Это был уже не ребенок, а женщина, из души которой разом вылилась страсть, как те ключи живой воды, о которых она упомянула.

— Я верю, бедный друг мой! — ласково сказал конфедерат.

— Бедный!.. Кто бедный? — горячо возразила девушка. — Я?.. Я не бедна — не бедна, когда меня так... ценит умнейший из людей и меня, камчатскую дикарку, называет своим другом.

— Да, друг мой! — нежно заговорил конфедерат. — Вас, доброе дитя, сам Бог послал в этот суровый край взамен жаркого солнца и голубого неба, чтобы вы для нас, бедных невольников, заменили собой и жаркое солнце, и голубое небо... Да, я верю, доброе, хорошее дитя, что лицо Создателя не совсем отвернулось от этих угрюмых мест. Вы, милая Фанни...

Он не договорил. Афанасия, закрыв лицо руками, тихо, но страстно шептала: «Боже мой! Боже мой!»

— Что с вами, бедное дитя? — тревожно спросил Бениовский.

Афанасия не отвечала, но видно было, что все тело ее вздрагивало от рыданий.

Бениовский растерялся от неожиданности. Он не думал, что дело зашло уже так далеко.

— Друг мой! Об чем вы плачете? Скажите! — Бениовский хотел отнять руки от лица плачущей девушки: он все еще думает относиться к ней, как к ребенку, потому что знал ее с двенадцатилетнего возраста. — Фанни! Девочка! Ученица моя хорошая! Откройте же ваше личико, откройте! Пусть оно солнцем юга глянет на этот чахлый березняк и на меня, печального, как этот край печален! Откройте личико, ребенок светлый! Взгляните на меня!

Девушка взглянула на него сквозь слезы, хотела улыбнуться, но не могла, и опять уткнулась лицом в ладони, как это делают маленькие дети.

— Мне жаль вас, бедный, бедный! — всхлипывала она. — Поймите — мне вас жаль! Ах, зачем! Скажите, кто

этот злой, что сослал вас!.. Кто вас ко мне... кто мне вас... показал! Зачем я вас одних... Ах, уйдите!

Она сама хотела уйти, но Бениовский удержал ее за руку. Он был очень бледен.

— Постойте! Фанни... Ангел мой! — задыхался он. — Бог мой!.. Нет, нет!.. Уходите, уходите!

Афанасия на мгновение остановилась было, но потом с воплем в голосе быстро проговорила:

— А на родину бегите!.. Без меня!.. Я не могу, я...

И она, закрыв лицо руками, быстро пошла назад.

V. ЗЕЛЕНАЯ ГРАМОТА

Бениовский рванулся было за девушкой, но потом остановился в раздумье. «Она догадывается... Чутким сердцем женщины угадала... Женщина в ней проснулась...»

Он понял весь трагизм своего положения, но в нем прежде всего шевельнулся эгоизм ссыльного, боязнь, страх за свою тайну...

«Нет, она не выдаст... Она сказала: на родину бегите — без меня... Но она не сказала — бежим, а бегите — она посылает меня на родину, гонит меня... А сама? Разве не любит она меня? Но она сказала: без меня! Но как сказала? С горечью, с тоской? Или...»

Перед ним разом встала неразрешимая дилемма. Он понял, что девушка его полюбила со всею беззаветностью первой страсти и что она готова на все. Но так ли? «Без меня», — она сказала. А разве он сам может ее бросить здесь, в этих тундрах? В нем ощутилась борьба двух сил. Она? С нею остаться здесь? Но с нею — ссылка, Камчатка, тундры, этот чахлый березняк, и это небо, это солнце и вечная неволя. А там — свобода, жизнь, но — без нее! Душа, все существо его свободы просит, а сердце — счастья. А без свободы — разве есть счастье? А свобода без счастья?

— О проклятая дилемма! — невольно вырвалось у него.

А между тем из-за березняка неслась знакомая песня:

Что со младости до старости,
До седова, бела волоса...

— А! Да замолчи ты, дьявол, со своею песней! Всю душу вымотал!

Но песня не умолкала, и пока конфедерат сидел в мучительном раздумье, до него продолжали отчетливо доноситься и голос песни, и ее слова:

Прикажи скорей казнить!
Не прикажешь ты меня скорей казнить,
Прикажи на волю выпустить,
Не прикажешь ты вон выпустить,
Напишу я вскоре грамотку,
Не пером я, не чернилами —
Я своими горючими слезами
Ко товарищам на тихий Дон...

— Нет, я казни не хочу! — срываясь с камня, тряхнул посеребренными кудрями конфедерат. — Я жить хочу — и буду жить!

Он направился к березняку, на голос волновавшей его песни. «Какой это черт там потешается? Охота петь такие песни, которые способны душу перемучить! А голос знакомый...»

У березняка, на берегу реки, он увидел две фигуры, из которых в одной тотчас узнал своего ученика, поповича, сына большерецкого священника Илью Уфтюжанинова. Это был коренастый юноша лет девятнадцати, очень живой и способный малый, боготворивший своего учителя. Он-то и пел хватающую за душу песню.

Около него сидел, глубоко сгорбившись, седой старик, с лицом, изборожденным морщинами. В последнем Бениовский узнал Гурченинова, того самого, у которого еще в 1742 году вырезали язык на плахе. По щекам старика катились слезы.

И Уфтюжанинов, и Гурченинов узнали конфедерата и встали при его приближении.

— Я не знал, — сказал последний, — что ты так хорошо поешь, Илюша!

— Да это я вот для Андрея Павлыча, — отвечал юноша.

Старик улыбался и утирал слезы. Говорить без языка он не мог — тридцать лет уже не было у него языка, и только с большим трудом, и то привыкнув, можно было разобрать некоторые, с большим усилием произносимые им слова.

— Вот... вспоминая... Дон... тихий Дон... старину, — силился сказать несчастный.

— А вы с Дону родом? — участливо спросил Бениовский.

— С Дону... потом... во дворце... вон! — он открыл страшный рот, где в глубине болтался пенек языка.

— Знаю, знаю!

— Просит, чтоб я пел ему, — пояснил попович, — а сам сидит и плачет.

— Да... плачу... сладко...

— А может, мы еще и Дон увидим, — многозначительно сказал конфедерат.

Старик не то с радостью, не то с сомнением покачал головой.

— Мы затем и пришли сюда, — тоже многозначительно произнес попович.

— Зачем? — спросил Бениовский.

— Да вот все ждем — не начнет ли река вскрываться.

— А-а! — протянул конфедерат — и задумался.

— Проходили тут с охоты — березняком шли — Андреянов и Потолов, — заговорил таинственно попович, — и разговаривали.

— Ну? — очнулся Бениовский.

— А нас им не видно было.

— О чем же они говорили?

— О зеленой грамоте... Андреянов — он ловкий, пройда... И про кесаря говорил, и на женитьбу на кесаревой дочери намекал...

— Верят, значит, зеленой грамоте?

— Как не верить-то! — и на базаре слухи уж прошли про льготы... Ко мне уж и Лемзаков подходил — такая лиса!

— Кто этот Лемзаков? — спросил Бениовский.

— Сержант у Нилова — так на ушке у воеводы и висит.

— Что ж, и он об зеленой грамоте спрашивал?

— Об ней... Так я ему и говорю: на базаре слышал, а базар — не роток, не накинешь платок: кто что слышит, то и болтает, а особливо этот дикарь — камчадалы.

Бениовский все более и более убеждался, что зерно смуты, брошенное его ловкою рукою, упало на благодатную почву.

«Базар заговорил», — подумал он с радостной тревогой и, простившись с Гурчениновым и Уфтюжаниновым, направился в острог, чтоб еще раз условиться с товарищами о том, как им действовать, когда наступит начало конца.

«А если придется пожертвовать отцом Фанни? — шевельнулось у него на совести. — Что делать! Когда горит костел, сгорают и свечи»...

VI. УСЫПЛЕНИЕ ПОДОЗРЕНИЯ

Что же делало в это время начальство Большерецка — Нилов, отец девушки, о котором сейчас думал Бениовский?

Воевода Нилов жил в небольшом деревянном доме, имевшем четыре жилых комнаты. Нилова в настоящее время не

было, он занят был в канцелярии, а в доме находилась только его хорошенькая дочка Фаня, как называл ее сам отец. Мать ее давно умерла, и девочка воспитывалась сначала на руках старой няни, потом первоначальным образованием ее занимался отец, а с двенадцати- тринадцатилетнего возраста дальнейшим образованием Фани занялся Бениовский, умевший вполне завоевать доверие Нилова.

Да и неудивительно. Венгерско-польский конфедерат был человек очень ловкий, вежливый, обходительный, притом же Нилов смотрел на него не как на государственного преступника, а как на военнопленного, взятого в полон в честном бою, с оружием в руках. Это не то, что те — Батурин, Хрущов, Степанов, Панов, Гурченинов, то — «варнаки», бунтовщики, они бунтовали против своего правительства и достойны были смертной казни за свою продерзость, «за изблевание хулы величества». А Бениовский — совсем другого поля ягода. Нилов поэтому и пригласил его давать уроки сыну его Васе и дочке Фане.

Фаня воротилась с сегодняшней прогулки очень взволнованная и очень грустная. Она села было за работу — за пяльцы, но работа не вязалась: игла постоянно выскользала из руки девушки, или же рука эта, занесенная над шитьем, чтобы продолжать узор, так оставалась в воздухе, не дотрагиваясь до узора.

Девушка думала о том крае далеком, о котором тосковал Мориц. В уме своем Фаня не иначе называла Бениовского, как Мориц и даже — «мой Мориц».

Где-то там за Польшей этот край, дальше Польши. Карпатские горы там, о которых Мориц так часто упоминал. К Дунаю туда — гораздо дальше России, о которой она, родившаяся и выросшая в Камчатке, имела очень смутное представление.

Хорошо, должно быть, в этом чудном краю, где почти нет ни зимы, ни снегов. Недаром так тоскует об этом крае Мориц. Вечно он скучный, вечно задумчивый. Случается так, что сидит с нею за уроком, она отвечает ему, а он и не слушает, а все думает, все думает о чем-то, как будто бы он позабыл что-либо и все хочет вспомнить, да никак не вспомнит, бедный. И как девушке жаль его становится в это время! Так бы и хотелось сказать, чтоб он не вспоминал того, что позабыл. Так нет — все думает. А то как будто он ждет чего или потерял что очень дорогое, и все ищет-ищет, а найти не может.

Фаня что-то вспомнила — и все лицо ее залилось краской, но это не была краска стыда — в глазах светилось глу-

бокое счастье... Он сказал ей сегодня: «Ангел мой! Бог мой!..» Вот отчего она теперь вся зарделась. Она давно ждала этого, ждала — и боялась. А теперь он сказал сам. Она уже теперь для него не «девочка» только, не «ребенок»... Сердце ее трепетало так, что она схватилась за него рукой.

Но он задумал уходить, бежать... Как! — и от нее бежать? Ее покинуть? Она угадала это недавно, и сама не знает почему, но угадала: в глазах его, должно быть, прочла.

И краска ее нежных щек сменилась бледностью. Любит ли он ее? Если она для него «ангел», «Бог», то как же он бежит от нее? О, если б ее сослали хоть на Курильские острова, на Аляску, хоть бы в кромешный ад, если б отняли у нее родину, да не Камчатку, а Италию, о которой он ей рассказывал когда-то, если б отняли у нее и голубое небо, и жаркое солнце, и зелень леса — все, все отняли, но если б оставили его с ней, она бы все забыла для него — всю природу, небо, землю! Если б он сказал ей: «Фанни! Забудь все и останься только со мною», — она бы все забыла и осталась с ним. А он — бежит от нее! Барон Мориц Анадар Бениовский бросает свою дикарку!

Девушка заплакала. Ее охватила такая тоска, что хоть утопиться, — так впору. Бурный прилив счастья слишком быстро сменился таким же бурным приливом отчаяния...

Слезы так и лились на пяльцы, на шитье... Она отодвинула пяльцы и, чтоб унять слезы, взяла лежавшую на них книгу. Это был один из тогдашних журналов — «Трудолюбивый Муравей, или Мешанина».

— Он так любит читать.

И раскрыв маленькую книжку журнала, Афанасия стала читать вслух, чтоб отвлечься, хоть механически, от охватившей ее тоски.

— Первая епистола:

Для общих благ мы то перед скотом имеем,
Что лутче, как они, друг друга разумеем,
И помощию слов пространна языка
Все можем изъяснить, как мысль ни глубока,
Описываем все, и чувствие, и страсти,
И мысли голосом делим на мелки части:
Прняв драгой сей дар от щедрого Творца,
Изображением вселяемся в сердца.
То, что постигнем мы, друг другу сообщаем
И в письмах то своих потомкам оставляем.
Но не такие так полезны языки,
Какими говорят мордва и вотяки,
Возьмем себе в пример словесных человеков:
Такой нам надобен язык, как был у греков,

Какой у римлян был, и следуя в том им,
Как ныне говорят Италия и Рим,
Каков в текущий век прекрасен стал французской,
Иль, наконец сказать, каков способен русской.
Довольно наш язык в себе имеет слов,
Но нет довольного на нем числа писцов...

— Ах, как это скучно.

Афанасия закрыла книгу и подошла к окну. В это время в сенях раздался сердитый голос Нилова и вскоре сам он показался в дверях.

— Головорезы! Вот навязали на шею этих варнаков!

Это говорил Нилов. Большерецкий воевода представлял из себя тип старого служаки еще елизаветинских времен. Красное, бритое, довольно обрюзглое лицо, светло-голубые глаза навыкате, которые постоянно стараются быть строгими, грозными, и не могут. Брюшко, мясистые руки с короткими пальцами, рыхлый подбородок, форменная косичка на затылке, пухлые щеки — все изобличало в нем добряка, которого заставляют быть «недреманным оком» над ссыльными, а ему приятнее было бы сладко дремать в халате после сытного обеда с запеканкой.

— Уж и головорезы! — сердился он. — Черти! Да я им покажу!

— Ты что, папочка? Кто тебя так расстроил? — не без тревоги спросила Афанасия, подходя к отцу.

— Кто же больше, как не они — все эти фармазоны! — ворчал добряк.

— Какие, папа, фармазоны?

— Да вон — твой-то сокол.

Девушка смутилась. Уж не случилось ли чего-нибудь серьезного?

— Какой, папа, сокол? — с испугом спросила она.

— Да учителишка твой, барон этот, да паршивый швед.

— Это Винблад?

— Да все они — и Винблад, и Хрущов, и Степанов, и эта старая собака Батурин — ишь старый хрыч! Туда же!.. И баронишка!

— Бениовский, папа?

— Ну да, он! Ведь он всегда главный зачинщик, а те за ним, как овцы за козлом.

— Что ж он сделал? — вся бледная, спросила девушка, ухватившись за пяльцы.

— Уф!.. Устал! — Нилов опустился на диван. — Я давно замечаю, что у них там что-то неладно. Тайны какие-то завелись у них да сходни по ночам у этого старого черта Ба-

турина. Я думал, тягу дать хотят — велел, под рукою, смотреть за ними построже, недреманно. А там слышу — уж и базар заговорил: царевич в ход пошел — об нем болтают, об великом князе-то... Я ухо на гвоздик — прислушиваюсь себе. А тут и матросы, и казаки как-то сторонятся, шепчутся... Что за притча! Вдруг — на! — зеленая грамота пошла в ход!

— Какая зеленая грамота, папочка? — несколько успокоившись, спросила Фаня.

— Я сам не знаю, а болтают: «Зелена грамота»!

— От кого?

— Не знаю, говорю тебе!

— А у кого, папа?

— У него — у сокола!

— У барона? — У Афанасии опять ноги подкашиваются.

— Ну да, да! Я — обыск: ничего нет! Ну, думаю, пустяки — бабьи речи. А вчера, смотрю, уж и Гурьева прибили.

— За что, папочка?

— Ну, известно, в шайку к ним нейдет — парень смирный, покаялся в своем окаянстве. Я велел к ним караул поставить. И что ж бы ты думала? Прогнали караул: не хотим-ста! мы дворяне-де! Дам я им дворян! Я их, дружков, в бараний рог согну. Пусть не забывают, что они ссыльные, варнаки, и я могу их кошками драть, как простых матросов. Я так их отпорю, что небу будет жарко.

Пыл его начал, однако, проходить, и Афанасия это заметила.

— Папочка, милый! Успокойся! — ласкалась она к нему.

— То-то. Успокойся? Какой тут покой! Просто фармазоны!

— Ну, ну, мой хороший! — продолжала ласкаться девушка. — Отдохни немножко... Ты, бедненький, устал... Да не сердись, голубчик, — тебе это вредно...

— То-то, вредно! А им не вредно будет, как спины то вспишу? Уж этот мне барон! Вот тут сидит, — указывает на шею. — И человек бы, сказать, хороший и знающий, образованный, тебя вон с братишкой даром учит, а уж заноза!.. У!

— Нет, папочка, он добрый и умный такой...

Старик разнежился от ласк дочери и стал гладить ее пепельную головку.

— Уж ты у меня! — умный! Тебе, я чаю, все сказки сказывает, истории всякие — ну, тебе и любо. Ты у меня, плутовка, любишь сказки — хлебом тебя не корми, а он, пожалуй, и про Польшу там, и про Италию лихие болести плетет — уж знаю! — слыхал! Неаполь да Венеция...

— Какой ты добрый, папочка! Мой хороший!

— То-то, добрый! Вели-ка лучше дать мне закусить — устал я с этими фармазонами!

— Сейчас, сейчас, папочка, я принесу запеканки, — радостно ответила Афанасия и, поцеловав пухлую щеку отца, выпорхнула в другую комнату.

VII. ЗАПЕКАНКА

— Запеканка — это дело, — пробормотал Нилов, с любовью глядя вслед дочери, — ах ты, кошечка моя! Уф! Вот и унялось маленько сердце — отходчивый я больно, да уж и девчонка моя, хоть кого умаслит... только в другой раз я им не спущу, фармазонам!

В передней послышалось шаркание ног.

— Кто там? — окрикнул Нилов.

— Сержант, ваше благородие! — был ответ.

— А! Лемзаков?

— Так точно, ваше благородие... Фу ты, пропасть!

— Ты что там возишься?

— Шашка зацепилась, ваше благородие. Ах ты, окаянная!

В дверях стоял навытяжку, но сильно пошатываясь, старый казак, с редкою седоватою бородкою и с узенькими, как у калмыка, глазами. Это и был сержант Лемзаков.

— Здравия желаем, ваше благородие! — приосанился сержант.

— Ладно. Куда ходил?

— По секрету, ваше благородие.

— По какому секрету?

— Прислушаться, ваше... ваше благородие, — в оба, значит...

— Ну, что ж там?

— Дикаря много, ваше благородие, на речке... камчадалы.

— Ну!

— Все благополучно, ваше благородие.

— Да ты, скотина, пьян?

— Никак нет, ваше благородие.

— Зачем же ты лезешь ко мне?

— По секрету, ваше благородие.

— Ну, и говори.

— Водку все жрет, ваше благородие.

— Кто?

— Дикарь эстот.

— А ссыльных видел?

— Видел, ваше благородие.

— Спокойно все — не шумят?

— На что шуметь, ваше благородие! Шуметь не станут даром, а не пущают только караула... Знамо, бары... Может, и вправду у них зелена грамота.

— Какая зеленая грамота, болван? — привскочил воевода. — Ты что там бредишь?

— Зелена, слышь, — обиженно оправдывался сержант, — а бредить мне на что же? Я маковой росинки не видал — ни синь-пороха, не то что водки: где ж мне, ваше благородие, бредить? Я бредить не люблю — на то начальство... А что зелена грамота, так, може, и впрямь зелена — кто ее видел? Царевич, слышь, зеленым зельем пишет — на то царевич он... А что этот попович...

— Какой попович? — заинтересовался воевода.

— А отца Никифора сын — Устюжанин...

— Ну! Так что ж попович?

— А ничего, ваше благородие... Он мне четверть поставил, ваше благородие... только я не пил — лопни глаза-утроба... ни синь-пороха... что ж мне бредить — ни в жисть...

— Так что же попович?

— Умен, ваше благородие — у! — умница... Уж такого, говорит, воеводы, как наш Григорий Петрович Нилов — это про вас, ваше благородие, — такого, говорит, воеводы и во всей России нет.

— Ну, будет тебе врать! — остановил его Нилов.

— На что мне врать, ваше благородие! — обиделся сержант. — На эстом же месте провалиться... А что я по секрету — это истинно... Матушку-царицу, слышь, в монастырь...

— Это попович говорит? — спросил быстро Нилов.

— Не-не, ваше благородие... А это люди врут... Врать-то можно — для че не врать... А чтоб я пьян был — этого ни-ни! Ни Боже мой!

— Довольно! — сердито проговорил воевода. — Поди проспись!.. А то я!..

Сержант неловко повернулся к двери и, путаясь с шашкой, договорил свое:

— Зелена — ишь ты притча! — зелена грамота — а може синя, а може красна... А мне что же брехать-ту... Коли тово, дак и в монастырь — шалишь!..

— Да и пьян же ты, мерзавец! — махнул рукой воевода. — Ну, ужо я все это разберу по нитке... зеленая грамота — царевич — монастырь... А что же запеканка?

VIII. СОВЕРШИЛОСЬ!

Прошло несколько недель.

Весна и в Камчатке вступила в свои права. Куда сугробы снегу исчезли! Горные ручьи давно сбежали. На тундрах показалась свежая зелень, а по ней запестрели и цветы. Чахлый березняк оделся нежною листвой. Чекавка, на которую Бениовский возлагал столько надежд, прошла и уже совсем очистилась от льдин.

И на воеводском дворе показалась зеленая травка.

Но Афанасию не радует весна. Ее Мориц стал еще загадочнее, хотя глаза сделались нежнее, ласковее, голос — задушевнее. Все это время он был очень озабочен чем-то. Видно было, что он хотел ей что-то сказать, но не решался, и только долго-долго и как-то грустно глядел ей в глаза, когда вчера зачем-то приходил к отцу и застал ее за пяльцами. Она ему вышивала подушку. Но, кажется, он не дождется ее работы. Он, без сомнения, задумал бежать. Но неужели он даже не простится с нею?

А тут этот Гурьев ведет себя как-то странно. Афанасия давно заметила, что он украдкой засматривается на нее и все вздыхает. Женским чутьем она его скорее разгадала, этого, чем Морица. Она ясно видела, что Гурьев ревнует ее к Морицу и ненавидит последнего. Но сердце девушки не лежало к этому тайному вздыхателю. Притом же она узнала, что из ненависти к Бениовскому он наушничает на него отцу. А такие поступки казались девушке отвратительными.

Ночь на исходе, но Афанасии что-то не спится. Она заснула с вечера, а после третьих петухов проснулась и теперь не может заснуть.

А если бы он взял ее с собой? О, она пошла бы за ним хоть на край света! Жаль ей отца, но у него останется Вася, брат, а у Морица никого здесь нет на свете, ни одной родной души. Вон он как поседел, а ему еще далеко нет пятидесяти, а вон отцу ее и за шестьдесят, а у него нет ни одного седого волоса. Нерадостно жилось бедненькому Морицу. Как бы она утешала его, если б могла! Она бы разгладила все хмурки на его милом лице, она бы так ласкала его славную голову, что не давала бы ей никогда грустить и тосковать по далекой родине. Она бы и туда с ним пошла, под то далекое голубое небо, к тем звонким горным ручьям его милых Карпат.

Она чувствовала, что краска заливала ее лицо при одной мысли о том, как он будет ее ласкать, как скажет ей — ей

одной, чтоб никто, никто не слыхал, даже ночь чтоб не слыхала: «Ангел мой! Бог! Ты моя!..»

Ей стало жарко в постели. Она сбросила с себя одеяло и перекинула через плечи на грудь свои тяжелые косы, прислушиваясь к какому-то отдаленному шуму.

«Это ветер или река шумит?» — подумала она.

Светало уже. В окна ее спальни, переплетенные железными решетками, сквозь кисейные занавески алела утренняя заря.

Вдруг послышался крик филина — она невольно вздрогнула: так поздно, почти на заре, кричит филин. Крик повторился в другой стороне, но очень близко.

В это время что-то треснуло и с грохотом упало. Там, на дворе, или в самом доме, послышались голоса, крики...

Афанасия услыхала голос отца. Он кого-то зовет. Другие голоса покрывают его голос. Девушка быстро вскочила с постели и, наскоро набросив на себя блузу и надев туфли, побежала в передние комнаты, где слышались крики. Она ничего не помнила, что делала: ей только хотелось видеть отца, узнать — что с ним...

Она вбежала в залу. Сквозь выломанные окна и дверь в комнату врывался утренний свет и освещал лежавшую на полу какую-то белую окровавленную массу.

Несчастная сразу все узнала. На полу, в одном белье, окрашенном во многих местах кровью, лежал ее отец...

С нечеловеческим криком бедная девушка бросилась на труп...

В то же мгновение она услыхала знакомый голос, от которого вся вздрогнула.

— Где воевода? — тревожно говорил этот голос.

Это был голос Бениовского, который показался в дверях с саблею наголо.

— Мерзавцы! Они убили его! — со всею силою негодования крикнул он и упал на колени перед трупом. — Иезус Мария!.. Что они наделали!.. О, бедное дитя!

Вслед за Бениовским в комнату вошли Батурин, Хрущов, Степанов, Панов и остановились с испугом перед потрясающей картиной.

— Убит, несчастный!.. Бедный Нилов!

— Кто убил его? Где тот негодяй?

— Вероятно, он защищался, несчастный, — с грустью заметил Батурин, — вон и сабля его на полу валяется.

— Но его не велено было убивать, — сказал Хрущов, — его приказано было только арестовать.

Бениовский поднялся с колен бледный, взволнованный.

— Бедное, бедное дитя! — шептал он, не смея, однако, прикоснуться к Афанасии и не замечая, что она лежала в обмороке. — Афанасия Григорьевна! Бедное дитя! Пощадите себя!

— Она умерла? — с испугом вскричал Батурин, нагибаясь к девушке.

— Иезус! Еще этого не доставало! — схватил себя за голову Бениовский и бросился к лежавшей без чувств Афанасии.

Став на колени, он бережно прикоснулся к плечу девушки, которая лежала ничком на груди мертвого отца. Бениовский приложился ухом к спине Афанасии.

— Domine! Sancta Maria! — вскричал он радостно. — Она жива! Она дышит!.. Она в обмороке.

И он бережно, как малого ребенка, приподнял девушку. И голова ее и косы свесились. Одна коса была в крови.

— На ней, на косе — кровь, — с испугом заметил Хрущов.

— Это не ее кровь, — тихо отвечал конфедерат, взяв девушку на руки. — Ее надо отнести в спальную... Позовите нянюшку! — сказал он.

И Бениовский осторожно понес Афанасию в ее опочивальню.

— А тело велите убрать сию же минуту, — обернувшись назад, шепотом сказал он, — чтоб она его не видела, как придет в себя. Яков Петрович! — тихо позвал он Батурина. — Идите за мной... Я вам поручаю бедную девочку, я прошу вас — не отходите от нее, берегите ее.

Между тем на церковной колокольне раздался набатный звон. Бениовский заранее распорядился набатом известить народ о совершенном заговорщиками перевороте, чтоб тотчас же и привести всех к присяге на верность императору Павлу Петровичу. Юный попович Уфтюжанинов в точности исполнил приказ своего учителя и кумира и теперь усердно звонил на колокольне, тогда как отец его, священник большерецкой церкви, в полном облачении ожидал в церкви новых подданных нового императора.

— Мы сейчас же пойдем в церковь, — тихо сказал Бениовский, унося бесчувственную Афанасию в ее опочивальню, — а вы, Яков Петрович, пока побудьте около девочки — вы и после успеете присягнуть.

Седая голова Батурина молча наклонилась в знак согласия.

— Папа! Папа! — послышался за дверью жалобный крик Афанасии.

К несчастной воротилось сознание.

IX. ССЫЛЬНЫЕ — ХОЗЯЕВА

Когда Бениовский, оставив рыдающую Афанасию на попечении Батурина и нянюшки, вышел из дома воеводы и когда он, а с ним Хрущов, Степанов и Панов приблизились к церкви, то они увидели, что к церковному крыльцу уже столпилось все население Большерецка — казаки, матросы, посадские и много камчадалов, — а на верхних ступеньках крыльца стоит без шапки старый Гурченинов и, широко раскрыв свой беззубый рот, тычет туда пальцем, указывая зрителям на пенек торчавшего в глубине раскрытой пасти вырезанного дочиста языка. Из этой страшной пасти глухо вырывались какие-то страшные звуки — не то мычание, не то невнятные, но страшные, как вопли отчаяния, слова...

— Вырезали... до корня... злодеи... за верность мою престолу...

Это было что-то ужасное — вся эта высокая фигура старика, седые пряди волос, развевавшиеся от ветра, глухие вопли из гортани и разверстая пасть, — все это было страшно до отвращения.

Площадь, казалось, стонала при виде этого ужасного зрелища. Ни Бениовский, ни другие его товарищи-заговорщики не ожидали такого потрясающего эффекта от этой немой проповеди оратора без языка.

Между тем рядом с этим страшным оратором стоял на том же крыльце молодой попович Уфтюжанинов и громким голосом пояснял народу смысл ужасной проповеди оратора с вырезанным языком.

— Смотрите, православные! — кричал он на все стороны. — Это мучители вырезали язык за верность престолу! Тридцать лет без языка!.. Таковы они, тираны, Пилаты римские! Сидят там в Питере и мучат православных — у кого вырезывают язык, у кого отрезают нос и уши, а то и всю голову, жгут на кострах целыми скитами и поселками — может, слышали, православные!

— Слыхали! Слыхали! — пронесся рокот по площади.

— А теперь новый государь, император Павел Петрович, не позволит злодеям делать этого, и мы должны присягнуть

ему, батюшке, и служить ему верой и правдой, — ораторствовал попович хриплым от усилия голосом.

А старый Гурченинов все мычал, как зверь, размахивая длинными руками и показывая на свою отвратительную разинутую пасть.

— Смотрите! Смотрите, православные! — снова вопил попович.

Когда Бениовский и его товарищи по перевороту подошли к церкви, все стоявшие на площади сняли шапки. Бениовский и его свита ответили тем же на немое приветствие толпы.

— За нами, в церковь, православные! — обратился первый из них к народу, поднявшись на крыльцо. — Идите присягать новому государю, императору Павлу Петровичу! За нами!

Приняв присягу, заговорщики тотчас же вышли из церкви, приказав находившимся там матросам и казакам, по принятии присяги, тотчас же идти во все места, где поставлены с утра караулы — у воеводской канцелярии, у гауптвахты и у ларечной избы, — переменить часовых, поставить новые караулы из приведенных уже к присяге, а смененных, не присягавших еще часовых, тотчас же послать в церковь к присяге.

Заговорщики направились к воеводской канцелярии.

— А где сержант Лемзаков? — спросил Бениовский у часового, стоявшего у дверей канцелярии.

— На абвахте, ваше благородие! — отвечал часовой, делая на караул.

— А тело изменника еще не убрано?

— Не могу знать, ваше благородие, какого изменника?

— А бывшего воеводы Григория Нилова — не убрано?

— Никак нет-с, ваше благородие, — в сенцах лежит.

— Хорошо, молодец.

— Ради стараться, ваше благородие!

Заговорщики вошли в канцелярию. Бениовский сел на воеводское место, а прочие разместились вокруг присутственного стола.

У двери присутственной комнаты в качестве вахтера стоял навытяжку Андреянов, «за матроса казак», как он значился по документам, — тот самый рыжий высокий казак, который несколько недель тому назад, проходя берегом реки, толковал своему товарищу, неуклюжему и бестолковому Потолову, о «зеленой грамоте» и о том, «что царевич сватается за кесарскую дочь».

Взгляд Бениовского, едва он сел на воеводское место, упал на портрет императрицы Екатерины Алексеевны, висевший на стене, как раз против кресла воеводы. Бениовскому показалось, что императрица выходит из рамы, отделяется от полотна и с улыбкою не то презрения, не то негодования приближается к столу, глядя в упор в глаза конфедерата. Он невольно вздрогнул, и хотя сразу понял, что это — болезненно настроенное воображение говорит в нем, нервы, — однако ему разом страшно стало.

— Убрать этот портрет! — торопливо сказал он Андреянову.

— Куда прикажите, ваше благородие? — спросил последний.

— Куда хочешь — хоть в сени к Нилову, к ее верному слуге...

— Слушаю-с...

— А мы слуги его императорского величества, государя Павла Петровича, — как бы оправдывался заговорщик в своем резком поведении.

На столе канцелярии лежали дела, бумаги, журналы, казначейские книги, реестры. У стены, под портретом императрицы, стоял большой железный кованный сундук. Едва Андреянов успел снять со стены портрет, как Бениовский, вынув из кармана своего камзола ключ, встал, чтобы отпереть сундук.

— Надо проверить казенные деньги, — сказал он, щелкая замком, — все ли в порядке у Нилова.

— Он был честный человек, — заметил Панов, разбирая на столе бумаги.

— Я знаю... но все же казна прежде всего, — отвечал конфедерат.

— А мне кажется, барон, — мягко возразил Панов, — прежде всего надо похоронить бедного Нилова... Пощадим чувства его несчастной сиротки... Ведь что будет с нею, если она вновь увидит его в том положении, в каком мы его бросили: он страшно обезображен, вся левая рука изрезана, лицо пробито насквозь — его надо немедленно похоронить!

— Правда, правда, — согласился Бениовский, — мы его велим похоронить по церковному обряду, хотя без церемоний... Ведь согласитесь, в глазах народа...

— И наших, — горько улыбнулся Панов.

— Да, и наших, — согласился Бениовский, — он — изменник, противник царской воли.

— Совершенно верно, — подтвердил Панов.

— Андреянов, — сказал Бениовский вахтеру, возвратившемуся в это время в присутственную комнату, — пошли...

— Что прикажете, ваше благородие?

— Тело изменника все там же валяется, в сенях?

— Так точно, ваше благородие, — в сенцах!

— Так пошли Потолова сейчас в острожный цейхгаус — там есть запасные гробы: пусть велит принести один гроб в церковную сторожку, а потом пускай возьмут тело воеводы и отнесут туда ж, в сторожку, и положат в гроб. Да чтоб, когда будут нести воеводу, так чтоб накрыли его рогожкой. Понял?

— Точно так, ваше благородие!

— Хорошо, распорядись же живо! Да чтоб вперед послал несколько человек выкопать могилу за церковью, там, где похоронена бывшая жена воеводы. Пусть спросят у батюшки — он покажет это место. Да пускай от моего имени скажет отцу Никифору, что, как только приведет всех верных к присяге, тотчас бы похоронил Нилова.

Бениовский остановился и поглядел на Панова, но как-то вопросительно.

— Кажется, ничего не забыл?

— А в чем его похоронят? — спросил Хрущов, отрываясь от бумаг. — Он там лежит в одном белье — хорошо ли так?

— Что делать! — передернул плечами конфедерат. — Если взять его мундир из воеводского дома, то как бы не узнала об этом его бедная дочь.

— Хорошо, — сказал Хрущов решительно, — так я пойду сам распоряжусь его похоронами — я не потревожу Афанасии Григорьевны, она ничего не будет знать, я зайду как бы для того, чтобы справиться об ее здоровье.

— Да, да! — подтвердил Панов. — Так будет лучше.

Бениовский согласился и стал вынимать из сундука мешки с казенными деньгами, приказывая Андреянову переносить их на присутственный стол.

— А вы, господа, тем временем потрудитесь пересчитать деньги, чтоб потом наличность сверить с казначейскими книгами.

В это время в канцелярию вошел высокий, в одежде мещанина человек уже немолодых лет, с кинжалом и пистолетом за поясом. За ним два казака внесли по мешку с чем-то и опустили мешки на пол. Тот, что был с кинжалом и пистолетом, перекрестился на образ, висевший в переднем углу, встряхнул волосами и поклонился присутствовавшим.

— А — это ты, Чулошников, — сказал Бениовский, кивнув головой вошедшим.

Чулошников был приказчиком купца Холодилова, забравшего в руки всю торговлю Камчатки и бессовестно эксплуатировавшего ее население. В настоящее время он был в Охотке.

— С чем пришел? — спросил Бениовский Чулошникова.

— С казной, ваша милость, — отвечал тот, — это ларешные деньги, ваша милость приказали взять их от ларешного.

— А кто ларешным?

— Казак Никита Черный, ваша милость. Только он денег не давал, упирался, ларешную избу на крюк запер и в окно в солдат и в казаков стрелял из ружья. Так мы дверь выломали и его маленько попужали стрельбой же.

— Что ж, убили или ранили?

— Нет, ваша милость, — все обошлось благополучно, — отобрали казну.

— А сам он где?

— Его господин Винблад на абвахту отослал.

— Хорошо, братец, — спасибо, а теперь можешь идти. Только ты нам еще понадобишься.

— Слушаю-с, ваша милость.

— И ты, Андреянов, можешь уйти, нам теперь пока ты не нужен, а тебе надо отдохнуть — ты всю ночь не спал.

— Покорнейше благодарим, ваше благородие! Счастливо оставаться.

X. «НЕ НАДЕНЕТ!»

Когда Бениовский, Степанов и Панов остались одни, они долго, не говоря ни слова, занимались счетом денег в мешках и проверкою книг.

Когда же все было кончено и мешки с деньгами уложены были в сундук, Бениовский обратился к Степанову, который рассматривал инвентарные книги канцелярии:

— Ну что, Ипполит Иванович, каковы наши боевые средства?

— Не велики, — отвечал Степанов, — три пушки, одна мортира. Зато ружей, картечи, пороху, свинцу и пуль, а равно шпаг — достаточное количество.

— Но не забудьте, — прибавил Бениовский, — наш галиот хорошо вооружен — на нем хорошие пушки.

— Тем для нас лучше, — заметил Панов, — мы должны помнить, что имеем дело с целой Россией.

— Ну, — возразил конфедерат, — пока только с одной Камчаткой, но во всяком случае нам терять времени нельзя: сейчас же надо готовить паромы для перевозки на галиот пушек, запасов, провианту и всего экипажа, какой пойдет с нами в море. Не забудьте — народная молва всегда летает на соколиных крыльях...

— Нет, барон, — на сорочьих хвостах, — улыбнулся Панов, — у нас говорят о молве, о вестях: сорока на хвосте принесла.

— Все равно, и сорока летит довольно быстро, — возразил Бениовский, — море молвы не остановит, и ваша сорока быстро очутится в Охотске. А тогда все поднимется на нас.

— Да подниматься-то нечему, — заметил Панов, — в Охотске силы военные не ахти какие.

— Но и наши не громадны. Во всяком случае, надо торопиться, хоть гавань и недалеко... А там, как только мы поднимем паруса на галиоте и выйдем в открытое море, — пусть ловят ветер в чистом поле!

Бениовский опустился на кресло и, наклонившись над бумагами, положил голову на руки.

— Голова как будто в огне, — нервно проговорил он как бы сам с собою, — такие острые, разнородные ощущения! И в голове, и в сердце! Кажется, каждый волос живет и сердце приливов крови не вмещает в себе — тесно и сердцу, и телу.

— Неудивительно! — заметил Степанов. — Ведь мы порвали связи с целым миром.

— Зачем! — возразил конфедерат, поднимая голову. — Мы только стоим теперь на рубеже двух жизней: за ними — мрак, смерть, хуже смерти, и к прежней жизни нет уж нам возврата, как и Нилову, а впереди нас — тоже мрак и тайна, но этот таинственный мрак мы сами должны осветить — во что бы то ни стало, сами мы должны искать разгадку той тайны, что впереди, как бы разгадку бытия за гробом...

— Так, так, — задумчиво возразил Степанов, — но теперь нам надо привести в известность нашу команду и составить списки.

— Это мы сделаем тотчас же, — ответил Бениовский, — как только всех приведут к присяге, мы сейчас сделаем перекличку: охотники — этим особый счет и особая вера им с нашей стороны, а кого неволей заручим в наш экипаж...

— О! Это особь статья, — заметил Панов, отодвигая от себя счетные книги и счеты.

— А! Пан Адольф! Мам гонор...

Приветствие это относилось к белокурому стройному субъекту в польском кунтуше. Это был один из семи главных заговорщиков — Адольф Винблад. Он был родом швед, но долго жил в Польше, служил ей вместе с конфедератами и, взятый в плен русскими, вместе с Бениовским, Батуриным, Степановым и Пановым сослан был тоже в Большерецк.

— Где пан был? — спросил вошедшего Бениовский.

— Осматривал караулы, пане, а потом водворял на гауптвахту ларешного, Никиту Черного, — отвечал пришедший.

— В порядке караулы?

— Все в порядке, только, мне сдается, на гауптвахте тесно, двоих бы арестантов можно и выпустить.

— Кого именно?

— Измайлова да Зябликова. Это те, что подслушали нас, когда мы в последний раз совещались, и хотели еще вчера донести на нас Нилову, но он уже спал.

— Помню, помню.

— Хоть они и здрайцы — изменники, однако им можно простить, — продолжал Винблад, — они теперь раскаялись и будут нам верно служить.

— А присягу дали? — спросил Бениовский.

— Нет еще — ведь они с вечера уж под караулом были.

Винблад и Бениовский взглянули на товарищей.

— Я думаю, их можно отпустить, — сказал последний, — помилованный враг часто делается лучшим другом.

— Да и сила теперь на нашей стороне, — добавил первый. — Нилову уж выкопали могилу.

— А пан разве видел? — спросил Бениовский.

— Видел, и самого Нилова видел: при мне его одевали и клали в гроб.

— Кто одевал?

— Казаки и Хрущов.

— В мундире его положили?

— В мундире... Тяжело мне было глядеть на него. Мне казалось, что он исподлобья глядит на меня левым незакрытым глазом, и как будто говорит: «Теперь уж я не буду спускать вам больше, фармазоны!.. Берегитесь!..» Он и в гробу как будто думает про себя: «Что-то, что-то скажут там, как узнают, что тут у нас произошло?»

— А дочери его не видел, пан?

— Нет. Но Хрущов говорит, что она и не знает о похоронах отца.

— Так Хрущов ее видел?

— Видел... Плачет, бедная, говорит, и все про пана спрашивала.

— Про меня? — Бениовский вздрогнул, спрашивая это.

— Да, про пана, она боится за пана — не убили ли и его во время бунта. Ей Батурин объяснил, что отца ее убили казаки, которые были им недовольны за то, что он не позволял им обижать туземцев.

Бениовский встал и тревожно заходил по присутствию, часто прикладывая руку к голове.

— Теперь не время толковать о слезах девочки и об ее мертвом отце, — заговорил он, как бы опомнившись. — Надо кончать начатое нами дело.

— Легко сказать — кончать! — заговорил в свою очередь Степанов. — Мы начали тем, что свергли здесь законную власть, и теперь прячем ее в могилу. Отлично! Она из гроба не встанет уж. Мы возвели на русский трон нового императора. Но что скажет здравствующая императрица? Ее нельзя, как Нилова, спрятать, хотя бы в монастырь. Мы заставили народ присягнуть Павлу Петровичу. Положим, рано или поздно он должен бы был присягнуть ему. Но как мы оправдаем свой поступок перед императрицей и Сенатом, пока на русском престоле не восседает Павел! О! Коронуйся он завтра — мы бы первые, может быть, были взысканы его милостями, потому что мы первые ему присягнули, не боясь смерти. Даже и в лучшем случае: что скажем мы Сенату? Кто дал нам право начать кровавую расправу? Наше дело он бунтом назовет, а нас — крамольниками. Во всяком случае, нам уже нет возврата в Россию, а это — ужасно!

— Нет! — горячо возразил Бениовский. — Мы и возврат себе обеспечим.

— Чем это, государь мой?

— Мы пошлем в Сенат с курьером донесение. Мы обвиним воеводу и начальника Камчатки в измене отечеству. Мы скажем, что он притеснял народ, грабил страну, убил все казенные промыслы, продал весь край Холодилову и его баскакам, всю Камчатку — купцов, посадских, казаков, камчадалов — всех закабалил Холодилову. Народ роптал, жаловался нам, просил защиты. Мы и порешили арестовать изменника на время, чтоб спасти весь край от разорения. Но пьянство, а не мы, погубило воеводу: он скончался от удара. Тогда меня народ поставил воеводой.

— Все это хорошо, барон, — заметил Панов, — но чем мы объясним нашу присягу новому императору?

— Смертью императрицы, — отвечал Бениовский.

— Как смертью?

— Скажем, что по всей Камчатке прошел слух о ее смерти, а как сюда манифест не скоро дойдет — мы и присягнули законному наследнику престола... Впрочем, что я! — сказал он с решительным жестом. — Я не русский подданный! Я не присягал вашей императрице! Я сам воевал с войсками Екатерины! Да что об этом думать! Пока курьер будет везти наше донесение Сенату — мы будем далеко в море, будем охранять честь русского народа, честь царского прапора и имя государя. А там — что будет! Рубикон за нами!

— Так, барон, — за нами, — согласился Степанов, — но Рим — не перед нами!

— Да, — подтвердил и Панов, — и Рим за нами, и весь мир, — мы изгнанники.

— Сто дьяблув! — энергически взмахнул длинными волосами Бениовский. — Возврата нет нам в прошлое: кто раз разбил цепи, в другой раз волей не наденет.

— Не наденет! — раздался сзади громовой голос.

Все невольно оглянулись. В дверях стоял Батурин. Седые длинные волосы его, казалось, ореолом окружали энергическое лицо старика. Что-то величественное было в его осанке.

— Не наденет! — повторил он. — Нет, в Шлиссельбург меня уж не заманят! Морские ветры лучше пусть размычут седые волосы мои, чем в неволю отдать на поругание эти седины. Да! Пускай меня, умершего, бросают, в безбрежном море за борт, как собаку, в добычу хищным рыбам, лишь не врагам моим на посмеяние! И мертвый я носиться буду в море на свободе, без цепей: мою свободу пусть охраняют бездны океана!

Слова старика воодушевили всех. Неподвижные глаза Бениовского сверкнули. Винблад горячо пожал руку Батурина.

— Хвала вам! Хвала сединам вашим! И я охотой не надену цепи снова. Когда умру я в море, пусть и меня бросают за борт в бездну. Лучше сделаться жертвою акулы, чем гнить живым в Камчатке!

XI. «ВЕЗДЕ БЫДЛО!»

Шум и неясный говор на площади перед воеводской канцелярией привлекли общее внимание. Первым выглянул в окно Степанов. Там двигалась толпа. Впереди, размахивая руками, шел Гурченинов.

— Народ сюда идет, — сказал Степанов, — должно быть, кончилась присяга.

— Да, да, — заметил и Панов, — вон Гурченинов в роли предводителя, и юный Уфтюжанинов шныряет в толпе — бедовый попович!

К окну подошел и Бениовский.

— Да, это они идут от присяги. Надо им показать прапор!

Винблад взял стоявшее в углу знамя и подал его Бениовскому. Последний отворил окно. Гул голосов сделался еще громче, особенно когда Бениовский показал в окно цветное и блестящее золотом, широкое полотнище прапора. С толпою подошли к окну Хрущов, Гурченинов, Чулошников и Уфтюжанинов.

— Присяга всеми принята, — сказал Хрущов, приблизившись к самому окну и отдавая честь знамени, — Нилов похоронен.

К окну приблизились Чулошников и Уфтюжанинов.

— Над Ниловым прикажете поставить крест? — спросил первый. — Али бросить так, потому как он изменник.

— Нет, крест поставьте, — отвечал Бениовский, — после него остались дочь и сын.

— Слушаю-с.

— А тебя, мой достойный ученик, — обратился Бениовский к Уфтюжанинову, — благодарю за усердие и ревность: из тебя выйдет бравый вояка.

Между тем из толпы раздавались отдельные голоса:

— Где сам он? Пущай бы сам вышел.

— Грамоту зелену подавай! Царски знаки показывай!

Бениовский выше поднял знамя и потрясал им в воздухе.

— Вот царский знак! Ему вы должны служить верой и правдой.

— Ура! Ура!.. Сымай шапки!.. Шапки долой!

Головы обнажились. Иные крестились на знамя.

— А где ж зелена грамота? — слышались голоса. — Зелену грамоту подай!

Бениовский подошел к столу, передав знамя Батурину, отпер ключиком стоявшую на столе шкатулку и, вынув из нее большой зеленый бархатный пакет, снова воротился к окну.

— Вот зеленая грамота, православные! — сказал он громко, показывая пакет. — Тут знаки царские и рука царская!

— Рука царска, слышь ты — царска рука вона! — пошел гул по толпе.

— Покаж руку царску! Вычитай зелену грамоту!

— Вычти грамоту!.. Покаж руку! — гудели голоса.

— Тут нельзя читать — не место! — нашелся Бениовский. — Ее читать надо в церкви!

— В церкви, слышь, вычитают зелену грамоту!.. В церкви!

Бениовский продолжал махать в воздухе зеленым пакетом.

— Гляди! Гляди-тко! И впрямь зелена!

— Ишь ты диво! А царски знаки где? Царска рука! Где, братцы?

— Тамотка! Там! Что ты? Вот те Христос!

— А Холодилова долой, братцы?

— Вестимо, долой! Вон и Чулошников с нами!

— Ай да грамотка зелена!

Винблад, спрятавшись за простенком, тихо смеялся.

— Везде такое же бессмысленное быдло... Зелена грамота! Вот быдло!

XII. В ТИХОМ ОКЕАНЕ

Вот уже более месяца галиот «Святой Петр» носится по водам Тихого океана.

На галиоте находятся наши большерецкие знакомые — Бениовский, Батурин, Хрущов, Степанов, Панов, Винблад, Гурченинов, молодой Уфтюжанинов и еще одна личность, с которой мы еще, кажется, не познакомились. Это — Магнус Мейдер, который служил прежде в Петербурге, в должности «адмиралтейского лекаря», а потом послан был в Большерецк. Мейдер также принимал непосредственное участие в большерецком бунте Бениовского и потому бежал из Камчатки вместе с другими заговорщиками на галиоте «Святой Петр».

Находилась на галиоте и интересная беглянка, которая, однако, не принимала участия ни в заговоре Бениовского, ни в бунте. Это — Афанасия Григорьевна Нилова. Оставшись круглою сиротою после трагической смерти отца, потому что во время бунта исчез и ее единственный брат, который, как не без основания полагали, испуганный погромом, бежал ночью же из Большерецка в тундры и, вероятно, погиб там с голоду или был растерзан дикими зверями вместе с другими, бежавшими в ту же роковую ночь, — девушка не видела другого исхода, как бросить навсегда ту местность, которая, кроме ужасов и невозвратных потерь, ничего не могла ей напомнить, и бежать вместе с Бениовским и его товарищами по злоключениям. Притом же Афанасия любила своего Морица первою молодою любовью, охватившей все ее существо, овладевшею ее душой, всеми ее по-

мыслами и надеждами только что начинавшейся распускаться молодой жизни. Без него — что у нее оставалось в Камчатке? Только две родных могилы, да третья — неизвестная. Кроме Камчатки и собственно Большерецкого острога, она ничего не видела. Она не знала даже, что такое Сибирь, а еще меньше знала Россию. Она даже в воображении не могла себе ее ясно представить. Она скорее могла живо вызвать в своем воображении Венгрию с ее горами и степями, Польшу, с ее вольностью и блестящим панством, Италию — с ее дивным небом и бирюзовым морем; со всем этим ее познакомил Бениовский, когда она была еще тринадцати- четырнадцатилетней девочкой-дикаркой. Но России она не знала и не могла ее любить. Что же могло удержать ее в Камчатке? С Бениовским, с его побегом для нее исчезло с горизонта ее солнце: она не могла даже представить себе всего ужаса того одиночества, какое ожидало ее на самом конце и притом на самом пустынном конце цивилизованного мира, где уже начинался безбрежный холодный океан. И девушка пошла за своим солнышком. Старая няня Пахомовна, или, вернее — Пахонина, как называла ее прежде маленькая Фаня, Пахонина, вырастившая барышню-сиротку на своих руках, конечно, не могла расстаться с нею и также променяла Камчатку на галиот «Святой Петр».

Экипаж галиота состоял из нескольких десятков матросов и казаков, в том числе уже знакомые нам Андреянов и Потолов, а также Измайлов и Зябликов, покаявшиеся в своем предательстве, хотя не удавшемся, и прощенные Бениовским, затем Сафронов, камчадал Паранчин с женою. Жена Андреянова также не хотела разлучиться со своим мужем и покинула Камчатку для скитальческой жизни. Некоторые матросы были тоже с женами.

Вообще крутобокий «Святой Петр» представлял собою целую плавучую русскую колонию, хотя главою и полновластным диктатором ее, в качестве капитана галиота, был Бениовский, человек, ни по своему рождению, ни по духу, ни по симпатиям, не принадлежавший к русской национальности.

Беглецы давно уже проплыли Курильский архипелаг и уже находились у одного небольшого острова из группы островов Японии. Немало они испытали невзгод за время своего скитания по океану: то их трепали бури и штормы, то приводили в отчаяние мертвые штили, когда южное солнце так пекло, что некуда было спрятаться, а дубовую палубу галиота накаляло так, что ходить по ней было горячо ногам.

Вчера ночью галиот кинул якорь у берегов одного небольшого лесистого острова, название которого не было показано на большой морской карте, имевшейся на галиоте.

Южная ночь была роскошна, и Афанасия вместе с Бениовским и другими беглецами долго сидели на палубе, любуясь туманными, какими-то волшебными под лунным освещением очертаниями и берегами зеленого острова. Все сидели молча, задумчиво, может быть, потому, что к грустной задумчивости и воспоминаниям побуждали их слова песни, которую матросы пели на другом конце галиота.

Запевалой в хоре был молодой Уфтюжанинов. Он затянул заунывным голосом особенно любимую матросами песню:

Сторона ль моя, сторонушка,
Сторона ль моя незнакомая!

Матросы подхватили дальше, и волшебная южная ночь в незнакомой стороне и на неведомом море огласилась за душу хватающею мелодиею:

Что не сам-то я на тебя зашел,
Что не добрый-де конь меня завел,
Завела меня, доброва молодца,
Прыткость, бодрость молодецкая
Да хмелинушка кабацкая.

Никто не заметил, однако, в темноте ночи, как под эту грустную, хотя молодецкую песню, Афанасия тихо плакала: она сидела спиною к освещавшей ее стройную фигуру луне. Слезы, впрочем, не раз уже, никем, однако, не замечаемые, туманили ее прелестные, детски невинные глаза. Только старая Пахонина о чем-то догадывалась и тяжело вздыхала, молясь каждый вечер особенно усердно за свою любимицу.

Сегодня утро выдалось такое же тихое, как и прошедшая ночь.

Солнце живописно освещало роскошные рощи и каменистые берега незнакомого острова. Неизвестные, невиданные деревья росли то в виде пальм, то раскидывались шатрами. Из лесу неслись голоса незнакомых пород птиц, да и те, которые летали у берега, были не те, которых Афанасии доводилось видеть в Камчатке. Только знакомый жалобный крик чаек, которые кружились около галиота или садились на гладкой, как зеркало, поверхности океана, напоминали ей далекий, давно покинутый север.

Матросы с раннего утра отправлялись в шлюпке на остров, чтоб сделать для корабля достаточный запас свежей

пресной воды, так как ровно против того места, где «Святой Петр» бросил якорь, в океан изливалась маленькая, в виде гремучего ручья, горная речонка, — и уже привезли на галиот не один бочонок драгоценной в океанских плаваниях влаги.

При виде прелестного острова и его роскошной зелени, Афанасии очень захотелось побывать на берегу, почувствовать под собою землю, дотронуться хоть до зелени деревьев, походить и посидеть на траве, полюбоваться на цветы. Ведь ноги ее так давно не касались земли, глаза не видели и руки не осязали ни деревьев, ни зелени.

Хрущов предупредил, угадал ее желание. Недаром Панов называл его поэтом и фантазером. В его душе действительно тлела поэтическая искра, и мечтательность легла основным элементом в его внутренний мир. Недаром он когда-то, еще юношей, серьезно мечтал осчастливить Россию, внеся элемент мира и свободы в ее общественную жизнь, и за эту мечту угодил в Камчатку, благо пылкую голову его не признали нужным отрубить на плахе.

— Не поехать ли нам, Афанасия Григорьевна, на берег? — заговорил он, заметив грустный взор девушки, устремленный на остров.

— Я сама только что об этом думала, — отвечала Афанасия, оживляясь.

— Что ж вы не сказали об этом раньше?

— Да я не решалась: Мориц Иосифович занят — дневник, кажется, пишет.

— О! Мы его сейчас вытащим из берлоги, — улыбнулся Хрущов, и пошел в каюту капитана.

К Афанасии подошел Панов.

— Каково утро-то! — сказал он, раскланиваясь. — В воздухе столько разлито поэзии, что даже Гурченинов, кажется, заговорил стихами.

— Бедный он! — серьезно сказала девушка. — Каково это — почти всю жизнь провести без языка!

— Э! Афанасия Григорьевна! — улыбнулся Панов. — Что ему! Вот если б у меня, у болтуна, язык отрезали — я бы повесился. Ну сами посудите: как же это всю жизнь не болтать! А как вы находите — что красивее: ваша Камчатка, или вот эта штучка? — сказал он, указывая на поэтический остров.

— Но только он, кажется, безлюдный, — заметила Афанасия.

— Да-с, барышня, безлюден. Хорошо еще, что об нем не проведал Степан Иванович Шешковский, а то б сейчас заселил его поэтами.

— Кто это Шешковский? — спросила Афанасия.

— Да есть там у нас, барышня, в Питере ветрогон такой, что как только кто замечется, так он его сейчас — фюить! — на какой-нибудь поэтический полуостров, вроде Камчатки, любоваться природой, и притом такой добряк этот милостивец, что всегда дает возможность поэтам кататься на казенный счет. Такой добряк!

— О ком это вы? — спросил Бениовский, подходя вместе с Батуриным и Хрущовым к Афанасии и ее собеседнику.

— Да это я говорю барышне о нашем отце и благодетеле Степане Ивановиче Шешковском, — отвечал Панов.

— Да, да! Милейший человек! — засмеялся конфедерат. — Он, видите ли, отправляя меня в Камчатку, потирал руки от радости и говорил: «Ах, мой добрый друг! Как я рад за вас, что вам именно назначена Камчатка: какая там величественная природа, какие поэтические места! Вспомните меня, мой друг, когда будете любоваться всеми этими прелестями!» И я вспоминал его: добрейшей души человек! Так ты, Фанни, — обратился он к девушке, — хотела бы съездить на остров?

— Да, Мориц, — отвечала Афанасия.

— Отлично! — согласился Бениовский. — Мы все туда отправимся: вероятно, там отличная охота.

— Наичудесно, государи мои! — обрадовался Панов. — Настреляем там дичи, всякого зверя, насолим впрок — наичудесная штука будет!

XIII. ИЗМЕНА

Скоро с галиота спущены были на воду две шлюпки. В одной из них поместились — Бениовский, Афанасия, Батурин, Винблад и Уфтюжанинов, в другой — Хрущов, Степанов, Панов и Магнус Мейдер. На галиоте остался только Гурченинов с прислугою.

Через несколько минут шлюпки пристали к острову. Так как воды океана, несмотря на зеркальную поверхность последнего, далеко, хотя плавно, забегали на отлогий берег и так же плавно, с математическою, кажется, правильностью отступали назад, и лодки сильно качало у берега, то Афанасию Бениовский вынес из шлюпки на руках и, при криках «ура!» со стороны Панова и Уфтюжанинова, торжественно поставил ее на землю.

— Ура! — радовался Панов. — Пусть Афанасия Григорьевна будет царицею этого прелестного острова.

Мысль Панова всем понравилась, и Бениовский первым преклонил колена пред юною царицею.

— Ваше величество! — торжественно сказал он. — Позвольте повергнуть к стопам вашим мои верноподданнические чувства.

Афанасия улыбалась и краснела.

— Да здравствует Афанасия Первая, Божиею милостью императрица океанская! — воскликнул Панов, тоже припадая на одно колено.

— Ура! — повторили другие. — Да здравствует Афанасия Первая!

— Ваше величество! — сказал Бениовский, вынимая из ножен свою шпагу и подавая ее Афанасии. — Вы прикосновением шпаги к плечу должны посвятить меня и других ваших благородных слуг в рыцари.

— Да! Да! — подхватили прочие.

Улыбаясь и продолжая краснеть, девушка сделала то, что от нее требовали. Каждый поочередно подходил к ней, преклонял колено, и импровизированная царица всех посвятила в рыцари.

Между тем молодой Уфтюжанинов успел тут же, поблизости, нарвать роскошных тропических цветов и сплести из них венок.

— Молодец мой ученик! — воскликнул Бениовский, увидев венок в руках Уфтюжанинова. — Надо венчать нашу царицу!

И венок был действительно возложен на прелестную головку девушки. Она казалась каким-то видением на берегу неизвестного острова, перед безграничною далью океана.

— Пусть этот остров будет «островом Афанасии», — провозгласил старик Батурин.

— Правда! Правда! Ура! — согласились прочие.

— Виват! — сказал Бениовский. — Именем Афанасии я и на своей карте отмечу этот остров.

— Наичудесно! — воскликнул Панов.

Они недолго, однако, забавлялись своей выдумкой и скоро направились в глубь острова — искать зверей и птиц.

— Вы, молодежь, идите стрелять, а мы, старость и юность, будем цветочки рвать, — сказал Батурин, глядя на Афанасию, — не так ли, барышня?

— Благодарю вас, Яков Петрович, — согласилась девушка, — я охотно останусь с вами.

— А меня, старика, не примите в свою компанию? — обратился Хрущов к Афанасии. — Я не охотник убивать невинных птичек и зверей.

— Какой же вы старик? — заметил Батурин. — Вы мне в сыновья годитесь.

— Я стар душою, — отвечал Хрущов.

— Ну ладно, оставайтесь, — согласился старик. — У вас же, кстати, ружье: неровен час на нас нападут звери или дикие люди.

— В самом деле, — подтвердила Афанасия, — оставайтесь с нами, Петр Алексеевич, с вами не так страшно.

— Так вы нам головой ручаетесь за безопасность нашей всемилостивейшей государыни, — церемонно поклонился Бениовский, — до свидания.

Оставшись с Батуриным и Хрущовым, Афанасия также прошла с ними несколько в глубь острова. Никогда не видала она такой богатой растительности, таких очаровательных цветов — и все это было совсем не похоже на то, что она видела прежде — и эти гигантские деревья, и эти неведомые цветы. Атмосфера тропического юга так и охватила ее, и ей казалось, что она бродит в сказочном мире. По деревьям порхали никогда не виданные ею прежде птицы таких ярких цветов, каких она и не предполагала в царстве пернатых, зная только некоторых птиц Камчатки.

— Мне даже жаль рвать эти прекрасные цветы, — говорила она, очарованная всем видимым.

— Отчего же? — успокаивал ее Хрущов. — Их так много здесь.

— Да зачем они мне?

— Ах, милая барышня, — в свою очередь говорил Батурин, — вы бы этими цветами свою каютку украсили — как бы хорошо было!

— И вправду, — согласилась девушка, — я и вашу кают-компанию украшу цветами, и букет для нашего капитана сделаю.

— Наичудесно — как говорит Панов!

Между тем из-за лесу, из разных мест, уже доносились выстрелы.

— Должно быть, охота знатная, — заметил Батурин.

— Как не быть охоте! Вон сколько птиц!

Вдруг Афанасия вскрикнула, разроняла цветы, которых набрала уже целую охапку, и, бледная вся, бросилась к Батурину.

— Что вы, милая барышня? — встревожился он. — Чего вы испугались?

— Вон там, на дереве, у того куста...

Девушка вся дрожала.

— Что же там — не змея ли?

— Змея... огромная... пестрая...

— Петр Алексеевич! — закричал Батурин. — Скорей бегите сюда!

— Что там? — отозвался Хрущов из-за зелени.

— Да идите же! Давайте ружье!

Хрущов прибежал. Испуганная девушка показала ему на дерево:

— Вон — смотрите, смотрите!

Вокруг дерева действительно обвивалась громадная изжелто-коричневая змея. Длинная узкая голова ее с маленькими блестящими глазами была обращена именно туда, где стояли Афанасия с Батуриным. Из пасти чудовища высовывался и дрожал в воздухе черный язык в виде раздвоенной стрелы.

Хрущов приложился, прицелился, и мгновенно раздался выстрел. Когда дымок рассеялся, присутствующие увидели, что размозженная голова змеи как-то свисла с дерева и кольца ее длинного острого тела, обвивавшие дерево, конвульсивно сжимались и тотчас же опускались ниже и ниже.

— Убита! — облегченно вздохнул Хрущов.

— Но она еще жива, — шепотом сказала Афанасия.

— Ничего, милая барышня, не бойтесь теперь: она уж безопасна, — успокаивал ее Батурин.

— А другие? Ведь она, верно, не одна тут... Пойдемте отсюда... Тут страшно...

Афанасия взяла под руку Батурина и, со страхом оглядываясь по сторонам, потащила его и Хрущова к берегу.

— Хорошо, что вы остались с нами, — говорила она Хрущову, — а то что бы мы стали делать без ружья?

— Да ничего, — отвечал последний, — она бы вас не тронула.

В то время, когда они подходили к берегу, на корабле раздался звон вахтенного колокола, но это был не простой звон, а какой-то тревожный, точно он звал кого-то на помощь. Между звоном кто-то кричал в рупор, но что кричали, слов нельзя было разобрать, так как за выдающимися из моря рифами корабль не мог близко подойти к острову и бросил якорь на далеком расстоянии.

— Что бы это значило? — удивился Батурин. — На галиоте как будто тревога.

— Но с чего? Кому угрожает опасность? — недоумевал и Хрущов.

— Разве заметили в море пирата?

— Но там кругом ничего не видно.

— А может быть, матросские глаза лучше наших.

Колокол продолжал звонить с прежнею тревогой, и рупор не умолкал.

— Не бунт ли между матросами? — заметил Батурин. — Это иногда случается на море.

Афанасия стояла бледная и трепещущая. Напрасно она напрягала зрение, чтобы разглядеть, что происходило на галиоте: она видела на нем только какое-то движение.

— Боже мой! — ломала она руки. — Хоть бы Мориц скорее пришел!

Бениовский не заставил себя ждать: обвешенный разнообразною дичью, он показался над обрывом, а вскоре к нему присоединились другие охотники.

— Мориц! Мориц! — кричала ему Афанасия. — Что там делается?

— В шлюпки! Скорее в шлюпки! — отвечал Бениовский.

Через несколько минут шлюпки быстро неслись к галиоту.

XIV. НА НЕОБИТАЕМОМ ОСТРОВЕ

Когда шлюпки находились уже не в далеком расстоянии от корабля и когда перестал звонить колокол, то можно было явственно расслышать, что на галиоте как будто бы что-то рубили или выбивали что-то тяжелыми ударами.

— Что за тревога на корабле? — закричал Бениовский, складывая ладони в виде рупора.

— Измена, капитан! — отвечал рупор.

Стук на галиоте прекратился.

— Кто изменники? — спросил Бениовский.

— Измайлов и Зябликов, — отвечали в рупор.

— О, я так и догадывался! — заметил Бениовский. — Эти волки всегда были для меня подозрительны... Хорошо же, до ста дьяблув! Я им покажу!

Вот что произошло на корабле, когда Бениовский и Афанасия с прочими отъехали на остров.

Рыжий Андреянов, очень преданный Бениовскому, и жена его Анна, толстая добруха, души нечаявшая в «барышне», то есть Афанасии, давно стали замечать, что у них на галиоте что-то неладно. Особенно подозрительными казались прежн-

ние доносчики Нилова — Измайлов и Зябликов. Они иногда шептались между собою, обменивались какими-то знаками, и вообще с этой стороны, как выражался Андреянов, «было что-то нездорово». Заметно было, что к ним вязался также камчадал Паранчин, который плавал на китоловных судах и очень хорошо знал западную часть океана, в особенности же всю линию Курильских островов и все азиатское восточное побережье до самой Кореи и далее. Как знаток моря, он взят был Бениовским на эмигрантский корабль. Андреянов, притворяясь ни об чем не догадывающимся, зорко, шаг за шагом, следил за этими подозрительными личностями. Но что они задумывали, — он никак не мог разгадать, как ни ломал голову. От времени до времени он замечал, что и казак Сафронов, ленивый малый с огромною серьгою в ухе, тоже как будто держит их руку.

Но сегодня все открылось. Сказав Бениовскому, что ему что-то нездоровится, Андреянов забрался в трюм и спрятался там за ящиками. Он это сделал в то время, когда Измайлов, Зябликов, Паранчин, Сафронов и другие матросы утром отплыли на остров запасаться водой, и, следовательно, никто не заметил, как он спускался в трюм. Когда Измайлов и другие воротились с острова и спустили бочки с водой в трюм, чтоб наливать воду в баки, Андреянов и подслушал их разговор. Измайлов с досадою сказал своим товарищам, что «подлец Потолов» мешал ему там открыться товарищам, и что у них с Зябликовым, Паранчиным и Сафроновым давно созрел такой план: так как теперь все «господа» съехали на остров охотиться, то никто им, Измайлову с товарищами, не мешал теперь обрубить якорь, поднять паруса и плыть домой, в Камчатку. «А господа пущай, как крысы, подохнут на острове».

Все согласились на предложение Измайлова и хотели тотчас же привести его в исполнение.

Но Андреянов предупредил их. Ужом прополз он между ящиками и бочонками и, никем не замеченный, очутился на палубе. В одно мгновение он шепнул Потолову и другим матросам, не причастным к заговору Измайлова, какая ожидает их опасность, если галиотом завладеют заговорщики, — и те моментально захлопнули дверь трюма, навалили на нее канатов и ящиков и ударили тревогу.

Заговорщики очутились в западне. Все скрепления на корабле и в трюме были прочные, железные, и как ни старались попавшие в ловушку изменники выбить дверь трюма, они ничего не могли сделать.

Когда Бениовский, войдя на корабль, узнал обо всем этом, то пришел в такую ярость, что тотчас же хотел перестрелять всех заговорщиков, как собак, или же повесить на реях. Действительно, известие, которое сообщил ему Андреянов, было ужасное: заговор на корабле, в открытом море, заговор, так сказать, в своей собственной семье — что же может быть страшнее! На кого же положиться? На суше еще можно спастись, уйти от заговорщиков, на суше можно искать помощи, убежища, но в море, на корабле? Оттого нигде так не строга дисциплина, как на море, и оттого в море, в океане, капитан корабля делается самовластным властелином над жизнью и смертью всех своих пассажиров: в море он — диктатор своего плавучего государства. Раз уже он помиловал изменников, когда они хотели было донести покойному Нилову о его собственном заговоре. Он даже выразил тогда такую мысль: помилованный враг часто делается лучшим другом. И вот что вышло!

Бениовский был страшен в своей ярости. Красивое лицо его как бы окаменело, а глаза его, всегда холодные и глубокие, как глаза фанатика, теперь светились фосфорическим блеском, как вспыхнувшие гневом в темноте глаза кошки.

Афанасия, сама бледная и вдвойне перепуганная — сначала там, на острове, видом чудовищной змеи, потом здесь этим ужасным известием, — робко приблизилась к своему бывшему учителю и просила его успокоиться. Но он почти не слыхал ее тихой мольбы.

Она подошла к Батурину, задумчиво опустившему свою седую голову, и взяла его за руку.

— Яков Петрович, вы старше всех здесь, опытнее, — тихо сказала она, — придумайте, как поступить с несчастными?

— Я одно могу сказать, милая барышня, — также тихо отвечал старик, — сами согласитесь, что на корабле уж их нельзя оставить на свободе: их надо приковать. Таким образом, они уже перестанут быть матросами, а сделаются для галиота только лишними ртами. А мы должны дорожить своими запасами: океан — та же пустыня.

— Да, вы правы, — грустно согласилась девушка. — Как же быть?

— Применить к ним то, что они замышляли для нас.

— Как же так! Я не понимаю.

— Высадить их на этот остров — пусть живут себе.

— А чем же они будут питаться?

— Там много птиц и зверя. Можно даже оставить им одно или два ружья с порохом и пулями: поверьте, они не умрут с голоду.

— А змеи там?

Батурин только махнул рукой.

Когда первая ярость несколько улеглась в душе Бениовского, он допустил уговорить себя — сейчас же составить военный совет и общими усилиями придумать наказание для изменников.

На совете было принято мнение Батурина. Только Бениовский, по праву капитана, сделал небольшую поправку или добавку к принятому решению: всех изменников, перед высадкою на остров, жестоко наказать кошками.

Экзекуция тотчас же была приведена в исполнение.

Заключенных в трюме выпускали оттуда поодиночке, объявив им предварительно решение совета.

Первым вышел на палубу Измайлов. Он не просил прощения и вообще не говорил ни слова. Лицо его выражало упрямую решимость.

Подали кошки... Афанасия убежала в свою каюту и спрятала голову в подушки.

Но зачем изображать возмутительные картины прошлого? История не должна их забывать: в истории они не должны стираться как клейма позоров, пережитых жалкими людьми. Но мы во всяком наказании видим только нечто оскорбительное, деморализующее, но отнюдь не поучительное... Напротив! о, напротив!..

Немного погодя, две шлюпки отошли от галиота «Святой Петр». В каждой шлюпке лежали человек по пяти связанных. В каждой шлюпке было также по одной бабе: то были жены Измайлова и Паранчина. Их положено было высадить на берег вместе с мужьями.

Когда шлюпки пристали к острову и связанных изгнанников матросы перетаскали на берег, бабы тотчас же стали их развязывать.

Шлюпки оттолкнулись от берега.

— Прощайте, земляки! — крикнул с одной шлюпки Андреянов. — Счастливо оставаться! Увидите своих — кланяйтесь нашим!

— Смотрите только — из-за бабьятины не передеритесь! — захохотал Потолов.

С берега послышались ругательства.

Афанасия стояла на палубе галиота и печально смотрела на остров. Она видела издали, как вставшие на ноги изгнан-

ники поднимали к небу кулаки и грозили плавно качавшемуся на синеве океана кораблю.

— Вот ваш остров теперь уже не безлюдный, — с улыбкой заметил Хрущов, подходя к Афанасии.

— Бедные! — прошептала девушка.

— Чем бедные? — подхватил, тоже подходя, Панов. — Наичудесно заживут себе. Ведь островок-то — настоящий рай, только в настоящем раю была всего одна Ева, а там у них две.

— Евы-то и соблазнили наших Адамов, — засмеялся Бениовский.

— Как? — спросил Панов.

— Да так — Евы! Я досконально узнал, что все это бабы заварили: бабы соскучились по Камчатке и подбили своих мужей к измене. Жаль, что я не велел пошлепать их кошками.

— Ну, их можно было и котятами — помягче, — сострил Панов.

Вдруг с острова явственно донеслись голоса развеселой, всем знакомой песни:

Ах, Иванушка на печке лежит,
А Ульянушка на печку глядит, —
Как пришла ли ее мать,
И учала ее ломать:
Учала ее ломать,
Только косточки гремят,
Все суставы говорят...

Видно было, что на берегу плясали.

— Ну, совершенно дикие люди, звери! — махнул рукою Бениовский. — Мало я их порол...

XV. В ЯПОНИИ

В тот же день галиот «Святой Петр», пользуясь небольшим попутным ветром, снялся с якоря и, подняв паруса, пустился в дальнейший путь.

Долго на берегу покинутого острова виднелись очертания выброшенных туда заговорщиков галиота, но потом очертания эти становились все менее и менее явственны и наконец совсем задернулись синеватою дымкою дали, хотя сам островок продолжал еще темнеть на далеком горизонте океана.

Скоро и эта темная точка скрылась под водою.

«Святой Петр» держал курс по направлению к югу. Томительно было однообразие океана, но при попутном ветре,

когда шумели паруса и реи, все-таки чувствовалась жизнь среди мертвого однообразия безбрежной синей влаги, когда же наставал мертвый штиль и опускались паруса, как безжизненное тело, — душа чувствовала такую отчужденность от всего мира, такое одиночество, что становилось страшно, и мысль близка была к отчаянию.

Такое душевное состояние более всех испытывала Афанасия. Вырванная роковыми событиями, как нежный цветок, из почвы, на которой она выросла, потеряв в одну ночь, и притом при таких потрясающих обстоятельствах, все, что она считала в своей жизни своим, близким, родным, поглощенная роковым чувством, которое увлекло ее, как вихрь, как ураган, не дав ей опомниться и прийти даже к неизбежному заключению, что для нее нет выхода никуда, что для нее ничего не осталось в мире, — бедная игрушка судьбы, случая, кровавых столкновений, в средину которых ее втолкнула эта же судьба, как щепку в бурный поток, — девушка, конечно, должна была сильнее, жгучее, острее всех чувствовать то, что в эти последние месяцы проходило по ее душе.

В то же время она всею полнотою сердца, всем существом своим переживала то, тот жгучий и страшный и обаятельно сладкий период молодой жизни, когда она узнала то, о чем только смутно догадывалась. Она любима, она нашла то, что не всякой девушке суждено найти в жизни...

Неудивительно, что она жила за это время удесятеренными мерами жизни, удесятеренным чувством — и чувством блаженства, и чувством страдания.

Прошло немало дней с тех пор, как корабль их покинул неведомый остров, оставивший в душе Афанасии тяжелые воспоминания. Но земли все не было видно. Наконец, одним жарким утром, когда чайки особенно назойливо кричали над морем и поминутно садились на полосу воды, оставляемую быстро идущим кораблем, и когда на реи галиота прилетали иногда неизвестные птицы, — Винблад, как истый потомок скандинавских пиратов, обладавший прекрасным зрением, радостно воскликнул:

— Ура! Земля! — К зюйд-зюйд-весту видны очертания земли.

— Это, должно быть, остров Киусиу, — не без волнения в голосе заметил Бениовский, — остров Нипон, вероятно, остался много левее.

Стали держать курс на зюйд-зюйд-вест. Чем выше поднималось солнце и сгоняло с моря остатки предутреннего тумана, тем яснее вырезывались на горизонте очертания земли.

Уже явственно можно было отличить темную зелень леса от серых голых гор. Скоро в зрительную трубу можно было рассмотреть на земле признаки населенности: это уже не был необитаемый остров.

Но, как на зло, ветер, последние дни дувший попутно, по мере приближения к земле стал меняться и надувать паруса в противную сторону. Кораблю вследствие этого приходилось то лавировать, то ложиться в дрейф. Это очень замедляло движение. Как бы то ни было, к полудню галиот так успел приблизиться к земле, что уже простыми глазами можно было явственно различать селения на берегу моря. Но и самые селения, и постройки их казались какими-то странными, невиданными: какие-то вычурные башенки, точно слепленные из картонной бумаги — такие легкие и фигурные, — вероятно, то были храмы, кумирни, думала Афанасия, стоя у борта рядом со своей няней Пахомовной, которая неустанно продолжала вязать нитяные чулочки для своей любимицы. «Это не в Камчатке, — говорила она, — тут вон какая жарынь — надо и чулочки тоненькие носить».

А земля подходила все ближе и ближе. На полугоре, недалеко от высокого мыса, которым как бы замыкался вход в бухту, раскинулся довольно большой город. В бухте видны мачты кораблей и множество мелких судов. В городе и в гавани заметно оживление — отчетливо видны человеческие фигуры, какие-то странные экипажи, носилки с сидящими в них людьми.

Ясно было, что это Япония.

— Но ведь японцы не пускают к себе европейцев, — сказал Батурин Бениовскому, когда галиот приблизился к самому входу в бухту и намеревался бросить якорь.

— Я потому и не ввожу корабль в бухту, — отвечал Бениовский, приказав выкинуть на галиоте русский флаг, — а там посмотрим... Во всяком случае, нам нужно опять запастись провизией и водой.

Скоро якорь с шумом и звоном упал в море.

— Прикажите, Яков Петрович, салютовать городу по силе регламента морского, — обратился Бениовский к Батурину как к бывшему артиллерийскому полковнику.

Батурин направился к орудиям.

Скоро бухта огласилась пушечным выстрелом, затем грянул второй выстрел, третий...

— Нет ответного салюта, — недовольным голосом произнес Бениовский. — Дикари! Океанские обезьяны!

Но едва растаял в воздухе дым от последнего салютационного выстрела, как галиот почти моментально был окружен целою флотилиею маленьких длинноносых, как кулики, японских лодок с зеленью, фруктами, хлебом, всевозможными плодами. На лодках приветливо кривлялись, улыбались и кланялись в странных одеяниях люди, предлагая все, что у них было в лодках. Они усердно кричали, старались перебить друг друга, но ни одного слова из того, что они выкрикивали, никто на галиоте не понял, что вызвало среди экипажа галиота взрывы хохота и всевозможных острот.

— Эй ты, чертова перечница! Почем огурцы? — кричал один.

— Кидай сюды твои яблоки, обезьянье рыло! — острил другой.

— Эй вы, хвостатые дьяволы! Зачем у девок косы пообрезали?

Хвостатые люди, со своей стороны, добродушно смеялись и цеплялись то за руль, то за якорную цепь галиота.

Ясно было, что никаких враждебных действий от этого добродушного народа нельзя было ожидать, и потому Бениовский сам решился поехать в город, чтобы разведать — так ли дружелюбно будут приняты русские путешественники японскими властями, как принял японский народ; хотя сильно сомневался в этом.

— Почему же? — спрашивал его Батурин. — По видимости, японцы доброжелательны к нам — видите, как подружились с матросами нашими.

— Ха-ха-ха! — засмеялся Панов. — Вон даже воздушные поцелуи посылают нашим молодцам.

— А ваши молодцы — смотрите — на их любезности отвечают кукишами, хотя тоже добродушно, — заметил и Бениовский, улыбаясь. — Но не в том дело. Японцы — народ, я уверен, приняли бы нас, как братьев, но правительство их, власти японские — вряд ли. Разве вы не знаете, что японцы, собственно правительство Японии, не допускают в свою страну иноземцев? Народ-то во всех странах — добр и мягок, он считает всякого пришельца братом, гостем, и не возбуждай соперничающие правительства один народ против другого — на земле давно воцарилось бы всемирное братство. Это — святая истина. Из-за чего бы, например, вам, русским, ненавидеть нас, поляков? Нет ни причины, ни повода. А как задумали было наши Сигизмунды да Владиславы снять Мономахову шапку с голов ваших Ива-

нов да Борисов, ну, ваши Иваны да Борисы и стали науськивать вас на нас, да вот и доуськались до того, что, пожалуй, разделят нашу бедную Польшу и вместо нашего Станислава или Жигимонта дадут нам «двух Матрен да Луку с Петром», как говорит ваша русская пословица. То же и в Японии... А народ что! Народ вон уж обнимается с нашими матросиками!

Действительно, некоторые из японцев успели по якорной цепи взобраться на галиот и уже целовались с матросами, а последние то дружески трепали гостей по плечу, то дергали их за штаны и куртки и заливались дружным хохотом.

— Ай да штаны! Сала-мала-джинь-чхи-ачхи! — старались они подделываться под говор японцев.

— Хамала-шабала-дзень-стрень-брень мои гуселки!... Ха-ха-ха!

Бениовский приказал спустить на воду одну шлюпку и, взяв Андреянова и Потолова в качестве гребцов, вместе с Батуриным отправился в гавань, к городу.

XVI. ОТБИТОЕ НАПАДЕНИЕ

В это время матросы, желая еще более очаровать глазевших на них японцев, стали в кружок и затянули свою любимую песню, так соответствовавшую их душевному настроению:

Сторона ль моя, сторонушка,
Сторона ль моя незнакомая!

Японцы слушали невиданных гостей, словно очарованные. Но особое одушевление проявили певцы, когда приходилось выливать из души заключительные строфы песни:

Породила меня матушка
Во бесчастной день, во пятницу,
В зеленом саду гуляючи,
Что под вишенкой, под зеленою,
Что под яблонькой под кудрявою.
Пеленала-де меня матушка
Во свивальничек алой бархатной.
Одевала меня матушка
Одеяльцем соболиным,
Берегла меня матушка
И от ветру, и от вихоря,
Что от часта мелка дожжичка, —
Только не спасла меня матушка,
Что от службы государевой,
От чужедальней сторонушки...

Песня разливалась по воде стройно, величаво. Все из города повалило на берег слушать неслыханную мелодию. Бухта и гавань еще более запестрели яликами с туземцами.

— Эх, ребята! — сказал, подходя к певцам, Панов. — Эдак вы своей песней заставите хныкать всех этих черномазых. Вы бы хватили что-нибудь веселенькое, залихватское!

— И то правда, ваше благородие, — согласились матросики.

— А ну ко, запевало, — заводи. — Это к Уфтюжанинову.

— Да какую вам, братцы?

— А хуть про суздальцев, володимирцев.

Тогда Уфтюжанинов, выступив на середину палубы и взявшись в боки, стал притопывать и приговаривать:

Ах вы, суздальцы, володимирцы,
Что горазды плясать, что горазды скакать,
И скакать, и плясать с колокольчиками...

Его подхватил хор, и залихватская песня продолжалась словами:

С колокольчиками, с болобольчиками!
Ах и станем говорить, выговаривати,
Черно на бело выворачивати:
Ах мед поспел, мед сычоный,
Ах я была молодка да молоденька,
А муж-ат мой онуча неношеная...

Этого показалось мало: два матроса пошли вприсядку. Стуча каблуками, один выговаривал:

Как у Карпова двора
Да окатана гора!

Другой, семеня ногами, отвечал ему:

Ходи изба, ходи печь,
Хозяину негде лечь!

А первый на это второму:

Стала тут изба ходить,
За собой гостей водить!

Второй не оставался в долгу и снова семенил и приговаривал:

Хвост вытащил — нос увяз,
Нос вытащил — хвост увяз!

— Это мы, — лукаво подмигнул Панов Степанову, — хвост вытащили, а нос увязили.

В самый разгар воодушевления матросиков — с одной стороны, и невыразимого изумления японцев, с другой, со стороны гавани показалась шлюпка, которая отвозила в город

Бениовского и Батурина. Теперь они возвращались на галиот.

— Чем-то порадуют нас наши послы? — сказал Степанов, указывая на шлюпку.

Шлюпка подошла к галиоту. На палубе песня разом оборвалась. По лицу капитана матросы сразу догадались, что он не в духе.

— Что ж вы перестали, ребята? — крикнул Бениовский, взбираясь на палубу галиота по брошенной к шлюпке лестнице.

Матросы снова затянули, но уже другую:

Уж как полно, красна девица, тужити,
Не наполнишь ты сине море слезами...

— Ну что — как? — спросил Степанов Бениовского.

— Да так, как я предполагал, — отвечал последний.

— Не пускают?

— Конечно, боятся: когда мы подъезжали к берегу, нам оттуда стали делать угрожающие жесты. А потом на берегу появились и драконы.

— Какие драконы?

— Разумеется, рисованные: они, галганы, всех иностранцев пугают нарисованными на огромных полотнищах драконами и всякими чудовищами — думают попугать.

— Как же нам быть? — спросил Панов. — И мы должны испугаться?

— Должны, — был ответ, — иначе нам не дадут запастись ни провизией, ни водой.

— Ну, так и черт с ними и с их драконами! — обругался Панов. — Была бы провизия и вода.

Действительно, Бениовский тотчас же распорядился закупкою провизии из лодок, окружавших галиот, а матросы, подружившись с новыми своими приятелями японцами, легко им растолковали, что для корабля нужен запас свежей воды, и японцы как приморские жители скоро поняли в чем дело: одни продавали провизию, а другие тотчас же отправились в город за водой, и скоро галиот готов был вновь пуститься в путь.

Вскоре, однако, обнаружились и враждебные действия со стороны японских властей. Из гавани вышло несколько больших лодок, наполненных вооруженными людьми. По всем признакам можно было предположить, что это были японские солдаты. Прежние лодочки, окружавшие галиот и вступавшие в торговые сношения с экипажем русского корабля, увидев угрожающую демонстрацию со стороны го-

родских властей, словно ласточки, разлетелись от галиота и поспешили укрыться в гавани, а вышедшие из гавани лодки, напротив, стали обходить галиот, стараясь, по-видимому, отрезать ему отступление.

— Нас, кажется, хотят застукать, как рыбу в верше, — заметил Батурин, глядя на эволюцию японских лодок.

— На то похоже, — заметил и Бениовский, — но мы прорвем эту гнилую вершу. Вы, Яков Петрович, распорядитесь пушками, чтобы по первому моему сигналу открыть огонь по этим мерзавцам, и пан Адольф, — он обратился к подошедшему в это время Винбладу, — распорядится тотчас же поднятием якоря и парусов: кстати же, и ветер нам благоприятствует.

На галиоте все разом пришло в движение: якорь вынут из воды, паруса распущены и пушкари стояли на своих местах с зажженными фитилями.

Бениовский махнул платком.

— Раз, два, три... пли! — раздалась команда.

Пушки грянули, галиот дрогнул всем корпусом и быстро пошел прямо на японские лодки. Те, как испуганные черепахи, неуклюже замахали веслами и поспешно удалились с пути, по которому величественно, под всеми парусами шел русский корабль.

XVII. У ОСТРОВА ФОРМОЗА

Ветер благоприятствовал нашим беглецам. Много дней они все плыли к югу. Солнце все более и более поднималось к зениту и так жгло в течение дня, что почти невозможно было оставаться на палубе, а между тем в каютах было так душно, что воздуху не хватало для дыхания. На палубе, в тени тента, можно было оставаться только потому, что здесь несколько охлаждал адскую жару постоянно дувший с севера ветерок.

Зато ночи были божественны. Ночью только и оживало все общество наших невольных путешественников, размещаясь по палубе, как кому было удобнее.

Вот и теперь они все на палубе. По вычислениям Бениовского и Винблада, корабль их не сегодня-завтра должен уже встать на тропическую линию Рака и не сегодня-завтра на горизонте должен будет показаться остров Формоза.

— Формоза — да ведь это что-нибудь наичуднейшее, — обратился Панов к Афанасии, задумчиво глядевшей на бес-

конечную даль океана, окутанную мраком тропической ночи, — не правда ли, Афанасия Григорьевна?

— Почему же вы так полагаете? — очнулась она из задумчивости.

— Да потому, что по-латыни formosus, formosa — это нечто наичудесное.

— Может быть... Но я все равно буду очень рада земле — я ее так давно не видала.

— А в Японии?

— Да ведь там мы ее только издали видели.

— И то правда... Эй, Хрущов! — обратился он к последнему, сидевшему несколько в стороне. — Что, стихи небось сочиняешь?

— Нет, считаю твоих пелымских галок, — отвечал Хрущов.

— Какие это пелымские галки? — полюбопытствовала Афанасия.

— О! Это целая история, барышня! — засмеялся Панов. — Это дело было еще при Бироне... Слыхали вы про этого сокола?

— Как же — мне Мориц Иосифович о нем много рассказывал.

— Наичудесно, барышня, — продолжал Панов. — Так этот самый Бирон так любил ссылать в Сибирь добрых людей, что, когда людей не хватало, он стал ссылать галок.

— Вы все шутите, — улыбнулась девушка.

— Нет, барышня, не шучу — это очень серьезная история: однажды галки так галдели над дворцом, что мешали спать Бирону... Светлейший обозлился, велел всех бунтовщиц переловить и сослать в Пелым.

— Ну, Панов, ты повторяешься со своими остротами, — заметил Хрущов, — это скучно. А поглядите, Афанасия Григорьевна, — обратился он к Ниловой, — видите вы эти прекрасные звезды, которые в виде креста так ослепительно блистают над океаном?

— Да! — отвечала девушка. — Я их давно заметила — что за прелестные звезды. Да и вообще здесь все звезды удивительно прекрасны — не то что у нас в Камчатке!

— Воздух здесь не тот, Афанасия Григорьевна, да и ночи тропические не похожи на наши северные — оттого и звезды здесь очаровательно горят. Я когда-то порядочно знал звездное небо — мечтал быть астрономом, — и вот в продолжение всего нашего бесконечного пути от Камчатки, я постоянно наблюдал за звездным небом: с каждым градусом, что мы подвигались к

югу, наши северные созвездия опускались все ниже и ниже, а южный горизонт небесного свода все более и более, казалось, расширялся, и по мере того как исчезали за северным горизонтом или опускались ниже наши милые, мои старые знакомцы — Арктур, Лира с блестящею Вегою, Орел с Атаиром, Лебедь с Денебом, Персей с Головою Медузы, Альдебаран и Плеяды, — все выше и величественнее поднимались Орион и Сириус, Антарес и Офиухун, и вот этот поразительный по красоте и величию крест! Он и называется созвездием Южного Креста.

— Он действительно поражает, — согласилась Афанасия, не отрывая глаз от поразительной картины южного звездного неба.

— А оглянитесь назад! — сказал Хрущов.

Все невольно оглянулись. Но и к северу небо сверкало яркими, хотя не такими величественными, как Орион с Сириусом и Южный Крест, созвездиями.

— Взгляните на Полярную звезду, — продолжал Хрущов.

— Я ее не знаю — я ни одной звезды не знаю, — смущенно проговорила Афанасия.

— Вот она — маленькая такая, — указал Хрущов, — почти над самою поверхностью океана — так, кажется, и погрузится в море... А зато в Камчатке, как высоко стояла она над горизонтом!

— А в Петербурге еще выше, — заметил Панов, — выше Петропавловского шпица, выше даже Гурченинова. — Гурченинов был действительно выше всех ростом.

— В твоей шутке есть, однако, доля правды, — сказал Хрущов, — ведь Петербург севернее Большерецка.

— Ну уж это ты вздор говоришь, господин астроном, — не соглашался Панов.

— Не вздор, мой милый, а правду, — настаивал Хрущов, — Большерецк лежит под пятьдесят вторым эдак с половиной градусом северной широты, а Петербург почти под шестидесятым.

— Не может быть! — отозвался Бениовский, выходя из каюты, где он работал.

— Верно, верно, барон! — утверждал Хрущов. — Посмотрите на ландкарту!

— Вот никогда бы не поверил. А мне казалось, что проклятый Большерецк почти у Северного полюса.

— Смотрите, смотрите! — раздался вдруг голос Винблада, стоявшего на вахте. — Луна выходит не из океана.

— Как не из океана? — удивились все.

— Да, да — не из воды... Там земля — это остров.

— Это Формоза! — радостно воскликнул Бениовский.

— Ура! Земля! Формоза! insula formosa! — кричал Панов.

— Мои вычисления, значит, не обманули, — продолжал Бениовский. — Пане Адольфе! — крикнул он Винбладу.

— Цо, пане барон? — отозвался последний.

— Мы должны остановить ход галиота — лечь в дрейф на ночь: если близко земля, то под водой могут быть и рифы, и мели, и шхеры.

— Правда, правда!

Последовала команда — и галиот задрейфовали.

Когда наутро Афанасия вышла из своей каюты, глазам ее представился волшебный край. Она как бы не верила, что это была действительность, а не сказочный мир.

Галиот стоял почти у самого берега, и потому все видно было — вся развертывавшаяся перед нею дивная панорама. Никогда не виданные ей такой величины и формы деревья — тюльпановые рощи, все как бы обсыпанные яркими, пунцовыми цветам, огромные, с гигантскими листьями стволы бананов, отягченных плодами в виде зеленых исполинских звезд, гигантские пальмы с веерообразными вершинами, и над всем этим такое голубое, такое роскошное небо, что пораженная всею этою роскошью природы девушка, выросшая среди мхов, лишаев и болот, казалось, оцепенела от изумления и восторга. Слух ее поражали крики летавших по деревьям попугаев, красных, зеленых, и всевозможных цветов и окрасок других птиц этого райского места, начиная от едва заметных глазу колибри и кончая голубыми инсепараблями, названия которых она, конечно, не знала. По ветвям лазили, кривлялись и кричали обезьяны, в воздухе сверкали и переливались всеми цветами радуги стаи бабочек и других насекомых, и весь этот воздух был напоен ароматом.

Это был настоящий Эдем, тот Эдем, о котором она задумывалась ребенком...

— Что, милая Фанни, нравится?

Афанасия вздрогнула от неожиданности. Она не слыхала, вся отдавшись созерцанию дивной картины, как сзади подошел к ней Бениовский и любовался очарованием девушки.

— Ах, это вы, Мориц!

— Нравится? Да?

— О Мориц! Я ничего подобного и во сне не видала.

— Сны, милое дитя, — отражение действительности, виденного и слышанного, а ты, кроме Большерецка, ничего не видела... А я покажу тебе еще и не такие волшебные края.

— Где же? И долго мы еще будем в море?

К ним подошел Батурин. Старческое лицо его, казалось, светилось детскою радостною улыбкою. Он по привычке ерошил свою длинную белую, как кудель, бороду.

— С добрым утром, государи мои! — поклонился он Афанасии. — Уж и истинно доброе утро! Сколько ни живу я на свете, а ничего подобного не видал, а уж я ли чего не видал — и Францию, и Швейцарию, и Италию...

— А Ладожское-то озеро и забыли? — вмешался Панов, подходя к ним.

— Ах ты, скоморох! — добродушно улыбнулся старик. — И Ладожское видал...

— И в паука — виноват, — в прекрасную паучку влюблены были, почтеннейший Яков Петрович... Он вам еще не рассказывал этой истории, Афанасия Григорьевна? — обратился шутник к Ниловой.

Та с улыбкой посмотрела на него:

— Уж вы вечно выдумываете...

— Убей меня выборгским кренделем! Лопни глаза и утроба Шешковского — коли я выдумываю, барышня: сам Яков Петрович нам на духу покаялся — влюблен, говорит, был в прекрасную паучку, когда в Шлюшине в терему сидел... Ей-Богу-с! А что до красоты этих мест, так у нас в Лужском уезде много того приятнее-с.

— Полно, мельница! — махнул рукой Батурин.

— Да молоть-то нечем, — засмеялся Панов, — вода вся вышла... В самом деле, — обратился он к Бениовскому, — наш запас воды на исходе, да и та уже протухла. Прикажете, господин капитан, водой запастись? Я живой рукой с молодцами оборудую.

— А где брать воду? — спросил Бениовский.

— Молодцы говорят, что там, влево, за тем зеленым мыском, видели устье какой-то речонки. Я сам с ними поеду — страх как хочется попасть скорей на этот райский остров.

— Да только вы поосторожнее, — заметил Бениовский, — может быть, тут где поблизости засели туземцы и высматривают нас.

— Пустяки-с! — весело сказал Панов, — Берег, кажется, пустынный. А вам, — обратился он к Афанасии, — я нарву цветочков, да попугая и обезьяну поймаю: все же будет вам, чем забавляться в нашем монастыре. До свидания!

И он пошел распорядиться насчет шлюпки и бочонков для воды.

XVIII. СМЕРТЬ ПАНОВА

Через несколько минут шлюпка была спущена на воду. Кроме Панова, в нее сели юнги Попов и Лонгинов, которым тоже скорей хотелось на берег, и два матроса.

Панов казался очень веселым, оживленным.

— Какого попугая, барышня, привезти вам — зеленого, серого или белого с красным? — крикнул он из шлюпки.

Сев у руля, он вдруг затянул «Вниз по матушке, по Волге». Его поддержали матросы, а матросы на галиоте хором подхватили, и разлилася по воде поволжская песня — где же? — в Тихом океане, у острова Формоза!

Афанасия, Батурин, Степанов, Хрущов и все-все в каком-то скорее грустном, чем радостном, умилении слушали эту песню тут, в неведомых морях, за тридевять земель от далекой родины. Афанасии казалось, что океан слушает эту песню, а удивленные птицы и обезьяны на острове замолчали и также прислушиваются.

Гурченинов, сидя на спирали каната, утирал катившиеся по щекам слезы.

— Я только теперь узнал и полюбил русского человека, — задумчиво проговорил Бениовский.

— Он стоит любви, — с чувством заметил Хрущов.

— Да, — продолжал Бениовский, — в нем — беззаветная удаль, и что бы с ним ни было, он не падает духом и — поет. Оттого я и люблю, когда мои матросы поют — это укрепляет их дух...

Шлюпка между тем скрылась за зеленым мысом, осененным роскошными букетами зонтикообразных пальм, и скоро пристала к берегу, в небольшом затоне речного устья, поросшем у краев высокою травою, за которою безобразно торчали косматые кактусы к гигантские арумы.

Не выходя, однако, на берег из шлюпки, Панов нагнулся и зачерпнул горстью воды.

— Нет, братцы, надо взять повыше, — сказал он, отведав воду, — кажись, вода маленько солоновата. Отваливай!

Шлюпку отпихнули веслами и багром от берега и поплыли выше по узкой, довольно быстрой реке, окаймленной кактусами и бананами. Над головами смельчаков неистово кричали попугаи. Обезьяны с сердитым ворчанием испуганно перебегали на самые вершины деревьев.

Как околдованные, глядели на все это Панов и его спутники. Столько жизни в каждом дереве, в каждой ветке! Но людей не видно в этом раю: люди забрались куда-то далеко

на север, за эти голубые моря и океаны, вдаль от этого крика попугаев и обезьян, от всего этого блеска, от подавляющей роскоши природы...

Но если бы Панов и его спутники могли заглянуть за эти почти сплошные заросли кактусов и гигантских папоротников, проникнуть взором за эти исполинские стволы пальм и бананов, то они увидели бы нечто необыкновенное и не так бы беспечно созерцали эту чудную природу тропиков. Они увидели бы, как какие-то человеческие тени неслышно, словно страшные призраки, по мере движения шлюпки, перебегали от одного ствола пальмы к другому, от банана к банану. Они увидели бы, что эти тени — почти голые, с бронзовым цветом тела, разрисованные странными фигурами, с длинными черными волосами, с искрящимися глазами, что головы их и бедра украшены яркими перьями, а в руках у них тонкие, как иглы, и длинные копья...

— Сюда, ребята — к этому бережочку, — сказал Панов, направляя шлюпку к берегу.

— Вода знатная, ваше благородие, — заметил младший юнга, Лонгинов, зачерпнув воды шляпой и отведывая ее.

Шлюпка ткнулась носом в берег и остановилась.

— Наливайте, ребята, воду, а я пройдусь немножко — посмотрю, — сказал Панов.

Он вскинул ружье на плечо, выпрыгнул из шлюпки и скрылся в густой зелени. Слышно было, как он тихо напевал:

Уж как полно, красна девица, тужити:
Не наполнишь ты синя моря слезами,
Не воротишь друга милого словами...

Он шел, с трудом раздвигая ветви неведомых ему растений и глядя, как на ветвях исполинского тамаринда качалось целое семейство обезьян...

Мысль его мгновенно перенеслась за десятки тысяч верст, за эти необозримые пучины океана, за снеговые горы Азии, за бесконечные пустыни и равнины — на бедную природой, но милую его сердцу родину, в небольшую деревеньку под Лугою... Песчаные, покрытые редким ельником и березником холмы, зеленые, упирающиеся в топкие болота лужайки, беззвучно текущий меж корнями старых сосен ручеек, заросший кувшинчиками и водяными лилиями пруд, в котором когда-то маленький Костя удил рыбу, и на вершине старой сосны каркающая ворона, — как это давно было и как это далеко теперь!.. Серое, пасмурное небо, по которому ветер гонит тяжелые, точно свинцовые тучи, звякающий под дугой корен-

ника валдайский колокольчик, старый Игнат на козлах, помахивающий кнутом на лошадей, везущих маленького Костю в Питер, в училище... Зеркальные окна магазинов на Невском, отражающие в себе его новенький с иголочки офицерский камзол, и несущаяся по Невскому раззолоченная коляска, поворотившая к дворцу и забрызгавшая грязью весь чистенький камзольчик юного офицерика Панова... А там — каземат, Сибирь, Камчатка...

Он поднял глаза к этому бирюзовому небу, которое казалось еще голубее сквозь гигантские перистые листья пальм...

— Милая, далекая Луга! — беззвучно прошептал он.

Вдруг что-то со свистом промелькнуло в воздухе и два тонких, как иглы, копья вонзились в его грудь... С нечеловеческим криком он вскинул кверху руками и навзничь опрокинулся в густую листву папоротника.

— Батюшки! Да это никак Костантин Андреич!

— Он и есть... кому ж больше... Господи! — всполошились матросы и юнги.

Схватив ружья, они бросились на крик. Попов выстрелил в воздух...

— Чтоб наши услыхали... може чего, не дай Бог...

Скоро их глазам представилась страшная картина. В зелени папоротников навзничь, раскинув широко руки, лежал Панов. Из груди его торчали два тонких копья — одно угодило прямо в сердце...

— Батюшки!.. Его убили!

— Заряжай ружье! Злодеи близко... може, и нас.

Лонгинов и матросы стали на колени у распростертого трупа. Панов был мертв.

Кругом — тихо, только в густой листве и на вершинах деревьев слышны были крики попугаев и рычание обезьян. Где же убийцы? Кто они? Ни звука, ни шороха....

Матросы и юнги бережно подняли мертвого товарища и понесли к шлюпке.

Крик и выстрел услышаны были на галиоте и вызвали тревогу. Бениовский немедленно велел спустить на воду остальные две шлюпки, приказав матросам захватить с собою ружья, палаши и топоры, и вместе со Степановым, Хрущовым, Винбладом и Мейдером, разместившимися в обеих шлюпках, на всех веслах полетел со своим маленьким десантом за зеленый мыс, откуда послышались подозрительный крик и выстрел.

Не успели эти шлюпки войти в устье реки, как навстречу им неслась третья — та, которая должна была запасаться водой.

— Что случилось? — крикнул Бениовский издали.

— Несчастье, ваше благородие! — был ответ.

— Что такое? — у Бениовского дрогнул голос. Все ждали ответа.

— Костантина Андреича убили, — отвечал один из матросов.

— Кто?.. Как?

— И сами не знаем — в лесу кто-то.

Шлюпки сблизились. В той, что плыла из реки, на дне ее лежал Панов. Из груди его торчали два копья.

Бениовский и Мейдер вскочили в эту шлюпку. Последний как врач тотчас же нагнулся к убитому, чтоб удостовериться, нет ли хоть признаков жизни в несчастном, но почти тотчас же поднялся и печально развел руками.

— Убит наповал — прямо в сердце!

Все сняли шляпы и набожно перекрестились. Мейдер с трудом выдернул из трупа копья.

— Копья, должно быть, отравлены, — сказал он, рассматривая их зазубренные острия с узенькими проколами для яду, — отравлены — это ясно.

Все сосредоточенно, с глубокой жалостью глядели на бледное спокойное лицо мертвеца. Черные пряди волос свесились ему на высокий лоб и оттеняли это спокойное, какое-то задумчивое чело. Серые, всегда задумчивые и грустные, несмотря на видимую веселость, глаза, были закрыты, но веки с длинными ресницами, казалось, вздрагивали под лучами тропического солнца, уже поднявшегося довольно высоко над вершинами пальм.

— Бедный! — прошептал Хрущов, глядя в лицо покойнику. — А давно ли он шутил, дурачился?

— Обещал Афанасии Григорьевне поймать попугая и обезьяну, — так же тихо проговорил Степанов.

Шлюпки, не удерживаемые веслами, тихо плыли по течению. Из леса по-прежнему неслись нестройные голоса птиц. Все стояли в каком-то оцепенении — так неожиданна была эта смерть!

— Надо наказать убийц! — прервал общее молчание Бениовский. — Это малайцы — это их дело. Надо сделать облаву в этом лесу. За весла, ребята! К тому месту, где его убили.

Шлюпки направились вверх по реке.

— Чтоб ружья были наготове! — приказал Бениовский. — Они, мерзавцы, непременно из-за деревьев наблюдают за нами.

Скоро маленькая флотилия пристала к тому месту, где покойный Панов выходил на берег. При шлюпках оставили по одному матросу, а все остальные пошли на поиски, разделившись на три партии.

Но как найти дикаря в его родных девственных, ему одному известных лесах? Засев в какое-нибудь древесное дупло или спрятавшись в листьях бананов, арумов, он так же безопасен в своем убежище, как белка в дупле старого кедра.

Поиски оказались бесполезными: убийцы Панова точно сквозь землю провалились.

XIX. «ЖИТЕЙСКОЕ МОРЕ...»

Через час маленькая флотилия возвратилась к галиоту с телом Панова, прикрытым плащом Бениовского. Остававшиеся на галиоте — Афанасия, Батурин, Гурченинов, нянюшка Пахомовна и жены матросов ожидали возвращения шлюпок с нетерпением и тревогою.

«Что случилось там?» — каждый задавал себе этот вопрос — и не мог на него ответить.

Но вот шлюпки у самого борта. В одной шлюпке лежит что-то, прикрытое плащом. Матросы осторожно поднимают это что-то и несут по трапу. Ясно, что несут человека. Но кого? Больного, раненого или мертвого?

Кого? Афанасия тотчас же догадалась и сердце ее болезненно заныло. Она видела там, внизу, Бениовского, Степанова, Хрущова, Винблада, Мейдера, — нет одного Панова! Это его несут.

Вот его внесли на палубу.

— Матушки! Владычица! Да никак это Константин Андреич! — всплеснула руками сердобольная нянюшка. — Господи! Что с ним?

— Убит, — был короткий ответ.

— Кто его убил?

— Никто не видал — должно, дикари.

На палубу входят Бениовский и прочие его спутники.

— Неужели убит? — вся бледная и дрожащая спрашивает Афнасия.

— Да, милая Фанни.

— Кто же убил его?

— Конечно, туземцы, малайцы.

Девушка заплакала. Плакали и другие женщины. Гурченинов, став на колени, снял плащ с лица покойника. Мертвое

лицо оставалось все таким же спокойным, задумчивым. Тени от ресниц, казалось, дрожали, словно не у мертвого, а уснувшего. Руки уже сложены были на груди.

Гурченинов безмолвно прикоснулся губами ко лбу покойника. Лоб, несмотря на зной тропического солнца, был уже холоден, как мрамор.

И Афанасия стала на колени и глядела сквозь слезы в лицо мертвеца.

— Бедный! Бедный! А давно ли с шуткой обещал мне достать попугая, обезьяну, нарвать цветов?

Она тихо приложилась трепещущими губами к руке мертвеца. Рука была холодна, как и лоб. С берега неслась вся та же нестройная, но гармоническая мелодия жизни тропиков, но тут была уже смерть. На одной рее сидела ласточка и весело щебетала.

Глядя заплаканными глазами в лицо мертвеца, Афанасия вспомнила самый горький момент в ее молодой жизни. Так же лежало распростертое на полу, как это на палубе, мертвое тело. Вместо яркого тропического солнца то лицо освещал бледный отсвет утренней зари. Но она не целовала холодной руки того мертвеца — он весь был еще теплый, да она и не помнит почти ничего из того ужасного момента. Помнит только, как она пришла в себя на руках у Морица, уносившего ее от мертвеца. Но зачем он не дал ей проститься с ним? Она не видала, как его и похоронили. Не лучше ли это? Мориц говорил, что лучше, легче. Видеть то дорогое, которое теряешь, которое отнимают у тебя, переживать этот процесс потери — несравненно мучительнее, чем узнать, что все уже кончено, узнать, не видевши...

А этот лежит так спокойно, задумчиво, точно прислушивается к тому, что щебечет ласточка на тонкой рее галиота.

Не шутить ему больше, не смеяться. Еще сегодня ночью эти, теперь закрытые, глаза смотрели вместе с ее глазами на созвездия Ориона и Южного Креста. Мысль его загадывала вперед, улетала далеко за эти синие моря...

— Полно, милая Фанни, — тронул ее за плечо Бениовский, — встань, ангелочек мой, — не воротишь того, что случилось.

Девушка поднялась с колен и отошла в сторону.

— Надо его сейчас же похоронить, — сказал Бениовский Батурину, — вид мертвеца удручающе действует на экипаж.

— Да, надо хоронить, но не на берегу же.

— Нет, конечно: там дикари могут вырыть его труп для поругания.

— В океан спустим его, — заметил Хрущов, — океан — это братская могила моряков.

Матросы вынесли на палубу стол и положили на стол мертвеца. Нянюшка положила ему образок на грудь, перекрестила и приложилась к образу. Около стола стал Уфтюжанинов и, привыкши читать над покойниками, он стал читать наизусть: «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых...»

Однообразное заунывное чтение поражало слух таким надрывающим душу диссонансом, в виду этого безбрежного океана и этой подавляющей роскоши тропической природы, среди которой звучали и трепетали могучие мелодии бьющей ключом жизни, что, казалось, было бы менее тоскливо на душе, если б это чтение псалмов слышалось не здесь, среди этой торжествующей природы, под яркими отвесными лучами тропического солнца, а где-нибудь в бедной хижине, под пасмурным небом севера, под шум падающего с этого хмурого неба осеннего дождя.

В то время когда Уфтюжанинов читал, в стороне, под навесом парусинного тента, Афанасия и нянюшка шили саван для покойника — широкий мешок из грубого холста, а Андреянов с Потоловым обшивали рогожкою пушечное чугунное ядро, которое должно быть привязано к ногам покойника при опускании его в океан.

Когда все для совершения печального обряда было кончено, экипаж стал прощаться с покойником. Первым подошел Бениовский.

— Прощай, дорогой товарищ! — сказал он торжественно. — Тебе не суждено было воспользоваться плодами нашего трудного дела. Ты пал на пути к славе, которая ожидает нас. В тебе мы потеряли душу, веселость нашего доблестного экипажа. Но если дух твой витает над нами, освобожденный от уз земных и земных печалей, — он должен радоваться, что умер ты не в цепях, не в неволе, а на полной свободе, и ляжет твое тело не в холодную землю неволи, а в синие пучины свободного, как твой дух, океана. Вечная память погибшему за свободу!

— Вечная память! — подхватил Уфтюжанинов, и хор всего экипажа огласил грустным погребальным напевом и тихие воды океана, и берег роскошного, но рокового острова.

Женщины рыдали. Между тем, по распоряжению Батурина, пушкари медленными залпами отдавали последнюю честь рано потерянному товарищу.

Более всех плакал Степанов, с которым покойный и взят был вместе и вместе отправлен в ссылку.

Когда все простились с покойником, Андреянов и Потолов надели на него саван и завязали выше головы. Тогда весь экипаж, построившись вдоль палубы в два ряда, стал под ружье. Несли тело к борту галиота Бениовский, Батурин, Степанов и Хрущов.

Стоя под ружьем и управляемые Уфтюжаниновым, матросы пели: «Житейское море, воздвизаемое зря напастей бурею...»

Дружный залп огласил воздух, когда тело Панова с глухим плеском погрузилось в океан.

XX. МЕЧТЫ О КОРОНЕ

После неудачного посещения острова Формоза, галиот «Святой Петр» еще несколько месяцев бороздил поверхность тропических морей. Заходил он и в китайские владения, именно в Макао, был и на Цейлоне, в Индийском океане, пересек линию экватора, где от жару едва не взбунтовались матросы, и только благодаря находчивости и энергии Бениовского все обошлось благополучно.

Только на Афанасию это бесконечное мыкание по неведомым океанам под палящими лучами экваториального солнца начало производить гибельное действие. Она сильно похудела и прелестные глаза ее стали еще больше. Да и нравственное состояние ее было мучительно, хоть Бениовский и сулил ей впереди какой-то волшебный рай, но где этот рай и когда они достигнут его — она не знала. Чаще и чаще мысль ее улетала далеко на север, и дивная природа таких островов, как Формоза и Цейлон, только ненадолго приковывала к себе ее глаза и сердце. Все это ей казалось чужим, какими-то станциями по пути к чему-то ей неведомому. Где ж конец? Где отдохнет утомленная мысль, болезненно настроенное воображение?

Не здесь ли?

В тихую лунную ночь, не имея силы оставаться в душной каюте, она вышла на палубу. Галиот стоял на якоре в виду какой-то земли. По палубе в глубокой задумчивости тихо бродил Бениовский, по временам останавливаясь и как бы разговаривая сам с собою.

— Где мы теперь, Мориц? — тихо подошла к нему девушка.

— Это — Мадагаскар, милая Фанни, — отвечал Бениовский.

Свет полной луны падал на лицо девушки, и это невозможно похудевшее и побледневшее личико с пепельными волосами, серебримыми лунным светом, казалось, принадлежало какому-то видению, неземному существу.

Бениовский глядел на нее, и ему казалось она чем-то вроде чудного видения не от мира сего.

Такие не живут, промелькнуло у него в уме, и ему невыразимо стало жаль бедную девочку. Он вспомнил, что постоянно занятый своими думами о будущем, своими таинственными планами, которых не доверял никому, даже своему другу Винбладу, — он мало думал о лишенной им семьи и родины девушке: он больше думал о себе — только о себе!

Он положил руку на голову Афанасии и стал ее нежно гладить.

— Ты скучаешь, мое дитя? — тихо спросил он.

— Нет, Мориц, — я ведь с тобой, — также тихо отвечала девушка.

— Но ты худеешь, дитя мое.

— Это, вероятно, от непривычки к морю, к южному зною.

Он привлек ее к себе и продолжал гладить ее серебримые луной волосы. Но и в это время он думал о своем деле, хотя девушка и не могла чувствовать, что ласки его — машинальные, что мысль его не с нею.

— Ты что думаешь делать на Мадагаскаре? — спросила Афанасия, взглянув на его задумчивое лицо.

— На Мадагаскаре, дитя?

Он как бы очнулся от сна и перестал гладить волосы девушки. Та вопросительно глядела на него и, по-видимому, ждала ответа.

— Я еще сам не знаю, — отвечал он, — надо оглядеться, Фанни... Это не Формоза, но все же надо принять предосторожности... Тебе не свежо, однако, девочка моя?

— Нет, Мориц.

Бениовский взял ее руки. Руки были холодны.

— Я боюсь, дитя мое, как бы ты не простудилась, — заботливо сказал Бениовский. — Эти тропические ночи очень предательские — долго ли лихорадку схватить?

— А Мейдер на что? — улыбнулась девушка. — Он лекарь — он вылечит.

— Нет, нет, девочка, — иди в каюту.

Из двери каюты послышался заспанный голос Пахомовны.

— Ты чего, полуночница, не спишь? Прогоните ее, барин. Вон что выдумала!

— Мне в каюте жарко было, Пахонина, — шутя, извинялась девушка.

— То-то, Пахонина! Зараз лисой прикинется, вот так и махонькой — такой же лисой свою Пахонину за нос водила, — ворчала нянюшка.

— Право же, жарко, няня.

— А руки холодные? — перебил ее Бениовский, опять взяв руки девушки. — Нечего спорить с няней — марш в каюту!

Афанасия повиновалась и, подставив свой мраморный лоб для поцелуя, пошла в свою уютненькую, как гнездышко ремеза, опочивальню.

А Бениовский опять продолжал ходить по палубе. В голове его все более и более выяснялся и созревал план его будущих действий. Прежние его планы не имели под собой никакой реальной почвы. Это скорее были бродячие фантазии счастливо вырвавшегося на свободу ссыльного, хотя у него и был в распоряжении военный корабль и хорошо ему преданный экипаж. Но что сделаешь с одним галиотом и горстью людей в открытом океане? Нужна страна, нужно иметь в виду государство, которое дало бы его планам реальную почву. Правда, в его уме давно намечено было это государство. Недаром в качестве конфедерата он бок о бок с французскими волонтерами шел против москалей.

«O! przekleta Moskwa!» — мысленно повторял он иногда.

А Дюмурье? Не без согласия же короля он пошел на помощь конфедератам?!

А недавно, у острова Сокотора, он, Бениовский, счастливым образом выручил из неизбежной было аварии один французский корабль, который из Порт-Луи шел в Индию, и сошелся с капитаном этого корабля, любезным monsieur Chauquet. Месье Шоке много интересного рассказал ему о современных событиях во Франции и во всей Европе, о чем до Камчатки не доходило даже слухов, — и воображение Бениовского разыгралось. Месье Шоке дал ему также порядочную пачку газет, в которых, по прочтении их, быть может, в десятый раз, сам не нуждался, и из этих газет он узнал много такого, о чем ему и не снилось.

В Черногории появилась какая-то таинственная личность, которая называет себя русским императором Петром III, спасшимся от смерти и явившимся к своим единоверцам, черногорцам. Черногорцы признали в нем русского императора и под его предводительством разбивают турецкие армии и венецианские эскадры на голову. Надеются, что он скоро пойдет

на Россию и ссадит с престола свою супругу, Екатерину Алексеевну.

Бениовский думал, что такое событие неизбежно льет воду на колеса его мельницы, на колесо его фортуны.

Бениовский был сын своего века, а XVIII век был каким-то особенным веком в целом ряде предшествовавших столетий. Это был век приключений по преимуществу, когда ловкие авантюристы и люди, обладающие пылким воображением, делали чудеса — чуть не покоряли царства. Бениовский был, кроме всего этого, поляк и большой энтузиаст, и нервная атмосфера сангвинического XVIII века была как раз его стихиею.

В самом деле, чего не видел и чего не проделал XVIII век, хотя бы за вторую половину? Это был век масонства и всех его странных таинственностей. Это был век великой революции, выдвинувшей на сцену Наполеона, величайшего авантюриста и проходимца, каких не видел мир со времени своего сотворения.

А эта мелкота, драпирующаяся мантиями величия! Какой-то словак, которому на родине, быть может, суждено бы было ходить по улицам с деревянными дудочками и жестянками для ловли мышей и взбивания яичных желтков, и кричать — «я бити, мыши ловити», — такой словак драпируется русскою императорскою мантией, идет в горы к черногорцам, выдает себя за русского царя Петра III — и вгоняет в тревогу три самые могущественные тогда державы — Турцию, Россию и Венецианскую республику. О нем трубят все газеты, о нем пишутся книги, издаются его портреты.

Какой-то шарлатан граф Калиостро — дурачит все, что только считалось самым просвещенным в своем веке, издевается в глаза и над коронованными, и некоронованными владыками земли — и, разиня рот, все ему рукоплещут. Другой шарлатан-граф, проходимец Сен-Жермен, также превращает всю высокопоставленную Европу в балаган и полновластно господствует над умами, призванными править миром.

Кавалер д'Еон до сих пор задает работу историкам, любителям пикантных историек, а не настоящей трезвой и строгой истории, и они продолжают ломать голову над вопросом: не переодетая ли девка был этот граф д'Еон, или он был разом и кавалер, и девка?

Княжна Тараканова и княжна Владимирская... А эти сколько испортили крови коронованным особам! Сколько сановников они свели с ума своею таинственностью! Чего стоили государству их таинственные претензии! И все это

таинственно, таинственно, как кривляния новопосвящаемых в масонские таинства.

А эти землепроходы — братцы графы Зановичи, Марко и Аннибал, братцы-славяне, из которых младший был и иезуитом! Они втирались в дружбу к таким тузам ума и таланта, как Вольтер, Дидро, Даламбер, Мармонтель — и надували их, а потом — как отчаянные шулеры возбудили негодование всей Венеции до того, что их венецианская прокуратура приговорила к казни через повешение, а они улизнули из тюрьмы, и вместо них Венеция повесила на площади Марка изображение этих проходимцев, которые чуть не довели до войны из-за них Голландию с Венецией, а потом очутились у нас в Шклове, у авантюриста же Зорича, и стали делать фальшивую монету, пока не попали в крепость!

А Изан-бей, племянник падишаха, бродяга, игрок, приятель мерзавцев Зановичей и Зорича, разве не претендовал он на трон? А кончил шулерством.

А мужик Богомолов, мечтающий о русском престоле? А оружейник и слесарь Фанин, драпирующийся величием и именем Петра III! А солдат Кремнев, предвосхищающий идею Пугачева! А этот самый Пугачев, Емельян Иванович, отхвативший половину России у законной императрицы?

Удивительный век! А поглядите с другого конца: Потемник тут, Костюшко там — и все это грандиозно, блестяще! Все это метеоры на русском, американском и иных горизонтах.

Чем же хуже их барон Мориц Анадар Бениовский? Чем он хуже Костюшки? Почему его красивой голове не мечтать о короне? И он мечтал, ходя ночью в раздумье по палубе галиота «Святой Петр» в виду берегов Мадагаскара.

XXI. КОРОЛЬ БЕЗ ШТАНОВ

Своими сообщениями месье Шоке поднял целую бурю надежд в пылкой душе Бениовского, и он обдумывал дальнейшие ходы своей игры.

На Мадагаскаре давно живет французский миссионер, патер Леон Сандо, святая личность, уважаемая даже дикими гавасами за его человеколюбивое отношение к островитянам. Сам вождь гавасов, молодой Радама, относится с почтением к патеру Сандо, который вылечил мать Радамы от тяжкой болезни.

Теперь патер Сандо, чувствуя приближение смерти, стал тосковать о своей прекрасной Франции, которую он оставил

пятьдесят лет тому назад и поселился среди диких гавасов. Но как попасть во Францию с острова Мадагаскар? Где тот корабль, который бы доставил его во Францию? Корабль, которым командовал капитан Шоке, долго еще не увидит берегов милой отчизны. Из Индии путь его лежит в Тихий океан, к берегам Китая.

Чего же лучше! Патер Сандо может отправиться на родину вместе с месье Бениовским, на галиоте «Святой Петр». Так думал месье Шоке — и эта мысль, это сорвавшееся с развязного языка месье Шоке слово — это-то слово и подняло в душе Бениовского бурю надежд.

Он возьмет с собой патера. Он имеет к почтенному миссионеру рекомендательное письмо от месье Шоке. А там... но этих дум Бениовский не желал бы поверить даже своей подушке...

Луна поднялась уже очень высоко и отбрасывала от галиота темную тень на ближайшую поверхность океана, которая по временам вспыхивала фосфорическим блеском. На вахте слабо мигал и покачивался фонарь, мимо которого как бы автоматически двигался темный силуэт часового, сверкая гранями штыка под меланхолическими какими-то лучами месяца.

В ночной тиши раздался звон корабельного колокола, и отзвук его прокатился по морю. Это была смена вахты.

Бениовский подошел к часовому.

— Кто на вахте? — окликнул он.

— Я, ваше благородие, — Андреянов, — был ответ.

К часовому подошел другой матрос с ружьем.

— Кто сменяет вахту? — окликнул снова Бениовский.

— Я, ваше благородие, — Уфтюжанинов.

— А!.. Молодец... А какой пароль? — спросил Бениовский.

Уфтюжанинов приблизился к нему и чуть слышно шепнул на ухо: «Афанасия».

— Хорошо. А лозунг?

Уфтюжанинов снова шепнул: «Император Павел».

— Можешь сменить, — пароль и лозунг знаешь.

— Есть! — и Уфтюжанинов брякнул прикладом ружья.

Проверив вахту, Бениовский ушел в свою каюту.

Утром на главной мачте галиота взвился русский флаг. На берегу, осененном группами пальм, виднелись странные постройки, то в виде белых кубических мазанок с куполообразными крышами, то в виде шалашей, покрытых громадными, высохшими от солнца листьями. У самого берега толпились темнокожие люди, ничем почти не прикрытые. Вместо одеж-

ды, на шее у них блестели грубые ожерелья из морских раковин, а на поясе, спереди, висели какие-то лохмотья, прикрывавшие то, что дикари, в силу присущей им светскости и скромности, считали необходимым укрывать от посторонних взоров. Костюм женщин был такого же легкого покроя: красавицы были одеты только лучами жаркого тропического солнца, зато врожденное всему прекрасному полу кокетство заставляло их украшать головы какими-то повязками, уши — громадными кольцами, а кисти рук — грубыми браслетами.

Иные из дикарей торопливо садились в стоявшие у берега длинные лодки, отплывали от берега, но к галиоту, по-видимому, приблизиться не решались.

Палуба галиота была покрыта его немногочисленным экипажем и пассажирами. Бениовский, Батурин, Хрущов, Степанов, Винблад и Мейдер одеты были в офицерское платье, которое они взяли из большерецкого вещевого склада амуниции. Матросы также были одеты в морскую форму и стояли под ружьем.

Скоро от берега отчалила довольно большая двенадцативесельная лодка, в которой среди темнокожих гребцов возвышалась полуевропейская фигура в широкополой шляпе из тонкого тростника и в одеянии французского матроса и поднимала над головою нечто вроде красного флага.

При виде этого флага, на галиоте выкинули белое знамя с вышитою золотою мишурою надписью: «Император Павел Первый».

— Эти дикари, как видно, не без дипломатического такта, — с улыбкою заметил Батурин.

— Как же! И флаг у них, — отозвался Степанов, — только дипломаты-то эти — голенькие.

— Чистота души, — едва заметно улыбнулся Бениовский.

— Да, но они могут скушать нас при этой чистоте души, как скушали когда-то Кука, — пожал плечами Винблад,

— О!.. То не здешним чета — те полинезийцы, — проговорил Мейдер.

Лодка между тем была уже у самого борта галиота. С последнего спустили трап. Бениовский с палубы делал любезные знаки голым дипломатам, а Батурин спустился вниз по трапу, чтобы почетно встретить дорогих гостей. Он молча приложил руку к сердцу и знаком пригласил посланцев на галиот.

Первым вошел загорелый субъект в широкополой шляпе из циновки. За ним шесть голых спутников, с длинными тонкими копьями в руках.

Загорелый субъект любезно снял шляпу и раскланялся самым элегантным образом.

— Осмеливаюсь спросить, — заговорил странный субъект на чистейшем парижском жаргоне, — кого мой непобедимый повелитель, король Радама, имеет честь принимать в своих владениях?

— Посольство его императорского величества, государя Павла Петровича, царя и обладателя всея России, — торжественно отвечал Бениовский. — Когда мы можем получить аудиенцию у его величества, непобедимого обладателя Мадагаскара, и вручить его величеству верительную грамоту нашего повелителя?

— Я доложу его величеству, — отвечал загорелый субъект, — я уверен, мой повелитель будет счастлив видеть послов повелителя севера.

Бениовский и прочие офицеры поклонились.

— Будем ждать приказаний его мадагаскарского величества, — пояснил первый.

— Я не замедлю возвратиться с ответом, — шаркнул ножкой странный посол Радамы.

Он раскланялся с балетной грациозностью. По знаку Бениовского, матросы галиота отдали честь посланцу голого короля, и он спустился в свою лодку.

— Надо готовиться к аудиенции, — с лукавой улыбкой сказал Бениовский, провожая глазами удалявшуюся лодку.

— А где же мы возьмем верительную грамоту? — серьезно спросил Батурин.

— Хе! — пожал плечами интриган-конфедерат. — Голому королю, я уверен, можно написать на клочке бумаги — «Чижик, чижик, где ты был!» — и он примет это за императорскую грамоту, а этот шут гороховый, вероятно, французский парикмахер, причесывающий грязные головы жен короля, таких же голых, как и он сам, — конечно, не понимает ничего по-русски.

— Конечно! — засмеялся Степанов. — Напишем в грамоте — «Здравствуй, милая, хорошая моя», — и баста.

— Но у меня есть настоящая грамота, — загадочно сказал Бениовский.

— Какая? — спросил Хрущов.

— Грамота русского императора к королю Мадагаскара, — отвечал Бениовский.

Все посмотрели на него с удивлением.

— Не удивляйтесь, — серьезно сказал конфедерат.

— Разве «зеленая грамота»? — улыбнулся Батурин. — Та, что в Большерецке шуму наделала? Но здесь не Камчатка.

— Да и грамота у меня не зеленая, — отвечал Бениовский. — Пойдемте в каюту — я вам покажу ее, благо, надо готовиться к аудиенции у его величества без штанов.

Все пошли к каюте капитана.

— Вы должны знать, господа, — начал Бениовский, — что, когда мы овладели Большерецком, я забрал все дела тамошней воеводской канцелярии — на всякий случай. Дел было немного, особенно стоящих внимания. Но между прочими одно дело обратило мое внимание. Это — о командировании еще императором Петром I Беринга для проезда из Камчатки сухим путем в Америку. Тогда думали, что на севере Камчатка сходится с Америкою. Беринг предпринял эту экспедицию морем, из Камчатки, и именно из Большерецка. Это-то дело я и нашел в воеводской канцелярии. Вот оно, — продолжал Бениовский, когда офицеры вошли в его каюту.

Дело лежало у него на столе. Он перелистал несколько столбцов и остановился на одном.

— Вот — это инструкция, данная Петром Берингу: «Из Камчатки ехать на ботах возле земли, которая идет на норд, и по чаянию, понеже оной конца не знают, кажется, что та земля — часть Америки, и для того искать, где оная сошлась с Америкою».

— Это любопытно! — заинтересовались все.

— Значит, о Беринговом проливе тогда и не подозревали?

— Конечно. Беринг и открыл его, оттого он и назван его именем. Так вот в этом-то деле, — продолжал Бениовский, — и есть то, о чем я вам говорю.

— Это грамота-то мадагаскарскому королю?

— Именно. Дело было так: Петр I, отправляя в 1728 году Беринга на север открывать сухопутный проезд в Америку, в то же время задумал отправить, из Большерецка же, другую экспедицию, только не на норд, а на зюйд — именно на Мадагаскар. Эта последняя экспедиция поручена была Петром вице-адмиралу Вильстеру, которому и вручена была грамота для представления мадагаскарскому королю.

Бениовский бережно развернул свиток, приложенный к делу, и там оказался большой, из красной, золотом тисненой кожи пакет.

— Вот она! — сказал он, раскрывая пакет.

В пакете действительно была грамота на пергаменте, богато расписанная красками и золотом, с большою красною печатью на шелковом шнурке.

Все с любопытством рассматривали драгоценный исторический документ.

— Но ведь это грамота Петра, — заметил Батурин, — а мы изображаем послов Павла.

— Теперь это и есть грамота Павла, — улыбнулся Бениовский.

— Как так?

— Читайте.

Батурин начал читать: «Божиею милостию, мы, Павел Первый...»

— Как же это? — изумился он.

— Просто. Я изменил только три буквы — и грамота стала Павлова, — пояснил Бениовский.

— А! — И Батурин продолжал читать: — «Павел Первый, император и самодержец всероссийский и прочее, и прочее, и прочее. Высокопочтенному королю и владетелю славного острова Мадагаскарского наше поздравление. Понеже мы заблагорассудили для некоторых дел отправить к вам нашего вице-адмирала Бениовского с некоторыми офицерами, того ради вас просим, дабы оных склонно к себе допустить, свободное пребывание дать и в том, что они именем нашим вам предлагать будут, полную и совершенную веру дать и с таким склонным ответом их к нам паки отпустить изволили, какового мы от вас уповаем и пребываем вашим приятелем. Павел Первый».[1]

— Хорош приятель! — засмеялся Степанов. — Без штанов!

— А все же его величество, хотя и голое, — улыбнулся Хрущов.

— Но как же эта грамота попала сюда? — спросил Батурин.

— Вместе с делом, — отвечал Бениовский. — По написании этой грамоты и отправке Вильстера в Большерецк, Петр Первый вскоре, как известно, умер, а в одно время с ним умер в Большерецке и Вильстер, простудившись дорогой где-то в Сибири, и, таким образом, за смертью императора Петра и Вильстера, экспедиция расстроилась, и скоро о ней

---

[1] Грамота эта не вымышлена нами, а она — исторический факт, подтверждаемый документами (см. «Очерк морской русской истории» Ф. Веселого, с. 396 и послед.).

и совсем забыли, как забыты были многие предначертания гениального царя, когда в России, при его преемниках, начались придворные смуты.

— Понятно, понятно, — согласился Батурин.

— Так вот эту-то грамоту мы и поднесем мадагаскарскому бесштанному величеству, — продолжал Бениовский, — да в подарок предложим вот эту саблю.

Он указал на висевшую на стене саблю в красивой оправе.

— Это Нилова? — спросил Батурин.

— Нет, это и есть сабля Вильстера, пожалованная ему царем Петром, а их величествам, прекрасным женам короля — их у него, наверное, порядочный табунок...

— Косяк, — перебил его Степанов.

— Ну, косяк, — согласился Бениовский, — так этим красавицам без юбочек мы презентуем вот эти бриль-янты.

Бениовский достал из-под койки резной ящик в футляре. В ящике блестела масса ярких бус всевозможных цветов и стекляруса.

— Все это я закупил в Коломбо, на Цейлоне, — пояснил Бениовский, — я знал, с кем нам придется иметь дело... Все копеечная дрянь — эти бусы, а я уверен, что их голенькие величества передерутся из-за этой дряни.

— Однако вы человек предусмотрительный, — заметил Батурин.

— Нельзя же, — отвечал конфедерат.

В неподвижных глазах конфедерата блеснул огонек, смысл которого никому не был понятен. Огонька этого не понимала даже Афанасия, когда замечала его в глазах своего идола, иногда даже во время самых его, редких, правда, но очень горячих и подчас бурных ласк.

В дверях каюты показался Уфтюжанинов.

— Ты что? — спросил Бениовский.

— Лодка, ваше благородие, опять едет сюда, — отвечал попович-матрос, — энтот вон кургузый, что даве был.

XXII. ПРИЕМ ПОСЛОВ

Чтобы придать более торжественности своему представлению к высочайшему двору его голого величества, Бениовский приказал матросам своего галиота съехать на берег и выстроиться в две линии под ружьем.

Матросы, предводительствуемые Андреяновым, исполнили этот приказ, чем и произвели на туземцев, толпившихся на берегу, внушительное впечатление: все они отодвинулись на почтительное расстояние и смотрели на русских с детским любопытством и страхом.

Затем с галиота съехали на берег Бениовский, Батурин, Степанов, Хрущов и Мейдер, и только Винблад остался на галиоте, чтобы по составленной наскоро программе церемонии делать соответственные распоряжения на корабле, на котором оставались пушкари при своих орудиях.

Когда Бениовский вступил из шлюпки на землю, держа на голове красный пакет с поддельною грамотою, с галиота приветствовали это вступление троекратным пушечным выстрелом. За Бениовским вышел на берег Батурин, держа над головою саблю покойного Вильстера, предназначенную в подарок дикому королю. За Батурином шел Степанов, неся на голове ящик с бусами и стеклярусом.

Едва мнимые послы очутились на берегу между двух линий своих матросов, как к ним подошел тот странный субъект в шлеме из циновок, что был уже на галиоте и изображал из себя, по-видимому, обер-церемониймейстера двора его мадагаскарского величества. Он по-прежнему любезно расшаркался и пригласил мнимых послов следовать за собою. Когда они двинулись в путь, с корабля опять раздались пушечные выстрелы.

— А вы, ребята, оставайтесь здесь, — сказал Бениовский, проходя между двух линий матросов, — в случае чего — я дам знак свистком, и тогда вы бегите к нам. Поняли, молодцы?

— Поняли, ваше благородие! — гаркнули матросики.

— Смотрите же!

— Рады стараться, ваше благородие!

Продолжая свой путь в сопровождении странного обер-церемониймейстера и сопутствуемые толпою туземцев всех полов и возрастов, мнимые послы достигли полукруглой площади, осененной высокими пальмами, под которыми ютились, разбросанные в беспорядке, то кубические мазанки с куполообразными крышами, то тростниковые шалаши. Впереди группы наибольших мазанок, под тенью пальмовой рощи, на разостланных циновках, окруженный с тыла и боков голыми воинами с копьями, восседал сам Радама со всем своим придворным штатом. Штат этот составляли его голенькие чернотелые жены, а голые сановники стояли по бокам, несколько поодаль. Его величество был гол как сокол,

с одним пояском и талисманом на известном месте и металлическими браслетами на руках и на ногах. Зато на курчавой голове его величества, вместо короны, надета была набекрень треугольная шляпа, обшитая галунами. Рядом с ним сидела старая полная женщина. Это была королева-мать, ее величество Ранавало, одетая по последней моде: на шее — ожерелье, на руках и на ногах — браслеты и на бедрах скромная драпировочка.

Так же были одеты и все придворные дамы, между которыми виднелись очень миловидные девочки, едва переступившие десятилетний возраст, но уже удостоившиеся чести быть супругами короля и разделять его тростниковое, покрытое шкурою льва ложе.

Радама был еще очень молод, но мужественные черты его изобличали в нем сурового воина.

Мнимые послы приблизились и стали в ряд. Любопытство дикарей при виде красного пакета, блестящей сабли и резного ящика было возбуждено до крайности.

Бениовский первым подошел к королю и, приложив левую руку к сердцу, правою подал Радаме пакет. Радама раскрыл пакет, предварительно потерев его носом в знак почтения и привета, и вынул оттуда грамоту. Пестрота красок и букв на пергаменте, по-видимому, произвела приятное впечатление на дикаря, и особенно заняла его большая, на шнурке, красная печать, которую он тотчас же и приложил к своей черной груди, вероятно, соображая, что как было бы красиво, если б эта отличная штучка висела у него на груди, как ожерелье. Приложившись грамоте и к печати носом, дикарь подал пергамент стоявшему тут же знакомому уже нам странному субъекту. Этот последний, взяв грамоту и видя, что она писана на непонятном для него языке, обратился к Бениовскому.

— Месье! — сказал он по французски. — Я не понимаю языка этой бумаги.

— Она писана по-русски, — отвечал Бениовский.

— Так потрудитесь перевесть ее на мой язык, а я передам ее содержание его величеству.

Бениовский переводил медленно, слово за словом, и француз передавал содержание Радаме. Этот последний в знак удовольствия кивал головой и повторял какое-то слово.

Тогда француз, по окончании передачи содержания грамоты, поднес ее к лицу Радамы и показал на мнимую подпись императора Павла. Радама почтительно приложился носом к подписи и подал грамоту своей матери. Та также приветст-

вовала ее приложением к своему мясистому носу, обнюхала ее и печать и положила на циновку рядом с красным пакетом.

У молоденьких жен Радамы, видимо, разгорелись глаза при созерцании издали интересной штучки, но они не смели подойти к ней.

Тогда к Радаме приблизился Батурин и почтительно вручил ему саблю. Теперь у этого дикаря при виде блестящей сабли разгорелись радостью глаза и он горячо, страстно обнюхал ее и долго любовался красивой оправой ее и блестящим клинком. Потом он быстро встал с циновки и гордо прицепил к своему бедру драгоценный подарок.

Настала очередь выступить вперед Степанову с его бусовыми драгоценностями.

— Доложите его величеству, что это подарки для почтенной королевы-матери и для прекрасных его супруг, — пояснил Бениовский французу.

— Благодарю, месье, — отвечал последний, и передал Радаме и Ранавало слова Бениовского.

Лица женщин просияли, глаза искрились, и они едва сидели на месте.

Степанов подошел и, раскрыв ящик, поставил его перед Ранавало. Крик восторга вырвался из груди дикарки. Прочие красавицы повскакали с мест, забывая всякий придворный этикет, и бросились к ящику. Тут уже никто не мог их удержать. Они жадно хватали из ящика связки блестящих бус, смеялись от восторга, рассматривали их, надевали на шею, снова снимали, завидуя одна другой и примеряя к себе — то ту, то другую связку. Они были несказанно милы в своей дикой, совсем детской наивности. Ничего подобного они не видали. Ведь эти ожерелья не из раковин, не из жемчуга, который так надоел им. Жемчуг что! — что в нем красивого! Белый, как морская пена, — и только! А что им в морской пене!.. что в жемчугах!.. А эти драгоценности — и красные, и синие, и зеленые, и пестрые! Сколько в них красоты, блеска!

Жемчугом сверкают белые зубы красавиц — никогда в жизни не были они так веселы, счастливы, эти чернотелые дети!

Тогда Радама заговорил что-то с французом. Тот кивнул головой в знак согласия.

— Его величество просит вас садиться, — пояснил француз слова Радамы.

Все уселись на циновки, как кто умел.

Дикарь опять заговорил со своим переводчиком.

— Его величество желает почтить вас военной пляской, — перевел этот последний.

— Благодарите его величество — мы рады видеть военную пляску, — отвечал Бениовский.

Тогда, по знаку Радамы, приблизились стоявшие в стороне его сановники и воины — и под дикие звуки тамтама началась неистовая пляска. Было что-то бешеное и страшное в этом кривлянии черных голых людей, вооруженных длинными копьями. По движениям их можно было видеть, что они — то преследуют неприятеля, то наносят ему удары, повергают на землю, то со зверскою радостью в глазах убивают его. Это было адское зрелище, иллюстрируемое притом адскою музыкой и демонстрируемое зверскими выкриками.

Сам Радама в восторге. Глаза его, в сущности добрые, светятся теперь огоньком зверства. Он по временам бряцает своей новой саблей, вынимает ее из ножен и неистово машет в воздухе.

Миловидные личики жен короля также изменились сообразно общему настроению: они глаз не могут отвести от своих прекрасных кавалеров, танцующих танец смерти. Некоторые из них от восторга плещут руками.

Наконец, Радама кричит что-то стоящим сзади воинам с копьями. Те удаляются и через несколько минут приводят связанного человека. Это такой же туземец, как и все прочие, только татуирован несколько иначе.

— Это пленный, — пояснил француз, — он из другого племени и взят с оружием в руках.

Пленного становят перед королем. При виде врага зверь просыпается в Радаме. Он говорит что-то французу.

— Его величество хочет испробовать достоинство сабли, подаренной ему его величеством царем, — поясняет этот последний.

Не успели наши послы глазом мигнуть, как Радама махнул в воздухе саблей. Клинок сверкнул, и голова пленного упала к носам торжествующего короля, страшно вращая зрачками. Из упавшего трупа кровь хлынула ручьем.

Бениовский и его спутники в ужасе вскочили на ноги.

— Какой негодяй! — невольно вырвалось у Хрущова.

Радама торжествовал. Он махал над головою окровавленным клинком и что-то бормотал скороговоркою.

— Его величество в восторге от прекрасного подарка его величества царя, — переводил его восторг француз.

— А черт бы его взял с его восторгом, подлеца! — не вытерпел Батурин, содрогаясь при виде отвратительной картины.

— Боже! Какие звери! — шептал Хрущов.

— А мы не то же делаем на войне? — пожал плечами Бениовский. — Хуже! И вы то же делали и будете делать. На то мечи и сабли.

Дикий танец, однако, кончился. Сановники и воины, тяжело дыша, опять стали полукругом.

— Его величество приглашает вас к своему столу, — обратился француз к нашим послам.

— Благодарите его величество за честь, — отвечал Бениовский.

— Его величество желает угостить вас жарким вот из этого убитого.

— Как!.. Мясом этого несчастного?

— Да, месье, — телом врага.

— Но мы не людоеды...

— Его величеству приятно будет угостить вас — это его любимое блюдо.

— Но повторяю — мы не каннибалы.

— Его величество говорит, что самое вкусное блюдо, — это тело убитого врага.

Мнимым послам с трудом удалось выпутаться из этого щекотливого положения.

Когда они возвращались к своему галиоту, навстречу им попался какой-то старик, по-видимому, не туземец. Он был очень стар. На голове у него была широкополая тростниковая шляпа, а в руках он держал четки с распятием.

Бениовский догадался, что это был патер Леон Сандо. Он подошел к старику.

— Не реверендиссимус ли патер Леон, которого я имею честь приветствовать? — любезно поклонился Бениовский.

— Да, месье: я патер Леон Сандо, служитель святой католической церкви и миссионер острова Мадагаскар, — отвечал старик. — А с кем я имею честь говорить?

Бениовский назвал себя и своих товарищей.

— Я имею к вам, реверендиссиме патер, послание от капитана Шоке, — сказал первый. — Я слышал, что вы желаете возвратиться во Францию. В таком случае, наш галиот к вашим услугам.

— О! — радостно поднял к небу увлажненные слезами глаза старик. — Благодарю тебя, Господи!

XXIII. ПОЖАР НА МОРЕ

Несколько недель простоял «Святой Петр» у берегов Мадагаскара, запасаясь всевозможною провизией для своего далекого плавания, и здесь-то в голове Бениовского окончательно созрел его грандиозный план. Но он по-прежнему продолжал хранить его в тайне.

Он часто сходил на остров и изучал как его топографию, так привычки диких туземцев. В этих экскурсиях его сопровождал месье Пике, главный обер-церемониймейстер короля Радамы и его придворный парикмахер. Он был когда-то куафером в Париже, собственно гарсоном в одной парикмахерской, и, поссорившись с хозяином, поступил в матросы на корабль, отходивший в Индию. На корабле он, должно быть, проворовался, хотя уверял, что «не поладил с негодяем-капитаном» и потребовал, чтоб его высадили на Мадагаскаре. Корабль был купеческий — и его высадили. Сначала дикари хотели съесть месье Пике, но патер Леон заступился за соотечественника, и ему даровали жизнь. Впоследствии он вошел в милость у королевы-матери, и теперь он — «первое лицо при дворе его мадагаскарского величества, непобедимого Радамы» и «как сыр в масле катается».

Прочие офицеры галиота также часто охотились на острове, а матросы совсем подружились с дикарями, научив их делать дудочки из тростника и играть на них. Маленькие подарки, подносимые дикарям — то гвоздь, то медная пуговица, — окончательно сблизили их.

Одна Афанасия стыдилась своих голых гостей и никак не могла к ним привыкнуть. Зато она очень привязалась к старому прелату, и старик сам в ней души не чаял. «Мое дитя, мое дорогое дитя, милая Атанази» — эти слова не сходили с его старческих уст. Афанасия порядочно говорила по-французски, и потому патеру легко было с ней объясняться. Он постоянно рассказывал ей то о своей «chere pays la Franse», то о жизни своей между дикарями Мадагаскара, между которыми он многих обратил уже в христианство. Он жалел только об одном, что без него они опять станут язычниками и забудут истинного Бога. Он бы, наверно, обратил в христианство и самого Радаму, если б только короля не пугало в божественной религии то, что он должен был отказаться от всех своих жен и оставить при себе только одну, старшую и первую, которую он раньше других приблизил к себе. Но зато рассказы старика о далекой Франции были полны такой задушевности и теплоты, что и Афанасии она представлялась очаровательною страною.

При этих беседах всегда присутствовала няня Пахомовна, с неизменным чулком в руках, и тоже полюбила старика, хоть он был и «не русской веры».

Наконец, когда Бениовский ближе познакомился с береговою полосой острова и отчасти с внутреннею частью Мадагаскара и его обитателями, решено было пуститься в дальнейший путь.

Прощальная аудиенция была так же торжественна, как и первая, хотя уже без воинских танцев и без пробы достоинства русской сабли на шее пленного врага. На прощание Бениовский подарил королю красный шелковый фуляр, которым дикарь тотчас же и обвязал свои бедра, а королеве-матери презентовал зеленую, уже подержанную вуаль Афанасии, которым старая кокетка и украсила свою жирную шею, завязав его под подбородком очень изящным бантом, при виде которого Степанов чуть не лопнул от сдерживаемого с трудом смеха. Каждая из молодых красавиц получила по паре блестящих, тоже копеечной цены, сережек.

Со своей стороны король богато одарил послов. Он слышал от месье Пике, что европейцы очень ценят слоновую кость, и велел натаскать ее целые груды: этим дорогим подарком и нагрузили часть трюма галиота.

Когда корабль снялся с якоря, пушечными выстрелами сделан был последний салют. Сам Радама, весь его двор, жены, сановники и воины стояли на берегу и смотрели на уходивший корабль. Месье Пике усердно махал с берега своею циновочною шляпою, а патер Леон, стоя на палубе, крестообразно осенял своим распятием остров, тогда как слезы тихо, тихо катились по его морщинистому лицу.

— Ведь пятьдесят лет, пятьдесят лет протекло под этим небом моей жизни! — шептал он набожно. — Oh, mon Dieu!

Афанасия с глубоким сочувствием глядела на старика, и на глазах ее тоже показались слезы.

Долго еще видны были берега покинутого острова, пока наконец он совсем не скрылся за подернутым дымкою дали горизонтом океана.

Галиот держал курс на юго-запад, к мысу Доброй Надежды, чтобы, обогнув южную оконечность Африки, выйти в великий западный океан.

Снова началась обычная, однообразная морская жизнь. Дни, казалось, тянулись целую вечность.

Бениовский, чтобы не скучать от бездействия, кроме писания своего дневника, выдумал себе новое занятие. Он,

казалось, очень привязался к старому миссионеру и стал с ним, из любознательности, изучать язык обитателей Мадагаскара.

Но умысел другой тут был... Он входил в его планы...

Ловкий конфедерат очень прилежно учился незнакомому языку. Расспрашивая у старика названия всевозможных обиходных предметов, он все это заносил в особую тетрадь и заучивал. Вместе с тем, он заставлял старика составлять фразы обиходного разговора и все это тоже записывал и заучивал. Успехи нового ученика были необыкновенно быстры, и старик удивлялся способностям и прилежанию, с каким относился к этому делу «monsieur le baron».

Скоро они стали уже немного объясняться на неблагозвучном языке Радамы.

Между тем няня Пахомовна с тайной тревогой замечала, что ее любимица барышня постоянно худеет. Куда девались ее аппетит и сон! Все более и более она становилась задумчивою, грустною. Спросит бывало ее Пахомовна: «Что с тобою, мое золото червонное?» — и получит ласковый, с улыбкой, но какой-то за сердце хватающий ответ: «Ничего, няня милая».

«Тает как свечка», — грустно покачивала головой Пахомовна и обращалась к лекарю, к Мейдеру: «Что с моей барышней?» «Ничего, нянюшка, — отвечал тот, — возраст такой хрупкий, но у нее ничего нет такого — как бы сказать — органического порока... молодость, скоро повеселеет, ежели...» Но он никогда не договаривал.

Афанасия, не желая отстать от Бениовского, также училась у патера языку обитателей Мадагаскара и, обладая замечательной памятью, усвоила этот язык еще быстрее, чем Бениовский, чем приводила своего старого учителя просто в умиление. «О, мое дитя, мое дорогое дитя!» — повторял он восторженно. Но и он не мог не видеть, что его обожаемая любимица тает день ото дня. «Вы слишком много учитесь, дитя мое! — иногда говорил он, — ваша милая головка утомляется от этого варварского языка». — «Нет, mon cher papa, а люди, — она стала называть его этим дорогим для нее именем, — мне без занятий было бы скучнее».

Время между тем шло. Выдерживая и бури, и мертвые штили, галиот давно миновал уже мыс Доброй Надежды, где он запасался водой и освежал провизию. Вместо юга и юго-запада наши беглецы держали теперь путь отчасти на север, ко вторичному пересечению линии экватора. С каждым днем температура воздуха опять стала повышаться, зной становился все убийственнее, штили повторяться чаще, и если б не ока-

чивание водой по несколько раз в сутки, то едва ли самый крепкий организм мог бы выдержать это пекло. Экваториальный зной губительно действовал и на организм Афанасии. Она почти ничего не ела и худела с каждым днем. Ни Пахомовна, ни Анна, жена Андреянова, не отходили от нее. Добрый патер и утром, и вечером молился об ее здоровье и по целым часам сидел около нее, безмолвный, грустный, или старался развлечь ее светлыми перспективами недалекого будущего.

— Скоро, дитя мое, мы минуем линию экватора — эту адскую полосу земного шара, а там все ближе и ближе будем двигаться к милой Франции.

Девушка молча слушала, улыбаясь слабою, детскою улыбкою.

Один Бениовский, по-видимому, не замечал роковой перемены в своей маленькой Фанни, а если и замечал, то старался не показывать этого. В глубине своей души он не мог не сознавать, что все, что случилось прежде и могло случиться после, все это дело его рук: он слишком много взял на себя, не подумав о возможных и неизбежных последствиях. Как ни всецело владел его душою эгоизм, однако трудно ему было отогнать от себя сознание, что бедная, невинная девушка благодаря его эгоизму, потеряв отца и родину, очутилась выброшенною из своего гнезда, не будучи совсем приготовленною к жизни. Как было ему раньше не подумать, что это должно неизбежно случиться.

Одно неожиданное обстоятельство сильно подействовало на впечатлительную душу Афанасии и окончательно надломило ее хрупкий и нежный организм.

Была темная штилевая ночь. Галиот, застигнутый мертвым штилем, казалось, спал на поверхности океана, повинуясь только тихому северному течению океанской стихии. Небо искрилось такими дивными звездами южного полушария, о коих север и понятия не имеет. Южный Крест стоял над океаном в величавой красе. Поверхность океана вспыхивала иногда фосфорическими огоньками. Афанасия сидела на палубе, вдыхая усталою грудью живительную прохладу тропической ночи, после знойного, мучительного дня. Рядом с нею, перебирая четки, тихо шептал молитву старый патер, а по другую сторону девушки сидел Хрущов, созерцая звездное небо, которое всегда действовало на него чарующим образом.

Вдруг Афанасия увидела на горизонте светящуюся точку, как бы выходящую из океана. Но это не была звезда — не

тот свет, но это и не луна — светлая точка выходила из воды на северо-западной линии горизонта. Точка увеличивалась все более и более, поднимаясь от воды и расширяясь. Светлое пятно становилось все более и более багровым. Девушке стало что-то страшно.

— Что это такое, Петр Алексеевич? — спросила она испуганно.

— Что, Афанасия Григорьевна? — как бы очнулся тот.

— Вон там, точно зарево — что это?

— Зарево и есть. Помилуй Бог! — тревожно проговорил Хрущов.

— Что же? Пожар?

— Непременно пожар!

— Да разве близко земля?

— Нет, Афанасия Григорьевна, пожар на море: тем он и страшен.

— Разве корабль горит?

— Непременно корабль.

Зарево замечено было и матросами, и другими офицерами. Огонь разрастался все сильнее и сильнее. К небу взвивались огненные языки сквозь клубы дыма. Виднелся даже громадный остов корабля, из люков которого вырывались и исчезали в дыму огненные струи.

Все столпились на палубе галиота к стороне видимого пожара. Встревоженный Бениовский, выбежавший из каюты, где он работал, глядел на пожар в зрительную трубу.

— Корабль погибает... он весь в пламени... нет спасения! — торопливо проговорил он.

— Боже мой!.. На нем люди! — с ужасом говорила Афанасия. — Разве нельзя спасти?.. Не поздно?

— Слишком далеко, милая Фанни, а теперь, видишь, штиль: мы не можем подать ему помощи, — успокаивал ее Бениовский.

Девушка ломала руки. Старый прелат беспомощно топтался на месте, повторяя: «Oh, mon Dieu! quel horreur!.. Oh, mon Dieu!».

— Надо, однако, попытаться спасти! — бледный от волнения проговорил Хрущов.

— Да! Да, милый Петр Алексеевич! — умоляла его Афанасия.

— Надо спешить со шлюпками, — продолжал Хрущов. — Я еду!

— И я с вами! — прибежал Уфтюжанинов.

— Я также, — сказа Мейдер. — Может, там нужна лекарская помощь.

— Да, да, ради Бога! — волновалась Афанасия.

— Пару шлюпок на воду, — скомандовал Бениовский, — две перемены гребцов!

Моментально шлюпки очутились на воде. Матросы держали весла. Едва Хрущов, Мейдер и Уфтюжанинов вскочили в шлюпки — весла сверкнули, как крылья, и шлюпки понеслись по направлению к зареву, извлекая из океана фосфорические искры.

XXIV. СПАСЕНИЕ ХУАНА

Недолго, однако, шлюпки были видимы с галиота. Через несколько минут они скрылись из глаз. Видно было только, как на горевшем корабле свирепствовало пламя.

Долго смотрели с галиота на роковое пламя: это было слишком страшное видение, чтоб можно было оторваться от него.

Между тем время тянулось мучительно долго: то было время тревожного ожидания, которое минуты превращает в часы, часы растягивает до бесконечности. Часовые стклянки опорожнялись от песка, вахты сменялись, вахтенный колокол звонил уже не один раз.

И вдруг — страшное видение исчезло! Пламя погасло! Но погасло ли оно? Вернее всего, что оно вместе с остатками догоравшего корабля захлебнулось в пучине океана.

Теперь началось новое ожидание — ожидание возврата шлюпок. С чем-то воротятся великодушные смельчаки? Спасли ли они погибавших? Подоспели ли вовремя? Не бросились ли несчастные, в порыве ужаса и отчаяния, — не бросились ли они с погибавшего корабля в море, на такую же верную смерть, чтобы избежать ужасного пламени?

Вот что написано было на бледном личике Афанасии, когда она стояла неподвижно на палубе, устремив взор в беспросветную даль. И нянюшка, и старый патер, и Бениовский упрашивали ее идти в каюту — лечь, успокоиться, забыться сном, — она продолжала стоять и смотреть вдаль, повторяя иногда, как бы машинально: «Бедные! Бедные!»

Но вот в темноте послышался плеск весел.

— Слышите? — тревожно заговорила Афанасия. — Не наши ли возвращаются?

— Кто едет? — прокричал в рупор Бениовский.

— Свои! — послышался отклик из темноты.

— Благополучно ли?

— Нет! Опоздали! — был ответ.

— Господи! — всплеснула руками Афанасия. — Неужели все погибли?

Шлюпки скоро пристали к галиоту. Вот что сообщили Хрущов и Мейдер. Горевший корабль был очень далеко. Все время, когда шлюпки спешили к нему на помощь, страшное зарево освещало их путь. Корабль, по-видимому, был громадной величины. Горело, как можно догадываться, изнутри, из трюма, где, должно быть, и начался пожар. Когда шлюпки приближались к нему, то весь его верх объят был пламенем и только гигантский кузов его, ближе к воде, еще был цел, но весь массив корабля уже сильно накренился к кормовой части, тихо погружаясь в океан. Ясно, что вода уже ворвалась внутрь, и именно от кормы. Казалось, гигант трепетал, все более и более погружаясь в море. Еще несколько мгновений — и он исчез под водою, как бы взмахнув в последний раз над поверхностью океана исполинским, гигантским горящим факелом. И вдруг настал страшный, абсолютный мрак.

— Волосы встали дыбом у меня на голове, — пояснил Хрущов.

Афанасия болезненно простонала. Старый прелат поднял руки к небу, как бы призывая Божие милосердие на тех, для которых уже все было конечно.

— Но не может же быть, чтобы погибли все! — с силою проговорил Бениовский. — Ведь на корабле же были шлюпки, корабль горел медленно, долго, пассажиры и экипаж имели время сойти в шлюпки и спастись, хоть не все: конечно, от страха и в борьбе за обладание шлюпками многие погибли в море, без этого нельзя — опасность на море, когда погибает корабль, обезумливает людей, но кто-нибудь да спасся.

— Может быть, — сказал Хрущов, — но мы ничего не видели.

— Мы кричали, — пояснил Мейдер, — но голоса наши потерялись в пространстве — и к нам не донеслось ниоткуда ни звука — мертвая тишина!

— Это удивительно! — продолжал Бениовский. — Должны же остаться шлюпки! Шлюпки никогда не погибают — это пробки, которые всегда всплывут наверх.

— Может быть, они и всплыли, но мы их не видели, — грустно заметил Хрущов.

— Ну, может, днем это удастся, — заметил Батурин, — к утру же, кажется, готовится попутный ветер.

И утро, действительно, оказалось благоприятным для путешественников. Еще до полного рассвета паруса галиота в состоянии были действовать, и «Святой Петр» продолжал свое плавание.

Некоторое время ничего не видно было на поверхности океана, но потом на этой поверхности стали попадаться иногда обуглившиеся куски дерева.

— Я вижу перегоревшие остатки погибшего корабля, — заметил Хрущов, все время напряженно смотревший на море.

— А вон обгоревший конец каната, — указал Уфтюжанинов.

— А там!.. там что? — взволнованно заговорила Афанасия, почти не сходившая с палубы.

— Где?.. что? — послышались возгласы.

— Вон.. там — далеко, какая-то точка маячит.

— Да, да!.. Там есть что-то — это какой-то предмет.

— Может быть, шлюпка.

Бениовский в зрительную трубу подтвердил, что виден какой-то предмет, но едва ли это шлюпка.

Таинственный предмет обозначался все явственнее и явственнее. Скоро можно было рассмотреть, что это была, повидимому, опрокинувшаяся шлюпка.

— Шлюпка и есть, — подтвердил Уфтюжанинов.

— Только вверх килем, — заметил Бениовский.

— Значит, люди потонули? — со страхом спросила Афанасия.

— По всей вероятности.

Шлюпка все ближе и ближе. Теперь несомненно, что она носится по морю вверх килем.

— Но на ней что-то видно, — снова заметил Уфтюжанинов.

— Что-то движется — точно, — подтвердил Бениовский.

Скоро все объяснилось. Когда галиот приблизился несколько к опрокинутой шлюпке, то глазам всех представилось печальное зрелище. Казалось, что на шаткой изогнутой поверхности киля, лежал окоченевший труп. Но это не был труп: в нем по временам замечались конвульсивные движения. На крик с галиота, то, что лежало на киле шлюпки, вздрогнуло, казалось, всеми членами.

— Это живой человек! — крикнул Хрущов.

— Спасите его, спасите! — молила Афанасия.

— Шлюпку на воду! Живей!

В одно мгновение шлюпка была на воде, а в ней Уфтюжанинов, Хрущов и Андреянов. Еще мгновение — и шлюпка у цели... Но то, что лежало на киле вниз лицом, сделало конвульсивное движение, сорвалось с неустойчивой поверхности и скатилось в воду.

— Боже! Он погиб! — отчаянно крикнула Афанасия и без чувств упала на руки няни и Батурина.

Но в это мгновение быстрым движением багра Уфтюжанинов зацепил за платье упавшего в воду человека, и он был подтянут к шлюпке. Тотчас его зацепили другим багром, приподняли над водою и втащили в шлюпку.

Спасенный потерял сознание. Мейдер, приводивший в чувство Афанасию, оставил ее на попечение няни, Батурина и Бениовского, приказав им давать ей нюхать спирт, а сам тотчас же занялся вытащенным из воды человеком. Ему терли виски, руки, живот. Мейдер насильно влил ему в рот несколько больших глотков рому и снова велел оттирать, чтобы вызвать реакцию в окоченевшем организме.

— Утонул? — было первое слово, которое произнесла Афанасия, отрыв глаза.

— Нет, спасен — вот он, — торопливо успокоил ее Бениовский. — Побереги себя, дитя мое!

Мало-помалу к спасенному начала возвращаться жизнь. Это был загорелый, давно небритый, широкоплечий и приземистый субъект, с рыжими с проседью волосами и бакенбардами, в старом костюме испанского матроса. Скоро он окончательно пришел в сознание, и новая хорошая порция рому окончательно, так сказать, вытрезвила его.

Спасенный, действительно, оказался испанским матросом. Много лет скитаясь на своем корабле по всем морям и океанам, заходя в порты всех стран, он несколько наметался в разных языках и знал порядочно по-итальянски и по-французски.

От него узнали следующее. Корабль их — один из самых больших в Испании, по имени «Саламандра», несколько недель тому назад отошел от западных берегов Африки, возвращаясь с острова Куба с разными грузами и направляясь в Испанию, к городу Кадиксу. На корабле было несколько сот пассажиров, возвращавшихся в Европу как с Кубы, так и с других островов и из колоний, потому что корабль их считался почтово-пассажирским. Плавание их было благополучно до вчерашнего вечера. Но вчера заметили в трюме огонь, который, по-видимому, давно там тлел и охватил много тюков, легко воспламеняющихся. Огонь стал распространяться до того быстро, что потушить

его не было никакой возможности. Пассажирами овладела паника. Капитан, прежде всего, распорядился посадить в шлюпки женщин и детей. Хуану (так звали спасенного испанца) и другим его товарищам пришлось принять в свою шлюпку именно этих трусливых и беспокойных пассажиров — женщин и детей. Но в испуге женщины бросались, не соображаясь с тем, сколько она поднимет, — и шлюпка была переполнена. Когда они отъехали от горевшего корабля на значительное расстояние, корабль весь объяло пламенем. Это привело в такой ужас женщин, они до того стали метаться в шлюпке, что она зачерпнула одним бортом воды, испуганные женщины рванулись к другому борту шлюпки, накренили ее, вода ворвалась в шлюпку — и все было кончено! — шлюпка погрузилась в океан. Началась последняя борьба утопающих: борьба со смертью, борьба друг с другом, все цеплялись один за другого, и все пошли ко дну, увлекши за собою и матросов. Все погибли. Хуан спасся только тем, что успел ухватиться за борт вынырнувшей из воды шлюпки, но утопавшие женщины едва и его не увлекли за собою, цепляясь ему за шею, за руки, за ноги. Но и эти долго не удержались — все пошли ко дну.

Что сталось с другими пассажирами и шлюпками — Хуан не знал.

XXV. СМЕРТЬ И ПОХОРОНЫ АФАНАСИИ

Наш галиот находится уже у берегов Мадеры. Экваториальное небо и его знойное солнце остались далеко назади. И здесь небо такое же голубое и солнце тоже жаркое, но в последнем есть уже что-то ласкающее, мягкое. Зелень острова такая роскошная, освещающая.

Вот-вот уже скоро и Европа. Но почему-то на галиоте не слышно прежнего оживления, ни песен, ни шумных разговоров.

Бениовский, Степанов и Винблад отплыли на берег для каких-то надобностей, а на галиоте остались только Батурин и Хрущов. Первый из них смотрит каким-то болезненным, точно надломленным, да и Хрущов много изменился за последнее время, точно он вынес тяжкую болезнь. Ни Мейдера, ни старого патера что-то не видно.

— Должно быть, ей хуже, — как бы про себя произнес Батурин, грустно качая седою головой.

— Да, бедная девочка, — так же грустно говорил и Хрущов, — и за чьи грехи суждена ей такая доля?

— За наши... Чем она, бедненькая, виновата, что ей суждено было родиться в снегах Камчатки? За что ей суждено было притом родиться от такого лица, которое поставлено было стражем над преступниками?

— Да, рок безжалостный! — горько махнул рукою Хрущов.

— Так, так... Да она-то за что пострадала?

— За то, что мы, — на слове *мы* Хрущов сделал ударение, — мы захотели свободы.

— Да, а ее отец стоял у нас на дороге.

— Отец! — с горечью сказал Хрущов. — А она-то?

— Она имела несчастье быть его дочерью.

В это время на палубе показался Мейдер. Он вышел из каютного отделения.

— Вы от нее, Мейдер? — тревожно спросил Хрущов.

— От нее, — отвечал тот.

— Ну что, как, не лучше ей?

— Нет... Я думаю, что ее придется нам похоронить здесь, на этом острове.

Хрущов заметно побледнел.

— Да ради Бога — что с ней? — спросил он.

— Ничего! Но вот, подите же, — тает, как свечка, и, кажется, уже догорела.

Свечка, действительно, скоро догорела и погасла.

Через несколько дней на столе, поставленном на палубе галиота, вся в цветах и в зелени, лежала мертвая Афанасия. Роскошная девственная коса ее была расчесана и двумя пышными пепельного цвета пасмами шла через плечо и лежала вдоль ее прекрасного стана по обе стороны. Она лежала, как живая, только с более сосредоточенною, хотя все еще детскою задумчивостью на белом, как каррарский мрамор, челе. Ее одели в белое платьице — «подвенечное», как говорила одевавшая ее с рыданиями няня. Прелестное личико ее, казалось, совсем не тронуто было смертью, только оно казалось еще нежнее. Тем ярче выступал миловидный облик умершей и вся ее необыкновенно стройная фигура, что смертное ложе девушки было засыпано цветами, а сама она казалась бледной лилией среди роз, фиалок, анемонов и пальмовых ветвей, перемешанных с миртами и лаврами. К девственной груди ее была приколота ветка флердоранжа как символ чистоты и невинности.

Как и там, далеко у острова Формоза, когда экипаж галиота без священника отпевал убитого малайцами Панова, здесь у изголовья Афанасии стоял Уфтюжанинов и раздирающим душу унисоном читал «Блажен муж, иже не иде на

совет нечестивых». Но теперь рыдания то и дело прерывали его чтение.

У ног Афанасии стоял на коленях старый прелат. Старческое лицо его выдавало глубокое сострадание, смешанное как бы с тихою и такою же глубокою радостью. Он верил, что безгрешная душа чистой девочки находится теперь у престола Предвечного и вкушает неведомое людям блаженство. Полные слез глаза его были обращены туда, к ясному небу, где... Он верил!

Нянюшка стояла тут же — без слез, без причитаний. Горе задавило ее, уничтожило. То, чем она жила и для чего жила, то, что давало цену ее старой жизни, что привязывало ее к земле, этот нежный цветочек, выросший, казалось, и расцветший на ее груди, у нее в душе — завял, превратив для нее весь свет в пустыню. Для кого же ей жить?.. Куда, за кем ей идти? А она шла за нею, только за нею, и ее нет!.. она ушла!

Батурин стоял глубоко задумчивым, низко склонив свою седую голову. По временам он поднимал глаза на умершую и в умиленном жалостью взоре его нетрудно было прочесть то, над чем теперь задумывалась его седая голова: скоро, скоро и я так же буду лежать, но не в цветах, как эта невинная белая лилия, — бедное, бедное дитя!

Хрущов горько плакал, так плакал, как не плакала бы, кажется, родная мать. Тайну его горя никто не знал, и он никому не выдал этой тайны, даже той, которой эта тайна принадлежала. Он любил Афанасию. Он полюбил ее давно, еще в Камчатке. Видеть ее, только, только видеть — и то уже было для него счастьем. Но он скоро понял, что девочка уже сама любила, только не его, — и он схоронил в душе свою тайну. Вот почему теперь плакал он так безутешно.

Кругом видна была скорбь. Никогда матросы в церкви не молились с такою теплотою и горем, как теперь, под тихое чтение — «Блажен муж...» Кто этот «блажен муж» — они не знали, но эти непонятные для них слова звучали такою печальною музыкою, что хоть с борта да в воду — так и то впору!

Бениовский не плакал, но на душе у него было более мрачно, чем у всех, кто оплакивал покойницу. Как убийца, хотя и невольный, он не мог плакать над своею жертвой, и ему казалось, что этот приговор он читает в глазах у всех.

Нежный ветерок тихо шевелил шелковистыми волосами умершей и ее длинными ресницами, и казалось, что вот-вот она их поднимет и обрадует всех своим ясным, кротким взо-

ром. Над морем, вокруг галиота, вились в воздухе чайки и жалостно кричали, как бы внимая однообразному, скорбному чтению над умершей. Хрущову эти крики морских птиц напоминали давно забытую картину, которая когда-то так глубоко запала в его душу. Накануне того дня, когда он должен был совершить задуманное им и его соучастниками дело, он проходил по Невскому и случайно остановился у витрины одного магазина эстампов. В окне была выставлена картина с подписью: «Геро и Леандр». Хрущов стал вглядываться в изображенное на полотне. Бурное море, как бы вдавленное в рамки скалистых берегов, — это Босфор. На востоке, за скалистым берегом, занимается заря. Розовый отсвет ее падает на седые гребни волн, которые треплют разметавшееся на их пенистой поверхности мертвое тело прекрасного мужчины. Над телом вьются морские чайки — и Хрущову казалось, что он слышит, как эти чайки оглашают воздух жалобными криками. На том скалистом берегу, за которым занималась заря, у самой воды, на камне, обрызгиваемом морскою пеною, стоит девушка и в отчаянии ломает руки, с невыразимой тоской глядя на прибиваемый волнами к берегу труп ее возлюбленного, который плыл на свидание к ней и утонул.

И теперь так же жалобно кричат чайки, но теперь картина не та, и плачет он сам, когда-то с грустью глядевший на ту картину, на другую.

Эту картину общей скорби дополняло еще одно лицо, которое едва ли кто заметил. За коленопреклоненным, с обращенными к небу полными слез глазами прелатом стоял на коленях Хуан. По жесткому лицу его тихо катились слезы: в этом общем семейном горе старый испанец чувствовал себя еще более чужим и одиноким.

В это время с берега воротились на корабль Винблад и Мейдер с двумя матросами и сказали, что могила готова. Афанасию решились похоронить вопреки общепринятому моряками обычаю — в открытом море, далеко от земли, опускать умерших в ту стихию, во владениях которой умерший покончил свое земное странствие; жаль было такое прекрасное тело, все усыпанное цветами, зашивать в мешок и бросать в море. Для Афанасии вырыли могилу на острове, на живописном возвышении. Этим печальным делом распоряжались Винблад и Мейдер.

Теперь они приехали сказать, что все готово для принятия тела покойной.

Началось трогательное, раздирающее душу прощание. Все плакали. Хрущов долго-долго глядел в прекрасное лицо

усопшей, как бы желая навеки сохранить в памяти милый образ. Потом он поцеловал ее холодную руку.

Один Бениовский не плакал.

Матросы раньше высадились на берег и построились в две линии. Когда гроб, весь покрытый цветами, вынесли из шлюпки на берег и несли между рядами матросов, они, в знак печали, преклонили ружья. С галиота медленно раздавались пушечные выстрелы — последнее печальное приветствие усопшей.

Когда принесшие гроб — Бениовский, Батурин, Степанов и Хрущов — заглянули в глубину могилы, они увидели, что дно последнего упокоения бедной девочки на четверть усыпано цветами. Гроб скоро был опущен в могилу под благословение тихо плакавшего прелата. Нянюшка порывалась было броситься за гробом туда же, но ее удержали.

Патер первый бросил на гроб горсть земли, но вслед за землей туда посыпались цветы и наполнили могилу до половины. Затем уже все бросили землю.

Насыпь над могилой сделана была очень высокая, и матросы обложили ее дерном.

На огромном кресте, сделанном матросами из толстого пальмового ствола, было написано:

«Здесь покоится тело дочери бывшего воеводы Большерецкого острога и начальника Камчатки Григория Нилова — девицы Афанасии, скончавшейся у берегов острова Мадера 6 сентября 1771 года, на 16-ом году жизни.

Прими с миром ее чистую душу, Господи!»

Вероятно, теперь ни от этого креста, ни от самой могилы Афанасии не осталось и следа.

XXVI. ПИСЬМО ХРУЩОВА К СЕСТРЕ

Франция. Порт-Луи. 20 мая 1772.

«Милая, дорогая, незабвенная Наташечка! В последнем письме я уже описал тебе наши похождения и бедствия, начиная от Камчатки и вплоть до отплытия с острова Мадера, где мы похоронили бедненькую Афанасию. Ах, Ната, — что это было за существо! Истинно что-то неземное, не от мира сего, идеальное. Она и покинула эту горькую юдоль плача, чистый прах ее покоится в прелестном краю, в виду безбрежного океана, под сенью высоких пальм.

Да что говорить об этом! Только сердце растравлять, а оно и без того у меня все изболелось: живого, кажется, местечка не осталось.

Там же, на Мадере, мы расстались с Степановым. Он давно подозревал нашего молодца, пана Бениовского, в неискренности и эгоизме, но со времени болезни бедненькой Фанни, когда жестокость и бессердечность этого человека проявились еще более, когда он не хотел утешить бедную девочку хотя бы теплым, задушевным словом, между тем как она, кажется, только им и дышала, — Степанов окончательно отшатнулся от него, и смерть нашей общей любимицы порвала последние узы, еще привязывавшие его к нашему галиоту и к его начальнику. В виду Мадеры Степанов распростился с галиотом и пересел на один греческий корабль, который направлялся в Мессину, а оттуда в Таганрог с грузом лимонов, апельсинов и с винами с острова Мадера.

От Мадеры мы направились к западным берегам Испании, чтоб добраться до Франции. Хотя нам мог бы предстоять и более близкий путь во Францию через Гибралтарский пролив, но мы опасались, как бы нас там не захватили в плен, если б узнали, кто мы такие. Франция же втайне помогает польским конфедератам в войне с Россиею, а потому Бениовский и рассчитывал, что во Франции нас примут дружественно.

В океане, у западных берегов Испании, мы потеряли еще одного товарища из нашей небольшой семьи беглецов. Старик Батурин давно уже начал чувствовать ослабление сил. Да и неудивительно! — в такие лета, после двадцатилетнего томления в Шлиссельбургском каземате, в одиночном заключении, — и такое, почти кругосветное плавание, с морскими бурями и тревогами! А бедняк все надеялся увидеть Россию, хотя на денек, на два — и там уж умереть. Так нет, не суждено ему было дожить до этого утешения. Ах, друг мой, Ната! Ты не знаешь, что значит тоска по родине, когда она для тебя потеряна навсегда и ты не имеешь права воротиться к родным, с детства знакомым полям!

Да, я заговорил тебе о нашем бедном Батурине. Как трогательны были последние дни его жизни. Уже после печальных похорон бедненькой Афанасии он начал чувствовать, что жизнь его угасает, и еще мучительнее проснулась в нем жажда увидеть родную страну. Когда он был еще в силах бродить и сидеть, то постоянно, бывало, видишь его седую как лунь голову на палубе. Знойный южный ветерок, бывало, играет его длинными седыми космами, а он сидит на палубе, и взор его, все более и более потухающий, постоянно обращен на север. И дни, и ночи так сидел он. По ночам, бывало, одна вахта сменяет другую под знакомый звон вахтенного колокола, а он сидит без движения, и седая голова, как компас, все

гнется к северу, глаза его все ищут Полярную звезду. Иногда подсядешь к нему из участия, думаешь развлечь, а он все свое: вон там наша Россия, вот эти звездочки и там видны — и Полярная звезда, что, бывало, светила над Шлиссельбургскою крепостью, — ах, то было счастливое время, когда я там сидел, то была молодость, здоровье, родина — милый север! И при поворотах корабля, голова его все гнулась на север. Во время штиля, бывало, когда матросам мало работы, он, бывало, просит их петь про «лучинушку» — и они поют. А уж самая любимая для него песня была — «Сторона ль моя, сторонушка, сторона ль моя незнакомая!» Эту особенно хорошо запевал Уфтюжанинов, попович, о котором я писал тебе в первом письме. И нередко я видел, как под эту песню слезы выкатывались из глаз старика и разбивались о черные, просмоленные доски палубы, точно крупные жемчужины. Особенно же тяжело и трогательно было видеть старика, когда он окончательно сознал, что у него не хватит сил дождаться возврата в Россию, что умереть ему придется в море. Он сам выбрал для своего мешка-савана холст, выбрал старое негодное ядро, которое должно было быть привязанным к его ногам, и клал этот саван и ядро у своего изголовья, не раз повторяя мне в старческой заботливости: «Вот, дружок мой, последний мой походный мундир, а это (ядро) мой кавалерственный орден: когда я умру, ты сам зашей меня в этот мундир и орден прицепи к ногам мне, да не вели снимать с меня старых моих сапог — может, на подошвах их осталось хоть несколько крупинок родной землицы, хоть бы даже камчатской, из Большерецка».

Так-то, Наточка, он сам напутствовал себя к смерти. Недолго, впрочем, и ждать пришлось. На широте Кадикса, во время мертвого штиля, мы и опустили его в море со всеми воинскими почестями. А через несколько дней пришли в устье Гвадалквивира, а там, в гавани Сан-Лукар де Баррамеда, высадили на берег своего Хуана, который, при всей его видимой черствости, радостно припал к родной земле и целовал ее с горячими слезами. Ведь, шутка сказать, мой друг: не спаси мы его, пришлось бы ему тогда, когда горел их корабль «Саламандра» (вот насмешка судьбы! — несгораемая Саламандра — она-то и погибла в пламени!), — пришлось бы ему под тропиками измерить глубину океана.

Здесь уже, в Порт-Луи, мы лишились еще одного товарища по изгнанию. Это — Гурченинов, тот, о котором я писал тебе прежде, что у него язык был вырезан. Этот хворал недолго. Да он и старше всех нас был. Вообрази, дорогая —

ему вырезали язык еще в 1742 году, а уж он и тогда был не молод, — и вот он находился в ссылке до 1771 года — почти тридцать лет. При исполнении нашего замысла в Большерецке, Гурченинов нам очень помог своим безъязычием: показывал казакам и матросам на пенек торчавшего во рту языка и полумычанием объяснял, как с ним жестоко поступили в Петербурге, он этим привлек народ на нашу сторону. Даже дикари на Мадагаскаре приходили в ужас, когда видели старого, седого человека с вырезанным языком, хотя сами охотно едят людей и очень лакомы до человеческих языков и мозгов. Так этот Гурченинов, милая Ната, перед смертью, в горячечном бреду, все жаловался (мы могли, хотя с трудом, разбирать его невнятные слова — полумычание какое-то), так он все жаловался на то, что у него язык вырезали, что без языка на том свете ему нечем будет пожаловаться Господу Богу на своих палачей. Слушать это, Ната, было ужасно, — и нам стало легче, когда он отдал душу Богу.

Теперь, как видишь, мы во Франции, в Порт-Луи. Что будет с нами дальше — никто этого не знает, даже сам Бениовский, я думаю. Носится он с какими-то великими планами и уверяет нас, что мы скоро будем и богаты, и славны, и свободны. Всю зиму он рыскал то в Париже, то в Лондоне. В Париже представлялся королю и высшим сановникам, а в Лондоне имел свидание с Франклином. Бесспорно, он затевает что-то большое — очень ловкий интриган! Его именем наполнены теперь все газеты. В русских газетах ты, конечно, читала о наших похождениях в Большерецке — о «Большерецком бунте», как его называют, и о смерти Нилова, и о взятии галиота «Святой Петр», и о нашем бегстве морем. Но в здешних газетах событию этому приданы грандиозные размеры. Повествуют о том, как мы взяли приступом Большерецк — чуть ли не первоклассную крепость, как дрались с правительственными войсками и убили самого воеводу. Потом рассказываются наши похождения среди океана, сначала на Курильских островах, в Японии, на Формозе, в Макао, в Китае и, наконец, на Мадагаскаре. Конечно, все это пишется со слов самого же Бениовского, он на это мастер, — и его прославляют как героя, чуть ли не великого человека. Зато и бедной России достается от здешних газет — и варварская-то она страна, и вся-то Сибирь ее заселена ссыльными (да оно, впрочем, и правда). Хотя я и сам из числа этих ссыльных, хотя и не могу похвалиться, чтобы святая Русь баловала меня, однако, когда видишь, что другие ее бранят и унижают, — досадно и больно становится.

Ах, Ната, Ната! Что-то будет, что-то ждет меня впереди? Такая тоска по милой родине, что хоть в петлю — так в пору! Если так будет продолжаться, то я, кажется, явлюсь домой с повинною — что будет, то и будет! А если опять сошлют в Большерецк? Если на всю жизнь засадят в крепость, в одиночку? Ужасно!

Ах, хоть бы скорей приезжал Бениовский!

А что-то теперь у нас, в милой Хрущовке? Я думаю — весна в полном разгаре: наш сад уже отцвел, в роще неугомонно кричат грачи, у тебя под окном свищет иволга, кукушка сулит тебе неисчислимые годы жизни, под пение соловьев ты засыпаешь и просыпаешься, в старой ветле, в дупле, снова потатуйка кладет яйца и однообразно постукивает от утра до вечера. Что отец и старая няня?

Не смею сказать тебе до свидания. Ах, Ната, Ната! —

Твой Pierre».

XXVII. ТАИНСТВЕННАЯ ПРИНЦЕССА

В конце мая 1772 года Бениовский наконец возвратился в Порт-Луи.

Это был уже совсем другой Бениовский. И прежде в его характере, в поведении, в самой наружности проглядывало что-то самоуверенное, подчас доходившее до высокомерия и заносчивости. Теперь к этому прибавилось что-то властное, какая-то спокойная уверенность в своих силах, в своем призвании. Это было спокойствие фанатика.

Он приехал из Парижа как какой-нибудь сановник, в богатом экипаже и, по-видимому, с туго набитым кошельком. В тот же день он заплатил все долги по отелю, в котором проживали камчатские беглецы.

Вечером, сидя на балконе отеля, выходившем прямо на гавань, в которой среди других кораблей и морских судов стоял на якоре и галиот «Святой Петр», Бениовский заговорил определеннее о своих планах.

— Теперь, господа, я могу окончательно поздравить вас с предстоящим походом, — сказал он своим товарищам.

— С каким походом, барон? — спросил Хрущов.

— С морским, — неопределенно отвечал Бениовский. — Его величество назначает меня начальником эскадры, отправляемой в военную экспедицию.

И Хрущов, и Винблад, и Мейдер посмотрели на него с недоумением.

— Куда и зачем? — спросил Винблад.

— В Индийский и Тихий океаны, — неопределенно отвечал конфедерат.

— Опять туда!.. назад! — невольно воскликнул Хрущов.

— Не назад, а вперед, — было ответом.

— Кто же нас посылает? — спросил Хрущов.

— Я сказал: его величество, король французов.

— А разве мы его подданные? — удивился Мейдер, до того времени молча куривший сигару.

— А чьи же мы? — озадачил его Бениовский.

— Как чьи, барон! Мы присягали императору Павлу Петровичу.

— А! — небрежно махнул в воздухе рукою Бениовский. — То были школьные проказы, а теперь начинается дело.

— Но мы ничего не понимаем! — с видимым неудовольствием возразил Винблад. — В последнее время пан стал держать себя как-то странно: хранил от нас какую-то тайну.

— То и была тайна, пане Винблад, — спокойно отвечал Бениовский.

— От нас-то, барон? — удивился Хрущов.

— Даже от себя самого, не только от вас, — был ответ.

— Почему же?.. Какая это тайна?

— Тайна политическая, господа, государственная, но теперь я могу смело открыть мои карты — мои козыри — конечно, только перед вами, друзья мои... Надеюсь, здесь никто не услышит нас, я хочу сказать — никто не поймет русского языка.

— Конечно, кому же нас подслушивать?

Бениовский медленно вынул сигару, не торопясь закурил ее, оглянулся кругом и начал:

— Вы знаете, господа, что с тех пор, как мы во Франции, я не сидел сложа руки. Я был неоднократно и в Париже, и в Лондоне. Я исследовал политическую почву и нашел, что здесь, во Франции, она прочнее, чем в Англии: там она довольно зыбка — я это понял из намеков Франклина, с которым имел продолжительные беседы. В Англии начинается серьезный разлад с ее американскими колониями, и Франклин, кажется, прав, говоря, что старая Англия должна будет проститься с Америкой. Другое дело тут, во Франции. Пользуясь замешательством гордого Альбиона, французы охотно готовы подставить ему ножку и уязвить его в Ахиллесову пятку — в колониях дальнего Востока. Этой стрелой, которая должна поразить пятку Ахиллеса, буду я, то есть — мы, друзья мои.

— Как же это, барон? — с прежним недоумением спросил Хрущов.

— Это сложная история, — задумчиво глядя на дым своей сигары, продолжал Бениовский, как бы не слыша вопроса Хрущова. — Вы знаете, что Франция тайно помогает конфедератам в войне с Россиею. Храбрый генерал Дюмурье — это было то копье, которое Франция бросила в войска Екатерины II. Копье сделало свое дело, но не довело его до конца. Теперь мы тайно будем готовить этот конец. Россию ввязали в войну с Турцией — это поляки навязали России одно ядро на одну ногу. Мы привяжем ей другое — на другую. В Париже я нашел моих соотечественников — князя Казимира Радзивилла, милейшего «panie kochanku». Вы знаете, что это едва ли не богатейший вельможа во всей Европе. В Париже я нашел и княгиню Сангушко, очень влиятельную особу при французском дворе, наконец — граф Огинский, наш посланник при том же дворе. Я им открыл мои планы. Они довели их до сведения его величества, короля Людовика XV, — и его величество пожелал меня лично видеть. Я представился, доложил ему мой план — и вот в нашем распоряжении целая французская эскадра: на днях она прибудет в Порт-Луи.

— Но в чем же заключается план пана? — с прежним нетерпением спросил Винблад. — Мы ничего не знаем.

— Сейчас — пусть пан не волнуется, — спокойно отвечал Бениовский. — Я все изложу перед вами, господа. Мы давно не были в России и потому не знали, что там делается. А здесь все знают, и это все делает исполнение моих планов возможным. Трон императрицы всероссийской начинает колебаться. Подозревают, что император Петр Третий, которого десять лет считали умершим, жив, и тень его начинает появляться то там, то там. Первый раз он явился в Черногории, и черногорцы признали в нем Третьего Петра. Хотя его и называют каким-то Стефаном Пикколо — Степаном Малым, но это не помешало ему разбивать турецкие армии и флоты Венецианской республики и навести такой страх на русскую императрицу, что она отправила в Черногорию посольство с князем Юрием Долгоруким во главе, с целью обличить мнимого Петра Третьего, однако черногорцы так приняли это посольство, что Долгорукий едва спасся бегством. Теперь эта тень господствует почти над всем Балканским полуостровом, народы которого видят в таинственной личности Пикколо всеславянского императора. Я сам читал об этом в здешних газетах. Потом в Воронеже явилась другая тень с

именем того же Петра Третьего, и хотя этого претендента на русский трон, говорят, схватили, однако он вскоре появился в третьем месте — в Царицыне, и его руку приняло и волжское, и донское войско. Может быть, это и самозванцы, но, согласитесь, господа, что дыму не бывает без огня, и этот дым, видимо, стелется над Россией и над южным славянством и очень ест глаза российской императрице.

— Но я не понимаю, барон, какое отношение все это имеет к нашему делу? — заметил Хрущов.

— Очень, очень большое отношение! — отвечал с живостью Бениовский. — Но выслушайте меня дальше. Одним словом, в русском царстве что-то неладно. Теперь обстоятельства слагаются так, что мы, недавно бывшие арестантами у Нилова и у русской царицы, скоро будем — как вам сказать? — господами в России, то есть — я, барон Бениовский, вы, господин Хрущов, и вы, пан Винблад, и вы, наконец, господин Мейдер, мы скоро будем распорядителями российского трона.

— Что-то странное приходится нам слушать, — пожал плечами Хрущов. — Не польские ли это мечтания? Вы, поляки, очень увлекающаяся нация!

— Нет, не польские мечтания! — горячо возразил Бениовский. — Выслушайте меня до конца. Я сказал — и не я, а Франклин, что Англии теперь приходится думать о своей шкуре. России — тоже. Мы с французской эскадрою и десантом выходим в море. У нас два пути, даже три: один — через Средиземное море и Дарданеллы, в союзе с турецким флотом — парализовать ноги России; Черным и Азовским морями достигнуть устьев Дона и вместе с донскими и волжскими казаками — к нам присоединятся и яицкие, которые давно оказались непокорными русскому правительству, — вместе с казаками идти на Русь и сажать на российский престол того, кто будет нашим союзником, вернее, нашим слугою, хотя бы это был Стефан Пикколо. Второй путь — Атлантическим, Индийским и Тихим океанами достигнуть восточных окраин России — Камчатки, Сибири, и уже оттуда предписывать условия Петербургу через Париж и Варшаву... Понятно?

— Понятно, — грустно отвечал Хрущов, — но это не более как блестящая фантазия.

В это время под балконом отеля простучали колеса громоздкого экипажа и у подъезда остановилась богатая карета, на золотом гербе которой ярко вырисовывался профиль двуглавого орла. Сидевший на козлах рядом с кучером лакей в богатой ливрее соскочил с козел, почтительно подошел к окну

кареты и вытянулся в струнку. Каретное окно опустилось, и оттуда выглянуло необыкновенно миловидное женское личико, отдавая какие-то приказания лакею.

Через минуту ливрейный франт стоял в почтительной позе в дверях, ведущих на балкон, где сидели Бениовский, Хрущов, Винблад и Мейдер.

— Monsieur le baron Beniowsky?

— Я, — отвечал конфедерат.

— Son altesse serenissime, madame la princesse Elisabethe de Wolodimir, просит господина барона на пару слов.

— Сейчас, — доложите ее высочеству.

Бениовский заторопился и, не простившись с своими товарищами, моментально сбежал к стоявшей у подъезда карете. Дверка кареты отворилась, оттуда снова выглянуло то же миловидное женское личико, озаренное улыбкой, и показало рукой на переднее сиденье.

Бениовский с глубоким поклоном вошел в карету, и громоздкий экипаж помчался вдоль набережной.

Как громом пораженные, остались на балконе Хрущов, Винблад и Мейдер.

— Ее высочество... serenissime?

— Принцесса Елизавета?.. Это что такое?..

XXVIII. «ВЕЛИКИЙ ПЛАН»

Поздно вечером воротился Бениовский. Его таинственная поездка с какою-то принцессою Елизаветою, которую величают «ее высочеством», «son altesse serenissime», и притом принцессою Владимирскою, — привела всех в недоумение. Сюрприз на сюрпризе! То сношения с Франклином, великим гражданином Англии, то аудиенции у короля Людовика XV, то поход во главе целой французской эскадры в Индийский и Тихий океаны для завоевания английских колоний — и вдруг какая-то принцесса Елизавета Владимирская, да еще и «ее высочество»! Это — нечто из «Тысячи и одной ночи», особенно если принять во внимание похождения наших молодцев в Камчатке, в Японии, на острове Формоза, на Мадагаскаре...

Что же будет еще дальше? Зачем эта княжна Елизавета с царственным титулом? Кто она, откуда? И какое отношение может она иметь к Бениовскому, а Бениовский к ней?

Хрущов, Мейдер и Винблад, сидя в комнате отеля, в Порт-Луи, тихо разговаривали о превратностях своей скитальческой жизни, когда к ним вошел Бениовский. Он казался

возбужденным более обыкновенного. Стальной взгляд его искрился холодным огнем. Что всех поразило в нем, кроме этого холодного огня его глаз, — это блеск на груди какого-то креста, какого они на нем никогда не видели. Это был какой-то неведомый для них орден. Откуда он? Что за орден?

— Господа! — сказал вошедший торжественно. — Наше дело принимает грандиозные размеры: скоро, очень скоро лицо Европы будет изменено, и на ландкартах, которые появятся в школах через несколько лет, ученики будут поражены новыми границами государств и не будут знать, где начало и конец России, где начало и конец Польши.

Те, к кому относились эти слова, слушали оратора молча, с видимым недоверием. Они давно знали его склонность к преувеличениям и необузданность его фантазии. Он был скорее поэт политических иллюзий, чем трезвый политик, и скорее пылкий энтузиаст, чем холодный фанатик.

Хрущов даже улыбнулся. «Настоящий поляк! — подумал он. — В самом умном из них сидит ребенок».

— Что же случилось в эти несколько часов, пока мы вас не видели, барон? — спросил Хрущов.

— Случилось нечто необычайное, невероятное, и вы все это сейчас узнаете, — отвечал энтузиаст.

— А что означает этот орден на груди у пана? — спросил Винблад.

— И это скоро узнает пан Адольф, — был ответ.

Бениовский сел в удобное кресло и закурил сигару.

— Я вам не успел сообщить, господа, — начал он, — что в Париже я был представлен графом Огинским, послом Королевства польского и Княжества литовского, ее высочеству — добавлю: императорскому высочеству, — законной и прямой наследнице всероссийского престола.

— Как! — изумился Хрущов. — Великой княгине Марии Феодоровне, супруге великого князя Павла Петровича, которого мы так торжественно возвели в Большерецке на всероссийский престол? — добавил он с горькой иронией.

— О нет! — небрежно отвечал Бениовский. — Мария Феодоровна — только супруга того, кого считают наследником престола по императрице Екатерине II, но меня представили настоящей, поймите — настоящей, законной наследнице, у которой императрица Екатерина случайно — как бы деликатнее выразиться? — ошибкой утащила трон из-под сиденья, и так же ошибкой ее шляпку, называемую короной, надела на свою голову.

Слушатели, видимо, не могли взять в толк того, что говорил им, играя словами, неисправимый фантазер. Какая «чужая корона»? У кого утащили из-под сиденья трон?

Хрущов только пожал плечами.

— Кто ж она такая? — спросил Мейдер.

— Вы ее видели, — загадочно отвечал Бениовский.

— Когда? Где?

— Здесь, часа три тому назад.

— Эта красавица, что подъезжала к нашему отелю в карете с двуглавым орлом в гербе? Так это она?

— Да, вы имели счастье видеть наследницу российского престола, родную внучку Петра Великого.

— Внучку Петра Великого? От кого же?

— От императрицы Елизаветы Петровны.

— Как! — вмешался Винблад. — Да ведь Елизавета Петровна не была даже замужем!

— Это ничего не значит, — заметил было Бениовский, но его прервал Хрущов.

— Нет, не говорите этого, — сказал он серьезно, — императрица Елизавета Петровна была замужем за графом Разумовским и от него имела дочь, принцессу Августу, но где она и жива ли — это едва ли кому известно.

— Она здравствует, — торжественно сказал Бениовский, — и вы ее сами видели сегодня.

— Но где доказательства, что это именно принцесса Августа, а не самозванка? — возразил Хрущов.

— О, доказательств много, — отвечал Бениовский, — вот одно из них.

Он встал, подошел к письменному столу, отпер его ключиком, висевшим у него на цепочке часов, и вынул оттуда небольшую шкатулку, только что привезенную им из Парижа. Посредством какого-то секретного механизма он открыл шкатулку и вынул из нее пакет из голубого бархата. В пакете оказалось письмо.

— Читайте, — сказал он, поднося письмо к Хрущову, — читайте адрес.

Хрущов прочел: «A son altesse imperiale serenissime, madame la princesse Elisabethe des Toutes les Russies».

— Понимаете? Всероссийской...

— Понимаю. Что ж из этого? Кому это адресовано и кто пишет? — настаивал Хрущов.

Бениовский вскрыл письмо — оно не было запечатано. На бланке письма оказался герб князей Радзивиллов. Под гербом — текст письма, писанного тоже по-французски.

И Мейдер, и Винблад подошли и с любопытством стали рассматривать письмо.

Хрущов читал вслух (по-французски):

— «Я смотрю на предприятие вашего высочества, как на чудо Провидения, которое бдит над нашею несчастною страной. Оно послало ей на помощь вас, такую великую героиню. Его величество, король французов, вполне уверен, что ваше высочество со славою выполните ваш великий план».

— Подпись князя Радзивилла, — пояснил Бениовский.

Изумление было общее. Даже Хрущов смотрел таким смущенным.

— Откуда же это письмо? — спросил он.

— Князь Радзивилл лично вручил мне его для доставления ее высочеству, государыне цесаревне, — был ответ.

— Это принцессе Елизавете?

— Именно ей — цесаревне.

— А где же девалась принцесса Августа?

— Она и есть принцесса Августа, — улыбнулся Бениовский.

— Странно! — пожал плечами Фома неверующий — Хрущов.

— Ничего нет странного, — продолжал улыбаться Бениовский, — она же есть и la sultane Aline — ее величество султанша Алина, Али-Эмете, и madame la princesse-d'Azow — принцесса Азовская.

— Час от часу не легче! — воскликнул Хрущов.

— Зачем же столько имен и титулов? — спросил Мейдер.

— Это все инкогнито ее высочества, — пояснил Бениовский.

— Чудеса в решете! — не унимался неверующий Фома.

— Чудеса, — согласился и Бениовский, — только еще не все. Видите вот этот крест у меня на груди? — он указал на орден, блестевший, как звездочка.

— Это еще что такое? Откуда? — спрашивали все.

— Это крест Азиатского ордена, — был ответ.

Бениовский достал из бокового кармана своего камзола небольшой пергаментный сверток и показал своим товарищам. Это была грамота на «орден Азиатского креста», пожалованный барону Морицу Иосифу Анадару Бениовскому.

— «La croix de l'ordre asiatique, fondé par notre majesté, la sultane Aline», — прочел Винблад.

— За что же она его пожаловала? — спросил Хрущов, терявший голову в этой путанице.

— За предстоящую мне миссию — водружение креста среди народов Азии и Африки, — был ответ.

— Но почему она называется также и принцессою Владимирскою? — не унимался Хрущов.

— Это тоже ее инкогнито, — отвечал Бениовский, — мало того, ее называют в России княжной Таракановой.

— Почему же Таракановой?

— Просто — по московской глупости, по деревянности языка московитов, — улыбнулся Бениовский. — Как вам известно, — продолжал он серьезно, — ее высочество родилась от графа Разумовского, в семействе которого она и воспитывалась с детства. Воспитательницей ее была некая госпожа Дараган — известная в России фамилия. Чтобы скрыть истинное происхождение маленькой принцессы, ее выдавали за дочку этой самой госпожи Дараган. Ваши же милые московиты, — обратился он опять с улыбкой к Хрущову, — имеют дурное обыкновение коверкать иностранные слова и имена: так, известная английская фамилия Гамильтон на русской службе переделалась в фамилию Хомутовых — оно, знаете, понятнее, роднее — от хомута. По этой московской привычке и госпожу Дараган превратили в Тараканову — все же приятнее для московского слуха: таракан — любимое домашнее животное московитов.

Винблад и Мейдер засмеялись, а Хрущов только насупился.

— О каком это великом предприятии пишет ей Радзивилл? — спросил он, немного помолчав. — Оно известно вам?

— Известно, потому что я, ваш покорнейший слуга, — творец этого великого плана, — отвечал Бениовский с легким поклоном.

— Это не тайна для нас?

— Для вас, мои друзья, не тайна, потому что я надеюсь иметь в вас лучших сподвижников в приведении этого плана в исполнение. Труднейшее нами уже сделано без всякой посторонней помощи: кто из Камчатки, из острога, завоевал Францию и Польшу — я говорю иносказательно — тот с такими союзниками, как Франция и Польша, завоюет полмира. И мы это сделаем, друзья мои.

Хотя Хрущов на этот раз ничего не сказал, но Бениовский у него в глазах прочел недоверие и нахмурился.

— Вы не одобряете, кажется, моего плана, Петр Алексеевич? — обратился он к молчавшему Хрущову, и в голосе его прозвучала нота задетого самолюбия.

— Я не могу ни одобрить, ни не одобрить его, потому что не знаю вашего плана, — был ответ.

— Хорошо же, — сказал Бениовский, — я сообщу его вам вкратце. Вон он: Франция высылает вспомогательный корпус в Польшу для подкрепления конфедератов, ее императорское высочество вместе с князем Радзивиллом отправляется в Константинополь для заключения союза с блистательною Портою против той особы, которая похитила ее трон...

— Это против императрицы Екатерины Второй? — перебил его Хрущов.

— Да, именно — против той особы, которая запрятала нас в Большерецкий острог.

— Ну, и что ж дальше?

— Из Константинополя цесаревна Елизавета отправляется с манифестом к русской армии, которая теперь в Турции, и предъявит свои права на всероссийский престол.

— Предъявить-то можно — отчего не предъявить? — Да только...

Бениовский вскочил как ужаленный. Недокуренная сигара его покатилась на пол к ногам Хрущова.

— И вы думаете, что надо быть пророком, — вскричал он, — чтобы предсказать, за кого станет русская армия — за внучку ли Петра Великого или...

Он не договорил и нагнулся за своей сигарой.

— А мы-то тут при чем же? — спросил Хрущов, вставая.

— Мы с французской эскадрой пересекаем океаны и являемся в Камчатке.

— Опять? Это зачем же? В острог снова попасть? Да для этого не надо пересекать океаны: стоит только явиться на первый русский пограничный форпост — и мы в остроге, — с каким-то раздражением выговорил Хрущов.

После смерти Афанасии, которую он втайне любил и которая сама погибла оттого, что любила Бениовского и не перенесла выпавших на ее долю страшных испытаний, Хрущов в душе проклинал, как он думал, убийцу бедной Фани.

В это время кто-то постучал в дверь.

— Войдите! — откликнулся Бениовский.

Вошел Уфтюжанинов. Он казался сильно взволнованным.

— А, это ты, Уфтюжанинов. Что тебе? — спросил Бениовский.

— У нас, господин капитан, на галиоте неладно, — отвечал Уфтюжанинов.

— Что такое?

— Экипаж бунтует, господин капитан!

XXIX. БУНТ

На галиоте действительно было неладно.

Матросы, соскучившись бесконечной стоянкой в Порт-Луи, давно втайне роптали на своего командира. В Камчатке, во время низвержения и убийства воеводы Нилова и когда готовились отплыть в океан, им сулили золотые горы, вместо того, им предстояли только скитания по неведомым морям и океанам, а иногда и голодание. Это бы еще ничего — на то они и шли в море: назвался грибом — полезай в кузов. Но за этим кузовом им мерещилась вдали родная сторона, покой, довольство и великие милости от начальства. И вдруг оказывается, что родной стороной их только поманили.

Недаром пройдоха Чулошников, бывший компанейский приказчик купца Холодилова, бросивший своего хозяина и Камчатку тоже ради этих сулимых впереди золотых гор, недаром этот жох намекал, что не видать им России, как своих ушей, что «польский пан» заведет их туда, куда ворон и костей не заносит. А тут еще стали поговаривать, что им придется опять ломать присягу и целовать крест французскому королю, — это уж последнее дело.

Попович Уфтюжанинов, наиболее всех оставшийся преданным своему учителю и полубогу, Бениовскому, недаром замечал, что Чулошников все чаще и чаще стал шептаться со старой Пахомовной, нянею безвременно погибшей Афанасии. После смерти своей любимицы, старуха иначе не думала о Бениовском как об «аспиде», о Змее-горыныче, высосавшем всю кровь из сердца ее золотой барышни, и только и помышляла о возврате в Россию, чтоб там поступить в монастырь и до конца жизни молиться о «чистой душеньке» своего херувимчика. Казалось бы, что до России уже только рукой подать, ведь целый год мыкались по морям и океанам, были и в таких морях, где в полдень солнышко ходит не по полуденной стороне, а по полуночной, и месяц встает и садится не там, где бы ему следовало, как у людей. И вдруг Чулошников намекает, что придется, поди, опять плыть туда, где солнышко из океана выходит.

Чулошников и задумал вот что: подговорив недовольных матросов и воспользовавшись темною ночью и попутным ветром, тайно от Бениовского и прочих офицеров сняться с якоря и плыть прямо в Россию с повинными головами.

Но замыслы Чулошникова не могли укрыться от зорких глаз поповича, притом же глуповатый увалень Потолов нечаянно проболтался, что и без зеленой грамоты они-де найдут себе место.

Однако известие, принесенное Уфтюжаниновым, не очень взволновало Бениовского. Что ему ничтожная горсть его экипажа, когда в его распоряжении скоро будет целая эскадра, хорошо вооруженная и с самыми опытными французскими матросами! Недовольных москалей он просто вышвырнет за борт галиота — оставит их в Порт-Луи: пусть идут, куда хотят.

Явившись тотчас на галиот вместе с своими офицерами, Бениовский прошел прямо в свою каюту и приказал всему экипажу собраться на палубе.

Через несколько минут он вышел к матросам. Ночь была тихая, летняя. Полная луна, освещая встревоженные и угрюмые лица матросов, бросала фантастические тени на палубу и на море. Откуда-то доносился глухой, невнятный говор рупора. Бениовский остановился так, что загорелое лицо его заливал лунный свет, а висевший на груди его крест таинственного Азиатского ордена искрился холодным огнем.

— Здравствуйте, ребята! — сказал он глухо.

— Здравия желаем, — послышалось несколько голосов.

Это были голоса Уфтюжанинова, Андреянова и Потолова. Другие упорно молчали, потупив глаза.

— На днях мы должны снаряжаться в дальнюю экспедицию, — продолжал Бениовский, возвысив голос. — Его величество, всемилостивейший Людовик XV, король французов, отдает под мою команду сильную и хорошо вооруженную эскадру. Нас ожидают славные подвиги.

Он остановился.

— Рады стараться! — выкрикнул Уфтюжанинов.

За ним то же повторили Андреянов и Потолов. Прочие матросы молчали.

Чулошников, стоявший фланговым, ближе к мачте, заметно вздрогнул. Из-за мачты, освещенное луной, глядело на него бледное лицо старухи. Седые волосы ее выбились из-под головного платка и светились фосфорическим блеском. Она делала Чулошникову какие-то знаки.

— Ваше благородие! — вдруг заговорил Чулошников глухим голосом, точно ему давили горло. — А куда мы пойдем отселе?

Бениовский повернулся прямо к нему и гордо поднял голову.

— Как куда? Куда я укажу!

Бледное лицо старухи опять выглянуло из-за мачты.

— Ваше благородие! — еще глуше заговорил Чулошников. — Когда мы в Камчатке чинили то действо над воеводою и прочими, вы нам говорили, что мы морем-океяном дойдем

до Питера, а теперича вы хотите опять вести нас неведомо куда. Воля ваша, мы не согласны.

— Кто мы? — спокойно спросил Бениовский.

— Мы все, ваше благородие, — отвечал Чулошников.

— Все мы! Все! — повторили другие матросы.

Бледное лицо старухи, выглянувшее из-за мачты, озарилось радостной улыбкой. Хрущов, стоявший недалеко от Бениовского, потупил глаза.

Бениовский поднял голову еще выше и сделал шаг к Уфтюжанинову.

— И ты, мой Брут! — воскликнул он театрально.

— Я не Брут, мой Цезарь! — отвечал попович, выступая вперед. — Если бы какой злодей направил удар на моего Цезаря, я бы тот удар принял на свою грудь или поразил бы злодея!

— Спасибо, мой юный герой! — с чувством произнес Бениовский. — Так ты от меня не отречешься?

— Никогда, мой Цезарь!

— И я за ним, ваше благородие! — выступил вперед Андреянов.

— Спасибо!

— И я, ваше благородие! — брякнул Потолов.

Между матросами послышался сдержанный смех.

— Хорошо, ребята, — завтра же я вас отпущу на все четыре стороны, — произнес Бениовский. — Спасибо за прежнюю службу!

— Рады стараться, ваше благородие! — весело вскричала команда.

Далекий рупор, казалось, вторил этому веселому отклику.

Когда Бениовский, Хрущов, Винблад и Мейдер возвращались в свой отель, с галиота слышалась дружная заунывная мелодия, и голос Чулошникова особенно явственно выводил знакомые грустные слова:

Сторона ль моя, сторонушка,
Сторона ль моя незнакомая!

XXX. ВТОРОЕ ПИСЬМО ХРУЩОВА К СЕСТРЕ

Франция. Порт-Луи.
12 июня 1772.

«Кому повем печаль мою? Кого призову с рыданием!»

Тебе, моя дорогая Наташа, все поведаю! Тебя, моя незабвенная, призову с рыданием.

Кажется, моя участь должна скоро решиться: решает ее судьба неизбежная.

Бениовский, наконец, воротился из Парижа. Если он не преувеличивает и не самообольщается, перед ним открывается широкая дорога для великих подвигов, для славы, величия, но которая может привести его и к трагическому концу.

Король Людовик XV отдает в его распоряжение целую эскадру для завоевания колоний в Индийском и Тихом океанах. Цель этих экспедиций — ослабить колониальные силы Англии и усилить в колониях владычество Франции.

Кроме того, здесь творится что-то необычайное. Появилась какая-то таинственная личность, которую называют дочерью покойной императрицы Елизаветы Петровны и которая будто бы намерена возвратить себе всероссийский трон, похищенный якобы у нее Екатериною II.

О Наташа! Ты знаешь — за это имя и меня взводили на плаху, это имя и меня послало в камчатские тундры. Благодаря этому имени я мыкаюсь теперь по белу свету. Это имя отняло у меня мою родину, мою первую и последнюю любовь...

И я бы пошел за таинственной личностью, но я ожидаю, что она навлечет на Россию страшные бедствия. Она вступает в союз с Польшею и Турциею и ведет на Россию три державы.

Ну, да что об этом, дорогая Наточка! Я не о политике хочу говорить с тобою. Меня грызет мысль о том, что мне делать с собою, куда нести свою горемычную голову? Я все потерял, все — и родину, и родных, и все, что любил. Я, подобно тому «Марку проклятому», что толокся по пеклу с мертвою головою своей жертвы в торбе за плечами, — так я толкусь по белу свету со своею торбою, только в этой торбе моя собственная загубленная голова и моя безысходная тоска. Куда деваться с этою ношею? Говорят — тоску рассеять можно. Рассеять! Точно это зерна. Да, именно зерна — зерна злого, ядовитого семени. Раз это проклятое семя завелось в душе, оно отравит всю жизнь. Помнишь, когда ты была еще маленькой девочкой, но уже понимавшей меня твоим чутким сердчишком, а я уже был поручиком лейб-гвардии Измайловского полка и уже носился с своею проклятою торбою за плечами, как носится дурень с писаною торбою, ты нередко, бывало, спрашивала меня: «Петя! Ты что задумал?» А я задумал такое, что довело меня до плахи, а потом занесло в камчатские тундры, мыкало по океанам, под солнцем тропиков и экватора, и еще будет мыкать, как

щепку в море. Бедная Фаня! Еще когда она была жива, мир не казался мне пустынею: она заменяла мне весь мир. Странное, непостижимое это чувство — любовь. Это такая святыня, такое сокровище человеческой души, что, кто обрящет это сокровище — мир весь обрящет, всю вселенную вместит в своем сердце. Когда мы носились по неведомым океанам, когда полуденное солнце бросало мою тень не на север, как это всегда у нас бывает, а к югу, когда над головой моей носились неведомые птицы, а по ночам горели надо мной никогда не виданные созвездия, и когда я был так далеко от родной земли, что даже мыслью в нее перенестись было страшно, я не спрашивал себя — где я и попаду ли опять в край родной? — я только одно знал, что Фаня близко — и вся вселенная была со мною.

А теперь? Теперь одно осталось у меня: увидеть родные места, где протекло мое золотое детство, увидеть и обнять тебя. Но как пробраться туда, чтобы не очутиться в еще горшей неволе? Ведь в ссылке я совершил вторичное, еще более тяжкое преступление. За это меня ожидает, бесспорно, смертная казнь. Одно для меня спасение — восшествие на престол наследника цесаревича. Ведь его именем мы произвели переворот в Камчатке, от его имени сносились с мадагаскарским царем Радамою и приобрели в нем союзника России. Не моя вина, если Бениовский будет теперь действовать именем Франции и в пользу Людовика XV, а не Павла Петровича: я пребываю верноподданным последнего. Мне одно остается — пробраться в Россию и, скрываясь где-либо у вас под крылышком, ожидать всемилостивейшего манифеста. Бениовского я оставляю: после смерти бедной Фани — он ее убийца — я не могу дышать с ним одним воздухом. Да и все наши, кажется, покидают его — Мейдер, Винблад, Чулошников, даже старая няня нашей дорогой покойницы, незабвенной Фани. С ним останется только попович Уфтюжанинов, слепая жертва увлечения, да матросы Андреянов и Потолов, последний — по глупости: он все ждет какой-то «зеленой грамоты». К удивлению, с Андреяновым остается и его жена, добродушная Анна. У нее свои аргументы: «кто ж ево, сердечново (это мужа-то), обшивать, обмывать будет на чужой стороне?» И для нее, вероятно, в ее «сердечном» вмещается вся вселенная. Каждому свое — suum cuique...

А что наши березки, которые мы посадили с тобой перед отправлением моим в полк? Выросли, не погибли, и которая из них переросла — твоя или моя?

Если будешь писать мне, Натуся, и высылать деньги, то адресуй так: France. Port-Louis. Hotel de marins. A m-r Adolphe Vinblad.

Обнимаю тебя горячо, горячо. — Твой старый дружище Петя».

XXXI. ТЕНЬ БАНКО

В гавани Порт-Луи обращает на себя всеобщее внимание великолепный фрегат дальнего плавания «Tonnerre», вооруженный орудиями солидного размера и превосходно оснащенный. Над ним, тихо вздымаемый легким утренним ветерком, полощется в воздухе французский флаг. На палубе видны французские матросы.

Войдем в кают-компанию. Это довольно просторная комната вся из красного дерева, узорно отороченного блестящею бронзой. Посередине длинный стол, окаймленный обитыми бархатом сиденьями с подвижными спинками. Над столом, во всю его длину, спускается с потолка гигантский цветной веер, который качается при малейшем движении фрегата и навевает прохладу на сидящих за столом. На столе разложены морские ландкарты и бумаги.

За столом, на капитанском месте, сидит Бениовский. На нем мундир французского контр-адмирала, а на груди — орден Азиатского креста. По бокам его сидят Винблад и Мейдер. Хрущов — у противоположного конца стола. За ним на табурете, у стенки, Уфтюжанинов, тоже в мундире французского моряка. У дверей кают-компании стоят на часах Андреянов и Потолов. Они тоже в одежде французских матросов.

— Его величество, — говорит Бениовский, водя указательным пальцем по разложенной на столе ландкарте, — разделяя мое мнение, полагает, что нам удобнее и выгоднее будет занять Мадагаскар. Это одна из самых важных станций по пути к восточным владениям европейских государств. Мадагаскар должен сделаться базисом наших действий на Дальнем Востоке. Мы этим подсекаем крылья англичанам на мысе Доброй Надежды. Когда в Шербурге будет готова моя эскадра, мы тотчас выйдем в море.

Он глянул на Хрущова, который, казалось, не слушал его. Зато глаза Потолова упорно следили за указательным пальцем Бениовского, словно бы из-под него должна была выскочить таинственная «зеленая грамота», которою чудак доселе бредил.

— Мои планы близки к исполнению, — продолжал Бениовский, которого Уфтюжанинов, казалось, пожирал глазами. — Горе московской державе! У меня с нею личные счеты, и я сведу их скоро, очень скоро! Она третировала меня не как свободного воина, взятого в плен с оружием в руках, а как своего изменника, как вора! Я ей не изменял, я честно сражался за свою отчизну, и она скоро услышит мой голос и голос моих орудий, которыми я буду громить Россию на Дальнем Востоке, где томятся по острогам мои и ваши братья.

— Но, барон, — с горькою иронией заметил Хрущов, — у России тоже громок голос и голоса российских орудий тоже очень громки. Не довелось бы нам здесь, в Порт-Луи, услышать, как широки горла у русских пушек.

Бениовский презрительно улыбнулся.

— Не бойтесь, — возразил он Хрущову, — не услышим: Москва охрипла и ее орудия грипп схватили, промочив ноги на Дунае. Понимаете?

— Извините, барон, я не понимаю ваших иносказаний.

— Это не иносказания, а горькая правда: знаете, что Русь теперь слаба, вся расшатана.

— Почему же именно теперь? — спросил Хрущов.

— А потому, что Россию рвут на части и турецкие, и польские, и даже русские зубы.

— Ну, — небрежно заметил Хрущов, — она эти зубы разом всем повыбьет солдатскими прикладами.

— Не говорите этого, мой друг, — снисходительно улыбнулся Бениовский, — я вижу, что вы ничего не знаете и, по-видимому, не читаете газет.

— Я им не верю, барон.

— Напрасно. Войска Мустафы уже переходят Балканы — идут в гости к москалям.

— Милости просим, москали их сумеют угостить.

— Сухарями?

— Да — чугунными.

— Ну, это еще вопрос, а что турецкий флот уже пенит волны Черного моря — это уже не вопрос.

— Какой это флот? — спросил Хрущов с улыбкой. — Уж не тот ли самый, что граф Алексей Орлов спалил при Чесме, как стог сухой соломы?

— Нет, не тот, а другой; русский же флот, который мог бы с ним потягаться, занимается в Адриатическом море ловлею одной птицы очень высокого полета.

— Это что за птица? Я не понимаю, любезный барон, ваших аллегорий, — хладнокровно заметил Хрущов.

— Что за птица? — с улыбкой спросил Бениовский. — Птицу эту называют Петром Третьим.

Хрущов пожал плечами.

— Французские и польские сказки! — улыбнулся и Хрущов. — Холодную, мертвую руку императора Петра Феодоровича я сам целовал ровно десять лет тому назад.

— Вы могли ее целовать, мой милый, — возразил Бениовский, — но та рука, которая держит теперь Черногорию, не холодна и не мертва, и ее-то напрасно силятся схватить и граф Алексей Орлов, и князь Долгоруков.

Хрущов понял наконец в чем дело.

— О, вы говорите о том проходимце, которого черногорцы называют Степаном Малым, а итальянцы — Стефаном Пикколо!.. Я читал об нем, он России не страшен, — говорит Хрущов.

— Не страшен? А зачем же ваша императрица держит около Черногории весь свой флот, когда он ей нужнее в Черном море? Ясно, что она больше опасается маленького Степана, чем большого турецкого флота. Да наконец, недаром на Руси такие волнения: тот император, которого мертвую руку вы целовали, встал, кажется, из могилы и как тень Банко появляется то тут, то там. Вам, кажется, не известно, что, кроме Черногории, тень вашего Банко недавно явилась в Царицыне. Вы этого не знали?

— Не знал, — удивленно отвечал Хрущов.

— И не знаете, вероятно, что другая тень Банко явилась в Воронеже?

— Тоже не знаю, — пожал плечами Хрущов. — Что же это за тени?

— Царицынского Банко называют самозванцем Богомоловым... Нет сомнения, что и принцессу Елизавету назовут самозванкой.

— Может быть — и, может быть, не ошибутся.

При этих словах Бениовский выпрямился, глаза его сверкнули холодной сталью. Но он сдержал себя.

— Но, однако, — сказал он спокойно, — почему-нибудь да появляются тени Банко, без огня дыму не бывает. Отчего разом встают эти тени и в Черногории, и в каком-то глухом городишке Царицыне? Кто они? Уж одно появление этих теней что-нибудь да значит. Кто поручится, что не явится еще более грозная тень?

Хрущов молчал. Слова Бениовского разбередили его рану, которую он чувствовал в своем сердце. Тени Банко почему-то напомнили ему иную, милую тень: он сегодня видел ее во сне, но не как тень, а милую, добрую, ласковую, с

ласковым детским взглядом. Он видел во сне ту маленькую Фаню, которую полюбил еще в Камчатке, когда ей было четырнадцать лет. И в душе его шевельнулось теперь едкое чувство укора этому человеку с холодным взглядом, человеку, который так скоро забыл ее в чаду честолюбивого опьянения.

Винблад и Мейдер тоже молчали.

— Так вас не прельщает перспектива будущих славных подвигов моей эскадры? — снова обратился Бениовский к Хрущову после непродолжительного молчания.

— А против кого будут эти подвиги, барон? — спросил последний.

— Против той страны, которая лишила и вас, и меня свободы, которая надругалась над моими священными правами — правами военнопленного, которая посягает на еще более священные вольности моей отчизны и на неприкосновенность ее границ! — торжественно произнес конфедерат, как по писаному.

— Против России! — воскликнул Хрущов. — Это я-то? Поднять руку на свою родину! Нет, я скорее отрублю эту руку по самое плечо.

— Но ведь на родине вас ждет плаха!

— Я знаю.

— Что же вы намерены предпринять?

— Не знаю. Может быть — утоплюсь... Тогда позвольте броситься в море с вашего прекрасного фрегата.

Тогда Бениовский обратился к Винбладу.

— А пан Адольф? — спросил он. — Вы также меня покидаете?

— Да, — отвечал пан Адольф, — прежде для вас я родину покинул, теперь — для родины я вас покидаю. Наши пути расходятся.

— А вы? — обратился, наконец, Бениовский к Мейдеру. — И вы тоже?

— И я, барон, — отвечал последний.

— Но ведь вы немец, а не русский.

— Нет, барон, я русский. Россия сама признала меня своим сыном. Кому же, как не матери моей, знать — сын я ей или нет. И я ей верю.

Бениовский встал и прошелся по кают-компании. Потолов следил за ним глазами, точно он был его арестант, и если его спустить с глаз, то он унесет «зелену грамоту».

Скоро Бениовский остановился. Он был, видимо, взволнован, и когда начал говорить, приняв позу оратора, голос его слегка дрожал.

— Два года, — произнес он взволнованно, — нас с вами судьба носила по всем концам земного шара. Бурно прошли эти два года. От снегов камчатских, через седые волны океанов Индийского и Тихого, через волны бесчисленных морей планеты нашей, через тропики и через экватор знойный — кто вас провел сюда, вот в эту гавань? Как Моисей водил народ избранный в пустынях аравийских, так и я водил вас по лицу земного шара. Но не привел пророк ветхозаветный своих людей к земле обетованной, — то было суждено другим исполнить, а я провел вас по пустыням моря к земле обетованной: та земля — свобода! Так зачем пророка своего вы покидаете, чтоб во Египет вас продали и под ярмо неволи вложили ваши шеи?

Немного помолчав, он продолжал:

— Ну так знайте: весь шар земной наполнит громкой славой знакомое вам имя! Имя то — Мориц Анадар, барон Бениовский! Но блеск той славы не падет на вас, как отблеск солнца от воды зеркальной, вы не разделите со мной той славы, как разделяли вы со мной изгнание, камчатский холод, африканский зной и голод бесконечных переездов по океанам бесконечным. Прощайте ж! Я вас не увижу больше, вы же услышите мое имя...

Он замолчал. По щекам Уфтюжанинова катились крупные слезы.

XXXII. РАКОВИНА ЯДВИГИ

Прошло тринадцать лет. Мы опять на Мадагаскаре.

Кто бы узнал в этом уже немолодом мужчине с сильною проседью на висках и в длинной косматой бороде — Уфтюжанинова, который тринадцать лет назад в Порт-Луи, в кают-компании фрегата «Tonnerre», слушая восторженную речь Бениовского, плакал от умиления юношескими слезами? А между тем это был он, попович из Камчатки, большерецкого попа сын, на Мадагаскаре. Те же живые, как бы несколько раскосоватые глаза, тот же несколько якутский, сибирский широкий нос, те же выдающиеся скулы, те же длинные руки с длинными, тонкими, как у женщины, пальцами. Только на худом, сумрачном лице его лежит несмываемый загар тропического солнца.

Уфтюжанинов сидит на пологом береговом уступе и задумчиво глядит на синюю безбрежную равнину расстилающегося перед ним океана. Склоняющееся за островом к закату

солнце бросает длинные тени от зонтикообразных пальм и широколистых бананов.

На голове Уфтюжанинова белый войлочный индийский шлем, с обмотанною вокруг него белою чадрою. Белая парусинная куртка и такие же панталоны, убранные в высокие сапоги. У ног его ружье и ягдташ.

Он закрывает лицо руками и как будто плачет.

Нет, глаза сухи. Руки его как-то судорожно сжались на коленях.

— Ах, какая тоска грызет меня сегодня!

Он говорит вслух, точно бредит.

— Да, тяжело, ах как тяжело бывает порой думать, что уже нет выхода из этой жизни, из этого заколдованного края! О моя родина, мое далекое, пасмурное небо! Не видать уж мне тебя никогда, никогда! Вырос я на тундрах моей пасмурной милой Камчатки, под суровым небом, среди белых снежных сугробов. Какое было мое детство? Тюрьмой, ссылкой, печалью веяло вокруг меня с колыбели. А мне посулили жаркое небо юга, дивную зелень бананов, красоту гордых пальм. Вот они, — он оглянулся на окружающую его роскошную растительность. А где мои родные березы? Где мои тундры? О как далеко ты, моя грустная родина. Я почти ребенком ушел *за ним* — столько обаяния было в *его* словах. И он был прав: я видел то, что не всякому суждено видеть в жизни. А все тоска гложет меня — в тридцать с небольшим лет доглодала меня, как в песне поется, «до седова, бела волоса». Что же тянет меня от этой роскоши, от этого дивного юга, из этого эдема земного — к холодному, бедному северу? Или мать там плачет моя, вечерней порой вспоминая о без вести пропавшем сыне? Или бедный старик отец с тоской и плачем поминает меня на ектинии, когда молится о страждущих, плененных и о спасении их и, быть может, рыдает горько, когда вынимает из просфоры частицу за упокой моей души?

Он горько качает головой, прислушиваясь к жалобному крику чаек.

— О чем же тосковать? О прошлом? Да, о прошлом. А что было мое прошлое? Жалкий попович в большерецком остроге — и вся жизнь в остроге, среди тундр, снегов и ссыльных. А здесь я приближенный короля, его любимец, царедворец... Фу, какая высота! Беглый попович — царедворец... Да, царедворец у такого же беглого царя, как и сам... Попович из Камчатки — царедворец! Отряды диких гавасов под моим начальством: попович из большерецкого острога —

военачальник диких орд! Король Мадагаскара меня ласкает, лелеет, а я тоскую: там, в жалкой Камчатке, к старушке попадье хотелось бы приласкаться, у нее на груди выплакать бы горькие слезы царедворца, да старого попа проведать — сказать ему: «Батюшка! Не вынимай из просфоры частицу за упокой души твоего бедного сына, лучше молись, чтоб тоска не грызла могучего царедворца — не тянуло бы его на далекий север».

Вдруг он оглянулся. Ему послышался шорох за зеленью ближайших бананов и показалось, как будто бы кто там плакал. Он взял ружье и поднялся на ноги.

— Кто там? — окликнул он по-гавасски. За тринадцать лет он хорошо изучил язык гавасов.

Ответа не последовало, но шорох опять повторился.

— Я спрашиваю, кто там?

Опять нет ответа. Он двинулся к зелени, держа ружье наготове, и с изумлением отступил назад.

— Это вы, панна Ядвига! — воскликнул он по-русски.

Из-за зелени показалась женская голова под широкой соломенной шляпой с голубыми лентами. Почти детское личико казалось заплаканным. Заплаканными глядели и большие серые с длинным разрезом, как у египтянки, глаза.

— Панна Ядвига, что вы здесь делаете? — еще более изумился Уфтюжанинов, заметив заплаканное личико и глаза той, которую он назвал панною Ядвигою.

Девушка не отвечала, только закрыла лицо руками. Плечи ее вздрагивали и сквозь тонкие, длинные пальцы проступали слезы.

— Панна Ядвига, вы плачете?

Девушка еще пуще расплакалась.

— Боже мой! Что с вами? Невеста короля — плачет! Разве вы испугались чего-нибудь?

— Нет, — едва слышно прошептала плачущая девушка.

— Что же с вами? О чем?

Слезы полились сквозь тонкие пальцы неудержимым потоком.

Уфтюжанинов растерялся. Он не знал, что и подумать. Ему стало страшно.

— Да ради Бога! Что же с вами? Разве что случилось во дворце?

— Нет... ничего, — всхлипывала плачущая.

— Что же такое? Говорите, ради Господа!

— Вы... вы сами... — и опять слезы.

— Да что же, дорогая панна? Я-то тут при чем?

— Вы... вы плакали... я видела... Мне...

Рыдание еще сильней! И наконец девушка, как это делают расплакавшиеся дети, с плачем выкрикнула:

— Мне... мне жаль вас!

Уфтюжанинов был поражен и не сразу нашелся, что сказать.

— Меня жаль? Почему же?

— Вы плакали, — продолжала девушка, — я видела. Я давно видела, что вы тоскуете, но о чем — я не знала. Я не смела спросить вас. Но сегодня я нечаянно... Я собирала вон там раковины на берегу моря,

— Я не плакал, дорогая панна Ядвига.

— Нет, плакали — я видела... Мне жаль вас стало... Вы тоскуете по вашей Камчатке — я давно это видела, только не знала, а теперь знаю...

Она опять заплакала.

— Ради Бога! Перестаньте! — Уфтюжанинов бережно отнимал ее руки от лица.

— Я буду просить Морица, — продолжала девушка плакать.

— О чем, дорогая панна?

— Отпустить вас в Камчатку... Там ваша мама, я слышала... Я буду просить Морица... И у меня нет мамы — она умерла в Киеве...

Она продолжала плакать и говорить совершенно по-детски:

— Буду просить Морица, он для меня все сделает, он меня любит...

— Но я не хочу в Камчатку, я не покину Мадагаскара, — заговорил Уфтюжанинов.

Девушка отняла руки от лица и разом просветлела.

— Да? Вы не покинете Мадагаскара? — заговорила она быстро. — Не оставите нас одних? Мориц вас так любит. И я... Мне так жаль вас.

— Благодарю вас, дорогая панна. Вы так добры, я не стою ваших слез.

— Да уж они высохли, — наивно сказала девушка, вынимая из кармана очень причудливую раковину. — Посмотрите, какая прелесть.

— Да, точно звезда. Зачем вам она?

— Я Морицу подарю ее.

Уфтюжанинов невольно улыбнулся, с любовью глядя на прелестную девочку.

— Вы чему улыбаетесь? — спросила она.

— Да вот тому, что вы его величеству, королю Мадагаскара, хотите подарить раковину.

— Почему же? Что тут смешного?

— Да ведь его величество не ребенок, чтоб забавляться раковинами.

— А я разве ребенок? — надула губки панна Ядвига.

— Конечно, ребенок.

— Ну уж! Мне шестнадцатый год.

— Да — лета почтенные.

Девушка невольно рассмеялась, сверкнув мелкими и белыми, как у мышки, зубами.

— Так вы не уедете в Камчатку? — спросила она серьезно.

— Нет, нет! Я надеюсь быть шафером на вашей свадьбе.

— Ах да — пожалуйста! Я вас прошу, — весело заговорила будущая королева.

— А когда свадьба? — спросил Уфтюжанинов.

— На будущей неделе, когда будет готово подвенечное платье: Мориц так торопит со свадьбой.

— А вы очень любите вашего жениха? — любуясь наивностью этого ребенка, спросил Уфтюжанинов.

— Ах, очень, очень люблю! Когда он говорит со мной, я заслушиваюсь его, а когда ласкает, я, кажется, готова умереть от счастья.

«Совсем ребенок, — невольно думалось Уфтюжанинову, — а ведь нашему королю под шестьдесят. Бедная девочка еще ничего не понимает».

Невдалеке из-за берегового уступа показались два путника. Судя по одежде, это были не туземцы; последние, впрочем, и не показывались вблизи помещений, занимаемых Бениовским и его приближенными, помещений, отличавшихся от туземных мазанковых хижин европейскою архитектурою: туземцы питали суеверный страх к этому месту, будучи уверены, что оно заколдовано, и этот суеверный страх европейцы с умыслом в них поддерживали.

— Вон кто-то идет сюда, — сказал Уфтюжанинов. — Вам пора бы во дворец, а то ваша статс-дама побранит вас за то, что вы ходите одна, без фрейлин.

— Так до свидания, мой шафер! — весело сказала девушка и побежала домой.

Уфтюжанинов грустно проводил ее глазами.

— Какое милое, прелестное дитя! Плакала обо мне — меня жаль... Чудное дитя! И совсем почти не полька — в Киеве воспитывалась.

XXXIII. РОКОВОЕ ИЗВЕСТИЕ

В путниках Уфтюжанинов узнал своих земляков. То были неразлучные Андреянов и Потолов, которых Бениовский называл двумя Аяксами.

Они оба тоже очень постарели, в особенности Андреяновь, хотя Потолов оставался все тем же идеалистом. Он продолжал верить в существование таинственной «зеленой грамоты», от которой должно последовать для него всякое благополучие. Он твердо был убежден, что все они воротятся «домой, назад — в Россию». Все, что он ни видел, он считал временным, не стоящим особенного внимания. С туземцами благодаря своей покладистости он сошелся скоро и теперь уже бойко болтал по-гавасски. Он даже женился на молоденькой гаваске, и хотя она была черна, как голенище, однако он любил ее и любил повторять старой Анне, жене Андреянова, что «хоша у его Акульки рожа овечья, да душа человечья». Он ее выкрестил, с благословения католического миссионера, отца Жозефа, научил креститься «как след» и даже преподал ей некоторое духовное образование: научил ее единственной молитве, которую сам знал в совершенстве, именно: «Отче наш, иже еси и на небеси». С одним он только не мог помириться на Мадагаскаре, именно с тем, что солнце там ходит не так, «как след», да скучал еще о русском квасе, удивляясь, как это гавасы при такой жарище могут жить без холодного квасу. А что родичи его жены, да и сама «Акулька», при случае не прочь поесть человечинки, так он и на это смотрел с философской точки зрения: «таков у них закон».

Оба приятеля, Андреянов и Потолов, одеты были в парусинные капральские блузы, а головы их прикрывались от тропического солнца тростниковыми белыми шляпами.

Приближаясь к Уфтюжанинову, они отдали ему честь по-военному.

— Здравствуйте, здравствуйте, земляки, — дружески приветствовал их последний.

— Здравия желаем, ваше превосходительство! — был дружный ответ.

— Откуда Бог несет?

— С учения, ваше превосходительство! Голых солдат воинским артикулам обучали — новичков.

— Что ж, хорошо идет дело?

— Дело ладится, ваше превосходительство. Хоша армия и голенькая у нас, и босая, а копьем метать мастера — и ружей не нужно, — отвечал Андреянов.

— Только, ваше превосходительство, правой ноги от левой отличить не умеют, — пояснил Потолов.

— Ничего, это ведь новобранцы, попривыкнут, — заметил Уфтюжанинов.

— Да и старые, ваше превосходительство, ошибаются на марше: нет-нет да и выкинет не ту ногу.

— А иной раз, ваше превосходительство, скомандуешь «налево кругом», так лбами либо затылками стукаются дружка об дружку. А на копьях собаку съели.

Уфтюжанинов переменил разговор. О том, что дикие туземцы во фронте постоянно путают правое плечо с левым, он уже слышал сотни и тысячи раз, да и сам давно присмотрелся к этому, когда в первые годы сам обучал гавасов строиться в ряды и маршировать.

— А что твоя Акулина? — с улыбкой спросил он Потолова.

— Покорнейше благодарствуем, ваше превосходительство! — осклабился последний. — Ничего себе бабенка.

— А что ж ты не похвастаешься перед их превосходительством семейною радостью? — коварно покосился на него Андреянов.

— Какою же это семейною радостью? — спросил Уфтюжанинов.

Потолов замялся.

— Говори же, братец.

— Да что, ваше превосходительство, — смущенно произнес Потолов, — моя Акулька привела мне такого черного дьяволенка, что страх.

— Что ж! Весь в родителя, — подтрунивал Андреянов.

— И отлично! — засмеялся Уфтюжанинов. — Хороший капрал будет.

Андреянов вдруг сделался серьезен. Он, видимо, хотел что-то сообщить «генералу», да не знал как — и переминался. Уфтюжанинов заметил это.

— Ты хочешь что-нибудь сказать мне, Андреянов? — спросил он.

— Точно так, ваше превосходительство! — отвечал тот.

— Что же? Говори, коли дело.

— Да вот, эфиопы наши неладное болтают.

— Что же именно?

— Да бытта, ваше превосходительство, француз гадит: онамедни, сказывают, французский фрегат пристал в тому берегу с десантом и с тамошним ихним царьком, что тады наша

сторона ему в зашей наклала, бытта снюхался, и хотят бытта на нас войной иттить. Такое эфиопы болтают, ваше превосходительство, — а они врать не станут.

— Боятся, что побьют и поедят их и жен ихних, и детей, давно, сказывают, человечины не жрали — наголодались, — пояснил Потолов.

Вести эти были не из шуточных. Гавасы всегда были хорошие лазутчики, и так как разные племена их, предводительствуемые разными царьками, постоянно враждовали между собою, то и следили друг за другом очень усердно. Вести были правдоподобны, тем более что, когда Бениовский с помощью французской эскадры завоевал часть Мадагаскара, оттеснив короля Радаму с несколькими преданными ему племенами гавасов на другую сторону острова, и когда впоследствии ловкий конфедерат, прослыв между покоренными им дикарями за сверхъестественное существо, которое изгоняло из больных злого духа (Бениовский удачно лечил гавасов от лихорадок и других болезней, обусловливаемых климатом и самой жизнью дикарей), — провозгласил себя верховным судьей и королем Мадагаскара, — генерал Пуавр, губернатор Иль-де-Франса, завидуя славе Бениовского, возбудил против него французского короля Людовика XVI, как против изменника, отложившегося от Франции и самовольно возложившего на себя корону Мадагаскара.

— А как велик десант, не слыхали? — спросил Уфтюжанинов после некоторого раздумья.

— Не слышно, ваше превосходительство, а постараемся разведать через наших лазутчиков, — отвечал Андреянов.

— Да сказывают, — добавил Потолов, — бытта ихнему королю Радаме штаны привезли красные, а он их надеть не умеет — все без порток и доселева ходит: только и слава одежи — фартучишко махонький, а што мы ему в те поры подарили одежи — всю износил.

Но Уфтюжанинов его не слушал. Он обратился к Андреянову.

— Сегодня же в ночь разослать везде лазутчиков, да самых опытных и осторожных.

— Слушаю, ваше превосходительство.

— Да чтоб разведали, как велик десант, есть ли на фрегате легкие полевые орудия и не присланы ли для войска Радамы ружья и боевые припасы, — приказывал Уфтюжанинов.

Андреянов отвечал, что все будет исполнено в точности.

Отдав приказания, Уфтюжанинов поспешил во дворец.

XXXIV. ОРДЕН АЗИАТСКОГО КРЕСТА

Здание, которое называлось дворцом мадагаскарского короля Морица I, состояло из каменных и частью глинобитных невысоких построек в один этаж, с узкими окнами, задрапированными от солнца тростниковыми циновками. Крыши построек были плоские, как вообще на Востоке и в жарких странах. На иных постройках крыши были в виде удлиненных куполов, напоминавших огромные муравейники или жилища феллахов, зулусов и гавасов. Стройные пальмы, сикоморы, тамаринды и бананы, а также гигантские арумы осеняли эти очень скромные для королевского дворца здания и придавали им живописный вид.

Дворец был обнесен каменною оградою, на которой в нескольких местах чернели дула пушек. У ворот, ведущих в ограду, стояли часовые из туземцев, с ружьями, и тут же на земле сидели несколько гавасов с копьями. Это был дворцовый караул.

Король находился в своих покоях. Войдем туда.

Довольно просторная комната с белыми стенами, на которых развешано было оружие, устланная циновками и освещенная длинными прорезями в стенах и в потолке, составляла кабинет короля. Меблирован кабинет был по-европейски и довольно роскошно для страны людоедов: письменный стол, канделябры, бронза на столе, несколько кресел, качалка, две оттоманки — все это как-то не гармонировало с видом голых, босоногих часовых, оберегавших королевский дворец.

У письменного стола сидит Бениовский — король Мадагаскара. Кто бы узнал Бениовского в этом седом как лунь старике! Но это он: та же гордая, спокойная посадка белой, как серебро, головы, тот же ясный, стальной взгляд почти немигающих глаз, тот же свежий голос, совсем молодой, когда он говорит. Только длинная белая борода да бронзовый загар лица почти без морщин обличают и долгие, долгие годы, пролетевшие над этой гордой, красивой головой, и долгую жизнь под тропическим солнцем, превратившим в бронзу белый цвет его нестареющего лица.

Бениовский сидит в пол-оборота и с улыбкой смотрит на стоящую перед ним в смущении панну Ядвигу. На столе лежит знакомая уже нам раковина.

— Очень, очень оригинальная раковина, — говорит он, продолжая улыбаться.

— Так она нравится вашему величеству? — с нескрываемой радостью спрашивает девушка.

— Очень нравится, милая Ядвися, — отвечает Бениовский.

— А Уфтюжанинов смеялся, — со смущением заметила Ядвига.

— Над чем, дорогая панна?

— Когда я показала ему раковину и сказала, что подарю ее вашему величеству, он засмеялся и сказал: «Неужели его величество такой ребенок, что его могут забавлять раковины?»

— Ах нет, милая Ядвися, — продолжал улыбаться Бениовский, любуясь смущением девушки, — Уфтюжанинов очень ошибается: эта раковина мне чрезвычайно нравится, и я благодарю тебя за этот милый подарок, — и Бениовский поцеловал у смущенной девушки руку.

— Я так рада, ваше величество... Я пойду скажу...

Она не договорила и, вся раскрасневшаяся, выбежала из кабинета.

— Какой очаровательный ребенок! — сказал Бениовский, смотря ей вслед и обратясь к сидевшему на оттоманке пожилому мужчине с длинными седыми усами.

— А я могу прибавить, ваше величество, что у моей Ядвиги прекрасное сердце, — сказал господин с седыми усами, почтительно кланяясь Бениовскому.

Это был отец панны Ядвиги, пан Стемпковский. Сильно скомпрометированный перед русским правительством после присоединения к России Белоруссии, где у него находилось имение, которое у него и было конфисковано, он дискредитировал себя чем-то (о чем он умалчивал) и при дворе короля Станислава Августа. Стемпковский, уже вдовец, с единственною дочерью, панною Ядвигою, эмигрировал во Францию. Там он узнал о подвигах Бениовского на Мадагаскаре и решился ехать на службу к мадагаскарскому королю, с которым он познакомился когда-то еще в рядах конфедератов. Хорошенькая пятнадцатилетняя Ядвига понравилась Бениовскому, и теперь пан Стемпковский надеялся породниться на днях с его величеством, королем Морицем I. Ядвига уже официально объявлена была невестою короля.

В кабинете находился еще один господин, сидевший в кресле по другую сторону стола. Это был мужчина средних лет, с небольшою черною бородкою, в золотых очках, загорелый не менее Бениовского. Англичанин родом и пу-

тешественник по призванию, он несколько лет пробыл в Америке, путешествовал по России, присутствовал в Москве при казни Пугачева, неоднократно бывал в Петербурге, затем путешествовал по Египту, был на мысе Доброй Надежды и, по пути в Индию и на Цейлон, высадился сегодня на Мадагаскаре, когда английский корабль, на котором он плыл в Индию, приставал к этому острову, чтобы запастись водой и топливом. Кроме английского языка, он знал несколько других европейских и порядочно говорил по-русски.

— Извините, мистер Кент, — обратился к нему Бениовский, когда хорошенькая Ядвига вышла из кабинета, — так вы говорите, что она кончила трагически?

— Да, сэр, так мне передавали в Петербурге, — отвечал тот, которого называли мистером Кентом.

— Когда же это было? — спросил Бениовский с участием.

— Да помнится, в 75-м году, ровно десять лет назад... Именно в 1775 году, я теперь вспомнил: в год казни Пугачева, — отвечал мистер Кент.

— Каким же образом она погибла?

— Говорят, что во время наводнения, когда сильно поднялась в Неве вода, она утонула в Алексеевском равелине, в Петропавловской крепости.

— Как?! В крепости! — невольно воскликнул Бениовский. — Но как она туда попала?

— Ее взяли обманом и выдали русскому правительству, — спокойно отвечал Кент.

— Бедная! Какое предательство! Кто же взял ее?

— Это дело графа Алексея Орлова.

Бениовский быстро встал и торопливыми шагами начал ходить по кабинету.

— Но этого не было, кажется, в газетах, — как бы про себя рассуждал он. — Бедная! Бедная! А что за красавица была! Я имел счастье знать ее лично. Это была обаятельная личность. А у злодея достало духу обмануть и погубить ее! Как же это могло случиться? — спросил он мистера Кента, остановившись посреди кабинета. — Ведь у нее были такие могущественные союзники — французские короли Людовик XV и Людовик XVI, наконец, князь Радзивилл.

— Но я уже имел честь докладывать вашему величеству, что ее взяли обманом, — невозмутимо заметил мистер Кент.

— Где ж ее взяли? — спросил Бениовский.

— В Ливорно, в Италии. Там стоял тогда русский флот, которым командовал граф Алексей Орлов, совершенно незаслуженно получивший титул Чесменского, — как бы в скобках пояснил мистер Кент. — Турецкий флот при Чесме сожжен был не графом Орловым, а нашими, английскими брандерами. Когда русский флот крейсировал в Адриатическом и Средиземном морях, юная претендентка осведомилась, будто бы графы Орловы впали в немилость при русском дворе, и потому она доверчиво обратилась к Алексею Орлову за советом, прося его опубликовать ее манифест во флоте. Орлов показал вид, что верит законности ее притязаний, если не на всю Россию, то на южную ее половину, вместе с Кавказом. Он притворился ее союзником, притом безумно в нее влюбленным. Она поверила его страсти, особенно когда он предложил ей руку и сердце.

— Фу! Какая низость! — не вытерпел Бениовский. — Ну и что же?

— Бедная жертва поверила ему и отдалась...

— Но как же он мог ее похитить? — спросил Бениовский.

— Он заманил ее на один из кораблей своего флота под тем предлогом, что в Ливорно нет русской церкви, а на корабле есть. Она и поверила.

— И там ее арестовали?

— Да. Но мало того: один грек, полковник де Рибас, находившийся при русском флоте, нарядившись в священнические ризы, проделал на корабле «Три Иерарха» обряд бракосочетания Орлова с доверчивой претенденткой.

— Это возмутительно! — воскликнул Бениовский, прослушав эту печальную историю. — И что же дальше?

— Дальше — известный конец в подобных случаях, — сказал Кент, глядя на потолок. — Ее привезли морем тайно в Петербург, засадили в Алексеевский равелин, а там она и утонула[1].

Бениовский молча открыл письменный стол и вынул оттуда небольшой футляр. Открыв его, он бережно вытащил оттуда красивый орден на зеленой ленте.

— Вот ее орден Азиатского креста, — сказал он, целуя красивую игрушку, — она лично возложила на меня этот орден.

---

[1] Теперь документально известно, что она умерла в крепости от чахотки. *Автор.*

Мистер Кент и пан Стемпковский подошли и стали с любопытством рассматривать геральдическую редкость.

— Very good, very good! — бормотал мистер Кент.

В кабинет вошел Уфтюжанинов.

XXXV. КОРОЛЬ ЛИР И ШУТ

При входе Уфтюжанинова, лицо которого выдавало озабоченность, пан Стемпковский и мистер Кент встали и откланялись.

Бениовский и Уфтюжанинов остались вдвоем.

— По лицу твоему вижу, что ты с серьезными вестями, — сказал первый.

— Вы угадали, ваше величество, вести действительно серьезные, — отвечал Уфтюжанинов.

— Что же такое? Что случилось?

— Сейчас, ваше величество, мне донесено, что к королю Радаме прислано вспомоществование.

— От кого? — спросил озабоченно Бениовский.

— Ваше величество, вероятно, сами изволите догадаться. Я полагаю...

— Понимаю! От кого ты узнал?

— Мне донес Андреянов, а он узнал от туземцев, от солдат вашего величества: их лазутчики уже проведали об этом.

— А в чем состоит вспомоществование?

— Пока мне известно, ваше величество, только то, что прибыл фрегат с десантом, а как велики силы десанта, его вооружение и другие подробности — мне неизвестно. Впрочем, я уже распорядился разослать везде опытнейших лазутчиков и наутро надеюсь доложить обо всем обстоятельнее.

— Благодарю, я полагаюсь на твою преданность и распорядительность.

Уфтюжанинов поклонился. Глаза его невольно упали на лежавшую на столе причудливую раковину. Ему разом вспомнилась недавняя сцена у берега океана, слезы Ядвиги, ее невинная болтовня, которая заронила в сердце поповича-генерала какие-то доселе им не испытанные, сладостные и тревожные ощущения. Ведь он в своей жизни еще не видал женщин. В Камчатке он был еще почти ребенок. Вся последующая затем жизнь его протекла в тревогах — то в скитаниях по океанам, то на одном диком острове. Здесь он не видал тоже женщин. Дикие обитательницы Мадага-

скара настолько же казались ему женщинами, насколько женщиной могла быть горилла. А этот прекрасный ребенок-девочка, которую он иногда видел, казалась ему существом идеальным, неземным, не от мира сего. И вдруг она заметила его, думала о нем, жалела, плакала так горько, так по-детски искренно и даже сказала, что...

Мечты его были прерваны голосом Бениовского.

— Опять война! — говорил он как бы сам с собою. — Опять боевая тревога. А я думал было, что нашел наконец свое счастье, которого не знал всю жизнь.

Он глянул на раковину. И Уфтюжанинов не спускал с нее глаз.

— Поздно, очень поздно улыбнулось мне мое личное счастье, «до седова волоса» оно не являлось мне — и вдруг...

И в сердце Уфтюжанинова шевелилась та же мысль — «до седова волоса», и он невольно продолжал глядеть на раковину, которая была свидетельницей ее слез об нем, ее...

— Да, — продолжал разговаривать сам с собою Бениовский (к этому приучает одиночество), — мой злейший враг опять нарушает мое спокойствие, хочет отнять то, что я только что нашел — мое личное счастье.

«Его счастье! — думалось в это время Уфтюжанинову. — А мое?»

Раковина, казалось, говорила ему: нет, твое, твое.

— Он не желал моей дружбы, моего союза, — говорил Бениовский, как будто бы около него никого не было, — он все добро, которое я сделал моему народу, хотел бы приписать себе. Ему мозолит глаза и сердце моя шапка — шапка, за которую иногда льются потоки крови... Вот она, моя шапка!

Он указал рукою на стол. Там под стеклянным колпаком блестела золотая корона, которая сделана была для него в Лондоне, в последнюю его поездку в Англию, когда он, видя коварство против себя генерала Пуавра, искал для Мадагаскара протектората гениального Франклина.

Уфтюжанинов тоже глянул на корону, а потом на раковину, и в душе его зашевелилась безумная мысль: он бы эту раковину, именно эту — предпочел короне!

И он почти не слушал, что говорил Бениовский.

— Пускай! — говорил он. — Тот камень, что в меня он хочет бросит, полетит обратно и угодит в его же завистливое сердце. Помнишь, — обратился он к Уфтюжанино-

ву, — когда французский король послал меня сюда во главе сильной эскадры, он, Пуавр, тогда же начал строить против меня ковы. Ему хотелось быть здесь самовластным, а я стал ему поперек дороги: не ему, а мне король приказал сделать Мадагаскар французской колонией. И я сделал это! Ты свидетель, что, когда я победил и оттеснил отсюда дикого и кровожадного деспота, короля Радаму, и весь отдался заботам о благосостоянии туземцев, лечил больных, кормил голодных, улаживал их племенные распри, мирил враждующие семьи, — они полюбили меня, уверовали чуть ли не в мою божественность и охотно признали над собою мою власть. Мои миссионеры учили их истинам христианской религии... И вот начало неутолимой зависти Пуавра и охлаждения ко мне моих покровителей, французов!

Уфтюжанинов не слышал его. Он давно все это знал. Его рука невольно потянулась к столу и он как бы машинально взял раковину. Она была для него теперь так дорога, как ничто в мире: она ее держала в своих руках, она — то дивное видение — и плакала, об нем плакала! Раковина казалась ему теперь чем-то живым, частицей ее души. Он вспомнил, что читал где-то, что так дороги, как ему эта раковина, для влюбленного письма его милой, ее почерк, след ее ноги.

— Ты, кажется, сам готов играть этой раковиной, а еще смеялся над невинною девочкой, — вдруг услышал он голос Бениовского.

Уфтюжанинов вздрогнул и почувствовал, что бледнеет.

«Значит, она все сказала ему», — как молния поразила его мысль.

— Нет, ваше величество, я вдумываюсь в ваши слова и в положение дел, — пробормотал он, как пойманный школьник, кладя на стол предательскую раковину.

Но Бениовский ничего не заметил.

— Да, положение дел такое, что следует в него вдуматься, — сказал Бениовский, медленно отчеканивая слова. — Ты знаешь мою жизнь, она для тебя не тайна. Настойчиво, неуклонно шел я к заветным целям, люди меня не могли понять... Пускай! Я их не виню. Наконец цели моей жизни осуществились, и сознание этого служит для меня глубоким утешением, хотя жизнь моя пройдена...

Глаза его нечаянно упали на раковину.

— Нет! Не пройдена еще! — вдруг резко перебил он сам себя. — Хотя мне есть на что оглянуться. Я не говорю о далеком прошлом, о Камчатке, о моей далекой отчизне.

Теперь моя отчизна здесь — и отчизна, и колыбель моего рода — будущих владык Мадагаскара. Я основал династию царства Морицидов. Меня вспомнят потомки. Я много сделал для моего народа. Кто провел оросительные каналы на этом диком острове? Кто устроил пути сообщения, водворил порядок, законность? Я — Мориц Иосиф Анадар, барон Бениовский, первый король Мадагаскара моей династии. Так вот что гложет всем завистливые сердца: я, Бениовский, жалкий пленник москалей, а потом беглый колодник — я владею царством Мадагаскарским! Беглый король! — вот что думают они. Они не подозревали, что на голове арестанта, хотя уже седой, блеснет королевская корона. Так знайте же: вот она!

Бениовский судорожно взял со стола корону и надел себе на голову.

— Вот она! Смотрите!

Уфтюжанинову казалось, что он видит перед собой сумасшедшего, и ему стало страшно.

— Вам не сорвать ее с моей головы, разве с головою вместе!

«Король Лир! Король Лир! — со страхом думалось Уфтюжанинову: таким он видел на сцене в Лондоне короля Лира. — Эти седые волосы, горящие глаза... А я — шут его... Да мы оба шуты... Арестант и попович из Камчатки — владыки Мадагаскара!»

— Немедленно отдать приказы по командам! — повелительно сказал король-арестант, не снимая короны с головы. — Чтоб все было готово к утру! Иди, распорядись!

— Слушаю, ваше величество, — покорно сказал Уфтюжанинов и вышел, бросив прощальный взгляд на магическую для него раковину.

XXXVI. СТРАШНАЯ НОЧЬ

Бениовский остался один. Наступила быстро тропическая ночь. В распахнутую драпировку дверей лилось ароматическое дыхание этой дивной ночи. Из-за драпировки неясно вырисовывался темный профиль часового, поставленного там Уфтюжаниновым, который почему-то опасался за своего короля.

В широкую прорезь потолка глядело созвездие Южного Креста. Бениовский увидел его и вспомнил ту ночь, когда они

пятнадцать лет назад, бедные беглецы, подплывали на своем камчатском галиоте к острову Формоза, где погиб Панов. Он вспомнил все: как живое, встало перед ним бледное личико Афанасии.

Тихо, неслышными шагами вошел слуга туземец, зажег канделябры на письменном столе и так же тихо, словно тень, не поворачиваясь к королю спиной, скрылся за внутренней драпировкой.

— Фанни, бедное дитя! Как далеко от своей холодной родины успокоилась ты вечным сном — вся в цветах, и сама, как чистая лилия.

Он помолчал, забыв про корону, которая при свете огней придавала ему вид чего-то фантастического, и продолжал тихо ходить по кабинету.

— Неужели я начинаю стариться, дряхлеть? Ужели и мозг мой, и тело, что так неустанно вели меня к заветным целям и никогда устали не знали, теперь начинают утомляться?

В глаза ему бросилась знакомая раковина. Он выпрямился во весь рост.

— Нет! Я не старею — нет, нет! Зачем же так часто воскресают теперь передо мною эти тени прошлого, картины, сцены, лица, в калейдоскопе которых слагалась вся жизнь моя? Ужели это старость? Ужели я начинаю прошлым жить — глядеть в обломки разбитого зеркала? Вон далекая родина моя — горы и темные леса, и звонкие ручьи Карпат. А там снега Сибири и тундры Камчатки холодной, и милый образ Фанни, и мертвое лицо Панова в виду роскошных берегов Формозы. А впереди что? Как туда заглянуть? Как проникнуть за эту дымку будущего? Там нет даже осколков разбитого зеркала. Там, за этой дымкой, виднеется, быть может, холм взрытой земли, а за этим холмом чернеется та удлиненная яма, откуда вынули тот зеленый холм. Нет! Нет! Лучше эта раковина!

Он берет раковину и задумывается — он уже не видит ее, он снова в прошлом.

— Да, — точно Лотова жена, я обращаюсь назад, оглядываюсь на пожираемый огнем Содом... О мой Содом, о молодость моя! В цельном зеркале я вижу родину мою, я вижу горы милые, вижу голубое небо севера, землю, по которой я бегал маленькими ногами, ходить учился. Вот хмурые Карпаты глядят мне в детское лицо, а дальше — Польша, знамена, пушки, огни Коломыи, а там — леса, огни костров, Пулавские, Огинский... Я слышу рокот барабанов, грохот пу-

шек, стоны раненых... А вот звуки русской песни — как щемит от этих звуков мое сердце!

Прислушивается. Слышится только равномерный прибой океана.

— Где я? Это Киев — я в плену... Далекий пасмурный Петербург с серым сводом неба, и мрачные казематы... А это что? Под белым саваном Сибири — великая могила мощных духом и несчастных, и тот саван стелется далеко, далеко, до самой Камчатки... И вот я там, в узкой, темной могиле, где и мертвому лежать тесно. Там все тоскует, все по жизни плачет, тоскует небо свинцовое, и лес такой же чахлый, как трава и люди, и негреющее, как льдина, солнце, и такое же холодное и злое-злое, как те люди-тюремщики, и, как цепи, холодное, — все там тоскует, все там в цепях, все в вечной ссылке... О да! От этой страны ужасной лицо Создателя и Бога отвернулось... Что со мной?!

В ужасе хватает себя за голову.

— Это что?.. А!.. Корона — венец мученика... Я опять в Камчатке: я это вижу, чувствую, сознаю, и говорю те же злые речи, что тогда, давно когда-то говорил.

Опять прислушивается к равномерному, но могучему рокоту океана.

— Я слышу шепот чей-то, чувствую, как волосы на голове становятся живыми, и каждый волос что-то шепчет... Нет, я голос слышу, и зовет меня этот голос.

В ужасе останавливается.

— Да, это она зовет, она — а! — «Мориц! Мориц! Иди ко мне!» Это голос Фанни...

Прислушивается, вытянув шею. Из-за драпировки сверкают глаза часового, как глаза кошки во мраке.

— Это Фанни — она плачет: «Зачем отца убил? Зачем меня засыпал цветами и землею?.. А я так любила тебя...»

Хлопает в ладоши.

— Эй! Кто там? Где часовые?

Сверкая сталью ружейного ствола, из-за дверной драпировки выступает часовой.

— Ваше величество!

— А! Это ты! Спасибо! — машет рукой. — Иди — не надо!

Он страшен в своем странном головном уборе ночью, один, с безумным взглядом. Но появление часового заставило его несколько опомниться. Часовой уходит.

— Что это со мной? У меня жар — я начинаю, кажется, бредить? На меня нападает ужас? Да! Стыдно, стыдно, Бениовский! Где твоя отвага, когда ты поднял на ноги Большерецк, Камчатку и, как бесконечною нитью громадного клубка, ты рейсами своего галиота обмотал весь шар земной, океан взбороздил и не боялся привидений.

Садится к столу и опять задумывается. Затем опять говорит, как в бреду:

— Вот Батурин кивает мне седою головой, укоряет меня... А разве лучше было с пауком беседовать в каземате? Что, на север меня опять зовешь, жалкий мертвец? Нилова хочешь показать мне? Не я убил его, не я! А вот и Нилов, и Панов.

Вскакивает и громко кричит:

— Зачем вы пришли меня тревожить? Кто из гробов вас вызвал, чтоб вы пришли тревожить мой королевский покой? Я — король! Нилов, vade retro! Батурин! Панов! Прочь в свои могилы! Я часового позову! Эй, часовой!

Хлопает в ладоши. Опять появляется часовой.

— Ваше величество!

— А! Это ты? Я звал тебя?

— Звали, ваше величество.

Из-за внутренней драпировки показываются Ядвига и пан Стемпковский. Увидев Бениовского в короне, они останавливаются в изумлении.

Он их не видит.

— Ваше величество! Что с вами? Вы больны? — испуганно говорит пан Стемпковский.

Ядвига бросается к нему:

— Ваше величество! Мориц, милый!

— А! Ядвига, дорогая! Я испугал тебя? Милое дитя!

Ядвига бросается к нему на шею.

— Ты весь в огне, мой Мориц! Папа! Он болен — король занемог.

Пан Стемпковский бережно уводит его во внутренние покои. Ядвига плачет, идя вслед за ними.

XXXVII. РАЗВЯЗКА

Прошло несколько дней.

Огненный шар солнца медленно выплывает из пурпурной глади океана и золотит зонтикообразные верхушки пальм и гигантские лопасти арумов, осеняющих скромный дворец мадагаскарского короля.

На плоской кровле этого дворца виднеются три человеческие фигуры.

— Ах, папа, как страшно! Езус-Мария! — слышится робкий шепот.

— Не бойся, мой аниолэк! Ты знаешь, наши силы превосходят силы врагов наших.

— А все, татуню, страшно — я вся дрожу.

Это говорит панна Ядвига с отцом. Третья около них фигура — молчаливый мистер Кент. Он смотрит в небольшую зрительную трубу, но не видит того, что желал бы видеть.

Но они все трое слышат, что делается там, куда направлена зрительная труба Кента. Это слышат и часовые из туземцев, стоящие у входа во дворец и тревожно прислушивающиеся к тому, что так пугает юную панну Ядвигу.

Из-за рощи пальм и бананов доносится гул и лопотанье ружейной перестрелки. Гул то приближается, то удаляется и на время как бы умолкает.

От того места, где слышится ружейная перестрелка, быстро скачет всадник по направлению к дворцу. Он ближе и ближе все. Во всаднике узнают капрала Потолова. У ворот дворца он осаживает своего взмыленного коня.

— Ура! — кричит он. — Наша взяла!

Часовые радостно хлопают в ладоши и тоже что-то кричат.

Потолов замечает тех, что на кровле дворца, и вытягивается на седле, делая рукой честь.

— Его величество король прислал меня к вам, барышня, сказать, чтоб вы не изволили бояться! — кричит он хриплым голосом. — Наша взяла!

Девушка с радостными слезами бросается на колени и поднимает руки к небу.

— Разбит неприятель? — с дрожью в голосе спрашивает пан Стемпковский.

— На голову разбит, ваше благородие, — отвечает Потолов.

— О, нех бэндзэ Христус-Езус похвальоны! — радостно восклицает отец Ядвиги.

Потолов поворачивает коня и скачет обратно.

С места битвы изредка доносятся отдельные, разрозненные выстрелы. Они все реже и реже.

— О! Скорей бы приезжал Мориц! — слышится нетерпеливый, радостный голос Ядвиги.

— Потерпи, мой аниолэк, — успокаивает ее отец, — король скоро приедет, — нельзя же моя, крошка: ведь они, вероятно, преследуют врага.

— Зачем же, татуня, когда те бежали?

— А как же, моя пташка: надо кончить. Теперь, мой аниолэк, — перебил себя Стемпковский, — теперь уже ничто не помешает королю вести тебя к венцу... Ах ты, моя маленькая королева! Ваше величество — королева Ядвига Первая!

— Нет, папа, я уже буду королева Ядвига Вторая: первая была за Ягеллом, а я буду за Морицем — я вторая.

— Правда, правда, мой аниолэк.

Молчаливый мистер Кент продолжает смотреть в свою зрительную трубу. Он что-то замечает в отдалении.

— Кого-то несут на носилках, — говорит он как бы про себя.

— Ах, Боже мой! Должно быть, раненого... Бедный! Кто он? — испуганно говорит панна Ядвига. — Вы не видите, мистер Кент?

— Нет, мисс, не вижу.

— Уж не пана ли Илью, генерала? — загадывает вслух пан Стемпковский. — Он такой храбрый.

— Это пан Уфтюжан, папа? — дрогнувшим голосом спрашивает девушка.

— Не знаю, мой аниолэк, но простого воина не понесут ко дворцу.

Девушка стремительно спускается по внутренней лестнице вниз, к выходу из дворца. За нею следуют пан Стемпковский и мистер Кент. Они выходят из ворот и спешат догнать бегущую молодую девушку.

Движущаяся навстречу им процессия все ближе и ближе. Ядвига уже там.

Воздух огласился вдруг болезненным, нечеловеческим криком девушки. Видно было, как она, всплеснув руками, у самых носилок грохнулась оземь.

Ночь. В знакомом нам уже кабинете, на письменном столе Бениовского, выдвинутом на середину комнаты и покрытом белою простыней, лежит покойник. Смуглое лицо его, окаймленное прядями седых волос, отчетливо отделяется от белого фона подушки. Длинная белая борода, несколько раздвоенная книзу, и кроткое выражение лица, с глубокою, неразгаданною думой на челе, заставляет припомнить крот-

кий лик мученика, какой можно видеть на старинных иконах. Как бы в довершение подобной иллюзии, на голове мертвеца — золотой венец.

Это лежит король Мадагаскара в короне.

В головах у него свечи. Как и недавно еще, так и теперь, в широкую прорезь потолка глядит дивное созвездие Южного Креста. В открытые окна льет южная ночь свое ароматное дыхание.

Близ изголовья покойника стоит Уфтюжанинов и тихо, мучительно протяжно читает псалтырь. Он читает его наизусть — ведь он попович, хотя теперь и генерал на службе у его величества, мадагаскарского короля Морица Первого.

Вот он — его величество, в короне, хотя и без порфиры...

— Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых, — слышится надрывающее душу чтение.

Не в первый раз ему читать по покойнике: и над Пановым читал он в виду Формозы, и над Афанасиею в виду Мадеры, и над Батуриным, Гурчениновым — всех отчитал! — последнего отчитывает...

Он задумался, глядя в лицо мертвецу. Не свою собственную жизнь переживал он в эти горькие минуты, а его, вот этого, чье мертвое лицо так кротко глядит из-под золотой короны, — его полную треволнений жизнь. На этом лице покоились когда-то с любовью детские заплаканные глазки Ванды с золотистою головкой. Это лицо и эти глаза, всегда загадочные, теперь навеки закрытые, целовала бедная Афанасия. На этом лице, теперь застывшем, и в этих глазах, теперь закрытых, читала свое светлое будущее бедненькая Ядвига. Теперь она, наплакавшись, уснула где-то там. Он один, попович из Камчатки, не может уснуть. Да, он один теперь остался на свете.

А где Хрущов, Мейдер, Винблад и другие? Он не знает, что тогда же, много лет назад, они все прямо из Порт-Луи, добравшись кое-как морем до Кронштадта и Петербурга — все очутились опять в казематах...

Один попович на свободе. И вот он стоит над своим мертвым королем и учителем...

Слезы тихо катились по его лицу...

«Что же я теперь! — с тоскою схватился он за голову. — Куда я денусь, я, попович из Камчатки, беглый царедворец, беглого короля? О мой край родной, далекий!..»

— Матушка! Матушка! — шептал он, ломая руки. — Слышишь ли ты меня? Отец мой! Помяни меня в твоих мо-

литвах! Помолись за меня! Господи! Куда же я денусь, куда! Где утоплю тоску мою? В океане...

Вдруг он невольно вздрогнул. Из-за внутренней портьеры, словно привидение, вся в белом, быстро показалась Ядвига и с плачем бросилась к нему на шею...

— Мой пан! Мой милый пан! — шептала девушка. — Я не хочу, чтоб вы умирали, не хочу! Живите, живите ради себя, ради меня! Я... я люблю вас, люблю!

Уфтюжанинов с невыразимой нежностью прижал плачущее личико девушки к своей груди и целовал ее раскосматившуюся головку.

— О мое дитя! Мое сокровище! Радость моя! Я буду жить, буду! — шептал он.

И жизнь победила — победила всемогущая любовь...

Новые люди

ПОВЕСТЬ ИЗ ЖИЗНИ
ШЕСТИДЕСЯТЫХ ГОДОВ

Оговорка

Предлагаемая повесть первый раз появилась в печати около двадцати лет назад (во «Всемирном труде» 1867 г.).

В повести этой автором, насколько позволили ему силы, воспроизведены некоторые из тех личностей, с окружающей их средою, их поступки и стремления, — личностей, которые в то время думали о себе, что они — какие-то «новые люди».

Издавая вновь эту повесть, автор имеет в виду в новом произведении показать этих самых людей с окружающей их средой теперь, через двадцать лет, и посмотреть — что из них сталось и имели ли их стремления почву под собой, или же это были невинные стремления детей за мыльными пузырями.

1886

Оговорка ко второму изданию

Выраженное в предыдущей оговорке обещание по многим причинам, о коих здесь не место говорить, к сожалению, не выполнено автором. Но он не отказывается теперь изобразить, по мере своих сил, во что превратились, через 30 лет, эти некогда «новые люди», что вышло из стремлений, начинаний, надежд, что передали они новому поколению деятелей, своим детям и внукам и какими являются в жизни эти последние с их задачами, стремлениями, делами и надеждами.

1897

I. ГНОМЫ С КОМОМ ЗОЛОТА

Странный человек этот доктор: говорит, будто у меня нервы не в порядке. Все вздор. А просто я слишком много читал в последнее время — устал, утомил мозг, ну и нервы, может быть, стали восприимчивее.

Вот, например, сегодня я видел сон, такой странный, такой подавляющий...

Вижу я высокую, плоскую гору (после я узнал, что это какая-то гора Неведения), и под этой горой толпится кучка людей, старых и молодых, и узнаю я в этих людях деятелей слова, представителей русской мысли (сейчас видно, что я немножко зачитался). Узнаю я тут и Тургенева, и Иванова-Желудкова (все так смешалось, перепуталось в этой кучке), и Некрасова, и Достоевского, и Островского, и Писемского, и Толстых, и Чаева, и Аверкиева, Стебницкого и Трачевского, Михайлова-Шеллера и Куторгу, Щедрина и Сеченова, Якушкина и Нила Попова, Лохвицкого и Успенского, Слепцова и Устрялова, Ливанова и Пирогова, Швейцера и Авенариуса, Рыбникова и Розенгейма, Каратытина и Клавдию Кованько, Шелгунова и Шелгунову, Вормса и Лесницкого, Решетникова и Чуйко, Крестовского и Погодина, и Минаева, и Мельникова, и Алеко, и Полонского, и Авдеева, и Боборыкина, Марка Вовчка и Иловайского, и Соловьева, и Костомарова, и Стасюлевича, и Богдановича, и Ламанских, и Пыпина, и Спасовича, и Ковалевских, и Срезневского, Грота, Бекетова, Страхова, Каткова, Леонтьева, Скарятина, Юматова, Урусова, Аксакова, Краевского, Корша, Зыкова, Тиблена, Гайдебурова, Курочкина и многих других деятелей русской земли, и самых крупных, и средней величины... И представляются мне все эти люди в виде гномов, что выкопали из-под земли огромный ком золотого самородка и, подобно муравьям, катят этот ком на высокую гору, чтоб разделить золото между всеми обитателями плоской горы, а ком этот срывается с полугоры и увлекает за собой бедных гномов... И гномы опять начинают катить этот золотой ком в гору, и опять обрываются, и никто из обитающих на горе Неведения

не хочет и не умеет помочь гномам... На горе сон и храп. Иногда слышится стон и задавленный вздох, шепот молитвы, звякание цепи, точно закованная лошадь звякнула железными путами, то слышится погребальный перезвон и глухое стуканье земли о гробовую крышку, то топанье, под дикую бальную музыку, человеческих ног, точно табун разнузданных кавалерийских лошадей несется на водопой и заглушает звяканье противной цепи на чьих-то ногах, на лошадиных или человеческих... А там опять сон и храп, мужская и преимущественно женская болтовня о чем-то странном, нечеловеческом, глубокий стон, пьяный смех и звяк цепи, хрипенье перерезанного горла и мотивы из Оффенбаха... А гномы все катят свой золотой ком, все стараются докатить его до вершины, и опять срываются, и опять взбираются на крутизну... А на горе все тот же сон, те же дикие звуки... Страшно звякнула цепь — и я проснулся...

Фу, какой томительный сон!

Доктор прописал мне лавровишневой воды. Странный он человек, все твердит о нервах. Если б у меня действительно были расстроены нервы, как у истерических барынь, на меня, я думаю, все действовало бы так, как действует на этих барынь. Так нет же, мой глупый Матвей звякнул сегодня об пол целою дюжиной тарелок — я и не вздрогнул да еще и смеялся потом.

— Что ты, — говорю, — там творишь, Матвей?

— Да беды, — говорит, — сударь, наделал: тарелки разбил.

— Так будь осторожнее, — говорю.

— Я и то, — говорит, — осторожен, да, верно, и у меня нервы расстроены (у него-то, у Матвея нервы!).

— Что ты, — говорю, — глупости болтаешь?

— Не глупость, — говорит, — сегодня лекарь, увидамши, что я книжку читаю...

— Какую?

— Гейне-с... и говорит: «Ты смотри, Матвей, и у тебя нервы расстроятся от этой самой книжки, как у твоего барина...» Ну, видно, и расстроились — разбил тарелки.

Смешно мне стало и досадно. Этот глупый Матвей перетаскал к себе в лакейскую все мои книги — все засалил, а теперь и Гейне в русском переводе стащил. Да пусть уж лучше читает Гейне, чем пьянствует. Я подозреваю, он уж успел сбегать в кабак — вот и нервы расстроились.

А тяжелое впечатление сна все давит меня. Тоска смертная. Я слышу эти противные звуки этой — как бы ее на-

звать? — проституционной музыки Оффенбаха одновременно с звяканьем железа, я силюсь вместе с гномами вкатить на гору непосильную тяжесть — а зачем, для кого?

Я готов верить в логичность и осмысленность снов. Для кого работают бедные гномы? Для Матвеев, все для Матвеев! Ведь кругом все Матвеи, читающие Гейне. За топаньем своих собственных ног они не слышат, как звякает железо у них на ногах, — они думают, что это звякают ожерелья, браслеты... Бросьте свою работу, гномы! Нет, не бросайте. На горе вам не ужиться, пока не превратитесь в Матвеев или не почувствуете в себе присутствия лошадиных инстинктов.

Как я, однако, зол сегодня. Это глупо, я сам сознаю, да что ж делать? Гвоздем впился в мой мозг этот сон дьявольский, а там Тутнев с своими раздражающими афоризмами, а там эта нищенка с своим мертвым ребенком.

— Подайте, — говорит, — барин, младенцу на гробик.

— На какой гробик? — спрашиваю. Досада меня взяла: тут и так скверно, а она пристает с гробиком — думаю: «Врет баба». — Какой гробик?

— Младенец, — говорит, — у меня умер, так похоронить не в чем.

— А мне, — говорю, — какое дело? Всех я не могу хоронить. Пошла прочь.

Так вот с досады и сказал: зол был как скотина, ну и звякнул этим подлым глаголом.

— Черви, — говорит, — в ушке завелись.

— Как черви! (все думаю, что притворяется нищенка, как это обыкновенно бывает).

— Черви, — говорит, — батюшка, в ушке у покойничка-то, давно лежит, жарко.

Скверно мне стало. Уж так же, думаю, отвратительно и нагло нельзя лгать.

— Веди меня, — говорю, — к твоему покойничку.

— Извольте, — говорит, — сударь, только скверно вам будет.

Повела она меня, а тут откуда ни возьмись Тутнев с своим бессердечным сарказмом.

— Куда, — говорит Тутнев, — летишь? Уж не записался ли в дамское благотворительное общество?

— А тебе что за дело?

— Я, — говорит, — пойду с тобой, чтоб тебя как дурака не надули.

Пошли мы все трое. Он пристал к бабе. Баба опять заговорила о червях. Я не выдержал.

— Да полно, я тебе говорю, мне и без того скверно.

— А! уж и скверно... Нет, ты, — говорит, — не останавливайся на полдороге: уж начал думать, так думай до конца последовательно и логически. Ты называешь мои афоризмы отвратительными. Согласен. А сознайся, что в жизни есть много такого, что отвратительнее моих афоризмов — хоть бы черви в мертвом теле ребенка, которого похоронить не на что.

— Ну и что ж из этого? — говорю.

— А то, что не надо такой размазней относиться к явлениям и к возмутительным шероховатостям жизни, как ты относишься. Надо бить подлость и глупость, в каком бы платье они ни щеголяли.

— Ну и бей, — говорю, — что ж, бабу будешь бить?

— Нет, не бабу, — говорит, — ее и так судьба убила, а вон тех диких людей, что лишены даже человеческих инстинктов.

А говорил он это о кавалькаде из так называемого провинциального «общества», которая направлялась за город и поравнялась с нами.

— Здравствуйте, mesdames, — закричал он двум амазонкам.

— Здравствуйте, m-r, Тутнев, — отвечали ему.

— Вы куда, прекрасные амазонки?

— За город погалопировать с кавалерами да подышать свежим воздухом. А вы куда?

— Я иду с приятелем нюхать червивую мертвечину.

— Фуй, — говорят, — вы все с своими злыми шутками... Вы способны отравить всякое удовольствие.

— А что вам, — говорит, — стоили ваши костюмы?

— Довольно дорого, — говорят. — Не правда ли — мило?

— Мило-то мило, барышни... да оно будет еще милей, если вы из ваших излишков дадите вот этой женщине, которой не на что похоронить ребенка, — а в ребенке уж завелись черви.

Барышни, конечно, ахнули, а за ними ахнули и их припевающие...

— Что вы говорите!

— Да вот спросите эту бабу.

Ну и Тутнев с своей бесцеремонностью все-таки собрал для бабы несколько целковых, а там накинулся и на меня.

— Ну и не прав я, — говорит, — что надо бить эту сволочь? А вы все с своей деликатностью: «надо входить в

положение других». Ну как вы войдете в положение кретина, который сам не сознает своего физического безобразия и умственного нищенства? Ведь все эти галопирующие кретины поехали за город вполне довольные и меня же злословят за мои странности. А сознавай они хоть немножко свое человеческое призвание, пойми — не говорю пустоту, а гнусность той жизни, какую ведет девяносто девять сотых нашего милого российского общества, действуй они, как кто может, и не хвастайся своим мнимым развитием, дающим карт-бланш ничего не делать, — тогда было бы не то, что мы вокруг себя видим.

И люблю и не люблю я этого человека, Тутнева: люблю и уважаю в нем безукоризненно честного и по натуре доброго брюзгу, но не люблю этого желчного языка, который как-то раздражительно электризует меня. Я и без того был скверно настроен, а он еще больше подстроил меня. А тут этот мертвый ребенок... Баба не обманула, мы нашли ее грязную конурку запертою, на дворе играют два мальчика в лошадки — это ее дети, оставшиеся в живых. Едва мы вошли на двор, как они закричали: «Мама, есть! Мама, хлеба!» А в избе на столике лежит мертвый ребенок, покрытый тряпками, — труп разлагается. Действительно, в ухе ребенка, в болячках, что-то копошится... Я хотел было бежать...

— О нет, — говорит Тутнев, — стой! Вглядись в это, вдумайся!

— Пусти меня, — говорю, — мне дурно...

— А! дурно... Так примени же и здесь твое правило: надо входить в положение других.

— Не могу, не могу!

А тут баба плачет, надрывается.

— Ты что, — говорит Тутнев, — плачешь?

— Жаль, — говорит.

— Да чего жалеть? Ведь кормить было нечем.

— А все жаль.

И плачет бедная баба, надрывается. И вижу я, что глупая баба плачет сама не зная о чем, а все-таки к моему дурному расположению прибавили новую тяжесть.

Чем же я размазня, однако? Разве тем, что не ругаюсь, как Тутнев?

Скучно. Ведь, пожалуй, Тутнев прав. Этот сон, эти гномы, это звяканье цепи не выходят у меня из головы. Впрочем, не потому ли я слышал во сне это противное звяканье цепи, что Матвей чистил ножи и вилки? Как это глупо, и

каким, однако, подавляющим чувством полно все существо мое.

Я рад, впрочем, что Старин не заходил ко мне сегодня надоедать с своею барышней. Вот навязались!

II. НЕ ПРАВА ЛИ ЕВРОПА?

Едва я встал сегодня и подошел к окну, как увидел вчерашнюю нищенку с розовым гробиком в руках. За ней бегут двое ребятишек, шалят, кувыркаются, пострелята, — значит, не голодны. Заметила меня баба, подходит к окну, кланяется...

— Спасибо вам, — говорит, — барин: вот теперь в гробике схороню свою Полю.

— Ну и хорошо, — говорю.

Вижу, глупая баба довольна... «А не все ли равно, — думаю, — в гробике ли закопать маленького мертвеца или так забросать землею, — так нет: подай ей гробик».

Ушла баба. Вслед за ней пришел Тутнев и привел с собою моего старого университетского товарища, Туркина. Признаюсь, я очень обрадовался этому последнему. Он только сегодня приехал из Петербурга. Что за душа милая у этого человека и какая славная голова. С университетской скамьи я не видал его, и он остался все тем же милым, сердечным, хоть иногда, особенно когда задумается, я не мог не заметить, что какая-то суровая тень легла на его добром, спокойном лице. Признаюсь, когда он говорил о своей деятельности, я завидовал ему. Из него вышел талантливый публицист, и я еще с большим уважением прильнул к моему старому товарищу, когда узнал, что лучшие передовые статьи в одной из наших влиятельных газет принадлежат перу моего друга.

— Что за нервная, что за лихорадочная деятельность, — говорил он, — эта деятельность публициста. Признаюсь вам, только эта деятельность заставила меня полюбить Россию, полюбить со всеми ее слабостями и с тем хорошим, которое не бьет в глаза, а делает свое вековое дело молча, исподволь, да зато прочно. Да и как не полюбить свое, как не привязаться к нему страстно, когда оттуда, с Запада, столько грязи льется на наши бедные головы, которые уже и поседели, не заслужив уважения Европы. Ведь шутка — тысячу лет прожить, поседеть до желтизны — и все нам в глаза швыряют детством, варварством, тиранизмом.

— Ну и что же! Они во многом правы, — вмешался Тутнев с своим неуместным словом.

— Э! правы! Да и мы-то правы.

— А правы, так что ж волноваться? Будем идти своей дорогой — добьемся цели. А горячиться нечего.

— Да, посмотрел бы я на вас, остались ли бы вы спокойны, если б вас посадили там да заставили отбиваться от ударов, когда на каждое ваше слово летит ругань со стороны западной печати... Вы говорите: уважайте права национальностей, не душите хоть в XIX веке того, что душат с IX века, не снимайте последней свиты с бедного русского, отданного под власть Австрии, а на вас встает кликой западная журналистика, вас ругает «Siècle», вас клеймит позорным именем «Europe», на вас клевещет «Allgemeine Zeitung», а там из-за прилавка контор парижских и брюссельских газет в вас швыряют комьями грязи господа Гюлло, Эрнесты, Дреоли, Луи Белле, Арлесы Дюфуры, Бушери, де Лозьеры, Фурнье, Кара, Конбары, Мартели, д'Арну, Раттье, Лефевры — э! да и не перечтешь всех.

— Ну и пусть швыряют комьями грязи, всех не защитишь.

— А вы думаете, чем это швырянье пахнет? Кровью, потерей денег, упадком нашего кредита... Э! вы в самом деле думаете, что мы горячимся из-за того, что наши передовые статьи обругает какой-нибудь «Monde», или «Tiemes», или «Opinion Nationale», — нет, а эти господа Гюлло и Дреоли бьют по нашим спинам, по нашим карманам... Ну и не спишь ночи, когда получишь иностранную почту с европейской руганью против всего, что ты высказал честно, спокойно, и бьет тебя лихорадка при чтении этих статей, и пишешь ночью ответное слово клеветникам — там опять, а там опять...

— Все это похвально, все это рекомендует ваши честные отношения к своему делу и, пожалуй, к русскому делу. Но позвольте вас спросить: ваша честность и ваша горячность изменили ли хоть на йоту отзыв Европы о России, о туринизме ее жителей, об абсолютизме ее правительства?

— На это я могу отвечать утвердительно: Европа не слепа, она не может не видеть, что в России творится что-то новое, неслыханное до сих пор. Она не может не видеть, что, как ни мало развито русское общество, но и в представителях русской мысли, и во всех тех, кому не чужда эта мысль, вырабатывается что-то общее, что-то дружное и сильное — и это-то, может быть, вызывает еще более желчную браваду со стороны наших политических Яго.

Признаюсь, горько мне было слышать этот отзыв человека, отдавшего и мысль, и сердце своему делу... Передо

мной развертывалась панорама вчерашнего сна, который, подобно паутине, опутал мой мозг, мои нервы... Предо мной опять вставали гномы, а между ними и мой друг публицист, и катили эти гномы дорогую тяжесть на крутую гору, а с этой горы доносился возмутительный храп или хохот самодовольного невежества... И слышится мне опять глубокий, тяжкий, какой-то передушенный вздох, и слышится мне опять под балаганную музыку топот человеческих ног или лошадиных копыт — не знаю, и доносится ко мне погребальный трезвон, и глухое стуканье комьев земли о гробовую крышку, и веселые речи людей, говоривших о предметах, унижающих человечество, а посреди всего этого каким-то режущим сердце диссонансом звякала тяжелая цепь, и я слышал, как терлось кольцо о кольцо и визжало старое железо и терлось о человеческие кости, а люди за хохотом не слышали визжания колец этого железа, не слышали звяканья цепи.

— Кофей простынет, барин, — рявкнул мой Матвей над самым ухом, и вздрогнул я, как истерическая барыня, и с досады обругал своего верного слугу Эрнестом Дреолем.

— Эрнест Дреоль? Это что такое, — спросил Туркин, — какой он Дреоль.

Я, разумеется, смешался, потому что сам почувствовал, что сказал глупость, но было уже поздно.

— Да ведь сам же ты говорил, что нас позорят эти Дреоли, и Гюлло, и Луи Белле.

— Если б мы сами себя не позорили, друг мой, — говорит Тургнев, — то и Европа не позорила бы нас.

— Да чем мы, — говорю, — позорим себя?

— Ваш друг прав, — говорит Туркин, — мы двояким образом позорим себя — позорим и вне дома, и в доме. Разве это не был, так сказать, внешний, заграничный позор, когда тысячи русских, ничему не учившиеся дома, ничего не делавшие и не умевшие ничего делать на Родине, страдая хроническим абсентеизмом, постоянно жили заграницей (потому что дома они были бесполезны и занятия им никто никакого не мог бы дать в России), и по этим недоноскам русского общества Европа и судила о России. Эти космополиты из какого-нибудь Козихина выселка Тамбовской губернии или из какой-нибудь деревни Дарьевки — Свиной Хвост, Собачьи Выскребки то ж, стыдясь своего личного невежества, вторили Дреолям и Конбарам, называя русских туранцами, представителями которых они действительно и по справедливости могли назваться сами вследствие своего азиатского невежества.

— Ты слишком строг, — говорю я.

— Нет, не строг, — говорит, — да, впрочем, более строгого обвинения эти жалкие русские выкидыши и не стоят: они все равно коптили бы собой небо в России, как коптят его заграницей... Они жалки и гадки... Уж я, конечно, скорее извиню тех, которые, как Кельсиев, покинули Россию не потому, что были в ней бесполезными членами, а потому, что своеобразно любили ее, и любили много, активно, так сказать, и вследствие этой-то любви бросали «с того берега» камнями во все, что к а з а л о с ь им нехорошим... А тем-то космополитам из Собачьих Выскребок и к а з а т ь с я ничего не могло, потому что они и Европу-то любили из-за того только, что там можно было или играть в рулетку безопасно, или безопасно вести грязненькие интрижки, благо на чужбине... Впрочем, эти жалкие люди становятся уже достоянием истории, они вымирают, как дикие индейские племена, от соприкосновения с европейской цивилизацией.

— Однако я вижу, — говорит Тутнев, — что ваши очки отливают несколько розовым нюансом.

— Почему? — говорю.

— Да потому, — говорит Тутнев, — что сердцевину-то России вы плохо знаете... Пожили бы вы, как я, в провинции да потолкались по губернским да уездным городам нашим, не то бы сказали.

— А что?

— Да то, что Дреоли и Конбары правы... Посмотрите, что делают у нас в губернских городах, как проводят время, какие идеи господствуют в большинстве образованного общества, — и вы бросите перо, которым ратуете против Дреолей и Конбаров и де Мазадов. До сих пор у нас киргизские понятия о труде, киргизское времяпровождение, киргизские удовольствия — и все это стереотипно до тошноты, пошлое восходит до высокого. Читают мало, а если и читают, то лишь для того, чтоб убить время — за книгой ли, за фантами ли, за картами и танцами. Единственная у нас у всех забота — убить время. Время — это наш лютейший враг, мы страдаем хронической, неизлечимой хронофобией. Утром визиты, если нет служебных обязанностей, потом обед, и непременно вне дома: нам тошно оставаться самим с собою — да и что мы, кроме глупости и пустоты, найдем в себе? Вечер — клуб, собрание, театр, званые и незваные вечера с фантами, картами, танцами. Нет танцев — говорят, скука: барыни перекидываются новодневными новостями о том, что даже киргиза не заняло бы, барышни ведут глазную

перестрелку с кавалерами, а более практические из них, скучая гостиным общим разговором, незаметно перебираются в залу или в одну из менее обитаемых комнат, а за ними, к их удовольствию, перекочевывают туда и кавалеры — и начинается более свободная и целесообразная беседа. Но чтоб разговоры à parte не были слышны в гостиной, чтоб милые и умные фразы не доносились до непосвященных ушей, самая практическая барышня подсаживается непременно к роялю и, как будто разбирая ноты, берет какие-нибудь аккорды, которые и имеют техническое название спасительных ботиков, потому что за этими аккордами не слышно речей барышень и кавалеров... А! да уж это так избито, так истаскано, что и повторять стыдно, а между тем — это правда, горькая, возмущающая правда... И после этого не правы Дреоли и Конбары?

— Но помилуйте, что ж делать людям, когда они ни на что не способны?

— Э! всякий на что-нибудь способен, поверьте мне... Говорят о плачевном состоянии русских финансов, а кто виноват? Мы сами. Из семидесяти миллионов русских непременно наберется тридцать пять миллионов людей, ничего не делающих. Выработай каждый из этих несчастных хоть двадцать рублей в год... я не говорю о деньгах собственно, я хочу сказать: потрудись каждый над каким-нибудь делом, кому какое по плечу, хоть по несколько часов в день, и оцените этот труд хоть во столько, во сколько мы ценим труд последней бабы кухарки, и тогда государственная экономия приобрела бы в год семьсот миллионов — шутка сказать! Семьсот миллионов стоит нам одно убийство времени — я не говорю о других тратах, о бесполезном бросании денег.

— А все-таки вы не указываете прямо, что именно могут делать наши барыни и господа, ничего не делающие.

— Как что! Да шей они хоть белье арестантам — и то в государственной экономии были бы остатки. Говорят о поднятии русского начала — э! тошно слушать! Посмотрите на немцев — это люди: немец, при всех своих занятиях и при удовольствиях, которыми он умеет разумно пользоваться, никогда не забудет отложить в особую коробочку окурок от своей сигары — и на этих окурках немцы сколотили уже капитал, которым поддерживается какое-то благотворительное заведение в Берлине. А мы что делаем? Только болтаем да жалуемся, что немцы не дают нам ходу. И не дадут, пока мы не сделаемся людьми. Смешно читать, как вы там,

начиная от Каткова, Аксакова, Вольдемара и Бесбардиса и кончая Владимиром Ламанским (которых, впрочем, я всех уважаю), ратуете против германирующих притязаний остзейских немцев. Чем виноваты немцы, что мы увальни, лежебоки, а они, пользуясь нашей спячкой, у нас же на носу ловят мух, которых мы даже отмахнуть ленимся? Теперь уже смешно было бы верить тем диким афоризмам, которым простительно было верить в прошлом веке: говорят, что нас отдали тому-то, нас подчинили тому-то... Помилуйте, кто меня может подчинить, если сам не подчинюсь. Были у нас когда-то мужики, крестьяне: значит, сами были глупы, что попались в крепостничество. Мой вот предок был истопником у Грозного, и был не глуп, угодил царю: царь пожаловал его вотчинами, а другой брат его был глуп — ничего не добыл и, говорят, остался мужиком. Начало крепостничества лежит в человеческой глупости и лени: те, которые были поумнее и подеятельнее, захватили себе в руки землю, а с нею и людей, те, которые были поглупее и поленивее, остались смердами. Так с тех пор и осталось все. Теперь говорят, что дворянство падает, беднеет. Правда. А кто ему мешает подняться, разбогатеть? Говорят, купчики. А чем виноваты купчики, что они начинают быть умнее других — учатся, копят деньгу, и, посмотрите, приберут в свои руки всех, как прибирают все отлично купчики. А мы вот ничего не делаем, ездим заграницу сорить остальными деньгами, которые припасены были нам умными предками-истопниками. Вот на этом-то законе и немцы владеют нами. Говорят, что женщина унижена мужчиной, что женщине надо дать равные с мужчиной права. Ну и пусть она сама их возьмет; а коли не взяла до сих пор, значит, была глупа и ленива, думала больше о нарядах и интригах, чем о деле. Если мы будем продолжать так же скверно жить, как жили до сих пор, то все поделаемся смердами и холопами обельными и будут владеть нами не варяги, а немцы и все те, которые учатся, работают, думают о деле, делают дело. Теперь настало такое время, что нельзя сидеть сложа руки. Чем потеряли поляки? Почему они лишились царства? А потому, что ничего не хотели делать, все возлагали на холопов, ничему не учились, а только пили венгржинак, охотились в своих пущах, ухаживали за панночками да отплясывали полонезы с краковяком — ну и проплясали царство Пястов и Кривоустовичей.

Тутнев так разгорячился, что опрокинул свой стакан с кофеем. Мне стало смешно, я и говорю ему:

— Да ты, я вижу, так и режешь передовыми статьями «Голоса».

— Что ж, лучше петь дело с «Голоса», хоть с чужого, чем таким нюней относиться к пошлым явлениям жизни, как относишься ты.

Признаюсь, мы тут с ним поспорили довольно горячо, но, когда они ушли и я остался один, меня охватила такая тоска и так мне было стыдно за свое безделье, что хоть в воду так впору. Чувство зависти к Туркину шевельнулось в моем сердце, и я презирал себя за свое пассивное отношение к жизни и к людям. Ведь на одной скамье сидели мы с Туркиным и в гимназии, и в университете, одинаково мечтали с ним о будущей деятельности, о решении мировых вопросов, чуть ли не о переделке всего человечества. И что ж, из него вышел деятель, которого честное слово раздавалось во всех уголках России. А я? Я не умел брать того, что давала мне жизнь, я больше думал об удовольствиях, чем о деле, я был достоин этого омута, куда меня сунули обстоятельства и моя нервная натура... И передо мной опять вставал вчерашний сон с вчерашними подавляющими ощущениями: эта гора с людьми, поправшими человеческие инстинкты, этот храп и стон, эти дикие звуки, этот лошадиный пляс человеческих ног, это звяканье цепи — и видел я самого себя на этой горе, и мелкие, пошлые интересы горы казались моими собственными интересами, и был я глух, казалось, к человеческому разумному слову, и занимало меня топанье человеческих ног, и щекотала меня оффенбаховская музыка... А гномы все работают, и не понимаю я этой работы, и стыдно мне за самого себя, за потерю человеческого достоинства.

А тут опять Матвей с своими глупостями.

— Пожалуйте, — говорит, — расчет, сударь.

— Какой расчет? — говорю.

— Расчет, значит: вы, — говорит, — меня обидели.

— Чем я тебя обидел? — спрашиваю.

— Изволили назвать при гостях дрянью.

— Что ты вздор говоришь?

— Не вздор, сударь: когда я вам подавал кофей, вы взглянули на меня и сказали: «Какая ты дрянь, Матвей».

Я вспомнил, что, сам не знаю почему, назвал его Эрнестом Дреолем, и стало мне смешно. Я старался успокоить его, но Матвей был непреклонен. Он продолжал твердить: «Пожалуйте расчет».

— Да что ты, с ума, что ли, сошел! — говорю.

— Как вам угодно, сударь, а я после эвтого самого пассажу не могу у вас оставаться: мне и глаз господам показать будет стыдно... Меня дрянью перед чужими господами никто отродясь не называл.

— Глуп ты, я вижу, Матвей, — говорю я, — а еще книжки читаешь... Я тебя назвал Эрнестом Дреолем — такой есть французский сочинитель.

Конечно, этим для Матвея дело не разъяснилось, но все же я мог его кое-как уломать, и он отправился к себе дочитывать Гейне.

А ведь, кажется, я брошу эту гнилую провинцию и уеду в Петербург.

III. МЕРТВЕЦЫ И ЖИВЫЕ

Был у Релиных, а потому могу сказать с Траяном, что ли, с римским императором, или с Титом: diem perdidi.

Старик, пожалуй, и не глуп, но что мне с барышней-то делать? Говорить о пустяках я не могу, да и не занимают меня женские дрязги. Что-то в этих женщинах есть такое, что отталкивает меня от них, — это недостаток той глубокой честности, которая ложится в основу всей жизни мужчины. Ни на одну женщину нельзя безбоязненно положиться.

Я долго сидел у них, но мне как-то было неловко и потому был рад, когда освободился от присутствия девушки. Это присутствие, признаюсь, раздражало меня: нет-нет да и взглянет на тебя большими голубыми глазами (а голубые глаза я что-то не люблю) и улыбнется, а я и рассержусь тотчас. На беду и отсутствие ее не помешало отцу начать разговор все о ней же. Старик души не чает в своей дочери и, по свойственной родителям слепоте, много, кажется, ошибается насчет ее душевных качеств. Он так хвалит ее, с такой любовью говорит об ее характере, о нежности сердца, что мне даже досадно стало. Его тревожило только, что, кроме книг и музыки, Веру Николаевну ничто не развлекало (молода слишком, думаю, оттого и книги занимают, а стукнет за двадцать, так вся погрязнет в платьях, танцах, сплетнях да в отыскивании «невинных» удовольствий). Ему казалось, что дочери с ним бывает иногда скучно, а выезжать она не любит, считая это «самоуничтожением и человекоубийством» (какова!). Оттого старик так рад бывает, когда мы с Стариным навещаем их. Жаль мне этого старика... Что ж, пусть, впрочем, лучше ошибается насчет своей

дочери, пусть утешается ее мнимыми прекрасными качествами, которых я, признаться, не вижу... Обыкновенная девочка с большими голубыми глазами и притом с коварной улыбкой, которая не рекомендует женщину и которая всегда сердит меня.

Мы ушли в сад, уселись там под кустом старой сирени, и я, будучи несколько раздражен воспоминанием о некоторых фразах, брошенных Верою во время разговора за чаем, поддался волновавшему меня чувству и, по своему глупому обыкновению, заговорил о разных, всегда раздражающих меня предметах, преимущественно о значении женщины. Старик меня не сердил, и я мог свободно предаваться своим фантазиям (на беду и я иногда увлекаюсь, точно ребенок, — глупость какая!). Я говорил и в пользу женщин и, как кажется, несколько хватил через край, создавая в своем уме тип женщины — человека (что так же редко в природе, как белые воробьи). Я даже забыл, что старик меня слушает, как вдруг он заговорил:

— Благодарю вас. Как это похоже на мою маленькую Веру...

— Ах, папаша! — раздался за нами голос, и, когда я оглянулся, девушка стояла у самой сирени, вся сконфуженная. Признаюсь, я опять рассердился, потому что вовсе не то говорил, что старику вздумалось понять и отнести к дочери. Да она и не похожа нисколько на мой идеал.

— Извините, Николай Иванович, вы не так поняли меня, — сказал я, — я разумел не Веру Николаевну.

Едва я это сказал, как она вдруг побледнела, пробормотала что-то, кажется, что она не так счастлива и умна, чтобы быть такою женщиною, образ которой я нарисовал, и, конечно с досады, расплакалась. Старик бросился утешать ее, а за ним подбежал и Старин, и оба потом накинулись на меня. Я, разумеется, молчал, потому что смешно было бы оправдываться. Но я все-таки доволен был тем, что избалованная девочка не улыбалась уже весь вечер, а все молчала, только все-таки поглядывала на меня своими большими противными глазами. Впрочем, я отвечал ей холодным, хотя вежливым взглядом.

На прощание, однако, она крепко пожала мне руку и с какой-то дрожью в голосе (без сомнения, сердита на меня) сказала:

— Я не смею приглашать вас к себе часто, потому что вы у нас, кажется, скучаете, но все-таки не забывайте нас.

Я поклонился и подумал, что едва ли скоро они меня увидят. Но старик так упрашивал навещать их, так жал руку,

что я обещал бывать у него, когда позволит время. Не думаю, впрочем, чтоб скоро вышло это позволение. Да и что мне у них делать? Я люблю свой кабинет больше всего.

От Релиных заходил к Туркину и застал его за работой. Он только что получил письма из Петербурга, в которых пишут много для него интересного и раздражающего его желчную натуру.

— Сейчас, — говорит, — получил два номера «Страхопуда» и львовское «Слово»... Слишком плохо там, в Австрии, русским, этим злосчастным «русинам», а чем поможешь?

— Да нам что за охота помогать им? — говорю. — Говорят, и у нас дома много своего дела.

— Помилуй, — говорит, — что за охота тебе-то повторять эту пошлую фразу? Много своего дела! Да мы-то и своего, и чужого не делаем, а ведь они просят нас, они на нас надеются... Этот смех «Страхопуда» болью щемит в моем сердце... Ну, положим, эти галичане дурят, но что ж делать, когда им невтерпеж эти немцы и поляки? Уж когда мы не в силах выносить притязаний остзейских и петербургских немцев, когда газета Мейера волнует нас, так каково же им, на которых немцы и поляки тычут пальцами, а мадьяры бьют палками? Э! человеку развитому должно быть до всего дело — и до своего, и до чужого.

В это время пришел и Тутнев и, по своему обыкновению, начал над всем желчно смеяться, хотя у такого толстяка, казалось бы, желчи и не заводилось.

— О чем, — говорит, — горячитесь, господин публицист?

— Я, — говорит Туркин, — не горячусь, а вот только вскользь коснулся новостей, полученных из Австрии и собственно из Галиции.

— Понимаю, понимаю — это о братьях галичанах, о русских в Галиции, которых Михаил Никифорович Катков запретил кому-то, кажется Мордовцеву, называть «русинами»... Ну а каково поживают братья кандиоты, братья болгары, любезные братья черногорцы, братцы сербы и братцы чехи? Как здоровье Палацкого и Ригра? Что поделывает старик Головацкий, старик Штроссмайер, старина Ганка — ох, да! виноват, он ведь умер — ну, все равно! Как поживают братцы славяне и «матка Польска с рублями москевскеми»?

— Вы смеетесь? — спрашивает Туркин. — Я от вас этого не ожидал.

— Смеюсь. Отчего же не смеяться?

Смеяться, право, не смешно
Над тем, что кажется грешно...

Виноват, перепутал слова поэта, и, хоть уж слишком старо и рутинно цитировать «слова поэта», однако ж я цитирую их.

— Что ж тут смешного? — говорит.

— Как что? Разве не смешно, что все вы пишете-надрываетесь над славянскими братьями, а вас никто ни слушать, ни читать не хочет.

— Как?

— Да так! Припомните судьбу славянофильского и панславистского вопросов. Разве не свистками встречали в литературе Хомякова, Аксаковых, Ламанского, Гильфердинга (извините, я хоть увалень, но я все читаю, за всем слежу, и все прочитанное мой желудок исправно переваривает)?

— Да ведь спорили между собой две литературные партии, два направления...

— Согласен. А общество-то, читатели-то, чью, вы думаете, руку держали? Укажите мне на подписчиков «Русской беседы» — покойницы, покойного «Паруса», «Дня». Не погибла ли «Беседа» в борьбе с равнодушием публики, как погиб несчастный «Атеней», вздумавший было быть серьезным журналом? Посмотрите-ка конторские книги Аксакова — сколько он ухлопал денег на дело, которого знать никто не хочет.

— Отчасти правда, — говорит Туркин, — но теперь не то, то уже прошло.

— Э! помилуйте, все то же осталось... Уж вы лучше не говорите мне о братцах чехах да о братцах лужичанах с хорватами — об этих-то именах у нас никто не слыхал. А коли слыхали, так ими меньше интересуются, чем кафрами и готтентотами, и не в пример меньше, чем абиссинским негусом Федором. Да и славяне-то не очень к нам льнут, раскусив после крымской кампании, что мы только большая, но не великая нация.

— Опять-таки и тут вы только отчасти справедливы: есть между славянами немецко- или польско-западническая партии, которые не любят нас.

— Это вы говорите о сербских «паризлиях» да «напредняках» (прогрессисты), о которых упоминает Ламанский?

— А хоть бы и о них!

— А чехи, вы думаете, любят нас? Ну хоть бы партия, руководящая изданием «Politik» или «Narodni Listy»? Помилуйте, да сам же Ламанский говорит, что в чешском музее, куда мы шлем пудами свои книги и библиотекарей которого,

начиная от Ганки и кончая Вртяткою и Патерою, обвешиваем русскими орденами, русские книги стоят на полках неразрезанными.

— Я это сам знаю, — говорит Туркин, — и голос его звучит глухо, хрипло, с какой-то суровою, разъедающею грустью, — но что же нам делать? Явления нынешнего века бьют нас по глазам и по мозгу. Разве вы не видите по началу войны, что Пруссия съест Австрию?

— Да, вижу.

— А отчего, вы думаете? Оттого, что...

— Знаю, знаю, что поет политическая печать наша, оттого-де, что мелкие германские дроби, объединившись в крупную политическую единицу на законах национального объединения и сконцентрировавшись нравственно своею великою семьею, могут закусать теперь весь мир.

— А разве не так?

— Не совсем: не в сепаратизме беда, а в невежестве, в нашем повальном невежестве и застое русского ума... Вот тот деревянный конь, в котором Европа и все немцы въедут в новую Трою, в Россию, и разрушат ее. Да и братцы славяне в большинстве такие же невежи, как и мы, а более развитые из них льнут к Западу, а о России говорят вместе с Геру, де Мазадом и Анри Мартеном, что у нас только и есть добра что снега, казак, медведь да дикие бояре... Уж и не говорите мне о славянских братцах — тошно слушать.

— Странно, вы, кажется, пережевываете то, что десять лет назад говорили наши нигилисты, а теперь попримолкли.

— Нет, не нигилисты! По-моему, так я бы и нигилистов и оптимистов всех на одну осину повесил... Все это, что они делают, ведь одно битье воздуха языком.

— Так скажите же, что нам надо?

— Кнут...

Туркин остолбенел при этом слове, а Тутнев сказал его с гримасой — и засмеялся.

— Вы шутите? — спросил Туркин.

— Шучу и не шучу: нам нужен нравственный кнут и кулак — учить, учить, учить и учить нас надо, учить силою, из-под палки, а иначе мы обленимся. Ведь стыдно сказать: нас правительство, как при Петре, продолжает вести на веревке вперед, к прогрессу, а мы упираемся. Кто освободил крестьян? Мы? То-то же!.. Кричат, что государство распадается от разных бесчисленных сепаратизмов: нашли сепаратизм малороссийский, потом остзейский, за остзейским последовал сепаратизм сибирский, а там кавказский, нашлась

«молодая Армения», подобно «молодой России»... Обвиняли за сепаратизм Костомарова, Кулиша, Белозерского. «Современник» указывал даже, что в квартире Костомарова находится склад сепаратистских сочинений, преимущественно малороссийских. Катков обвинял украйнофилов в попытках отделить Малороссию от Великой России. И вот народные книги, писанные на южно русском наречии, запрещены, и народ остается в невежестве... Удивительную фразу придумали: Россия разлагается от политического сепаратизма! Нет, разлагается она от сепаратизма невежества — вот где зародыш разложения... А там вздумали травить «Голос» за то, что он обвинил будто бы русский народ в повальной пиромании. Что ж, разве не прав был «Голос», что шестьсот случайных поджогов (заметьте, поджогов, а не пожаров) не может быть без пиромании? А отчего эта пиромания? От невежества, все от невежества.

По мере того как говорил Тутнев, лицо Туркина становилось все суровее и суровее, так что мне жаль его стало.

Он долго молчал по окончании слов Тутнева. В нем, по-видимому, шла жестокая, тяжелая внутренняя борьба. По временам он вздрагивал, и, когда хотел было что-то сказать, губы, видимо, не могли сложиться в улыбку, с которою он обыкновенно говорил, а как-то конвульсивно вздрагивали. Наконец он заговорил:

— Позвольте же и мне высказаться... Все, что вы сказали, относится к прошедшей, а не к настоящей России. Года два-три назад мы схоронили эту Россию. Последние годы вы, кажется, жили в провинции, и к вам, сколько я догадываюсь, не достиг звон погребального колокола, которым мы провожали в могилу то горькое наследие, которое нам оставлено было неудачно сложившимся прошлым. Повторяю, до вас не долетел звон погребального колокола, а я лично присутствовал при похоронах того, что вы еще считаете живым. Я не спорю с вами: вам лучше судить о невежественности и равнодушии провинциального quasi-образованного общества к кровным вопросам русской жизни, о его пустоте и об узости круга его мировоззрения и его жизненных стремлений. Но при всем том мне кажется, что нарисованная вами пустота и пошлость вся пала только на долю того отребья русского общества, которое похоронено заживо, хотя и продолжает считать задачею жизни то времяпровождение, которое свойственно было средневековому рыцарскому варварству. Если вы в каждом провинциальном городе видите эту небольшую кучку людей

старого покроя, хотя и молодых по летам, эту клику диких, живущих в России во второй половине XIX века, одетых в самые модные европейские костюмы, говорящих на самом модном европейском языке, танцующих самые модные французские и польские (преимущественно польские — заметьте это!) танцы — то это мертвецы, танцующие танец смерти. Заметьте, они только и думают о своих саванах, о костюмах, о платьях, потому что в жизни, в работе этой суровой, разумной жизни для них ничего не осталось, кроме саванов, и эти живые мертвецы ничего не делают, как только посещают соседние могилы, делают друг другу мертвецкие, мертвецки-скучные визиты, говорят об интересах домогильных, старых, опочивших, отрешенных от разумной жизни или танцуют танец смерти. Вспомните пляску мертвецов на кладбище в «Роберте-Дьяволе» — там мертвецы прельщают живого человека... Но довольно о мертвецах: вы сами, конечно, согласитесь, что это ходячие трупы, прекрасно одетые, подбеленные, подрумяненные и надушенные, чтоб от них не пахло могильной затхлостью и мертвечиной... Но вглядитесь вы и в провинциальное общество, вглядитесь в живых людей — разве не отражается на их лицах веяние новой жизни, разве не видите вы на этих лицах присутствия серьезной мысли, разве вы не видите на руках их следов мозолей от честного труда, следов чернил на пальцах от труда иного рода, менее грубого, чем тот, который оставляет мозоли и черствит руку? Разве вы не слышите, о чем говорят эти люди? Их занимает и настоящая война в Европе, их тревожит и падение нашего курса, их волнует и ожидание судебной реформы, интересуют дела земства. Поезжайте на почту — и вы увидите, что из тюков при разборке почты вываливают целые кипы журналов, газет и книг на имя купцов, ремесленников, чиновников, живущих жалованьем. Зайдите в кондитерскую — наличные номера газет измяты, засалены от употребления. Живые люди читают и в провинции, да читают не одно легкое, развлекающее, убаюкивающее. Что может быть серьезнее и специальнее «Вестника Европы», а я лично слышал от Стасюлевича, что его журнал выписывается в такие города, одни имена которых приводят на память слова Гоголя, что если от них скакать на почтовых, то в три года не доскачешь ни до какого государства, выписывается, наконец, в такие захолустья, о каких петербургскому жителю и не снилось. Все это говорит не то, что вы говорите. А загляните в Петербург, да загляните зорким глазом, а не с птичьего полета, — два, три года там сделали столько, сколько не могли сделать де-

сятки лет. Вчера вы нападали на бездействие, на пустоту провинциальной quasi-образованной женщины. Опять-таки я с вами не согласен: вы и тут берете женщину-мертвеца, женщину из заколдованного круга, где царит смерть. А вы возьмите женщину молодую, женщину нынешнего века, выпущенную не из института, а хоть бы из гимназии — и, пока она не попала на кладбище (вы помните, что я называю кладбищем), она настолько же человек, как и мы с вами. О Петербурге я не говорю: сколько там прекрасных, светлых личностей, какие богатые головки вы найдете и под длинными, и под стриженными косами, какую жестокую и стойкую войну ведут эти хорошенькие головки против всего того, что наложило на женщину толстым слоем пыли и средневековое варварство, и современное невежество. Вы не смейтесь над женскими артелями: надо же бедной женщине разбить вековые цепи, которые наложены не только на их руки и ноги, но и на их мир, на их сердце, впечатлительное, отзывчивое. Я знаю таких женщин — в них надежда нашего и будущего века. У нас есть сотни Сусловых, хотя о их не печатает ни Сеченов, ни Белов. Не смотрите на женщин, показанных нам Авенариусом, как смотрят на них его критики: хлыщи были и есть как между мужчинами, так и между женщинами... Позвольте мне сказать и о «братцах славянах», как вы их называете...

— Нет, нет, — прервал его Тутнев, — о братцах славянах и о немцах мы еще поговорим с вами после, теперь мне надо посетить один вечер, где, как вы выражаетесь, собираются мертвецы... Прощайте, я еду на кладбище.

Однако мой дневник начинает, против моей воли, превращаться в какой-то трактат. А зачем я его пишу? Чтобы смотреть на мое собственное безобразие, на то, как глубоко опустился я в этой плесени.

А мой поганый, погрязший в этой плесени мозг все-таки говорит мне, что чуть ли Тутнев не правее моего друга. Ведь я сам едва ли не принадлежу к кладбищу...

IV. ХОРОШАЯ ПЕЧЕНЬ ЛУЧШЕ ХОРОШЕЙ КОСЫ

Как, однако, давно не писал я в своем дневнике. Все это время я был в каком-то странном состоянии, то лихорадочно работал, то испытывал самые тяжелые припадки какой-то тупо подавляющей, гнетущей апатии, ленился до

одурения, до тоски, пока опять как сумасшедший не хватался за работу, увлекался, точно школьник, и даже забывал о своих нервах и своей печени. Иногда мне в самом деле кажется, что я сумасшедший. Но когда оглянусь вокруг себя и вгляжусь в эту разумную жизнь, в эту деятельность других, мне подобных, деятельность, по-видимому, кипучую, а в сущности едва ли не пошленькую — я убеждаюсь, что если я и мономан, сумасшедший, то хоть по крайней мере не идиот. Право, так. Впрочем, мне все равно — я ведь схоронил себя...

У Релиных я ни разу не был, потому что мне и дома было хорошо, если б не этот глупый Матвей, я считал бы мою могилу сносною. На него, видите ли, блажь напала заниматься литературой. Это бы еще куда ни шло, а то нет, мало ему показалось тех книг, которые я ему дал, а забрался он в мой шкаф и перетаскал в переднюю почти все лучшие издания, устроил себе сиденье у окна, и по целым часам отвратительнейшим образом распевает в нос стихи Некрасова и «Записки» Тургенева. Такая тоска с этим человеком! А урезонить не могу — сердится, говорит, что я лишаю его образования, и на печень тоже свою жалуется: а уж я смерть не люблю, когда он жалуется на печень: непременно пойдет в кабак и подерется с кем-нибудь.

— Я, — говорит, — сударь, отчитываюсь от тоски.

— От какой тоски? — говорю.

— Да в сердце, сударь, тоска.

— Отчего же?

— Жить скверно, и на свет бы Божий не глядел, так все опостылело.

Ну и жаль станет человека, позволяешь ему читать, только бы не тосковал. А то недавно вздумал овладеть моим халатом: лучше, говорит, заниматься в халате. Эдакой дурак! Но халат-то я отнял у него. После того смотрю, притащил в переднюю маленького поросенка и стал приучать его к комнатам: я выучу его, говорит, как собачонку, ходить за вами. Выбросил я и поросенка — ужасно надоедает визгом.

Вот такие все фантазии приходят в голову этому глупому человеку, а ведь уж не молод, почти старик. «Тоска, — говорит, — все». В прошлом году мучил меня тем, что достал где-то молоденького скворца и сороку и все учил говорить их. Все уши мне прожужжал. А как ничем не занят, так и в кабак. Теперь, слава Богу, одолела его литература, и я все-таки покойнее.

Я сегодня, впрочем, рад был выйти из своего кабинета, чтобы вместе с Стариным погулять за городом и подышать воздухом, который там все-таки менее пылен, чем в городе. Я знал, что мы непременно пойдем мимо острога, и потому, чтоб не лишать себя удачного расположения духа, не забыл захватить с собой денег для арестантов. Что делать, признаюсь, я эгоист: мне не хотелось раздражать свою печень отказом, когда из окна протягивалась ко мне мозолистая рука, а бледные губы шептали: «Подайте», — я и подал. Но не понимаю, что за охота Старину всегда заводить речь о Релиных, как будто умному человеку нельзя ни о чем другом говорить, как только о барышнях. Я подозреваю, что он влюблен в эту насмешницу или они вместе смеются над моими воображаемыми причудами. Впрочем, Старин слишком честен, чтоб заниматься этим ремеслом. А впрочем, кто его знает!

— Вера все о тебе спрашивала, — сказал он, когда мы вышли за город.

— Что ж из этого? — говорю.

— Так, — говорит, — она теперь перечитывает все, что тебе нравится.

— Ну и пусть ее перечитывает, — говорю, — все это для того, чтоб спорить со мной да раздражать меня.

— Право, какой ты смешной (я же смешной!)... Она, видимо, заинтересована тобой. При всяком разговоре она постоянно прибавляет: «А что бы сказал об этом ваш приятель?»

— Ничего бы я не сказал ей... Посоветовал бы быть умней.

Он даже рассердился на меня за эту фразу. Но ведь я не шучу, мне все это надоело. Сколько потом он ни заговаривал о своем любимом предмете, я все не поддавался, все сводил речь на более интересные вещи, так что он не вытерпел и сказал:

— Ты точно рыба! У тебя, верно, кроме печени, ничего нет — ни сердца, ни души.

— Пожалуйста, — говорю, — не отзывайся так о моей печени.

Право, досадно даже, как это люди, очень умные, не хотят понять, что хорошая печень лучше хорошей косы и голубых глаз.

V. НЕМНОЖНО ПАНСЛАВИЗМА

Сегодня принесли мне два письма с заграничными марками. Смотрю — от Туркина. Оказалось, что он успел уже исколесить половину славянских земель и теперь находится

в Вене. Он побывал в Праге, Львове и Белграде и, как оказывается из письма, вынес не то впечатление из личного столкновения с славянами, какое предсказывал Тургенев. В Праге он нашел несколько русских, которые тотчас же познакомили его с чехами, как «русолюбами», так и с чехами «властенцами» (патриотами). Видел Палацкого, Ригра, Браунера. Особенно радушный прием он нашел у Патеры, одного из библиотекарей Пражского музея. Патера свел его с Колларом (это сын того знаменитого Коллара, всеславянского поэта или пророка панслависта, написавшего известную «Slavy Dcera», которою мы, бывало, так восхищались в университете), Езберою и Первольфом — тоже служащий в музее. Почти все они говорят по-русски, хоть не совсем свободно. Что всего замечательнее, так это то, что у Патеры есть и русский самовар, из которого он радушно угощает чаем приезжих русских. Все они отзываются о России с большой симпатией, особенно о последних социальных движениях в обществе, о либеральных реформах правительства, хоть знают Россию гораздо менее, чем мы Европу. И неудивительно, они изучали Россию или по немецким коротеньким учебникам, Бог знает когда и кем составленным, или по отзывам заграничных друзей России — Анри Маргенов, де Мазадов, Духинских и всей польской эмиграции, которая, конечно, не с особенным сочувствием отзывается о России, о русском образовании, о русском обществе.

В музее он проверил отзыв Ламанского о том равнодушии чехов, с каким они оставляют неразрезанными присылаемые им из России книги, и нашел, что в последнее время русскою литературою чехи интересуются гораздо более, чем несколько лет назад.

На другой день по приезде в Прагу чехи повели его осматривать город и его окрестности, после того как они осмотрели музей. Видели могилу Жижки, гуляли на Петчине, на Стрелецком и на Софьином острове. Каким странным, никогда не испытываемым прежде чувством, пишет он, забилось его сердце, когда, гуляя по берегу Влтавы (Молдава) чехи запели песню из «Суда Любуши»:

Aj Wltavo, ce mutisi vodu,
Ce mutsisi vodu strebropenu.

«Ах, Влтава, что ты мутишь воду, что ты мутишь воду сребропенную» — слова, столько памятные всем нам от университета, когда вслед за Григоровичем или Срезневским мы читали нараспев «Суд Любуши» и восхищались его красота-

ми. И как мы любили тогда славян, как охотно заплакали бы вместе с Колларом при чтении его «Дочери Славы», когда он говорит в прелюдии к своей великой поэме: «Ах, здесь, пред очами моими, слезы проливающими, лежит та земля, которая некогда была колыбелью моего народа, а ныне стала его гробом...» Как мечтали мы пешком исходить все славянские земли, побрататься со всеми славянами, начиная от лужичан, чехов и кончая сербами, черногорцами, хорватами и болгарами!.. Сколько радужных надежд переживали мы, составляя планы всеславянского объединения, нравственного и литературного союза... Ламанский, Пыпин, Ровинский и другие — это из нашего общего университетского кружка, и всех последовательнее из этого кружка был Ламанский, он же остался и последовательнее всех...

Какой я, однако, фантазер. По поводу писем моего друга о славянских землях замечтал о наших школьных молодых фантазиях... Что ж, некоторые из нашего кружка уже сделали свое дело, и имя их не чуждо славянскому миру. И за то спасибо нашим добрым профессорам — Срезневскому, Григоровичу...

Туркин пишет, что чехи добром вспоминают пребывание у них Ламанского, Бодянского, Срезневского, Буслаева, Погодина, Костомарова... Помнят и одну славянку, которая посещала музей и все достопримечательности Праги. Это — молодая русская «слечинка» — барышня, которая очень забавляла солидного и почтенного библиотекаря музея, Вртятку, преемника Ганки, тем, что выучила из сборника его стихотворений одну пьеску и оригинально декламировала, а равно доказывала чехам, что смешно говорить «вонядло» вместо «духи», «сидядло» вместо «кресло», «дивидло» вместо «театр» и проч. Она же уверяла чехов, что лучше стереть «пыль со стола», а не «прах», потому что у нас есть только прах родительский и проч., а на столе пыль. Помнят чехи Троянского и с особенным удовольствием вспоминают о Ровинском, который пешком исколесил всю Чехию, сблизился с народом, и народ полюбил его так, что австрийское правительство заподозрило русского слависта в политической агитации и арестовало его.

«Когда, — пишет Туркин, — зашла речь о последней прусско-австрийской войне, в которой так тяжко досталось Чехии, приятели чехов, русские, бывшие в их обществе, затянули известную чешскую песню о «брандебургцах».

Zle, maticko, zle, maticko, zle, maticko, zle!
Brandeburci, Brandeburci, Brandeburci zde...

В этой песне говорится, что пруссаки, на которых черные шапочки, побрали у чехов всех кур и отняли у них все дукаты. При пении этой песни чехи от души смеялись, хотя нехорошее чувство шевелилось в них в отношении к пруссакам и — по рефлексу — к австрийским немцам. Но что делать! Надо покоряться немцам, которые как змеи обвились железным кольцом около шеи чехов.

По дороге от Вены к Львову Туркин случайно столкнулся с одною таинственною, неразгаданною личностью, имя которой появлялось в некоторых русских журналах. Это — Иванов-Желудков. Туркин в высшей степени заинтересовался этой личностью. Путешествуя с турецким паспортом как турецкий подданный, Иванов-Желудков занят изучением славянских народностей и в высшей степени своеобразно относится к славянскому делу, к последним общественным реформам и движениям в России, наконец, к нашим заграничным врагам и к полякам. Но при всем том что за странная, неразгаданная и в то же время сильная личность. Из разговоров с ним, мой друг не мог не заметить, что ему не безызвестны, и даже слишком близко, такие личности, как Герцен, Огарев, Бакунин... Дела турецких и австрийских славян ему близко знакомы, и еще ближе, по-видимому, он знает дела, виды, чаяния и движения как в русском, так и заграничном расколе. Без сомнения, это русский человек. Петербург он знает как свои пять пальцев и видно, что учился в нем, что, быть может, вращался даже некогда в одних кружках с нами. Иные говорят, что он — мордвин (странно, почему же именно мордвин?), другие, что он раскольник.

В Вене он познакомился с Ливчаком, редактором «Страхопуда», и прислал мне несколько номеров этого сатирического журнала. Как, однако, метка и зла сатира этого Ливчака, который называет себя «Его Высокострахопудом» и которого едкое слово становится поперек горла и немцам, и полякам. Это один из сильных борцов славянского объединения: он побивает своих врагов насмешкой, карикатурой, тогда как другой боец за идею славянства, Дедицкий, редактор львовского «Слова», отбивает нападки многочисленных врагов холодным оружием, холодным, сдержанным словом.

Какою завидною жизнью веет от этих писем моего друга, сколько светлых надежд слышится в его словах, какой избыток силы, как я вижу, кипит в нем и пробивается наружу. А! Кажется, в нем осуществляются наши школьные светлые меч-

ты, наши молодые чаяния: он там, куда неслась наша мысль, куда тянуло наши отзывчивые сердца! Он там — у почина нашего дела — о! когда-то оно было наше, а теперь их, а не мое, не наше. Их корабль вышел в открытое море, он уже борется с бурями и непогодами, только одного меня проклятая судьба выбросила за борт из этого корабля как негодного. Выбросила! О, какой черт выбрасывал меня, когда я сам, жалкий, безвольный, ничтожный, бросил и великий корабль будущего, и его славных, сильных кормчих, я сам все это бросил и окунулся с головой в эту тину, в эту плесень, где даже мухи оглупели, слыша от людей одну пошлость и видя их пустую, бесцельную, узкорамчатую, грязненькую, меленькую жизнь с маленькими интрижками... О, наши мечты, наши светлые планы! Выбросили! Никто меня не выбрасывал, и если кто не попал в лучшее место, так, значит, не стоить его — и я не стою, не стою быть у почина их великого дела. Ведь меня, кажется, скоро интересовать будет то, что интересует здесь всех, как на последнем маскараде, например, в прошлую зиму одна пьяная рука вынула из-под женского корсажа, не в меру декольтированного, нечто мягкое и показала это нечто всему обществу, достойному этого зрелища...

Да, их корабль вышел в открытое великое славянское море, и я готов плакать как ребенок, глядя, как белеется этот парус в далеком море, и хочется мне закричать вслед кораблю:

O, navis! referrent in mare te novi
Fluctus? O, quid agis!

И вижу я на этом корабле знакомые лица, и между ними много моих бывших товарищей, которых я видел и во сне, под горою Неведения, когда они, в виде гномов, катили в гору громадный ком золота.

Он пишет, как его чуткому сердцу слышится, что подготовляется великое движение в славянском мире. Война добила Австрию. Она опрокинута вверх дном и еще не знает, как ей удастся встать — на голову или на ноги. А что же славяне? Они чаще и чаще поглядывают на север, к нам... А у нас что? У нас в большинстве, особенно по провинциям, сон непробудный, храп возмутительный, топот человеческих ног под банальную музыку, заглушающую звяканье страшной цепи. Эх! Так и хочется сказать с злым, поганым, адски злым Тутневым: «Нет, не надейтесь на нас, братцы славяне... Мы все Маломальские — мы загуляли... а жена как там знает...»

Нет, нет, не прав Тутнев! Это мы с ним спим, а многие не спят, делают. Даже в этом городе есть работающие негры — честные рабы своих убеждений.

А все-таки эти письма разбудили во мне лютую змею, которая давно спала у меня под сердцем. Я отстал, я опустился, я не гожусь даже быть последним матросом на славянском корабле. Я, как старая крыса, бросился с корабля за борт, когда только был поднять парус... А парус поднят, я вижу его:

Парус поднят, ветра полный,
Он канаты натянул
И на ропщущие волны
Мачту длинную нагнул,
Парус русский. Через волны
Уж корабль несется сам
И готов всех братьев челны
Прицепить к крутым бокам.

Что это я, точно Матвей, декламирую стихи... Да и чем я выше Матвея! Я ниже его, я недостойнее его, он хоть сапоги мне вычистит, обедать подаст — все же это дело, все же это прибавка к великой, дружной общечеловеческой работе. А что я сделал? Воображал в себе великие силы — и сделал меньше Матвея. Любил — и разлюбил. Танцевал — и перестал танцевать.

Как, однако, я себя глубоко презираю.

У Матвея сегодня зубы болели. Он купил себе новые сапоги и ужасно воняет ими. К нему приходила кума, и они говорили, что у другой его кумы родился ребенок и у родильницы сделалась молочница. Матвей говорит, что у нашей лавочницы корова отелилась и оттого не было сливок к чаю. У Голинских сегодня двухаршинного осетра варили — было много гостей. Матвей говорит, что было весело, — ихний лакей сказывал.

Господи, да что ж это такое?! Я уж вполне погрузился в матвеевские интересы. Да и отчего ж бы не так? Чем я выше его, чем я это доказал? Тем разве, что умею говорить вычитанные из книг чужие фразы. А что я сделал, что внес в этот мир своим существованием? Ничего, кроме... экскрементов! Да ведь это же делает и Варвара Власьевна — соседка, с той разницей, что она меняет любовников чаще, чем Матвей белье.

Опять Матвей! Славянские братья, панславизм, политическое объединение славян и — Матвей! Как, однако, я гадок даже сам себе.

VI. УМ МУЖСКОЙ И УМ ЖЕНСКИЙ

Странное существо человек — и глубоко уважаемое, и глубоко презираемое. Вчера мне было так мучительно гадко, я так глубоко страдал, так бесконечно, так страстно презирал себя, что готов был раздавить себя, как гадину, а сегодня мне и работать хотелось, и не считаю я себя безнадежно погибшим.

Неужели все это печень? Вот и говори, что печень не лучше всякой женской косы и всяких женских глаз.

Кстати о женщинах. Утром, проходя по городу, я натолкнулся на Тутнева, который, стоя около Веры Николаевны и Старина, о чем-то толковал со свойственными ему гримасами. Как оказалось, Вера Николаевна и Старин шли из городской публичной библиотеки и тащили связку книг. Я застал их за следующим разговором:

— Так, так, я знал, что комплимент, сказанный женщинам Боклем, придется вам по сердцу, — говорил Тутнев.

— Почему же комплимент? — спрашивала Вера.

— Об индуктивных-то и дедуктивных способностях женщины?

— Да, именно о том, что в уме женщины Бокль находит едва ли не высшие качества, чем в уме мужчины, — продолжала Вера.

— А вы ему и поверили на слово?

— Извините, я на слово никому не верю, даже Боклю.

— Это похвальное качество, — дразнил ее Тутнев, гримасничая.

— Я соглашаюсь, не могу не согласиться с теми логическими доводами и фактами, которыми Бокль подкрепляет свое мнение о немаловажном значении женщины в истории цивилизации, — продолжала Вера, горячась.

— Эх, Вера Николаевна! Кто же сомневается в хороших, извините, сносных качествах мозга женщины?.. Может быть, он и достаточно тверд, и достаточно даровит, и достаточно высок, может быть, даже весче и сероватее мозга мужчины, никто не оспаривает способности дедукции и индукции в женщине — она ведь в известной степени есть и у собак, и у гориллы, и у кретина, — все может быть. Да сравните результаты деятельности мозга собаки, мозга гориллы, мозга кретина, мозга женщины и, наконец, мозга мужчины. Что сделали и делают женщины для человечества такого, что равнялось бы тому, что добыл грубый, менее подвижный, как вам за Боклем хочется думать, мозг муж-

чины? Перечислите по пальцам великие открытия и дела ума человеческого, и вы не найдете в похвальном аттестате, который вечность выдала человечеству за его подчас великие, и прекрасные, и изящные деяния, вы не найдете в этом кандидатском (не говорю магистерском или докторском — до этого еще слишком далеко) дипломе ни одного, положительно ни одного женского имени, которое по величине своей равнялось бы имени мужчины. Все, чем вы гордитесь, чем восхищаетесь, над чем плачете в немом восторге, — все это добыто мозгом мужчины, его мускульной и духовной работой.

— Позвольте, — говорила Вера, и голубые глаза ее превратились в черные, — а разве не впечатлительный женский ум, разве не чуткий женский инстинкт нередко наводили менее чуткий и менее подвижный ум мужчины на великие открытия, на святые научные и нравственные истины? Ведь исторических фактов, этих маяков прошедшей жизни человечества, приводимых хоть бы Боклем, которого вы хотите перещеголять оригинальностью, не забьет даже мужская логика, если б она была так же сильна и неотразима, как знаменитый молот на литейном заводе Круппа.

— Вот как! — ответил на это Тутнев. — Вы изволили неосторожно выразиться о чутком женском инстинкте, который будто бы предупреждал великие открытия мужчины. Ах, сударыня, в эту грубую ошибку ввел вас чуткий женский инстинкт самого Бокля... Я не говорю о том, что в оставшихся после него сочинениях многие заставляют подозревать, что до многого он дошел чутким женским инстинктом, как вы изволили — повторяю — неосторожно выразиться... Критика докажет в свое время, как много в ряду великих истин, сказанных Боклем, сказано им и грубых ошибок, и все с помощью чуткого, ясного инстинкта, как вы изволили выразиться крайне неосторожно.

— Почему же неосторожно?

В голосе Веры слышались слезы. Она мне казалась менее скучной и противной, тем более что голубые глаза ее (за голубыми глазами и светлыми волосами я всегда вижу в человеке присутствие лимфы земноводных, оттого и не люблю блонды в человечестве) сделались почти черными.

— Успокойтесь, не плачьте и не относите моих слов, которые я сейчас скажу, к вашей прекрасной особе. Инстинкт, да еще чуткий! Разве не собачий чуткий инстинкт помог финикиянам узнать качества, не оцененные в истории человече-

ства, — качества кармина? Разве не свинья своим чутким свиным инстинктом помогает человеку найти присутствие трюфелей? Разве не свинья же, вследствие своего чуткого инстинкта, хрюканьем предсказывает то, что не всегда верно предсказывает барометр — изобретение ума мужчины? Разве не собаки чуют след зайца, когда мужчина-охотник его не чует своим грубым носом?.. Женский ум предупреждал великие открытия ума мужчины — этим слишком много сказано, Вера Николаевна. Ведь вы, пожалуй, по системе Бокля, станете доказывать, что яблоко, ударившее в лоб Ньютона, когда тот лежал под яблоней, предупредило великое открытие Ньютона — открытие закона тяготения.

Вера молчала. Видно было, что в ней происходила жестокая внутренняя борьба. А может быть, и самолюбьице страдало.

Не находя в себе самой защитительных ресурсов, она обратилась ко мне:

— А вы что на это скажете, Владимир Николаевич?

Я сказал, что во многом согласен с Тутневым.

— Во многом! Не во многом, а во всем придется со мной согласиться, — возразил Тутнев.

Вере, видимо, хотелось плакать. Мне жаль ее стало; она казалась такою маленькою, так безнадежно склонила голову, и эта головка напомнила мне другую головку, при виде которой когда-то так надрывалось мое сердце и билось счастьем... Э! И опять точно надорвалось мое поганое сердце, как-то скукожилось, адское, бессмысленное, и все оттого, что по нем как молния ударила мысль, что ведь и ту чудную головку, над которой я умирал, уже забыло это низкое свиное сердце.

— А что это вы несете? — спросил Тутнев, обращаясь к Старину.

— Вот для Веры Николаевны книги из публичной библиотеки, Брем, Мори, Шлейден...

— Ну, я так и знал... Мода — и преглупая, как всякая мода.

— Что же это глупо — чтение? — спросила Вера, думая, кажется, хоть на этом побить своего противника.

— Нет, чтение само по себе не глупо, а следование моде — извините — глупо.

— Какой же моде?

В голосе Веры слышалось раздражение.

— Да моде на чтение книг все об одних только собаках да козявках...

— Какие собаки да козявки?

Вера захлебывалась от досады.

— Да вот у Брема хоть бы... На всех напал раж читать по естественным наукам, да все популярные книги.

— Что ж тут дурного?

— Дурного ничего нет, но и хорошего меньше, чем вы предполагаете.

— Почему же?

— Говоря серьезно, Вера Николаевна, я решительно не понимаю этого увлечения, с которым все читающее набросилось в последние годы на популярные трактаты по естественным знаниям. Не спорю, жизнь природы, жизнь животных, жизнь птиц представляют много интереса для наблюдательного ума: знания естественных сил и проявлений этих сил имеют громадное значение в области человеческих знаний. Но как хотите, важность знания жизни птиц уступает важности знания жизни человека — гражданского ли строя обществ, политического ли склада народов. Я согласен, Брем неподражаем, когда он, например, отстаивает честность воробья от взведенной на него всем человечеством черной клеветы, будто воробей — вор. Согласен, это очень мило, но согласитесь в то же время, что это не более как забавно. Воробей — идеал птичьей честности, петух чуть ли не идеал целомудрия, ворон — мизантроп и анахорет, сова — немецкий гелертер и философ — все это очень любопытно, как сказка, все это очень легко читается. Или хоть бы муравей — рабовладелец, муравей — полководец, муравей — инженер, муравей — аристократ и плебей, подобно римскому рабу воспитывающий муравьев — патрициев (или, кажется, рыжих муравьев) — ведь ни муравей, великолепно устроивший свою республику, ни воробей, ни сорока не научат нас устроить наше гражданское общество, задавить этот проклятый пауперизм, разъедающий Западную Европу да и нас отчасти, научить человечество разумному труду, избавить нас от бедности, от горя, от войн, от лишений, от крови, от слез. А изучение человеческих обществ, его гражданских и политических ошибок и затруднений, знакомство с мрачными и закулисными сторонами государственной жизни, знание экономических и социальных требований века, знание прошедшей жизни человечества, разоблачение тех негодяев, которые были причиной пролития рек крови и рек слез в человечестве, разоблачение тех подлых интриг, которыми эти негодяи опутывают людей, целые государства, пользуясь невежеством масс, — эти знания помогут нам выбиться на

свет Божий, свалят с нас те камни, которыми нас придушило наше собственное невежество, раскуют эту заржавленную от времени цепь, которую мы волочили за собою и в церковь, и на бал, и в университет, и в публичную библиотеку, в которую вы изволили заходить.

Вера слушала его внимательно. На глазах ее сверкали слезы.

— Благодарю вас, m-r Тутнев, — вы благородный человек.

— Не совсем, Вера Николаевна, к сожалению. А за то, что я обидел вашего воробья, — простите меня.

— И вы можете шутить после того, что вы сказали?

— К несчастью, могу... Рабыня-мать от раба меня родила, и рабом я умру — рабом рутины, рабом обычая, рабом проклятого прошлого, которое на нас, невежественных негров, надело цепь, и мы, как собака ошейником, гордимся этой цепью... Говорят: приличие, так принято, так все делают, так все думали и думают... Рабские, лакейские слова! Да, я шучу, Вера Николаевна, потому что, повторяю, рабыня-мать меня родила и рабским молоком вспоила, рабскими пеленками пеленала, рабские колыбельные песни надо мною певала, учила быть рабом, — и я раб, хотя столбовой дворянин, богатый землевладелец и гласный нашего губернского земства... А любопытно знать, в нынешнем декабре состоится ли земское собрание, наберется ли законное число гласных?.. Нет, плакать хочется, Вера Николаевна.

Та пожала ему руку.

— А за воробья все-таки не сердитесь: он честный человек.

Вера расхохоталась.

— Однако мне пора — я заболтался с вами... Прощайте, Вера Николаевна. Кланяйтесь папаше.

— Прощайте, m-r Тутнев, заходите к нам.

— Зайду... А ты куда? — обратился он ко мне.

— В уголовную палату.

— Я провожу тебя... Скоро ли совсем вычеркнут эти уголовные палаты с их канцелярской тайной, ни для кого не тайной?.. А давно пора.

Вдруг он обернулся назад.

— Позвольте, позвольте, Вера Николаевна... Вы не так идете.

— Как не так? Что еще?

— Вы идете под руку с господином Стариным — это очень любезно с его стороны. Но он не умеет вести вас: он подал вам левую руку, а это не принято, неприлично.

— Да ведь у меня в правой руке книги — рука занята, тут Брем, защищающий честность воробья...

— Все это так, только неприлично вести даму с левой стороны.

— Отчего же неприлично?

— С левой стороны принято водить только женщин... как бы вам деликатнее это выразить?.. Да, вообще, таких женщин, честность которых Брем не согласился бы поставить на одну доску с честностью воробья, даже петуха...

— Это глупо... Не все ли равно, — сказала Вера, — по-моему, правая рука у мужчины должна быть свободна для защиты дамы, которую он ведет, от диких нападений.

— Все это так, по здравому рассудку, Вера Николаевна... Но, к несчастью, все, что прилично, все, что у нас принято, всегда идет вразрез с здоровым рассудком — так и тут.

— Смешно.

— И смешно, и грустно, и гнусно, как на кого... Извините, Вера Николаевна, я опять обижу женщину, но воробья вашего не трону... Я вам докладывал, что до сих пор женщина составляла нуль в человечестве. Мужчина — единица, иногда крупная, иногда мелкая... Вы знаете главные правила арифметики, Вера Николаевна?

— Знаю, кажется.

— Ну, так вы, вероятно, помните, что когда к нулю прибавить единицу с левой стороны, то и единица и нуль составят десять. Понимаете, в десять раз увеличится единица от прибавки нуля, то есть вдесятеро увеличился мужчина. А десятичные дроби помните, Вера Николаевна?

— Помню, кажется.

— Так вы должны знать, что, когда к единице прибавить нуль с левой стороны, тогда это составит 0,1, то есть нуль целых одну десятых. Это значит, что нуль с левой стороны уменьшает единицу в десять раз. А потому выходит, что когда мужчина ведет с собою с левой стороны такую женщину, честность которой Брем не согласился бы поставить на одну доску с честностью воробья, то он умаляется через это в десять раз... А потому, Вера Николаевна, извольте переходить направо, потому что вы честнее даже воробья.

— Благодарю за комплемент, в котором остроумия, впрочем, столько же, сколько в воробьином носе длины.

Удивительный человек этот Тутнев. Положим, мне понятен его ригоризм в отношении ко всем безобразным явлениям жизни. Умный человек иначе и не может к ним относиться.

Но такая, как в нем, брезгливость в отношении к женщине мне непонятна: положим, и я ставлю ее довольно низко, а уж он, по-видимому, не признает за женщиной ничего высокого и благородного. А между тем я знаю, он глубоко уважает одну девушку, он безраздельно отдал одной ей и свою упрямую голову, и свою упругую волю, и свое брюзгливое, задирчивое сердце. Он много любит ее, и мне известно — она его любит, но меньше.

Что ж это такое? Я никак не могу его понять.

А впрочем, пора и спать. Бедный Гарибальди! Последняя война погасила его счастливую звезду. По всему видно, что он начинает стушевываться. Впрочем, он сделал свое дело. А в славянском мире все больше и больше закипает движение, каждый день приносит новость... Где-то Туркин, мой милый Туркин, действующий на мой мозг подобно кантаридам.

VII. НЕМНОЖНО «МОСКОВСКОЙ» ПОЛИТИКИ

Вот и письма моего дорогого Туркина, которых я ждал с таким нетерпением. Только вести они принесли нерадостные. Бедная Галиция, как и следовало ожидать, головой отдана тем, которые целые века и грызут, и точат, ее как черви, и рвут на части бедное народное сердце. Плачут, как дети, горемыки русины, пишет Туркин: измочили свои серые, жесткие, дырявые свитки, утирая крупные слезы.

— О чем, земляки дорогие, плачете? — спрашивает он их.

— Да як же, земляче, не плакать: отдали нас знов панам-ляхам, мов мертвое тело, — и упирями впились ляхи в наше тело, в наше сердце, — отвечали ему русины.

— Ждите, добрые земляки, и на вас глянет солнце.

— Не гляне, не гляне! А пока солнце гляне, роса очи выест.

— Не выест, ждите.

Бедные русины совершенно упали духом. Наместником Галиции назначен поляк Голуховский — вот что им страшно.

— Пропали наши бедные головы, — говорят они.

Вместе с письмом прислал мне Туркин и последний номер «Страхопуда». Смеялся, бедный, над своими собственными болями и не подозревал, что через два дня после выхода этого номера над Галицией разразится новая гроза. Гроза эта разразилась: «Страхопуд» вышел 1 сентября, а 3-го телеграммы

разнесли по Европе весть, что в правители Галиции дан Голуховский. Скверно, а между тем «Страхопуд» смеется. Да, не лжет поговорка: «хоть плачь, да смейся».

На заглавном листе этого номера помещен некролог галицкой Рутении — так поляки назвали галицкую Русь, называя ее своею. Это нечто вроде скорбного листа усопшей или докторского удостоверения в том, что труп можно хоронить. Наверху некролога крест. По сторонам, как водится, траурная рамка.

«Скончалась галицкая Рутения, — гласит некролог, — верная рабыня немецкой политики, прожив 18 лет тяжелой рабской жизни. Рутения, незаконнорожденное дитя, рожденная от матери деморализации, была предметом общего презрения и порицания и воспитывалась преимущественно «Вестником» (антагонист «Страхопуда»). Состоя на службе у госпожи политики, она принуждена была исполнять самые мерзкие, унизительные работы: подтирать передние у разных министерств, постоянно ходить, всем кланяться, лизать руки, льстить, беспрекословно повиноваться и терпеливо, безропотно сносить всякое своеволие бюрократии. Таким образом вытерпела на себе Рутения страшную нужду, так что весь мир удивлялся ее железному здоровью. В последние годы она уж крепко занемогла, и славный доктор «Страхопуд» еще в 1864 году предсказал, что жить ей недолго. Испуганные ее болезнью политики пробовали было испытать ее организм и прописали ей, по совету графа Голуховского, сильный прием «reorganisationis Galiciae», но ослабевший организм Рутении не выдержал, и она умерла. Некоторые пачкуны-шарлатаны, как, например, хирург-цирюльник «Вестник», утверждают, что Рутения еще не умерла, что она еще жива. Но мнение это неосновательно: после медицинского осмотра тела доктор «Страхопуд» сим свидетельствует, что рутенская жизнь совершенно угасла во всех благороднейших частях и составах тела Рутении, а двигаются еще только мерзкие черви в гнилых ее внутренностях. Движение этих червей и дало повод цирюльнику «Вестнику» думать, что Рутения еще не умерла. Больше всех смерть Рутении поразила бабушку ее, находящуюся еще в живых, унию, и сестренку кордулю, которые от великой жалости серьезно занемогли. Польские доктора советуют графу Белькреди прописать старой бабушке также прием «reorganisationis hierarchiae», но граф Белькреди еще не решил».

Подписано: Vis. rep., доктор «Страхопуд».

А вот оказалось, что она не умерла. Ее воскресил Голуховский.

«Как напоминает, — пишет Туркин, — нашу Малороссию эта Галиция. Точно едешь по Украине, где-нибудь около Киева или Умани. Тот же язык, те же грустные песни слышатся в поле. Там звучит насмешка над ляхом-гонителем.

Ехав ляшок морквяный,
А конь бураковый,
Шапка на нем з огурка,
Кунтуш лопуховый...

Храбрый лях едет из Варшавы на своем свекольном коне, в огуречной шапке, в кунтуше из лопуха, вооружен он саблею из петрушки, пистолетами из кочня, пулями из гороху — и этого рыцаря съели на дороге свиньи целиком с лошадью и вооружением, оставив только стремена, которые сделаны были из березы. Разве эту песню не поет любой чумак или чабан под Полтавой, под Киевом?

— За что наш царь отдал нас кесарю, — спрашивали моего друга галичане, — и чем мы провинились?

— Царь вас отдал по договору.

— А когда он нас возьмет назад из неволи? — спрашивали.

Конечно, он на это ничего не мог ответить им.

А «Страхопуд» все смеется. Слышится в этом смехе слеза, а иногда слышится и звук громкой, увесистой пощечины, которая дается веским словом Ливчака врагам как его собственным, врагам его родины, так и нашим, врагам русского народа.

«Страхопуд» передает известия, «за достоверность которых не может ручаться». Жаль, что русское общество, читающее милые французские романы (если только находит время и охоту читать, что сомнительно), не может знать, какие известия сообщает Его Высокострахопудие. Вот эти известия.

1) Говорят, что петербургская академия наук будет переведена в Гейдельберг, где на русские деньги wird besser prosperinen können. Русское правительство представляет полное управление... н е м ц а м , с тем, однако ж, условием, чтоб академия и в будущем н а з ы в а л а с ь russische Akademie der Wissenschaften.

Так разве не правы русские люди, жалующиеся, что р у с с к о е отделение в русской академии играет роль «замарашки», «чумички» (Aschenbrödel), как сознаются сами немцы?

2) Носятся слухи, что графу Белькреди и графу Голуховскому будут пожалованы русские ордена Анны 1-й степени за то, что они, притесняя русских галичан, помогли им окончательно прийти к сознанию своей русской народности.

А этот несчастный «русинский» поп, на которого поляки доносят австрийскому правительству, что он посадил разом д в у х кабанов в хлев для откорму?.. Зачем ему кормить разом д в у х свиней? Это очень подозрительно... А вот затем, чтоб было чем угостить «Москву», когда она вступит в Галицию...

А телеграммы «Страхопуда» — какой едкой иронией бьют они прямо в лицо нас, русских.

Вот эти телеграммы:

1) «S.-Petersburger Zeitung» уверяет русское правительство, что самые лучшие друзья России — это немцы, и потому советует отдать русский флот на Балтийском море в руки пруссаков...»

2) «Граф Бисмарк решил наконец вознаградить Россию на Балтийском море: он предлагает выслать русскому правительству 760 ученых немецких профессоров для учреждения внутри России нескольких университетов, точно таких же, как в Дерпте».

А эти проекты реорганизации Галиции — вырезать у всех галичан языки, чтоб они не говорили по-русски.

Туркин пишет, что во Львове он имел оригинальный разговор с одним поляком:

— А не знаком ли пан с паном Ивановым-Желудковым?

— Да, я познакомился с ним, — говорит.

— А не знает ли пан, кто он?

— Нет, не знаю. Иванов-Желудков, турецкий подданный — чего же больше?

— О! Я скажу пану, кто он: это шпик московский.

— Почему же?

— Он получает рубли москевски.

— Что ж удивительного! Он пишет в русских журналах, в «Голосе» и пр.

— В «Голосе» — в этом вся и тайна... Когда пан Катков (ведь он у вас довудца всей Москвы и вшисткего барбаржиньского москевскего люду) пугнул пана Краевского за одну статью о хлопах-русинах и назвал пана Мордовцева, написавшего эту статью, «польским сыщиком», тогда пан Краевский, желая загладить свою вину, обратился к москевскему правительству и просил на его счет послать в Галицию

шпика — агитировать хлопов. Этот шпик — Иванов-Желудков.

И этим нелепостям верят поляки... Странный народ!

VIII. В УНИВЕРСИТЕТ ЗАХОТЕЛА ДЕВОЧКА

Вот еще новость! С Верой Релиной делается что-то необыкновенное. Прихожу я к ним сегодня, застаю там Тутнева и Старина. Вера вся заплаканная, даже распухла от слез.

— Что с вами, — спрашиваю, — Вера Николаевна?

Она пуще в слезы. Я к отцу — тот тоже какой-то странный — и смутный и радостный.

— Что с вашей девочкой?

— Я и сам не знаю, что с ней... Сегодня ей минуло шестнадцать лет. Когда я стал поздравлять ее с днем рождения, она бросилась ко мне на шею со слезами. «Что с тобой, — говорю, — крошка моя»? — «Папа! — говорит. — Сделай меня счастливой, если любишь». — «Что ж тебе сделать, — спрашиваю, — шалунья?» И что ж бы вы думали? Просит везти ее в Петербург: хочет учиться, хочет кончить университетский курс, добиться диплома.

— Что ж, — говорю, — дело хорошее — пока молоды, пользуйтесь этим... В ней пока еще преобладают хорошие, человеческие инстинкты. А года через два она уже будет не та — так ловите в ней человека, пока он не отлетел. Успеете уловить — вы дадите свету прекраснейшее существо, а не успеете — оно измельчает, как мельчает большинство женщин, даже недюжинные, нерядовые натуры. А в ней скоро могут заговорить другие инстинкты — тогда будет поздно: тогда уже махнете рукой.

Я всегда замечаю свои промахи слишком поздно. Так и тут я заметил, что болтал лишнее, уже тогда, когда Вера подошла ко мне и заговорила взволнованным, каким-то надломленным голосом:

— Благодарю вас, Владимир Николаевич! Мне давно казалось, что вы больше человек, чем кто-либо, что ваш мозг не заел добрых движений вашего сердца, как у m-r Тутнева, — извините.

— Не извиняйтесь, Вера Николаевна, — перебил ее Тутнев, — я рад, если мой мозг заел — как вы выразились — глупые движения моего сердца. Скверно было бы, если б сердце заело голову, потому что в таком случае и

желудок мог бы заедать голову, потому что он, как и сердце, имеет одинаковые права и влияние на отправления мозга.

— Ах, вы опять с вашими афоризмами, с вашим противным резонерством.

— Хорошо-с, замолчу.

— Боже мой! Да я не об том говорю, — сказала Вера и опять расплакалась.

Мне жаль ее стало.

— Успокойтесь, — говорю я, — выскажитесь нам.

— А! как тяжело, если б вы знали... Не мучайте меня, ради Бога, отпустите меня... Вы же говорите, злые, гадкие, что женщина до сих пор была ниже мужчины и до сих пор была его раба не потому, что мужчине этого хотелось, а потому, что она сама и не хотела и не умела ни возвыситься, ни сбросить с себя рабский ошейник. Вы же говорите, что позорно для женщины просить у мужчины свободы развития, равенства прав — позорно! Да, я сама сознаю, что просить позорно, унижаться позорно!..

Вера старалась заглушить слезы, но она, видимо, глотала их...

— Вы же говорите, — продолжала она, — что вы ни у кого не просили свободы, развития, прав, что вы сами все это взяли, отбили у жизни, у природы, у злых людей... Вы были рабы — и сами себя освободили, перегрызли цепь, которая вас давила... Вы были невежественны — и сами себя научили из дикарей стать людьми, из рабов господами... Да, вы все сами это сделали — и гордитесь этим... А! Так и женщина должна сама все сделать, сама, сама! Она должна доказать вам, что она не ниже вас... Боже мой! Чем же я докажу это! А я хочу доказать, я чувствую в себе эту силу.

Признаюсь, она даже похорошела, когда говорила это. А старик отец дрожал, глядя на нее.

— О! Я глубоко презираю женщину и прошедшую, и настоящую, — продолжала Вера, — я ненавижу ее!..

А я думал себе: «Где этой девчонке уметь ненавидеть?..»

— Я глубоко презираю женщину... Вы правы, m-r Тутнев: я много думала об этом, я много плакала после ваших слов, сказанных по поводу Бокля, — и вижу, что вы правы: и прошедшая, и настоящая женщина — низкое, нечестное существо. Как собака, подачки она всего ждала от мужчины — и не за ум свой, не за труд брала от него плату, а только за свое тело... Всякая женщина — продажная женщина, продажная!

— Верок! Верок! Помилуй, что ты говоришь? — вскричал отец.

— Ах, папа, папа! Не мешай мне, ради Бога: не ты ли сам научил меня думать, не ты ли сам говорил мне, что девушка, выходящая замуж по расчету, — продажная женщина, которая ничего не может принести мужу, кроме тела. Не ты ли говорил мне, что девушка, выходящая замуж даже по любви, — тоже продажная женщина, потому что и она не принесет своему мужу ни ума, равного уму мужа, ни труда, равного труду мужа... Не ты ли говорил это, папочка, голубчик?

— Каюсь, имел неосторожность говорить это.

— Ты даже объяснял мне, что значит продажная женщина.

— Каюсь, объяснял.

— Папа, голубчик, ангел, не сердись же на меня.

— Не сержусь, мое счастье, моя маленькая, на тебя сердиться невозможно.

— Так поймите же, — продолжала она, — я не хочу, чтоб меня презирали, как я презираю всех этих тряпичниц, всех этих дур, которые, вместо того чтоб рыскать по балам, трястись в глупых танцах и всеми нечистыми средствами возбуждать мужчин, чтоб только нашелся какой-либо, кто бы взял ее в наложницы...

— Вера! Вера! Ты с ума сошла, — говорил отец, зажимая ей рот.

— Ах, папа! Да ведь все же это я от тебя узнала — я слово «возбуждать» от тебя узнала — и не стыжусь этого... Не перебивайте меня... Я давно хотела это высказать, и именно при вас, m-r Тутнев... Так я не могу быть похожей на этих нечестных женщин, которые не стыдятся получать хлеб и плату деньгами, платьями ли, квартирой ли, за то, что они отдаются мужчине, кто бы он ни был, муж ли, любовник ли.

— Да перестань, Вера. Я страдаю за тебя и за себя.

Вера опять расплакалась.

— Папа, милый папа, — говорила она, всхлипывая, — что ж мне делать, Господи, что мне делать! Я не хочу, чтоб на женщину показывали пальцами. Я не хочу, чтоб говорили, будто у женщины нет ни силы творчества, ни гения, ни устойчивости в труде, в убеждениях, в чувствах. Ведь неустойчивость в убеждениях, как и в чувстве, — это подлость, подлость! Говорят, мы не вольны в своих чувствах... Вздор! Как я могу изменить убеждению, когда оно честно? Как я могу изменить чувству, когда оно было! Не вольны в чувст-

вах! Да так мы дойдем до оправдания воровства, а это подло, подло!

А я слушал и думал: «Подлец, подлец я! Ведь и я разлюбил эту светлую, чудную головку...»

— Нет силы творчества! — продолжала Вера. — Захочу — и будет... Ведь есть же сила творчества у английских писательниц, есть эта сила у Бичер-Стоу, есть у Жорж Занд. А то какой-нибудь дрянной мужчинишка — и вдруг творит! Он оставит после себя память — да что память! Нет, он положит свой творческий кирпич в то великое здание цивилизации, которое созидает все человечество. А женщина что кладет?..

— Руку на плечо мужчины, и говорит: «Милый! Сшей мне розовое платье да повези на бал», — вмешался Тутнев.

— Ах, вы опять с своими шутками...

Вера продолжала настаивать на том, чтобы ехать в Петербург — учиться, добиться диплома, доказать своим личным творчеством, что и она человек, что женщина может быть человеком. Признаюсь, я не ожидал ничего подобного от этой девочки. Впрочем, какая же она девочка? Ей шестнадцать лет. До десяти лет — это девочка, а с десяти уж девушка. Я помню себя в шестнадцать лет: в то время я уже начал слушать первый университетский курс и помню, какие славные, светлые, прекрасные думы волновали меня. Это была пора поднятия мировых вопросов, сознание избытка сил. В шестнадцать лет мы освобождали славян от ига немцев и турок. В шестнадцать лет я проплакал однажды целую ночь, узнав, что шестнадцатилетний Гюго написал одно из замечательнейших своих произведений, а я ничего не успел написать, кроме разных стихотворений и сатирической «Илиады», воспевавшей, впрочем в гекзаметрах, подвиги учителей нашей гимназии и товарищей гимназистов. Да, я помню, как плакал в эту томительную ночь, а на другой день не успел записать ни одной лекции.

Что ж удивительного, если Вера в шестнадцать лет требует деятельности, знания, сознает в себе творческую силу? Женщина же, говорят, раньше развивается мужчины, хотя никогда недоразвивается до полного человека.

IX. НАЧАЛО ТОГО, ЧТО БЫЛО ПОСЛЕ

Как стыдно было мне, как мучительно стыдно и обидно сознавать свое бессилие, свой срам, свое унижение. А я сознаю его, когда моя проклятая мысль уходит за порог моего

кабинета и, как ищейка, вынюхивает и выискивает следы этих скорбных явлений, которые бьют нам в очи. Русский народ, русские люди, русские деятели — да где же ваше великое дело? Мой милый Туркин слишком много верит, а у меня нет веры. Но не потому ли пропала моя вера в людей, что сам я в себе изверился? Нет, нет! Слишком голые факты стоят у меня перед глазами, чтоб было место сомнению. Куда ни посмотришь, что ни прочитаешь, везде слова, слова, жалкие слова. А если б это не были одни слова, то разве такая была бы наша Россия! Все мы виноваты в этом, все, и каждый в отдельности.

Вот Пруссия так сумела добыть себе все. Что за устойчивость в достижении цели, что за энергия! А давно ли мы же гордо издевались над неспособностью немцев к политической жизни? Мы видели в них только ученых да сухих тружеников — и вдруг сколько у этих сухих педантов оказалось высокой поэзии. Их усидчивый труд не пропал даром, слово их народных пророков, Гейне и Бёрне, попало в сердце и мозг каждому немцу и сделало свое дело. А этот нервный министр, этот Бисмарк, что за громадная личность выросла из этого живого, нервного, до какой-то каменности устойчивого немца! А эти фон Штейнметцы, фон Мольтке!

Где же наши деятели?

Впрочем, кто же вправе требовать от России того, что вправе требовать от Германии? Разве историческая жизнь, исторический опыт и индивидуальные знания и труд немцев могут быть сопоставлены с исторической жизнью, с историческим опытом, с индивидуальными знаниями и трудом русских? Давно ли мы, в сущности, жить-то начали? Давно ли нам развязали руки и ноги? Давно ли сняли запрет, этот нравственный намордник, с нашего слова? Кто говорит, что в России все хорошо, — слишком далеко до этого. Правдой, горькой правдой бьет в глаза и злое слово Тутнева о русском обществе, преимущественно провинциальном. Но не все же так безуспешно, так безнадежно-гадко. Наша политическая печать уже имеет вес в Европе — оттого и мечут в нас свои напитанные слюной бешеной собаки стрелы наши заграничные Яго, оттого и злоба их, оттого и клевета неустанная. Абиссинского императора Феодора, его министров и его народ не из-за чего поносить европейским публицистам, потому что до Феодора им нет никакого дела, разве позабавятся над ним, что этот влюбленный монарх, смешавший на портрете свою возлюбленную с другою особою, посылает королеве Виктории локон своих волос, жестких как щетина,

и просит от нее таких же вещественных знаков и невещественных отношений. А до нас, до русских, им есть дело. Недаром дружно заговорила русская печать, недаром в Европе стали чаще и чаще звучать слова — «русское дело», «славянское дело».

А наша молодежь — разве не работает она? Разве в Вере Релиной не сказалась русская женщина, русская девушка, какою она будет, скоро будет... Пусть доживает свой бесполезный век это тряпье, которое училось до шестидесятых годов в закрытых публичных трущобах, и училось только бегать по коридорам за учителями, швейцарами, истопниками, упражнялось в прическах, в кадрилях и перенесло в жизнь те же трущобные начала и привычки, это тряпье ни к чему больше и не годно. Это мертвецы, как называл их мой друг. А из-за тех кое-где показываются другие, маленькие головки, которые, слава Богу, не попадут в руки учителей-коновалов и будут вырваны из рук матерей-тряпичниц, на этих-то маленьких головках должны покоиться надежды русской женщины.

Что это, в самом деле, я впадаю в раздражение? Того и гляди стану драться... Это нехорошо: видно, что у нас с Матвеем нервы расстроены. Кстати же, он теперь гнусит вслух стихи Некрасова. Что за несносное существо!

В последних газетах угадал я статьи моего милого Туркина. А! Как бы мне хотелось верить вместе с ним. Как он хорошо верит и в наши силы, и в наш ум. Но вера ли это только? Не уверенность ли, полно? Он знает больше меня, больше чуткости в его светлой голове, способной к смелым политическим комбинациям, больше и стойкости в убеждениях. Ведь не верой был силен Бисмарк; не вера ворочает горами, а уверенность. Он знал и свои силы, и силы своего народа: в нем одном, в гиганте-человеке, сказывался гигант-народ.

Я хочу верить, что бедные, забитые славяне поднимают голову. Да и как им не подумать о нравственном, по крайней мере, объединении, когда уже совершилось и нравственное, и политическое объединение немцев? Немцы стали думать об этом раньше, лет пятьдесят тому назад, когда Наполеон I унизил их до последней степени унижения, славяне же только начинают об этом думать — так когда-то додумаются, особенно при той нравственной и политической разъединенности, которая так обессиливает славян. Сплотись славяне в одну душу, в одну мысль, как сплотились немцы, — не страшны были бы им ни немцы, ни французы, ни турки. А то разбили

их, как стадо галок черные вороны, и душат, немечат, туречат, мадьярят, итальянизируют — гнется бедный, податливый, воскохарактерный славянин.

— Перечитала я (говорила мне сегодня Вера Николаевна) на днях все почти, что могла найти о славянах, которыми вы, кажется, очень интересуетесь, и, признаюсь, стала снисходительнее относиться к бедной женщине, которую я так позорила в ваших глазах.

— Что же вы вывели из всего того, что прочли о славянах?

— Да то же, что можно вывести из истории женщины в человечестве.

— Да?

— Да, и жалость к ним, и негодование на них.

— Почему же, Вера Николаевна? — спрашиваю. — Верно, вы читали «Скитания по белу свету» Берга.

— Да, прочла и Берга, только не его отзывами я руководствовалась в составлении своего мнения о славянском деле. Он так жесток, так мало прощающего, примирительного в его желчном, нет, не желчном, а каком-то презрительном смехе.

— В каком же из писателей нашли вы то, чего искали?

— Во всех понемногу — и в Ламанском, и в Гильфердинге, и в Погодине, и в Оресте Миллере, и в Аксакове, и в Хомякове.

— Что же в славянах общего с женщиной? — спрашиваю.

— А то, что до сих пор они были рабами других народов — и не подумали о своей свободе, то, что они просили себе эмансипации у своих мужей немцев и турок и не умели сами взять ее.

— Да, вы правы, Вера Николаевна... К вашим выводам я еще прибавлю: как женщина занимается тряпками да выездами и сплетнями, так и славяне занимались тряпками да сплетнями.

— В чем же их тряпки и сплетни?

— Разве это не тряпичности в их взаимных отношениях — например, кровавые споры между чехами из-за того, как писать — иж или юж, война из-за кириллицы и латинской азбуки, спор между последователями «Меты» и «Слова». Разве это не бабьи дрязги?

— Что такое «Мета» и «Слово»?

— «Мета» — это галицкий, или русинский, журнал антирусской или, скорее, сепаратистско-украинской партии, а

«Слово» — орган русской партии. Первые употребляли «кулишовку», то есть правописание, принятое Кулишом в «Основе», а последние держались русского правописания. Правописание прикрывало две различные политические партии — вот и война, вот и дрязги.

— А без вас, — говорит Вера, — приходил Тутнев и все смеялся над «братцами славянами».

— Что ж он говорил?

— Говорил, что «братцев славян» выдумали одни ученые, славянофилы, но что ни русский народ, ни русское общество не знают их. И все это, говорит, от общего нашего невежества и равнодушия.

— Что ж, — говорю, — отчасти он прав.

— Да, к сожалению, прав, — сказала Вера, помолчав, — я недавно заговорила о славянах с моей бывшей подругой детства, которая недавно приехала из института, так она столько же знает о славянах, сколько об антропофагах. Она больше слышала о «душках французах».

— А ваше намерение ехать в Петербург — добиваться диплома? — спрашиваю.

— Я не оставила своего намерения... Как ни болит мое сердце, а я заставлю его замолчать.

— Зачем же вам насиловать сердце, когда оно само просит деятельности заодно с вашей головой?

— Да, правда... заодно с головой... жизнь сердца я не отделяю от работы мозга — так научили меня книги и моя мысль.

— Но вы еще, — говорю, — так молоды, Вера Николаевна.

— Тем лучше — больше впереди, больше времени для работы... Я увижу людей, я услышу живое слово от них...

— А музыкой вы продолжаете заниматься? — спрашиваю.

— Да, я передаю в звуках то, что поют и сердце, и голова мои... Чужое я играю только тогда, когда я покойна. А как заноет сердце, охватят мысли и чувства и голову, и сердце — я фантазирую: тут у меня и славянское нытье в звуках, и за душу хватающая тоскливость русского народа — все в звуках.

— Что же, вы записываете ваши фантазии?

— Да, и только то, что мне кажется моим, самобытным... Вот хоть бы эта фантазия, которую я назвала «будущею женщиною».

И она сыграла свое произведение. Играя, она словами объясняла мне то, что выражали звуки. Это была такая

грустная, подчас тоскливая мелодия, что я едва не плакал: тут было столько тоски, что я и передать не умею. Чем дальше, тем более менялся характер музыки — и под конец в звуках лились каскадом страстность, сила, прелесть, нега и в то же время что-то нервное, подмывающее — и дрожь, и трепет, и радость, и слезы... Я буквально плакал, плакал как дурак, всхлипывая, — забыл утром принять лавровишневых капель...

Когда я оглянулся, Веры уже не было, она убежала к отцу и оттуда из кабинета кричала мне:

— Ах, славянин, славянин! Какой стыд — славянка заставила его плакать. Я сконфузился и обозлился: ведь в самом деле я славянин — нюня, который только плачет, а дела не делает... Гадкая девчонка!

X. АКУЛА И ЕЕ АДЪЮТАНТ

Для чего я, однако, делаю эти наброски моего дневника, да и какое значение вообще могут иметь дневники для тех, кто их пишет? Чтобы после перечитывать их, проверять самого себя? Э! какой вздор: во всяком дневнике есть доля лжи и утайки, а если нет лжи, то чем они могут служить для пишущего? Положим, я со всею правдивостью записал бы эпизод из моей жизни, тот слишком памятный эпизод, который дал такую страшную встряску всему моему существованию, положим, я под свежими впечатлениями воспроизвел бы все это приблизительно верно и правдиво (неправдивым тогда я не мог быть) и стал бы теперь перечитывать написанное тогда — разве это не значило бы делать надрезы на теле, где недавно затянуло глубокую и почти смертельную рану? Или разве это не значило бы отрывать корпию от свежей, только что затянувшейся раны? Ведение дневника я понимаю только тогда, когда его ведут двое — это ежедневное записывание всех мельчайших проявлений внутреннего бытия, всех мельчайших внешних фактов, всех движений сердца и мысли, с тем чтобы все это передать тому, в ком сосредоточивается цель и фокус этого бытия, и получить от него взамен тою же монетою, только не фальшивою и не упавшею в курсе. Потребность дневника прекращается, когда мы чувствуем, что в кармане нашего сердца и головы (я допускаю эту оригинальность, скорее, оригинальничание в слоге, потому что всегда был врагом рутины как в жизни, так и в выражении мысли), повторяю,

когда мы чувствуем, что в кармане нашего сердца и головы ничего не осталось, кроме фальшивой монеты, а мы настолько трусы, что боимся, чтоб нас с нею не поймали. Впрочем, самый процесс писания дневника имеет значение для развитого человека, в нем он как бы проверяет самого себя и отдает самому себе отчет. Он бывает рад, если может внести в свой дневник или факт, обнаруживающий хорошие качества его сердца, или слово, мысль, обнаруживающие хорошие качества его ума, или, наконец, все, что могло его занять, развеять, опечалить. В дневнике мы как бы хвалимся сами перед собой, что вот-де мы сделали такое-то хорошее дело, сказали такое-то умное слово или имели силу столько-то выстрадать. Дневник все-таки более или менее наша гордость, памятник нашей жизни, а ведь всякий из нас желает оставить хороший памятник. Не оставляет по себе памятника только тот, кому после себя оставить нечего, кроме пустоты и гадости.

Оттого вор и мошенник никогда не ведут своего дневника, еще менее убийца.

Следовательно, если я продолжаю мои дневные наброски сегодня, значит, я имею чем-нибудь похвалиться, и всему причиной Вера Николаевна.

Что это, однако, как часто начинает она забираться в мои тацитовские анналы, которые я пишу далеко не «sine ira et studio». Да будто и Тацит писал свои анналы «без гнева и пристрастия»? Далеко нет! На каждой странице видна его беззубая старческая челюсть, которая так кусает отвратительные явления развратного Рима, что вчуже больно становится.

Да, я остановился на Вере. Неужели эта девчонка должна стать предметом для моего дневника? Нет, уж это было бы слишком много для нее, хоть в последнее время она проявлялась довольно умненькой девочкой... А все это потому, что похвалила меня. Как это глупо, однако ж.

— А мы сегодня весь день толковали с папой на старую тему, — говорила она, когда я зашел к ним, чтобы отдать старику Релину Анри Мартена «La Russie et l'Europe», где русских называют туранцами и хотят выгнать в Азию.

— На какую старую тему? — спрашиваю.

— Все о значении мужчины и женщины.

— До чего же вы дотолковались, Вера Николаевна?

— Да вот выходит, что мужчина лучше женщины...

Я при этом уловил какую-то странную искру, которая засветилась в ее глазах и тотчас же погасла.

— Мы говорили, собственно, о русском мужчине и русской женщине.

— И что ж?

— Я готова была плакать — так гадка женщина.

Я заметил ей, что она еще так молода, что едва ли могла видеть и знать других мужчин, кроме отца, и женщин, кроме своей няньки и той подруги, которая из института вынесла обожание и душек французов, и душек военных, и душек статских.

— Отчасти да, отчасти нет, — возразила Вера, и в голосе ее звякнуло что-то постороннее, точно струна не в меру натянутая, — я знаю многих мужчин и многих женщин... хорошо отчасти знаю вас, Тутнева и Старина.

— Этого мало.

— Нет, не мало.

— Нет, мало.

— Ах, Владимир Николаевич! Мы точно провинциальные барышни спорим — это пошло...

Сказав это, она вспыхнула, закусила губу и замолчала.

— Ах ты, ртуть, — сказал отец, — я насквозь тебя вижу... Что покраснела? Вспомнила, что и сама провинциальная барышня?

— Да, папа.

— Ну, не красней, будешь и столичная.

— Папа, папа! — И она бросилась целовать ему руки.

— Не целуй, милая, ты чище меня; мы должны целовать только то, что чище нас.

— Хорошо, папа...

Потом она обратилась ко мне:

— Если мало того, что я сама видела и сама узнала, так я вам скажу, что я изучила характеры целых сотен мужчин и женщин в литературах европейской и русской... Ведь я читаю с семи лет... Теперь я остановилась на русском мужчине и на русской женщине — в русской литературе.

— И вы нашли, что в произведениях наших писателей женщина хуже мужчины?

— Она гадка, она ничтожна.

— И гончаровские женщины гадки, и тургеневские гадки?

— Да, нехороши, много хуже мужчин.

— Да чем же?

— Тем, что мужчины хоть действуют, борются за идею, за дело, а женщины только любят, да и любить-то не умеют. Эти Инсаровы, эти Базаровы, Штольцы — они хоть ищут

дела и делают его, как умеют... А женщины все похожи на Обломова, который только созерцал бабьи локти и так же много любил, как они любят... Еще я заметила, что они большие мастерицы страдать, — и все от любви и бездействия... Правда, есть миленькие женщины, честные, но все же они какие-то Обломовы в юбках, хоть и любят говорить о себе... Одна женщина мне больше других нравится...

— Кто это?

— Вера Павловна в «Что делать?», да и она менее честна в чувстве, чем окружавшие ее мужчины, и, кроме того, уж слишком много любила нежиться в своей кровати после ванны.

Я засмеялся.

— Не смейтесь, я говорю серьезно.

— А мужчины? — спросил я.

— И мужчины слабы, но все же лучше женщин... А в жизни я встречала мужчин, которые лучше тех, о которых я читала.

— Кто же, например?

— Да хоть бы вы.

— Я?!

— Да... Мы сегодня говорили об этом с папой.

— Правда, правда, мы анализировали вас, Владимир Николаевич, — отозвался отец.

— И что ж вы нашли?

— Я нашла, что вы выше Инсарова, который хоть и желал спасти Болгарию от турок, однако ничего не сделал и ничего после себя не оставил, кроме измятого картуза.

— А я?

— Я слышала о ваших учениках, которые, говорят, сделают честь России и теперь служат гордостью университета, и все благодаря вам.

— Этого мало, — возразил я.

— Но это не все, я читала ваши произведения...

Это меня озадачило.

— Как вы их узнали? Я никогда не подписывал своего имени...

— Мне указал на них Старин... Как много подняли меня эти статьи, и скольких, я воображаю, они заставили задуматься из такого даже сорта людей, которые вообще мало думают.

Мое положение становилось неловким, хотя что-то и шевелилось там, под левым подреберьем.

— Вы лучше Базарова, — продолжала она.

— Почему же?

— У Базарова большой ум, далеко не ломкая логика и воля... Но каменные люди не в моем вкусе... Притом он больше был занят нервами лягушек, чем нервами и мозгом той женщины, которую любил.

— Что ж, он прав: он дело ставил на первом плане, а свои личные чувства — на втором, — возразил я.

— Нет, нет! — вскричала Вера. — Он не умел вочеловечить ту пустую, хоть умную женщину, которую любил. Она так и осталась куклой.

Старик слушал и улыбался.

— Да ведь ты же сама говоришь, — сказал он, — что женщине унизительно быть обязанной мужчине даже развитием, что она всего должна добиться сама, как добился мужчина. Базаров, значит, смотрел на женщину, как ты смотришь.

Замечание отца поставило ее в тупик.

— Базаров не хотел ее вочеловечить — это было не в его планах, — продолжал отец.

— Нет, папа, — сказала она, несколько смешавшись, — мне изменила моя логика.

— Чем же?.. Впрочем, что ж удивительного, ты — женщина, — сказал старик и лукаво посмотрел на меня. Я догадался, что он ее дразнит.

Вера была готова заплакать.

— Но Боже мой, что ж нам делать! Ведь Базаров учился, Инсаров учился, они профессорам были обязаны своим развитием... А мы, бедные женщины... Ах, опять мне стыдно, опять я презираю себя как женщину и всех женщин... Ведь мужчины сами же добились всего, ведь у первого человека, то есть у первого мужчины, не было профессора, и ведь он стал же умнее первой женщины. Какая тоска, Боже мой! Так женщина ниже мужчины? Так она всегда должна остаться ниже его?

Мне стало жаль ее. Она так искренно страдала, говоря, почти выплакивая слова: «Так она всегда должна остаться ниже его?»

— Нет, — сказал я, — это вопрос будущего. Вы знакомы с законом приручения?

— Нет! — И она покраснела... Видно, в этой девушке сильно развито самолюбие.

— Знаете, что значит приручать?

— Кажется, знаю.

— Кто приручил лошадь к человеку и вообще домашних животных?

— Человек, разумеется, — сказала она.

— Нет, — возразил я, — это еще составляет вопрос в науке. Кто больше нуждался, человек в лошади или лошадь в человеке?

— Человек в лошади... Сама лошадь к человеку не пойдет — она дикая.

— Положим, что так, хотя это тоже вопрос науки. Но что больше пользуется трудом прирученного, более ли развитое существо или менее развитое?

— Конечно, более развитое.

— Кто указывает акуле, куда ей идти и где больше рыбы, которую бы акула могла пожирать?

— Адъютант-рыба.

— Значит, более развитое, более догадливое приручает менее догадливое и пользуется им. Не так ли женщина приручает к себе мужчину, как человек лошадь, чтоб пользоваться им?

У Веры заблистали глаза от этих комбинаций.

— Так Базаров не приручен потому, что в нем не нуждались? — спросила она.

— А хоть бы и так, — отвечал я.

— Бедный Базаров! А я об нем иначе думала.

— Постой, постой! Ты, кажется, слишком торопишься в окончательных выводах, как Бокль, — заметил отец и опять лукаво посмотрел на меня. Он, видимо, хотел с намерением озадачивать свою дочь нечаянными постановками вопросов, он это делал, как после мне сознался, для гимнастики мысли.

— Как тороплюсь, папа? Ведь Владимир Николаевич того же мнения...

— Нет, он своего мнения не высказал, он осторожнее тебя.

— Ах, папа, да говори же, в чем дело?

— А вот в чем. Лошадь приручена человеком потому, что она ему нужна для езды и возки тяжестей. Так?

— Так.

— А человек лошади нужен?

— Нет, папа, потому что человек эксплуатирует лошадь, которая могла обойтись и без него.

— Да и человек мог обойтись без лошади... Но лошадь могла сама пойти к человеку, особенно в холодном поясе земного шара, и попросить человека, чтоб он ей на зиму косил сено и сеял овес.

— Так, папа, — твоя правда.

— Значит, это все-таки еще вопрос, кто кого приручил и кто к кому приручился — человек ли к лошади или лошадь к человеку. Ты знаешь, какая обязанность адъютанта-рыбы при акуле?

— Нет, папа, не вполне знаю... Какая?

— Акула довольно ленива и неповоротлива. Она всегда плавает за кораблями, чтоб поживиться всем съестным, что падает с корабля в воду. При своей сравнительной неповоротливости она не всегда может скоро найти добычу. Адъютанты же, очень живые и быстрые, шныряют около нее и доносят ей о всяком куске, падающем с корабля.

— Как же они объясняются с нею?

— По-рыбьи; когда, по соображениям адъютантов или по собранным ими справкам, их генералу-рыбе следует подняться к поверхности моря, тогда адъютанты ныряют вглубь и трутся под брюхом своего генерала. А когда генералу следует углубиться, адъютанты лебезят у него на генеральской широкой спине, и генерал уходит вглубь.

— Как это смешно, папа, и как, однако, умно.

— То-то же, ты говоришь, умно...

— А отчего же не говорить?

— Об этом в другой раз.

— А какая же польза, папа, адъютантам так подличать перед генералом? Ведь он им не дает чинов?

— Положим, чины не дает, зато адъютанты пользуются пометом своего генерала: это их пища.

— Фи, это уж гадко, папа.

— Постой, торопыга, не спеши делать боклевских заключений.

— Боклевских! Какой ты злой, папа, точно Тутнев...

— Положим, так... Но кто в ком нуждается: адъютант в акуле или акула в адъютанте?

— Да все друг в друге нуждаются...

— А кто больше?

— Я не знаю. — И Вера задумалась.

— Не адъютант ли? — спросил я.

— Да, если он ничего не может кушать, кроме генеральского... Что ж из этого? Значит, акула умнее адъютанта, да только ленива, а адъютанту труднее обойтись без акулы.

— Но опять-таки и это еще вопрос — кто умнее или кто развитее...

— Господи! Да у меня голова кругом пошла, — вскричала Вера, и в голосе ее опять слышалось отчаяние, — кто же человек и кто лошадь? Кто акула и кто адъютант? Базаров

или та женщина, которая не умела любить его, потому что была кукла? Значит, и тут выходит, что женщина — лошадь... Я — лошадь... Зачем же природа была так жестока к женщине?

— Не приходите в отчаяние, Вера Николаевна, — сказал я, — повторяю — ленивая ли и бездеятельная, как вы говорите, женщина умнее мужчины, потому что пользуется его трудом и смышленостью, как акула смышленостью и юркостью адъютанта, или умнее мужчина, пользующийся женскою привязанностью и ее нежными заботами и за это дающий ей то, что ему не всегда с трудом достается, — все это еще вопросы науки.

— Так Базаров... так я?.. — И она вся раскраснелась, боясь, впрочем, попасть впросак с окончательным выводом.

— Да, да, — сказал я, — не падайте духом, Вера Николаевна... уж много научных данных, говорящих в пользу того мнения, что женщина, пожалуй, едва ли не высший продукт природы и — выше мужчины... Во-первых, она, говорят, явилась на землю после мужчины (хотя фабулезность эта наукой еще не доказана да едва ли и докажется), а все являющееся на земле после первых продуктов творческих сил природы — развитее и совершеннее по формам и по всему первичных продуктов... Во-вторых, женщина имеет на теле меньше волос, чем мужчина, который в семействе двуруких больше подходит по волосяным признакам к обезьяне, хотя Джаксон в недавнее время и доказывал противное, говоря, что человек в будущем будет пернатым, покрытым шерстью и будет летать. В-третьих, женский организм нежнее и едва ли не сложнее мужского по своей конструкции... Он восприимчивее.

Когда я говорил это, глаза Веры все больше и больше разгорались. Разгорался и румянец на щеках. Наконец она не вытерпела и вскричала:

— Ах, Владимир Николаевич! Вы выше всех женщин и всех мужчин... Не правду ли я говорила, что вы выше и Инсарова, и Базарова, и Лопухина, и Рахметова?.. Как я вам завидую! Вы так много дали утешения моему уму.

А отец, улыбаясь, возразил на это:

— Ах ты глупенькая, глупенькая! Ведь он шутил... «Разве девушка не знала, что он шутил, — ведь он шутил!»

Действительно, я пошутил не совсем добросовестно, делая слишком поспешные заключения о предметах сомнительного свойства. Но мне почему-то хотелось утешить ее, поддержать ее. Зачем пропадать девушке? Ведь и так слишком много

загублено их, заедено пошлостью, задавлено обстоятельствами, когда из этих женщин могло выйти столько светлых личностей. Пусть же думает о лучшем, чем о пустяках: лучше страдать человеком, чем жить бессмысленным, унижающим человека счастьем. Я сам видел, что свинья продолжает спокойно копаться в навозе, когда сороки, сидя на ее спине и проклевав эту спину, таскают оттуда свиное мясо и свиное сало.

При последних словах Вера взглянула на меня пристально-пристально и сказала дрожащим голосом:

— Нет, папа, Владимир Николаевич слишком честен, чтоб шутить подобными вещами, — виновата, он слишком серьезен, потому что и ты, папа, честен, да только любишь иногда дразнить меня.

Признаюсь, мне стало совестно за свою болтливость, и я скоро ушел от них.

Матвей мой совсем с ума сошел. После Гейне и Некрасова, над чтением которых он гнусил целые недели, он начал интересоваться «божественским» и нашел в кабаке приятеля, со слов которого теперь доказывает, что Богородице власть дана на двадцать чего-то, верст ли, сажень ли — не знаю, а ангелам на сто, и что Федор Стрикилат всем мученикам мученик. Какая скука! Когда же, наконец, русский народ действительно станет всецело человеком, как стали такими уже многие?..

XI. ОН БОИТСЯ ПОЛЮБИТЬ

Как давно, однако, я не заглядывал в свой дневник. Да и зачем я опять беру его, когда в моей личной жизни все складывалось так бесцветно и так невыносимо, однообразно, без пользы для себя, без пользы для общего дела, а между тем внутри меня шла какая-то ломка мелких частей моего целого, борьба с самим собою, борьба с отчаянием, борьба с смертью, той смертью, которая, я чувствую, подкашивает мою внутреннюю жизнь, мою силу... А ведь природа вложила в меня, казалось мне когда-то, много той силы, того творчества, которое двигает миром. Или я ошибался? Или... но и смерть ли это? Разве я не чувствую, что во мне, как у богатыря Ильи Муромца после ковша браги, прибывает силы? Да, прибывает, с каждым днем прибывает, и нет только точки опоры для моего нравственного рычага, чтобы повернуть всю вселенную... Это ли смерть? Смерть в мелочах, развлекавших

мою силу, и концентрирование суммы всех моих сил около центра этой силы в одну великую силу.

И как широк мой внутренний мир! А моя милая, дорогая Россия, — о! как бы я любил ее в целом, если б она не была так возмутительна в частях, в мелочах, в этих трясинах, где глохнет жизнь, мельчают люди, пошлеет ум. А в общем все же идет работа — в литературе, в обществе, в жизни, — ведь есть люди, которые имеют силу не спать, когда все засыпает, имеют дерзость думать, когда другие прозябают. Шевелится русское дело, шевелится великое славянское дело — о, я бы хотел жить, хотел бы действовать вместе с другими, — и я буду, буду, буду действовать!

А другая половина моего я — что там происходит? Во мне два мира — что же я скажу, Боже мой, когда сам не знаю, что там делается, в этом другом моем мире... Одно я сознаю, что в иные минуты в душе моей, в моем я, в чем-то таком, чего я определить не умею, господствующим чувством становится какая-то неопределенная, тупая и в то же время жгучая, разъедающая тоска, и минуты эти странным образом бывают именно тогда, когда я встречаюсь с Релиными. Неужели это опять зародыш чувства, этого дьявольского, огненного, разрушающего и созидающего чувства, которое неотступно просится в мою душу, проникает в нее как что-то неотразимое, неотвратимое, как смерть, необходимое, как дыхание, ломает мою упрямую волю, пересиливает мою упругую характерность? Мне так страшно отдаться опять во власть этого демона... О, vade retro, vade retro!

И зачем этому Старину непременно хотелось столкнуть нас на этой публичной лекции? Зачем он ее ставит передо мною, зачем он показывает ее мне, как дьявол показывал постившемуся Христу, перед его великим подвигом, все царства земные!.. О, vade retro, vade retro!

Публичная лекция читалась в пользу кандиотов. В пользу же кандиотов готовятся у нас балы, лотереи-аллегри, спектакли. Что ж, дело не нехорошее. Все же лучше эксплуатировать людскую пустоту и людскую пошлость для великого общечеловеческого и русского дела, лучше на пошлости одних основывать свободу и счастье других. Пусть лучше будет пошлость для дела, чем пошлость для пошлости, танцы для танцев, как искусство для искусства (ведь сапоги шьют не для сапог, а для ног, масло делается не для масла, а для каши, нюхательный табак готовится для носа, а не сам для себя, носовой платок тоже для носа, а не сам для себя).

Когда кончилась лекция, Релины подошли ко мне, с ними был, разумеется, и Старин.

— Как вам понравилось чтение? — спросил меня отец Веры.

— Не совсем, — сказал я, — лекция довольно жиденькая.

— Напротив, Владимир Николаевич, — заметила Вера, — для некоторых из моих знакомых она показалась слишком специальной.

— Да?

— Да... мои соседки мешали мне даже слушать, перешептываясь о «кандиетах», как они выговаривают.

— И что ж они толковали?

— Я заметила, что они смешали «кандиетов» с фанариотами и выходило забавное qui pro quo.

В это время к нам подошел Тутнев. Лицо его, против обыкновения, было задумчивое и какое-то светлое. Вера Николаевна протянула ему руку.

— Скажите, пожалуйста, m-r Тутнев, кто такие эти кандиоты? — спросила она.

— Как кто такие? Разве вы не знаете?

— Не знаю... Знаю только, что они греки.

— Чего же вам еще больше?

— Да я думаю, что они — женщины.

— Как женщины?

— Да, такие женщины, как я, как вон те барышни, которые называют их «кандиетами».

— Почему же женщины?

— По вашей теории, они сами не могут добыть себе свободы, они не могут избавиться от тирании своих мужей-турок — и мы должны купить им эмансипацию. Что ж они с а м и не добьются всего, как добились вы, м у ж ч и н ы?

— А! понимаю... Но на этот раз я не могу с вами спорить, к сожалению, меня ждут дамы.

Я оглянулся. В стороне от расходившейся публики стояла пожилая дама и девушка. Девушку эту я нигде не встречал, но красота ее меня поразила: это была такая изящная и мягкая красота, в посадке круглой, грёзовской головки было столько естественного очарования, что трудно было оторваться от этого обаятельного, маленького, детски округленного личика. Как-то странно затеплились глаза девушки, когда к ней подошел Тутнев... И Тутнев был не тот, каким он был обыкновенно с нами... Что-то перевернулось у меня в сердце, когда они исчезли из залы... «Так вот та единственная женщина,

подле которой желчный Тутнев — нежен, — подумал я, — львица имеет ребенка...»

— Кто эта девушка? — спросила меня Вера.

— Не знаю... Спросите Тутнева.

— Какое милое лицо, — сказала Вера задумчиво.

Из-за отрога моих зубов, как говорит Гомер, вырвалось крылатое, глупое слово.

— И носит же эта грязная, пошлая земля такую чудную красоту, и всякие глаза глядят на нее, осязают ее своим взглядом, слишком материальным и грубым для такой неосязаемой, неприкосновенной красоты... Вот и вините женщину за ее бесследное существование на земле; да разве можно допустить, чтоб такое существо толкалось между людьми, делало грубую человеческую работу....

После уже догадался я, что слетело с глупых губ моих неразумное крылатое слово, — но было уже поздно... Я взглянул на Веру: она стояла бледная, бледная как полотно, держась за руку отца... Женщины вообще не любят, когда при них хвалят других женщин. Ну, мне все равно — пусть сердится.

— Вы поедете, Вера Николаевна, на лотерею-аллегри в пользу кандиотов? — спросил я, желая как-нибудь загладить свою неловкость.

— Не знаю... Мне не хочется.

— Цель оправдывает средства, — сказал я, и сказал опять пошлость.

— От вас ли я это слышу? — спросила Вера. — Да и как тут цель оправдается? Цель помочь кандиотам. Лотерея-аллегри может дать, как говорит папа, много-много пятьсот рублей. А сколько истратится денег на наряды, вполне непроизводительно. Пятьсот рублей соберется, а оросится в огонь — в виде барежевых, тарлатановых, шелковых и других платьев, в виде духов, перчаток, башмаков, шиньонов, причесок, пудры, белил, румян и в виде пяти-шести часов даром потерянного времени... оцените, сколько бросится в огонь денег в один такой вечер, вместо того чтоб все эти деньги послать кандиотам, не выезжая на бал-аллегри.

— Вы правы, Вера Николаевна, — сказал я, — вас нельзя не уважать за честность ваших убеждений.

Тоска охватила меня, когда я простился с этой девушкой. Какое-то неотразимое влияние она начинала приобретать на меня. Скорей, скорей бежать отсюда!..

В Петербурге я найду деятельность по силам, по призванию. Этот город стирает все, вытравляет смертные раны, как

бы глубоко они ни западали... Он вытравил из моей памяти такие раны, которые ведут прямо в могилу, он дает силу переживать непереживаемые потери.

Опять она. Что ж это, наконец, будет? К чему это поведет?

В библиотеке, куда я ходил читать газеты, я встретил Веру, которая была там с отцом.

— Вы так давно у нас не были, — сказала она.

Что ж я мог отвечать на эти слова? Ответ во всяком случае был бы глуп или неделикатен, а лгать перед этой честной, благородной девушкой я не мог. Я молчал, как школьник, не знающий урока.

— Я слышала, вы так много работали, — продолжала она, помолчав, и в голосе ее прозвучало что-то вроде досады.

— Да, Вера Николаевна, я работал, но нельзя сказать, чтобы много, из моей работы пока ничего не вышло.

— Как и из моей тоже.

— Вы чем же занимались, Вера Николаевна? Искали доказательств преимущества женщины перед мужчиной? Нашли философский камень?

Она не отвечала. Мне стало совестно за свой неловкий, фатовской вопрос.

— Простите мне мою неделикатность, Вера Николаевна. Я беру назад свои банальные вопросы, мне бы не хотелось огорчать вас даже невольно.

— Ах нет, нет! — сказала она живо. — В вашем голосе я слышу участие... в первый раз... Оно мне дорого.

Натурально, что ее слова поставили меня в неловкое положение, из которого я мог только выйти, сказав пошлость, любезность какую-нибудь хлыщевскую. Но я ничего не сказал.

— Я занималась собой, — продолжала она, — я хочу сказать — работала над собой... Но как тяжела эта работа, — прибавила она, и в ее голосе точно порвалось что-нибудь — он упал на целую ноту.

— Да, Вера Николаевна, это нелегкая работа, и дай Бог, чтобы вы никогда не испытали ее вполне... Ваша жизнь еще так светла, и, как ни навыкла к логической работе ваша молодая головка, вы не поймете меня, да пусть жизнь и не научит вас никогда понимать всю тяжесть напрасной работы над собой.

— Однако я уже испытала всю горечь и томительность этой напрасной работы.

— Вы, Вера Николаевна?

— Да... И как это мучительно... мучительно потому, что я и не надеюсь победить себя... Что я не победила, это доказывает...

Она замолчала.

— Что?

Молчит.

— Что же?

Молчит. Губы дрожат. У меня почему-то перевернулось в сердце...

— А! вот они где! — раздался за нами голос (это говорил старик Релин). — И не стыдно вам, Владимир Николаевич, забывать нас? — обратился он ко мне. — Вера...

— Папаша!

— Что папаша!.. А сама только и твердила...

— Отец! Ради Бога...

— Ну-ну, не стану... А вам все-таки попенять надо, Владимир Николаевич, — совсем забыли нас.

Я отвечал на это, разумеется, каким-то вздором, потому что нельзя же было прямо сказать, чего я боюсь, что Вера становится каким-то гоняющимся за мною призраком.

Когда мы прощались, Вера как-то быстро подала мне свою руку, я чувствовал, что она дрожала.

— Как взволновали меня в «Annuaire», который я сейчас читала, клеветы на Милютина, Николая Алексеевича... Читали? Еще раз рельефно обрисовывается его наружность... Называют его иллюминатом, мало того — говорят, что он потому идет против высшей аристократии, что вышел из купцов. Правда это?

— Ложь. Парижские публицисты слышали, что в Петербурге есть милютинские лавки, вот и думали, что лавки эти носят фамилию от предков Н.А. Милютина.

— А о Каткове читали, как он правит Россией? И наружность его обрисована — блондин...

— Меня это не удивляет, Вера Николаевна, — я читал и не такие вещи о России.

— Принесите нам, пожалуйста.

— Не могу, Вера Николаевна.

В швейцарской, когда Старин (он неразлучно бывает с ними, бедный Старин!) помогал ей одеваться, она, видимо, о чем-то просила его, и хоть я не охотник подслушивать, потому что считаю это подлостью, однако нечаянно поймал фразу, сказанную ей Старину: «Ради Бога... я хочу его видеть... мне скучно...»

Какое, однако, тяжелое положение. Как глубоко я презираю себя в эту минуту, и, несмотря на то, я чувствую, что во мне нет сил заставить себя не думать о ней, не желать ее видеть. А давно ли, кажется, я был так равнодушен к ней, давно ли возмущали меня даже ее выходки? Неужели же и тогда я был уже под влиянием этого мучительного чувства, которое оставляло меня в покое вот уже несколько лет? Я не хочу и не должен уступать этому проклятому чувству, потому что оно в конце концов оставляет только горечь в душе, застой мысли, наконец, все это, рано ли, поздно ли, должно же кончиться, а я уже знаю, каково переживать самого себя и отрывать от мозга, с болью, мучительные грезы. Но теперь уж, кажется, поздно остановиться: это дьявольское сердце опять должно переболеть, опять должны начаться эти мучительные минуты забвения всего, эта лихорадка нервов, эти сны, какие-то горячечные, тифозные, а там целые месяцы, годы тоски, ожиданий, сомнений, ломки всего сызнова... Опять в перспективе едкая, растравляющая горечь разлуки... А что, если горечь обманутого чувства, нытье раздавленного, смятого, уничтоженного сердца?.. Вздор! Когда оно уничтожается, разбивается?.. Я думал, разбилось однажды, тогда, когда я в последний раз крестил и сжимал в своих руках белокурую головку, когда так горько, таким смертным, похоронным рыданием мы оплакивали себя, расставаясь, — так нет, не разбилось, а осталось для того, чтоб снова болеть и ныть... И оно будет ныть и болеть — я это знаю, я это чувствую. Оно и теперь уже как-то тупо щемит там, у меня в груди, и ноет, ноет... Какая тоска!

Да, страшная тоска хватает за сердце. За сердце ли только? За мозг, за душу, за все мое бытие! Я вижу теперь ясно, что мне предстоит мучительная борьба с самим собою, и я сам должен буду швырнуть свое собственное счастье, оторвать все дорогое от сердца, от мысли. Я не могу, я не должен и не смею любить, потому что... да потому что для таких отвратительных натур, как моя, полного счастья нет. Да и есть ли оно, в самом деле!..

О, мимо, мимо меня идите, страшные тени!..

Нет, не принять ли мне лавровишневых капель?

XII. БРЕД БОЛЬНОГО

Сегодня в «Саратовском справочном листке», который получается здешнею публичною библиотекою, я, к удивлению моему, прочел на последнем столбце этой газеты, между ку-

чей объявлений о продаже «коньков», «лисьего салопа» и «рысистых жеребцов г. Ершова», следующее знаменательное объявление:

«Ч.....ская ищет места при детях или смотреть за хозяйством. Согласна и на отъезд». Спросить там-то, на каком-то «Бабушкином взвозе».

Что это такое? Неужели это жена автора романа «Ч.....ть?», диссертации об эстетических отношениях искусства к действительности и бесчисленного множества критических, эстетических, философских и политико-экономических статей, печатавшихся когда-то в «Современнике»? Неужели это та г-жа Ч.....ская, которой, кажется, г. Ч.....ский посвятил свой роман «Ч.....ть?» под инициалами: «Другу моему О.С. Ч — й»? Неужели она находится в таком крайнем положении? А дети ее мужа — что с ними? Неужели они нуждаются в средствах к образованию?.. Впрочем, мы слышали, что о детях имеют попечение родственники г. Ч.....ского и что они хорошо устроены, ведь малолетние дети не виноваты в несчастиях отца. Они, как и мать их, несчастны только тем, что судьба или рождение связали их участь с участью несчастного...

Но как, однако, много погибает женщин, как много пропадает бесследно, может быть, богатых сил, которым могли предстоять и слава, и счастье, и довольство, и почетная, вполне человеческая деятельность. Где же выход, где спасение для русской женщины, да и для женщины всего мира?

Это объявление Ч.....ской так вот и продернуло перед моей памятью наши бесконечные университетские споры и мечты о назначении женщины, наши последние толки о том же предмете с Тутневым, Верой и Туркиным, и целые картины разнообразных, редко отрадных положений женщины в России, в Европе, в жизни, в семье, на лекции, в гимназии, в церкви под венцом, на балу, в хижине, на столе в переднем углу, в гробу, в институте, в доме проституции, в остроге, в мастерской, в артели, на Невском проспекте вечером и — утром, после известным образом проведенной ночи, женщины-жены, женщины-матери, женщины-дочери, женщины-студентки, женщины без косы, стриженой, женщины с косою и с шиньоном — фуй! как мало хорошего в этих картинах и как много такого, что позорит и женщину, и мужчину, общество, и государство, и историю, и бессильные порывания современной практической науки...

Но вывод все тот же, что много, слишком много пропадает женщин. Неужели же прав Тутнев, обвиняющий их в

бездеятельности, в апатии, в нежелании трудового, упорного развития? Неужели они с а м и виноваты во всем, или мужчины с а м и виноваты в том, что еще не успели добиться того, чего могли бы добиться при дружных усилиях, при общей работе, как мозговой, так и мускульной? Виноваты ли, не виноваты ли они, но как мне жаль их, как много пропадает в этих бедных женщинах хороших творческих сил и богатых надежд! А кто воротит человечеству эти пропажи, кто вознаградит нас за эти невознаградимые потери? Будущее? Э! будущее никогда не возвращает прошедшего, как не возвратить нам человечеству и погибших сил, погибшей мысли, напрасного дара творчества, не имевшего возможности проявиться, даром, может быть, вложенной в иной хорошенькой головке гениальности... Никто, никто не воротит этого человечеству.

Только и радуешься на женщину, пока она ребенок, пока молодая мысль ищет развития, знаний, деятельности, пока, как и у всякого молодого мужчины, светлым роем проходят в голове планы о будущем. Эти нежные цветы скоро отцветают. Не всякого мужчину жизнь так увлечет, чтобы он забыл свое человеческое назначение, свои юношеские планы, то, чем он мечтал показать себя миру. Многих и из мужчин затягивает тина окружающей пошлости. Но женщина, по крайней мере до сих пор, скорее пропадала бесследно: тина жизни засасывает ее скорее, и то, над чем она смеялась в шестнадцать-семнадцать лет, то, что она презирала в других, — становится ее идеалом, правилами ее жизни. Более податливая, чем мужчина, на удовольствие и наслаждение, в общей массе менее честная, чем мужчина, женщина легко отрекается от того, что в ней было хорошего, отрекается от самой себя, забывает даже, какая она была прежде... И вот вы видите, что когда-то милый, даровитый, действительно подававший надежды ребенок превращается в пошлейшую провинциальную барышню, которые все на один лад, или в гнусную барыню — и начинается жизнь, полная пустоты (если только можно что-либо наполнить пустотой, впрочем, у нас ухитряются), полная пошлости, дрязг... Планы забыты, учение брошено — все схоронено... Я сам знал таких женщин, я знал, я был уверен, что они станут гордостью нашего века — в них было все: ум, дарование, сила творчества — и вдруг все это заглушено, все погибло... Фу, какая проклятая женская доля! Ничего худшего не могла выработать история, как положение женщины. Оно хуже положения парии — из парии, может быть, ничего бы и не вышло, но сколько погибло великих

женских сил, сколько потускнело светлых, чудных головок, связав свою судьбу с каким-нибудь плохеньким мужчиной!..

Плачь, проклятая история, выработавшая такое положение женщины, плачь, бедное человечество, лишившееся стольких светлых личностей, плачьте, бедные, понимающие свое положение женщины! Плачьте, бисовые очи, бачили бо що куповали... Нет, не плачьте, лучше начните новую жизнь, не погибайте, не мельчайте. На вас покоится много надежд нынешнего века...

Все это время я был болен, тяжко болен! Глупый Матвей! Забыл, забыл закрыть форточку, когда мы возвратились с прогулки, и я уснул, разгоряченный и утомленный ходьбою, весь в испарине, прямо под форточкой. Во сне и простудился. Думал, что болезнь моя перейдет в чахотку — да в тридцать пять лет что за чахотка? Воспаление да печень, горячка там еще — вот и все. Да я бы, пожалуй, и не захворал, если бы Старин не вывел меня из себя, при болезненной-то впечатлительности, своею вечною песнью об этой девушке... Господи, да что она мне? Что я Гекубе и что мне Гекуба?

Однако, как я еще слаб после болезни. Сегодня первый раз сижу за своим милым письменным столом. Милым!.. Боже мой, как человек привыкает и говорить и делать логические абсурды, несообразности... Чем же этот стол милый? Тем, что я привык к нему, а у Старина стол лучше, но для меня не милый. Как все это глупо, как много глупого в жизни.

Странно. Мне теперь припоминается что-то непонятное из моей болезни. Бред это или сон? Я думаю, что в бреду или во сне я всю эту несообразность видел. Все как-то тупо, туманно припоминается. Старик Релин, я знаю, часто навещал меня больного, по целым часам сидел у моей постели, давал мне лекарство. Помню, не раз он говорил, что приходил навещать меня вместе с Верой. Так что ж? Долг вежливости требует. Но все это, без сомнения, вздор, что мне там во сне грезилось. Я ее два раза видел у своей постели: раз она, помнится, только подошла ко мне и перекрестила меня. Кажется, она сдерживала слезы — и я видел слезы. Ну что ж из этого? Может, она и в самом деле сдерживала слезы... Пусть ее сдерживает. Во сне мало ли какой чепухи не увидишь. Во сне, пожалуй, и счастье пригрезится, потому что оно только во сне и возможно.

Господи! Как гнусно читает этот Матвей там, в своей передней... Теперь далась ему «Саша» Некрасова, все гнусит

ее нараспев по целым вечерам. И какое раздражительное место попалось ему, дурачине... Вот слышу, слышу гнусят его уста:

Что ему книга последняя скажет,
То на душе его сверху и ляжет.
Верить, не верить — ему все равно,
Лишь бы доказано было умно:
Сам на душе ничего не имеет,
Что вчера сжал, то сегодня и сеет,
Нынче не знает, что завтра сожнет,
Только наверное сеять пойдет...

Господи! Как это скучно. Ведь и Матвей опять пойдет завтра в кабак. А что ж с ним делать? Не запретить же читать — а не вслух не умеет. Да притом и жаль дурака: он так добр ко мне, так ухаживал за мной во время моей болезни. Пусть его читает.

Да, я и забыл, что начал говорить не о Матвее, а об этой — как ее? Вере Николаевне. Нет, я еще болен: за что я сержусь на нее? Она мне ничего не сделала. Я было начал ее бояться перед болезнью, но едва ли не напрасно. Болезнь вытрезвила меня, организм мой как-то очистился, во мне нет этих порываний фантазии, нет этой нервной тяги к этой девушке, которая было овладела мной. А теперь — лень, лень, хоть мысль и порывается, судорожно, минутами, на какую-то борьбу — таково уж свойство здорового мозга. Здоровый организм есть хочет, а здоровый мозг думать хочет — вот сказал новость! Точно Кифа Мокиевич.

А что-то теперь славяне делают? И это смешно выходит... Братцы славяне, дедушка Палацкий... А в «Рефлексах головного мозга» Сеченова нет объяснений того явления, почему славяне такие странные, доверчивые, податливые... За это время был прекращен «Голос», «Петербургские ведомости» — теперь опять, кажется, разрешили. А какая смешная была война в газетах из-за непринятия Катковым третьего предостережения. Да это было давно: я все смешал... А отчего Эдгар с ума сошел? Неужели от черной кошки? И Бисмарк болен, устал, надломилось и его здоровье — ну, много работал. А какая сила? Что ж, и у нас есть деятели... А императрица мексиканская, жена Максимилиана, пожаловала своему коту красные башмачки и орден Аннунциаты. Кот кавалер! Ему завидуют придворные...

А действительно ли она была около моей постели с своим отцом, когда я лежал в горячке? Да это она? Мексиканская императрица, которая — бедненькая — пожаловала в кавале-

ры ордена Аннунциаты своего кота? Как звали кота — неужели Матузалевна, как у Стебницкого в «Некуда»?

А ведь у меня все еще жар — я заговариваюсь... Ну, переломлю свой жар, свой слабый мозг... Буду мыслить логически. Попробую.

Так неужели она была у моей постели, то есть Верочка? Надо узнать. Впрочем, зачем? Может быть, и была, да мне-то какое до этого дело? Была так была. Она не зла. Она бы, может быть, и моего Матвея навестила больного, это дело человеколюбия и деликатности. А чтоб она в самом деле так обошлась со мной, как мне пригрезилось, так это пустяки... Мне помнится, что, когда я лежал в жару (это был, должно быть, кризис болезни), старик Релин просил меня дозволить ему войти в мою комнату вместе с дочерью. Мне было лень и тяжело говорить — я и кивнул головой в знак согласия: пусть делают что хотят, мне не до них. Матвей, кажется, причесал мне голову — вздор какой, до прически ли было! Потом они вошли. Старик дотронулся до моей руки, а она молча стала у изголовья, и глаза ее, как водится в подобных случаях, были грустные. Не смеяться же! Она смотрела на меня долго и пристально. Мне казалось даже, что на ресницах у нее дрожали слезы, и губы ее несколько дрожали. Что ж удивительного — может, и не видала больных. Когда пробили часы, — не знаю сколько там, — отец ее подошел к угольному столику, чтобы дать мне лекарство. Я, помнится, стал метаться, потому что мне было тяжело. Я закинул руки за голову, на подушки. Когда старик наливал лекарство, Вера поправила мою подушку, и мне показалось, что, нагнувшись, она коснулась губами моей левой руки и перекрестила меня... Вот пустяки пригрезились — вздор какой! Ах да, помню еще что-то: когда она поправляла мою подушку, то, кажется, положила что-то под мое изголовье! Посмотрю, нет ли там в самом деле чего-нибудь?.. Вот глупости! Конечно, ничего нет... А все-таки посмотрю.

Да, странно. Под подушками, внизу, я нашел вот этот сухой цветок. Это, кажется, иммортельки. Странно... Что это, однако? Так это не сон?.. Вздор какой! Впрочем, что ж, мог положить этот цветок и мой Матвей, или цветок лежал там прежде. Я думаю — так.

Что ж, наконец, если она и целовала мою руку, — что ж из этого? С умирающим все прощаются.

А Лангевич, говорят, в Турции уж. Хочет воевать против славян. Назвался Ланги-беем. Какие странные эти поляки. А где теперь девица Пустовойтова? А Инна Горобец, кажется,

умерла — нет, она осталась в Лондоне, пожелтела вся — волишки недостало. Я воображаю, как смешон кот в ордене.

Иммортельки. Странно. Отчего этот цветок называют иммортелькой — бессмертным? И засох, а цвета не изменил — все такой же. Так иммортельки только те, которые не меняют цвета. Это хорошо.

Какой у меня жар, однако. Я еще болен.

XIII. КАПРИЗЫ ВЫЗДОРАВЛИВАЮЩЕГО

Как я слаб еще. Доктор запретил мне писать, а я не могу сидеть без дела, без пера — мне скучно. Но, кроме писания дневника, этих набросков на бумагу того, что занимает меня в данное время, я ни на что не способен. Мысли в разброде, впечатления в разброде, воспоминания в разброде, нервы тоже как-то разбрелись — ничего уловить не могу. То передо мной Инна, то Вера, то кот в ордене Аннунциаты. Жалкий папа, жалкий старик — все у него выходит non possumus.

Между австрийскими поляками образовалась славянофильская партия. Странно. Это похоже на то, если б мыши советовали людям прятать крупу в железные сундуки. Я не верю этому. Тогда зачем же Лангевичу отправлять в Европу Морозевича для вербовки европейцев в башибузуки? А что — девица Пустовойтова скучает по нем? Может быть. Впрочем, едва ли кто ей мешал пойти с ним в Турцию.

Что-то о «Колоколе» ничего не слышно. Видно, Герцен устарел для нашего времени. Время его прошло. А могло не пройти, если б он знал, что именно нужно России.

А Иванова-Желудкова схватила австрийская полиция и выбросила в Молдавию. За что? Впрочем, это было давно, кажется, в ноябре прошлого года. Меня очень интересует эта личность. Туркин пишет мне, что спрашивал Ламанского, не знает ли он, что это за странное существо — и Ламанский не знает, но говорит, что есть в нем что-то напоминающее Герцена, как будто одной пылью запылились эти лица, из одной чернильницы доставали чернила их руки, но только Жулудков как бы дальше видит, лучше слышит. А впрочем, мне все равно.

Меня теперь больше занимает Вера Павловна в «Ч.....ть?». Как бы на нее подействовало, если б ее мужа заковали в цепи и послали в рудники? Пошла ли бы она за ним? А он взял ли бы ее с собою?

Ведь Рахметова я знал еще гимназистом. Мы жили с ним вместе. Только Ч.....ский создал его сам — он не такой. Когда он уезжал из России, он прощался со мной, странный человек — он хотел пробраться в Новую Зеландию или в Америку, чтоб положить там основание государству на началах фаланстерии. Обещал мне писать из Америки, и с тех пор о нем ни слуху ни духу вот уже десять лет.

Вот мелькнула перед моей памятью та дорогая головка, то дорогое дитя мое, имени которого я даже не в силах выговорить. Что с ней? Как изменился ее внутренний мир? Что думает она? Что окружает ее? Э! как хрупко это человеческое счастье. Как все хрупко. Но отчего же есть такие моменты в моей прошлой жизни, скорбь о которых не забивает ни пространство, ни время? Отчего все это дорогим осталось для меня? Отчего ноет мое сердце, когда своенравная память поставит передо мной одно милое лицо, одни милые глаза? А ведь, кажется, я уж и забыл это лицо милое, забыл выражение этих глаз. Что же это такое, что врезалось в мой мозг, в мое сердце, в мои нервы и мешает мне отрешиться от этого прошлого? Зачем оно прошло? О! это не жизнь, но бессильный протест жизни против смерти, протест против могилы, против уничтожения, против забвения. Зачем это проклятое время все уничтожает, не уничтожая в то же время ничего? Зачем! Зачем! Все бытие мое протестует против забвения — проклятая могила! Она все поглотила, все отняла. Я не могу не протестовать против этой всепоглощающей, беспощадной, безжалостной силы... Изменилось мое чувство — а! да разве это не могила поглотила его? Ведь это уже смерть, проклятая смерть. Кто не протестует, в том нет ничего человеческого, тот не любит, не понимает идеи жизни. Разлюбили меня — разве это не признак смерти передо мной? Разве в этом слове — «изменилось» — не звучит слово «смерть», «уничтожение». Свечка сгорела; химик говорит, что она не сгорела, не уничтожилась, а в ней произошло только химическое видоизменение. Да мне-то что до этого! Свечки нет. Умер человек. Говорят, он не умер, как не сгорела свечка, а химически разложился. Фу! какое проклятое слово! Разложился. Разложилось и чувство мое, мысль моя, любовь моя: чувства стали трупом, мысль стала трупом, любовь стала трупом. То, что я целовал так жадно, стало трупом, хотя живет. Я ненавижу забвение, я ненавижу время, ненавижу смерть, в какой бы форме она ни проявлялась — в том ли, что созрело яблоко и упало с дерева — упало! — в том ли, что из ребенка стала девушка, из девушки женщина, в том ли, что все мое дорогое

положили в гроб или что это дорогое мое стало не тем сегодня, чем было вчера, в том ли, что эти звуки рояля, от которых защемило мое сердце, отзвучали, смолкли, а не остались целы, не застыли в воздухе, чтоб я их вечно мог слушать, в том ли, что то слово, которое она сказала мне давно, давно когда-то, уже сказано, отзвучало, отошло, замерло, а не остановилось в воздухе, не застыло в живой звук, который бы вечно касался моего слуха, моего сердца. Жадная, скупая, бедная природа, жалкая природа! Как жалки твои силы и как неразумна твоя экономия. Зачем ты допускаешь смерть и уничтожаешь? Разве без смерти не могло быть нарождения, развития? Чем виновато дерево, с которого Ева сорвала плод познания добра и зла, что оно выросло раньше этой акации, которая растет у меня под окном и весной заглядывает ко мне в кабинет, кладет свои ветви на мой письменный стол? Чем виновато то дерево, что оно теперь не существует, а моя акация существует? Чем виноват Ксеркс, что он родился в то время, когда люди думали, что цари могут сечь кнутом волнующееся море, и море послушается их велений, уляжется в берега, а не теперь, когда из него мог выйти порядочный, развитой человек? Впрочем, мог и не выйти. Чем виноваты все жившие когда-то и уже не живущие, превратившиеся в грязь, в пыль, в атомы, на которые имеет право и червь, и слон, и акация? Разве природа не могла быть изобретательнее, находчивее? Разве природа не могла распорядиться так, чтобы все живое жило вечно, вечно, не мешая жить вновь народившемуся? Разве недостало бы места на земле? Разве не мог милый звук остаться живым, вечным звуком?

А! как скверно жить на свете, какая жалкая, несовершенная эта жизнь!

Как бы посмеялся надо мной Герберт Спенсер, если б видел, что я тут пишу. Что ж! Пишу против законов дифференциации, которые так же неизбежны, как дыхание для живого организма. Все вздор! Мудрая природа могла устроить так, чтоб мы и без дыхания обходились: ведь рыба же не дышит воздухом, а только механически перепускает воду через жабры, тогда как у нас дыхание — химический процесс Э! вся эта природа недоделана, и законы ее недоделаны, и жизнь человеческая недоделана. Все это так жалко, так ничтожно. Разве творчество природы разумно, совершенно? В таком случае и Матвей — совершенство творения, и я совершенство, и Россия совершенство. Ведь все развивается по известным законам природы, как и творится все по этим же законам. Хороши законы! По-моему, могли бы быть поумнее.

А зачем это Кояловича обвиняют, будто он с о ч и н и л некоторые народные песни? Как на него, на бедного, нападали, когда он сотрудников «Голоса» назвал кочевниками, торками и берендеями. А его за это назвали фетидом, который от преследующих его врагов защищается своим злокачественным запахом.

Что ж это «Большие корабли» Клюшникова не кончаются?

Несколькими строками выше, я сказал, что жить скверно. Правда ли это? Сейчас я сидел и прислушивался сам к себе, следил за игрой моей мысли, и вывожу совсем другое заключение: жить так хорошо, так много счастья можно найти в этой жизни.

Сейчас забегал Тутнев. Смеется над моей слабостью.

— Здравствуй, — говорит, — Австрия.

— Какая Австрия?

— Виноват, — говорит, — здравствуйте, Цислейтания и Транслейтания.

— Что это? — спрашиваю.

— Да то, — говорит, — что ты слишком похож на Австрию.

— Чем?

— Да разбили тебя при Садовой, и ты не знаешь, как встать — кверху сапогами или книзу.

— Я уж встал, — говорю.

— Нет, не встал, Спирин не то говорит.

— А что Спирин говорит?

— Да будто ты собираешься в Петербург.

— Нет, еще не собираюсь.

— Ну, так, — говорит, — ты совсем Австрия: и там дуализм, и в тебе дуализм.

Черт знает что это такое. Он вечно умеет расстроить меня.

Вчера я спрашивал Старина, действительно ли Релин навещал меня вместе с дочерью, и тот сказал, что она была два раза в этом кабинете, и последний раз, как воротилась домой, очень плакала.

Ну что ж, пусть плачет.

Пусть плачет! Поганая рука поднялась написать это слово, а легко ли ей, плачущей! Так разве обо мне?

Не знаю, не знаю!

Мне сегодня и Матвей все хвалил ее. «Скромная, — говорит, — барышня». Это уж из рук вон! Даже Матвей хочет меня мучить. «Такая умная, — говорит, — барышня, какой

я сроду не видал...» Матвей судит об уме... «Сроду такой не видал!..»

Да кого ж он и видел?

Скучно. А все это Тутнев. И писать не хочется. Руки дрожат. Нервы бьют тревогу — баста!

XIV. ЛАКЕЙ О ПОЛИТИКЕ

Я заметно начинаю поправляться. Пожалуй, мне скоро можно будет и прогуливаться. А признаться, надоело сидеть в комнате, хоть я и люблю свой кабинет и свой письменный стол едва ли не больше всего. Мне бы хотелось теперь посмотреть на город, хоть он и опротивел мне давно, подышать свежим воздухом, которым я давно уже не дышал, чуть ли не с месяц. Я очень рад, что моя печень как будто несколько поуспокоилась, не раздражает меня каждую минуту, не выводит из себя, как прежде. Даже на проделки Матвея я смотрю снисходительнее, а прежде всякую его выходку принимал к сердцу. Или я так ослабел и морально и физически? Верно, в самом деле я похож на Австрию, как говорит Тутнев, хотя битва при Садовой и Кениггреце сделала Австрию еще придирчивее к славянам, тогда как я к Матвею вовсе не придираюсь. Теперь Матвей больше смешит меня, чем сердит, — отчего же Австрию не смешат хорваты?

Вот параллель — Матвей и Австрия, я и Австрия. Дико все как-то...

Нет, вопросы общественные и политические слишком еще волнуют меня.

Сегодня Матвей вздумал вмешаться в наш разговор с Стариным, да таким уверенным, притязательным тоном, что нельзя было не смеяться. Ему почему-то показалось, что мы, особенно я, потому такие болезненные и — по его мнению — жалкие, что принимаем к сердцу все, что нам ни удается прочитать в книжках, что мы вечно толкуем — и как он подслушал из передней? — все почти об одном и том же, даже о таких вещах, с которыми уж и он познакомился, таская книги из моего шкафа.

— Все это, — ораторствовал он сегодня, — позвольте вам заметить, вздор, то есть не вздор книжки-то, а к сердцу принимать не годится... Вот что!

— Ты еще что? — спрашиваю.

— Да к сердцу, говорю, сударь, принимать не надо.

— Что к сердцу принимать?

— Да что в книжках-то пишут; мало ли что пишут.

Меня это озадачило.

— Ну что ж? — говорю.

— Вот теперича, признаться, и я немало читал, понабрался ума-разума, а что ж, барин, похудел я, что ли?

Понятно, что мы оба слушали его с любопытством.

— Что ж дальше? — говорю.

— Не похудел я, говорю... А уж чего я не прочитал за эту пору — и вашего Тургеньева знаю — ух! занимательный человек во всех своих видах... И Некрасьева вашего знаю — забористая штука! И басни Крылова знаю — этот, пожалуй, почище всех будет, знатно пишет... Знаю я немало, а вот не похудел.

— Что ж из этого? — спрашиваю я.

— Как что, барин? Я к тому говорю, что вас все сушат эти самые книжки да эти газеты... Вот я о Крылове читал — пишут, какой толстый был, хоша сам литературу эту самую сочинял.

— Ну что ж? — опять спрашиваю я.

— Что? То-то я и говорю — толстый был.

— Что ж из этого?

— Эх, барин, барин! О России все вы толкуете да о братьях славянах... Спору нет, трудно черному народу живется, а чем вы поможете?

— Правда твоя, Матвей, ничем не поможем.

— Так и славяне — может, с подвохом они к нам.

— Как с подвохом?

— Да так... Али с голоду... Урожаи-то и у нас не Бог весть какие, вон на базаре стоном стонут. А помочь — отчего не помочь братьям славянам, коли они люди хорошие.

— Хорошие, Матвей.

— То-то же, я говорю, а чем поможешь? Вон там кандиетам помогли, правда, — отчего и братьям славянам не помочь, коли на то пошло... Да из какой они нации — тоже небось из греков али из немцев?

Я рад был, что не случился тут Тутнев, доехал бы он меня братцами славянами «из немцев или из греков».

Я хотел испить чашу до дна и решился слушать разглагольствования Матвея...

— Коли из немцев, так помогать им нечего — сами себе помогут, — продолжал Матвей, — немец до всего дошел — обезьяну, сказывают, выдумал... А коли и немец хороший человек, да нуждается — помогу... А вот на базаре я слышал, что еще пруссак какой-то, сказывают, проявился — Наполиена, говорят, за пояс заткнул.

— И говорят на базаре?

— Говорят, барин.

— Что ж именно?

— Да пруссак, говорят, такой есть: всю Саксонию, слышь, конскими копытами вытоптал, всех черкесов в полон взял и уж теперь к Арапии подбирается... А все, говорят, оттого, что иголками стрелять вздумали — так все тело, говорят, и испортят иглами... Армию вздумал по телеграфу посылать. Вой такой, говорят, по всей Европе, что и в Азии слышно.

Я видел, что Матвей зашел уж слишком далеко, и потому велел ему приготовить нам чай.

Нынче Старин, впрочем, мало толковал о современных явлениях и больше вращался около своего солнца, около Веры Николаевны, к которой имеет неотразимое тяготение. И заметно, что орбита его все более и более суживается. Это становится даже забавным. Забавно и то, что имя Веры слишком часто пестрит в моем дневнике. Точно я для нее начал его писать и только ее именем хочу его наполнить. Однако что ж делать, когда она всеми путями втирается в мою жизнь, пробирается в мой внутренний мир, хоть туда я и не хотел бы ее пускать... Будет, довольно с меня... Я понимаю, в Старине простительна эта слабость, он любит эту девушку — да я-то что им дался? Правда, я Старина сам люблю, и мне жаль его: он добрый, хотя недалекий человек, и мне понятно, почему Вера не любит его, если она в самом деле такая девушка, как мне иногда кажется. Да мало ли что кажется? Многое кажется потому, что сам создашь образ, благо творчества много и хочется созидать, — ну и падаешь ниц перед своим созданием в силу законов авторского самолюбия. А как вглядишься ближе в оригинал — и отшатнет тебя. А как авторское самолюбие в нас сильно, то все-таки жалеешь: отчего простая синица, которая казалась тебе роскошною райскою птицею, не райская птица, а синица.

Но чего она от меня хочет — не понимаю. Неужели она меня серьезно любит? Не может быть, она меня мало знает, да и не было случая нам ни высказаться, ни понять друг друга, мало того — изучить настолько, чтоб действительно полюбить. Влюбиться можно сразу, с одного взгляда — это немудрено. Можно даже страстно влюбиться в человека, видя его в первый раз; ну, значит, организм весь, и мысль, и нервы — все требовало этой самоотдачи другому человеку, и как иной показался соответствующим нашему порыву самоотдачи, мы ему и отдаемся, как бросаемся на

болотную воду, когда нас мучает жажда. А надолго ли это? Болотная вода скоро опротивеет. Надо органически срастись с человеком, перепутать всю свою жизнь, свою мысль, свои нервы — все, все свое перепутать с другим человеком, с его мыслью, с его нервами, с его жизнью, чтоб полюбить его прочно, капитально... А прочности любви, с ветру навеянной, я не верю. Так я, пожалуй, люблю и ту чудную красоту, которую я видел на лекции; но действительно ли я полюбил бы ее — это еще вопрос. Я бы, может быть, взял ее всю, руководствуясь указанием моих глаз, — она так привлекает своею внешностью. А кто скажет, что я скоро не бросил бы ее?

В Вере, в молоденькой девочке, понятно влечение — может быть, и ко мне. Она, пожалуй, воображает, что любит меня, если только не притворяется. Да и какой расчет притворяться? Не может же такая молодая душа извратиться до такой степени, чтобы играть серьезным, опасным чувством. Это было бы верх гадости. Я не думаю, чтоб она была так испорчена, потому что обстановка ее жизни не могла так изуродовать ее нежную природу. Одно, что я могу предполагать в этом случае, это — любопытство ребенка, потребность чувства, которое, может быть, когда-нибудь и обозначится, но только едва ли теперь. Просто любопытство, смешанное с досадой, что очень естественно в самолюбивой девочке, которая, кажется, знает отчасти, что она умна, так по крайней мере наговорили ей другие, и теперь она волнуется и сердится на то, что я, которого тоже прославили умником, не восхищаюсь ею, не у ног ее с первого дня нашего знакомства и еще спорю с ней, разбиваю некоторые ее фантазии, построенные отчасти на уме и опыте ее учителя-отца, отчасти на ее собственном. Понятная досада, понятное любопытство, самолюбие, а любви тут быть еще не может.

Старина, видимо, мучают неопределенные отношения к этой девушке. Положение, в самом деле, незавидное, в котором я не желал бы находиться. Нечего сказать, приятно быть поверенным сердечных тайн особы, которую любишь и которая любит другого. Я бы не выдержал этой роли. Она ему говорит, что чувствует влечение к такому-то господину, что страдает, когда не видит его, а этот поверенный должен слушать ее, да еще и помогать окончательному разрыву с собой в пользу другого. Смешно и досадно! Или он ее не любит, или он глуп, или герой, каким я не в силах быть. Скорее, что он отчасти рыба. А может быть, я не понимаю Старина, хоть

давно знаю его. Впрочем, что ж я на себя клевещу? Разве я не поступал бы таким же образом на его месте, если б любил девушку больше всего на свете, жил для нее каждую минуту моей жизни, если б каждое биение моего сердца было для нее, трепетание и жизнь каждого нерва — для нее, мысль, молитва — для нее и за нее, если б я любил ее, как там говорят, всеми фибрами моего сердца, что ли (что это за фибры?), — разве, в самом деле, я не так же бы поступал, когда б она откровенно, доверчиво, с беззаветной верой в мое сочувствие призналась мне, что любит другого? Нечего и говорить, что я страдал бы больше, чем теперь страдаю от печени, а за доверие ко мне, за то, что меня по крайней мере не обманывают, я отдался бы весь такому благородному существу, не требуя никакой награды моему отвергнутому чувству.

Что это, однако? Я начинаю, кажется, сентиментальничать? Это глупо. И всему причиной Старин с своим нытьем и хныканьем. Весь вечер сегодня пел мне о моем счастье, о том, что он положительно уверен в любви ко мне Веры Николаевны... Мне-то что за дело, если б она и любила меня в самом деле? Я ведь уже сказал, как смотрю на это. Впрочем, какая-то чепуха творится в моих нервах: я решительно становлюсь опрокинутой Австрией, как говорит чешский поэт Гавличек.

Старик передавал мне, что Релины нетерпеливо ждут меня к себе. Пусть их подождут... А впрочем, это неблагодарно с моей стороны и неделикатно; они так ласковы со мной, так ухаживали за мной во время болезни. Неблагодарно!.. Да ведь неблагодарность, говорят, есть здоровье сердца, как благодарность — болезнь сердца, чувство раба, облагодетельствованного господином.

А если сказать правду, то этой болезни я многим обязан: во-первых, я положительно убедился, что Матвей любит меня и что он честный человек, — а это не последнее благо в этой глупой жизни, во-вторых, я излечился от опаснейшей болезни, от зарождавшегося чувства к Релиной — да и к ней ли, полно? К идее, к призраку, к моему созданию... Болезнь поизмяла меня, лишила некоторой доли впечатлительности — это недурно. А то в последнее время я был в опасном положении: нервы мои были так настроены, что я уже начал бояться Релиной. А в этом деле раз сглупили нервы, раз забила тебя эта проклятая лихорадка, эта febris amoris demoniaca — ну и пропал человек...

Пора спать, однако...

XV. «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗУД»

Матвей в отчаянии. Матвей свирепствует. В нем расшевелили национального червячка. У него, как он выражается, «на пруссака руки чешутся». Значит, прав немецкий человек в России, изрекший как-то в «S.-Petersburger Zeitung» относительно охватившего в последнее время русских развитых людей чувства национальности, что русские люди одержимы «зудом национальности».

У Матвея действительно зудят руки. Он свиреп. Он прекрасен. Мало того, Матвей велик.

Дело в том, что сегодня я получил от Туркина «Slavisches Zentralblatt» за целые два года. Оно издается Смоляром, известным собирателем лужицких песен, в Бауцене. Случился тут задира Тутнев, и, когда мы, пересматривая издание Смоляра, заговорили о немецком «Drang nach Osten», по поводу сказанных на познанском сейме г. Леббином слов о том, что рано ли, поздно ли, а пруссаки захватят всю Польшу до Вислы и Варшавы, Матвей вмешался в наш разговор.

— Так пруссак и к Аршаве подбирается? — спросил он и остановился с подносом посреди комнаты точно вкопанный.

Матвей — старый солдат, Варшава же всегда была его слабостью. Вот потому и сказалась в нем военная косточка.

— Подбирается, — отвечал Тутнев, желая подзадорить его.

— Ну уж этому, сударь, не бывать... Хоша он и иголками, говорят, стреляет...

— Как иголками?

— Заряжает пушки иголками, да как выпалит, так всю армию и испорет иглами.

— Ну так что ж ты против него сделаешь?

— Воля ваша, сударь, только Аршавы не видать ему как своих ушей... Я сам брал Аршаву, я за нее кровь проливал, когда поляки бунтовали в 30 году, — ну и не отдам.

— Да он отнимет, он сильнее нас, а мы что — дрянь, — поддразнивал его Тутнев.

— Грех вам говорить это, сударь, мы никогда дрянью не бывали.

— А под Севастополем все-таки нас побили.

— Измена была, ну и побили нас... Только теперь не побьют — знаем мы изменников.

— Кто ж они?

— Это уже наше дело... А у пруссака я все жилы вымотаю... Намедни мне верный человек говорил, что и немец с пруссаком печки-лавочки.

— Что же ты на это скажешь?

— Мы уж на этот счет, сударь, порешили: ни одной булочной и ни одной колбасной в городе не оставим... Вот что! Наш хлеб-соль ест, да нам же пакостит — это, как хотите, неладно.

Матвей до того расходился, что речь его заходила уже за границы терпимости. Я постарался прекратить разговор, но национальная струна долго звучала в передней, долго доносились оттуда фразы: «Я им покажу, проклятым... Аршаву брать... Ну-ка, сунься только... на семена не оставим... А то слышь что выдумали...»

— Ну что? — спросил я Тутнева.

— Ничего, это значит — шапками закидаем... Только шапками-то против игольных ружей ничего не поделаешь.

— Но ведь в нем говорит истинное национальное чувство.

— Сомневаюсь... Бессмысленный задор, и все потому, что в Варшаве он в цукерне водку пил.

А ведь в самом деле в словах Леббина слышится прямая угроза России...

«Мы должны быть готовы к тому, господа, что рано или поздно мы завладеем царством Польским до самой Вислы и Варшавы», — говорил Леббин (член обер-президентского совета в великом герцогстве Познанском) депутатам от прусских поляков, и говорил это на сейме.

«Однако, я думаю, — отвечал один из депутатов, — ни вы, ни я не доживем до этого».

«Мне кажется, — сказал опять Леббин, — что вы и себе и мне обещаете слишком короткую жизнь... Я другого мнения. Обстоятельства слишком давно и очень хорошо подготовлены. Верьте мне, господа. Царство уже вполовину германизировано, остальное тоже будет сделано, а что еще останется, то это сделают восемьсот чиновников и три прусских полка... Пруссия теперь первая великая держава в Европе: на что она раз решилась, от этого она уже не откажется... Это лежит в наших планах и должно быть исполнено».

Что ж это такое? Ведь слова Леббина, напечатанные в «Czase» и «Slavisches Zentralblatt», никем не опровергнуты.

Вот и вини Матвея за «национальный зуд». Мало, верно, зудят наши руки, потому что мозги-то никогда у нас не зудят.

Туркин много пишет мне о Ламанском и Фрейганге. Особенно Фрейганг представляется мне такою симпатичною личностью. Вот я не знал, что это один из самых энергических писателей и поборников общеславянской идеи. Несмотря на свою немецкую фамилию, он до мозга костей русский. Знания его таковы, что им нельзя не удивляться. Связи его с славянскими деятелями обширны. Он следит за всем, он ничего не пропускает. Туркин пишет, что он много помогает ему своими советами и указаниями. То и дело он забегает к нему, приносит целые кипы газет, поддерживает в нем энергию, руководит им в борьбе с иностранной политической печатью. «Напишите то-то», «отвечайте тому-то» — и Туркин работает, работают и другие, работает и сам Фрейганг... А этого человека так мало знает Россия.

Впрочем, надо еще отвечать Туркину, и потому закрываю свой дневник.

XVI. КОКЕТСТВО ЛИ?

Был, наконец, у Релиных и воротился не в духе. Это просто беда! Едва только пришел к ним, как старик бросился обнимать меня и поздравлять с выздоровлением. Ну, это куда ни шло; старик в самом деле искренен и, по доброте своей, перемял мне все пальцы. Потом начал уверять, как Вера будет рада видеть меня здоровым, как сокрушалась моей болезнью, как молилась за меня, и проч. Ее самой не было в гостиной. Отец велел сказать ей, что мы пришли. Немного погодя явилась и она.

Прежде всего мне не понравилось то, что она явно принарядилась. Это, по-моему, нехорошо. Прежде она встречала меня проще, без всяких украшений и дополнений в туалете, а теперь разрядилась. Это уж искусственность, уловки, кокетство. С Стариным она поздоровалась просто и естественно. Подавая мне руку, она видимо замялась, пробормотала что-то неловко и покраснела. Я любезностей не терплю и потому поблагодарил ее, сколько мог — не сурово, за участие, которое она принимала во мне, прибавив, что сострадание к больному — естественное побуждение всякого человека, не озлобленного жизнью, а что ей, кажется, злобиться еще нечего и не на что и что она должна еще смотреть на людей почти безразлично, не в отношении, конечно, только резко бросающихся в глаза и отталкивающих дурных сторон в них... зарапортовался, по обыкновению!

— Да, — сказала она, видимо оправившись, — но и в первом случае я не желала бы полного безразличия.

— Почему же? — спросил Старин.

— Потому что при участии сознания и сердца безразличие — это больше, чем несправедливость: оно возможно только при полном, недобросовестном равнодушии ко всему. А это, согласитесь, обидно.

— Согласен, — сказал я, — в таком случае, если вы говорите не общую фразу, принятую на веру, с чужого голоса или из книги, то вы очень много думали, вероятно, и немало сами пережили.

Она как будто несколько замялась, что слышалось в ее голосе, когда она отвечала, не глядя на меня:

— Я думаю, не все надо пережить, чтобы понять или, по крайней мере, уметь почувствовать... А когда живется, то и думается вместе.

— Следовательно, и в отношении сострадания к моей болезни вы следовали вашему внутреннему побуждению не безразлично? — спросил я довольно-таки прямо.

Я начинал травить зайца.

— Да, мне кажется, — отвечала она.

— Но вы меня так мало знаете, Вера Николаевна, что я позволю себе приписать это единственно вашему доброму сердцу... А если б вы оценили меня вполне, то, может быть...

— Нет! И не говорите, Владимир Николаевич, и не клевещите на себя, — перебил меня отец, — мы вас довольно узнали и полюбили...

Пришлось мне смешаться, потому что я действительно сказал плоскость. Зайцем-то оказался я. Мне и ответили в упор, что я глуп, то есть мне старик сказал комплимент, на который я как будто нарывался, только со стороны девушки. Мне стало еще досаднее за себя, когда она подняла на меня свои большие, на этот раз ласковые глаза и, ничего не сказав, снова опустила их.

— Вы не поверите, Владимир Николаевич, как мы беспокоились за вас во время вашей болезни, — говорил отец, — хоть сами спросите Веру.

— Но вы, конечно, не помните, как мы с папа навещали вас, — сказала дочь, и пристально взглянула на меня.

Я уже был несколько взволнован, и потому мое смущение было заметно. Пока я медлил ответом, Вера в свою очередь вспыхнула.

— Я очень мало помню из этого периода болезни... Мне было тогда хуже, — сказал я, — но я помню ваше

лицо, Вера Николаевна, может быть, я вас видел в бреду или во сне.

Девушка ничего не отвечала.

— Да, вы плохо узнавали, — сказал старик Релин, — вам было очень тяжело.

— В тот день, когда вы второй раз навещали меня, доктор говорил, что я был особенно опасен. Он боялся за меня. Я все бредил, и доктор сказывал, что я все старался найти какой-то знак на левой руке.

— Какой же это знак?

— Я не знаю... Понимаете, бред больного.

Вера встала и вышла из гостиной.

Когда она воротилась, я заметил, что она была несколько бледна.

— Что с тобой, Верочка? — спросил отец.

— У меня, папа, голова что-то болит.

— Это она вспомнила, как вы были больны, — сказал старик, — она так все живо чувствует, так восприимчива ко всему.

— Ко всему? — спросил Старин, улыбаясь и посматривая на Веру, которая не поднимала глаз.

— Да, ко всему, — отвечал отец, не догадываясь, что Старин хотел выразить своим вопросом.

— Недавно Вера Николаевна выражала свое несочувствие к полному безразличию, следовательно, и безразличной восприимчивости ко всему, — заметил Старин.

Вера все молчала. Мне стало неловко и жаль девушки.

— Ты, кажется, играешь словами, — сказал я Старину, — самое понятие восприимчивости уже отрицает собой безразличность, индифферентизм — как хотите. Я, например, далеко не индифферентист, хоть далеко не восприимчив по своей врожденной деревянности... Это, впрочем, другое дело.

Я видел, больше, впрочем, чувствовал, как свет голубых глаз девушки скользнул по моему лицу, но, когда я успел взглянуть на нее, голубые глаза были опущены на платок, который Вера перебирала в задумчивости. Мне стало несколько досадно: что она — прячется, что ли, кокетничает? Какая гадость! Я ненавижу кокетство — это хуже воровства. Это — отдавание себя по мелочам всем, кто пожелает... Это продажа своего тела дешевле чем за алтын, проституционное торгашество по акцизному свидетельству самого низкого разряда. Это — обманывание всех и в то же время — удовлетворение себя, нет, не полное удовлетворение,

а приблизительное удовлетворение. Это та болезнь, от которой лечат детей...

Одним словом, я обозлился, точно она мне на мозоль наступила. Ну, ведь у всякого есть нравственные мозоли, которых нельзя вывести даже качевскими «добились-таки».

Дай же, думаю, я несколько поэкзаменую тебя, позондирую, притворщица. Разумеется, это во мне говорила печень, что у Матвея называется «зуд в руках». Уж не расстроена ли печень у всех русских, если они, по удачному выражению вестфальского мужа в России, одержимы зудом национальности?

— Ты знаешь, — сказал я, обращаясь к Старину, — как я люблю цветы. Но я их люблю не безразлично. Я люблю запах в цветке и его относительную нежность, чувствительность... И в зелени я предпочитаю чувствительность, даже, можно сказать, недолговечность, я не люблю северной зелени, не люблю вечнозеленой и вечномертвой сосны и ели. Я люблю, скорее, то, что недолго живет, потому что оно живет усиленной, полной жизнью, полно чувствует, полно воспринимает и полно отдает воспринятое и оттого рано отживает... Что, например, хорошего в иммортелях? Они такие же мертвецы, когда цветут, как и тогда, когда засыхают.

Я говорил не то, что думал, но хотел так говорить.

При этом я взглянул на Веру. Она стала еще бледней... Она, видимо, готова была заплакать.

Ну, не противное ли я создание? Стою ли я благородного, чистого чувства? Господи! Как же тут не болеть печени, когда я сознаю всю силу моей омерзительности, всю мою гнусность. Да и в самом деле, что может быть хуже того животного, которое зовут человеком? Древние дураки, которых оклеветали именем мудрецов, говорили: «Познай самого себя». Ну вот я и познал себя: и неужели ж все люди так отвратительно гадки, как я? Должно быть, так, если верить древним этим чудакам, потому что ведь когда я узнаю себя, то чрез это узнаю и других. Нечего сказать, находка! Впрочем, лгут мудрецы, вот уж мой Матвей не подходит под это правило, потому что он лучше меня, хотя и до сих пор мешает мне сосредоточиться, бормоча что-то там себе в передней: кажется, учит свою роль, как ему завтра получше и поизысканнее побраниться с лавочником за дурной табак, отпущенный ему сегодня. Какой несносный! Ужасно любит рассуждать с самим собою вслух и часто дает себе наставления и нагоняи — почаще бы только!

Да, я вел себя сегодня отвратительно, пошло. Оставалось только поправиться, то есть постараться окончательно убить девушку.

Мы еще долго сидели у Релиных, но разговор как-то не вязался. Вера была заметно печальна, что меня еще больше сердило и огорчало. Вот связался черт с младенцем!

При прощании я не знал, что сказать, и только спросил Веру Николаевну, не желает ли она, чтоб я прислал ей каких-нибудь книг. Она охотно, хотя с прежним смущением, изъявила согласие. Когда я сказал ей несколько названий книг, большею частью по естественным наукам, и спросил, не читала ли она их, девушка отвечала, что некоторых не читала, и при этом так переконфузилась, бедненькая, что я решительно дал себе слово загладить перед ней всю мою грубость и все мои гадости.

Да, не такой я человек, чтоб загладил: еще, пожалуй, хуже наделаю... Бывают же такие несносные создания, как я, — и их еще называют хорошими людьми. Бедные люди!

XVII. ЛЮБОВЬ ЛИ ЭТО?

Только сегодня воротился я в свой кабинет, в котором не был около двух недель. Ездил в деревню к знакомым и несколько поправился и освежился, хотя и туда наезжал Тутнев из своего имения и едва окончательно не расстроил меня.

— Читал, — говорит, — что славянский съезд готовится в Москве?

— Читал, — говорю.

— А знаешь, — говорит, — чем это кончится?

— Не знаю.

— А я знаю: закормят славян кулебяками, споят их, как споили американцев...

— Кто их спаивал? — говорю.

— Правда, они сами пить горазды... А славян-то споят, а как они воротятся домой, их и притянут к суду.

— А если не притянут?

— Ну так новых врагов себе наживем в Европе... Где уж нам соваться за Пруссией, когда у нас ничего нет, ни вооруженной армии, ни денег, ни крепостей... Сидели бы уж да молчали, как тот хохол...

И пошел, и пошел на эту тему — ну и стало мне скверно... Но он скоро уехал в свою деревню.

Как бы то ни было, я несколько освежился. Как хорошо дышится в открытом поле, как успокоительно действует на нервы это мерное качание и даже эта самая усталость. Однообразное звяканье колокольчика не раздражает, а как-то усыпляет, наводит на душу какую-то мечтательность, пошлую истому, так что, пожалуй, и по луне вздыхать станешь, как уездная барышня.

А что-то делает моя барышня, перед которой я так виноват, как только может быть виноват пошлый уездный фат перед порядочной девушкой.

Сейчас был Старин и говорил, что она серьезно работала все это время, после того как я в последний раз был у них. Она серьезно готовится слушать университетские лекции, если не в России, где это запрещено женщинам, то заграницей. Старин сказывал, что она ужасно боится показаться передо мной невеждой и теперь все упрекает его, что он ее мало учил (Старин ее учитель), мало развивал ее вкус и понимание. Она созналась, что ей было до слез стыдно, когда я спросил ее тогда, читала ли она то и то. Теперь она занимается еще более усидчиво, почти не выходит из своей комнаты, разве только в сад с стариком отцом, и даже заметно похудела. Старик говорит, что чем больше читает она, чем больше думает, чем более расширяются ее знания, тем в большее приходит уныние, что я найду ее неразвившеюся, глупою, необразованною девчонкой, что даже на Бокля она горько плачется.

— Он льстил женщинам, он не знал всей нашей пустоты и нашего невежества, — говорит она.

Фуй, что за подлость!.. Нет, я должен все записывать, все, когда взялся за дневник. Я не могу, не должен рисоваться героем, как батальонный прапорщик... Теперь вот бедная девочка мучается, а мне как будто и приятно, как будто это льстит моему самолюбию. Какая гадость! Ну, скажите, ради Бога, как же удержать подобные поползновения нашей пошленькой натуришки? Как уберечь себя от этих невольных, почти несознаваемых мерзких движений? А ведь мое глупое, звериное сердце шевельнулось как-то приятно, радостно, и, наверное, глаза мои подлые засветились особенным блеском, когда я все это узнал от Старина. Это, наконец, из рук вон! Как же тут не сердиться? Как же искать в человеке чего-нибудь хорошего, когда в нем только гадость да мелочность? Разве это, впрочем, во мне только? Может быть, есть и вполне благородные, вполне хорошие люди. Иначе быть не может, иначе бы не стоило жить.

Итак, я торжествую: заставил бедного ребенка страдать. Торжествуйте, Владимир Николаевич, торжествуйте, мерзавец!

Я вижу, что и Старина начинает мучить эта история. Он заметно переменился. Он и ко мне не тот стал, что был прежде. Да и не удивительно: он любит эту девушку, она выросла почти на его руках, он учил ее, положил в нее свою мысль, свое сердце, а между тем видит, что она... что я... я... ну, я просто мерзавец!

Видите ли, все это щекочет мое маленькое самолюбьице. Маленькое! О, какая гадость! Я прежде, видите, не мог любить ее, а теперь мое подлое сердце бьется как-то радостно, скаредно бьется там под погаными ребрами. Теперь я, отвратительный зверь, сыроядец, чувствую счастье в этой поганой груди, за этими свиными ребрами, мне хорошо, я люблю, я счастлив, потому что умею ловко терзать свою слабую жертву, мучить маленькое, никогда не болевшее, чистое сердце — и достиг цели: это маленькое чистенькое сердце болит, эти светлые, детски-невинные глаза плачут... О, как много отвратительного в человеке и как он бессилен против самого себя! Зверь, зверь!

Вот и успокоился с дороги... Очень успокоился... Расходилась моя печень, расколотилось мое звериное сердце. Странно, какие разнородные ощущения...

Да люблю ли я в самом деле? Может ли это высокое чувство совместиться с раздражением печени? Да и может ли оно повториться, когда уже было раз? Э! все может! Разве человек из честного не может сделаться отъявленным негодяем? Может, может.

Разве любовь не счастье? А разве счастье не заглушит всякую боль печени? Вздор, все вздор! Я не люблю ее, хоть мне невыразимо жаль этого милого доброго существа.

А разве любовь не мука? Ну, вот и печень болит... Любовь, печень, славяне, нервы, лавровишневая вода — что ж это, наконец?

Разве горилла не так же любит? Ну, так же — что ж из этого?

Но, однако, стою ли я хоть одной чистой слезы этого ребенка? О, как мне жаль ее, как меня мучает совесть! У гориллы совесть, у кретина ум — великолепно!

Но как бы я рад был заплатить жестокими страданиями за каждый ее вздох, за каждую хмурку на ее детском челе, за каждую ее слезу. Как мне теперь хочется видеть ее, выпросить у нее прощение — но в чем? Успокоить ее — но как, чем?

А она так ждала меня, говорит Старин. Бедный Старин! Три дня тому назад он был у них, и она долго сидела у окна, из которого видна почтовая дорога и виден всякий экипаж, въезжающий в город. Вера, видимо, была взволнована и тревожно взглядывала на дорогу. Когда вдали показывался дорожный экипаж, глаза ее загорались как-то лихорадочно (несчастный Старин все это изучал!), она отвечала невпопад, а когда экипаж проезжал мимо и не оставалось никакого сомнения в том, что экипаж не мне принадлежал, она снова становилась рассеянною и скучною. Она ждала меня, а я... скотина!.. Однажды сам Старин был введен в ошибку каким-то проезжим и заметил, как тяжела была эта ошибка для Веры. Уж к вечеру на дороге показался возок, очень похожий на мой, и Старин имел неосторожность сказать Вере, не я ли это еду. Что-то вроде задавленного вздоха вырвалось из груди девушки. Она посмотрела на Старина какими-то умоляющими, робкими глазами, точно от него зависело, чтобы я приехал. Я, я и я! Как это гнусно, однако, и все же я с удовольствием пишу это звериное «я». Вера заметно дрожала, когда приближался экипаж. Вера дрожала... Ну-с, Владимир Николаевич, мазурик ты этакий, нравственный карманник, жулик мостовой, уворовавший платок из чужого кармана, и у тебя ведь, у канальи, рука дрожит, когда ты это пишешь...

— Матвей!

— Что угодно? — Он явился на мой зов.

— Дай мне пощечину.

— Что вы, барин?

— Дай, говорю тебе.

— Помилуйте, как же это можно?

— Бей!

— Что ж у вас, зубки, что ли, болят?

— Да, бей!

И Матвей дал мне пощечину. Стою я этого...

Ну, что ж дальше?.. Да, помню, помню...

Экипаж между тем приближался, говорит Старин, и волнение все больше и больше овладевало Верой. Она взялась за оконную раму и не сводила глаз с дороги. И Старин, и она молчали.

— Если это он, — сказал Старин, — то он оглянется на окно и заедет сюда.

— Нет, это не он, — говорила Вера.

Чуткое женское сердце сказало, что это был не я, но карманник, укравший у девушки что-то, что дороже носового платка.

— Посмотрите, выглядывает из возка, смотрит на окно, — говорил Старин, — он узнал нас.

Вера молчала. Но по руке, которой она чертила на окне букву В (себя или меня, свинью?), видно было, что эта рука дрожала.

Экипаж проехал мимо. Когда Старин взглянул Вере в лицо, она была необыкновенно бледна и на ресницах дрожали слезы. Голос ее также дрожал, когда она хотела говорить. Старин хотел утешить ее, сказав, что, может быть, это я проехал, но только не заметил их. Вера покачала головой и улыбнулась. Потом она просила Старина приходить на другой день пораньше. Сам Релин, очень хорошо изучивший своего ребенка, с беспокойством спрашивал, что с ней.

— Ничего, ничего, папа, — только и отвечала она.

— Да скажите ей, — обращался отец к Старину, — чтоб она меньше занималась. Измучила себя. Похудела даже... И куда девалась ее веселость, ее детский смех... Точно кто сглазил мое милое дитятко.

И старик целовал ее в голову, а Вера грустно улыбалась, говоря тихонько:

— Ничего, милый папаша, я не больна, я опять повеселею.

Ну что ж, радуйтесь, Владимир Николаевич, радуйся, неповешенная собака! Все это ваше дело... Фи, а ведь ей-богу же радостью шевельнулось сейчас вот это гнусное сердце... Да, шевелится, я слышу — шевелится, змея подколодная.

Вера, прости меня.

Да, легче ей оттого, что я прошу прощения... Жалкие мы, жалкие люди!

— Матвей! Дай мне еще пощечину.

А ведь и эти пощечины — разве не фатовство?

XVIII. ЧЕСТНОСТЬ ПОБЕДИЛА

Нынче весь вечер была война с Матвеем, который желает располагать моею волею деспотически. Сегодня он был вообще что-то не в духе: подавая обед, он настаивал, чтоб я больше ел супу и черного хлеба, говоря, что только от хлеба и супу люди здоровеют и бывают красные, причем он указал на соседнюю пекарню и на краснорожих хлебопеков. Но это бы еще ничего — пусть резонерствует, а то нет — после обеда вздумал приказывать мне, чтоб я непременно лег спать и делал бы это каждый день, а когда я отказался исполнить его

приказание, он мне просто наговорил грубостей и, пожав плечами, хлопнул дверью, и я слышал потом, как он ворчал в передней:

— А еще образованные считаются... Какие образованные! Умного человека, хоть бы и меня, ни во что ставить не хочет... Мы Аршаву брали — знаем, как люди живут... То-то, если б да понимал, к чему все это я говорю, сам бы небось сказал: «Ты не Матвей, а золото». Из чего ж я и говорю, как не из любви: люблю — ну и говорю.

И долго он ворчал, хлопая сапогами, стуча стаканами, пока не вспомнил какую-то басню Крылова, и все читал ее, по-видимому в укор мне, хотя совершенно некстати приходился sens morale этой басни, только ему казалась она очень кстати.

Впрочем, ворчание его не сердило меня. Но потом окончательно вывел меня из терпения. Пришли ко мне маленькие нищие, дети той бабы, ребенку которой мы дали на гробик, просить помощи. Мать захворала и прислала их ко мне попросить на лекарство. По счастью, Матвей отлучился из передней, а то бы он прогнал их. Но едва только я дал им целковый и они успели сойти с лестницы, как откуда ни возьмись мой Матвей и, заметив, что дети были у меня и что, следовательно, прошли без его позволения и, без сомнения, получили что-нибудь, остановил их и начал что-то говорить. Старшая девочка раскрыла ручонку и показала ему целковый. Матвей взял этот целковый (в окно мне видны были его проделки) и что-то указал на мою квартиру (маленькие нищие знали, что Матвей у меня живет), потом показал на мелочную лавочку, куда он, кажется, и отлучался тогда, вынул из кармана свой засаленный и пропахший ваксою портмоне, достал что-то оттуда (я догадывался, в чем дело, — он им дал мелкую монету, вместо целкового, а целковый положил в портмоне) и отдал детям. Те постояли с секунду и побрели по улице. Я смотрю, что дальше будет. Матвей является и важно кладет мне на стол, молча и сурово поглядывая на меня, два фунта ваксы, потом вынимает свой скверный портмоне и подносит его прямо к моему носу.

— Что это? — спрашиваю.

— Два фунта ваксы-с, по пятиалтынному фунт.

— А это что? — спрашиваю.

— Партмане, разве не видите?

Затем вынимает из этого «партмане» деньги и делает знак, чтоб я протянул руку. Я протянул — нельзя не по-

виноваться, а иначе рассердится опять, как за обедом, хоть мне вовсе не хотелось брать в руки денег из его промозглого «партмане».

— А вот вам сдача, — говорит он еще суровее, — два фунта по пятиалтынному — это два пятиалтынных — будет тридцать копеек... Так-с?

— Так, — говорю я покорно.

— Я у вас взял целковый. Сдачи следует, значит, получить семь гривен серебра... Так ли?

— Так, — говорю.

— Вот вам пятьдесят копеек. — И он положил мне на руку серебряную и медную монету. Я взял и хотел положить все это на стол.

— Позвольте, — сказал он, удерживая мою руку.

— Что еще? — спрашиваю я, догадавшись, в чем дело.

— А вот вам целковый, который вы дали этим попрошайкам... Я взял его у них, а им дал двугривенный — будет с них. А то вздумали по целковому давать — так не напасешься денег.

Я, признаюсь, и тут не рассердился. Я знал, что он не любит нищих и всегда читал мне наставления, когда я подавал бедным.

— Зачем же ты отнял у них? — говорю. — Ведь я дал целковый.

— Жирно будет по целковому бросать за окно.

— Да у них мать больна, ей на лекарство нужно.

— Знаю-с, что больна... Каких же ей там, нищенке, микстур-то да лихих болестей прописывать, как господам, — и на двугривенный встанет как встрепанная.

— Ну, пожалуйста, — говорю, — Матвей, оставь глупости.

— Какие же глупости-то, барин? Еще не знай, кто их делает, глупости-то...

— Хорошо, хорошо, — говорю, — только беги догони нищих и отдай им целковый.

— Где их там искать, — говорит, — чай, далеко ушли, не догонишь.

Я рассердился и приказал немедленно идти.

— Воля ваша, сударь, а я не пойду — срам...

Ну что станешь делать с таким грубияном? Навязался же такой несносный, тошный человек, а честный и любит меня.

— Не серди меня, говорю, Матвей, делай, что велят... Ступай.

Как сказал — «воля ваша, не пойду», — так тут что хочешь с ним делай. Такое противное создание.

— Сгоните, — говорит, — меня, сударь, за мою верность да честность, коли не умею угодить.

— Ну, я сам побегу догонять их, — говорю, — только нельзя — я не одет.

Наконец только тут он взял деньги и пошел к двери, произнеся трагически и с глубоким вздохом:

— Эх, не цените вы Матвея, не знаете вы его, сударь... Не к рукам золото... Глупому сыну...

Он не досказал и хлопнул дверью. Это уж, наконец, я и не знаю, что такое! Он меня просто дураком ругает, а я должен молчать... Но ведь честнейший человек. Так что ж из того, что честный? Он и бить меня станет, когда я его не бью? Признаюсь, я порядочно вышел из себя: ведь в самом деле положение скверное.

Возвращается Матвей и мрачно кладет деньги на стол.

— Не догнал-с, сударь, и не знаю, где они живут.

— Пошел вон, — говорю.

— Ну и пойду-с.

И пошел, и хлопнул дверью. Каково! Я остался дурак дураком и сидел, не зная, что делать. Я был ошеломлен. Вот, думаю, сюрприз! Да не пьян ли он? Но он никогда так не грубил мне.

Через минуту Матвей воротился сконфуженный и, видя, что я сижу как пень, робко подошел ко мне и, хватая руку, чтоб поцеловать, стал просить прощения... Расплакался даже...

— Простите, — говорит, — старого черта за мою честность.

Ну и простил. Что ж с ним делать!

Только вечер мой был испорчен, и я не мог идти к Релиным.

XIX. КТО ЖЕ ОН?

Странно. Очень странно.

Я наконец начинаю не понимать себя, хоть и думал прежде, что достаточно ознакомился с этой интересной личностью. Я сегодня решительно не понимаю, что я, кто я. Владимир Николаевич Ломжинов? Что ж из этого?.. Чин прописывать, образ занятий, положение в обществе, написанные мною в журналах статьи — еще что? Нравственные качества? Эх, скучно, скучно.

Я прежде думал, что у меня есть определенные нравственные качества, есть характер, есть честность — и вдруг никаких качеств, никакого характера, никакой чести! Это смешно до безобразия.

Смешно. То-то, смешно, а не смеется.

Сегодня я явился к Релиным, когда они собирались ехать за город подышать первым весенним чистым воздухом и побродить по только-то пробившейся молодой зелени. Кроме Старина, у них были еще некоторые знакомые, дамы и мужчины, которые тоже хотели присоединиться к маленькому обществу Релиных.

— Здравствуйте, Владимир Николаевич, — закричал мне добрый старикашка, едва я показался в гостиной. — Уж опять не уезжали ли из города?

— Почему же вы думаете?

— Да давно не видать вас.

— Некогда было.

— Верю, верю... Не хотите ли с нами за город, провести часок с природой?

— С удовольствием... Я же недавно был за городом и остался очень доволен своей экскурсией.

— Что делали?

— Хотел проверить показание Мурчисона о местных наслоениях.

— И что ж?

— Нашел ошибки.

— Да?

— Да.

— Так собирайтесь с нами. Хотите?

— Очень хочу.

— Едва ли Владимиру Николаевичу эта бесцельная прогулка доставит удовольствие, после того как он уже был за городом, — вмешалась Вера.

— Отчего же, — говорю.

— Оттого, что вы уже раз испытали удовольствие... а повторенное удовольствие, говорят, пол-удовольствия.

— Может быть, да, а может быть, и нет, — возразил я, — мне кажется, что испытавший удовольствие в другой раз испытывает его полнее, сознательнее, чувствует его глубже, потому что он уже как бы знаток в этом чувстве, компетентный судья.

— А я на это иначе смотрю... Да и папа говорит, что в молодости все удовольствия его, в первый раз испытываемые, принимали такой светлый, отрадный колорит, имели столько

обаяния и прелести, что последующие удовольствия не имели уже и подобия удовольствий первичных, особенно же когда удовольствия эти часто повторялись. Да, папа?

— Да, я говорил это, отучая тебя есть конфеты по целому фунту разом.

— Что ж, папа, разве же конфеты потеряли для меня всю заманчивость оттого, что я их ем не в первый раз?

— Правда, правда.

— Говорят еще, — продолжала Вера, — что удовольствия молодости имеют прелесть и обаяние новизны. Но если бы новизна имела такое большое значение, то это было бы обидно для человеческого чувства. Притом же вы сами, Владимир Николаевич, говорили, что в первый раз выслушали «Рогнеду» Серова не с таким полным наслаждением, как в последующие представления... Говорили?

— Да, говорил.

— Однако экипажи готовы, — сказал кто-то из гостей, и Старин первый взялся за фуражку.

— Ты как будто экзаменуешь мою ученицу и, следовательно, косвенно некоторым образом и меня, — заметил Старин.

— Что ж из этого? Да я и не экзаменую ее — она сама говорить умеет.

— Я познакомил Веру Николаевну только с элементарными понятиями об эстетике, да и то вот Николай Иванович скажет, как Вера Николаевна спорила всегда с ним и доказывала, что она может развить эстетическое чувство, вкус и понимание изящного не столько на образцах, на художественных произведениях, стоя перед картиной, перед статуей, сколько на самой природе, на людях и жизни.

— А, понимаю, — заметил я шутя, — вам, Вера Николаевна, должно быть, попадалась в руки диссертация Ч.....кого?

— Да, попадалась...

— В таком случае едемте за город... Вы во всем правы.

— Да. Она у меня всегда права, — вмешался старик отец, гладя ее по голове, — иногда и без кофе старика оставит, все уши прожужжит, читая то, что ее особенно интересует, да бывает и так, что и спать отцу помешает с своею, так сказать, умственною воженностью — возится, любит спорить со мной — и все права.

— Какой вы несправедливый, папаша.

— Вот уже я и несправедливый... Избаловал я тебя, Верочка... Да как и не баловать? Одна.

— И двух бы, папа, баловал, если б и другая была похожая на меня.

Мы стали выходить. Тут только я заметил какую-то особенную живость в Вере Николаевне, но не в движениях, в которых всегда преобладала мягкость и грациозность, а в лице и звуках голоса. Она немножко похудела, что еще больше шло к ней, и молодое, похудевшее личико смотрело более строгим и осмысленным. Слабый, нежный румянец на щеках не напоминал того немецко-мещанского румянца, который так пошлит всякое лицо. Глаза казались светлее, чем я их знал прежде. В голосе звучала какая-то особенная нота, я бы сказал несколько резкая, звучнее ее нормального тембра, если б эта звучность хоть сколько-нибудь не гармонировала с ее речью вообще, не имела в себе чего-то нежного, доброго и ласкового. Она казалась веселою. Но эта веселость и была особого характера, имела какой-то небывалый оттенок и была как будто неискренна, вынужденная веселость, хотя, может быть, мне все это казалось потому, что я не знал источника ее радости, причины ее оживления. Ну, просто, я думаю, она рада была, что ехала за город.

Она села с отцом и пригласила в экипаж гостью, молодую девицу. Другие гости уселись в свой экипаж. Еще один молодой человек, которого я прежде не видел у Релиных, галопировал верхом рядом с их экипажем и переговаривался с девицей. Мы с Стариным поехали отдельно, позади прочих гостей. Я, признаться, не обратил на них внимания и хорошенько даже не рассмотрел. Был один толстяк с ожиревшим лицом и подернутыми слезой глазами, была томная, но противная дама и проч. Молодой человек казался добрым, но тупым малым. Девушка была, пожалуй, недурна, из красивых брюнеток, но в выражении ее лица было столько пошлости, сколько у молодого человека глупости. Она выделывала глазами удивительные штуки, точно хотела сказать: «Ради Бога, вглядитесь в мои глаза... Не правда ли, они выражают неизмеримую пустоту моего содержания?» Да, невольно хотелось сказать: «Вы искусно выражаете себя, моя милая». «Нет, — продолжала она своими глазами, — вы еще вот этого не видели». — «Фуй, какую мерзость вы показываете — закройтесь». Вот какова была эта барышня. Просто дура, да еще сальная.

— Откуда это Вера Николаевна выкопала да еще рядом с собой посадила такое сокровище? — невольно спросил я Старина.

— Отцы дружны, ну и свели детей... Разве таких выкапывают? Сами кидаются на всех.

— Признаюсь!

Но день был так хорош, что я невольно забыл и пошлую, назойливую барышню, и ее родителей, и даже умненькая головка Веры улетела из моей памяти. Утром была первая гроза и первый весенний дождь. Молодая зелень обмылась, воздух очистился. Жарким солнцем высушило, но не раскалило землю, и хотя она не была влажна, но не давала и пыли. Хоть бы облачко на небе... Так хорошо, что Матвей непременно плюнул бы от удовольствия. На полугоре пестрело стадо, и на горе от синевы неба резко отделялась человеческая фигура с длинной палкой в руке. Вероятно, пастух. Оттуда, где он стоял, неслись резкие, дребезжащие звуки какой-то дудки, рожков или волынки, и хотя ничего нежного и гармонического не было в этих звуках, однако в воздухе рожки звучали как будто и мелодически. В песне было какое-то странное, дикое выражение, дикое чувство, дикая поэзия, хватавшая за нервы... Конечно, все это вздор, нервы были предрасположены к чувствительному, к нежным ощущениям, ну — и глухие, беззвучные рожки шевелили их, волновали, внутри у самого себя было много всякой дрянни (да дрянь-то хорошая: плачется, когда чувствуешь эту дрянь) — ну и казалось, что и в воздухе полно чувства, поэзии, гармонии.

Что это я? За описание природы принялся?.. А еще дневник пишу... Эх, Владимир Николаевич, переполнила вас матушка-природа теплом не в меру... А что в нем толку, в тепле-то?

Теперь, пожалуй, придется изукрасить цветами красноречия описание рощи, в которую мы приехали погулять... Роща как роща: деревья, бугорки, холмики, лужайки, ручеечки и цветочки, — впрочем, вру, цветочки только показываются. Ну, все как водится, как во всех повестях описывается. Там же птичий писк и визг.

Старики, тоже как водится, уселись на коврах, чтоб отдохнуть с дороги и — по любезному российскому обычаю, перешедшему и к немцам, — напиться чаю. Вера Николаевна и девица, которая всем говорила глазами: «Ах, возьмите меня, женитесь на мне, увидите, что за прелесть», а вместе с ними молодой человек с усами, отправились, тоже как водится, в одну сторону рощи, каждый с своими целями, мы с Стариным в другую. Очутившись наедине, вдали от общества, мы полежали на земле, покурили, помечтали даже,

как прилично с глазу на глаз с природой, перестроили по-своему всю вселенную (глупость какая! Точно это и в самом деле скоро сделаешь с такими людьми) и, порешивши ехать заграницу, начали приготовляться к этому подвигу, то есть принялись делать глупости, которые состояли в том, что мы (собственно, я) вообразили себя на Балканах, в Болгарии, начали даже лазить по горам и подвергать свою жизнь опасностям. Турки, славяне, черногорцы, немцы, объединение славян — все пошло в ход, точно на университетской скамье. Мы отыскали канавку, довольно широкую и глубокую, начали прыгать через канавку, сначала где было поуже, а потом подобрались и к широкому месту.

— Прыгай ты первый, — сказал Старин.

— Почему же?

— Ты больше любишь славян, чем я.

Я разбежался, прыгнул и чуть-чуть не свалился в канаву. Побежал и Старин. Но едва ноги отделились от одного обрыва канавы, как в это время послышался крик — «ах», — и Старин не перескочил, а съехал в канаву. В это время показались наши гуляющие — Вера Николаевна, глазопялая девица (я сердит на нее) и усатый, но прекрасный молодой человек.

— Что это вы здесь делаете? — спросила Вера.

— На Балканы взбираемся, — отвечал я, вытаскивая Старина, — а я вот спасаю товарища из пропасти.

— Все это вы наделали, Вера Николаевна, — сказал Старин, оправляясь, — я услышал ваш голос, смутился и не перескочил через канаву.

— Вы шалите, мой ментор, — сказала Вера, погрозив ему пальцем, — вы меня этому не учили.

— Мы сами учились, Вера Николаевна, — отвечал он, — мы с Владимиром Николаевичем собрались в славянские земли и приучаемся лазить по горам и пропастям.

— Вы шутите?

— Нет, Вера Николаевна, — отвечал я, — мы в самом деле думаем о поездке, хоть не сейчас.

— Когда же? — спросила она, и голос ее дрогнул.

— Может быть, нынешним летом.

Все замолчали, только девица продолжала глазные экзерсисы, да усатый молодой человек продолжал немо, но выразительно доказывать свою глупость. «Вот бы парочка», — думалось мне... Но и он не обращал внимания на ее глазные орбиты и на все, что под орбитами, ни на роговую оболочку, ни на зрачки.

— Пойдемте к нашим, — сказала потом Вера Николаевна, — они, вероятно, ждут нас к чаю... А идти далеко.

Мы пошли, впрочем, довольно тихо. Я пошел рядом с Верой Николаевной.

— Кто тот всадник, Вера Николаевна, что красиво галопировал около вашего экипажа на красивой лошади? — спросил я.

— Приятель приятелей моего папа, — сказала она.

— Только?

— Полагаю, что довольно... Впрочем, могу прибавить еще, что он глупее своей лошади... Так вы едете заграницу, Владимир Николаевич? — спросила она, глядя куда-то в сторону.

— Да, Вера Николаевна.

— Когда же?

— Может быть, скоро, а может быть, осенью... А вы едете в Петербург?

— Не знаю, как папа.

— А если он не поедет?

— Не знаю.

Потом, помолчав немного, она сказала:

— Выработаю себе денег — и бегу... попробую. Ведь Ломоносов не пропал... Переряжусь мальчиком...

Она ускорила шаги, и мы присоединились к остальным гуляющим. Наблюдая за выражением ее лица, я ничего не мог заметить, кроме того, что она была бледна, может быть от усталости. Она стала говорить с Стариным и заметила, что его уроки ботаники были для нее очень полезны, что она любовалась теперь каждой травкой и каждым цветком сознательно, разумно, и припоминала все, что он рассказывал ей о жизни растений. Потом она сказала, что не знает названия одного растения и побежала в сторону от дорожки, по которой мы шли в рощу. Опасаясь, чтоб она не упала в канавку, закрытую густым кустарником, я было последовал за ней, но едва сделал несколько шагов, как увидел, что она припала на колени и, по-видимому, молилась. Я явственно расслышал, как она сказала: «Господи, что же со мной будет?» Я воротился, не понимая, что и со мной делается.

Когда она вышла из рощи, глаза ее казались заплаканными, но она, смеясь, сказала:

— Меня природа посекла... Зеленая ветка чуть глаза мне не выбила... Вот то растение, о котором я говорила.

— Да это молодой папоротник, Вера Николаевна, — сказал Старин, — вы его не узнали.

— Да я не видала, как он растет... Так вот он, волшебный цветок...

И она вздохнула.

— Это папоротник, которым клады отыскивают? — спросил вдруг до того времени мало говоривший гость с усами.

— Да, именно, которым клады отыскивают, — ответила Вера.

— Ах, как это страшно! — взвизгнула глазоречивая девица (что это я ей все разные эпитеты даю!).

«Что тут страшного? — подумал я. — Ты только страшно ломаешься».

— Я не боюсь, — снова заговорил гость с усами.

Чего ж, думаю, бояться такому молодцу?

А он, как бы догадавшись о чем я думаю, осклабился и поглядел в мою сторону.

Скоро мы воротились домой. Дорогой мне стало так грустно, как никогда еще не бывало, кажется. Когда я уходил от Релиных с каким-то странным сжиманием сердца, я слышал, как Вера спрашивала Старина:

— Скажите, пожалуйста, какая на земле привязанность самая прочная?

— Та, которая основана на взаимном сочувствии, понимании и доверии.

— Я не об этом спрашиваю, — перебила она с некоторым раздражением в голосе, — напротив, что может заменить человеку эту непрочную привязанность к одному лицу, что может дать прочный покой душе, вместо минутного счастья, — одним словом, что сильнее любви в ее одностороннем, специальном значении?

— Не знаю, — отвечал Старин и вздохнул.

— А я знаю.

Дальше я не слыхал.

Что ж это такое? Где же ты *то, что* я знаю, то, для чего я живу? Ты не удовлетворяешь меня?.. Да, я это чувствую, я понимаю это моим страданием, этой жгучей болью в сердце, этим нытьем всего тела моего, этими глупыми нервами. Ну а где же воля, где та борьба, для которой я копил силы? Нечего сказать — накопил. Все пропало... Остались только нервы, нервы, глупые нервы.

Однако светает. Воробьи чирикают самым раздражительным образом. Что им до меня, как и мне до них?..

Пора лечь, только усну ли?

А! ломать так ломать...

XX. Я ЛЮБИМ — И БЕСКОНЕЧНО НЕСЧАСТЛИВ

Теперь, кажется, все кончено. Столько счастья и столько муки в одной груди, для одного сердца. Удивительно выносливый человек!

Я любим. Что ж из этого?

Я страшно несчастлив.

Я свободен. Но, Бог мой, как тяжка эта свобода, сколько гнетущего в этом чарующем слове.

Да, я совершенно свободен.

Я любим, но бесконечно несчастлив.

Мы шли по саду и молчали... Что ж было говорить?

— Прощайте, Вера Николаевна, — сказал я наконец, потому что тяжело было это молчание.

Как-то резко звякнуло это слово, точно разорвалась та цепь.

Она молчала.

— Прощайте, — вторично звякнуло страшное слово.

— Куда вы?

— Домой.

— Зачем? Вам скучно?

— Да, больше чем скучно и больше чем скверно.

— Что с вами?

— Думаю поскорей уезжать отсюда, а может быть, и из России.

— Да? — спросила она чуть слышно.

— Да. Чем скорей, тем лучше — тем хуже... Я мешаюсь.

— Зачем же так?

— Тяжело, Вера Николаевна... Так нельзя оставаться — будет хуже... Я люблю вас.

Она не поднимала глаз. Она плакала.

Мы прошли несколько шагов. Я усадил ее на скамейку, где мы когда-то сидели с стариком.

— Что же вы мне ничего не скажете, Вера Николаевна?

Она еще горше заплакала.

— Вы страдаете, бедное дитя?

— Нет, я счастлива. О, нет, я много страдаю. Мне больно.

— Зачем же?

Какой глупый, подлый вопрос. Но она отвечала на него.

— Вы говорите неправду.

Да, я говорил и неправду и правду.

Я взял ее холодную руку и поцеловал, точно прощаясь с мертвым. Мне было невыразимо жаль и ее и себя.

А в голове змеилась проклятая мысль: «В самом ли деле я люблю?»

— Я люблю вас, Вера Николаевна, о, как я много люблю вас, мое единственное счастье на земле... Теперь...

Теперь! Да, теперь.

Она нагнулась и тихонько поцеловала мою руку, эту проклятую руку. Но молчала.

— А вы?

Она молчала.

— Прощайте, — сказал я с усилием.

Она схватила меня за руку и болезненно простонала:

— Я люблю вас. Разве вы этого не знали?

— Тем хуже. Тем скорей мы должны расстаться.

— Зачем же? Я ничего не понимаю.

— Вы любите первый раз?

— Да.

— А я уж любил.

Вера вздрогнула. Я казался низок в эту минуту.

— Мы разлюбим друг друга.

— Вы ее больше меня любили? — спросила она.

— Да, больше. Нет, вас больше. Я не знаю, не помню теперь.

Теперь! Опять теперь.

Голова моя горела. Я терял волю и рассудок.

— Прощайте, — сказал я в третий раз и поцеловал ее в голову. Она сидела как убитая.

— Больше этого счастья у меня не будет в жизни (это шипел мой язык, это я говорил, змея подколодная)... У вас еще будет. Но для вас и для меня вместе лучше этого вечера не будет и мучительнее не будет. Работайте, Вера Николаевна. Будьте счастливы, если можете.

Если можете!

Будьте счастливы, бедные болгары, если можете!

Не падай же на стол, моя бедная голова, если можешь!

Не шуми ты, мати зеленая дубрава, если можешь!

Не дрожи ты, проклятая рука, если можешь.

Можешь, можешь — все, если можешь.

Забыл. Что было дальше?.. Да, помню. Я сжал ее руки и вышел из сада. Она сидела неподвижно, с опущенною головою и сложенными, упавшими на колени руками.

Ну и сидела. Что ж из этого? И я сижу.

Фу, да как же мне скверно. И помогут ли лавровишневые капли?

XXI. В ДОРОГУ!

Завтра утром я оставляю этот город. Странно. Все странно. Я ничего не понимаю. Я не понимаю человека.

Я уезжаю. А между тем жаль становится покидать эти стены, к которым я привык, этот стол, за которым так много думалось. А о чем? И стоило ли думать, когда из всего передуманного и перечувствованного осталось на сердце, как осадок, горечь, горечь и горечь? Стоило думать! Стоило чувствовать! А как же избавиться от того и другого?

Ну, вот теперь достало воли отказаться от счастья, разом разбить два сердца (а! да разве они разбиваются когда-нибудь? Все вздор, все фразы, а эти муки — фразы тоже?) разбить во имя... чего?.. идеи? призрака? Какой идеи, какого призрака? Чтоб не страдать обманутым чувством? Э! да ведь все равно приходится страдать от того ли, от другого ли.

Нет, каким был, таким, верно, и останусь. И что за брюзгливое сердце, что за сомнение во всем!

Как пусто и скучно в этих комнатах. Точно сейчас только мертвеца вынесли из них на кладбище, и все напоминает о покойнике. Так и кажется, что на этом столе лежал труп, что знакомые и друзья умершего приходили проститься с ним, ушли и оставили меня одного. Да, отсюда вынесли дорогого мне покойника. Кто же покойник?

Странно. И куда девался мой сарказм, к которому я прибегал, когда мне было скверно? Ничего, ничего не осталось, кроме этих гнусных чемоданов, валяющихся на полу. В них спрятаны обломки прошлого, вещи, принадлежавшие покойнику. Это мои спутники. Они будут поневоле напоминать мне прошлое. А зачем? Не надо бы. Впрочем, и Матвей непременно хочет ехать со мной. Это тоже обломок прошлого.

Да и иммортелька цела. Какая уездная сентиментальность! Пошло, а жаль расстаться.

Иммортелька — бессмертный цветок, не изменяющий цвета. А я-то? Я два раза менял.

А Потугин Тургенева? Только такие цельные натуры, как его, не меняют цвета, засыхая. Раз полюбив Ирину, он ей не изменил, несмотря на ее мерзости. Жалкая, нищенская природа, как ты мало даешь нам таких цельных натур, как скупа на избранников!

А я-то — жалкая, жалкая тварь! Любил — и разлюбил. Люблю — и покидаю. Я советовал ей жить серьезной, трудовой жизнью, во имя идеи, чтобы не страдать от хрупкости человеческого чувства, от мимолетности счастья, от непроч-

ности человеческих привязанностей в мелких натурах. Э! слова, слова и слова... Я советовал! Да имел ли я на это право? Вероятно, имел, когда так вышло.

Ее несчастье, что судьба свела ее с таким брюзгой, как я. Что ж делать, когда я слишком уважаю чувство, и из боязни, что оно пройдет, что мы охладеем когда-нибудь друг к другу, я отказываюсь от счастья? Да это все-таки лучше, чем страдать обманутым чувством или презирать себя, когда оно у тебя самого улетит Бог-весть куда. Она забудет меня, утешится, полюбит... А я? Ну да что обо мне толковать! В дорогу так в дорогу.

XXII. ТРЯПИЧНЫЙ СЛАВЯНИН

Вот я и в Петербурге. Здесь в самом разгаре славянский съезд. Я видел их всех, этих славянских гостей, я слушал их задушевные речи и наше «ура», и «слава», и их «живио». Я видел моих старых университетских товарищей — Ламанского, Пыпина, Ореста Миллера, Бауэра. Все они — профессора в нашей милой alma mater, а иные уж — профессора в отставке. Видел и моих добрых учителей, профессоров Срезневского, Благовещенского, Куторгу, Стасюлевича, Сухомлинова, Устрялова, Никитенку. Другие умерли, иные работают, иные на покое. Нет и Савельича. Отслужил свое время, и похоронили его с честью — на своих плечах несли студенты гроб старика. Те же стены университета, те же аудитории, и те же голоса иногда раздаются в стенах университета, какие раздавались давно когда-то, хотя иные голоса и изменились от времени, выцвели, как полевые цветы. Все живое изменилось, не изменились только стены, камни.

Да, только камни, дерево, бронза и чугун не изменились, остались все те же, какими я их видел еще студентом, когда такими хорошими надеждами билось молодое сердце, когда так рвалась мысль к жизни, к деятельности, к дружной работе во имя России, во имя славянского дела, во имя науки и человечества. Та же медная ручка у двери, блестящая, гладкая, отполированная сотнями и тысячами студенческих рук, которые теперь или пишут в департаментах, в губернских правлениях, в разных судах и палатах, или пишут то, о чем мечтали когда-то молодые головы, честно и грозно несут и высоко поднимают наше народное знамя, или уже сгнили в гробах, крестообразно сложенные на груди, под которой билось когда-то живое, хорошее сердце. Та же ле-

стница, по которой мы взбегали наверх, в аудитории, чтобы послушать любимого профессора или поскучать у нелюбимого. Тот же столик в швейцарской, на котором жадно ищешь глазами писем от родных, от товарищей или повестки, которые Савельич всегда подавал с веселым лицом и одобрительною улыбкою. Та же шинельная с теми же номерами, с прорезами для студенческих шпаг, с набалдашниками для наших треуголок, которых, как и шпаг, уже нет на студентах, что и в самом деле хорошо.

Все мертвое, недвижимое осталось таким же, каким было тогда, и только живое и чувствующее изменилось, умерло, выцвело, уничтожилось.

Все изменилось. Много прошло бесследно, иное забыто, иное осмеяно людьми и временем. У профессоров бороды, у студентов бороды. На диспутах чаще видишь женские головки и с своими, и с чужими косами, и с косами остриженными.

Изменились и студенты. Не та уже это молодость, что была в наше время. Она лучше нас, она дельнее нас. Тем лучше, тем лучше. На их молодые головы, как наслоения пыли, легли наслоения опыта. Дружно работают эти молодые головы, как работали и мы когда-то, только меньше веры у нас в те теории, которые разбила жизнь, но зато больше уверенности в своих силах, в силе идеи, во имя которой работают они, как и мы работали. Тяжелая ломка, которую вынес университет, не прошла бесследно. Не я один пережил много, много пережили и эти молодые головы, на которые смотрел я сегодня с такою любовью; не одни университетские стены видели в себе эти молодые головы — видели их и стены кронштадтских казарм, и стены Петропавловской крепости, и далекая, суровая Сибирь... И все прошло, все изменилось к лучшему; не тот уже это университет, в котором мы готовились к общечеловеческой работе, не те уже студенты, не та Россия. Так лучше, так лучше!

Но мне-то лучше ли?

Какая смертная тоска, Боже мой! Ни на чем я не могу всецело сосредоточить моего внимания, моей проклятой мысли. Не хватает моей бедной воли пересилить мое жалкое, мучительное безволие. Столько жизни кругом, столько деятельности, столько предметов и лиц прошло перед моими глазами — было, кажется, на чем остановиться вниманию... Так нет, нет! Перед моими глазами все стоит куст сирени, а под ним — глубоко скорбная, милая, долу наклоненная головка. Куда же я бегу от нее? Куда я от себя бегу?

Моя мысль, как те каменные стены университета, все остается той же. Как тот гранит на набережной, она стоит над этой милой, дорогой головкой. А где она, эта милая головка? А где другая, та прежняя? Фу, как много низкого в человеке и как много в нем хорошего, Боже мой!

А что это за звуки над моей головой? Какие чудные звуки! Я слышу, плачут они надо мной, плачут, плачут, как плачу я. Я узнаю их — это из Шопена. Я от нее слышал эти звуки. Как ноет сердце! Точно душа ее летает над моей головой и плачет! Витает! Э! никто не витает — чему ж тут витать. Все вздор. Витают мои проклятые нервы, чтоб им пусто было, дуй их горой! И никто не плачет надо мной: плачу один я, слабый, жалкий, тряпичный славянин.

XXIII. ДЛЯ СЕБЯ ПИШЕМ

Эх, Петербург, любезный Петербург! Умел ты когда-то вытравливать самые глубокие — как там говорят в стихах и в романах — раны сердца, как умел ты заедать и людей слабых, безвольных, бедных. А теперь неужели и это не умеешь делать? Или передо мной все бессильно, даже ты, великое окно в Европу, прорубленное Петром и заставленное двойными рамами, летними и зимними, в которых давно выбиты стекла и сломалась форточка? Веет на меня свежим, постоянно крепчающим ветром в эти разбитые, замокшие рамы, а проклятая голова моя все не освежается. Или так заткала ее провинциальная паутина, или сам паук-провинция засел в моем мозгу и ткет свою противную, липкую сеть?

Работаю как бешеный, ворочаю на своих плечах груды тяжестей, как негр, пишу много — и как заклятый публицист, и как присяжный фельетонист, и как беллетрист, не могу жаловаться на неудачу, на холодный прием в литературных кружках — а все голова моя как-то бессильно падает на стол (это уже не тот письменный стол, к которому я так привык в провинции, хоть начинаю привыкать и к этому), все шевелится там проклятый паук и ткет свою липкую паутину. Все о чем-то другом думается, помимо труда, помимо работы мысли и мускулов.

— Ты так похудел здесь, — говорит сегодня Туркин, — уж не слишком ли много работаешь?

— Нет, — говорю, — работа дает мне новые силы.

— Что ж с тобой? — спрашивает. — У тебя есть какое-то горе на душе?

— Есть, — говорю, — это — гражданская скорбь, воспетая некогда Розенгеймом.

— Э! вздор какой говорит: тут шутить нечего: ты на себя не похож.

— Тем лучше, — говорю, — похож на «скорбного поэта».

Да и в самом деле, не говорить же мне ему своих сердечных тайн, как это делают провинциальные барышни. Уж коли хватила тебя наносная беда, уж коли надломило тебя проклятое горе, так молчи, чтоб никто не знал о нем, кроме тебя самого да черта лысого.

Уж и Матвей мой свирепствует, полагая, что я худею от «эвтих самых книжек да от газетов».

— Взял бы, — говорит, — да и сжег всю эту аспидскую паблисцитику.

— Какую, — говорю, — паблисцитику?

— Да вот эту самую.

И он сердито ткнул щеткой в газеты, которые валялись у меня в разных местах и на полу.

— Да чем они, — спрашиваю, — виноваты?

— А вот чем...

И он, взяв меня под руку, насильно подвел к зеркалу.

— Ну на кого вы похожи?

Я молчал, потому что Матвей был отчасти прав.

— Хоть бы и эти самые славянские братья... Что ж из-за них-то худеть? Видел я их всех.

— Видел?

— Видел.

— Ну, что ж?

— Ничего, братья как братья, все больше черномазые, точно турки, аль бо венгерцы.

— Где ж ты их видел?

— Да ходил к самой ихней гостинице... Народу тьма-тьмущая на прешпекте — пришли посмотреть на славянских братьев, какие такие эти самые братья. Вот и выходят эти братья на балкон, а мы и заори «уру», сняли шапки, кланяемся. Кланяются и они, говорят «слава». А там какой-то старичок, славянский брат же, сказывал нам речь, да так жалобно, что меня чуть слезы не прошибли.

— О чем же он говорил?

— Мы, говорит, ваши братья, а вы, говорит, наши — так жалостно.

— Что ж еще говорил?

— Да все больше о том, что мы-де братья.

— А вы что?

— Мы-то? Мы ничего: рады, что и мы им братья. А больше ничего: ну, «уру» кричали, шапками махали... А худеть все-таки нечего, хоть они нам и братья.

Поневоле вспомнишь Тутнева. Братцы славяне, дедушка Палацкий...

Вследствие каких-то соображений Матвей стал во враждебные отношения ко всем разносчикам газет, полагая, что я похудел от газет. То и дело слышишь, как он ворчит в передней: «Провал бы их взял, все эти анафемские газеты!»

— Здесь живет Ломжинов? — слышится иногда из передней.

— А вам его на что? — ворчит Матвей.

— Да вот им письмо.

— А от кого письмо?

— Из редакции «Голоса».

— А что в нем пишут?

— Не знаю.

— Небось все о проклятых газетах.

— Да у нас о чем же больше писать, как не о газетах? Такая наша должность.

— Уж и должность! А гонки много вам?

— Как не быть гонке? Гонки много. В ину пору за полночь тебя поднимут, коли там нашему-то старшому что понадобится. И сам-то полуночник: ночи не спит, все пишет эти анафемские газеты. А уж к Леонтьеву, да к Писаревскому, да к Панютину, да к этому Загуляеву бегамши, все ноги отбил.

— А это-то кто такие?

— Да все нашему старшому затрудники...

— Уж и подлинно затрудники. Что ж они делают?

— Да все пишут, то с Скарятиным ругаются, али с Коршем, али с Катковым, а все больше с этой самой «Вестью».

— А эти ж кто такие?

— Да все газетчики.

— И не приведи Бог!.. А уж как наехали к нам эти славянские гости, так и сна тебе нет: все гонка. Народ валма валит за этими проклятыми газетами — так дверь в контору и не затворяется... Боголюбова (в конторе у нас старшой), почитай, в чахотку вогнали.

— Ах, посмотрю я на этот ваш Питербурх, да так и плюну! То ли это у нас, дома...

И Матвей вздыхает и входит ко мне с сумрачным лицом. Жаль мне старика. А что делать? Сам захотел ехать со мной.

Да, я понимаю его. Разве и на мне не отражается эта адская суетня? Разве не разбиты мои нервы что называется наголову? Разве все осталось со мной целиком, что я вывез с собою из провинции? Э! далеко не все, хотя щемит у меня на сердце, когда бесконтрольная разнузданная фантазия забежит в далекий, далекий сад под куст сирени. Щемит, еще как щемит! А как защемит, так я на нее, на эту фантазию узду, а против самого сердца налеплю горчичники в виде полемики с каким-нибудь венским «Debatte» или с аугсбургским цайтунгом.

Да и когда тут разгуляться фантазии, как бывало в доброе старое время, в любезной провинции, где даже тараканы от избытка свободного времени черт знает что выдумывают. С сколькими лицами мне приходилось сталкиваться в это время, сколько новых имен, фамилий брошено в мою память, как в реторту, — и все перегоняет эта реторта, сколько ощущений прошло по нервам, по мозгам, сколько картин, сцен, лиц, личин и образин успело отразиться в моих глазах — так этого и сам стенограф Артоболевский не успел бы записать. И все это как двухаршинный слой нового снега налегло на мою память, на прежние сберегавшиеся в этой памяти лица, на прежние имена и фамилии, на прежние ощущения, на прежние картины, сцены, лица, личики, личины и образины... Странное свойство человеческой памяти — чего она не совмещает в себе разом! На днях, когда я слушал, кажется, с напряженным вниманием речь Ригра, из-за Ригры кто бы вы думали выглядывал?.. Та нищенка, у которой умер ребенок, а у ребенка в ухе завелись черви. А что ж мне делать, когда я их видел рядом, в одно время? Ведь я лгать не могу, как не мог тогда отогнать от моей памяти этой нищенки. А вот передо мной Колюпанов, с которым мне пришлось недавно сойтись в одном литературном кружке... Я слышу, как этот Колюпанов своим болезненным, слабым голосом, но умной, завлекательной речью вводит меня в социальную среду, в которой вращается Шульце-Делич и подобные ему вожди рабочих ассоциаций в Германии, и в то же время я слышу болезненный стон: «Я люблю вас, разве вы не знаете?» — и вижу глубоко скорбную наклоненную головку. Из-за Благосветлова, которого сдержанная, но желчная речь била все наповал, выглядывало то чудное личико, та невиданная мною красота, которая поразила меня в провинции, на лекции в пользу кандиотов, а рядом с нею Тутнев, тихий, светлый, робкий и нежный.

Что за дьявольщина! Ведь если б кто заглянул в мой дневник, то наверное принял бы меня за сумасшедшего. А загляни каждый сам в себя, ведь то же самое найдет. Э! везде и во всем одно и то же, то же безумие и тот же гений, та же чистота и то же безобразие.

Сегодня я что-то особенно не в себе. Как в ту ночь, давно когда-то, мучили меня гномы, так теперь проходят передо мной все эти лица, с которыми мне приходилось сталкиваться в последние дни. Вот этот Павлов, который так много выстрадал за свое свободное слово, а тут Кюи, которого едкая ирония над музыкой Серова раздражает и меня. Зачем они мучают меня? Модзалевский и его германские студенты, его детские сады, Лохвицкий с его «Губернией» и губернаторами, Манн с «Паутиной», Бестужев-Рюмин и его диссертация, Прохоров (а как хороши, однако, его костюмы в «Рогнеде»), Ткачев, Соловьев и его «русская песня», Галахов, Чебышев-Дмитриев, Мессароши и бедные женщины, во имя которых издается их журнал, Полонский, и Яков и не Яков (умеющий так зло смеяться), Елисеев и тот же Елисеев-Грицько, Зарин, Генслер, Каратыгин, Авенариус, Слепцов, Успенский, Некрасов — зачем все эти лица и их слова засели, как мухи, в паутине моего мозга и мешают мне спать, забыться, умереть на время? А вот Минаев, Курочкин — не отходят от меня эти лица, точно в калейдоскопе мешаются их речи, иные выступают ярко, другие так и подмывают меня на работу, на непосильный труд во имя общего дела, во имя России, во имя человечества. Корш, Богушевич, Стебницкий, Крестовский — фу, что за проклятая голова, как она не разорвется. А руки рвутся работать, а мысль отказывается служить; я чувствую, что голова моя утомлена, а порывания к деятельности страшные. Хочется спасти Россию, поднять ее, хочется сказать всем этим рабочим русского дела: «Дружнее, дружнее! Бросьте личное дело, забудьте личные обиды, оставьте дрязги — пора идти вперед, давно пора, ведь мы так страшно отстали, так далеко остался позади других народов наш бедный, хотя великий русский народ.

Неужели мы не в силах сделать того, что сделали немцы, что делают англичане, итальянцы? Что же это, наконец, — разве мы ниже всех? Фу, какое мучительное чувство бессилия! Бросьте все! За труд, за труд, за работу, за учение! К черту все удовольствия, все развлечения — труд, суровый труд! Оденьтесь в траур, как в день скорби, помните одно, что мы бедны, невежественны, отстали от прочих...»

Что это я? У меня жар. Матвей прав: я болен опять — надорвался...

Нет, у меня силы много, а просто все это от какого-нибудь пустяка: пахнуло сырым воздухом, вот и волнуюсь как в горячке.

— Эх, барин, барин, уходили вас эти газеты, — ворчал сегодня вечером Матвей, когда я, почувствовав жар, велел ему напоить меня чаем с ромом.

— Чем же виноваты, — говорю, — газеты? Просто простудился.

— Не простудились, а записались — вот что! И из-за чего вы бьетесь, посмотрю я.

— Да все из-за вас же, — говорю.

— Из-за нас, из-за бессрочно отпускных-то да оставных, барин?

— Нет, из-за всей России, из-за ее народа.

— Э-эх, барин, чудно мне это слушать: да наш брат ваших-то книжек да газет и знать не хочет или читать не умеет. Все вы для себя пишете.

Вот и спорь с ним. Досадно мне стало, так досадно, что я еще больше расстроился.

А ведь прав Матвей: для себя мы пишем, для своего муравейника.

XXIV. НИ ЗАБЫТЬ ВСЕГО, НИ ВСПОМНИТЬ ВСЕГО!

Все это время я вел прежнюю лихорадочную жизнь. Я втянулся в работу, вошел всем моим существом в интересы литературного мира и в особенности в интересы мира публицистики, моя мысль органически срослась с общим делом, с стремлениями и чаяниями лучших людей России. Еще богаче стал мой внутренний мир, и чувствую я, как растут мои силы, и силы эти не бесполезно прилагаются к дружной работе лучших людей нашей дорогой России. Авось что-нибудь да сделаем...

Но в то же время никогда я так всецело не сознавал, как сознаю теперь, сколько потеряно даром невозвратного времени и как много потеряла его вся Россия своим коллективным бездействием, своей поголовной апатией, и не воротить ей никогда потерянного.

— Поздравляю тебя с успехом, — говорил мне сегодня Туркин, которого я встретил в книжном магазине Кожанчикова.

— С каким успехом?

— С полным, ты приобрел себе почетную известность.

— Чем?

— Твоими работами.

— Кто ж их знает?

— Знают — и имя твое постоянно повторяется в разнородных кружках.

— Э! — говорю. — Что ж я сделал для общего-то дела?

— Много, много, — говорит, — твое сильное слово радует нас и тревожит наших врагов там, в Европе. Просматривал последнюю заграничную почту?

— Не успел — сейчас иду.

Эх, как мелочно наше самолюбие. Щекочут нас похвалы друзей и брань врагов. А что мы сделали капитального? Мы! Мы, муравьи, которые взялись за бревно и желают перетащить его в свой муравейник.

А впрочем, так ли? Ведь и в Европе такие же люди, как и мы, — не гении же все, а ведь там дело идет хорошо. Добьемся и мы своего, надо же кому-нибудь работать, когда спит большинство.

И хорошо мне, и грустно. Время и эта неустанная работа все более и более густой дымкой заволакивают от меня тот милый образ, который все еще дорог мне. Но все реже и реже встают в моей памяти картины прошлого. Я спокойнее, я не страдаю, но все же жаль и этого далекого прошлого — зачем оно прошло? Иногда хочу вызвать милый образ, хочу отдохнуть в прошлом — и как бы невидимой силой относит от меня вдаль этот образ, это прошлое.

Так все забывается, все проходит. И странно: тогда я хотел забыть и не мог, теперь хотел бы вспомнить, вызвать обратно милые тени прошлого — и не могу. Не могу ни забыть всего, ни вспомнить всего — вот положение!

XXV. НЕОЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА

Странная, неожиданная встреча. Много в ней и отрадного, и грустного. Я начинаю верить в будущее русской женщины.

Сегодня я зашел в университет, чтобы присутствовать при защите одним молодым магистрантом своей диссертации. Публики было очень много. В рядах ее немало виднелось и женщин.

Случайно взгляд мой упал на две фигуры, на мужскую и женскую, и заколотилось мое сердце так, как давно не коло-

тилось, как не колотилось оно при чтении самой интересной иностранной почты, при чтении самых ярых, самых обидных нападок на Россию.

В этих фигурах я узнал старика Релина и Веру. Какое милое, славное существо. Она сдержала свое слово — и вот она в Петербурге, с упорной настойчивостью, как она выразилась, «смыть позорное пятно с имени женщины, пятно, наложенное на нее и безжалостной историей, и ее собственным невежеством».

По окончании диспута я подошел к ней. Но, приближаясь, я усомнился в способности своей достаточно овладеть если не собой, то голосом, я боялся, что при первом слове, которое казалось мне таким трудным, голос мой дрогнет и выдаст мою внутренюю тревогу, и потому решился испытать свой голос, услышать, каким диссонансом звякнет он, когда я заговорю. При внутреннем волнении самыми трудными бывают первые ноты, которые человек произносит: в них он никогда не может быть уверен. Поэтому, желая проэкзаменовать свой голос, я пробрался к магистранту, с которым встречался на некоторых литературных сходках, и стал поздравлять его с успехом. Релины проходили мимо нас. Во время моего разговора с магистрантом до моего слуха долетел бархатный шепот Веры:

— Папа, папа! Ты видишь?

— Что такое?

— Разве не уловишь звуков знакомого голоса?

— Милая, тут голосов так много.

— Посмотри направо.

— Где? Там Куторга... Какая борода — это он, кажется, из Египта приехал с бородой.

— Нет, правей.

— Я вижу Кавелина.

— Ах, папа, — ближе.

— Это Костомаров... Какой гримасник и какое дарование.

— Нет, нет...

Я не выдержал — и оглянулся. Глаза наши встретились. Она не могла не заметить, что я весь рванулся к ней, хотя старался не показать этого и хотя глаза мои, конечно, выдавали меня.

Она ближе прижалась к отцу. Я подошел. Старик узнал меня.

— Ба-ба-ба! Дорогой наш...

— Здравствуйте, дорогие мои.

Я уже не помню, дрогнул ли мой голос или нет, не до этого было, но что я сказал им «дорогие мои» — это помню, потому что они в самом деле были так дороги мне в это время. Когда Вера подала мне свою маленькую ручку, мне так хотелось притянуть ее к себе всю и выплакать у ней на груди все, что было недоплакано, недосказано, недописано. Глупость какая! Не я ли бежал от нее, как черт из рая?

Вера казалась похудевшею и несколько возмужалою: на личико ее легла какая-то полутень, нежная, спокойная, не изменившая детскости его выражения, но придавшая ему какое-то особенное очарование, не то детски строгое что-то, не то тень какого-то раздумья. Какого-нибудь рукопожатия под кустом сирени, каких-нибудь двух слов, сказанных шепотом, достаточно для женщины, чтоб на всю жизнь уже изменилось и прошло детское выражение, детская улыбка и детские сны ребенка.

Взволнованный, разбитый неожиданностью, я не знал, что говорить, а когда пересилил свой голос, то уста говорили не то, что слагалось в фразы там где-то, в мозгу ли, в сердце ли, в нервах ли.

— Давно ли приехали?

— Вчера с скорым поездом.

— Надолго ли?

Глаза Веры встретились с глазами отца. Они молчали. Наконец старик сказал:

— Вы помните день рождения Веры?

— Помню, — сказал я.

— Помните, о чем она говорила тогда?

— И это помню.

— Так вы поймете, зачем и надолго ли мы приехали.

Я посмотрел на Веру. Я чувствовал, что глаза мои выдавали меня.

— Вы куда теперь? — спросил отец Веры.

— Если позволите, я пойду с вами. Вы где остановились?

— У Клея.

Мы вышли из университета. Вера оглянулась на университетское здание, и что-то вроде вздоха вырвалось у нее из груди.

— Вы, собственно, для диспута приходили сюда, Вера Николаевна? — спросил я.

— Да. Мне хотелось и на университет посмотреть, и послушать, что будут говорить на диспуте.

— Как же вы узнали о диспуте?

— Я в газетах прочитала.

— Какое же вы выносите впечатление из этого здания?

— И отрадное, и грустное.

— Почему же и то и другое?

— Отрадно потому, что у вас есть подобные здания, куда попадают счастливцы мужчины, и грустно, что дверь в эти здания заперта для женщин, а взамен их ничего подобного не дано женщине.

— А женские гимназии?

— Этого мало, хоть уж и это хорошо. Но зачем так обидно захлопывать перед нами двери университета?

— Если позволите, я вам скажу откровенно свое мнение об этом предмете.

— Говорите.

— Вероятно, вы помните или слышали, что в начале шестидесятых годов двери университетов были открыты для женщин?

— Да, знаю.

— А я знаю это лучше. Я был тогда в Петербурге. Признаюсь, это было какое-то странное, поэтическое время, время первых увлечений молодости русского общества. Русским обществом овладел какой-то порыв — и в этом порыве было много хорошего, но...

— Что же *но*?

— Слушайте дальше.

— Ах, я сама об этом читала. Я знаю эти публичные лекции профессоров, этот диспут Костомарова с Погодиным, когда их обоих вынесли на руках из аудитории, эти студенческие сборища, их суд, их самоуправление, их речи, их депутации... Читала я, сколько слушателей привлекали лекции профессоров Кавелина, Спасовича, Костомарова, Пыпина, Утина, Павлова (пострадавшего за одну из своих лекций), Сухомлинова... Я пережила все это время, читая старые журналы, пережила и время Ч.....ского и Добролюбова и последователей их... Тогда женщину и не выгоняли из университета. Согласитесь, это было хорошее время...

— Соглашаюсь, но...

— Боже мой, зачем же *но*, если хорошо? Хорошо уже то, если все русское общество, а вместе с ним и русские женщины почувствовали в себе порыв увлечения — слушать хорошие лекции, а не шататься по балам и маскарадам. Хорошо уже то, что молодежь шла толпами за гробом Шевченко, несла на своих плечах труп народного поэта и чуть ли ни во всех городах России служили панихиды по своем любимце,

вместо того чтоб идти в балаган или к Доминику играть на бильярде...

— Позвольте, позвольте, Вера Николаевна.

— Не разочаровывайте меня, Владимир Николаевич, — вскричала она, — неужели уж и вас так очерствил Петербург, что вы...

— Что — я? Договаривайте.

— Договорю после, не теперь... Прежде узнаю вас, а то вы и прежде упрекали меня, вместе с Тутневым, за боклевскую поспешность вывода умозаключений.

— Прекрасно. Но я хотел вот о чем спросить вас. Я согласен, что то было славное, поэтическое время, но кого оно выработало? Укажите мне на деятелей, вышедших из той школы. Где они?

— Да им еще рано проявиться.

— Нет, не рано, а давно пора. Ведь лучшие места в русской литературе и науке заняты с честью учениками наших университетов не из этого периода времени, а из более раннего.

— Кто же?

— Да почти все лучшие писатели наши — Тургенев, Гончаров, Островский, Писемский, Григорович, Майков, Толстые, Печерский, Аксаков.

— Знаю, знаю!

— Да, наконец, и мое время не бедно именами, уже почетными в русской литературе... Это Ламанский — и не один Владимир, а и те, которые вышли после него, но только до периода так называемой поэзии университетов... Пыпин, Спасович, Стасюлевич, Сухомлинов, Бестужев-Рюмин, Гильфердинг, Елисеев — эти, впрочем, более раннего периода. Или хоть бы взять эту серию писателей — Ч.....вского, Добролюбова, Антоновича, Благосветлова, Благовещенского, Дмитриева, Минаева, Курочкиных, Слепцовых, Помяловского, Писарева... Да, наконец, кого ни возьмите — Соловьев, Стебницкий, Боборыкин, Каратыгин, Якушкин, Марко Вовчок... Уж эта последняя прямо продукт того времени, а не эпохи поэзии!

— Ах, Владимир Николаевич, — загорячилась Вера, — да ведь вы же сами говорили мне, что продукты эпохи поэзии университетов тоже действуют и в литературе, и в общественной жизни, но что те, которых имена не блестят известностью, разбрелись по России и втихомолку ведут свою скромную работу, подготовляя к развитию народ.

— Когда я вам говорил это?

— Ах, виновата, я смешала. Это мне на железной дороге говорил один господин, с которым я и папа познакомились.

— Что ж он еще говорил вам?

— Да то, что закрытием университетов для женщин и студенческими смутами много сделано зла России... В шестидесятых годах она было попятилась назад, хоть теперь, слава Богу, опять начинает просыпаться общество.

— Ах, Вера Николаевна, Вера Николаевна, — невольно сказал я, — как я люблю в вас это хорошее молодое увлечение и как мне вас жаль, бедненькая.

— Почему же? — спросила она, и глаза ее заискрились.

— Ну, — сказал шутя старик Релин, — вы наступили неосторожно лисице на хвост.

— Ах папа, папа, не беси меня, — вскричала Вера и расхохоталась.

— Ну, ну, не буду, будущий «доктор медицины и хирургии Суслова 2-я», продолжал отец.

— Нет, папочка, в доктора я не пойду.

В это время мы проходили по Морской, пересекая Кирпичный переулок.

— Знаете, — спросил я, — чей это дом виднеется там на углу, на набережной Мойки?

— Нет, не знаю.

— Дом Кононова, бывший Руадзе.

— Что ж из этого? — спросила она.

— Не припоминаете ли вы чего-нибудь при словах «дом Руадзе»?

— Ах, припоминаю, припоминаю! — вскричала она.

Я невольно улыбнулся. Она показалась мне таким милым, обаятельным ребенком. А! да разве, в самом деле, много у нас таких девушек? А впрочем, может быть, и много.

— Что же вы припоминаете? — спросил я.

— Пору поэзии, пору публичных лекций... женщин в университете... Ах, как было хорошо.

— Но какая же вы еще маленькая, Вера Николаевна, — сказал я, невольно любуясь ею.

— Тут-то и учиться, пока маленькая... Пройдемте мимо дома Руадзе — милый дом!

— Это институтская фраза, — заметил я.

— Фи! простите, виновата — не буду... Ведь в этом доме постоянно читались публичные лекции, а теперь дают только концерты.

— Что ж, — заметил я, — и концерты дело хорошее.

— Да. Но...

— Что же *но*?

— Лекции все-таки лучше.

Мы прошли мимо дома Кононова, и Вера с любопытством рассматривала этот дом.

— Отчего я не была в этом доме 13 марта? — сказала Вера.

— Какого 13 марта и почему?

Я не знал, о каком 13 марта она говорить.

— А! вы забыли? Как стыдно!

— Да что же было 13 марта?

— Спросите ее, — вмешался отец, — это у меня ходячая памятная книжка... Как что забыл, так к ней: «Верочка, ты помнишь то-то, помнишь, когда было то-то?» — и она все знает, все помнит. Это мой справочный словарь.

Вера рассмеялась.

— 13 марта 62 года в этом доме кто читал публичную лекцию? — спросила она меня.

— Не помню, — сказал я.

— Как это забыть? Кого обвинили в том, что он назвал публику «пошляком» и, стоя на эстраде, читая лекцию, бесцеремонно играл цепочкой от часов?

Я решительно забыл эти мелочи.

— Костомаров?

— Нет, он назвал своих слушателей, которые ему свистали, «будущими Расплюевыми», и, когда студенты шумели, он сказал, что «наука — не гладиаторство».

— Кто же? Павлов?

— Нет, нет! Кто читал о Добролюбове?

— Ах, вспомнил!

— Да, наконец-то отгадали... Еще кто-то писал тогда (я это читала у папа в кабинете недавно, перед отъездом), что никого из русских писателей не покрывала в один день такая громкая слава, никого не встречали таким громом рукоплесканий, от которых шаталось, буквально шаталось здание, то есть дом Руадзе, и ни против кого с той минуты так яростно не восстала злоба врагов, как против него.

— Вы говорите таким языком, — заметил я, — точно речь идет о римских героях, о Брутах, о Луциях, о Кассиях.

— Что ж, у нас были свои герои, выше римских.

— Кто же это?

Она шутя продекламировала:

Одних уж нет, а те далече...

В это время мы подошли к Полицейскому мосту. Из кондитерской Вольфа публика валом валила.

— Откуда они идут?

И она начала разбирать вывеску:

— «Gebrüder Wolf»... Это что за Gebrüder Wolf?

— Это одна из лучших кондитерских, — отвечал я.

— А! так вот это аудитории нашего времени... Вон и женщины выходят. Нет, это скверно, скверно, что нам не позволяют слушать лекции. И нас же, женщин, обвиняют в том, что мы ничего не сделали великого.

— Не все ты знаешь, милая, а то бы не говорила так, — вмешался отец.

— Чего же я не знаю, папа?

— А того, что вам позволили бывать на лекциях, а вы сами испортили все дело.

— Чем же?

— Тем, что аудитории превратили в место любовных свиданий.

— Это клевета, папа, я этому не поверю.

— Нет, это, говорят, правда: особенно аудитория Костомарова привлекала любящие сердца.

— Ах, папа, папа, это ложь... Да, наконец, если б и правда, так разве этим вы помешаете любовным свиданиям, если не будете пускать женщину в университет?

Я заметил на это, что Вера отчасти права, что лучше для студента перекинуться словом и тихонько пожать руку у порядочной девушки на лекции, чем проводить ночи у Марцинкевича и танцевать с продажными женщинами, что, наконец, лучше отдать часть своего труда и своей мысли любовной интрижке с честной женщиной, чем грязниться в неприличных местах и тратить там не только труд и мысль, но и здоровье.

— Да, да! Какой вы добрый! — вскричала Вера.

— Чем же?

— Да вы не против нас, вы не преследуете женщину, как те, которые закрыли для нее двери университета... Ах, да, по-моему, лучше влюбиться и учиться в то же время, чем влюбиться и танцевать, лучше любить и слушать умное слово, чем влюбляться, слушая балаганную польку и танцующего под эту польку дурака.

— Ах, Вера, Вера, — заговорил отец, — ведь молодежь-то, студенты отвлекаются от дела, плохо слушают профессоров, заглядываясь на хорошеньких, особенно когда они сидят так близко.

— Все это вздор, право же, вздор, милый папочка... А зачем прекратили публичные лекции тогда, в 62 году?

— Я не знаю.

На это я сказал, что профессора сами сговорились не читать, и об этом их просили студенты.

— Зачем же?

— Да, кажется, все вышло из-за Павлова, которого выслали, кажется, в Ветлугу.

— Ах, помню, помню! Один Костомаров не хотел прекращать своих чтений, и за это его освистали. По-моему, он был не прав.

— С своей точки зрения, он был прав, — возразил отец.

— Нет, папа, не спорь со мной... Разве ты не знаешь, что перед самой лекцией Ч.....вский приезжал к нему просить, умолял его даже на коленях не читать этой роковой лекции, которая погубила столько студентов.

— Откуда это вы узнали такие подробности, каких не знал и я? — спросил я шутя. — Уж не от того ли господина, с которым познакомились на железной дороге?

— А хоть бы и от него...

— Что ж он вам еще говорил?

— Когда Костомаров не захотел уступить Ч.....скому, Ч.....ский ездил к министру просить, чтоб он запретил эту лекцию, говоря, что студенты будут протестовать и пострадают.

— И что ж министр?

— Не знаю... Только Ч.....вский говорил потом Костомарову, что студенты накупили свистков, чтоб ему свистать, а что полиция припасла веревок, чтоб вязать студентов... Утин предупреждал его...

— Ну, полно, полно, Вера, — сказал отец, — это все сказки господина на железной дороге.

— Э! папка, у тебя все сказки.

За этими спорами я и не заметил, как мы дошли до Клея. Всю дорогу Вера не переставала говорить, то сводя разговор на свою любимую тему, то расспрашивая обо всем, что бы ни привлекло ее внимание. Когда я с кем-либо кланялся, она тотчас же спрашивала, кто это, и, если я говорил известную в литературе фамилию, она радовалась как дитя, повторяя: «Ах, папочка, это он написал то-то, это об нем говорили то-то». Или спрашивала: «А где редакция «Женского вестника»? Покажите мне m-me Мессарош... Где книжный магазин Вольфа, от которого я (то есть не она, а отец) выписывала книги?.. Где издается

«Дело»?.. Где живет Некрасов, покажите мне Тургенева» и т. д.

Наконец она наивно воскликнула:

— Ах, как весело гулять с вами... Вы так много знаете писателей... А с папочкой скучно гулять.

Бедное, бедное дитя! Как мне тяжело быть уверенным, что и ты опошлеешь, а это неизбежно, неизбежно, как смерть, и не спасут тебя никакие силы, не отвратит от тебя общей чаши пошлости ничья рука, не защитит тебя никакая любящая грудь, никто, никто!

Ну, вот и начал хныкать. Все бесполезно. Впрочем, что ж, я знаю здесь не одну женщину иного закала.

XXVI. ЖЕНЩИНЫ-ПИОНЕРЫ

На этом месте, после встречи с Релиным в Петербурге, прекращается дневник Ломжинова. Литературные занятия, в которые он втягивался все более и более, окончательно поглотили все его время, так что у него не оставалось свободного часа. Да и зачем было вести дневник, когда вся его жизнь со всеми думами и стремлениями — все это уложилось в его труды, отражалось в его повседневной деятельности?

Прошло несколько месяцев. Для Петербурга настала зима со всеми ее развлечениями и удовольствиями. Начались театры, концерты, русская и итальянская оперы. Одна часть молодежи посещала лекции, гимназии, школы, другая проводила время сообразно своим наклонностям — коньки, танцевальные вечера, вино и любовь. Сторонники русской оперы, мечтавшие о предстоящем торжестве русского дела даже на театральных подмостках, повесили носы, слушая возгласы о новых итальянских певцах и певицах. О славянских гостях переставали говорить в обществе — их забывали. Катастрофа при Монте-Ротондо и падение Гарибальди также были забыты. К кандиотам охладели, к фениянам охладели, абиссинская экспедиция никого не занимала. Генерал Черняев выдержал экзамен на нотариуса. Прекращена «Москва». Стал издаваться «Москвич». Забыли Черняева, вспоминали иногда «Москву». Поговорили о европейской войне — и замолчали. Поговорили о продаже Николаевской железной дороги — и замолчали. Поговорили о продаже североамериканских русских владений — и тоже замолчали. Заговорили о новых журнальных и газетных комбинациях,

о новых больших и малых изданиях, о Некрасове и Краевском, о Тиблене, о кн. Урусове с Ливановым, о Киркоре с Юматовым, потревожили даже тень Белинского, заговорили о каком-то небывалом движении в обществе и литературе, напоминающем знаменитую «пору поэзии» и русского ренессанса — заговорили и не перестают говорить. На окнах книжных магазинов выставили «Войну и мир» Толстого, «Бродящие силы» Авенариуса, «Отцов и детей» Бинштока. Кач пишет, Илья Арсеньев судится. Рубинштейн уехал. Фуллерт-конькобежец приехал. Берг создал русский народный театр. Русский народ стал голодать понемножку. Трактир Палкина наполняться помногу. Общественное мнение возрождается, а говорят, пропадало где-то давно, куда-то его черти носили. А вот и пьяный мужик у самого Литейного моста запевает:

Куда тебя черти носили?
Мы бы тебя дома женили...

Мужик запел это в субботу на воскресенье, вечером, часу в девятом. В это же самое время к Литейному мосту, от Медицинской академии, приближались две женщины, прилично одетые, и о чем-то серьезно разговаривали, только не о театрах и не о коньках, а также и не о Невском проспекте вечером.

— Нет, меня не удовлетворяют эти лекции, — говорила одна.

— Почему же?

— Для меня мало этого узко очерченного круга, а может быть, и потому, что этот круг слишком широк для меня.

— А для меня, признаюсь, эти лекции, как и лекции Сеченова, — большое наслаждение, — говорила другая.

— Но ведь вы сознаете в себе силы быть специалистом, а меня еще обуревает какое-то нравственное шатание... Я еще не установилась.

— Нужды не знала, оттого и шатание.

— А вы разве не признаете другой нужды, кроме материальной?

— Какая же это?

— А нравственная нужда... умственная... как хотите.

— Пожалуй, и признаю... Да все это не то.

— Как не то? Потребность ума и сердца, неудовлетворенные, так же гонят в могилу, как и голод.

— Э! фразы... Я вижу, вы еще слишком маленькая, слишком зелененькая... Голод сердца, голод мозга! И сердце,

и мозг скоро накормить можно, пища для них не на фунты продается и не в милютинских лавках... А вот голод брюха — это другое дело; ваше голодное сердце дворник не выметет метлой на улицу, а с голодным брюхом да голодным карманом — выметают. Я должна быть, непременно должна быть или акушеркой, или... Вам папа говорил, что значит продажная женщина?

— Говорил.

— Ну, так мне нечего говорить... Оттого на Сеченова да на подобных ему, которые меня учат, я смотрю как на моих спасителей.

— Барышни! Не угодно ли прокачу на лихаче? — вдруг раздался над ними голос извозчика.

— Что возьмешь до Владимирской? — спросила та, которую называли маленькою и слишком зелененькою.

— Ничего, красавицы, не возьму, — отвечал лихач.

— Как ничего?

— Так-с... Готовы сами к вам с нашим большим...

— Не говорите с этим негодяем, — заметила другая женщина, — молчите.

— Садитесь, барышни! — И извозчик подъехал к ним ближе.

Те ускорили шаги.

— Угощу, красавицы... в Пассаж отвезем... не спесивтесь.

— Отвези нас лучше к мировому судье, — сказала другая.

— Ишь чего захотела!.. Много вас таких шляется...

И лихач загнул.

В это самое мгновение у лихача на спине очутилась какая-то темная масса.

Лихач встрепенулся.

— Кто тут? — рявкнул он чужим голосом.

— Черт, — отвечала темная масса.

Лихач ударил было по лошади... Темная масса ухватилась за вожжи.

— Не балуй, ушибу, — говорит чужой голос в горле лихача, — кто ты?

— Я черт... домовой... мировой.

Лихач рванулся, но темная масса заорала:

— Часовой! Городовой...

К борющимся приближался полицейский. Женщины ускорили шаги.

— Что за шум? — спросил он их.

— Негодяя задержали, помогите там.

Полицейский бросился к лошади, и лихача задержали.

— Что с ним сделают? — спросила та, которую называли слишком маленькою и слишком зелененькою.

В голосе ее слышались боязнь и жалость.

— Не знаю, — отвечала другая.

Лихач бросился в ноги темной массе, а потом полицейскому:

— Простите, ослобоните — никогда не буду.

— Проси прощения у тех, кого обидел, — сказала темная масса.

Лихач повалился в ноги вторично:

— Простите, сударыни... лукавый попутал... я думал, что вы... энти...

— То-то, энти, мерзавец... А энтих можно оскорблять? — заметила темная масса...

— Как же-с, сударь, энти сами пристают.

— Простите его, он нас не обидел... Он сам не знал, что делает, — говорила одна из женщин, именно «зелененькая».

— Вера Николаевна! — вскричала темная масса. — Вы ли это? Вот неожиданная встреча.

Это действительно была Вера Релина. Она также изумилась: перед ней стоял Тутнев, уткнувший нос в огромный меховой воротник и прикрывший голову и лоб огромною меховою шапкою. Оттого и казался он темною массой.

— М-r Тутнев! Как я рада... Откуда вы?

— Из противного далека, из провинции.

И он засмеялся.

— Таинственный незнакомец... спасает прекрасную незнакомку — это целый роман: коварный похититель, лихач наказывается, добродетель торжествует и возвращается в дом родительский.

Вера тоже засмеялась.

— Вы все такой же, как и были... Как папа будет вам рад.

Лихач стоял и бессмысленно хлопал глазами. Его оставили вместе с полицейским и взошли на Литейный мост.

— Вы откуда и куда? — спросил Тутнев.

— Домой... Мы были на лекции.

— На какой лекции?

— На лекции физиологии... Виновата — позвольте представить вас Лидии Александровне Елеонской... Господин Тутнев, наш хороший знакомый по провинции.

Елеонская протянула ему руку.

— Оригинальное знакомство: Литейный мост, нападение, борьба, спаситель, «грядущий вблизи закон» с бляхой на груди и в конце концов спасение женщин от тиранов-мужчин мужчиною же.

— Бедные женщины, — сказала Вера, при всяком удобном случае впадая в свою любимую тему, — вот и здесь понадобилась помощь мужчины. Это, наконец, грустно.

— Грубая сила, кулачное право... Что ни говорите, а долго еще Фауст будет владеть умами, — заметил шутя Тутнев.

— Какой Фауст, — спросила Вера, — и зачем Фауст?

— Вот этот Фауст, — и Тутнев показал кулак, — немцы называют это Фаустом.

— Но когда же этот Фауст перестанет обижать Гретхен? — спросила Вера.

— Когда Гретхен сделается тоже Фаустом, — отвечала Елеонская.

— Вы, конечно, к нам поедете, m-r Тутнев, — сказала Вера, — папа должен видеть моего спасителя... Как вы, однако, попали сюда?

— Я был здесь у своего университетского товарища и возвращаюсь домой.

— А вы?

— Мы вот были на лекции.

— На какой лекции?

— На лекции физиологии.

— А!.. я узнаю в этом вас и вашу упрямую головку... Но отчего не лекции политической экономии, не лекции истории цивилизации? Вы все, кажется, продолжаете предпочитать «прогресс в мире животных и растений» прогрессу человечества? Уж мне эта мода на естественные науки!

— Не мода, m-r Тутнев, а нужда: лекций политической экономии и лекций цивилизации нет и никто их, вне университета, не читает, а в университет, как вам известно, грубые мужчины не пускают слабых женщин... Что ж нам делать? Поневоле пойдешь слушать лекции физиологии и сравнительной анатомии.

— Не спорю, не спорю.

Елеонская молчала. Она, по-видимому, вглядывалась в господина, с которым столкнулась в первый раз, а женщины подобного ей закала, собственно, молодые девушки и молодые мужчины, недавно выработавшиеся в русском обществе, весьма не падки на знакомства, еще менее одержимы развязною сообщительностью и при первом к ним прикосновении, при

малейшей попытке забраться в их внутренний мир прячутся внутрь себя, как улитка в свою раковину. С людьми, которых они не удостоили допустить в свой внутренний мир, в свою строго очерченную в границах нравственную общину, люди этого закала сходятся неохотно и вообще смотрят волками, и не потому, чтобы они не обладали ловкостью, сообщительностью и развязностью «почти военных людей», а потому, что они этого не любят, считают это делом нехорошим.

Елеонская — это была девушка, тип которых встречается редко даже в Петербурге. Это первые весенние цветы-подснежники. Это действительно та женщина, которая разобьет цепь, снившуюся во сне Ломжинову и звякающую и на живом теле человека, и на его трупе, в самой могиле.

Елеонская немного старше Релиной. Она несколько лет назад кончила курс в одной из петербургских женских гимназий. Воспитываясь отчасти под руководством своего брата, который был старше ее и принадлежал уже к самой последней школе молодого поколения, Елеонская едва начала читать, как набросилась на русскую журналистику последних годов и уже в гимназии прочитала и переварила последние социальные теории. Об ней можно сказать, что почти с детства она питалась теориями Белинского, Ч....ского, Добролюбова; из теорий и афоризмов Писарева, Шелгунова, Зайцева, из всего, что вмещали в себе за последние годы «Современник» и «Русское слово», она вычитала все, что казалось для нее подходящим и соответствующим стремлениям ее ума. На выпускном экзамене она удивила всех своею начитанностью и какой-то казуистической диалектикой. Она радовала своих преподавателей далеко не дюжинной даровитостью и логикой и в то же время, как бы на зло им, упражнялась в развитии крайних парадоксов самого крайнего реализма, вроде, например, того, что понимание красот Пушкина и Лермонтова не стоит умения варить кашу.

Это была натура порывистая, неуживчивая и в то же время глубоко скептическая. Воспитанная на теориях тех учителей, о которых я сейчас упомянул, она скоро усомнилась в непогрешимости их выводов и перекинулась к изучению теорий диаметрально противоположных тем, с которыми она познакомилась почти в детстве. Она перебрала всю русскую журналистику за последнее десятилетие. Она перебывала, что называется, во всех литературных лагерях, ставила себя в положение анализирующего наблюдателя.

Так называемый нигилизм захватил ее в самой первой поре самостоятельного развития, и она много отдала ему

своих симпатий. Свою роскошную косу она обрезала, впрочем, не потому, что это была мода (моду она называла рабством самого низшего сорта), а потому, что причесывание целого леса ее великолепных волн отнимало у нее слишком много времени, которым она дорожила, и, когда брат, смеясь, назвал ее нигилисткой, она требовала, чтоб он сам отпустил косу, так как в отношении убранства головы она не находила никакого различия между мужчиной и женщиной. Все это, впрочем, мелочи, о которых не стоит распространяться.

По окончании гимназического курса она отвергла несколько предложений, которые были делаемы товарищами и знакомыми ее брата. Она сказала брату, что не раньше выйдет замуж, как вполне сознает свое равенство с тем мужчиной, которого она назовет своим мужем. Она положила себе непременно достигнуть самостоятельного положения в жизни. Она могла получить хорошее место гувернантки и не взяла этого места, не терпя никакой зависимости, никакого подчинения. Она непременно хотела жить своим трудом, своей головой. Зная ее настойчивость, брат не смел ей противоречить. Она бросалась везде, всюду искала применения своих сил — и нигде не находила себе удовлетворения. Она была и в обществе переводчиц, поступила и в рабочую женскую артель и, наконец, остановилась на приготовлении себя к званию акушерки.

Вера познакомилось с Елеонской на одной из лекций, куда она в первое время ездила с отцом. Елеонская не могла не подействовать на такую девушку, какою была Вера, и между ними завязалась довольно искренняя дружба. Они вместе начали ездить на лекции, вместе читали и вместе предавались своим молодым фантазиям о будущности женщины.

В описываемый нами вечер девушки возвращались с одной из таких лекций, когда на них напал лихач, а Тутнев спас их от этого лихача.

Когда они миновали Литейный мост, Вера предложила всем вместе отправиться к старику отцу.

— Я хочу, — говорила она, — чтобы папа сегодня же видел нашего спасителя.

— Спаситель-то, собственно, не я, а городовой, — заметил Тутнев.

У Релина они застали Ломжинова, который давно не заходил к ним. Неожиданный приезд Тутнева и обрадовал, и удивил всех.

— Ты зачем сюда приехал? — спросил его Ломжинов. — Не по делам ли земства?

— Отчасти сам не знаю зачем, а отчасти действительно по делам земства, — отвечал Тутнев как-то нехотя.

— Вероятно, хлопотать о железной дороге?

— Да, и о концессии железной дороги, и о банке нашего земства, и о реальной гимназии — обо всем понемногу.

— Давно ли приехал?

— Хорошенько не знаю, не то третьего дня, не то в среду, не то во вторник.

— Отчего ж не отыскал земляков?

— Да и сам не знаю отчего: кажется, все толкался по разным министерствам — брал с бою и железную дорогу, брал с бою и земский банк и, кажется, буду побит на поле реализма.

— Отчего же так?

— Поди спроси Каткова.

И Релин и Ломжинов не могли не заметить, что с Тутневым произошла какая-то перемена, а какая именно — никто не мог понять. Не то утомился он, не то присмирел, не то о чем-то все старался припомнить. Только видно было, что он несколько похудел.

— Рассказывайте же, что делается в нашем родном городе, — говорила Вера.

— По какой части?

— Да по всем частям, только не полицейским.

— Все то же, Вера Николаевна, что было и при вас: избранное общество веселится по-своему, неизбранное по-своему. Семейные, танцевальные, музыкальные и литературные вечера в дворянском собрании... Танцуют больше, чем играют, и еще больше, чем читают. Пьют больше, чем думают. Спят больше, чем не спят. Сплетничают больше, чем не сплетничают. А ничего не делают еще больше, чем танцуют, больше, чем играют, больше, чем пьют, больше, чем сплетничают, и больше, чем спят.

— И неужели нет ничего хорошего?

— Есть, Вера Николаевна: на нашем театре Оффенбах с «Орфеем в аду» и с абсолютно декольтированными женщинами и мужчинами. Есть концерты, балы-аллегри и вольные маскарады с благотворительными целями, то в пользу приютов, то в пользу женских и мужских гимназий. Это все шаг вперед, и этот шаг особенно замечается в том, что даже женщины невесомого поведения...

— Какие?

— Невесомого поведения, Вера Николаевна.

— Что это за невесомое поведение?

— А вот что. Вы знаете физику Ленца или Писаревского?

— Знаю...

— Следовательно, знаете, что значит тела весомые и невесомые? Собственно, не тела, потому что невесомых тел нет... Самое легкое тело все-таки весомое, имеет вес.

— А! понимаю, понимаю.

— Поэтому вы понимаете, что невесомое легче легкого, самого легкого.

— Да, это бесспорно.

— Так вот у нас женщины невесомого поведения участвуют в пожертвованиях на учебные заведения.

— Как? Их обложили?

— Нет, а они своим присутствием в вольных маскарадах доставили 47 процентов сбора в пользу учебных заведений.

Елеонская, сидевшая молча, не выдержала.

— Какое безобразие, — сказала она почти про себя.

— Именно безобразие, — подхватил Тутнев, — хотя у нас на это смотрят иначе, с невесомой точки зрения... Впрочем, точка никогда весомой быть не может — а так пришлось к слову. Когда на последнем маскараде один порядочный человек, подняв бокал за процветание учебных заведений, сказал, что в скором будущем он надеется увидеть русское общество подвинувшимся настолько, чтоб для поддержания учебных заведений не прибегать к «таким безобразиям», как маскарады, танцевальные вечера и балы-аллегри, — сыны Марса и науки Белонны вломились в амбицию за это выражение и вышло новое безобразие.

— А что наше земство? — спросил Ломжинов.

— Земство ничего — земство хороший человек.

— Но ведь ты был и земством недоволен?

— Был, и теперь недоволен, но все же между «земцами», как их называет, кажется, Погодин, есть очень и очень порядочные люди, хотя они, как везде, в меньшинстве. Последнее экстренное губернское земское собрание, бывшее на днях, немало перепортило у меня крови.

— Чем же?

— Да всем... Съехались гласные в город. Назначается день собрания. Из восьмидесяти или девяноста гласных явилось только двадцать три человека — и собрание не состоялось, а губернатора продержали в мундире три часа. Когда я

уехал из собрания, то дорогой сделал открытие — знаете какое?

— А какое?

— Оказалось, что гласные — большие меломаны: их экипажи стояли около гостиницы Тарарыкина, где пели цыганки. А впрочем, все-таки дело наладили, только пришлось истратить из земских сумм больше двадцати рублей на извозчиков, на которых ездили по городу собирать гласных, и теперь управа не знает, как показать этот расход.

Все засмеялись.

— А знаете, Вера Николаевна, — обратился Тутнев к Вере, — наше земство злоумышляет против вас.

— Как против меня? — спросила удивленная Вера.

— Против вас и против всех женщин вообще.

— Чем же?

— У нас открывается земский банк. В уставе этого банка поставлено, чтоб ссуды не давать тем заемщикам, которые вздумали бы употребить занятые в банке деньги на шелковые платья, на наряды, на шиньоны, на перчатки и прочее, а на сало, на шерсть, на овец, на свиней — это другое дело.

— Что ж, — заметила Вера, — я не охотница до нарядов.

Молчавшая до сего времени Елеонская опять вставила свою фразу:

— Я вижу, что в провинции есть люди... Я это и прежде думала.

— Я не спорю, есть, но... больше, чем слишком мало. Зато женщин положительно нет.

— Ну, m-r Тутнев, это ваши мутоны.

— Действительно, мутоны.

И Тутнев вздохнул, что за ним прежде не водилось.

В жизни Тутнева действительно совершился крупный перелом. Но еще более тяжкий перелом ожидал его впереди.

Тутнев принадлежал к разряду тех людей, которых в детстве все окружающее хиротонизует в сан подающих блистательные надежды. Люди, рукоположенные в этот сан, действительно подают надежды, действительно много обещают, но всегда дают слишком мало от обещанного или вовсе ничего не дают. Веря в крупную капитальность своего внутреннего содержания, самоуверенные до обожания своей собственной головы и великолепных качеств своего сердца, эти эльпидифоры (надеждодавцы), развившиеся до извест-

ной степени, дальше не двигаются, и, подобно факирам, стоящим всю жизнь на одной ноге, не замечают, как мимо них проходит жизнь с новыми явлениями, с новыми формами развития и оставляет их за собою. Но надеждодавцы, раз окрещенные этим именем, не теряют веры в себя, в свою недюжинность, даже в свое относительное величие. Когда, вследствие своей инертности, они отстают от других и замечают, что та среда, в которой некогда они стояли выше других целой головой, по законам поступательного движения поднялась до уровня их головы или переросла их, то они спускаются в среду относительно низшую, чтобы хоть там считаться первыми. Они держатся цезарского правила, что лучше быть первым кабаном в свином стаде, чем вторым человеком в обществе порядочных людей. Спустившись в низшую сферу, они или уверяют себя и других, что не стоит быть в сфере высшей, или самоутешаются мыслью, что их заела среда и обстоятельства. Оказавшись неспособными к делу, сунувшись применить к чему-либо свои некогда действительные, а потом испарившиеся дарования и видя неудачу, они показывают вид, что не хотят применить к делу своих великих дарований, а что если бы захотели, то много сделали бы хорошего. В большинстве случаев эти эльпидифоры и эльпидифорки в конце концов пошлеют и пропадают.

Тутнев был на этой опасной дороге. Но он не пропал. Его спасли два тяжких перелома в жизни.

Одно из отличительных свойств этого сорта людей — это то, что они большие фразеры. Они постоянно страдают словоизвержением, притом на первый взгляд довольно умным. Слушая их, можно подумать, что это совсем порядочные люди, только в жизни они никогда не применяют к делу того, что говорят. А когда им заметят самое крупное в их жизни противоречие их слова с их собственными поступками, они возражают, что то, что они говорили в прошлом году, что заслуживало их симпатии прежде, они отрицают и не любят теперь, потому что... да просто потому что...

Таких людей большею частью губит фраза. Но Тутнева фраза спасла.

В провинции, где Тутнев по окончании университетского курса и по возвращении из-за границы поселился в качестве богатого землевладельца, он считался человеком опасным на язык и выгодным женихом. Но, как эльпидифор, как человек, носящий в себе большие надежды, он ничего не делал, а слонялся по гостиным, по вечерам, по клубам,

хотя не танцевал по принципу, не играл в карты — по принципу, не пил — тоже по принципу, а только разглагольствовал, бичуя и танцующих, и играющих в карты, и пьющих. Барыни его не любили, но ловили. Зато и он преследовал прекрасный пол всею силою своего сарказма. Проводя время то в городе, то в деревне, он восполнял пустоту своей жизни чтением, и едва ли не чтение помешало ему опошлеть окончательно.

В последнее время он глубоко привязался к одной девушке, которую Ломжинов и Релина видели на публичной лекции, читанной в их городе в пользу кандиотов, и которая так поразила всех своею красотой. Девушка была действительно красоты поразительной. Любила ли она Тутнева или нет, он этого не мог сказать положительно, но что она, как оказалось впоследствии, с ведома матери дозволяла ему больше, чем бы следовало, в этом Тутнев убедился. Его мучили долго, потому что хотели воспользоваться его имением. Долго красота девушки и ее нецензурные ласки, расточавшиеся ему иногда даже без предварительной цензуры матери, держали Тутнева в каком-то опьянении, пока один случай не раскрыл ему глаза и не отрезвил его. Тогда он разорвал с ними всякие связи, хоть не без тяжелой борьбы, и эта борьба была для него отчасти спасительна.

В Петербурге мы застаем Тутнева вскоре после этого несчастного случая в его жизни. В Петербурге он всего более почувствовал пустоту той жизни, которую он вел, и им овладела тоска.

XXVII. НАРВАЛСЯ!

Тутнев в квартире Елеонских. Квартира, которую занимали брат и сестра, ничем не отличалась от большинства квартир небогатого петербургского населения. Только на ней лежал некоторый легкий отпечаток студенчества: разбросанные везде книги и газеты, небольшой аквариум с плавающим в нем окунем, разнообразное множество костяков, начиная от человеческого скелета без лобной кости и кончая костяками мелких животных и птиц. Над письменным столом, около которого сидела Лидия, висели портреты Белинского, Ч.....ского и Добролюбова. «Это, — говорила Лидия, — памятники моей первобытной религии, из того периода, когда я еще веровала... Но — «Кумир поверженный все бог...» не для одних только невегласов.

Лидия сидит за столом и срисовывает какие-то фигуры из акушерского атласа, изданного Красовским. Черные как вороново крыло волосы, обрезанные в кружало, как стриг когда-то Пугачев русских солдат, носивших напудренные косы, постоянно падают ей на лицо, бросают от лампы тень на ее прекрасное матово-бледнос лицо, на матово-белую шею, и Лидия часто встряхивает своей хорошенькой головкой, как бы желая совершенно избавиться от докучливых волос.

Недалеко от Лидии в покойном кресле сидит Тутнев, и вся его наклоненная фигура, его лицо, его опущенная голова обличают какое-то душевное раздумье.

— Вы пустой и жалкий человек, — говорит Лидия, поднимая от атласа свою черную как смоль головку и взглядывая на Тутнева.

— Вы безжалостны, Лидия Александровна, — почти шепчет Тутнев, судорожно вздрагивая и еще ниже наклоняя голову, — но... вы справедливы.

— Нет, я жалею вас, — говорит Лидия и снова карандаш ее скользит по бумаге.

— Но мне от этого не легче.

— Тем лучше, — продолжает Лидия.

— Отчего же? — живо спрашивает Тутнев, и наклоненная голова его поднимается.

— Вы скоро должны сознать, что вы не только пустой и жалкий, но и нечестный человек.

Голова Тутнева опять бессильно склоняется, и руки его как бы бессильно падают на колени.

— Вашими фразами, вашими, по-видимому, прекрасными словами, которыми вы сочувствуете только закожно, вы обманываете честных людей, как обманули меня, — продолжала Лидия.

Тутнев встрепенулся...

— Ради Бога! Чем я обманул вас, Лидия Александровна?

— Вашими жалкими словами: после первой встречи с вами, там, у Литейного моста, потом после проведенного с вами у Релиных вечера, и не одного, после всего того, что вы говорили, я подумала, что вы порядочный человек... Оттого я и не отклонила выраженного вами желания познакомиться со мною...

— Я глубоко вам за это благодарен.

— Не за что... Я допускаю знакомство только с теми, кого уважаю. Я думала, что могу уважать вас, приняв вас за порядочного человека, а вы оказались только говорящим человеком.

— Это правда, безжалостная, беспощадная правда.

Тутнев говорил это каким-то апатичным, разбитым голосом. Лидия продолжала рисовать, хотя карандаш, по-видимому, не слушался ее и проводил по бумаге не совсем ровные штрихи.

— Но, Боже мой, — продолжал Тутнев, — я не был бы таким пустым человеком, если б встретил хоть одну порядочную женщину.

— А Вера Релина? — И Лидия поглядела на Тутнева, придерживая на лбу рукою свои прекрасные волосы.

— Я ее почти не знаю, как не знаю и вас, кажется.

— Думаю, что не знаете, — сказала как бы про себя Лидия.

— Не знаю... Но перед вами, перед вашими словами я чувствую себя бессильным, а между тем как в отношении к Релиной я себя чувствую несравненно сильнее.

Лидия молчала.

— Прощайте, Лидия Александровна, — сказал вдруг Тутнев, вставая, — чем скорее я уеду в деревню, тем лучше. Таких людей, как я, лучше добивать скорее.

В разбитом голосе его слышались слезы.

— Нет, нет! — сказала Лидия, тоже вставая. — Я... я слишком зла... Подождите, не падайте духом — может быть, из вас и выйдет что-нибудь.

Тутнев стоял и молчал. Он был жалок. Он видимо страдал.

— Мне жаль вас, — почти шепотом произнесла Лидия.

— Что ж мне делать? — спросил Тутнев, боясь поднять на нее глаза.

— Подождите... Повторяю, может быть, из вас и выйдет что-нибудь.

— Может быть, может быть, — повторял Тутнев в раздумье, как бы машинально.

— Вы просите добивать вас скорей, это вы сказали недурно.

Тутнев молчал.

— Впрочем, вы большой мастер... на слова.

— Нет, ради Бога, добивайте, я прошу вас... это не слова, — сказал Тутнев и снова опустился в кресло.

— Вы правы... Пирогов говорил, чем скорее ампутировать гангренозный член, тем лучше. А вас не всего еще успела поразить нравственная гангрена.

— Не знаю, не знаю...

— Расскажите мне вашу жизнь.

— Ах, Лидия Александровна, что ж я вам расскажу? Я ничего не помню, я не хочу ничего помнить, — отвечал Тутнев в каком-то тихом, смиряющем отчаянии.

Лидия было подошла к нему, но тотчас же отступила назад и села в кресло, за работу. Потом она опять встала, сделала несколько шагов по комнате, видимо, волнуясь, приблизилась к скелету и задумалась.

— Бедный! — сказала она тихонько. — И ты когда-то страдал и давал другим страдания.

Тутнев поднял на нее глаза, а с нее перенес свой взгляд на человеческий скелет.

— Фу, какая пошлость, — сказала она быстро, — я сама, кажется, начинаю говорить фразы.

И она умостилась у своего письменного стола.

— Вы где учились? — спросила она.

— Здесь, в университете.

— Когда кончили курс?

— В 59-м.

— Вы, без сомнения, считались даровитым студентом?

— Да, обо мне так отзывались профессора.

— Но вы были ленивы?

— Да.

— Любили, конечно, читать Прудона, Луи Блана, а тихонько «Колокол». Были поклонник «Современника». Знали все и основательно ничего?

Тутнев молчал.

— Имели, без сомнения, успех в обществе и между прекрасным полом?

Молчит.

— Грубили начальству и никогда не кланялись субинспекторам?

Молчит.

— Вы были уверены, что стоит только захотеть, и ваши высокие дарования выдвинут вас вперед?

— Да, да! — отвечал Тутнев как-то хрипло.

— Что же вы потом делали и что сделали? Чем же вы отличились на самом деле от тех людей, над которыми вы так красиво издевались у Релиных?

— Все, все это правда, Лидия Александровна, проклятая правда!.. Но что ж мне делать, ради Бога, говорите скорей, что мне делать?

— Я не знаю, что вам следует делать, — отвечала Лидия улыбаясь.

Тутнев опять рванулся было уходить.

— Так зачем же я здесь, — сказал он раздражительно, — зачем же я втерся к вам, когда этого не стою? Вы ошиблись, приняв меня за порядочного человека, и пустили к себе. Когда ошибка раскрылась — мое место уже не здесь.

— Прекрасно... Но вы у меня не первый раз — не правда ли?

— Правда.

— Так постойте, не бегите... Сколько я помню, вы как-то намекнули на то, что любили кого-то. Да?

— Да.

— И разочаровались?

— Да. Меня обманули.

— И вам тяжело было это разочарование?

— Тяжело.

— Так поймите же, что и мне тяжело думать, что я обманулась в вас. Положим, я вас не любила. Но когда я раз думала о человеке хорошо, я уже не так-то легко расстанусь с этим человеком. Для меня хороший человек — находка, и довольно ценная. Убедиться в ошибке, понять, что ценность находки ничтожна, — неприятно. Я упряма и самолюбива: если я раз отдала человеку мою руку сочувственно, я буду упрямо держаться за эту руку. Если эта рука загрязнится, буду упрямо требовать, чтоб она была чиста, потому что она была чиста, когда я ее допустила до моей руки.

Говоря эти слова, Лидия встала и подошла к Тутневу. Он стоял с шляпой в руке, безмолвный и бледный.

— Благодарю вас, Лидия Александровна, но... позвольте мне уйти... мне тяжело.

— Да, я понимаю ваше положение. Я была с вами не в меру жестока.

— В меру, Лидия Александровна... Но что всего более тяготит меня, так это то, что я как будто не могу сознавать в себе негодяя, а чувствую только, что я несчастлив, глубоко несчастлив.

— Тем лучше. Худо было бы, если б вы ничего этого не чувствовали... В таком случае я могу поздравить вас с хорошим исходом операции.

И Лидия подала Тутневу руку.

— А! Лидия Александровна! Вы думаете — легко из негодяя сделаться человеком? Я уже не ребенок. Если до тридцати лет я был пустейшим человеком, если я потерял бесполезно лучшие годы жизни, то на что же мне теперь надеяться?

— Бокль почти до сорока лет играл в шахматы и читал, а когда приспела пора работы и для него — он прошел на земле не бесследно.

— Бокль! Бокль! Над его выводами я так любил подсмеиваться, особенно когда бичевал женщину... Но на что я способен? К чему я могу приложить эти скверные бесполезные руки? В артель идти? В общество переводчиц записаться? Акушером сделаться?

— Это вы в мой огород репу бросаете?

— Нет, Лидия Александровна, я просто утопаю.

— А соломинки не видите?

— Не вижу... Чтоб меня поднять, нужно целое бревно.

— Что ж, к вашим услугам не бревно, а целый корабль.

— Какой же?

— А земство? Вы, кажется, там гласным?

— Да, Лидия Александровна.

В это время кто-то позвонил. Когда кухарка отперла дверь, из передней раздался голос:

— Лида! Лида! Лиденька!

— Ты что кричишь?

— Знаешь, что я тебе принес?

— Билет на «Рогнеду?» Спенсера?

— Нет, Спенсера завтра принесу.

— А что же?

— Воробья.

— Какого воробья? Зачем воробья? — спросила Лидия в недоумении.

— Я тебе поймал воробья, и ты его должна воспитать по Брему.

Лидия и Тутнев засмеялись. Вошел брат Лидии, молодой доктор Елеонский. В руке у него действительно был воробей.

— Здравствуйте, Борис Борисович! Здравствуй, сестренка! Вы над чем сидите, над Красовским?

— Отчасти над Красовским, отчасти над Тутневым, — отвечала Лидия, улыбаясь и нагибаясь к воробью, который бился в руках Елеонского.

— Бедный! Как он трусит, крошка милая, — говорила она, желая погладить его по голове.

Но воробей ущипнул ее за палец.

— А! он кусается, злодей, защищает свою маленькую жизнь от тирана-человека... Зачем ты его, в самом деле, принес, Федя?

— Купил у мальчишек, которые его мучили, и принес тебе. Попробуй, можно ли приучить воробья — это тебе бу-

дет развлечение. А не хочешь — можно отпустить на волю, когда он поправится.

— Хорошо, я займусь им.

Воробья выпустили на свободу, то есть позволили летать по комнате, и он потом уселся на книжной полке.

— Какой разбойник! Он уселся на докторе Боке, на «Будьте здоровы». Ну и будь здоров, бедненький.

Воробей не угомонился сразу и юркнул на другую полку.

— Теперь выбрал Писарева — какой непостоянный. А что ж «Рогнеда»?

— «Рогнеда» отложена.

— Зачем?

— Изяслав в последней поре беременности.

— Что ты глупости говоришь?

— Право же, Лидочка: Изяслав должен скоро родить.

Лидия засмеялась.

— Понимаю, понимаю... Какой ты злой.

Напротив, я сегодня очень добрый. Потому и воробья тебе купил за семь копеек.

— Верно, твоей больной легче?

— Легче — и как я рад, если б ты знала, Лиденька.

— А консилиум был?

— Был. Я сейчас с консилиума. Она так боялась умереть, да и отец так упрашивал меня созвать всех лучших докторов, что я уступил им. Консилиум был самый разнообразный: Боткин, Бессер, Красовский, Брун... А вы что такой молчаливый, Борис Борисович? — обратился он к Тутневу.

— Мне что-то нездоровится, — отвечал тот.

— Нет, он не в духе, — сказала Лидия и поглядела на Тутнева. —

Он сегодня так грустно настроен,
Так устал от мучительных дум...

— А слышали, — спросил Елеонский, — Некрасов просыпается.

— Да, мне вчера что-то говорили на лекции, да я забыла, потому что спешила записать одно удачное выражение профессора о женщинах-специалистах.

— Некрасов переходит в «Отечественные записки». Туда же, говорят, идут Елисеев, Островский, Якушкин, Марко Вовчок и много других писателей.

— Как это Некрасов и Краевский сошлись? Ведь они были враги.

— Время не то, — заметил Елеонский. — Разве вы не чувствуете чего-то в воздухе?

— Что ж, опять порыв? Но надолго ли?

— Ах, Лида! Лучше хоть порыв и не надолго, чем поголовная спячка. А Петербург дает много и провинциям... Ведь вот Борис Борисович говорит, как там все опустилось.

Бориса Борисовича при этом покоробило.

— Да, — сказал он как-то робко, неуверенно.

— Он говорит, — продолжал Елеонский, — что в провинции все доводят до абсурда, что бы ни делалось здесь. У нас вошли в моду коньки — и там пошли коньки, развилось поголовное конькобегство, так что барыни и барышни стали кататься с гор на площади, как это у нас делают мужчины на масленицу, под балаганами. У нас стали барышни, вот как ты, Лида, стричь косы, а там не только стричь, но и брить. У нас читают — и там будут читать.

Тутнев упорно молчал.

— А чем этот порыв кончится? — спросила Лидия. — Неужели опять...

— Чем бы ни кончился, все же лучше.

— Тише, тише, — сказала шепотом Лидия.

— Что ты?

— Воробей заснул на какой-то книге, кажется на патологии. Бедненький!

Тутнев собрался уходить.

— Прощайте, Лидия Александровна, прощайте, Федор Александрович.

— Куда же вы спешите? — спросила его Лидия и поглядела ему пристально в глаза.

Выражение лица Тутнева было грустное, но спокойное.

— Посидите у нас, — прибавил Елеонский, — если вам не скучно. Или у вас спешные дела?

— Какие у меня могут быть спешные дела? Так!

— Положите же шляпу, — сказала Лидия как-то мягче обыкновенного.

— Делайте как знаете... Хотите беседовать с сестрой — беседуйте: она может болтать и заглядывая в Красовского. Хотите молчать — молчите. Хотите читать — читайте, что найдете на полках.

— Только воробья не трогайте, — вмешалась Лидия.

— А я только на минутку присяду к письменному столу, уведомить Кремянского о встреченном мною редком экземпляре тифозного больного. Вчера Кремянский получил какую-то бумагу из Праги, писанную по-чешски, и в этой бумаге

называют его «действительным удом» пражского медицинского общества. Теперь я его иначе не называю как «действительным удом».

Сказав это, Елеонский убежал в свою комнату.

— Послушайте, Борис Борисович, — заговорила Лидия.

— Что вам угодно?

— Вы что намерены делать?

Тутнев весь покраснел.

— Я еще не решил, — сказал он.

— Нет, я говорю о сегодня.

— Я не знаю, Лидия Александровна, мне скверно.

— Какой же вы, право. Если я вам сказала, что вы пустой человек, то это относится к прошлому Тутневу. Будущего Тутнева я надеюсь уважать.

— Я-то ни на что не надеюсь: слишком въелась в меня эта пустота, как ржавчина в железо.

— Полно, полно, поищите в себе силы.

— Буду искать.

Тутнев не долго оставался. С тяжелым чувством вышел он от Елеонских, и не знал, куда ему идти: везде ему было тяжело. И побрел он машинально в свою гостиницу, к Клею. Елеонские жили у Пяти углов.

Свинцом висело над Петербургом пасмурное небо, и свинцом лежали слова Лидии на сердце и на мозге Тутнева. Больно ему было думать о чем-либо, и думать он как бы разучился... «Пустой и жалкий человек...» А вот фотография Лушева, и Тутнев остановился машинально перед выставленными напоказ карточками... «Неужели и этот мужчина на карточке пустой и жалкий человек?» Лучи от фонаря ломаются на чугунной тумбе у тротуара, а на другую тумбу падает свет из окна кондитерской. Тоска, тоска! Скользят внешние впечатления по сознанию Тутнева, но он ничего как бы не видит, хоть все видит и обо всем думает, ничего, в сущности, не думая... Вот Невский, Литейный... На углу дома Кокорева стоят артельщики... «Подь ты, козье вымя, сюда, рояль от Беккера надо нести», — говорит артельщик другому. «Козье вымя, вот выдумал!» Из дома Максимовича выехала карета — должно быть, в театр едут. А тут из кабака в растворенную дверь несется пьяная песня:

Что по Невскому гусария идет,
В правой рученьке мамзелию ведет,
В левой рученьке баварию несет —
Ух, мамзель, каналья, хороша!..

Какая тоска, какая страшная тоска!.. Все та же суетня на Невском, та же толкотня, те же звуки, какие и вчера поражали слух Тутнева, только не тот был вчера он сам, что сегодня... На Аничковом мосту тот же слепой, высокий, бледный нищий с шарманкою, те же дикие кони скачут и хотят раздавить бронзовых всадников и не раздавят. С катка на Фонтанке доносится оффенбаховская музыка — и нет уему людскому горю... И «гусария» звякает саблею по камню, и шуршит по этому камню ботинок «мамзелии», и много этих «мамзелий», так много, как много нужды у человека и плотских похотей... Аптека Гауера, магазин Витман, кондитер Аккола, Аничков дворец, магазин Звонарева, Королева, Шор, Александринский сквер, публичная библиотека... Тупо глядит Тутнев на все эти дома, на все эти вывески, заглядывает в окна без желания смотреть, думает о чем-то без желания думать... кругом столько жизни, столько лихорадочного движения — и чувствует Тутнев печальную пустоту вокруг себя, и все больше и больше хочется ему надвинуть на глаза свою шляпу, чтоб не прочитали люди у него на лбу роковых слов: «Пустой и жалкий человек».

Хоть бы в Неву так впору!

XXVIII. ПЕРЕЛОМ

Мучительную ночь провел Тутнев по возвращении от Елеонских. Смутно сознавала его пылающая голова какую-то невозвратную потерю, а какую — он и сам не мог уяснить себе. Что-то хотел он припомнить и сам не знал, что именно ему припомнить понадобилось. Хотел отогнать от себя всплывшие в его памяти давнишние воспоминания — и не мог, и воспоминания эти путались, переплетались в его памяти, как в калейдоскопе, с впечатлениями последнего вечера, и давили, давили его. То стояло перед его очами строгое, прекрасное лицо, то выступал перед ним пожелтевший человеческий костяк без лобной кости, и слышал он, как хрустели желтые пересохшие кости от дуновения какого-то жаркого, им самим ощущаемого ветерка — и Тутнев вздрагивал, и строгое лицо пропадало, и слышал он, как тикал маятник в соседней комнате, и ныло, ныло его сердце под эти однообразные звуки. А там опять горячечные грезы спутывали его ослабевшую мысль, и впадал он в какое-то тяжелое забытье, а под черепом у него, точно по натянутым струнам, пробегали звуки какой-то мелодии, которую он не

мог ни припомнить вполне, ни забыть вполне, и казалось ему, что мелодия эта мешалась с другой, безобразной мелодией, и в мозгу, в слуховых нервах где-то пелась песня:

Что по Невскому гусария идет,
В правой рученьке мамзелию ведет,
В левой рученьке баварию несет...

И вставал перед ним образ Лидии, и жарко глядели на него большие черные глаза, и жгло ему мозг от огня этих не в меру больших, не в меру черных глаз, и хотелось ему спрятаться от этого огня, спрятать самую голову под лед Фонтанки, чтобы режущие лед коньки визжали над его головой, обсыпая ее мелкой морозной пылью.

А там опять как бы возвращалось к нему сознание, опять он припоминал что-то и тотчас забывал то, что вспоминалось, и в короткие моменты сознания он чувствовал, что не на радость возвращалось оно к нему. В мерном тиканье маятника слышатся ему мерные, обдуманные, тихие слова: «Вы пустой и жалкий человек». Пронесется порыв ветра под его окном, и точно чья рука стучит в это окно, чтобы передать ему смертный приговор: «Вы нечестный человек». И снова все отлетает от его ослабевшей памяти, и стены его комнаты уходят далеко, далеко, и силится уловить его ослабевшее зрение непонятный смысл узоров и рисунков на обоях этих далеко отошедших стен, и тяжело ему следить взором за извилинами узоров, а он должен следить за ними, должен выследить их, а иначе он будет «пустой, и жалкий, и нечестный человек». Стены комнаты отошли еще дальше, они захватили Аничков мост, Литейную, Владимирскую, и встают на дыбы бронзовые кони на мосту, и Тутнев силится остановить этих бронзовых коней, и чувствует он, что и его голова становится бронзовой, и руки бронзовые, и сердце бронзовое, и болит, болит эта бронза, как живое, нежное тело человека, и кусок горячей бронзы брошен ему под череп вместо мозга, и звучит бронза, поет безобразную арию:

Что по Невскому гусария идет,
В правой рученьке мамзелию ведет,
В левой рученьке баварию несет —
Ух, мамзель, каналья, хороша!..

И не может он отогнать от себя этой дикой арии, точно самые звуки ее на мозгу вырезаны, с мозгом и нервами перепутались.

Он засыпал на минуты и опять просыпался, не вполне приходя в себя и как бы не вполне просыпаясь. А сны, разнообразные, тревожные, меняющиеся как волшебные тени,

носились над его головой, и в этих снах то виделась ему Лидия, то приходила к его изголовью мать с такими добрыми-добрыми и с такими грустными глазами, то казалось ему, что он лежит на знойном песке под палящими лучами солнца и жадно ждет, когда черная птица, плавающая по небу, бросит на него тень от своего черного крыла. Но и во сне ему пелась проклятая песня:

Что по Невскому гусария идет,
В правой рученьке мамзелию ведет...

К утру он пришел в себя только для того, кажется, чтобы понять, что у него горячка, а может быть, и тиф.

У Тутнева действительно был тиф.

Несколько дней он лежал в беспамятстве и бессвязно бредил, а иногда тупо молчал по целым часам, показывая признаки жизни только вздохом или судорожным подергиванием пересохших губ. Память как бы отлетела от него на эти дни.

Когда в первый раз он пришел в себя, когда воротилась к нему связность представлений и возможность замечать внешние явления, он увидел около себя Елеонского, который одною рукою щупал пульс, а другую положил на отяжелевшую голову больного.

— Здравствуйте, — силился прошептать больной и с трудом закрыл ссохшиеся губы.

Доктор с улыбкой кивнул ему головой.

— Как вы себя чувствуете?

— Устал, очень устал.

— Это ничего, наберетесь силы.

Больной попытался было поднять голову от подушки, но голова падала. Доктор поправил подушку.

— Что вам?

— Голова кружится.

— Это от слабости.

— А шторку...

— Что? Поднять?

Больной кивнул головой. Елеонский поднял шторку.

— Какой славный день, — сказал он.

— А число сегодня какое? — спросил Тутнев.

— Что, уж разве любопытство явилось? Это хороший знак... Но зачем вам знать число?

— Так... мне все равно.

— Как все равно? Это нехорошо.

Больной молчал. Но Елеонский не мог не заметить, что по лицу его пациента прошла какая-то тень, смысла которой

он не мог уловить, — и стал пристально вглядываться в это бледное, удлиненное худобою лицо. Глаза Тутнева смотрели куда-то в сторону, задумчиво, и по движению губ больного доктор мог догадаться, что губы эти шептали: «Все равно, все равно».

— Не хотите ли чего-нибудь? Пить, например? — спросил Елеонский.

— Да... губы пересохли.

— Не дать ли вам кисленького?

— Да... все равно.

Доктора озадачило это «все равно». Что с ним?

— Не болит ли у вас что-нибудь? Голова?

— Нет.

Елеонский опять начал щупать пульс.

— Сестра вам кланяется, — сказал он, не отнимая руки от пульса.

— А...

Зрачки больного расширились. Пульс забился сильнее, как бьется подстреленный умирающий голубь. Но лицо оставалось спокойно, серьезно.

— Она очень беспокоилась вашей болезнью.

— А...

Опять беззвучное «а»... Больной силится глубоко вздохнуть. Доктор пристально вглядывается в худое, спокойное, серьезное лицо. Но нет игры жизни на этом лице.

— Сестра просит меня привести ее к вам, — говорит опять доктор.

Больной как бы дрогнул всем телом. Глаза закрылись. Лежит как пласт. Но доктор хотел исследовать всю глубину раны больного, чтоб знать, куда приложить корпию, и опять прибегнул к диагностическому зонду.

— Когда же нам прийти с Лидочкой вместе?

— Приходите... я рад.

— Только вы должны принять нас уже совершенным джентльменом, хотя и в постели; надо смотреть веселей.

— Да... веселей.

Тутнев силился улыбнуться, но губы его кривились в какую-то гримасу. С лица не сходила тень, которая пала на него несколько минут назад и которую доктор уловил глазами, но не мог уловить своим умом ее значения и источника.

— Так мы придем скоро.

Больной как бы встрепенулся всем телом, приподнялся от подушки. Но тень с лица не сходила: она лежала на нем как

слой снега, который не в силах растопить бессильные лучи зимнего солнца.

Елеонский отвернулся, чтобы подать больному питье. Но когда он опять повернулся к нему с стаканом в руке, Тутнев сидел уже на постели, опустив голову, бросив руки на одеяло, и задумчиво шептал: «Все равно... все равно...»

Что ж это, наконец, такое! Что значит это «все равно»?

Посидев еще несколько минут около больного, прописав новое лекарство и дав некоторые наставления слуге, ухаживавшему за Тутневым, Елеонский оставил его и обещал навестить вечером.

— Что Тутнев? — спрашивала Лидия своего брата в тот день, когда они сошлись к обеду.

— Он вне опасности. Кризис миновал благополучно. Только...

— Что только?

— Я сам не понимаю, что с ним.

— А что?

— Какая-то странная тень у него на лице, и я заметил, что тень эта явилась не тотчас после того, как он пришел в себя, а немного погодя... Точно он вспомнил что-нибудь.

— А что он говорил в это время?

— Да он спросил, какое сегодня число. Я шутя сказал ему, что любопытство, проявившееся у больного, хороший знак. А он на это сказал: «Мне все равно», — и тут-то прошла по лицу его какая-то тень, да так и осталась.

— Бедненький! Не подействовал ли ему этот тиф на мозг?

— Кажется, нет. Этих признаков я не заметил во время болезни, да притом у него взгляд совершенно осмысленный, хотя задумчивый.

— Может быть, — заметила Лидия, — он слишком слаб еще.

— Да, это правда... Я ведь тебе говорил, что в бреду он иногда произносил твое имя, иногда бредил воробьем, Некрасовым, какими-то бронзовыми конями... Произносил какое-то «козье вымя», даже декламировал какую-то песню:

Что по Невскому гусария идет,
В правой рученьке мамзелию ведет...

Лидия засмеялась.

— Глупость какая! — сказала она. — Я не слыхала этой песни.

— Ну и не много потеряла, — заметил брат. — Бредил он также скелетом, говорил об атласе Красовского. Все это, конечно, отражались в его памяти впечатления последнего вечера, когда он был у нас и когда уже, по-видимому, захварывал. Иногда повторял он слова «пустой, жалкий человек». Ну, обыкновенный бред.

При последних словах брата Лидию как-то передернуло, что Елеонский, впрочем, не заметил.

— Но вот что странно... этого я не понимаю...

— Что странно, брат? — спросила Лидия, по-видимому с обыкновенным участием, но вся превращаясь в напряженное внимание.

— Говорил я ему и о тебе.

— Ты что говорил ему?

— Что ты ему кланяешься...

— Ну?..

— Я держал в это время его пульс — и пульс заколотился усиленнее. Я этого, впрочем, ждал — это естественно.

У Лидии глаза как бы изменили цвет, но выражение и их и лица осталось прежнее. Елеонский ничего не заметил.

— Но вот что не понятно, — продолжал он, — когда я сказал, что мы с тобой вместе придем навестить его, он, разумеется, встрепенулся несколько, но потом опять точно бессознательно начал шептать «все равно». Что это за «все равно» — я решительно не понимаю. Да и тень с лица, о которой я говорил тебе, не сходила... Надо опять навестить его вечером.

Лидия молчала, но голова ее и сердце, по-видимому, заработали усиленно, усиленно. Она иногда тихонько встряхивала этой черной как смоль головой, и такие же черные глаза моргали несколько чаще обыкновенного, что означало в ней усиленную внутреннюю работу.

— В этом «все равно» я вижу какой-то непонятный для меня упадок духа, что в выздоравливающем — нехороший признак. Я подозреваю, что началом его болезни были не одни физические причины: тут кроется что-то сложное, и я почти уверен, что психический стимул к этой болезни был, и очень сильный.

— Зачем же ты его оставил, Федя! Мне так страшно за него. Бедный! Он здесь один... мне так жаль его. Сходи к нему, не покидай его.

— Я буду сегодня вечером... Но он не один: его навещает Релин, иногда Ломжинов.

Черная головка продолжала работать. Черные пряди волос продолжали дрожать. Черная головка не могла не догадываться, что психический стимул, о котором говорил брат, — дело ее рук. И что-то вроде угрызения совести шевельнулось в ее добром, честном сердце, и заболело, так заболело это сердце, что она схватилась за него обеими руками. «Какая я низкая тварь! — говорила ей эта совесть. — Имела ли я право так безжалостно поступить с ним? Чем он виноват, что в первый раз он мне показался более человеком, а в последний раз я находила его более пустым и легким, и пустым не по природе, а испустившимся. Чем он виноват, что я ошиблась? Ведь он не обманывал меня, что он фразер несколько? Эх! да кто же из нас не любит порисоваться — кто серьезностью, кто умом, кто остроумием?..» И мучили, мучили ее эти вопросы, и страшно ей было за человека, которого она убила. «Разве этот упадок духа не доказывает, что это — прекрасный человек, что не загублено в нем ничто хорошее? Разве негодяй упал бы духом, если б ему сказали, что он негодяй? Разве пустой человек был бы так убит, если б его обвинили в пустоте? Он не поверил бы».

— Мне бы хотелось видеть его, Федя.

— Еще рано, милая. Это будет для него слишком большой прием...

— Чего, Федя?

— После, после, Лидочка.

Черная головка упала на грудь, но черные пряди волос продолжали встряхиваться.

В этот вечер, на лекции, Лидия была, к удивлению Веры Релиной, необыкновенно рассеянна. «Неужели это мое слово так убило его? — думалось ей. — Бедненький! Мое слово возвращало к жизни потерянного человека — и мое же слово, может быть, убьет его... Как страшно! Как страшно!..»

— Что вам брат говорит о состоянии здравья Тутнева? — спрашивала Вера.

— Брат говорит, что кризис миновал благополучно, но что-то в больном беспокоит его.

— Что же такое?

— Какой-то непонятный упадок духа.

— Бедный, мне жаль его, хоть я не особенно его любила; он над всем смеялся, и смеялся, кажется, не потому, что у него на сердце накипали слезы, а просто издевался.

Лидия ничего не отвечала на это. Она начинала иначе думать о Тутневе.

Вечером она лихорадочно ждала возвращения брата от больного.

— Ну что, Федя? — спросила она его, встречая в передней.

— Ты о чем?

— Тутнев что?

— Лучше. Физически поправляется, но психическая сторона в том же состоянии, хоть теперь не говорит «все равно», — но хуже смотрит, так, как будто ему все равно.

Лидия начинала уже страдать.

— О чем же вы говорили, брат?

— Да так. Говорить много с ним еще не годится.

— Когда же ты поведешь меня к нему?

— Подожди немного. Пусть сам захочет повидаться с тобой.

— А теперь разве не хочет?

— Нет, он говорит: «Чего Лидии Александровне приходить ко мне? Что ей в обществе такого пустого и жалкого человека, да еще больного?» Не понимаю, что с ним делается.

Зато Лидия понимала, и оттого карандаш, которым она делала какой-то анатомический рисунок, не слушался ее руки и скакал по бумаге. В ней уже начиналась внутренняя борьба.

XXIX. ТИХИЙ ОМУТ

Прошло еще несколько дней. Тутнев заметно поправлялся, хотя с лица его опять-таки не сходила та непонятная тень, которою Елеонский заметил на этом лице в первые часы после кризиса. Он выздоравливал, если можно так выразиться, апатически, равнодушно.

Морозное яркое петербургское утро. Небо яркое, голубое, далекое и глубокое, точно кто отодвинул его далеко-далеко от морозной земли. Нечистые и чистые людские вздохи, по законам реальной, прозаической природы превратившись в снежные кристаллики, носятся в морозном воздухе и падают на отлогие крыши, на тумбы, на шляпы, на усы, бороды и фальшивые косы — этих вздохов не принимает небо, отодвинутое далеко-далеко от земли, хоть люди и думают в своей наивности, что вздохи эти несутся к небу. Тутнев видит из окна, как яркий кристаллик — может быть, скристаллизовавшееся дыхание Лидии — опускается на заиндевевший хвост собаки, которая, по своей глупости, лает на тумбу, о которую ушиблась, заглядевшись на окно булочной. А вот другой кри-

сталлик, может быть скристаллизовавшееся дыхание какого-либо грязнейшего существа, а может быть, этой же самой собаки — падает на розовенькие губки чистенькой девочки, что спешит в школу с своим маленьким портфельчиком. Тутнева коробят эти капризные сопоставления неудобосопоставляемых предметов и понятий, это возмутительное амальгамирование грязи и чистоты, это органическое родство губок девочки с собачьим хвостом, эта борьба тьмы со светом... Нет, он еще болен: он слишком апатичен и слишком капризен.

В передней взвизгнул звонок. Тутнев вздрогнул, приподнялся в кресле и опять сел в него. Руки заходили ходенем — и он положил их на колени.

Вошли Елеонские. Лидия, по обыкновению, была в чем-то черном, суконном. Мужские воротнички, мужские рукавчики. И волосы, не в меру черные, и глаза, не в меру большие и не в меру черные, искрились, точно те кристаллы, которые Тутнев сейчас видел... И тут кристаллы!.. На матово-белом лице Лидии было столько мягкости и какого-то тихого спокойствия, что при виде этого лица, сильные жгучие боли должны были стихать.

— Здравствуйте, Борис Борисович, — сказала Лидия, подавая Тутневу руку, — как я рада, что вижу вас здоровым.

Тутнев смешался и ничего не отвечал. Он даже не нашелся пригласить девушку сесть.

— Вы сегодня так хорошо выглядите, — сказал Елеонский, — поздравляю вас.

Действительно, Елеонский не видел на лице Тутнева той тени, которая пугала его в больном.

— Мне сегодня много лучше, — сказал Тутнев.

Лидия быстро оглядела больного, и на сердце у нее разом стало так холодно, точно на него положили кусок льда. Так изменился Тутнев, так много, кажется, страданий прошло по этому бледному, страшно исхудалому лицу. Хотя Елеонский не видел на лице больного той тени, которая беспокоила его, однако сестра видела эту тень — как-то резко, отчетливо легла она на всем этом лице, на его выражении, на улыбке. Какая же должна быть страшная встряска всего организма, если она так беспощадно изломала человека. Лидия догадывалась, что тут недостаточно было встряски одного тела, встряска эта захватила глубже, буря прошла не по телу, а по душе, по мысли, по всему человеку, ломка была общая, капитальная. Это был уже не тот Тутнев, не пустой, о, далеко не пустой человек. Лидия не могла не догадываться, что в этой ломке она была

тем железным ломом, который разбил человека вдребезги. Честное сердце ее и честная мысль, которые, к удивлению, всегда ладили в ней, громко говорили ей, что она убийца. А воскресит ли она так, как убила? Где возьмет она живой воды, после того как она уже окропила и убила человека водою мертвой? Где тот ворон, которого она пошлет за живою водой?.. О, sancta simplicitas!.. Да, святая простота! Девочка не догадывалась, хотя и усердно изучала анатомию вместе с ее детищами: остеологией, миологией и неврологией, что нечего посылать ворона за живой водой: живая вода была в ней самой.

— В ваших глазах я вижу жизнь, вы начинаете быстро жить опять, — сказал Елеонский, сжимая ему руку.

— Да... быстро... отживаю.

— Что такое?

— В глазах не жизнь... а лихорадка... У меня там надломлено. — И он показал рукою на грудь. Елеонского смутили эти слова.

— Что с вами, Борис Борисович?

— Я... я не выздоровею. Я не хочу жить.

— Вздор! У вас нервы разбиты — только.

— Нет, не нервы, а я весь добит. — Лицо Тутнева страшно подтверждало эту безнадежность. Лидия страдала много, много...

— Борис Борисович, что с вами? Что вы чувствуете?

— Мне скверно, хуже чем скверно... Лидия Александровна! Вы не допускаете, что пустые люди могут страдать и умирать? — обратился он к Лидии.

Лидия чувствовала, что она не выдержит этой муки. Она готова была броситься перед ним на колени и выпросить у него прощение за те злобные, подлые слова, которые она сказала Тутневу в последний вечер.

— Борис Борисович, успокойтесь ради Бога, пощадите себя. — Лидия подошла к нему, взяла его холодную руку.

Тутнев зарыдал, упав головою на руку Лидии, которую держал в своих руках.

— Бедный, как страшно у него расстроены нервы, — говорил Елеонский, весь смущенный и опечаленный таким неудачным ходом выздоровления.

Он присел к столу и написал рецепт. Тутнев успел немного выплакаться.

— Мне легко теперь, — произнес он тихо.

— Но я все-таки пошлю за лекарством, — сказал Елеонский.

И он вышел в другую комнату, чтоб позвать человека. Но человек куда-то отлучился.

— В этом доме есть аптека, я сам сбегаю и ворочусь через минуту... А ты, Лидочка, побудь с Борисом Борисовичем.

— Хорошо.

Елеонский убежал. Лидия и Тутнев остались вдвоем. Последний сидел, вздрагивая всем телом.

— Что с вами, бедный? Успокойтесь, брат поможет вам.

— Не поможет... Разве капли вашего брата вытравят из моей памяти те слова, которые вы сказали в последний вечер?

Лидия страдала выше всякой меры.

— Борис Борисович, ради Бога! я беру назад эти подлые слова — я не говорила их... я низкая женщина.

— Да я-то не могу воротить их вам — эти слова: они — во мне.

— Забудьте их, ради всего святого.

— Не забываются... не забываются... потому что... потому... что в них глубокая, безжалостная правда.

— Не верьте мне — я... я тогда лгала... я уважаю вас.

Лидия бросилась к нему.

— Борис Борисович, мой бедный... мой друг!.. Я... я не знаю, что со мной... я ни к одному мужчине еще не чувствовала того, что к вам чувствую... О, не страдайте, вы мне дороги... дороги, слышите?

Тутнев тихо плакал, положив голову на стол, Лидия в отчаянии ломала руки.

— О, не мучьте меня, пощадите меня! — И она обхватила руками голову Тутнева.

Тот встрепенулся и поднял на нее изумленные, заплаканные глаза.

— Лидия Александровна!.. Как вы... велики.

Нервный припадок в больном не утихал, а возрастал. Он бросился ниц лицом перед Лидией, как богомольцы бросаются перед образом.

Лидия обхватила его и приподнимала с полу.

— Мой бедный!.. мой друг!.. мой... брат! мой... Видите... я целую вас... я никого, кроме матери, не целовала в жизни... Успокойтесь, забудьте все... мой брат, мой... милый, милый!

Лидия целовала его голову и плакала вместе с ним. И Лидия и Тутнев слишком были взволнованы, чтоб обдумывать свои поступки.

Тутнев выпрямился во весь рост, обхватил Лидию, поднял ее с полу, как маленького ребенка, и, целуя ее плечи, руки, голову, губы, глаза, говорил задыхающимся голосом:

— А! так я умру с тобой!.. Я не выпущу тебя из моих рук... Я убью себя как собаку, только бы не расставаться с тобой, не потерять тебя...

— Мой милый! Мой бедный! Мой дорогой! — шептала Лидия...

Вошел Елеонский и застал сестру всю в слезах, в страшном отчаянии. Тутнев лежал на полу. Потрясение для больного было не по силам: он упал в обморок.

— Что с ним, Лида? — спросил Елеонский в испуге. — Что случилось?

— Спаси, спаси его! Он умирает, — умоляла Лидия, ломая руки и припадая к распростертому на полу Тутневу.

— Да что было, как он упал?

— Я не знаю, не знаю! Он умрет, спаси его. — И Лидия схватила руку брата и всею силою тянула его на пол. Потом опять бросилась к бесчувственному телу больного и старалась приподнять его голову. Приподнимая его, она дула ему в лицо, в голову.

— Лидия! Лидочка! Тише...

Елеонский припал на колени перед Тутневым. Лидия приподняла его голову и бережно положила к себе на колени, сидя на полу.

Тутнев лежал неподвижно, как пласт. Он был бледен наподобие мертвеца, волосы, борода, все было в страшном беспорядке. Елеонский тер ему пульс, виски, больной глубоко вздохнул и потянулся.

— Он жив, — прошептала Лидия и тихо обхватила его голову руками.

— Какая ты глупая, Лидочка, с ним просто обморок он сейчас откроет глаза.

Больной действительно открыл глаза, но не понимал, что с ним делается. Но едва он увидел над собой наклоненную голову Лидии и ласково глядящие на него заплаканные, испуганные глаза, едва почувствовал, что голова его лежит на коленях девушки, глаза его вспыхнули слишком определенным блеском, и руки его, потянувшись через голову, мгновенно обхватили Лидию и тотчас же упали бессильно. Сознание вовремя остановило его, а иначе, если б у него хватило силы, он, кажется, скомкал бы девушку в своих руках.

— А! уж и с сиделкой дерется, — сказал Елеонский улыбаясь, — погоди, голубчик, мы тебя разлучим с этой по-

душкой, на которой тебе, кажется, очень приятно лежать, хотя не совсем спокойно и безопасно... Голова еще больше может закружиться...

И Елеонский приподнял встрепанную голову больного от колен сестры. Вместе с Лидией они довели его до кушетки.

Лидия оправилась. И испуг и смущение ее стали немножко проходить. Больной также приходил в себя. Но едва он увидел Лидию, как им опять овладела нервная дрожь.

— Благодарю вас... вы бесконечно добры... Я напугал вас... Простите.

— Нет, нет, не говорите этого... успокойтесь, — говорила Лидия.

— Я не помню, что... со мной было... Нет, я... помню, помню...

Матово-бледное лицо девушки как бы вспыхнуло, хотя румянец на нем никогда не показывался. На этом лице можно было заметить игру, смену выражений, иногда большую бледность, но никогда — краску.

— Благодарю вас... вы спасли меня... я вам обязан... жизнью, — говорил Тутнев, ни на кого не глядя.

— Ну вот, теперь уж и жизнью обязан, а то не хотел жить, — заметил ласково Елеонский, — настоящая капризная баба.

Но Тутнев все еще вздрагивал всем телом. Елеонский дал ему успокоительных капель.

— Посмотрите-ка на сиделку, — говорил он, указывая на сестру, — вся перетрусилась... А еще акушеркой или доктором хочет быть. Подойди сюда, дурочка, я и тебе дам таких же капель. Вы одной болезнью больны.

Тутнев с любовью посмотрел на девушку, которая казалась такой тихонькой, маленькой — так присмирела, точно она никогда не могла быть способна на тот страстный порыв, который овладел ею несколько минут назад, когда она чуть не подняла на своих руках Тутнева. Это был тихий омут, глубокий-глубокий, а с виду спокойный. Чертей этого омута никто не видел, кроме... Тутнева, да и тот упал в обморок, когда они всплыли на поверхность. Омут этот мутили редко, но метко, возмутили сегодня в первый раз, да так метко, что... ну да, одним словом, — Тутнев валялся на полу без чувств... А она сидела такая тихенькая, бледненькая, маленькая, чистенькая и невинная... На зов брата она подошла, вся черная и гибкая, как змейка, такая же, как змейка, тихенькая и, как змейка-медянка, опасная... Брат дал ей успокоительных ка-

пель. Он не подозревал, что Лидия и Тутнев действительно больны одною болезнью.

Лидия отошла и села в кресло вглубь — как ни в чем не бывало, — такая смирненькая, молчаливая, воды не замутит, а между тем способная и убить человека сразу, наповал словом, и воскресить сразу лаской, и лишить чувств этой же лаской. Омут тихий, но страшный и бездонный омут...

Тутнев взглядывал на нее и весь вздрагивал: поверхность омута была гладкая, ровная, спокойная.

— А вы все еще вздрагиваете, — заметил Елеонский. — Стыдно быть таким.

— Ничего... это пройдет... Мне так хорошо теперь.

— Ну, я очень рад.

— Но мне совестно, что я так принял моих дорогих гостей.

— Ничего, ничего, не старайтесь только быть любезным.

Одна Лидия ничего не говорила, сжавшись в кресле. Только изредка из-под ее черных, длинных, как у гоголевского Вия, ресниц вырывался целый сноп лучей, как говорится в физике Ленца, и этот сноп лучей посылался по направлению к бледному и исхудалому Тутневу.

Но что заметили Елеонский и сестра его, так это то, что на лице Тутнева той тени, значения которой они не могли узнать, как не бывало. И неудивительно: слой снега, лежавший на этом лице, растаял от снопов лучей, которые исходили из глаз «Вия», и снежинки эти обратились в кристаллы, которые теперь, может быть, спускались или на хвост собаки, виденной утром Тутневым, или на публичную библиотеку, или на контору редакции «Вести», или, наконец, на нос швейцара консерватории, который вышел из темной швейцарской, чтоб проводить адъюнкта Фанарку, и заслушался, как на углу ближайшего переулка пьяный подмастерье пел, притопывая:

Ах, вы Сашки, канашки мои!
Распотешили, голяшки мои...

— Ты что присмирела, сестренка? Все еще трусишь? — обратился Елеонский к сестре.

— Нет, Федя, так.

Омут был тих и спокоен, хотя в глуби там все ходило ходенем. Омут думал, омут размышлял о том, что случилось. «Так я люблю его?.. Как он мне стал безгранично дорог... Я теперь понимаю, почему матери, даже змеи, так любят своих змеенышей — надо родить, создать, чтоб так любить, как я полюбила... Я создала его, родила его... сама и воспринимала,

сама и повивала... Надо убить и воскресить, чтоб полюбить так беззаветно...»

Тутнев также думал: «Что ж это такое?.. Порыв сожаления?.. Нет, нет, так не жалеют», — и его била лихорадка, он воскресал, он хотел жить, хотел действовать, служить и земству, и России, хоть и земство, и целая Россия заслонялись в данную минуту черной как смоль стриженой головой и устав земского банка путался в его голове с уставом реальной земской гимназии, а по земской железной дороге, о концессии которой хлопотал Тутнев, ехал уже Борис Борисович Тутнев с Лидией Александровной Тутневой, доктором медицины.

В это время пришел старик Релин навестить больного.

— Как я рад видеть вас совершенно здоровым, — сказал Релин, — вы так хорошо, свеже смотрите.

— Благодарю вас. Мне много лучше... мне никогда так хорошо не было.

— Говорите! — прервал его Елеонский. — А сам сегодня валялся на полу без чувств... сестру напугал.

— Что это такое, отчего?

— Не знаю, право. При Лидочке с ним сделалось дурно, и она не знает отчего.

Нет, Лидочка-то знала отчего, да никому бы не сказала, разве только Тутневу, да и то спрятав свою голову в подушки или на груди его, чтоб и он не видал и, пожалуй, не слыхал.

— Впрочем, это случайный припадок, Борис Борисович выздоровеет скоро, — прибавил Елеонский.

Старик Релин был немножко печален. Это заметили.

— Что ваша Вера? — спросила Лидия старика.

— Я и сам не понимаю, что с ней... Я хотел уже с вами посоветоваться, Лидия Александровна, она вас так любит и уважает... Говорит, что вы лучшая девушка в России.

— Верочка немножко увлекается в своих привязанностях и в своих суждениях, — перебила его Лидия.

Елеонский встал и, подойдя к сестре, церемонно поклонился:

— Имею честь кланяться «лучшей девушке в России», доктор Елеонский.

Лидия тихонько засмеялась и отвечала:

— Очень приятно познакомиться с братом «лучшей девушки в России». Что же Вера? — обратилась она к Релину.

— Да ничем не довольна — ни лекциями, ни профессорами... Просто смерть; говорит, что ей нужно общее и полное университетское образование... Опять плачет, вспоминает ва-

ши слова, Борис Борисович, что женщина еще ничего не сделала великого.

Сноп лучей вырвался из-под ресниц «Вия» и упал на Тутнева. Но в этом снопе было столько теплого, мягкого, что у Тутнева постоянно отлегало на сердце. Однако он отвечал все еще робко, точно школьник, смешавший Пунические войны с персидскими.

— Я ошибался насчет женщин... Я не знал их... В них так много великого...

«Вий» опять послал сноп лучей по направлению к Тутневу — и молчал.

— Что же вы думаете делать с Верой Николаевной? — спросил Елеонский.

— Я и сам не знаю... Буду просить Лидию Александровну поговорить с ней.

Лидия только посмотрела на Релина, но ничего не сказала. Ей думалось, думалось... С нынешнего дня, вот уже с час, она сама не знала, что ей делать с собой... Акушерство, докторский диплом, анатомия, физиология, несостоятельный труд, призвание женщины, равенство прав труда и свободы с мужчиной, Суслова, Тутнев, замужество — все это мешалось в ее хорошенькой головке, и в глубоком тихом омуте кипела страшная буря, не выходя на поверхность. Молодые мечты, уверенность в своих силах, участие в общественных подвигах ума и знаний, слава имени своего собственного, прирожденного имени, свобода и — рабство, замужество, потеря имени, как бы оно ни было славно, дети и пеленки, мужнины туфли и старый халат, мужнин засморканный носовой платок — и этот засморканный платок, и эти туфли, грязные пеленки, свобода, рабство, слава — все брошено было в глубокий омут и, как осколки корабля, с человеческими трупами, с мачтой, с бочонками пороха, с снастями, рупором, пушками и капитаном, попавшие в Гольфстрим, кружились и стукались друг о друга над ясной поверхностью омута, в незримой глубине, незримые для глаза людского.

Какой тяжелый выбор!..

XXX. В СТУДЕНЧЕСКОЙ КОММУНЕ

Елеонский пробирается по глухим переулкам Петербургской стороны, по тем переулкам, где закаляется, как сталь докрасна, или умирает в чахотках и тифах учащаяся молодежь, студенчество, будущие деятели...

Я на площади стою,
Мою милую дою:
Милая лягнется,
Милая брыкнется —
А я ее по усам,
А я ее по зубам...

До Елеонского доносятся эти разухабистые звуки голого разврата и голой нищеты, и его коробит.

Доись, мила, молоком,
А не сывороткой...

А на другой стороне Невы, в этот самый момент, рявкнул двухсотенный оркестр Большого театра увертюру «Африканки» — и глухо шумит не голодная, блестящая, полусчастливая, полузлобная толпа, занимая места в ложах и креслах.

А там, далеко, на родине Елеонского, тоже в этот момент, вспискнул полковой простуженный оркестр какую-то визготню перед открытием занавеса.

А еще дальше, в занесенных снегом избушках, шепчутся мужички: «Холод, голод, голод... Хлебушка нет...»

— Пойдемте со мной, — говорит Елеонскому молодая женщина в серой шапочке под красным башлыком. — Ко мне ли, к вам ли — все равно, куда хотите.

— А зачем?

Женщина засмеялась как-то беззвучно.

— Вы голодны? — спросил Елеонский.

— Нет.

— У вас есть квартира, работа?

— Есть.

— Так чего же вам?

Женщина навострила лыжи, пробормотав:

— А еще кавалер.

Елеонский юркнул в калитку и очутился у крыльца деревянного домика. Из конуры хрипло лаяла собака, ленясь подойти ближе к Елеонскому. «Собаке или нечего стеречь, или нечего есть, оттого и неусердна», — подумал Елеонский.

Он постучал. Нет ответа. Собака залаяла громче. Он усилил стук.

— Кто там? — послышалось.

— Доктор.

Щелкнула задвижка, и Елеонского впустили. Домик, в который он вошел, составлял одну из студенческих коммун, о которых по Петербургу и по всей России ходило так много ужасных слухов. В первой комнате, которая составляла залу

или «общественную комнату», посередине стоял большой стол, уставленный скромными принадлежностями чайного пития и, пожалуй, ужина. Тут лежали булки, колбаса, сыр. На столе шипел большой искривленный самовар. По комнате ходила молодежь разнообразных наружностей, а иные сидели у стола, читали, спорили, писали. В комнате виднелись две-три девушки, молодые, бледненькие. Две стриженые, одна с огромной, почти до седоватости светло-русой косой. В комнате чувствовался и табачный, и самоварный дым. На подоконниках, на стульях, на диване разбросаны были книги, тетрадки, атласы, газеты. Стоял скелет, несколько препаратов. На стене — портреты Дарвина, Бокля, Пирогова.

При входе Елеонского молодежь бросилась к нему с радостью.

— Здравствуйте, доктор. Не хотите ли чаю?

— Пожалуй.

— Кто сегодня поит общину чаем? — спросила большеокая девушка.

— Горизонтский, — послышались голоса.

— Послушайте, Горизонтский, — сказала большеокая девушка, — вы дурно смотрите за самоваром. Он пахнет.

— У коммуны все угли вышли, и угольщик не дает без денег, — отвечал Горизонтский, широкоплечий студент, не поднимая глаз от «Вестника Европы», который он читал на статье Пыпина «О русском масонстве», опершись локтями на стол у самого самовара.

— А разве в вашей общине такие занятия, как приготовление чая, не женщинам предоставлены? — спросил Елеонский.

— Нет, — отвечала белокосая девушка, — у нас все общественные должности отправляют по очереди и мужчины, и женщины.

— И салом пахнет, — заметила другая девушка, стриженая.

Горизонтский поднял от книги голову и ласково посмотрел на девушку.

— Где же взяться салу, — сказал он, — когда вместо углей я разогревал самовар старою «Домашней беседой».

Девушка улыбнулась.

— А не попал ли в самовар листок-другой из «Расточителя» Стебницкого?

Елеонский серьезно обратился к девушке:

— Вы шутите Стебницким?

Девушка смешалась.

— Да, в «Расточителе» есть слишком сальные места.

— Что бы там ни было, это капитальная вещь последнего времени. Это — последнее слово одного из русских. Стебницкий, по-моему, громадное, хотя молодое дарование.

— Ну так в самовар попало «Поветрие» Авенариуса, — поправилась девушка.

— Не смейтесь и над Авенариусом, — заметил Горизонтский, — он может увлекаться через край, но у него честные намерения... Вот и вы вчера увлеклись лекциями стенографии и записками Артоболевского и оставили коммуну нетопленой.

— Что ж, — отозвалась скромно девушка, — я никогда не отрицала, что мужчины всегда добросовестнее исполняют свои обязанности как в общине, так и в жизни... Оттого и правят миром, а мы...

— Ими, — вклеила большекосая девушка.

— Ты права, Наташа, — отвечала стриженая девушка, — ловкий камердинер всегда правит своим барином, кухарка Рэчел всегда водит за нос Дарвина и не видит в нем ничего великого, потому что великий Дарвин за обедом не всегда отличает пулярку от цыпленка, она даже называет его простоватым, — а все-таки камердинер остается камердинером, кухарка Рэчел — кухаркою, а Дарвин переломал вдребезги великие теории и создал новые, мировые... Так и женщина правит мужчиной, как Рэчел Дарвином... Стыдно иметь *такую* власть...

Горизонтский усердно разливал чай, поглядывая в статью Пыпина.

— Граждане и гражданки! — сказал один студент, выводя другого на середину общественной комнаты, — я прошу слова.

— Слово дано Вереинову, — сказал Горизонтский, не поднимая глаз от Пыпина.

Елеонский рассмеялся.

— Так господин Горизонтский у вас президент? — спросил он.

— Да, — отвечал Вереинов.

— Что ж, он в одно время и президент общины, и кухарка общины? — продолжал Елеонский.

— Да, кто служит коммуне, тот и правит ею, формально, а также и юридически, только общественного приговора он не может изменить, а во всем остальном правит самовластно. Зато каждый член общины имеет право делать ему замечания,

как это и сделала моя сестра за то, что самовар пахнет современной беллетристикой.

— Полно каламбурить по пустякам, — заметил президент, — в чем ваше слово?

— Я привел на суд общества вора.

— Как вора?

— Вора, по теории Прудона: собственника.

Все засмеялись.

— У нас в общине нет собственности, — обратился Вереинов к Елеонскому.

— Знаю, вы все бедны, — отвечал тот с улыбкой.

— Нет, не потому, а по принципу. У нас все общее: чай, сахар, табак, книги, дрова, угли (если есть), даже в необходимых случаях и платье общее, хотя я, разумеется, не могу надеть платья моей сестры. Кто имеет свое что-либо, без ведома общины, тот вор... «La propriete — c'est le vol» — и Прудон прав... Коммуна наша нуждается в углях и некоторых других необходимых жизненных потребностях. У нас недостает некоторых книг, препаратов самых необходимых. У президента одна калоша украдена. Мы давно не платили за квартиру. Наша собака давно не кормлена... А между тем наш сочлен, господин Ярчук, ухаживающий за моей сестрой, втайне от общины купил сегодня у Рабона — поймите! — у Рабона, в самой дорогой кондитерской, фунт конфет и просил меня передать их сестре... Не воровство ли это?.. Сестра? Ты осуждаешь поступок господина Ярчука?

— Осуждаю, потому что подобные ухаживания за мной похожи на какого-нибудь армейского офицера — впрочем, гвардейские еще хуже — или станового пристава.

— Граждане и гражданки! Вы осуждаете ли Ярчука?

— Осуждаем, осуждаем!

— Господин президент, вы что скажете?

— Я присуждаю господина Ярчука, купившего фунт конфет тайно от коммуны госпоже Вереиновой, даже без ее на то согласия, и таким образом укравшего у общины рубль, — я присуждаю Ярчука заработать общине еще рубль на угли, а фунт конфет разделить между всеми членами общины.

Конфеты были разделены. Молодежь от души смеялась. Только Ярчук был не в духе.

— Это нечестно с вашей стороны, — обратился он к Вереиновой.

— Почему же не честно?

— Вы обвиняете меня в ухаживаниях.

— Я не обвиняю, а это только пошло. Если б вы меня действительно любили, тогда б еще поговорили с вами, что нам делать. Я смотрю на это слишком серьезно. А ведь вы любить меня не можете. Давно ли вы ухаживали вот за Крутояровой?

Крутоярова вспыхнула. Это была та молоденькая стриженая девушка, которая доказывала, что для кухарки Дарвина этот великий человек кажется простоватым.

— Перестань, Наташа, — тихо сказала Крутоярова белокосой ораторше, — не сердись.

— Я не сержусь. Мне жаль Ярчука. Бедный украинец! В вас слишком много южной пылкости. Но пылкость не всегда идет об руку с логикой. Занимайтесь, чем хотите, только не мной. Оставьте ваши запорожские привычки. Может быть, у вас на вечерницах и можно любезничать со всякой девчиной — это вы найдете и на всех светских вечерах и балах, а у нас-то этого не должно быть.

Ярчук уселся в угол, весь красный.

— Пощадите его, Наталья Алексеевна, — ходатайствовал Елеонский.

— Зачем его щадить? Он не глуп — сам сумеет защититься: мы дураков в общину не принимаем... А мне позвольте высказать ему все разом, раз навсегда... Работайте больше, господин Ярчук; вас ждет ваша диссертация, а вы ухаживаете. Займитесь, наконец, хоть сепаратизмом, декламируйте своего Шевченко (которого и я очень люблю), читайте Кулиша, Костомарова, посещайте вашу украинскую громаду...

— Громада распалась, — отвечал из угла Ярчук.

— Ну так посещайте Марко Вовчка.

— Она не здесь.

— Ну пишите украинские повести, разрабатывайте вашу народную письменность — и не ухаживайте за двумя разом. Кто способен влюбиться во второй раз, тот влюбится в третий, а там и в десятый... Такие люди не надежны ни в чем. Их презирают и от них удаляются честные люди.

Ярчук не вытерпел. Он подошел к Вереиновой весь переконфуженный.

— Благодарю вас, Наталья Алексеевна, я вас глубоко уважаю за это. Я чувствую, что я поступил пошло. Простите меня.

Вереинова протянула ему руку.

— Так будемте же товарищами.

— Кто это принес филипповский калач к чаю? — спросил Горизонтский.

— Я, — отвечал один студент.

— Какими соображениями вы руководствовались, покупая филипповский калач?

— Немецкие булки надоели коммуне.

— Прекрасно. Будем же поддерживать русские булочные, а немецкие игнорировать.

— Да здравствуют русские калачи, русская национальность и русский самостоятельный женский труд! — сказали в один голос девушки.

Елеонский любовался молодежью.

— Все в общине так искренно, честно, дружно, — говорил в этот вечер Елеонский своей сестре, воротившись из коммуны. — И тяжкое горе не так тяжело в общине, и нужда не так поразительна. Шутя и смеясь, молодежь не говорит пошлостей и не делает их, а в самой шутке преследует идею труда, честности, говорит о науке, о русском деле. Нередко за чаем (это, можно сказать, рекреационный час для всей общины) каждый из сочленов рассказывает во всеуслышание, что он читал, какие знания приобрел за день, что нового в литературе, в науке, в политике. Знание, таким образом, пополняется, время проходит весело — тут и шутка умная, дельная, ученый разговор иногда в форме шутки, тут и серьезное дело. По утрам — все на лекциях, на уроках, в публичной библиотеке, в анатомическом театре. Вечером все работают дома — и так весело, так хорошо, так полно живется. Светские удовольствия глубоко порицаются в коммунах. Зато и честные, дельные, надежные личности выходят из хорошей коммуны.

А между тем коммуна — это продукт нужды. Вся эта молодежь жила собственными своими трудами, не исключая и девушек. Вереинова каждый день ходила пешком в консерваторию — с Петербургской стороны к Владимирской, и, кроме того, по нужде, давала сама уроки за ничтожную плату. В консерватории она работала серьезно, и богатые средства ее голоса развертывались с каждым днем все более и более. Но она не ограничивалась одним музыкальным образованием. Ее возмущала поголовная неразвитость людей, отдавшихся музыке. Эти люди ничего не читают, ничего не знают, ни за чем не следят, и оттого даже в музыке они остаются позади музыкантов, певцов и композиторов других стран, ничего не создают капитального, не говоря уже о великом.

Другая девушка коммуны, хорошенькая Крутоярова, не чувствуя в себе призвания ни к музыке, ни к медицине, а

между тем понуждаемая бедностью, решилась учиться стенографии, в надежде получить место или в каком-либо земстве, или работать в качестве стенографа в каком-либо гласном суде. В то же время Крутоярова готовилась быть домашней учительницей — и работала много, серьезно.

Елеонский потому навещал коммуну, что пользовал одного студента, у которого были все признаки чахотки. Это был в высшей степени даровитый юноша и упорный как кремень труженик.

— Как вы себя чувствуете, Григорьев? — спросил он, входя в комнатку больного.

— Ничего. Только кашляю.

— Вам надо меньше работать.

— Не стоит. Все равно не долго жить, так уж лучше побольше успею узнать и передумать.

«Странный человек», — подумал Елеонский.

— Будете здоровы, так успеете больше и узнать и передумать, — возразил Елеонский.

Больной был упрям и не хотел слушаться предписаний доктора. Елеонский решил подействовать на него страхом.

— Вы не знакомы с доктором Полотебновым? — спросил он.

— Знаю.

— Говорил он вам о своих последних наблюдениях над студентами?

— Нет, а что?

— Да то, что ваш брат, даровитый труженик, не успевает ни узнать много, ни передумать много, потому что таких упрямых, как вы, слишком рано подкашивает чахотка.

— Так что ж! Вы хотите, чтоб меня скорее подкосил сифилис где-нибудь в публичном доме, чем чахотка в лаборатории? Я не хочу быть пустым человеком, не должен быть.

— Да кто же вас упрекает в пустоте? Только берегите себя, экономнее тратьте ваши богатые силы.

— Экономнее? А какого дьявола я успел сделать с этой экономией? Я могу ворочать горами, а вы велите мне экономничать. Мой девиз: или смерть, или бессмертие.

— Абсурд, мой милый! Чахотка не даст бессмертия... Вчера мне Полотебнов говорил, что из 100 студентов 1-го курса заболевает 42, на втором курсе 44, на третьем 54, на четвертом уже 62 на сто! Из десяти смертных случаев — шесть от чахотки: ведь это дает 60 процентов смерти от чахотки. Вот вам и бессмертие. А может быть, эти умершие могли бы сделать много хорошего и великого.

Григорьев упрямо махнул рукой.

— А я не умру... Да когда тут беречь себя, когда мне хочется работать, работать, работать — знать, знать, знать!

Голос его резко звучал.

Елеонский прописал ему лекарство и ушел, бормоча: «Хорошо еще, что такая громадная сила... Побольше бы таких кряжевиков, и они поднимут Россию на своих плечах...»

XXXI. БОЛЬНОЙ ГРИГОРЬЕВ

Когда Елеонский возвратился из конурки Григорьева в «общественную комнату», он нашел всех членов коммуны в необыкновенном унынии. По временам он слышал возгласы: «Проклятая жизнь.... бедные Саранцовы!.. Вот вам и наука, общественная деятельность, развитие, слава — все пропало!.. Бедные Саранцовы!»

Действительно, коммуну постигло общественное горе.

— Бедная Лиза! Что же ты там будешь делать? — говорила хорошенькая Крутоярова, опершись стриженою головкою на руки и грустно поглядывая на другую девушку, которая только сейчас воротилась откуда-то с своим братом и сидела рядом с Крутояровой у того же чайного стола.

— Я и придумать не могу, что со мною будет, — отвечала Лиза, — на то ли видела я другую жизнь, других людей, на то ли я поняла высшие потребности ума, чтобы все это бросить в омут, забыть, а потом над этим же издеваться, как голый житель Голконды издевается над рубахой европейца.

И девушка, упав на стол, горько заплакала.

— Лиза! Лиза! Не плачь, моя голубочка дорогая, не убивай себя, — всхлипывала Крутоярова, — неужели же нет никакого спасения?

Лиза не отвечала. Она не поднимала от стола своей головки, и только по вздрагиванию всего ее тела видно было, что все это молодое тело плакало и надрывалось от тоски.

Крутоярова силилась приподнять от стола голову своей подруги... Приподняв и глядя ей в глаза, она говорила:

— Лиза, душечка, ты не пропадешь — у тебя впереди еще так много; можно и там остаться человеком, можно и там работать — там есть люди.

— Нет, я чувствую, что пропаду... Ты не знаешь жизни в провинции, ты не знаешь, как глубоко она деморализует

все, к чему бы ни прикоснулась... Я знаю там девушек, моих совоспитанниц по институту, которые подавали такие светлые надежды, пока еще были слишком молоды, пока не коснулась их эта ржавчина пошлости и пустоты, — и они погибли без возврата. Они схоронены заживо и даже обижаются, когда им напомнишь, что и они были когда-то людьми. Неужели ты не знаешь процесса людского опошления? А я знаю его. Сначала эти бедные существа находили спасение в книге, в чтении — в чтении они находили ответы на все, что задавала им их пытливая головка. Не видя применения к делу своих молодых фантазий, эти бедненькие приходят к убеждению, что их молодые порывания бесполезны. Они начинают скучать за книгой, скучать дома, скучать сами с собой. Чтоб отогнать грызущую мысль, чтоб задушить ее в себе, они бегут из дому, бегут по улице, в оперы, в театр, чтоб только не думать о невозможном, не страдать по несбыточном. Но сначала они тоскуют и на улице, и на гулянье, и в гостях, и в театре, и в собрании — их живучая мысль, порывания их ума говорят громче, чем шумят экипажи на улицах, громче, чем болтают и сплетничают барышни в гостиных, громче, чем раздается пошлая музыка на гуляньях, громче, чем выкрикивают актеры на подмостках, громче, чем визжит бальная музыка. Их гложет тоска, они хотели бы бежать туда, куда рвалась их мысль, молодая, но деморализованная. Но, по закону рефлекса, ухо их все больше и больше свыкается и с шумом на улице, и с болтовней в гостиной, и с пошлыми фразами в танцах, а мысль, идея, желание деятельности, славы — с каждым днем начинают отлетать дальше, дальше, дальше... Проходит год, другой — и они уже не понимают, что они — не они. Их тянет туда, где царит пошлость и пустота, для них серьезное слово, дельный разговор становятся чем-то вроде ипекакуаны... Как кафры в Лондоне, и они тоскуют по своей дикой стране, по своим диким обычаям и привычкам — и бегут только туда, где надеются услыхать дикую визготню, дикие слова, увидеть диких людей, послушать диких разговоров, диких суждений... А! я знаю это, я видела все это!

Глаза девушки сверкали каким-то лихорадочным огнем, когда она это говорила. Вся коммуна окружила ее. Все были пасмурны и молча слушали ее. Слушал и Елеонский.

— Но ты-то не погибнешь, зная все это, — говорила Крутоярова.

— Э! легко говорить, когда кругом тебя эти милые, добрые, умные лица. А там к кому я брошусь, с кем поговорю? Там забуду я вас всех, забуду нашу милую коммуну, забуду

профессоров, забуду эти вопросы — и женские, и социальные — и над всем же этим буду тупо смеяться с каким-нибудь резервным офицером, и всего скорей, что за местными интересами и вспоминать-то обо всем этом не придется.

Вышел и Григорьев из своей рабочей конурки узнать, что случилось в коммуне.

— О чем вы плачете, Саранцова? — спросил он.

— Мы должны оставить Петербург и ехать домой.

— Зачем?

— Мы сейчас получили из дому письмо... Умер отец... У нас осталось четыре маленьких сестры и брат, тоже маленький. За долги отца продают наш дом... Детей на время взял губернатор, другим помогает общество. Но мы должны кормить их — они в наших руках.

— И неужели нет другого выхода? — спросил Григорьев.

— Нет... Нам даже не с чем в дорогу собраться... Когда я получила это известие на лекции, от брата, я плакала, надрывалась-плакала... Но не в этом дело. На лекции была Вера Релина, и она обещала попросить отца дать нам средства доехать домой... Но как нам бросить все, отказаться от всего!

И девушка снова упала головою на стол. Что могли сделать бедные студенты, глядя на это глубокое горе?

— Проклятая, проклятая нужда! — послышалось с разных сторон.

— Э! не нужда проклятая, а мы проклятые, мы, люди, населяющие этот шар земной, — говорил Григорьев, который был очень дружен с Саранцовыми. — И никто не проклинал нас, а мы сами прокляли себя, идиоты жалкие. Только ленивому греку да фантазеру Гюго может казаться, что миром правит какое-то роковое «ананке». Нет, глупость правит всеми живущими под солнцем, наша человеческая глупость. Проклятое наше прошлое, проклятое наше настоящее, проклятый общественный строй, который мы себе создали. Наша глупость, наша инерция, наша подлость создали и нужду, и слезы, и цепи, которыми мы тешимся, как собака красивым ошейником. Когда же мы примемся за работу, когда перестанем быть и глупыми, и ленивыми, и подлыми!

Григорьев весь дрожал от волнения. По временам его речь прерывалась кашлем.

— Будьте благоразумны, Григорьев, — говорил Елеонский, взяв его за руку, — зачем такая нервная распущенность?

— Зачем... зачем!.. Затем, что люди погибают... Разве легко нам выбрасывать из нашей общины еще двух и знать наверное, что проклятая жизнь толкнет и их по наклонной плоскости, по которой люди никогда не поднимаются вверх, а падают все ниже и ниже? Разве легко нам знать, что и Саранцовы примкнут к лагерю наших врагов, с которыми мы ведем смертную войну? А они примкнут к ним, это неизбежно, как смерть, как опошление человека, когда он хоть на одну йоту изменил себе.

— Нет, нет, — говорил Саранцов, — мы не примкнем к ним.

— Примкнете! Спастись невозможно.

— Мы будем отстаивать свою жизнь, свою человечность.

— Не отстоите... Слишком много надо ума и воли...

— Но у нас есть и ум и воля.

Саранцова продолжала плакать. Все ее молодое лицо распухло от слез.

Григорьев подошел к ней. Ему хотелось поддержать эту девушку.

— Послушайте, Саранцова, — сказал он, — перестаньте плакать... Дайте мне вашу руку.

Девушка протянула ему руку.

— Клянитесь мне и всей общине, что вы будете исполнять все, что я вам теперь скажу.

— Клянусь... Клянемся.

— Чтобы сохранить в себе человека, будьте врагом всего, что принято людьми, всего, что входит в кодекс их правил, обычаев и приличий, этой рутины, которая замораживает до неподвижности мозг, которая делает человека рабом, идиотом, подлецом... Будете?

— Будем.

— Если у людей, в обществе, в государстве, исстари принято снимать шапку перед знакомыми — вы постарайтесь не снимать. Если принято носить короткие волосы — носите длинные. Если принято подавать руку, здороваясь, — старайтесь уклоняться от этого. Ненавидьте все, что принято, потому что это-то принятое и держало нас в нужде, в рабстве, в невежестве. Семь тысяч лет мы живем по принятой на веру программе, а до чего достигли? Освободились ли от нужды, от унижения, от цепей?.. Вы читали Спенсера?

— Да. Его всего прочла коммуна вслух.

— Так помните его?

— Да.

— Идите же против всего, что принято. Не пренебрегайте мелочами, не отступайте в пустяках, не отступайте и в важном... Бей галку и ворону, добьешься до самого черта... Исполняйте все, что вы обещали исполнять на честное слово... Но протестуйте против всего принятого, подлого, глупого и смешного, протестуйте неустанно, протестуйте словом, делом, всею вашею жизнью. Протестуйте против всякой нелогичности, непоследовательности, и всего более протестуйте там, где вы надеетесь, что вас поймут. На идиотов и безнадежных махните рукой: они все равно уже отжили, сданы в архив, погребены. Ведите вашей честной дорогой молодое поколение, отнимайте его у идиотов-отцов, у потаскушек и тряпичниц-матерей — и ведите его за собою: оно скорее пойдет за вашим свежим голосом, за вашим честным словом... Клянетесь ли вы общине все это исполнить?

— Да, мы клянемся.

Грустно было Елеонскому смотреть на это глубоко опечаленное общество молодых людей, в котором за полчаса было столько веселости, оживления... «Бедные, бедные дети, — думалось ему, — как много еще предстоит вам борьбы, лишений и унижений, чтоб пронести высоко над головою ваше честное знамя, чтобы не дать растоптать ваши честные убеждения. А сколько нужды вы должны изведать, чтоб не запятнать вашу честь... Вам нужен какой-нибудь рубль, и вы умираете, не заработав его, и умираете именно потому, что не заработали... А между тем бок о бок с вами живет роскошь, разврат, подлость... Жалкие идиоты тратят миллионы на наряды, на вино, на разврат, и остаются идиотами, тогда как эти миллионы могли идти для спасения молодежи от нужды, от голода, и эта молодежь за это одолжение заплатила бы проценты не сто на сто и не тысячу на сто, а миллион на рубль — эта молодежь спасла бы этих идиотов и от идиотизма, и от цепей, и от пожирающей идиотов скуки... Но еще так долго ждать, пока образумятся люди, долго, бесконечно долго... Кто же научит людей, кто укажет им, где, в чем их спасение? Бедные, бедные, честные дети!..»

— Прощайте, друзья мои, — сказал Елеонский.

— Прощайте, прощайте!.. Вы когда нас навестите?

— Не знаю. Надо бы похлопотать о вас.

— Как похлопотать?

— Да хоть концерт устроить в пользу недостаточных студентов.

— Между студентами уже была об этом речь.

— Чем же порешили?

— Да чем? Приходится просить эту горькую милостыню.

— Не хлопочите сами...

— Как не хлопотать? Собака и та виляет хвостом, когда ждет подачки... А у нас нет хвоста — приходится вилять языком.

— Нет, не надо, — сказал Елеонский, — я знаю, что певцы русской оперы не прочь дать концерт в вашу пользу.

— Нет, не просите их, — заметили студенты.

— Отчего же?

— Русские певцы сами бедны... Они должны беречь свои голоса для своих концертов. Надо просить тех артистов, которые много получают, — итальянских, французских, немецких... Русским в России не везет.

— Да, ваша правда — не везет... Самой России не везет в России.

— И не повезет, как мы останемся кретинами, — вмешался Григорьев.

— Ну так просите итальянцев и французов... Мы им за это похлопаем, как хлопали в прошлом и в третьем году, когда они пели в нашу пользу... Все руки отхлопали — писать лекции не могли с неделю... Чуть дом Ольхина не развалился от наших криков.

Елеонский простился с молодежью.

Проезжая мимо дома Ольхина, он услыхал, как один господин, выходя из клубного подъезда, кричал другому:

— Не забудь! Завтра две дюжины шампанского должен поставить.

Проезжая мимо магазина Вихман, он услыхал, как одна барыня, выходя из магазина, говорила другой:

— А что твое платье будет стоить с отделкой?

— Пустяки... полтораста рублей.

— А в пользу самих голодных ты сколько пожертвуешь?

— Помилуй, ma chere!.. Будет с них и того, что платье для этого вечера я заказала в полтораста рублей.

Елеонский плюнул.

XXXII. А ОКУНЬ НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЕТ

С каждым днем Тутнев все крепчал и крепчал. Мысль о том, что он еще не вполне пропащий человек, что он еще может жить и действовать с пользой, наконец, что он может быть любим «лучшею девушкой в России», — вливала в него и нравственную, и физическую силу. Он начинал на-

деяться, что вот этими крепчающими мышцами, этою крепчающею мыслью он докажет, что если человек мог более тридцати лет говорить умные фразы, то другие тридцать лет он может делать хорошие дела и подвинет других на труд, на честную борьбу со всем, с чем он до сих пор боролся только красивою фразою да поверхностным закожным волнением.

В земстве, где он гласным, так много работы, и работы благодарной. Положение крестьян, этих серых, жалких зверят, живущих, по Несторовой летописи, «зверински и ядущих все нечисто», требует большого и неустанного ухода. Их серое горе, их серые нужды, их серые избенки, их серые дырявые чапаны, их серые, небогатые кровью лица — все это вставало перед Тутневым и голосило:

Сторона наша убогая,
Выгнать некуда коровушки...

А у него такое раздолье земли, такое раздолье полей и лесов, но до сих пор он ничего не делал, ни для себя, ни для этих серых существ...

И зароились в его голове мысли, одна другой практичнее — и идет он рука об руку с крестьянином, и кроет своей излишней соломой его дырявую крышу, и чинит проселками смертоносные мосты, и заводит в этих бедных избенках школы... Тут и сельские банки, и продовольственные капиталы, вспомогательные и сберегательные кассы.

Опять стал юношей Тутнев, да не тем юношей, что мечтал по Прудону, а юношей дела, какими становятся некоторые из нынешних юношей. Работа, работа, работа...

А Лидия? Неужели она не прижмется жарче к нему, истомленному работой, как прижалась она к нему больному, жалкому, бессильному от бездействия, — она, вся мысль, вся дело?..

То вдруг его опять охватывает холод и ужас... Неужели все это фразы?

И чудятся ему опять слова Лидии: «Вы пустой и жалкий человек».

«Вы не то говорили, обнимая меня больного», — шепчет ему внутренний голос.

«Вы несчастный человек, — слышится ему этот роковой шепот, — вы ничего в жизни не сделали, вы ни на что не способны».

«Вы сказали, что вы лгали», — силится сказать его внутренний голос...

«Да, я лгала тогда, желая спасти вас, жалкого, больного... Но вы все-таки останетесь и жалким, и пустым человеком...»

Мечты Тутнева исчезают как дым...

— Борис Борисыч! — говорит человек, входя в комнату.

Тутнев не слышит.

— Сударь!

Тутнев очнулся.

— Ты что?

— Вам письмо с городской почты.

Тутнев вскрывает письмо. На тончайшей бумажке бисером написано: «Как ваше здоровье, Борис Борисович?» Подписано: «Л. Елеонская».

И вот Тутнев уже в квартире Елеонских. Та же скромная обстановка, как была в тот памятный, тяжелый вечер: разбросанные книги и газеты, небольшой аквариум с плавающим в нем окунем, разнообразное множество костяков, начиная от человеческого скелета без лобной кости и кончая костяками мелких животных и птиц. Над письменным столом, около которого сидит Лидия, те же портреты: Белинского, Ч.....ского, Добролюбова. При взгляде на них всякий раз вспоминаются слова Лидии: «Это памятники моей первобытной религии, из того периода, когда я еще веровала. Но — «Кумир поверженный все Бог...» не для одних только невеглласов».

Как и тогда, Лидия сидит за этим большим письменным столом и копирует какие-то фигуры из акушерского атласа Красовского. Как и тогда, черные как вороново крыло волосы ее, обрезанные в кружало, как стриг когда-то Пугачев русских солдат, носивших напудренные мелом косы, постоянно падают ей на лицо, бросают от лампы тень на ее матово-бледное, прекрасное лицо, на матово-белую шею, и, как тогда, Лидия часто встряхивает своею хорошенькой головкой, как бы желая совсем избавиться от докучливых волос. Но только теперь сноп лучей, как выражено в физике Ленца и Гано, вырываясь из-под ресниц, длинных, как у гоголевского Вия, чаще падает на лицо Тутнева.

— Нет, я не могу быть вашей женой, — говорит Лидия.

Тутнев молчит. Он глубоко задумчив. Он силится решить какую-то неразрешимую задачу...

— Но вы любите меня? — говорит он, и в голосе его точно трещина оказывается.

Не в меру большие и не в меру черные глаза поднялись от атласа к Тутневу.

— Да, я люблю вас.

Глаза опять упали на атлас. Длинные, как у гоголевского Вия, ресницы бросали на прекрасное лицо длинные, длинные тени от лампы.

— Я люблю вас глубоко... вся люблю...

Карандаш ее забегал по бумаге. Молчание.

За окном слышится:

— Раскрою.

— Сунься!..

Бац! бац!.. Лясь!..

— Я никого не любила... Я люблю вас первого...

За окном слышится:

— Поцалуй меня, Фенюшка, ноздеречка моя...

— Что дашь?

— Трынку.

— Мало.

— Синюху, пятишницу.

— На...

Лидия замолчала. Подумала...

— Первого... и последнего, — сказала она, — если я изменю вам — я отравлю себя, как крысу.

— Зачем же это ужасное решение — не быть моей женой!

— Теперь, но не после.

— Когда же?

— Когда я могу назваться женой-товарищем, а не женой-содержанкой. Когда, поселясь в вашем доме, я и там буду содержать себя своим трудом, своими знаниями.

Тутнев подошел к ней. Лицо его было грустное, бледное.

— Милый, дорогой мой! — прошептала Лидия и потянулась к нему. — Ласкай меня... Я никогда не испытывала ласк любимого.

Тутнев обхватил ее талию и приподнял с кресла.

— Да, раздави меня... Обхвати крепче талию — к ней даже рука брата никогда не прикасалась... Ох, какой ты сильный, какой ты милый!.. Совсем выздоровел.

Тутнев, как медведь, комкал девушку в своих лапах...

— Раздави меня совсем, раздави, милый, милый!..

— Милая, милая... сильная! Ты даешь мне жизнь... Я буду работать, буду, буду!.. Я перестану быть подлым трутнем, паразитом... У меня хватит силы на труд, на упорный труд...

И он трудился над бедной девушкой, мял ее девственное тело, к которому ничья рука не прикасалась, своими ручищами...

— Лида! Дитя мое! Великое дитя...

— Постой, постой!.. Держи меня крепче... не выпускай... я не знаю, что со мной делается...

В глазах у Тутнева потемнело, но не настолько, чтобы он ничего не мог видеть... И какая глупость ему представилась: взгляд его как-то упал на аквариум, и ему показалось, что из аквариума на него уставился окунь своими маленькими глазками... Окунь действительно смотрел, как они обнимались и целовались, хотя, конечно, ничего не понимал.

— Лиденька, дитя мое великое!

«Фенюшка, ноздеречка моя», — послышалось ему, то есть не послышалось, а в его памяти прозвучали эти слова, которые сейчас кто-то говорил под окном другому.

— Милый, как же я расстанусь с тобой? А мы должны расстаться, мы должны работать... мы должны заработать право на человеческое счастье... Милый, милый!

Тутнев держал ее у себя на коленях, и в таком неудобном положении продолжалась их беседа.

— Отчего же нам не работать вместе, не расставаясь? — говорил Тутнев, прижимаясь к ней и не обращая внимания на окуня, который нет-нет да и глянет на них из аквариума.

— Нет, нет! я должна войти в твой дом с правами на звание — не доктора, положим, а полного человека, — говорила Лидия и обвивалась змеей около шеи Тутнева, не стыдясь поглядываний окуня.

— Что же я должен делать, милая?

— Ты должен ехать к себе домой, в провинцию, работать в земстве и по временам навещать меня, пока я не скажу тебе: «Возьми меня, милый, как я тебя беру, — мы равные...»

— А ты что будешь делать?

— Я буду учиться, работать, усиленно работать, чтобы придвинуть скорее к себе мое счастье, чтобы ускорить ход времени, ускорить ход солнца.

— Но как же я расстанусь с тобой?

— А как я-то с тобой расстанусь? Ох!..

И она опять обвилась вокруг его шеи, а он мял своими лапищами это хрупкое, дорогое ему тело.

А окунь смотрит из аквариума и ничего не понимает.

— Милый, милый!..

А Тутневу слышалось: «Фенюшка, ноздеречка моя...» «А отчего не говорят, — думалось ему в то же время (как кап-

ризна человеческая мысль), — отчего же не ласкаются словами «сюртучок мой, чулочек мой, карандашик мой, моя шляпочка»?»

— Но ведь я перемучаюсь, не зная, что с тобой.

— Я буду писать тебе — и сама перемучаюсь.

И опять ласки, ласки, ласки.

А окунь смотрит — и ничего не понимает. Скелет смотрит... когда-то он понимал все...

— Но ты разлюбишь меня, полюбишь другого...

— Если я разлюблю тебя — я буду презирать себя.

— Но ведь это невольно делается.

— А невольно, так я повешу себя как собаку, когда изменю тебе. Я не изменяла моим честным убеждениям, не изменю и тебе.

И опять ласки, ласки, истомляющие ласки.

А окунь из аквария смотрит — и ничего не понимает.

— Милая, дорогая, великая моя! Я верю твоей искренности, постигаю моим сердцем и умом всю глубину твоей честности, но...

— Досказывай, досказывай, ненаглядный мой.

— Я верю в силу всепоглощающего, всенивелирующего времени — сила эта неотразима, как сила смерти, и эти две силы тождественны: время — это смерть, это убийца, безжалостный убийца всего — и людей, и их чувств, и даже убеждений. Это проклятое время вытравляет все, как адский камень...

— Нет! Нет!

Она со страхом прильнула к нему. Она понимала всю силу этих слов, всю их страшную правду... Этот ужас страшной правды проникал в нее, и она не находила слов ни для отражения слов своего милого, ни для своего успокоения.

Тутневу самому становится страшно от своих слов.

— Дитя мое бедное, — говорит он, пряча ее головку у себя на груди, — мне страшно... Идея времени и идея пространства — это страшные призраки, которые вот теперь встали между мной и тобой.

— О нет, нет! Я чувствую твою грудь, твои руки, твои колени. Между нами никто не стоит.

— Пространство — это такой же адский камень, как и время, все вытравляющий, все убивающий... А! проклятый реализм природы: ведь и мозг и сердце получают впечатления через эти жалкие глаза, через эти проклятые реальные чувства... Я дрожу теперь оттого, что эти жалкие глаза мои видят тебя, дрожу оттого, что эти уши слышат

шепот милой, дрожу, ох как дрожу оттого, что вот эти руки осязают тебя, обнимают, гладят, ласкают... И ты то же чувствуешь, милая?

— Да, да — только больше...

— Нет, не больше.

— Больше, больше!.. Я скоро помешаюсь от твоих ласк.

— А я скоро буду кусаться, как зверь... Постой, постой! Дай мне опомниться... Да, я говорил вот о чем: когда перестанут твои глаза милые видеть меня, когда перестанут мои руки ласкать тебя, когда, одним словом, дьявольское пространство станет между нами, такое же дьявольское время вступит в свои права: оно будет выжигать, как ляпис инфернализ, из твоей памяти мое лицо, мои слова, мои ласки — и вытравит, выест и меня, и память обо мне...

— Нет, тоски по тебе не выест.

— Выест, дитя мое... И потянешься ты к ласкам другого, как тянется голодный рот к куску черствого хлеба, как потянулся пленный Крез к вонючей бараньей лопатке.

— Я скорее умру с голоду, — говорит Лидия и тянется за сочным ростбифом, за губами Тутнева...

— Лида! Лида! Как страшно мне — ты такая маленькая...

— Нет, милый, мне девятнадцатый год скоро пойдет.

— Знаю я, знаю... Но мне так страшно.

— Чего же?

— Вытеснят меня из твоей памяти и из твоего сердца другие лица...

А под окном опять слышится:

— Что ж, не дашь синюху?

— А рожна с маслом...

— Ну трынку дай.

— На кукиш с медом.

— Подлец!

Бац! бац!.. «Ай, ай, ай...»

Любовное свидание, начавшееся под окном, кончилось в квартале.

В передней задребезжал звонок.

— Брат идет... Прощай, прощай!

Тутнев так обнял Лидию, что чуть действительно не раздавил.

Вошел Елеонский.

— Где ты был, Федя?

— В коммуне... Я рад вас видеть, Борис Борисович... Давно вышли?

— К вам к первым.

— Ты что, Федя, такой бледный?

— Перетревожился... Волновался много.

— Чем, мой бедный?

— Да в коммуне был... Сколько там добра, столько хорошего добра и столько горя. Сердце надрывается, глядя на эти молодые силы, забиваемые нуждой. А тут эти возмутительные самки говорят о платьях в полтораста целковых, о балах, а там есть нечего, учиться не на что...

— Да что же, объяснитесь — в чем дело? — спрашивал Тутнев.

— Не спрашивайте, после расскажу... Там голод, там танцы — какая-то дьявольщина, какое-то палачество.

Разговор как-то заминался.

— А вы любите танцы, Лидия Александровна? — спросил Тутнев, не зная, что сказать.

Лидия посмотрела на него как-то странно.

— Люблю ли я?

Она подумала.

— Вы любите воровство?

— Странный вопрос.

Тутнев замялся.

— Танцы — это ниже и бесчестнее, чем воровство, — заговорила девушка, и глаза ее засверкали. — Разве вы назовете честною ту женщину, которую обнимает всякий, кто пожелает?

— Конечно, нет!

— А на объятия танцующей женщины имеет право всякий... Но, Боже мой, сколько гадости еще оставили нам времена варварства... Как прав Спенсер и как жалки люди, читающие его, понимающие и продолжающие делать то, на что и он, и наука, и разум человеческий, и человеческая честь положили пятно позора... Боже мой! Как мне жаль этих бедных людей, этих бедных женщин...

— Полно, полно, Лидочка, — говорил брат.

— Ах, Федя, точно ты сам не так думаешь, точно ты не от этого же такой бледный...

— Да, *от этого*, от этих горьких мыслей о бедных, жалких людях, которым еще так долго не быть людьми.

— Я ненавижу танцы, я ненавижу все, что оставило нам постыдным наследством жалкое, рабское, дикое прошлое...

— Успокойтесь, Лидия Александровна, — говорил Тутнев, который вспомнил, что *когда-то* и он танцевал.

— Не могу успокоиться, Борис Борисович, особенно после вашего вопроса... Женщина, не ребенок, не дитя, а женщина взрослая, раз протанцевавшая на бале, уже унижена до последней степени, до которой только может быть унижена женщина... Она уже потеряла свою чистоту... Танцующая девушка уже не девственна — она уже общупана, захватана.

Тутнев с удивлением взглянул на Лидию при последних словах.

— Вас это удивляет мое последнее выражение? — спросила она как-то горько. — Не удивляйтесь, я готовлюсь быть или акушеркой или доктором, а потому медицинские термины мне знакомы... А разве это честно, что девушка всем открывает свои плечи, голые руки и груди? И *зачем* открывает? Какая, в глубине-то самой, цель этого открытия, открывания? Что сказали бы о мужчине, если б он явился на бал оголенный до половины груди? Отсутствие галстука — скандал, неприличие, ночная блуза — неприличие... А голые сосцы — закон приличия... Бедный, бедный Спенсер!

— Почему же он-то бедный? Кто-то другой бедный, — заметил Елеонский.

— А что?

— Много их... Вот этот окунь бедный, потому что он не человек. Бедные и жалкие женщины, которых я встретил у магазина Вихман, потому что и они не люди; как окунь, так и эти жалкие существа не понимают даже, что они жалки. Как это тяжело, как обидно... Когда же лучше станет это жалкое, подлое человечество, которое не возвысит всех, не просветит всех жалких, темных... Кстати о бедных, — добавил он, — только о бедных иного рода. Саранцовы — знаешь их? — покидают коммуну, покидают Петербург, учение — все бросают... У них умер отец — и они стали еще более нищими, чем были.

XXXIII. СОМНЕНИЯ ВЕРЫ НИКОЛАЕВНЫ

Все это время, когда Тутнев хворал и выздоравливал, когда Елеонский мыкался по больным, когда Лидия испытывала прилив никогда не испытываемых ею ощущений и даже на лекциях выпускала свою мысль, как птичку, далеко за стены аудитории, когда в коммуне учились, голодали, страдали и брали с боя право на будущее прочное счастье, когда Вера, соскучившись медицинскими лекциями и посту-

пив в консерваторию, где она начала слушать лекции лучших профессоров музыкальных знаний, не забывая заглядывать и в музыкальный журнал Серова, и в критические статьи г. Ростислава и г. Кюи, стала чаще посещать оперу и театры, иногда в ущерб серьезным занятиям даже по части музыки, — во все это время один Ломжинов работал как негр, и его слово, его имя все более и более приобретали вескости и уважения. Он бил врагов России не хуже Каткова. Он не пропускал немцам ни одной выходки — заходила ли речь о нагнетании немцев на русский элемент в прибалтийских губерниях, о выдавлении оттуда Платона, Поспелова, Шафранова, Вальдемара и Бесбардиса, о заедании какой-нибудь саратовской немецкой школой под начальством Коссман, русских школ, русских училищ и русских гимназий под начальством русских людей вроде Соколова и Честилиной. Его речь не без отзвука звучала и в Европе, и по славянским землям, и в Америке; на его статьи искоса посматривали враги России, рассеянные по редакциям газет, начиная от «Independence belge» и кончая немецкой «Крейце цайтунг» — чуть не «Крейцерцайтунг» — и пономарско-клерикальной «Монд»; его сердечное слово читалось и в парижских «пивницах» славянами и немцами, и в венских кофейнях, куда начали иногда попадать, как шальные, русские газеты, и по адриатическо-славянскому побережью, и за Балканами, и под Балканами, где Митхад-паша режет славянские головы, носы и уши славянские. Он в то же время бил пошлость и пустоту русского общества, где бы ни находил эту пошлость и пустоту. Он ратовал и против преобладания итальянской оперы в Петербурге перед русской, и против преобладания незнания и нежелания знаний в русских артистах перед знанием и желанием знаний. Ратовал он и против продажи Николаевской железной дороги, против всех безобразий, иже совершаются из года в год и их же число и меру и вес ты веси, Господи.

А ратуя с холодным оружием в руках, с единым горячим словом и холодною логикою, можно наскочить на пушку. Он и наскочил на пушку...

Ломжинова кто-то обвинил в чем-то — и его засадили в кутузку отрезвиться: ему сказали тот неоспоримый афоризм, что природа дала нам два уха, две руки, две ноги, два глаза, две ноздри и один язык, чтоб мы слушали в оба уха, брали обеими руками, вдвое ходили, в оба смотрели, обеими ноздрями вынюхивали, чем пахнет, и как можно меньше говорили.

И сидит Ломжинов в кутузке, и грызет его смертная скука, и вспоминается ему русская песня о том,

Как у сокола крылья связаны...

Сокол-то был сильно охоч не только до воробьев и до всякой мелкой пташки, а начал было пощипывать гусей и лебедей — ему крылья и связали.

Едва узнала Вера о несчастии Ломжинова, тотчас же начала уговаривать отца идти к «страдальцу за слово». Само собою разумеется, что страдалец за слово очень обрадовался посещению Релиных: его мысль и во время самой кипучей его деятельности, во время самой горячей работы нередко оставляла его на минуты и улетала туда, где, ей казалось, она найдет и ласковое слово, и отзывчивое биение сердца.

Вера взирала и на себя как на героиню, вступая в кутузку к Ломжинову. Ей казалось, что она навещает *того*, которого славное имя вычеркнуто из списка не отживших, а хуже — из списка действующих, хотя он жив и молод, а силы его только что достигли апогея величия.

— За что вас посадили, Владимир Николаевич? — спрашивала Вера, усаживаясь около Ломжинова.

— Я не знаю, как вам сказать, Вера Николаевна, за то, что я слишком много люблю то, что слишком высоко поставлено надо мною.

Вера смутилась, не поняв восточного оборота речи. Губы ее дрожали.

— Как — вы, подобно Овидию, влюбились...

— Нет, Вера Николаевна: это вам сказку сказали о любви Овидия... Его сослали за то, что он видел то, чего не должен был видеть.

— А вас?

— Тоже... Я видел то, чего не должен был видеть.

— Да что же? Говорите!

— Не волнуйтесь, Вера Николаевна, приучайтесь к иносказательным оборотам восточной речи. Это необходимо. Меня научил этому один умный немец.

— Какой?

— Гейне... Он говорит, что «мы, грешники, должны прибегать к священному языку пророков, и, как Иезекииль, говорить в картинах».

— Но я все-таки не понимаю, за что вас посадили.

— За то, что я слишком много люблю Россию, вам довольно этого Вера Николаевна? Но те, которые засадили меня, говорят, что засадили меня не за это.

— Но ведь у вас не отнято было право защищаться?

— Да...

— Кто же были ваши адвокаты?

— Отчасти я сам, отчасти Спасович, Жуковский — Юлий, Арсеньев — я со всеми советовался.

— И они не помогли?

— Не помогли... Разве могли помочь Суворину адвокаты, когда его обвинили за то, что он спросил: поступок, который он намерен был сделать, позволителен или непозволителен?

— Я не понимаю этого.

— Да его обвинили в том, что он написал одну книгу и спросил: может ли он ее выпустить в свет или нет?

— Странно, да это похоже на то, что Пыпина и Жуковского обвинили в оскорблении дворянства, а Щедрина никто не обвинял за то, что он издевался над всем чиновным людом... Как, однако, много для меня непонятного, — сказала Вера и задумалась.

— Да, Вера Николаевна, для вас еще много непонятного.

Разговор не вязался.

— «А вы что делали, скажите, в это время,
Когда в кутузке сей я гордо погибал?..» —

спросил шутя Ломжинов, желая отвлечь разговор от того направления, которое он начинал принимать.

— Мы много успели сделать, Владимир Николаевич, — сказал старик Релин, — мы разбили уже не один кумир и не создали ни одного нового.

— Что же такое, Вера Николаевна, как идут ваши занятия?

Вера немного смутилась, но тотчас же отвечала:

— Я во многом разочаровалась и здесь, в Петербурге.

— В чем же?

— Да... я хотела бы отдаться не одной медицине. Я хотела бы заняться на других отраслях науки, а в деле медицинских знаний женщины уже пробовали свои силы... Я желала бы попробовать на чем-нибудь другом.

— На чем бы, например?

— Я и сама не знаю, только не на медицине. А между тем для других знаний — где я найду возможность приобрести их? Здесь много учащихся женщин, вот хоть бы Елеон-

ская, но она избрала то, чего бы я не избрала. Много женщин я видела и на лекциях стенографии.

— А вы и их посещали?

— Да. Я ходила на лекции Ольхина. Но там больше все военные писари и девушки, которые решительно не знают, что им делать... Я бросила эти лекции, не стенографом же мне быть.

— Напрасно и ходили... Уж не хотели ли вы поступить также и в артель переплетчиц?

— Нет.

— А переводчиц?

— Тоже нет... Этого мне также мало.

— Но дело переводчиц идет хорошо. Они честно работают. Выбор переводов делается с редким знанием дела. Издания Лихачевой и Суворинои считаются лучшими книгами для юношества — хоть бы Масэ.

— Да, кстати об изданиях Лихачевой и Суворинои, — вмешался старик Релин. — Вчера я зашел к Кожанчикову — и вдруг при мне влетает в магазин какой-то генерал и спрашивает: «Есть у вас издание...»

И Релин, нагнувшись к самому уху Ломжинова, сказал некое слово, которым неизвестный генерал назвал издательниц...

— Но ведь это возмутительно! — сказал Ломжинов. — И его не выгнали из лавки?

— Нет, он сам быстро ускользнул.

— На чем же вы теперь остановились, Вера Николаевна?

— Я поступила в консерваторию.

— Что же вы говорите это как будто с недовольством?

— Может быть. Я не знаю, как вам это объяснить. Только я недовольна.

— Чем же?

— Когда я смотрела на музыку как на искусство, на высокое призвание для избранников, я любила музыку и охотно занималась. Но едва она представилась мне ремеслом, у меня руки опускаются.

— Зачем же ремеслом? Так вы назовете ремеслом и мои литературные занятия, и науку, и все великое дело человечества, которое требует труда, усиленного труда и сознания, что отношения к избранному занятию должны быть высоко честны... Дилетантизм — это барство, которое едва ли не хуже полного невежества.

Вера не знала, что ей отвечать.

— Ведь Вагнер — не ремесленник, не принадлежит volens nolens к цеху музыкантов, а это его добрая воля, его любовь, его дыхание.

— Да, Владимир Николаевич.

— А разве в консерватории все ремесленники — и Лешетицкий, и Венявский, и Дрейшок?

— Нет! Нет!

— Где же ремесло?

— Ремесло в том, что я *должна* быть музыкантом.

— Должны? А если вы так смотрите и на музыку, бросьте ее — толку не будет из вас никакого.

Вера обиделась, но запрятала свою обиду далеко под корсет.

— Но там так мало истинно образованных учащихся — все больше цеховые какие-то, — сказала она, — одна Вереинова да еще пять-шесть личностей, а все прочие смотрят на музыку как на кусок хлеба, как на место столоначальника, учителя, писца.

— Что ж, и это недурно. Дурно только то, что наши артисты, не только музыканты, певцы, но и прочие художники, мало обращают внимания на общее образование. Они мало читают, мало знают — и оттого их произведения не могут быть мировыми, великими. Во всем нужны знания, а иначе отстанешь от века и будешь рисовать голых нимф в то время, когда современная жизнь представляет столько богатых, несравненно более богатых материалов для искусства, чем древняя скудная, узенькая, невежественная жизнь... Искусства должны идти в уровень с жизнью, с наукой, с движением человечества.

— Все это я понимаю, но мне все-таки тяжело.

— Да отчего же?

— Я и сама не знаю, скучно.

— Так возвращайтесь в провинцию, там ваше место. Выходите замуж за помещика, танцуйте, наряжайтесь, читайте «от скуки», когда более веселого ничего не предвидится, и обзаведитесь детьми. А науку и искусства бросьте — они и без вас обойдутся. В провинции тоже весело — найдете приятельниц, приятелей — Анна Ивановна, Федора Ивановна, Иван Иванович, Петр Иванович. Берите у жизни, что она дает вам.

Ложминов несколько раздражился. Он большего ждал от этой девушки. Но, по обыкновению, спохватился уже поздно, именно тогда, когда сказал лишнее.

— И я то же говорил ей, Владимир Николаевич, — добавил отец, — только меня не слушает.

— Ах, папаша, уж вы бы этого хоть не говорили.

— Отчего не говорить? Я говорю правду. Разве мне легко было смотреть на тебя, когда ты скучала. Теперь я хоть тому рад, что театры ее занимают.

— Да если я избрала моей профессией музыку, то опера и театр необходимы: там знакомишься с применением к жизни и к сцене самого искусства.

Разговор их продолжался еще несколько времени, но он почему-то мало интересовал Ломжинова. Вера была также недовольна этим посещением, потому ли, что Ломжинов заставил несколько страдать ее самолюбие, или потому, что она уже немножко успела поотвыкнуть от этого человека, который как бы становился ей более чужим, чем это было в провинции. Вера торопила отца:

— Нам, папа, надо поспеть к семи часам домой.

— Почему же именно к семи? — спросил Ломжинов. — Ждете кого-нибудь?

— Да. За мной хотела заехать m-me Малявская, чтоб вместе с ней ехать в концерт... Какой великолепный будет сегодня концерт, Владимир Николаевич. Мне хочется еще раз посмотреть Гектора Берлиоза, а у Малявских много знакомых в музыкальном мире.

— Кто же эти Малявские?

— Это очень милое семейство, Владимир Николаевич, такое дружное, умное... Там я всегда отдыхаю душой. Она такая милая, и дети ее все такие развитые люди — много читают, один студент, другой правовед, третий инженер — все такие серьезные и веселые.

Ломжинов ничего не отвечал. Он только подумал: «Ну, пора барышне танцевать... скоро же... Так ей будет лучше в провинции: таких, как она, я вижу, Петербург еще скорее доконает, чем провинция, тут слишком много соблазнов, а в ней нравственного устоя, кажется, нет... Впрочем, может быть, и есть, но не думаю... Вот она уж, я вижу, и принаряжаться начала: каких-то там себе ленточек да булавочек с погремушками на голову навертела, а там пойдут в ход глазки да лапки, кавалеры всякие хорошие, амуры всех сословий и возрастов, всякие канашки и Сашки, а там, когда уж все будет спущено — и скудные знания, и честное имя, и девственная красота, — охватит благоразумие и понадобится прикрышка, невзыскательный и недалекий муж, которому все равно будет получить хоть оскребушки от барышни,

только чтоб получить что-нибудь, потому что никто, кроме оскребушков, не пошел бы за него... Нет, такая мне не пара».

Едва ли Ломжинов преувеличивал свои опасения.

XXXIV. ГРУСТНЫЕ ПРОВОДЫ

«Эка жизнь с бабой-то хорошей! Когда я теперича с тобой сам-друг, так мне хоть все огнем гори», — бормотал невольно Тутнев, возвращаясь от Лидии, и проклинал и себя, и эту фразу из Островского, которая засела где-то там, и в мозгу, и в горле у него, тогда как слезы так и накипали там где-то, на сердце ли, в горле ли — черт их знает! — и хотелось ему плакать, плакать.

Он возвращался от Лидии. Они решились расстаться — на время. Лидия решительно объявила, что вступит в его дом не иначе как на тех условиях, на каких соединялись Литва с Польшею: как равная с равным.

— Пусть моим приданым будет мой докторский диплом, — говорила она и надрывалась-плакала, прощаясь с милым.

Как сказала — так на том и осталась. Похудела, пожелтела за последнее время, а все-таки повторяла: «Поезжай домой, работай, мой милый... Не мешай и мне работать».

«Эка жизнь с бабой-то хорошей!» — думалось Тутневу, и он отплевывался от этой фразы, а фраза все вертелась на языке.

«Когда я теперича с тобой сам-друг, так мне хоть все огнем гори» — и Тутнев тосковал страшно, и хотелось ему воротиться назад, выпросить у Лидии обратно ту жизнь, которую она отняла у него своим решением, и вставал перед ним ужасный вопрос: а если она скажет: «У тебя нет воли решиться на тяжелый искус, так уйди же от меня навсегда, пустой и жалкий человек», — и он ускорил шаги домой, он бежал от своего счастья, чтоб у него хоть что-нибудь осталось.

Он дома. У него несколько мучительных часов впереди, в продолжение которых он должен был совсем исстрадаться в ожидании поезда железной дороги.

Каким мрачным, мертвым кажется весь Петербург, с неумолкаемым грохотом экипажей, с стукотней, визготней и гамом, который так и стоит в воздухе, так и замер в нем.

Какими мертвыми, пустынными кажутся эти комнаты. Этот дорожный баул всею своей тяжестью навалился, кажется, на сердце Тутневу...

Не выдержал барин. Сел на баул середи комнаты, сдавил голову руками, как тисками, и этими тисками выдавил из глаз две слезинки, мелких, едва заметных, но таких режущих, таких острых, что сам черт не разберет: из огня ли они сделаны или из какого-нибудь еще более жгучего материала.

«Нет, так я с ума сойду... Я размозжу эту голову, чтоб не думала она, не съедала меня...»

И он машинально схватил книгу, приготовленную в дорогу для чтения.

«Модная тоже... «Гнезда, норы и логовища» Вуда... Мне, земскому человеку, необходимо знать, как кроты делают свои норы... Работай, работай, работай, земский человек. Заработай себе счастье, Лидию — экое громадное на водку, Боже мой, дадут тебе счастье, Лидию...»

Глаза Тутнева машинально остановились на первой странице книги Вуда. Он читал:

«Низшие степени человеческих существ — бушмены мыса Доброй Надежды и «роющие» индейцы Америки не имеют домов, а живут в расселинах скал и в пещерах, потому что никогда не чувствуют никакого побуждения к труду, никогда не предаются ему иначе, как только будучи вынуждены к тому каким-либо повелительным требованием природы, и всегда ограничивают этот труд наименьшим количеством работы, какого требовала представившаяся необходимость».

С трудом уразумел Тутнев смысл этих слов.

«Дикие бушмены никогда не чувствуют никакого побуждения к труду», — вчитывался он точно по складам.

«А я разве не бушмен, не роющий индеец? Разве я когда-нибудь чувствовал побуждение к труду? Разве я трудился?» — говорил он сам с собою.

«Да, Лидия права. Я мало того что жалкий, пустой и нечестный человек — я дикий бушмен, роющий индеец. А если я и трудился, то ограничивал свой труд наименьшим количеством работы — опять-таки, как бушмен.

Какое я подлое, возмутительное создание! И стою ли я той высокой девушки, которая наложила на мою память и на мой совет клеймо варнака? Не стою, не стою! Я стою какой-нибудь подлой девки, которая бы надувала и меня, и своих двенадцать любовников разом...

Бушмен, бушмен, роющий индеец!

А разве у меня есть домашние воспоминания? Разве есть у меня мое «дома»? Нет, как у бушмена, нет у меня ничего этого: никогда я не жил дома, а рыскал по гостям, как паразит, ел званые обеды, пил званые чаи, а дома только спал, как спит бушмен в своей пещере. Мне было скучно дома, меня тянуло в гости, на улицу, лишь бы не оставаться самому с собой...

Бушмен, чистый бушмен!

Моя память, как и память бушмена, так же забывчива к прошедшему и его урокам, как ум неспособен обращаться вперед и питать мысль о будущем...

Мое прошедшее забыто мною. Мои прежние привязанности тоже забыты мною. От одной привязанности я легко, без мук и болей, перешел к другой... А перейду ли к третьей?.. Черт знает что такое!

Ну не бушмен ли я? Хуже бушмена...

А чистая девочка думает, что я честный человек, что во мне реставрируется загрязненное человеческое достоинство... Лидия! Лидия!

Да и чиста ли сама Лидия? Говорит, что чиста, что никто не прикасался к ней... Э! кто ее усчитает?

Ну, чиста ли она, не чиста — все равно, черт возьми! Ведь дороже же она мне всего на свете, так чего же еще спрашивать — чиста ли! А не чиста — и то хорошо: тем море не погано, что псы налакали...

Какая я, однако, гадина! Какой бушмен... Нет, видно, жизнь не забывает наших промахов, не прощает подлости — и вот я в себе ношу ядро позора, нечестия — я глубоко деморализован, я до мозга костей нечист...»

Тутнев вскочил и как помешанный начал ходить по комнате быстрыми, неровными шагами.

В нем действительно просыпался честный человек, загрязненный жизнью. Он сам себя выворачивал наизнанку и топтал, как гадину...

«Зачем же я ее-то оскорбил моею грязною мыслью? — говорил сам с собою Тутнев, шагая по комнате и натыкаясь на дорожный баул. — Как могла прийти в этот деморализованный мозг, в эти грязные подчерепные потроха такая дьявольская мысль?..»

И он весь дрожал как в лихорадке.

Наконец, надо было и ехать.

Проезжая мимо Владимирской, он долго глядел в ту сторону, где была квартира Лидии, и на лице его выра-

зилась такая глубокая боль, точно у него отрывали самое сердце.

Апатически как-то подъехал он к перрону железной дороги. Апатически смотрел на толпу, которая шмыгала и болтала вокруг него. Звонки заставляли его вздрагивать всем телом. Наконец перешел он в залу для пассажиров, сел на скамью и глубоко задумался.

Чья-то легкая рука опустилась к нему на плечо. Он вздрогнул — перед ним стояла Лидия. Он не ожидал ее, потому что они уже простились дома. Лидия была бледна как смерть и вся дрожала.

— Борис! Мой милый...

— Что с тобой?

У Тутнева подкосились ноги, и он опустился на скамью, с которой было вскочил.

— Что с тобой, дитя мое светлое?

— Не покидай! Не покидай меня...

Тутнев не понимал, что с ним и что с ней...

— Не покидай меня! Ох, как мне тяжко.

— Так я беру тебя с собой, я не расстанусь с тобой?

— Нет, нет, я не могу!

— Господи, что ж это такое? Зачем же ты здесь? Я хочу, чтоб ты ехала со мной, я не уеду теперь без тебя.

— Борис! Борис! Я не могу — я сказала раз — и не отступлюсь от своего слова, если б мне даже пришлось умереть. Я только пришла еще раз взглянуть на тебя — в могилу опустить...

И она залилась слезами...

— Лида, дитятко мое! Я силой увезу тебя.

Звякнул звонок. Пассажиры бросились в вагоны. Тутнев схватил девушку за руку и тянул с собой.

— Идем, идем — или я останусь здесь, — говорил он, задыхаясь.

— Нет... брось меня... возьми меня...

И она увлекала его с собою к вагону. Они вошли, торопливо заняли места.

Лидия опомнилась. Глаза ее блеснули каким-то холодным огнем.

— Прощай, Борис...

— Лида! Лида!

— Прощай! Ни слова больше... Что я сказала, то сделаю, хоть бы меня переехал этот тяжелый вагон... Помни и ты свое слово.

И девушка обхватила его, поцеловала жаркими, засохшими губами — и исчезла из вагона. Поезд двинулся.

Около этого же времени и коммуна провожала своих несчастных товарищей, брата и сестру Саранцовых. В этих проводах было столько трогательного, что выразить это трогательное могли только слезы и опечаленные лица бедных девушек коммуны, провожавших Саранцову, не язык человеческий, который располагает таким ограниченным числом слов для выражения человеческих понятий и чувствований, что этим жалким человеческим лексиконом можно только передать слабые тени того, что представляет нам человеческая жизнь и жизнь природы, со всеми оттенками ощущений и человеческих страданий.

Но в этих проводах была также такая веская доза грустного и тяжкого, что было бы хорошо, если б человеческому языку приходилось реже передавать то, что представляет суровая жизнь на каждом шагу и что приходится человеку и видеть, и переживать, и передавать словами непередаваемое.

На эти проводы жалкие ваньки притащили с Петербургской стороны всю нашу коммуну к перрону железной дороги. Лица девушек были заплаканные, затуманенные. Хорошенькая Крутоярова вся распухла от слез, а громадная, избела-русая коса Вереиновой не удостоилась даже возможно приличной прически от своей красивой обладательницы, и густыми белыми прядями выпадала из-под шапочки на самый воротник шубки, так что один франт на перроне, заметив эту чудовищную косу, выразил такую плоскую любезность:

— Я боюсь, что эта коса-монстр обломит эту восхитительную головку.

— А я боюсь, что эта коса свертит и обломит не одну, подобную твоей, пустую башку, но только не свою собственную, — прорычал Ярчук, все еще продолжавший тайно страдать по Вереиновой и действительно полюбивший ее после того, как она высказала ему свой честный взгляд на значение волокитства вообще и в коммуне в особенности.

Мужские представители коммуны смотрели также грустно и пасмурно, провожая Саранцовых, Горизонтский мрачно шагал по платформе, заложил руки в карманы пальто, и все почему-то ему представлялись Саранцовы какими-то иродами, и казалось ему, что едут они в далекую миссию, к диким народам, сеять там семена науки и цивилизации, и что в конце

концов дикие лилипуты, несмотря на свое ничтожество, сожрут этих дорогих ему миссионеров.

Ярчуку казалось, что он непременно бросился бы под стопудовое колесо локомотива, если б вместо Саранцовой уезжала Вереинова. Его же пылкому украинскому воображению представилось, что петербургские куаферы непременно зарежут Вереинову, чтоб отрезать у нее противоестественно роскошную косу и продать ее какой-нибудь стареющей и лысеющей деве.

И богатое воображение его уже рисовало ему ужасную картину смерти его милой, и он подходил к ней и дрожащим голосом говорил:

— Подберите вашу косу — она так растрепалась.

— Подбери, сестра, а то вагоны проедут по твоим противным волосищам, — говорил Вереинов, который почему-то с детства не любил чересчур длинную косу своей сестры.

— А, брат, до косы ли мне теперь, — дулась девушка, запрятывая косу под шубку и глотая слезы.

— Лиза! Лиза! Не плачь, моя дорогая, — всхлипывала Крутоярова, пожимая руку Саранцовой, — не убьет, не опошлит тебя, такую сильную, никакая провинция, никакая среда. Пошлеют и пустеют только те, которые никогда и не могли быть порядочными.

Саранцовы грустно глядели под колеса вагонов.

— Крутоярова права, — вставлял свое слово Григорьев, — меня сам черт не собьет с моей человеческой дороги — и не пойду я за стадом, не пристанет ко мне никакая нравственная парша, если я сам не захочу опаршиветь.

— Э! легко вам говорить это, — как бы шептала Саранцова и не сводила глаз с рельсов.

— Легко!.. Знаете ли, да за порядочного человека, за такую развитую женщину, как вы, Саранцова, я отдал бы под скальпель индейца сотню пустых и бесполезных женщин... А вы говорите — легко! Развитая женщина — это единственное спасение России. Кто тянет в омут пошлости мужчину? Пустая женщина. Кто отрывает его от труда, таская по гостиным и собраниям, по этим норам и логовищам? Пустая женщина, которая не выработала в себе сознания чести и правды... А ведь мужчине, даже высокочестному труженику, нужна же ласка женщины, и, не находя около себя честного существа, он тоже тянется в норы и логовища и погибает там... А вы говорите — легко!

Григорьев, по свойству своего аналитического ума, который понуждал его всякое явление искать в законах природы

и человеческой жизни, имел обыкновение обобщать все, о чем бы ни заходила речь.

— Да за себя-то мне больно, — говорила Саранцова.

— Да, я понимаю вас... Только не говорите, что убьет вас провинция... Ведь пошлости, в общем, не меньше и в Петербурге, чем в любой провинции, а ведь не убила же вас эта пошлость. Не убьет и там, если только вы сами не носите в себе зародыш пошлости... Знаете, чем спасти себя от опошления?

— Чем? Говорите, я жадно слушаю вас.

— Помните: все, что *принято*, не только обеспечивает и губит отдельные личности, но останавливает движение человечества в такой страшной степени, в какой не задерживали его ни варварство, ни рабство, ни ужасные войны, ни абсолютное отсутствие знаний науки. На том, что принято исстари, все наши нравственные и общественные традиции, все дикие несообразности в человеческих действиях с человеческой логикой. Все принятое — это страшное зло на земле.

— Да, я это понимаю.

— А коли понимаете, так вам нечего говорить. Помните только, что не надо пренебрегать ни малейшими пустяками, не надо поддаваться принятому ни на волос, иначе, если вы дадите в пасть этого страшного зверя, этой старухи «принятого» один волос, — эта пасть втянет вас всего своими беззубыми грязными челюстями.

— Но в жизни так трудно следовать теории, — возражала Саранцова.

— Это не теория! Дважды два — четыре — не теория. Что этот вагон вас раздавит, если вы бросите под колесо, — не теория.

Саранцова вздрогнула. Ей чудилось уже, что колесо вагона проезжает по ее хорошенькой головке.

— Когда вы видите, как стена падает, не думайте, что она не раздавит вас, когда вы не отойдете, — раздавит. Это не теория. Что до сих пор человечество, действуя по «принятому», не выбилось из рабства и бедности — это не теория. Протестуйте же против всего «принятого», протестуйте молча, если не можете громко, протестуйте вашей жизнью, вашим примером... Если вы увидите, что около вас живут люди несообразно вашим или нашим правилам жизни, тем правилам, образцы которых мы видим в жизни лучших людей человечества, и если вы увидите, что эти люди безнадежны, — уйдите от них, запритесь у себя дома, живите

с книгой, с пером, с вашей мыслью и показывайтесь этим людям только так, как вы показались бы в обществе разбойников, по необходимости, или в кабаке — по крайней необходимости, а не для удовольствия... Разве вы охотно пойдете в дом терпимости?

— Нет.

— Так не ходите же и туда... Надо же кому-нибудь начинать: все говорят, что наша жизнь пуста, губительна, и все суются туда. Так отвернитесь вы от нее... не будьте лицемерны, глупо-лживы, как те, которые только говорят, а не держат слова.

Ригоризм Григорьева выходил из границ. Это был юноша огненного темперамента, фанатик своих убеждений. Он был того мнения, что только фанатизм убеждений делает великие дела, только упорное, ни перед чем не отступающее преследование идеи ворочает миром. Все великие люди были энтузиасты, фанатики своей идеи, своих убеждений, фанатики науки, фанатики труда. Галилей вместе с последним дыханием выбросил из своих уст прямое слово: «И все-таки она вертится». Галилей не подчинился «принятым» верованиям...

— Нам нужны новые люди, — говорил Григорьев, — старые уж надоели. Надо же нам начать, когда около нас царит пошлость, рутина, лень, подлость, податливость... Докажем делом, что люди не мельчают... Россия заедена пошлостью, пошлыми людьми, пошлыми мужчинами, пошлыми женщинами, пошлыми детьми...

Раздался второй звонок. Саранцова закрыла лицо руками.

— Лиза! Лиза! Не убивай себя, — надрывалась хорошенькая Крутоярова.

— Милые, милые! Точно в гроб меня опускают.

Глядя на Саранцову, Григорьев сам украдкой утер слезу, повисшую на реснице.

— Э! проклятое положение! — говорил он. — Чувствуешь, что силы много в тебе, что сильно правдой, великой правдой твое убеждение, а нет у тебя союзников. Мало, мало нас! Все это кругом овцы, паразиты — нет в них ни чести, ни человечности.

— Прощайте, мои милые, добрые, умные, прощайте, не забывайте меня! — повторяла Саранцова, подходя поочередно к членам своей коммуны и пожимая руки. — Не забывайте меня, поддерживайте меня письмами.

— Своих мы не забываем, где бы они ни были, — продолжал Григорьев, — для союза тружеников мысли не

существуют ни пространство, ни время... Где бы вы ни были, вы останетесь наши, если сбережете в себе те честные убеждения, которые вас теперь поддерживают... Любите труд, любите Россию, но не пассивно любите, а страстно, и не сердцем только, не головой, а любите ее делом, упорным трудом для развития в ней того, что требует развития. Труд — вот единственное спасение России. Будьте поденщиками, разбивайте щебень на мостовой, возите воду, шейте — только не предметы роскоши, не пошлые канвовые да всякие бесполезные работы для украшения кукол и для увеличения пустоты их жизни, — а шейте предметы первой необходимости, если ни на что не способны. А если способны на что-нибудь лучшее — работайте над лучшим... Всякое неспособное существо в России может если не заработать, то *сработать*, круглым числом, на 20 рублей в год. Если б это существо таскало только воду, мыло полы или шило арестантам белье, вот вам на сорок миллионов способных *что-нибудь* делать выходит в год 800 000 000 рублей. Да на эти 800 миллионов можно было бы выкупить Россию из плена, если б кто взял ее в плен. Ведь это математически верно, а этого не хотят видеть люди, попусту тратящие свое время, да не пять-шесть часов в сутки — это куда ни шло! — а все двадцать четыре часа... Кто не работает, кто не приносит в общую экономию человечества своего труда — тот подлец и нет ему другого имени. Подлец тот, что паразитом живет на чужой шее, подлец и тот, кто живет на доставшиеся ему от предков богатства, а *сам* не работает. Этот последний — горший подлец. Кто не помогает человечеству в труде, в достижении благосостояния, развития, кто не мозолит рук над работой, кто не творит мыслью — тот подлец, негодяй. Творчество — вот призвание и долг человека: твори сапоги, твори щи, твори поэму, твори оперу — кто на что способен, — только твори, создавай, *прибавляй* к продуктам человеческого творчества свою лепту... Лепта! Глупое, старое, «принятое» слово — рутинное... Прочь все принятое — это цепи, ошейник, тюрьма, лизание руки, которая вас убьет. Выходите на свет Божий, новые люди, с новым честным словом, и пусть это слово принимают не старые меха, а... новые люди.

— Сестра, сестра! Пора садиться, — закричал Саранцов, подбегая к кучке коммуновцев.

Девушки бросились целовать Саранцову.

— До свиданья, Лиза, голубушка, — кричала одна.

— До свиданья, ты опять будешь с нами, — говорила другая.

— Нет, не буду, не буду!

Девушка скользнула в растворенную дверку вагона 3-го класса. Дверка захлопнулась.

— Хоть бы еще раз в окно увидеть ее, — говорила Вереинова, — Господи, как тяжело хоронить живых.

— Сестрица, да убери ты свою адскую косищу, — шипел злобно Вереинов, хотя он очень любил свою сестру, только ненавидел ее косу.

— А что?

— Опять растрепалась, говорю, переедут вагоном твои бесконечные космы.

«Зарежут, непременно зарежут мою красавицу поганые парикмахеры из-за этой чудной косы», — думал в это время пламенный украинец Ярчук, не зная, кого провожать ему глазами — исчезавших ли Саранцовых или исчезнувшую под шубкой косу Вереиновой.

Поезд между тем уходил все дальше и дальше. Сначала был слышен шум и стук, а потом шум и стук смолкал все более и более. Вагоны быстро уменьшались в объеме и скоро потом превратились в черную точку. Остался на горизонте только дым, на который и смотрели молча молодые труженики.

«Дым, дым — все дым, вся русская жизнь, все людское, все русское — дым! Г. Губарев дым, и Литвинов дым, и сам Тургенев — дым, дым, дым!» — думал между тем Григорьев, глядя на исчезающий дымок вагонов, унесших с собою двоих из «новых людей».

«Дым, дым... — думалось ему опять. — Нет, не дым, мы не дым, новые люди не дым и не все людское, не все русское дым... О, далеко не дым! Только те, которых время, или судьба, или невежество пришибло, как «колесом переехало», — только те дым. А мы не дым, наука не дым, будущее России не дым. О, загляните вы к нам, дымящиеся головни, вглядитесь хорошенько, вдумайтесь, если имеете эту способность, и вы найдете, что тут не дым... Нужда, бедность, горе, бессапожье, бесknижье, бездоровье, безуголье — но не дым, о, далеко не дым! А разве эти милые, печальные лица милых девушек, тоскующих по Саранцовой, — разве это дым? А слова Саранцовой, оторванной от науки, — дым? О нет, не дым, не дым!..»

— Вы что задумались, Григорьев? — спросила Крутоярова.

— Над дымом.

— Тургенева?

— Да. И вон над тем дымом. — И он указал на дым от вагонов, которые уже пропали из виду.

— Что же?

— Да не все дым, что говорит Тургенев, далеко не все... Наши молодые, честные увлечения трудом, наукой — не дым... Лучшие люди в России — не дым... Наше русское свободное слово — не дым! Вот эта голова, которая у меня на плечах — не дым, не дым! Я докажу это моими тяжкими трудами, моими бессонными ночами... О, не все дым, не все!..

— Но так много дыму, сами согласитесь, — говорила Крутоярова, — до сих пор русская женщина, женский труд — дым.

— Нет, нет, Крутоярова! И тут не все дым — выходят из пеленок уже русские женщины... Это не дым...

— Да, но *дыму* больше, чем *не дыму*.

— А! да пошлости всегда больше было... Отживающее тряпье, даже молодое, все, что прозябает по старой «принятой» программе, — это дым, едкий, зловонный, заразительный дым. Все скачущее и пляшущее в женском и мужском роде, все болтающее языком, все рядящееся в тряпье и шелк, все бесчестное, не имеющее своих убеждений, не верное своему слову, своему призванию, все непостоянное, легкое, недалекое — все это дым, промозглый, вонючий, удушающий дым!.. Но вот это самое жгучее горе о том, что Россия спит, что мы отстали, вот эти самые муки немногих людей и их усилия все повернуть по-своему — это не дым, не дым!

— И мы докажем Тургеневу, что не все дым? — спросила Крутоярова, и глазенки ее засветились.

— Докажем... не одному Тургеневу, а всей России...

— Но как это долго.

— Долго, очень долго... Но — верно... Идемте же домой... работать, идти к своей цели.

И молодежь побрела — опять на лекции, кто в читальню, кто на урок, кто в публичную библиотеку.

«Бедные, бедные! Как вам много работы и как вам долго еще ждать, — говорил про себя Ломжинов, который тоже провожал кого-то и случайно услыхал, как Григорьев проповедовал о дыме и не дыме. — Долго ждать! Но ждите, пока в вас пошлость жизни не убила молодых, честных порывов. И не убьет! У таких не убьет».

XXXV. ЕЩЕ ПРОВОДЫ

Наконец настали и третьи проводы. Вера Релина провожала Ломжинова, который вместе с Туркиным уезжал заграницу. К ним примазался земляк их, пожилой юноша, лет под шестьдесят, с слабыми сочленениями в коленках и с двумя тысячами десятин земли, ехавший лечить и в то же время портить свои непослушные ноги и трясущиеся поджилки.

И эти проводы были довольно трогательны, хотя более приличные, чем предыдущие... Вера окружена была Малявскими — и старшими, и младшими.

— Как я завидую вам, — говорила она Ломжинову, крепко пожимая его руку.

— Чему же, Вера Николаевна?

— Вы увидите Европу, все ее удовольствия, все замечательности искусства...

— Я еду туда чернорабочим, Вера Николаевна. Я еду учиться, надо же поучиться хоть там, как они сделали, что у них больше хорошего, чем у нас.

— От всего сердца желаю вам успеха.

— Благодарю вас.

— Пишите нам.

— Буду.

Кондуктор призывал пассажиров к местам.

— Кто это такая? — спросил Ломжинова слабоногий «юноша».

— Это наша землячка.

— А ведь она, черт возьми, тово... не дурна, — заметил слабоколенчатый «юноша», у которого от продолжительной практики всегда текли слюнки при всяком смазливеньком личике. — А как же я не видывал ее на наших губернских паркетах? Она могла бы быть там украшением.

— Да она не выезжала — училась, слишком молода была, только видела отца, да меня, да учителя своего.

— Жаль, жаль, такое сокровище пропало за каким-нибудь Боклем, Шлецером...

— Шлецером или Шлоссером? — спросил Туркин.

— А! не все ли равно — вообще за галиматьей, убивающей красоту... Она ведь, кажись, тово — из нашенских: слишком усердно стреляет голубыми буркалами — прелесть какая! — и в крупную, и в мелкую дичь. Из нее будет прок.

— Да? — спросил Ломжинов, и сердце его неприятно екнуло.

— Да! Поверьте честному дворянину, я по этой части наметался.

— Нет, вы ошибаетесь, она желает учиться, она слушает лекции, — возражал Ломжинов.

— Эх, молодой человек! Извините, вам который год?

— Какое молодой человек! Мне уж тридцать шестой, кажется.

— Что ж! Молодость. Это, значит, вы в самом прыску... Так вы, я вам доложу, профан в этих вещах. А я, как только взглянул на нее, так тотчас раскусил всю ее будущность, не хуже Лафатера там какого-нибудь.

— Нет, вы ее не знаете.

— Ан знаю! Пари держу на дюжину шампанского... Я ее вам как по пальцам распишу.

— Ну, расписывайте.

— Извольте. Вы говорите, она жила с папашей, училась, знала только вас и учителя?

— Да.

— Сначала она влюбилась в учителя, а потом в вас?

— Не знаю.

— Знаете, да скромничаете... Ну-с, продолжаю: слыша около себя только о славянах да о книгах, о профессорах, она захотела и сама сделаться славянкой или профессором. Так?

— Так. Она серьезно понимала призвание женщины и своей жизнью хотела доказать, что женщины способны на важное. За тем и приехала в Петербург — учиться.

— Все это так, потому что вы около нее были да книги, а сути-то она еще не нюхала. А вот скоро нюхнет, даю вам честное слово, да еще как нюхнет. Уж верьте мне, я знаток лошадей, вина и женщин: в ней есть наше что-то — недаром глазками стреляет и в вас, и в меня, и в кондуктора, и вон в того первоклассника, что держал ее муфту. Люблю таких — никого не обидит: лакай из нее всякий, как из моря великого и пространного. Только жаль, скоро вылакается это море... Sic transit gloria mundi! Вы удивляетесь? Ведь я получил классическое образование.

Ломжинов только пожал плечами. «Жалкие, жалкие люди», — думалось ему.

— Помните мое слово, — продолжал «юноша» с развинченными ногами, благо напал на любимую тему, — посмотрите, как она блеснет на всех званых вечерах, на этих малых суаре, на пикниках, на коньках — нарасхват пойдет — и на мазурку-то ее все будут просить, и в фантах-то она будет

костик (глупые-то ваши книжки ей пригодятся, чтоб озадачивать мышиных жеребчиков и слыть между ними самой опасной злючкой) — всегда найдется в пустяках.

«Какое жалкое существо», — опять думалось Ломжинову, и, чтоб не слушать его, он взял книгу.

— А посмотрите, какая вот там хорошенькая... Надо подсесть к ней.

— Ну и ступайте, коли охота.

Тот поковылял туда, но скоро воротился.

— Ну что? — спросил Ломжинов.

— Сурова больно — нигилистка, черт возьми. Этих я не люблю. То ли дело наши — просто субдительное суперфлю! Наши умеют жить: берут у жизни все, что она дает, даже и то, чего не дает. Наши, так сказать, высасывают все из жизни, как из апельсина, и самую корочку съедят, самую засушенку, только подсахаря... Прожигают жизнь, канальство! Наши, как Гомер, «дают и старцу, и юноше, и ребенку, что каждый в силах взять», а кто ж не возьмет, коли дают? Это было бы, черт возьми, неделикатно не брать, коли дают — ну и берешь... А эти нигилистки что? Сволочь! Ни они тебе танцевать, ни они тебе всяких там благородных, невинных удовольствий, на этих птижё, во время которых эдак можно... — И он сделал рукою непередаваемый жест. Ломжинов плюнул. — Что, слюнки потекли?

— Нет, просто плюнул... Вы большой охотник до сальностей.

— До сальностей!.. Эх! да это жизнь, черт побери... Не за книгами же все сохнут, как вы, ученые... Впрочем, что греха таить, и наша жизнь скоро нас съедает, скорее, чем вас. Вот это жаль, это обидно.

Ломжинов не вытерпел. Он пересел на другое место.

Слабоногий сальник продолжал поучать Туркина, который сидел против него:

— Обидно, что жизнь короткая. А наслаждения скоротечны... Ох, как болят ноги! И голова часто болит.

— Отчего?

— Да оттого, что пожил вволю, в удовольствие... Пойдет по нашим стопам и она.

— Кто она?

— Да девочка-то из вашего города, приятельница вашего приятеля... И будет умница. «Лови, лови часы любви, пока огонь горит в крови». А износилась, разбился корабль, растрепались снасти и паруса — ну, в мирную пристань, в

замужество... А глазенки-то, глазенки! Да, аминь, глаголю вам, пойдет она дорогой обычной, как говорит Карамзин ваш: до двадцати лет будет счастливить всех, а когда понадобится муж, когда все уже будет спущено с молотка (я говорю не об имении), тогда можно будет прибегнуть и к героическим средствам, как говорят доктора: во-первых, к показыванию голых плечиков и персей посредством перегибания во время танцев; во-вторых, к обнажению икр и ляжек из-под коротких платьев посредством ли глубокого сидения в креслах, катания ли на коньках и с горы; в-третьих, к вате для приподнятия обвисающих уже, мешетчатых прелестей (hoc est перси, вымя в просторечье); в-четвертых, к пудре и белилам для видимого возвращения навсегда потерянной, шафранизирующейся и пергаменизирующейся кожи; в-пятых, к духам для отогнания злого духа (scilicet запах) из-под мышек и отовсюду, к жеванию черного хлеба для отогнания такового же духа изо рта, наконец, к шиньонам для прикрытия лысеющей головы... А замуж пойдет тоже — ну, жизнь и полна...

Не выдержал и Туркин.

— Какое грязное, подлое существо, — шептал он, пробираясь к Ломжинову, — и неужели так глубоко падают *их* женщины, о которых он говорит с таким наслаждением? Да это не женщины — нет, нет, он лжет, он подло лжет!

А Ломжинов между тем думал: «Я ведь вижу, что она изменилась, что она не та, какою я ее знал, какою она мне казалась, а мне все-таки жаль, страшно жаль ее — и унесу я ее образ с собой — всюду, в те неведомые страны, куда несет меня моя непоседливая натура... Надо работать, надо выработать себе истинное понятие о наших отношениях к Европе, к славянам... Я верю Ламанскому, Гильфердингу, — верю всем славистам, но надо же проверить все на месте, надо *теперь* узнать, *чего* мы должны ожидать от славян... Прощай, прощай, моя дорогая Вера, я бы не расстался с тобой, мы бы рука об руку прошли и Европу, и славянский мир, и всю жизнь, да, я боюсь... ты ненадежна... Хуже было бы отрываться после...»

— Какой, однако, негодяй! — говорил Туркин, прерывая размышления Ломжинова.

— Кто?

— Да наш земляк.

— Что делать! Горько то, что имя этих господ — легион... Они губят и себя — да эта куда ни шло, таких паршивых собак застреливать бы из поганого ружья, — но они губят и

других, губят русскую женщину, которую они своими сальными комплиментами да сальными глазами ведут черт знает куда.

— Да, правда. Но разве ты не видишь, что время изменяется: вымирают эти типы, уменьшаются легионы. Посмотри на молодежь, на трудящуюся женщину... Вырабатывается что-то сильное, прочное, честное.

— Да, но так мало работающих, а России нужны работники, нужны новые люди... Есть у нас эти новые люди, но надо бы побольше их.

Вагоны между тем быстро летели. Ломжинов взглянул в окно вагона и улыбнулся.

— Ты что?

— Да вот дым.

— Что дым?

— Да тургеневский дым... Теперь, я думаю, всякий, кто едет по железной дороге, постоянно думает про себя: «Дым, дым, вся Россия дым, все наши стремления, как битье рыбы об лед, и наша публицистика, и наше нравственное объединение с славянами, и наше земство, и наши коммуны, и наши нигилисты, и наша литература — все дым, дым и пар...» Нет, нет, — продолжал Ломжинов, — горько ошибается Тургенев. Россия не дым, все наши стремления, как битье рыбы об лед, — не дым, не дым! И наша публицистика не дым, коробит от нее того, кого коробить надлежит. И наше нравственное объединение с славянами, наше земство не дым, далеко не дым, и наши новые люди не дым, нет, далеко не дым, далеко не пар! Это же говорит и наша работающая и учащаяся молодежь, это говорят все новые люди... Не дым, не дым!

Между тем смеркалось... Пассажиры засыпали...

И вспоминалась Ломжинову та гора Неведения, которую он когда-то видел во сне, а под горою гномы, катящие в гору ком золота... И обрывается с полугоры золотой ком, а гномы опять катят его... На горе сон и храп... То слышится стон и задавленный вздох, шепот молитвы, звяканье цепи, как железных пут на лошадиных ногах, то слышится погребальный перезвон и глухое стуканье земли о гробовую доску, то топанье под дикую бальную музыку человеческих ног, точно табун разнузданных кавалерийских лошадей несется на водопой, и это топанье заглушает звяк противной цепи на чьих-то ногах, на лошадиных или человеческих... А там опять сон и храп, мужская и женская болтовня о чем-то странном, нечеловеческом, глубокий стон, пьяный смех и звяк цепи,

хрипение перерезанного горла и мотивы, проституционные мотивы Оффенбаха...

Ломжинов встрепенулся.

«Нет, нет! Я вижу движение на этой горе, я слышу, осязаю веяние новой жизни на этой горе... И гномы не одни — им помогают много рук, много голов — и молодые, и седые, и женские прекрасные головки... Цепь все меньше и меньше звякает, все реже и реже... реже слышится топот лошадиных ног на паркете... Я ближе узнал Россию: у гномов есть помощники, есть невидимые гномы... И медленно и прочно идет их работа... и удаляются пошлость, неведение, обскурантизм и все темные силы, закрыв от срама свои постыдные лица...»

— Ты спишь? — перебил его мечтания Туркин.

— Нет, не сплю, грежу.

— О чем?

— О России, о новых людях...

— Что же?

— Что-то будет? Что-то будет! Поживем — увидим... А скоро ли? Доживем ли?

Поживем — увидим.

Хочется пожить, хочется увидеть.

Предлагаемый нами очерк — эскиз с натуры. Оттого мы и назвали его материалами для современной истории России.

Мы не порицаем и не хвалим ни тех людей, которые называют себя «новыми людьми», ни людей старых, отживающих. Каждому мы отдаем свое — cuique suum. С возможным беспристрастием историка мы изобразили только тех людей из нашего общества, которых близко знали, и записали *их речи, их отзывы, их мнения:* пусть каждый говорит за себя и отвечает за себя перед критикой и обществом. Тургеневу в «Дыме» угодно было изобразить одних русских людей, нам попались другие. Те, которых знал Тургенев, и живут, и думают, и чувствуют, и волнуются задним числом, те, которых мы знали, живут настоящим.

Если наш исторический очерк страдает, может быть, отсутствием художественности, то какой же художественности ждать от сырых исторических материалов? Может быть, эти материалы пригодятся для будущих историков, которые будут владеть талантом Маколея, Шлоссера или кого-либо еще более великого. Но что мы записали то, что действительно видели и слышали, верно — за это мы ручаемся. Может быть, кто-нибудь видел и слышал другое, чем то, что мы видели и слышали, так пусть и он запишет результаты своих наблюдений.

Если бы подобных материалов осталось побольше от XVIII века, из эпохи пугачевщины, из эпохи понизовой вольницы, то эти эпохи мы, наверное, знали бы лучше.

Если в нашем очерке больше темных красок, чем светлых, то это опять-таки вследствие того, что для историка, как и для доктора, полезно знать болезненные проявления организма, да притом же из-за тени, из мрака яркое солнце бьет еще ярче, еще ослепительнее.

Ни лица, ни действия в нашем очерке не закончены. Это оттого, что ни жизнь этих лиц, ни их действия не закончены. А поживем — увидим: может быть, и закончатся.

Царь без царства

РОМАН ИЗ ИСТОРИИ
ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ
ЦАРСТВА ИМЕРЕТИНСКОГО

Кавказ подо мною. Один в вышине
Стою над снегами у края стремнины;
Орел, с отдаленной поднявшись вершины,
Парит неподвижно со мной наравне.
Отселе я вижу потоков рожденье
И первое грозных обвалов движенье.

Здесь тучи смиренно идут подо мной;
Сквозь них, низвергаясь, шумят водопады;
Под ними утесов нагие громады;
Там, ниже, мох тощий, кустарник сухой;
А там уже рощи, зеленые сени,
Где птицы щебечут, где скачут олени.

А там уж и люди гнездятся в горах...

Пушкин

I. ТРЕВОЖНЫЕ ВЕСТИ

У подножия Крестовой горы, недалеко от Нарзана, раскинуто несколько богатых палаток.

Весна 1806 года на Кавказе выдалась ранняя. Конец апреля блистал всею роскошью полного расцвета богатой южной природы.

Жаркий день сменялся мягким, ласкающим теплом начинавшегося вечера, хотя солнце только что стало склоняться к остроконечной макушке Пикетной горы.

У открытого входа в одну из самых богатых и обширных палаток, на низеньком турецком диване, сидела пожилая восточного, грузинского, типа женщина, довольно полная, с большими черными глазами и большим мясистым носом. Она перебирала в руках дорогие четки, оканчивавшиеся небольшим золотым крестом с крупными зернами бирюзы. На черных как вороново крыло волосах ее блестела диадема с вкрапленными в нее бриллиантами и изумрудами.

Против нее на разостланном персидском ковре сидел, по-восточному поджав ноги, мужчина лет пятидесяти с ярко выраженным типом грузина, с черными курчавыми волосами и тонким орлиным носом. За поясом его горел в лучах вечернего солнца кинжал в серебряных ножнах и с рукояткою, обсыпанной бирюзой.

Около других палаток сидели и ходили грузины в своих цветных костюмах, а еще дальше стояли крытые и некрытые арбы и паслись лошади и буйволы, оберегаемые нукерами.

— Я выехала сюда из Кутаиса, когда князь Цицианов был уже в походе, — говорила женщина в диадеме. — Потом

уже сюда дошли вести, что он убит при осаде крепости Баку; но как это случилось, я в точности не слыхала.

— О, ваше величество, — почтительно сказал сидевший против нее грузин, и тонкая усмешка проэмеилась на его тонких губах. — Гуссейн-Кули-хан ловко отмстил ему и за себя, и за нашу дорогую Имеретию, и за весь Кавказ. Дело было так, светлейшая царица. Когда Цицианов подступил с войском к Баку и потребовал безусловной сдачи крепости, то хитрый Гуссейн выказал полную покорность и назначил час и место, где должны были быть вручены русскому главнокомандующему ключи от крепости. В назначенный день рано утром Цицианов, взяв с собой только двести человек конвоя, чтобы занять караулы в крепости, подъехал к источнику, снабжавшему город водою, и остановился для принятия ключей. В это время из крепости вышли старшины города с хлебом и солью и с ключами, но просили только, чтобы русский князь лично успокоил их хана полным прощением. Цицианов согласился. Он же хорошо знал Гуссейна. Хлеб-соль он принял, а ключи возвратил старшинам: «Пусть, — говорит, — сам хан вручит мне их».

Рассказчик остановился и огляделся кругом — не подслушивает ли кто.

— Ну, князь Симеон, что же было дальше? — спросила женщина в диадеме, нервно перебирая четки.

— Сейчас, ваше величество. Там были наши приверженцы и видели все это. Когда князь Цицианов возвратил ключи, то вскоре из крепости выехал сам хан Гуссейн, окруженный знатнейшими лицами ханства — беками и мурзами. Но лишь только Цицианов с полковником Эристовым и одним казаком приблизились к хану, как один бек по знаку Гуссейна выстрелил почти в упор из пистолета в Цицианова, а другой бек — в Эристова. В тот же момент конвой хана с страшным криком дал залп по отряду князя — и те рассыпались, как воробьи перед стаей коршунов.

— А Цицианов? — с нервной дрожью спросила женщина в диадеме, и глаза ее сверкали торжеством.

— Он упал... Его седую голову тотчас же отрезали и отправили как дорогой бакшиш в Персию, в подарок ее повелителю могущественному Баба-хану.

Солнце нижним краем диска уже коснулось верхушки Пикетной горы, но тем ярче пурпурные лучи его горели на зеленых вершинах Крестовой, Седло-горы и далекой Елисаветинской. Над долиной Подкумка прозрачной пеленой клубился туман, сливаясь с серыми уступами скал, амфитеат-

ром вставших за Подкумком. В воздухе реяли хищные кобчики, а выше спиральными кругами плавали горные великаны-орлы.

— Да, это ему за Имеретию, за наше милое царство, — раздумчиво проговорила женщина в диадеме. — Что ж теперь в Тифлисе? — спросила она.

— В Тифлисе, царица, все потеряли головы, точно и у них они посрезаны Гуссейн-Кули-ханом, — отвечал ее собеседник. — Я был теперь там. Никто не знает, кто начальник. Генерал Портнягин говорит, что он начальник, потому что Цицианов, выступая в поход под Баку, назначил его командиром всех закавказских войск, а генерал Несветаев говорит: «Я начальник — я старше чином». И тот, и другой пишут приказы по войскам, а кого слушаться — ни полковники, ни майоры не знают. А тут, на линии, — третий начальник, генерал Глазенап.

— Да, он здесь, в Георгиевске, — сказала женщина в диадеме. — Когда весной я ехала сюда на воды, он в Георгиевске очень любезно меня встретил. Он, кажется, большой любитель женской красоты, — продолжала она с улыбкой, — с моей Дареджаны и с прекрасной Геоухер глаз не сводил.

— Это с дочери Ибраим-хана?

— Да, князь.

— А разве она у вас?

— Да, отец ее отпустил свою любимицу со мной сюда на воды — поразвлечься; да и моя Дареджана в ней души не чает.

— А где же царевна? Я ее не вижу.

— Они все — и царевичи мои, и Дареджана, и Геоухер — уехали в горы покататься.

— Но не опасно это здесь?

— Нет, с ними я отправила большой конвой нукеров; а нельзя же не позволить молодежи повеселиться, особенно перед возвращением в Кутаис.

Женщина в диадеме была Мария, царица Имеретии, жена Соломона II, последнего независимого царя этой прекрасной, поэтической страны; а ее собеседник — князь Симеон Церетели, один из приближенных к Соломону царедворцев.

Царица Мария, страдая ревматизмом, полученным в болотистых низменностях Риона, пользовалась этой весной лекарственными водами Пятигорска и Железноводска, а по окончании лечения проводила несколько дней в Кисловодске, где ее дети, царевна Дареджана и юные царевичи — Ираклий и Давид, купались в целительном и укрепляющем Нарзане.

Между тем солнце совсем скрылось за Пикетной горой, послав в небо последние снопы золотых лучей, которые продолжали окрашивать багрянцем вершину и зеленые изломы Седло-горы и беловатые ребра Елисаветинской.

В это время справа, по дороге, ведущей к Нарзану, показалась кавалькада всадников.

— Вот джигиты мои, — сказала царица, глядя на приближающихся, — красивее и смелее всех ездит ветрогонка Геоухер — вон как гарцует.

— Неудивительно, ваше величество, — она карабахская княжна, — отозвался Церетели, — а карабахцы так, кажется, и родятся на лошади.

— Да и карабахские лошади лучшие в мире, — заметила царица Имеретии.

Кавалькада приблизилась к палаткам.

— Мама, мама! — кричал издали юный женский голос. — Мы и у Красных скал были, и у пещер. В одну пещеру я пряталась. Ах, как там хорошо!

Это говорила молоденькая Дареджана, царевна, четырнадцатилетняя красавица, соскакивая с коня и бросая поводья подскочившему к ней джигиту. Белая, как снег на вершине Казбека, папаха чудно оттеняла ее смуглое личико и черные волосы, густыми прядями рассыпавшиеся по плечам. Голубая обшитая золотой тесьмой куртка и широкие голубые шаровары, позволявшие ей ездить на лошади по-мужски, очень к ней шли. Маленький серебряный кинжал с чеканкой под чернетью дополнял ее воинственный костюм.

Князь Церетели вскочил с ковра и подбежал к ней. Лицо его выражало скрытое волнение. При виде его Дареджана остановилась в изумлении.

— Князь Симеон! — проговорила она.

— Мой нижайший привет вашему высочеству! — с глубоким поклоном приблизился к ней Церетели. — Его величество, пресветлый царь Соломон, и его высочество, царевич Константин, прислали со мной привет вашему высочеству.

В это время сошли с коней и приблизились к Дареджане и к князю Церетели прелестная Геоухер и юные царевичи, Ираклий и Давид.

Геоухер, карабахская княжна, была поразительно хороша. Это был не грузинский тип, а тот, который до сих пор встречается в горах Малого Кавказа и среди приараратских курдов. В нем нет крупных, грубоватых черт грузинского или имеретинского типа. Нет, это какая-то особая раса, женщины которой отличаются жгучей, но нежной и мягкой красотой.

Такова была и красота дочери карабахского владельца. Сквозь матовую смуглость ее детски округлых щечек пробивался нежный румянец. Большие глаза с продолговатым разрезом, какие-то глубокие и томные, с необыкновенно густыми и длинными ресницами, светились мягким, лучистым, каким-то ласкающим светом. Белая чадра, обвивая темную головку красавицы, придавала еще большую миловидность очаровательному личику.

Церетели приветствовал ее, приложив руку к голове и сердцу.

— А моих видел, князь Симеон? — спросила красавица Карабаха.

— Я был в Шуше и всех видел, они все здоровы, княжна, — отвечал Церетели.

Царевичи Ираклий и Давид, из которых первому было пятнадцать лет, а последнему тринадцать, несли убитого орла громадной величины, держа один за правое, другой за левое крыло.

— Смотри, князь Симеон, какого я орла убил, — хвалился Ираклий.

— Противный Ираклий! — топнула ножкой Дареджана. — Смотри, мама, разве не грех было убивать такого красавца?

— Это русский генерал — его не грех подстрелить, — задорно сказал младший царевич.

— Я вас! — погрозила пальцем царица. — Не смейте ничего такого болтать. Где же вы были? — обратилась она к красавице Геоухер.

— Сначала на Крестовой горе, — начала было Геоухер, но Дареджана перебила ее.

— Знаешь, мама, там стоит большой-большой каменный крест, — торопливо заговорила она, — а на кресте прибита железная доска...

— Синяя, — перебил ее Ираклий, — а на доске написано...

— Золотом, мама, золотом написано, — в свою очередь перебила Дареджана, — «Кресту Твоему поклоняемся».

— И что ж — вы поклонились? — спросила царица.

— Все поклонились, мама, только вот она не хотела поклониться, — показала Дареджана на Геоухер.

— Да ведь она мусульманка, девочка, — заметила мать.

— Так что же, что мусульманка?

— А знаешь, мама, мы видели Шат-Эльбрус! — с восторгом воскликнул младший царевич. — Какая прелесть!..

Ведь ни в Пятигорске, ни в Железноводске он нам ни разу не показывался...

— Около него все облака были, — добавила Дареджана, — сегодня, только мы поднялись на Елисаветинскую гору, как облачка все куда-то унеслись, и он — такой красавец! — весь открылся перед нами... Ах, какой великан!

— Да, он красивее Казбека, — пояснила Геоухер, — белый-белый, точно из сахара.

— Белее моей папахи, — с своей стороны пояснила Дареджана. — Вот бы взобраться на него.

— Нет, туда нельзя, — серьезно заметила Геоухер.

— Отчего же? — удивилась Дареджана.

— Там престол Аллаха.

В это время по дороге от Пятигорска показалась группа всадников.

— Это не казаки, — заметила царица, всматриваясь.

— И не русские — не гусары; это наши имеретинцы, ваше величество, — сказал Церетели. — Куда это они и зачем?

— Без сомнения, ко мне, — тревожно проговорила Мария, — но с какими вестями?

Не доезжая несколько до палаток, всадники остановились и спешились. Они были все в пыли, и лошади их казались замореннными быстрой ездой.

От группы всадников отделился один и, приблизившись к царице, почтительно поклонился и подал небольшой пакет. Мария дрожащими руками развернула бумагу, и, по мере чтения, видимо бледнела. Все смотрели на нее в изумлении и со страхом. Прочитав письмо, она молча подала его князю Церетели.

— А! сторожевой пес проснулся, — сказал он сквозь стиснутые зубы, пробежав записку. — Что ж, ваше величество, вы и без того хотели уже возвращаться в Имеретию; только мы не заедем в Кутаис, а прямо из Ананура или из Гори повернем к временной резиденции его величества, к Вард-цихе.

— А как же бедненькая Геоухер? — тихо спросила Мария, отведя Церетели в глубь палатки.

— Я ее сам провожу в Тифлис, — сказал князь Симеон, лукаво улыбаясь. А уж оттуда к отцу в Карабах проводит ее сам Джафар-Кули-хан, который целует следы этой красавицы: он от нее без ума.

— Как! Эта старая развалина? — удивилась царица.

— Аллах не запрещает и столетним старцам упиваться ласками гурий даже на том свете, — отвечал Церетели.

— Так на завтра, князь, прикажи всем собираться в путь, — сказала Мария, немного помолчав.

— Все исполню, ваше величество, — был ответ.

II. СОН ЦАРЕВНЫ ДАРЕДЖАНЫ

Полная луна только что выкатилась из-за Крестовой горы и ярким молочным светом облила белые шатры лагеря царицы Имеретии и высокие зубчатые стены старой крепости, стоявшей по ту сторону речки, за Нарзаном, на возвышенном продольном холме.

Весь лагерь царицы и казацкая слободка, ютившаяся вблизи крепости, за оврагом, давно погружены в сон. Только со стен крепости доносится иногда протяжный возглас часового «слуша-ай!» — да вокруг лагеря безмолвно бродят какие-то фигуры, блестя на месяце то ярким стволом винтовки, то металлическими бляхами перевязи. Это — верные сторожевые нукеры, оберегающие покой и безопасность семейства царя Имеретии, благоговейно почитаемого его подданными.

Не спится царице Имеретии. В голове ее беспокойно проносятся события последних лет. Смутные, тревожные события! Все надежды, дорогие мечты, вера в светлое будущее своей страны, вера в людей — все разбито событиями этих последних лет.

А она верила, все верили, когда в соборе торжественно читали этот чудный, полный самых великодушных, самых рыцарских обещаний манифест. Они вместе с мужем, с царем Соломоном, были тогда на литургии в Сионском соборе. Эти дивные, золотые слова манифеста она помнит наизусть...

«Не для приращения сил, не для корысти, не для распространения пределов и так уже обширнейшей в свете империи приемлем мы на себя бремя управления царства Грузинского. Единое достоинство, единая честь и человечество налагают на нас священный долг, вняв молению страждущих, в отвращение их скорбей, учредить в Грузии правление, которое могло бы учредить правосудие, личную и имущественную безопасность и дать каждому защиту закона...»

«Святые слова! Но что из них сделали! Что сделали из бедной Грузии!»

Она приподнялась на своем ложе. Подушка жгла ей голову.

Ей вспомнилось, как тогда же вместе с манифестом привезли из Москвы чудотворный крест святой Нины, просве-

тительницы Грузии, Имеретии и Мингрелии. Крест, после нашествия на Грузию персов, хранился в Москве. В ночном сумраке взволнованной царице казалось, что она видит — далеко, далеко там, как святая дева, одинокая, беспомощная, с крестом из виноградных лоз, связанных прядями ее роскошной косы, пробирается из Иерусалима на далекий север, к горам Кавказа, в дикую и незнакомую ей страну горцев, чтобы просветить их светом божественного учения.

Что за восторг был, когда народ опять увидел свою святыню! Сколько счастья и надежды было в душе каждого, когда народы Грузии и Имеретии, осененные этим крестом, слушали дорогие слова манифеста! «Не для корысти, а для правосудия, для защиты бедных и обиженных...» Трое суток ликующий Тифлис гремел выстрелами из ружей и пистолетов.

— Мама! Ты спишь? — послышался из другого отделения палатки голос Дареджаны, которая спала там вместе с Геоухер.

— А что, дитя мое? — отозвалась Мария.

— Я слышу — ты все вздыхаешь и что-то шепчешь.

— Мне не спится, девочка моя, и я молюсь. А ты спи себе, моя голубка.

— Я-то сплю, мама, и даже видела сон, будто я — Тамара, а надо мной склонился ангел и поет так сладко, сладко! Как жаль, что я проснулась.

— Ну, усни опять с молитвой, и ангел снова осенит тебя, невинное дитя.

— Ах, как хорошо, как сладко было в объятиях ангела, — уже засыпающим голосом пролепетала юная царевна.

— Милая девочка... Господь над тобой!..

И смутные воспоминания опять толпятся в взволнованной душе.

«Бедная, бедная Грузия! Это были не слуги великодушного монарха, а хищники, грабившие казну, расхищавшие богатства грузинских царей, обиравшие народ и дворянство».

Ей вспомнилось, как вместо этих хищников, вместо Кнорринга и Ковалевского, прислали Цицианова.

«Этот наш, — радовались все, — он родственник царю Георгию, он не даст Грузию в обиду».

— Слу-шай! — доносилось от крепости в ночной тишине.

«Ах, как надоело это «слушай», — волновалась Мария, — и заснуть не дадут... Бедная царица Дария! А сама виновата, зачем она ненавидела своего пасынка, царя Георгия? За то только, что он сын Ираклия-царя от первой его жены, а не от нее? Вот и моего мужа, своего внука, поссорила с

Григорием Дадиани, князем Мингрелии, за то только, что он женился на царевне Нине, на дочери ненавистного ей пасынка Георгия... Эх, Дария, Дария! Недаром Цицианов называл ее «старою гидрою».

Она вспомнила, что находилась тогда в Тифлисе, когда Цицианов приказал арестовать эту беспокойную и буйную старуху, вдову царя Ираклия. Весь Тифлис только и занят был этим ужасным событием. Когда генерал Лазарев, по приказу Цицианова, вместе с несколькими офицерами явился к ней во дворец, чтобы убедить ее добровольно выехать в Россию, она наотрез отказалась повиноваться. Она приготовилась бежать в Персию или в Турцию вместе с своими приверженцами. Но едва Лазарев приблизился к ней, как она выхватила из складок своего платья кинжал и вонзила его в левый бок генерала, в самое сердце. Лазарев не успел добежать до порога, как упал и тотчас же умер.

«А теперь и самого Цицианова не стало... Что-то сделал с его седой головой Баба-хан? О, жестоко, наверное, надругался над нею... Фу, как душно!»

Она встала с постели, накинула на плечи мягкую, как шелк, и легкую, как кисея, длинную бурку, обвила голову чадрою и вышла из палатки — вздохнуть ночною прохладой. У палатки, точно неподвижная статуя, стояла стройная фигура.

— А! это ты, мой верный Мамия, бережешь меня?

— Я на часах, ваше величество, — был ответ.

— Благодарю, мой друг... А как хороша ночь!

Луна стояла высоко, обливая ярким светом белые палатки лагеря. Было необыкновенно тихо. Слышно было журчание по камням горной речки и даже тихое клокотание Нарзана. Окрестные горы, освещаемые луною и бросавшие черные силуэты на теневые стороны, овраги и пропасти, представляли волшебную, полную таинственности картину. Вся природа, казалось, притаилась, оберегая свои тайны. Но кто их разгадает?

— Слу-шай! — доносилось из-за речки со стен крепости.

И притаившаяся природа, казалось, прислушивалась к этому оклику.

Царица снова воротилась в свою палатку. На этот раз сон к ней был милостивее, и она, засыпая, видела себя на высотах Гудаура, а под нею в неизмеримой глубине сверкала и переливалась на солнце Арагва, спеша в объятия роскошных долин Грузии...

«И эту роскошь променять на холодные тундры севера!» — колотилось у нее на сердце.

Зато Дареджану на этот раз посетило тревожное сновидение. Под влиянием прежних рассказов своей старой няни о грузинской княжне Тамаре, которую искушал в монастыре демон и которую ангел взял потом в небесные обители, Дареджана опять видела себя Тамарой, и опять над ее ложем склонился будто бы ангел, навевавший на ее душу сладкие грезы; но, вглядевшись в него, она увидела, что это не ангел светлый, а темный демон, который держал ее в своих горячих объятиях, — и Дареджане от этих объятий было и страшно, и невыразимо мучительно-сладко, — и она сама льнула, прижималась к демону, вся дрожа и пламенея от счастья и страха, боясь только потерять эти объятия, эти жгучие ласки... И вдруг видит — это не демон, а князь Церетели: это вокруг его шеи она обвивается, к нему льнет трепетным телом, ему возвращает поцелуи и ласки...

Она проснулась вся в огне и чувствовала, что пылает от стыда... Боже! Как же она теперь покажется на глаза, как взглянет на него? Бесстыдница! Она обнимала его вот так, в одной рубашке, с распущенною косой, босая, — и он видел ее такою... Срамница! Какой позор!.. Но в глубине души она чувствовала, как сладок этот позор, и она желала бы, чтобы он воротился опять, повторился, чтобы повторился этот сон...

И слезы ручьем полились из ее глаз. Она уткнулась лицом в подушку и рыдала, рыдала — она сама не знала отчего: от стыда или от счастья.

— Милая! Дареджана! Что с тобой? — спросила ее встревоженная Геоухер, просыпаясь и слыша рыдания приятельницы. — Что с тобой, дорогая?

Она тронула ее за плечи, которые вздрагивали, и, наклонясь над головой, целовала ее.

— Милая, да что же с тобой? Ты пугаешь меня.

— Я видела страшный сон, — сквозь всхлипывания отозвалась Дареджана.

— Только!.. Какой же сон? Вот глупенькая! — ласкала ее Геоухер. — А я уж не знала, что и подумать. Какой же сон? Расскажи мне, милая.

— Я уж не помню — забыла.

Геоухер рассмеялась.

— Вот глупенькая девочка! А уж ей пятнадцатый год: плачет о том, что не помнит.

— Да мне тогда было страшно, — оправдывалась, изворачиваясь, Дареджана.

Приятельницы сидели уже на постели, обнявшись. Дареджана силилась припомнить все подробности своего сна, все

ощущения, испытанные ею в объятиях мнимого демона, жгучесть его ласк, объятий, поцелуев. И краска стыда, и еще какого-то другого, сладкого чувства заливала ее щеки... И после всего этого она неизбежно должна встретиться с *ним*, с этим демоном, и встретиться нынче же... Господи, что же будет! Он по лицу ее все узнает, все... Но ведь это сон, только сон, он ничего этого не видел...

А утро уже сказывалось в чириканье птичек, в лае собак, в шуме и движении лагеря.

— Так забыла свой страшный сон, дурочка? — спрашивала Геоухер, лаская Дареджану.

— Забыла.

Нет, она его не забыла и никогда, никогда не забудет. Разве можно забыть это? Ничего подобного с ней в жизни не случалось. Ведь и прежде она видела много снов, и хороших, и страшных, но такого, как этот, — никогда. И никогда ничего подобного она не чувствовала, никогда! Ей уже пятнадцатый год, а ничего подобного с ней не случалось. Что ж это такое, отчего, у кого спросить? Нет, ни за что! Она никому этого не скажет, никому! Ей стыдно... Нет, не стыдно, а жаль отдать это кому-нибудь другому, поделиться этим с другими. А если это грех, если в самом деле это был демон? Нет, не может быть: она заснула с молитвой, да и крест на ней всегда, на шее, на груди, тот крест, с которым ее крестили. Демон не посмеет приблизиться к кресту.

— А тебя ангел никогда не обнимал во сне, милая Геоухер? — вдруг спросила она.

— Какой ангел? — удивилась красавица Карабаха.

— Да я видела во сне, не теперь, а раньше, — несмело заговорила Дареджана, — я видела во сне, будто я Тамара, вот та Тамара, о которой рассказывают, и будто я лежу в постели, а ангел так сладко, сладко напевает мне райские песни и... обнимает меня... Я проснулась и сказала об этом маме, а мама и говорит: «Это хорошо, это ты с молитвой уснула».

— Так это твой страшный сон? — удивилась Геоухер. — Об этом ты плакала?

— Нет... о другом... другой я забыла, — смешалась Дареджана. — Так ты не видела во сне ангела?

— Нет, не видела.

— А демона?

— Шайтана видела.

— Какой же он и что он делал?

— Обыкновенно какой, с хвостом и с рогами, а рот у него страшный-страшный: все зубы снаружи. А знаешь, отчего у него такой рот?

— Отчего? — спросила Дареджана, думая о своем демоне. У него не страшный рот, а губы жаркие-жаркие, как огонь, и усы и борода так хорошо щекочут.

— А вот отчего, милая, — серьезно говорила Геоухер. — Это мне мама моя рассказывала. Когда Аллах сотворил мир, а земли еще не было, то он взял семена земли и посеял. Семена и взошли. И видит Аллах, что выросла земля, только редкая такая. Он и велел ангелам сдвинуть ее поплотнее. Только ангелы так усердно сдвигали землю, что она покоробилась и стала такою неровною. Шайтан видел, как Аллах сеял землю, да взял и украл у Аллаха несколько семян земли и спрятал их за щеку, чтоб никто не видел. А когда стали всходить семена земли, то и у шайтана за щекой они стали расти, да так быстро, что нечистому духу стало трудно жевать. Тогда он лапой начал выцарапывать из-за щеки кусочки земли и бросать направо и налево. Куда попал большой кусок, там выросла большая гора, а куда маленький — там курган или пригорок. Но как шайтан ни торопился выцарапывать из-за щеки землю, она так быстро росла у него во рту, что он совсем разорвал себе щеку. Вот почему у него и снаружи зубы[1].

— Так это ваш шайтан насеял столько гор — и Бештау, и Шат-Эльбрус, и Казбек? — проговорила Дареджана, думая совершенно о другом.

— Да, милая, это все он, — подтвердила Геоухер.

А Дареджана думала о своем демоне. Как она встретится с ним? Как глянет ему в глаза? Он непременно все узнает — по лицу ее догадается, по губам, которые до сих пор горят. Боже, как стыдно... И неужели этот сон не повторится! А наяву? Да она умрет со стыда... Но со стыда ли? А может, от счастья? И отчего она прежде не испытывала этого?

— А уж совсем светло, — сказала Геоухер.

— Да, светло... — И от сознания, что настает утро, что она скоро увидит его, девушка опять вся зарделась.

— А мои птички проснулись? — послышался вдруг голос из другого отделения палатки.

---

[1] Легенда о происхождении гор («Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа». Издание управления кавказского учебного округа. Вып. III. Тифлис, 1883, стр. 97—98, отд.II).

— Да, мама, — отвечала Дареджана и сама не узнала своего голоса.

— Так вставайте. Велите служанкам одевать вас. Пораньше двинемся в путь.

— Сейчас, мамочка, сейчас.

III. «АРА ИКНЕБА! АРА ИКНЕБА!..»

В лагере между тем шло необычайное движение. Все готовилось в поход. Палатки снимались и укладывались на арбы. Над кострами, на таганах, варилась пища, жарились на вертелах шашлыки из карачаевских барашков, в чугунных и медных котлах готовился плов, на горячей золе пеклись тонкие чуреки, а в шатре, заменявшем царскую поварню, главный кухарь со служанками готовил ранний завтрак семейству царицы и указывал, как готовить ароматный кофе для царицы, которая его особенно любила.

Везде слышался голос князя Церетели, который отдавал приказания джигитам из имеретинского бедного дворянства и нукерам. Запрягали арбы, седлали коней, вьючили мулов, тащили бурдюки с вином, хранившимся в наскоро вырытом погребе.

В десятках и сотнях голосов среди ржания лошадей и скрипа арб Дареджана различала один только голос — голос князя Симеона, который и ласкал ее, как музыка, и в то же время приводил в трепет. И отчего прежде она не различала этого голоса? Отчего теперь он казался таким музыкальным?

Вдруг этот голос раздался около самой палатки.

— Ее величество царица изволила встать? — спросил этот голос кого-то.

— Встали, кофе кушают, — отвечал женский голос.

«Это он с няней говорит», — сказала про себя Дареджана.

— А ее высочество царевна? — продолжали спрашивать.

— Царевна одевается.

При этом простом ответе Дареджана опять вся вспыхнула.

— Ах, противная нянька... что она говорит! — вырвалось у нее.

— Она говорит правду, — засмеялась Геоухер, — вон я уж готова, а на тебя только шальвары надевают.

Скоро одевшись, обе девушки вошли в отделение царицы; но не успели они поздороваться с нею, как у входа в палатку, полы которой были раскрыты, показалась мужественная фигура князя Церетели.

— С добрым утром, ваше величество! — приветствовал он царицу Имеретии. — Как изволили почивать?

— Благодарю, князь. Долго не могла уснуть.

— А ваше высочество? — обратился Церетели к Дареджане.

Первый раз в жизни девушка так смутилась, что не могла отвечать; голос ее не слушался.

— Благодарю, — чуть слышно пробормотала она.

— Надеюсь, и ваше высочество? — обратился Церетели к Геоухер.

— Я спала как убитая, — весело отвечала дочь хана Карабаха. — Только меня Дареджана напугала.

— Чем? — спросила царица.

— Слышу сквозь сон — кто-то плачет. Я прислушиваюсь, встаю — что такое? Дареджана уткнулась в подушку — и плачет, плачет! Я к ней — спрашиваю: о чем? «Сон, — говорит, — страшный видела» «Какой?» — спрашиваю. «Забыла», — говорит, а сама плачет.

Все невольно рассмеялись; а Дареджана — опять в слезы.

— Что с тобой, дурочка? — смеясь, но ласково спросила мать. — То говорила, что ангела видела, а потом чего-то испугалась, глупая.

Дареджана, закрыв лицо руками, убежала в свое отделение, а за нею и Геоухер.

— Совсем ребенок! — покачала головой царица. — Сама не помнит, чего испугалась, и плачет. А ведь уж ей пятнадцатый год — пора и замуж.

Она не заметила, как при этих словах Церетели побледнел; но он скрыл свое волнение.

— Что, князь Симеон, как идут приготовления к нашему выступлению? — спросила Мария.

— Караван готов, ваше величество, и все палатки убраны, — отвечал князь.

— Кроме моей? А что мальчики?

— Царевичи все около своего орла возятся: они приказали сделать из него чучело.

— Так через час выступаем?

— Выступаем, ваше высочество.

Действительно, часа через два караван царицы выступил в поход. Это было довольно внушительное шествие. Впереди, на значительном расстоянии, двигался передовой конный отряд джигитов, вооруженных, сверх сабель и кинжалов, винтовками и пистолетами. За ними — несколько конных дворян, среди которых ехали также и юные царевичи, гарцуя, ради удальст-

ва, на прекрасных карабахских конях. За царевичами двигалась огромная крытая арба с навесами из тисненого золотом сафьяна и белыми, шитыми золотом и шемахинскими шелками пологами от пыли и солнца. В этой арбе помещалась сама царица с Дареджаною и Геоухер. Следующие арбы заняты были придворным женским штатом царицы, посудою, легкой походной мебелью и другим хозяйством, без которого в то время, за неимением в пути ни отелей, ни постоялых дворов, путешествие было невозможно, особенно же для таких высоких путешественников, как семейство царя Имеретии. Громоздкая и тяжелая арба царицы была влекома четырьмя парами буйволов цугом; в прочие арбы запряжено было по паре буйволов. Еще далее — арбы с клетками и плетенками, наполненными живностью — курами, цыплятами, фазанами и горными куропатками. Тут — козьи, бараньи и бычачьи бурдюки с винами и водой. За арбами — вьючные мулы с палатками и коврами, с таганами и котлами. Шествие замыкал небольшой гурт баранов с погонщиками и собаками. Арбы издавали невообразимый скрип, напоминавший нашествие некогда на Русь половцев, о караванах которых так образно выражался летописец: «Кричать телеги (арбы) о полунощи, рцы лебеди роспущени». Лошади всадников, ноги буйволов и баранов, копыта мулов и колеса арб поднимали целые облака пыли. Среди этих облаков мелькали на солнце стволы винтовок.

Скоро шествие, миновав нагорную равнину, спустилось в глубокую ложбину, по которой, среди крутых известковых обрывов и голых песчаников с одной стороны и крутых, поросших лесом горных кряжей с другой, бурно шумел по камням Подкумок, питаемый водами от таявших снегов Эльбруса. Прелестная ложбина причудливо извивались то вправо, то влево; в русле ее сверкали и извивались, подобно гигантской змее, переливчатые струи кипучей горной речки. Роскошная зелень долины, вся испещренная пышными цветами, представляла чарующее зрелище.

Князь Церетели, ехавший вместе с юными царевичами впереди арбы царицы, иногда подъезжал к ней и разговаривал то о красотах окружающей природы, то о том, что жарко, и т. п.; но сколько он ни заговаривал с Дареджаной, царевна отвечала односложными «да» или «нет» и, видимо, затруднялась разговором, мешалась как-то, краснела. Церетели никак не мог понять, что с нею. Прежде она, бывало, сама заговаривала с ним, смеялась, шалила как девочка, называла его даже «старой няней», потому что он часто носил ее на руках, когда она была маленькой.

«На меня!» — это была обычная фраза, с которой, бывало, маленькая царевна подбегала к своему баловнику, к «бородатой няне», — и Церетели брал девочку на руки и носился, и играл с нею, как с куклой. Потом, подрастая, Дареджана продолжала называть его то «старою няней», то «бородатою няней». Даже вчера вечером она назвала его так, когда он, уходя в свою палатку, пожелал ей спокойной ночи и «золотых» сновидений.

И вдруг! Что с нею? Разве ей все еще совестно, что и он вместе с ее матерью и Геоухер засмеялся над тем, что она плакала о забытом сне? Или этот невинный смех ее обидел? Церетели терялся в догадках, тем более что он давно втайне любил этого прелестного ребенка, любил, когда ей было еще не более 12 — 13 лет. Впрочем, она так рано развилась, так рано, как это возможно только для южной женщины, вырастающей под пальмами.

— А вон и Бештау показался, и Машук! — кричали издали юные царевичи.

Действительно, из сизой дымки дали вырезывались синеватые силуэты гор, о которых, ровно через пятнадцать лет описываемого нами здесь шествия царицы Имеретии, Пушкин, в посвящении своего «Кавказского пленника» Раевскому, такими поэтическими строфами упоминал и сожалел:

Во дни печальные разлуки
Мои задумчивые звуки
Напоминали мне Кавказ,
Где пасмурный Бешту, пустынник величавый,
Аулов и полей властитель пятиглавый,
Был новый для меня Парнас.
Забуду ли кремнистые вершины,
Гремучие ключи, увядшие равнины,
Пустыни знойные, края, где ты со мной
Делил души младые впечатленья;
Где рыскает в горах воинственный разбой.
И дикий гений вдохновенья
Таится в тишине глухой?

Круглая, пологая вершина Машука, поросшего по бокам и у подножия лесом, издали казавшимся мелким кустарником, напоминала степной курган; зато кремнистые шпицы пятиглавия Бештау гордо тянулись к голубому небу и как бы подпирали его.

— Ах, оглянись, милая! — заторопилась Геоухер. — Посмотри — весь снежный Шат-Эльбрус виден... Даже страшно смотреть — так далеко он ушел в небо... Да, там престол Аллаха.

— Как Аллаха? — улыбнулась Дареджана. — Ты же сама сегодня говорила, что все горы посеяны шайтаном.

— Да, мне так говорили.

— Значит, и Шат-Эльбрус, и Арарат, на котором остановился ковчег Ноя?.. И это все шайтан насеял?

— Шайтан, а не Аллах.

— Как же Аллах поставит свой трон на шайтановой горе?

— Не знаю.

— Что это вы, девочки, такой вздор болтаете? — вмешалась в разговор царица.

— Да вот она, мама, говорит, что все горы шайтан сделал, — оправдывалась Дареджана.

— Ну что ж! Мне моя мама так говорила, — оправдывалась в свою очередь Геоухер.

— Да это народная сказка. Все Бог создал, а шайтан ничего, — объясняла царица.

Чем далее двигался караван наших путешественников, тем явственнее и грандиознее выступали силуэты пятиглавого Бештау и зеленого Машука. Быстрый Подкумок отклонился далеко вправо, и сердитый шум его уже не доносился до каравана. Зато тем оглушительнее раздавался скрип арб — адская музыка, которую в состоянии выносить только ухо восточного человека.

Скоро, к вечеру, показались и жалкие хижины Пятигорска, ютившиеся у подножия Машука, из недр которой изливались и пенились серные целительные ручьи.

Здесь караван остановился на ночевку. Снова развьючивались мулы, распрягались арбы, разбивались палатки, и скоро задымились и засверкали костры для приготовления шашлыков, пилавов и прочей восточной снеди.

А далекий Эльбрус так и сверкал алмазами в лучах заходящего солнца. Белизна его вечных снегов была поразительна, и ни одно облачко не заслоняло собою величавого образа этого исполина гор.

— А сколько, мама, будет лет князю Симеону? — спросила Дареджана, смотря, как Церетели, ходя между палатками, отдавал приказания нукерам.

— Да ему уж за пятьдесят, — отвечала Мария.

— Что ж — он старый, мама? — снова спросила девушка

— Вот вопрос! — засмеялась мать. — Как кому, я его совсем не считаю старым: мужчина только тот стар, который дряхл. А князь Симеон — молодец молодцом.

— А мой отец, Ибраим-хан, — ему уж семьдесят, а я его не перегоню на своем скакуне, — сказала Геоухер. — Он просто красавец.

— Правда, правда, — согласилась Мария.

— А как его красит белая борода — просто прелесть!

Дареджана задумалась, спрашивая сама себя, зачем ей понадобилось знать лета Церетели? И ей вдруг стало стыдно своих мыслей, в которых она себе не могла дать отчета. «Все это сон... А если он и нынешнюю ночь повторится?..» И сердце ее тревожно забилось. «Нет, уж теперь я плакать не стану как дура».

Солнце зашло, но вершина Эльбруса все еще горела огнями заката.

— Точно мой отец, — засмеялась Геоухер.

— Ибраим-хан? — удивился Церетели.

— Да, он такой же седой, как этот Шат, и такой же красавец, — отвечала девушка.

Дареджана между тем украдкой поглядывала на Церетели и теперь в первый раз заметила, что он красив, что широкие плечи, стройный стан, черная с проседью борода и загорелое лицо придавали всей его фигуре что-то мужественное и обаятельное.

«Как же я этого прежде не замечала? — думалось ей. — Неужели это все сон наделал?.. Но как он смел целовать меня даже во сне?.. А я сама... Но он этого ничего не знает...»

«А видел ли он меня во сне?» — пришел ей в голову вопрос.

Пришли царевичи, оба взволнованные. Глаза их блестели воодушевлением, отвагой.

— А! каково! — горячо заговорил Ираклий. — Русские хотят из нашей Имеретии сделать вторую Грузию. Этому не бывать!

— Ара икнеба! Не бывать! — повторил за ним младший царевич Давид.

— Что вы, дети, выдумываете! — остановила их мать, быстро переглянувшись с Церетели.

— Мы не выдумываем, мама, — горячо возразил Ираклий, — это все говорят.

— Кто же все?

— Те дворяне и джигиты, что привезли тебе вчера письмо, — продолжал Ираклий. — Русские солдаты и казаки уже заняли наш Кутаис и Легчум. Мы должны их выгнать!

— Да, мы их выгоним! — подтвердил тринадцатилетний Давид.

— Мы скорее соединимся с персами и с турками, чем покоримся русским! — горячился Ираклий.

Мальчики говорили так быстро, перебивая друг друга, что их трудно было остановить. Мать их только пожимала плечами, а Церетели любовался их юношеским задором, и глаза его радостно светились.

— Да, да, мы их выгоним, — улыбаясь, сказал он. — Они поступают против трактата, утвержденного императором Александром. Довольно с них и одной Мингрелии, которой правит баба.

— Но княгиня Нина — тетка моего мужа, царя Соломона! — гордо сказала царица.

— Простите, ваше величество! Я погорячился, забылся, — извинялся Церетели, низко кланяясь.

— Ара икнеба! Ара икнеба! — повторял Ираклий, никого не слушая. — Не бывать этому! Я первый стану в ряды воинов моего отца.

— И я также! Ара икнеба! — повторял за ним Давид.

— Говорят, что солдаты и казаки уже заняли наш дворец и превратили его в казармы, — продолжал Ираклий. — Мы напишем об этом самому императору Александру.

— Да, да! Он, говорят, милостивый и справедливый: это говорил сам князь Зураб, который был в Петербурге и представлялся императору.

Вкусный запах шашлыка, принесенного слугами, прекратил этот горячий патриотический разговор.

IV. ТЯЖЕЛОЕ ВРЕМЯ

После изменнического убийства князя Цицианова под стенами Баку положение наших дел на Кавказе было далеко не из блестящих.

За смертью Цицианова начальство над отрядом, блокировавшим крепость, по старшинству принял генерал Завалишин, осаждавший город с моря во главе небольшой флотилии. Крепость, за несколько минут готовая было сдаться, теперь громила осаждавших по всей линии крепостных батарей. Русские отступили, но не покинули осажденного города. Более полумесяца Завалишин стоял в виду крепости, испытывая всевозможные лишения. А уйти совсем от Баку не позволяла воинская честь, слава русского оружия. Люди довольствовались половинною дачею: это значило — воевать «впроголодь и вполколоть». Люди спали на снегу — без хлеба, без дров, под одними рваными шинелями. У многих солдат совсем не было белья. Нельзя было ни костра развести, ни каши сва-

рить для больных, валявшихся то под дождем, то на снегу. Сырость, стужи, метели и морозы — и больные валом валили. В отряде не оставалось и тысячи здоровых, все лежало покотом на мокром снегу. Несмотря на сырость и слякоть, отряду недоставало воды: источник, из которого можно было брать воду для питья и для приготовления пищи, находился под выстрелами крепостных батарей. Приходилось добывать воду из снега. За неимением дров для варки пищи, по крайней мере для больных, — здоровые могли довольствоваться и сухарями, размоченными в снегу, — Завалишин приказал употребить на дрова две казенные фуры. Чтобы достать дров и нефти, нужно было посылать особые отряды, — и за каждое полено, каждый прут приходилось драться с восставшим населением. Сколько было при войске лошадей — почти все пали от бескормицы. Положение было ужасное!

«Одним словом, всемилостивейший государь, — всеподданнейше доносил Завалишин, — мы заведены в такую западню, из которой разве единая только десница Божия вывести нас может».

Оставалось единственное спасение — это посадить остатки отряда на суда и отплыть на остров Сару.

Покидая негостеприимный берег, Завалишин отправил наудачу курьера в Георгиевск, прося Глазенапа, засматривавшегося в хорошенькие глазки Дареджаны и Геоухер, прислать на остров Сару хоть какой-нибудь шкоут с сухарями и напечь еще таковых в Сладкоеричной пристани, куда Завалишин надеялся попасть, чтобы потом пробраться к Кизляру.

Между тем и во всем Закавказье было не отраднее.

Как передавал князь Церетели царице Имеретии, оставшиеся после Цицианова генералы спорили из-за чечевичной похлебки — кому считаться старшим. Портнягин не хотел слушаться Несветаева, а Несветаев знать не хотел Портнягина. Оба считали себя главными и давали подчиненным противоречивые приказания. «Кого же слушаться?» — в отчаянии спрашивали друг друга подкомандные.

«В рассуждении сего, — писал полковник Корягин Несветаеву, — испрашиваю *с обеих сторон* согласного одного предписания — к кому именно относиться, ибо в службе его императорского величества должен быть один главный начальник отделенным войскам. А как я служу его величеству и любезному отечеству, как сын оного, притом желаю общественной пользы, посему за нужное считаю известить ваше превосходительство, что, по теперешним смутным обстоятельствам и по причине смерти князя П. Д. Цицианова,

нужно единое согласие и исполнение всех его благих намерений и заведений. А как уже неприятельские партии появляются в границах наших и буде узнают расстройство в начальстве нашем, то, конечно, причтут совершенно слабостям нашим и потщатся с большим усилием делать грабежи и опустошения».

На самом деле оно так и было. Все горские племена, уже покорившиеся нам, увидели себя разнузданными. Не стало Цицианова — нет, значит, более узды, нет карающей руки. Айда вперед!

Действительно, подобно всем восточным народам, горцы признавали высшую власть только в одном лице — в Цицианове. Ханы их не знали, что такое русская правительственная власть, которая находилась где-то очень-очень далеко, дальше даже, чем падишах в Стамбуле или Баба-хан в Тегеране, где-то там на полночь, где и солнца нет. Близко же была одна власть — Цицианова. Но его грозной седой головы уже нет тут: она где-то там, в Тегеране, на колу, а то — и в бочке с рассолом. Так думал и Гуссейн-Кули-хан бакинский: отрубить эту голову — и нет больше власти. Он и отрубил ее и послал в Тегеран. Чего он ожидал, то и случилось: ненавистные гяуры отплыли от Баку не солоно хлебавши.

Увидели это другие ханы и также подняли свои бритые головы. Поднял голову и отец прелестной Геоухер, которая теперь сладко покоится в палатке имеретинской царицы у подножия Машука, — Ибраим-хан, повелитель Шуши и всего Карабаха. Поднял голову и отец хорошенькой Дареджаны, которая сладко также покоится у подножия Машука, обнимая во сне своего «демона», — поднял голову Соломон II, коварный царь Имеретии, достойный внучек царицы — «гидры», зарезавшей Лазарева.

Узнав, что грозная голова Цицианова послана в бакшиш Баба-хану и сыну его Аббас-Мирзе, Соломон тотчас же прекратил всякие сношения с русскими, не отвечал на их требования и тотчас же стал приводить Имеретию в оборонительное положение: приказал испортить дороги, ведущие в его царство, и завалил их засеками.

Тогда генерал Рикгоф, отряд которого находился в Имеретии, одним батальоном занял столицу строптивого царя — Кутаис.

Это послужило сигналом к открытому восстанию Имеретии. Соломон заставил присягнуть на верность своей династии многих князей своего царства и вооружить подвластное им

население, чтобы выгнать русских не только из своей столицы, но и из всей Имеретии.

В это время в Персии проживал грузинский царевич Александр, бежавший из Грузии, когда в ней заводились русские порядки и всех лиц царского рода арестовали и выслали в Россию. Видя замешательство по всему Закавказью, последовавшее за смертью Цицианова, этот претендент на престол своих предков возымел надежду выгнать русских из своего царства и воспользовался удобным случаем. Он отправил к Соломону посланца, который, поддерживая притязания имеретинцев на независимость, уверял от имени Александра, что ахалцыхский паша пришлет лезгин на помощь Соломону против русских. Это придало еще больше решимости царю Имеретии: он энергично собирал войско, заготовлял запасы продовольствия и везде рассылал агентов, которые должны были волновать население и угрожать беспощадною местью тем из имеретинцев, которые не станут под его знамена для очищения страны от русских. Имеретия заволновалась. Никто не хотел дать продовольствия русским отрядам, находившимся в Имеретии.

— Выведите войска из Кутаиса и поставьте их в другое место, тогда я доставлю вам необходимое, — отвечал Соломон генералу Рикгофу, когда тот просил его о продовольствии.

А на границах с Персией дела принимали еще более угрожающий характер. Там со всех сторон стягивались войска. Баба-хан, будущий хан Персии, и энергический наследник, шах-заде Аббас-Мирза, постоянно волновали подвластных нам ханов и дагестанцев, готовившихся завладеть всею Ганжею — областью Елисаветполя.

— Пусть жители Ганжи, — говорили они нашему посланнику, — готовятся быть нашими рабами.

И опустошение подвластных нам областей было последствием этих первых угроз.

В таком положении находились дела в Закавказье, когда Соломон, в ожидании неизбежного начала военных действий со стороны России и Персии, отправил за своим семейством, находившимся на минеральных водах, сначала князя Симеона Церетели, а потом и особый отряд для сопровождения царицы и детей в Имеретию.

Мы оставили их на ночлеге под Пятигорском. Дареджана, прощаясь с матерью, чтобы идти спать, присела у нее на кровати.

— Скажи, мама, что это значит, когда кого-нибудь видишь во сне? — спросила она, ласкаясь к матери.

— А это значит, что ты раньше думала о том, кто тебе приснился, — отвечала Мария, гладя головку дочери.

— Отчего же это, мама? — вся встрепенулась девушка.

— Не знаю, милая... Мне так кажется... Разве это оттого, может быть, случается, что когда чья-либо мысль витает над нами, то не только душа его, но и тело бывает с нами, хоть тело далеко от нас.

— Правда, мамочка! — вся зарделась радостью Дареджана. — Ведь говорят, что тело и душа неразлучны в человеке, и когда душа улетает, то тело умирает.

— Так, так, умница... Да что это сегодня на тебя нашли такие мысли?

— Не знаю, мама; может быть, оттого, что папу видела и опять хочу видеть.

Но она очень хорошо знала, что не отца хотела видеть, но даже от себя желала скрыть это.

— Лучше, дитя, хорошенько помолись за отца, — со вздохом сказала Мария. — Видишь, какие времена теперь настали?

— Помолюсь, мама. Но ведь мы победим?

— Будем надеяться на Бога и на святую Нину. — Царица перекрестилась.

— Да зачем, мама, русские хотят взять нашу Имеретию милую?

— Да, говорят, у нас неспокойно, у них спокойнее будет.

— А я думаю, что они просто жадные — им все мало.

— Ну, перестань, дурочка, болтать вздор.

— Это не вздор, мама, это и папа говорил, и князь Зураб; а он, говорят, самый умный человек во всей Имеретии.

— Ну, будет тебе, заболталась что-то сегодня. Иди спать, — сказала Мария, крестя болтунью.

Геоухер уже спала, когда Дареджана воротилась от матери. Девушка, прислуживавшая Дареджане и Геоухер и спавшая в углу палатки за занавеской, проснулась и вышла, чтобы раздеть свою молодую госпожу.

— Ты спала, Марико? — спросила Дареджана заспанную девушку.

— Вздремнула немножко, милая царевна, — отвечала Марико.

— А что видела во сне?

— Не помню, милая царевна.

— Ах, глупая!

— Ах, да! Кишмиш и рахат-лукум ела во сне.

— Глупая! Никого из людей не видела?

— Да, помню: видела русского солдата — такой большой.

— Что ж он?

— Он у меня отнял кишмиш.

— Ну, глупый сон, — сказала Дареджана недовольным тоном. — Я спать хочу.

Она долго потом молилась — молилась об отце, о матери, об Имеретии; но мысли ее от молитвы уносились в сторону и не могли ни на чем сосредоточиться... «Чаще видишь во сне того, кто о тебе думает... Неужели и сегодня увижу?»

На следующий день путешественники наши, миновав горы Железную и Змеиную, которые остались слева, после полудня достигли Георгиевска, главной в то время штаб-квартиры наших войск, расположенных на линии. Здесь же находилось и постоянное местопребывание генерала Глазенапа.

Глазенап, получив от Завалишина известие о наших неудачах под стенами Баку и о волнениях по всему Дагестану, готовился к походу на помощь Завалишину. Он и теперь любезно встретил имеретинскую царицу, поздравил ее с выздоровлением и нашел, что и Дареджана и Геоухер еще похорошели за это время; но ни слова не сказал о том, что делалось в Имеретии. Напротив, просил царицу передать его неизменное почтение царю Соломону и царевичу Константину.

— В скором времени мы ожидаем нового начальника Кавказского края на место покойного князя Цицианова, — сказал он как бы вскользь. — Бедный Павел Дмитриевич! Пал жертвою своего благородства.

— А разве вместо него думают назначить кого-нибудь? — спросила царица.

— Как же! Без этого нельзя, нам нужен хозяин, и крупный.

— Кого же думают назначить?

— Всего вероятнее — графа Гудовича: он старый вояка, уже прославившийся победами над турками, да и в здешних краях он не новичок, — сказал Глазенап.

Потом он любезно обратился к Геоухер, которая собиралась было уйти вместе с Дареджаной.

— Прошу передать от меня поклон вашему батюшке, — сказал он. — Я с почтенным Ибраим-ханом встречался когда-то в Тифлисе.

Геоухер поклонилась, пробормотав что-то. Юные царевичи стояли в стороне и, словно волчата, поглядывали исподлобья. Глазенап их заметил.

— Какие молодцы выросли, — сказал он. — Пора посылать их в Петербург, в шляхетский корпус... Из них выйдут отличные боевые генералы... Хотите в корпус, юные друзья? — спросил он.

— Нет, — угрюмо отвечал Ираклий, сверкнув глазами.

— Что так? — засмеялся Глазенап и отвернулся. — Когда же, ваше высочество[1], вы намерены продолжать путь? — обратился он к царице.

— Сегодня же, генерал, после роздыха, — отвечала Мария.

— В таком случае к вашему конвою я прибавлю еще пушку с несколькими артиллеристами.

— Благодарю вас, генерал. А разве это необходимо? Разве в горах небезопасно?

— Не думаю; но я и почту в Тифлис всегда отправляю при орудии, — сказал Глазенап.

— В таком случае, ваше превосходительство, еще раз примите мою благодарность, — поклонилась царица.

Глазенап откланялся и ушел.

V. ДВА ПУТНИКА

Что же делалось в это время в Имеретии?

В тот день, когда караван царицы Марии, предшествуемый орудием с курящимся фитилем, выступил из Георгиевска, к границе Имеретии, со стороны Турции, по ахалцыхской дороге, следовали два всадника. Один из них походил на католического монаха, хотя поверх монашеской рясы на плечи его накинута была бурка, а голову прикрывал башлык из верблюжьей шерсти. Другой представлял из себя тип лезгина. Оба они были вооружены винтовками и саблями, а из кобур, при седлах, виднелись ручки пистолетов.

— Великий, непобедимый император французов, Наполеон, так и порешил сделать, — говорил монах по-турецки.

— Как же так? — спросил лезгин.

— Так, как они согласились с падишахом и с Баба-ханом: Турция берет Имеретию и Мингрелию, а Персия — Грузию и Кахетию.

— А москов как же — Россия?

---

[1] Русские власти в сношениях на бумаге и в разговорах с царями Имеретии употребляли выражение «ваше высочество» вместо «ваше величество».

— О! да у России земли хоть отбавляй, у русского царя так много земли, что у него никогда не заходит солнце.

Для лезгина последние слова оказались непонятными.

— Как же это так, чтобы солнце не заходило? Что ж, оно стоит у них на одном месте? — спросил озадаченный лезгин.

— Нет, не стоит, а ходит: когда оно заходит в Петербурге или в Москве, то в Камчатке оно уже взошло.

— Ай-ай-ай! Так, значит, у москов никогда не бывает ночи?

— Нет, бывает; а только у них так: у половины русских — ночь, и они спят, а у другой половины день, и они воюют.

— Так они только и знают, что воюют? Вот шайтаны!

— Да, все воюют... Но император французов обрежет им крылья...

— Давно пора! Ах, шайтаны! Солнце не заходит!

Изумление восточного человека не знало границ. Он только головой качал, повторяя: «Ах, шайтаны!»

Но вот и граница Имеретии. Виднеется шпиль минарета.

— Вон и Тавли-вик, — сказал лезгин, показывая нагайкой на минарет. — А дальше уж Имеретия.

— А что же не видно кордонных? — спросил монах.

— Они в Тавли-вике, мимо них никто не проедет.

Скоро показались домики и мазанки Тавли-вика. Это было небольшое турецкое местечко ахалцыхского пашалыка.

У въезда в местечко и стоял турецкий пикет. Солдаты, сидя в тени мазанки, курили, а лошади стояли у коновязей, отмахиваясь от мух.

— Кто едет? — спросил, вставая с земли и подходя к нашим путникам, один солдат.

— Посланцы от его высокостепенства Телим-паши, — отвечал лезгин.

— А где пропуск?

— Вот пропуск от его высокостепенства, — отвечал монах, протягивая к носу солдата правую руку, на указательном пальце которой красовался перстень с бирюзой.

— Я не понимаю, — сказал солдат, рассматривая перстень. — Идемте к начальнику.

Путники наши, в сопровождении двух кордонных, направились к духану, который был тут же. Из духана вышел старый солдат низама с отличками на куртке. Монах молча подал ему перстень с бирюзой. Солдат, рассмотрев надпись на перстне и вензель, почтительно поцеловал его.

— Пропустить! — сказал он, прикладывая левую руку ко лбу, а правой подавая монаху перстень. — Да хранит тебя Аллах на пути твоем.

Путники наши двинулись дальше, оставляя за собою Тавли-вик.

— Аллах керим! — философски рассуждал лезгин, помахивая нагайкой. — Вот и языка нет у перстня, а говорит, да еще как говорит! Ты только показал его старому низаму, а уж он и говорит: «Пропусти их». Это перстень говорит языком Селим-паши: «Пропусти их», — и низам пропустил. Керим Аллах! Акбер Аллах! А москов-то — вот шайтан! — одним глазом спит, а другим смотрит; левой рукой спит, а правой воюет. Ну, шайтан и есть. И солнце у него никогда не заходит — чудеса! А ты сам был в земле москов? — спросил он монаха.

— Был, и родился там, — отвечал монах.

— И родился! — удивился лезгин. — Да сам ты разве москов?

— Нет, я поляк.

— Поляк! И родился в земле москов?

— Нет, я родился в Польше.

— А что ж эта Польша? Пашалык такой или город?

— Да почти что пашалык... А далеко еще до Мухакруа? — спросил монах.

— Теперь недалеко. Проедем только Ачары — там у меня знакомый духанщик, армянин Карапет, мы у него закусим и отдохнем, а там и в Мухакруа.

Они ехали теперь лесною тропою, извивавшеюся по ущелью. Солнце ярко светило, бросая темные тени от вековых деревьев. Птицы веселыми песнями справляли свой весенний праздник — праздник любви. В расщелинах камней раздавался задорный крик горного дрозда. Удод неумолкаемо тянул свою однообразную песню. Между ветвями чинар и дикой акации перекликались звонким свистом иволги, блестя на солнце, словно летающие листы сусального золота.

Вдруг из кустов, с той и с другой стороны лесной тропы, выскакивают какие-то фигуры и с криком «стой» хватают под уздцы лошадей наших путников. Оклик «стой» был произнесен по-русски.

Лезгин схватился было за пистолеты, но сильные руки нападавших удержали его.

— Сдавайтесь, а то мы вас приколем! — сказал один из нападавших.

Это были русские солдаты, пикетами разъезжавшие по Имеретии со стороны ахалцыхского пашалыка.

— Кто вы такие и куда едете? — спросил старый солдат с Георгием на груди.

— Я посланец ахалцыхского паши к генералу Рикгофу, — отвечал довольно правильно по-русски монах. — А это мой проводник, знающий дорогу до Кутаиса.

— А покажи квиток, — сказал солдат.

— Какой квиток?

— А пропуск — бумагу, без бумаги никого не велено пропущать.

— Вот мой пропуск, — сказал монах, показывая перстень.

— Э! да этого нам мало, — возразил солдат. — Мы вас будем обыскивать — так велено, а там поведем на бекет, к начальству: оно пущай разбирает вас. Слезайте же с лошадей.

Пленники, видя превосходство со стороны солдат, повиновались.

— Сымайте с себя и кладите в сторонку сабли и кинжалы, — командовал старый солдат.

Пленники исполнили, что им велели. Другие солдаты держали лошадей.

— Ну, теперича не прогневайтесь — пощупаем, значит, вас: так велено, братцы.

И солдат стал их обыскивать. У лезгина ничего не нашли, кроме нескольких турецких монет.

— Ну, эта птица летает везде без пропуска, — улыбнулся солдат, — ее и без квитка в духане примут.

— Духан, — заговорил вдруг лезгин, — хады, кунак, в духан — буду платил.

— Ладно, кунак, нам этого не полагается, — отвечал солдат, — коли начальство тебя обелит, тогда и угощай которых, а нам это не рука. — И он стал обыскивать монаха. — Ба! Вот и квитки, — сказал он, вытаскивая из кармана сутаны какой-то пакет. — Тут что-то писано... Ну, это снесем к начальству — пущай читает, которое ежели тово...

Монах тревожно потянул руку за пакетом.

— Отдай пакет, кавалер, — сказал монах. — Я его должен лично вручить генералу в собственные руки.

— Ладно, и вручишь, ежели которое начальство позволит, — не соглашался солдат.

Монах, впрочем, не настаивал — это было в его видах, как мы узнаем впоследствии, и тревога его была не из-за пакета, а из-за чего-то другого.

— А теперича которые отведите их на бекет, к начальству, — продолжал распоряжаться старый солдат, — ты, Юхименко, поведешь лошадей, а которые Петров, Сидоров, с ими, значит, как бы атютанты, — честь честью послам которые — поняли?

— Поняли, — разом отвечали Петров, Сидоров и Юхименко.

— А которые мы, братцы, пойдем дальше, значит, дозором, — объяснил старый солдат. — Ну, с Богом, господа атютанты, — кланяйтесь нашим которые.

— Ладно счастливо оставаться, — сказал Петров, пряча за голенище пакет, взятый у монаха.

Юхименко взял под уздцы пленных лошадей, а Петров и Сидоров, забрав оружие пленников и перекинув на плечи ружья, двинулись к Ачарам, конвоируя посланцев Селим-паши. Пленники шли безропотно и скоро вышли из лесной тропы на открытое место. Невдалеке виднелось селение. Это и были Ачары. При виде селения лезгин многозначительно переглянулся с монахом.

— Кунак, а кунак! — обратился он к Петрову.

— А что, кунак? — спросил этот последний.

— В Ачури духан есть, у! якши духан! — продолжал лезгин.

— Точно, есть духан, — отвечал Петров.

— Ходы, кунак, духан: я есть хател, он есть хател, — лезгин указал на монаха, — ты есть и водка пить хател, и все пить и есть будим — га? — И он позвякал деньгами. — Айда духан!

— Правда, и я отощал, с утра ничего не ел, — сказал монах. — Пойдемте, господа кавалеры, закусимте в духане, выпьем за ваше здоровье и отдохнем.

— Ладно, отчего не выпить и закусить, — согласился Петров, — нас с эфтаво не убудет, братцы.

— Вестимо, не убудет, — согласился и Сидоров.

— А я до сего торгу и пишки, — улыбнулся Юхименко, — на то мы витютанты!

— Эх ты, хохол! Сам витютень! — засмеялся Сидоров. — Что за лубяной язык у этих хохлов! Витютанты...

— А как же по-твоему, москва суконная? — огрызнулся Юхименко.

— Атютанты, а не витютанты, витютень — птица, — отвечал Сидоров.

— Да такой и птицы нет, — не соглашался Юхименко.

— Как нет! А слышишь, кричит вон на осине? Слышишь?

— Слышу. Да это кричит припутень, — утверждал Юхименко.

— Припутень!.. Сам ты припутень!

Однако и Юхименко, и Сидоров оказались оба правы: что в Великороссии называется «витютень» — лесной дикий голубь, то в Малороссии — «припутень».

Но вот и Ачары, а при въезде в Ачары — духан. Наши путники подвернули к этой кавказской корчме. В дверях ее показался армянин, с удивлением и не без тревоги смотревший на прибывших. Но лезгин бросил на него такой многозначительный взгляд, что духанщик тотчас кое-что понял и засуетился.

— Давай баран, давай шашлык, давай чихиртма, давай чахохбили, усо давай, нам давай, кунак давай, — заговорил лезгин, в то время когда солдатики привязывали пленных лошадей и вносили в духан оружие, — бурдук давай, раки давай.

— Что есть в печи, все на стол мечи, — пояснил Петров, самодовольно осклаблясь. — Мы проголодались как собаки.

— Сичас, кавалер, сичас все будет готово, — засуетился духанщик.

— А лошадям подвесь торбы с овсом, — сказал монах, входя в духан.

— Сичас, сичас, святой отец, — отвечал духанщик.

Он перекинулся несколькими словами с выглянувшей из другой комнаты армянкой, обменявшись с нею многозначительным взглядом, каким он раньше обменялся с лезгином. Та скрылась за дверью, и вскоре на большом ковре, разостланном на полу и покрытом тонкой циновкой, появились стаканы, блюда с бараниной, сыром из козьего и овечьего молока, лаваши, глиняный кувшин с водкой и бурдюк с вином.

Глядя на все эти роскоши, солдатики радостно облизывались.

— Ну, кавалеры, садитесь, и выпьемте за здоровье генерала Рикгофа, — сказал монах, наливая из кувшина в стаканы.

— Ура! — воскликнул Петров, а за ним и его товарищи, которые, присутствуя на полковых праздниках, знали, как должно встречать такие тосты. — Ур-ра! — повторили они, выпив по стакану.

— У! да и добрая же водка! — заметил Петров, крякнув и сплюнув. — Уж и водка!

— Одно слово — спотыкач, спотыкай-водка, — согласился Юхименко, — настоящий запридух.

После выпивки все принялись за баранину и за сыры, между тем как из смежной комнаты доносился раздражительный запах приготовляемого на пылающем очаге шашлыка.

Кувшин уже без всякого предложения переходил из рук в руки.

— Выпьем за нашего ротного! — возгласил вдруг Юхименко.

И этот тост был принят дружно. Победители начали уже целоваться с побежденными — со своими пленниками.

— Братуха, кунак, целуй меня! — Лез Сидоров целоваться с лезгином. — А с этой свиньей не целуйся — он хохол, витютень.

А Юхименко уже прямо припал к задней ножке бурдюка и тянул чихирь, как воду. Петров о чем-то дружески разговаривал с монахом, повторяя: «А ты не сердись, что я отнял у тебя бумагу, — мое дело исполнять, что велит начальство».

Скоро и Петров, и Юхименко, и Сидоров заснули мертвецким сном.

— Теперь айда! — сказал лезгин, подмигивая монаху и духанщику Карапету. — Лошади готовы?

— Готовы, — отвечал Карапет.

VI. НАПОЛЕОН I И КАПИТАН ПАРФЕНОВ

Невеселое пробуждение ожидало наших загулявших героев. Первым проснулся Петров и сразу не мог сообразить — что с ним и где он. Занималось уже утро. На полу валялись Сидоров и Юхименко, последний головою на недопитом бурдюке вместо подушки.

Петров с трудом приподнялся. Голова его, казалось, была налита свинцом. Он все вспомнил. Где же те, их пленные?

— Эй, кунак! Где ты?

Никто не откликался. Он стал толкать товарищей.

— Вставайте, черти, — беда случилась!

Те только мычали. Он отворил дверь из духана. Утро было ясное — вот-вот и солнышко взойдет. Около духана ни души, и лошадей нет. Он опять в духан. Стучит в хозяйскую дверь: «Хозяин!» Выходит заспанный духанщик.

— А где они? — спрашивает Петров.

— Кто они? Твой кунак... два кунак?

— Кой черт кунаки! Они наши пленные, мы их поймали и вели на бекет... Где они?

— Они вчера уехал, — хладнокровно отвечал духанщик.

— Как уехали!

— Они сказал, што твой кунак, расплатил и айда.

Тут только догадался Петров, что он и его товарищи сделались жертвою обмана. Он оглянулся — все их три ружья стояли в углу в целости... «Слава Богу, хоть казенное добро не унесли», — мелькнуло у него в голове. Он за голенище — и там все благополучно: пакет цел. Придется изворачиваться перед начальством.

Духанщик полез в карман и вынул несколько медных монет.

— А эта они дал тэбэ опохмеляй, — сказал он, передавая деньги Петрову.

— Ишь, черти, какие добрые, — смущенно пробормотал Петров, почесывая затылок, — еще и на похмелье оставили. Ну, давай, — сказал он решительно, — будем опохмеляться. Эй, черти, вставайте, чтобы вас задавило! — кричал он на товарищей, расталкивая ногою то того, то другого. — Беда стряслась!

— Что, что такое? — вскочил Сидоров, бессмысленно озираясь.

— Бежали наши пленные — вот что!

— Как бежали, куда бежали?

— Бежали — и все... К черту на кулички.

Сидоров схватился за голову: «Батюшки! Под расстрел подвели!»

На нем лица не было — такой бессмысленный испуг овладел им. Он вскочил.

— Что же с нами будет? Что мы скажем? Как явимся? — растерянно бормотал он.

— Погоди, я придумал кой-что, — более спокойно проговорил Петров. — Дай только опохмелиться.

В это время духанщик внес кувшин, но уже более скромных размеров.

— Слушай, знаком! — решительно сказал ему Петров. — Ты нас не знаешь, никогда не видал, и мы у тебя никогда не были в духане, и те подлецы, что бежали, не были у тебя, и ты их никогда не видал. Понимаешь, знаком?

— Понимай, — отвечал армянин.

— А проболтаешься — висеть тебе на осине либо на чинаре! Понял?

— Понимай, — повторил армянин.

В это время проснулся и Юхименко. Он напряженно вслушивался в слова Петрова, стараясь вникнуть в их смысл.

— Бежали, — тихо сказал ему Сидоров.

— Слушать, ребята, в оба! — обратился к ним Петров, залпом выпивая стакан чихиля. — Квиток у меня цел — не унесли, подлецы эдакие! — пояснил он, ударяя себя по голенищу. — Слушай, мы вели их, и вдруг откуда ни возьмись татары — видимо их невидимо, — да на нас! Мы в штыки — и стреляли по ним, по чертям, и все ж их сила взяла: отняли у нас пленных и только потому нас не прирезали, что боятся наших товарищей: порежут-де за вас наших жен и детей, а эфти-де пленные — наши кунаки, слуги нашего царя Соломона... Ну и отпустили нас. Поняли, братцы?

— Поняли, — отвечали разом Сидоров и Юхименко.

— Помни же: видимо-невидимо татар.

— Знамо. А теперича опохмелимся и мы да и в дорогу, к бекету, — сказал Сидоров.

Но прежде вышли из духана, облили из бассейна головы холодной водой, помолились на восток и, воротившись в духан, опохмелились и закусили.

Хитрый армянин проводил их с поклонами.

До пикета было недалеко, и потому не далее как через час солдатики заявились к начальству. Они рассказали, как вчера поймали двух лазутчиков, которые пробирались от ахалцыхского паши, как нашли у них письмо к кому-то — будто бы к генералу Рикгофу, — как они потом, оставив товарищей, вели втроем лазутчиков к пикету, как на них напали татары — «видимо-невидимо» и т. д.

Петров подал пакет офицеру, добродушному толстяку с серьгой в ухе.

— Не при мне писано, — сказал офицер, взглянув на адрес и подал стоявшему тут же грузину нераспечатанный пакет.

— Это писано царю Соломону, — объяснил грузин, прочитав адрес.

— А что там внутри? — спросил офицер.

Грузин открыл пакет и стал читать про себя.

— Разбираешь? — спросил офицер.

— Разбираю, ваше благородие: это Селим-паша пишет царю Соломону.

— Ну, что же?

— «Селим-паша ахалцыхский, — медленно и заикаясь переводил грузин, — его величеству Соломону II, Божией милостью царю Имеретии, здоровья и бесчисленных дней у Бога просит. Да будет ведомо вашему величеству, что его всевеличество, а мой милостивый повелитель, царь царей, тень Аллаха на земле, великий падишах — да гремит во вселенной слава его вовеки! — даровал мир и прощение русскому императору...»

— Ах, ракалья! — не вытерпел толстяк офицер. — Он, видишь ли, даровал прощение нашему государю... Ах он, свиное ухо! Тень сатаны на земле!.. Ну, читай дальше.

— «...Даровал мир и прощение русскому императору Александру, французскому императору Наполеону и английскому царю, — продолжал переводить грузин, — а Имеретия и Мингрелия милостиво приняты под высокую руку падишаха, моего повелителя, а Грузию и Кахетию он милостиво уступил Персии...»

— Ах он ракалья! — снова не выдержал толстяк. — Уступил!.. А! Каково!.. Милостиво уступил!

Толстяк так и прыгал на месте. Но, несмотря на все его возбуждение, покрасневшее лицо его выражало не злобу, а добродушие.

— Ну, что дальше? Дорезывай, — сказал он грузину, сверкая круглыми глазками.

— «А равно и Крым его всевеличество падишах отобрал обратно, и в Крым уже назначен особый хан...»

— А! Врет как сивый мерин, — уже спокойно заметил офицер. — Ну!

— «Послы же русского императора, французского императора и английского царя, — продолжал грузин-толмач, — прибыли к сераскиру Юсуф-паше с тем, чтобы, какие русские войска находятся в Ганже, или в Шуше, или в Тифлисе, в Имеретии, или в Кулеви, — все собрать вместе и из Дербента отправить в Россию...»

— А! Ракальи! — снова вспылил толстяк. — Это меня-то выгнать из Имеретии! Меня из Дербента отправить в Россию — меня! Да меня разве за ноги выволокут отсюда мертвым, а живым я не пойду! Нет — не затем мы дрались, чтобы нас отсюда выгонять, как овец! Нет! На — выкуси!

Он бегал из стороны в сторону и ерошил на себе волосы.

— Ну и квиток же мы поднесли его благородию, — улыбнулся Петров и подмигнул Сидорову.

— Слава Богу, — шепнул на это последний, — все на квитке стряслось, а то бы нам несдобровать.

— Ну, — вдруг остановился офицер перед толмачом, — что ж ты не читаешь дальше?.. Что там еще он плетет?

— Он пишет дальше, — продолжал толмач. — «При сем прилагаю вашему величеству выписку из договора, заключенного императором французов с его всевеличеством падишахом и с повелителем Персии — Баба-ханом...»

Толмач остановился и вертел в руках отдельный листок бумаги.

— Ну, читай эту выписку, — сказал офицер, раскуривая трубку, которую подал ему денщик, хорошо знавший, чем успокоить расходившегося «его благородие». — Гм... гм... трубка — это хорошо... ну!

— Да этого, ваше благородие, я не прочту, — отвечал толмач. — Это, должно быть, по-французски.

— А ну!.. — И офицер выхватил листок из рук толмача.

— Ах, черт возьми, ведь и я этого не прочту — не маракую! — тер он рукою лоб и переносицу. — Параграф третий — это я понимаю, а дальше — черт побери! А ну, попробую: литеры-то есть знакомые... «За таиезте» — ах ты, дьявол! «За таиезте...» Не понимаю ничего!

В это время за палаткою, на опушке леса, показались два юных офицера.

— А! Гриша! Вася! — обрадовался толстяк. — Идите скорей! К вам есть дело, да прелюбопытнейшее.

Молодые офицеры приблизились. По всему видно было, что они недавно выпущены из корпуса: южное солнце и боевая жизнь еще не успели наложить на их свежие лица ни загара, ни походной гримировки.

— Что такое, Петр Иванович? — спросил, подходя к толстяку, первый из них, белобрысый, безусый офицерик золотушного вида.

— Да вот, душечка, перехватили письмо от Селим-паши к Соломону-премудрому, — сказал толстяк. — Да только тут есть точка с запятой, через которую я не перескочу.

И он вкратце рассказал прибывшим то, что нам уже известно.

— А вот эта чертова запятая, через которую я не могу перескочить, — сказал он, передавая белобрысому листок.

Последний пробежал листок глазами.

— Ого! — воскликнул он. — Слышишь, Жданов, что тут прописано? «Параграф третий: Sa majesté l'empereur des français reconnait l'Yméréthie comme appartenant legitimement à sa majesté l'empereur de Turquie, et la Gèorgie — à sa majesté l'empereur de Perse». А! Каково!

— Да ты что, Гришка, подлец, бормочешь по-собачьи, — схватил его за руку толстяк. — Ты прочти мне толком, русским языком, а не собачьим.

— Да тут говорится, — добродушно улыбнулся белобрысый офицерик, — что «его величество император французов уступает Имеретию, как законно принадлежащую, его величеству султану турецкому, а Грузию — шаху персидскому».

— Ах он корсиканец! — снова вскипел толстяк. — Он уступает! Да я не уступлю, я, капитан Парфенов, не уступлю!

Оба молодых офицера рассмеялись.

— Конечно, мы не уступим, — подтвердил и тот, которого называли Васей, небольшой брюнетик.

— Ни за что! — горячился Парфенов. — Ну, а что там дальше? — спросил он.

Гриша читал: «Он обязывается...»

— Кто он? — перебил Парфенов, неистово дымя трубкой.

— Да все Наполеон, — отвечал Гриша.

— Ха, ха! Он обязывается! Ну!

— «Он обязывается, — продолжал Гриша, — употребить все усилия, чтобы принудить Россию...» Слышишь, Жданов?.. «Il s'engage à faire tous les efforts pour contraindre la Russie...» Каково! Принудить!

— Это меня-то принудить! Меня! — не вытерпел толстяк.

— Да, вас, — подзадоривал его Жданов, — так и говорит: «...pour contraindre monsieur le capitaine Parfenoff...»

— Ну тебя, пустомеля, — отмахнулся чубуком толстяк. — Читай дальше, Гриша.

— Да, да, именно, принудить Россию, — продолжал последний, — «...à l'evacuation de l'Yméréthie et de la Gèorgie et du territoire persan...»

— Да ты переводи, черт возьми, а не стрекочи сорокой, — остановил его Парфенов.

— Виноват, Петр Иванович, — спохватился Гриша. — Он пишет, что принудит Россию «эвакуировать», то есть очистить «Имеретию, Грузию и персидские провинции».

— Ну, это мы еще будем посмотреть, — уже более спокойно заметил Парфенов, принимая из рук денщика свежезакуренную трубку.

— Но это еще не все, — сказал Жданов, заглядывая в бумагу.

— Не все? — воззрился на него толстяк, раскуривая трубку.

— Да, Петр Иванович, — ответил Жданов с едва заметною коварною улыбкой. — Дальше Наполеон говорит: «...cette evacuation sera constamment l'objet de sa politique et de toute sa sollicitude...»

— Да ты что — нарочно застрекотал? — перебил чтеца Парфенов.

— Pardon, Петр Иванович, — с хитрой улыбкой извинялся Жданов. — Но я не умею переводить, если не прочту вслух всей фразы.

— Ну и не брался бы, без тебя бы Гриша перевел.

— Ну, еще раз извините... Наполеон пишет, что это очищение от русских Имеретии, Грузии и персидских провинций «постоянно будет предметом его политики и всех его забот». Теперь все!

— Пусть себе заботится, — небрежно махнул рукою Парфенов. — Мы также позаботимся, и мы не левой ногой сморкаемся. Подожди, корсиканец, не хвались, идучи на рать...

При последних словах Юхименко фыркнул и зажал нос рукою.

— Можете идти, — махнул в их сторону Парфенов, — спасибо за квиток... Молодцы!

— Рады стараться, ваше благородие! — отвечали все трое...

— Вывезла кривая, — шепнул Петров, удаляясь.

VII. СТРАННОЕ ПИСЬМО

Соломон II, последний царь Имеретии, представлял собою редкое явление среди владетельных особ Кавказа и Закавказья. Он, выражаясь иносказательно, оставался единственным и непоколебимым кормчим своего родного корабля, «руль которого», как он сам говорил, вложен в его державную руку Божьей милостью, и руль этот он не считал себя вправе уступить кому бы то ни было.

— Посмотрите, — говорил он приближенным князьям, — весь флот священной Иверии разметали бури и ураганы, нагрянувшие на нашу страну из-за гор, с далекого и холодного севера. Где некогда мощный корабль Грузии? Куда занесли северные ураганы государственную ладью Мингрелии? Оглянитесь — мачты их сломаны, снасти порваны, паруса унесены в негостеприимное море и нет спасительных якорей. Остался невредимым только мой корабль — корабль

дорогой нам Имеретии, — и я с вашей помощью спасу его; только мертвая рука моя выпустит руль, вложенный в эту руку десницею великого Бога.

Мечтатель и энтузиаст, он считал грехом и преступлением против страны поступиться хотя бы на йоту своими правами и вольностями. Но ему это только казалось; в сущности же он дрожал лишь за себя и за свою корону, хотя она и была... игрушечною коронкою.

— Мы ни у кого не отнимали ни земли, ни воды, ни неба, — говорил он в собрании князей, — это наше небо, распростертое над нами десницею Всевышнего; это наши горы, наши холмы и долины, среди которых покоятся вечным сном наши предки, завещавшие нам нашу землю.

В наружности Соломона было много привлекательного. Высокий рост, широкие плечи при удивительно тонком и гибком стане, целый лес волос, посеребренных сединою, красивое нервное лицо с необыкновенно мягким и теплым выражением глаз — все это с первого взгляда располагало в его пользу.

Трагическая смерть Цицианова еще более укрепила Соломона в правоте своего дела.

— Он забыл родную мать, священную Иверию, и мать наказала своего недостойного сына, — говорил он по поводу этой смерти.

Но Соломон не выходил из роли доброго соседа и друга единоверной России. Он это хотел даже выразить особым посольством, которое намеревался послать в Петербург с уверениями в вечной братской дружбе.

Вышло, однако, наоборот.

Генерал Рикгоф, стоявший с своим полком в Имеретии, богатой продовольственными средствами, по получении известия о смерти князя Цицианова, вдруг, не предупредив даже Соломона, занял войском его столицу Кутаис. Это показалось Соломону незаслуженной и тяжкой обидой: это был уже не постой войск братского народа, а немое завоевание независимого государства. Мало того, Рикгоф занял своевольно местечко Марани и Лечгум, которым особенно дорожили Соломон и вся Имеретия.

Соломон в сопровождении небольшой свиты придворных выходил из собора в то самое время, когда посланный генералом Рикгофом для занятия Кутаиса батальон Белевского полка вступал в город при звуках военной музыки.

— Что это? Русская военная музыка? — остановился царь Имеретии в глубоком изумлении.

В это время показался всадник в богатом имеретинском одеянии и, бросив подвод на шею коня, почтительно приблизился к Соломону.

— Что это за музыка? — спросил последний.

— Это русские вступают в город, ваше величество, — отвечал прибывший.

Прибывший был старший сын Соломона, царевич Константин, необыкновенно напоминавший свою младшую сестру, красавицу Дареджану, ту самую, которую во сне обнимал не то демон, не то князь Симеон Церетели.

— Русские вступают в город! — еще в большем смятении воскликнул Соломон. — По какому праву?

— По праву друзей и покровителей, — горько улыбнулся царевич.

Батальон приближался. Музыканты, по команде старшего офицера переменив обыкновенный походный марш на парадный имеретинский, поравнялись с Соломоном и смолкли.

Батальон, по команде, остановился и отдал честь царю Имеретии. Старший офицер приблизился к Соломону, который стоял безмолвный и бледный.

— Честь имею рапортовать вашему величеству, что, по распоряжению его превосходительства генерал-майора Рикгофа, моего непосредственного начальника, я с вверенным мне батальоном вступаю в Кутаис, — молодцевато отрапортовал офицер.

— А для какой надобности? — глухо спросил Соломон.

— Для охранения особы вашего величества и столицы Имеретии, — был ответ.

Соломон круто повернулся и, не говоря ни слова, удалился со своей свитой.

Воротившись во дворец, он тотчас же созвал военный совет. В совете находились старейший и почетнейший из князей Имеретии, князь Зураб Церетели, его сын князь Григорий, князь Кайхосро Церетели, князь Сехния Церетели, князь Кайхосро Абашидзе с красавцами сыновьями-гигантами, князь Сехния Цулукидзе, князь Соломон Леонидзе и др.

— Ваше величество, — возвысил голос князь Кайхосро Абашидзе, которого в официальных бумагах того времени называли «главным возмутителем Имеретии», — ваша прозорливость оправдывается на деле. Последний свободный державный корабль священной Иверии находится в опасности. Пираты пробрались уже на палубу...

— Но руль еще в моих руках! — страстно перебил его Соломон. — Мои верные помощники все налицо — приветствую вас!

Бурные восклицания были ответом на эти слова.

— Умрем на палубе нашего священного корабля.

— Нет! О смерти еще рано говорить, впереди победа!

— Да здравствует наш обожаемый кормчий!

Только Зураб Церетели не поддавался этому безумному увлечению. Хитрый старик сидел в тени и ехидно улыбался.

«Дурак и в самом деле воображает, что он — кормчий державного корабля, — говорили его лукавые глаза — кукла, которой всякий помыкает, дергун, которым дети потешаются, дергая за честолюбивые ниточки его маленькой душонки...»

Коварный и честолюбивый старик лучше всех понимал положение дел и, втягивая доверчивого Соломона в петлю, им же самим расставленную, тайно преследовал свои личные цели. Из всех здесь бушующих патриотов маленького царства он один знал, с каким колоссом этому игрушечному царству приходится иметь дело. Ни Соломон, ни окружающие его князья — никто из них не видал России, никто не переваливал туда, за хребет, где к самому Ледовитому океану раскинулась неизмеримая страна, прикрыв своим громадным телом и берега Тихого океана, о котором наивные имеретинцы даже не слыхали. А князь Зураб Церетели видел Россию — он был в Петербурге. Князь Зураб понял, что ни Персии, ни Турции не опрокинуть этого колосса, закованного в стальную броню. И вдруг маленький Соломон, злейшая пародия на настоящего царя Соломона, идет против этого колосса!

Перед старым Зурабом проносились грандиозные и страшные картины, какие развертывались перед ним по мере переезда его через Кавказский хребет и по мере движения в глубь необозримой России.

Бесконечные кубанские степи, подобного чему он никогда не видывал, не подозревал даже о существовании на земле таких пространств; бесчисленные и многолюдные города, перед которыми не только Кутаис, но и Тифлис — гордость всей Иверии — казались небольшими деревеньками; огромные реки, катившие свои воды на пространстве тысяч верст; а Москва, которая ужаснула его своей величиной, своим шумом и гамом, своими бесчисленными, как ему казалось, церквами, башнями Кремля, стенами; а Петербург с его войсками, дворцами... А эта великолепная и грозная гвардия... И против всего этого выступает игрушечный царек со своим игрушечным царством!

«Ну и пусть его... Тем лучше, скорее свернет себе шею, а я сяду на его место», — чуть не вслух думал старый Зураб.

Когда шум несколько стих, в залу собрания вошел один из царских нукеров и что-то таинственно шепнул царевичу Константину.

Царевич вышел в сени. Там стоял какой-то монах.

— Ты кто такой? — спросил его царевич.

— Мои слова и мое имя могут слышать только твои уши, царевич, — уклончиво отвечал таинственный монах, давая этим понять, что они должны остаться вдвоем.

Царевич знаком приказал стоявшим в сенях нукерам удалиться на крыльцо.

— Кто же ты? — снова спросил он.

— Я — глаза и язык грузинских царевичей Александра и Теймураза, — вычурно отвечал незнакомец. — Они послали меня к царю Имеретии.

— Зачем?

— Чтобы стереть пыль, покрывающую прозрачное зеркало родства и дружбы Грузии и Имеретии.

— Где же теперь царевичи?

— Там, где господствуют непобедимый лев и все освещающее и оживляющее солнце.

Царевич понял это восточное цветистое иносказание.

— Как же ты пробрался через русские пикеты? — спросил он.

— Меня охраняла моя одежда и чужие волосы, — туманно отвечал незнакомец.

— Чем же ты докажешь, что ты посланец царевичей Александра и Теймураза? Есть у тебя письмо от них?

Незнакомец улыбнулся.

— Письмо?.. Но письма таких, как я, приводят прямо в пасть шакалов, а шакалы теперь рыщут по всем тропам, ведущим к стану льва и солнца, — отвечал он по-прежнему фигурально и туманно. — И шакалы ощупывали каждый шов моей одежды и подошвы моих чевяков.

— Чем же ты докажешь, что ты не шпион наших врагов? — уже с нетерпением спросил царевич.

— Это докажет моя голова, — был невозмутимый ответ.

— Как голова?

— Кожа моей головы: ее шакалы не тронули.

— Но и это для меня не ясно! — волновался царевич. — Говори толком, а то я сам трону твою голову.

И царевич положил руку на рукоять кинжала, блестевшего у него за поясом.

— Царевич, — сказал незнакомец твердо, — веди меня в свою комнату.

— Зачем?

— Там узнаешь... Веди, не бойся, видишь, со мною нет оружия — одни четки — я монах.

— Я не боюсь твоего оружия, — гордо сказал царевич. — Иди за мной.

Они прошли во внутренние покои, в комнату царевича Константина. Через балконную дверь этой комнаты открывался великолепный вид на Рион и на окрестные горы.

Как дороги были эти родные картины сердцу царевича Имеретии! Его душа с детства срослась с этою дивною панорамой. Эти изломы гор, эта роскошная зелень, это голубое небо... И вдруг — где-то вблизи он услышал глухие раскаты русского барабана... Острая боль заставила сжаться его сердце... Ему вспомнилась милая Дареджана, которая на этом балконе проводила с ним и с Геоухер последний вечер перед отъездом их за хребет, в далекий Пятигорск... Геоухер... тайное пожатие ее маленькой ручки...

Он опомнился.

— Ну что же, — обратился он к незнакомцу, — долго ты будешь испытывать своими загадками мое терпение?

— Нет, царевич, — все так же невозмутимо отвечал странный незнакомец. — Есть у тебя верный нукер, уста которого никому не выдали бы того, что видят его глаза?

— Есть. Ну, что ж дальше?

— И умеет он брить? — последовал вопрос на вопрос.

— Брить? Да ты смеешься надо мной!

— Не сердись, царевич, и позови сейчас верного нукера, который умеет брить, — сейчас все узнаешь.

Царевич невольно засмеялся. Его уже начинал занимать этот странный болтун, напустивший на себя таинственность. Он хлопнул три раза в ладоши.

На пороге показался старый имеретинец, нечто вроде дядьки и пестуна царевича.

— Ты умеешь брить? — обратился к нему незнакомец.

Старый нукер удивился и вопросительно посмотрел на царевича. Тот улыбался: его уже забавляла эта комедия.

— Отвечай же ему, — сказал он, — умеешь брить?

— Да как же не уметь! — развел старик руками. — Я и его величество, царя Соломона, всегда брею, и его высочество царевича начал брить, как только у него показался пушок на подбородке.

— Так принеси все для бритья: бритву, мыло, теплой воды, — распоряжался странный незнакомец.

Нукер принес все, что требовалось.

Тогда незнакомец взялся за голову, и длинные курчавые волосы очутились в его руках. Это был парик. Освобожденная от парика круглая голова незнакомца оказалась покрытою черными, гладко остриженными волосами.

— Теперь брей мою голову, — сказал он, садясь на пол по-восточному.

Нукер густо намылил ему голову и стал брить. Царевич с любопытством смотрел на эту операцию. По мере очищения головы от мыла и сбритых волос на ней ясно обозначались черные буквы: голова исписана была по-грузински.

— Вот тебе письмо, царевич, — сказал странный посол, ткнув пальцем в свою бритую башку.

Царевич нагнулся и с любопытством всматривался в странное послание.

«Мы, скитающиеся на чужбине царевичи Александр и Теймураз, — читал он отдельные фразы,— мы, которых приютила гостеприимная страна льва и солнца... Баба-хан, всемогущий повелитель Ирана, царь-царей... непобедимый Аббас-Мирза и его львам подобные воины... головы непокорных будут потоптаны конскими копытами...»

— Теперь веришь, царевич? — спросил бритый посланец.

— Теперь верю, — был ответ. — Где же ты оставил царевичей Александра и Теймураза.

— Они в Эривани, при войсках Аббас-Мирзы.

В это время опять послышался глухой гул барабанов. Царевич вздрогнул.

— Знакомая музыка, — сказал мнимый монах, вытирая мокрым полотенцем бритую голову. — Под эту музыку хоронили нашу милую Грузию.

— Но мы не дадим себя заживо похоронить, — с силой сказал царевич.

— Да, и мы воскресим своего Лазаря, — добавил мнимый монах. — Ибраим-хан на нашей уже стороне.

— Владетель Карабаха? — спросил царевич, и сердце его учащенно забилось.

Ибраим-хан — это отец красавицы Геоухер, и при имени ее отца в памяти царевича мгновенно воскресло ее милое личико. На этом балконе в тот памятный вечер, перед отъездом с его матерью, царицею Марией, и с сестрою Дареджаной в Пятигорск, она, прелестная Геоухер, так весело болтала о кра-

сотах своей родины, о живописном ущелье Делижана, о поездке с братьями к озеру Гокча... А это пожатие маленькой ручки... Что может быть проще и невиннее этого; но для него это было откровение... преддверие рая... Помнит ли она его? Помнит ли этот вечер, темное небо, усыпанное звездами, тихий плеск Риона, взаимное тайное пожатие рук?..

— Что же, царевич? — вывел его из сладкой задумчивости мнимый монах.

— А что? — опомнился молодой влюбленный горец.

— Веди меня к царю, я к нему послан.

— Хорошо. Подожди здесь. Я сейчас доложу отцу.

И царевич направился в покои, где шел военный совет, невольно твердя в уме: «Странное письмо, невиданное письмо...»

VIII. «ДОЛОЙ ФИЛИСТИМЛЯН!»

Вскоре посол царевичей Александра и Теймураза был введен в покои, где происходило совещание военного совета.

Все с любопытством посмотрели на его бритую и расписанную иероглифами голову — оригинальную депешу беглых царевичей. Об этой восточно-остроумной депеше их предуведомил уже царевич Константин.

Первым подошел к посланцу царь Соломон, а за ним и прочие князья.

— Кто это придумал такую ловкую штуку? — спросил Соломон, наклонясь к голове посланца и разбирая написанное на ней.

— Царевич Александр, ваше величество, — отвечал посланец.

— Ай да умница! — воскликнул старый князь Абашидзе Кайхосро.

— Ну, вовсе не надо много ума, чтобы чужую выдумку выдать за свою, — заметил князь Зураб Церетели.

— Как чужую, князь! — удивился Абашидзе.

— Да так — чужую; я читал где-то, что такую же штуку проделал давно, очень давно когда-то древний царь или полководец, — отвечал князь Зураб.

— Правда, правда, князь, — подтвердил и князь Леонидзе. — Не далее как на праздник Нины ко мне приезжал из Тифлиса мой сын, который учится в тамошнем училище, где обучают и истории, так он вот точно такой же анекдот рассказывал мне из своей истории.

— Что ж, и то хорошо, что царевич Александр вспомнил об этом случае, если знал о нем прежде, и воспользовался им, благодаря этому мы имеем от него важное послание, — авторитетно заявил царь Соломон.

Все согласились с этим.

— Что же еще наказали тебе царевичи на словах передать нам? — спросил Соломон.

— Они приказали доложить, что скоро Баба-хан, повелитель всего Ирана, и его наследник шах-заде Аббас-Мирза отберут от русских весь Кавказ и что уже пристали к ним и отложились от России и Ибраим-хан, владелец Карабаха, и Сурхай-хан казикумухский, и Селим-хан шекинский из Нухи, и бакинский владелец со всем Дагестаном, — все это поднялось на ноги, когда прошла весть, что голову старого Цициана послали в подарок Баба-хану.

— А ее там, вероятно, уже набили соломой, — заметил молодой Абашидзе, красавец Димитрий.

— Да, — подтвердил князь Леонидзе, — у персов и у турок существует этот обычай — набивать головы убитых врагов соломой и за каждую такую голову выплачивать двести гурушей — немного более десяти рублей тому, кто отрубил эту голову.

— Ну, за старого Цициана, я думаю, не гурушами заплатят, а чем-нибудь подороже, — двусмысленно улыбнулся старый Зураб.

— Так и Ибраим-хан, ты говоришь, отложился от России? — спросил посланца Соломон, обдумывая что-то.

— Отложился, ваше величество.

Соломон обратился к сыну. Этот последний побледнел.

— А ведь дочка Ибраим-хана, красавица Геоухер, находится теперь в русских пределах, в Пятигорске, вместе с царицей и моими детьми, — сказал Соломон, не замечая бледности сына. — Как бы ее не захватили в плен русские, когда узнают о восстании ее отца.

— Да, отец, это может быть, — проговорил царевич Константин дрожащим голосом. — Тогда гибель дочери Ибраим-хана падет позором на наши головы — она наша гостья... Ее надо спасать... Позволь, отец, я поеду в Пятигорск к матушке... я постараюсь спасти княжну.

— Нет, — сказал Соломон, — ты мне нужен. Мы пошлем туда кого-нибудь другого.

— Но, батюшка... — возразил было царевич, но старый Зураб Церетели перебил его.

— Не беспокойся, царевич, — сказал он, давно заметив бледность молодого человека, — там теперь князь Симеон — он давно поехал туда.

— Но он не знает об опасности, угрожающей княжне, — возразил влюбленный царевич.

— Узнает, мы предупредим его об этом... Нам кое-что известно, — с улыбкой продолжал старый Зураб, — почтенный Джафар-Кули-хан, этот милый старичок, хотя уже и мышей не давит, но он большая сила в Тифлисе...

— Что ж из этого, почтеннейший князь, — начинал горячиться царевич.

— А то, что старец Джафар — мне это известно — молится на красавицу Геоухер и надеется...

— На что надеется? — продолжал горячиться влюбленный.

— Надеется спасти ее в своих старческих объятиях...

Но Соломон прервал их неуместный спор.

— Довольно об этом, Константин, — сказал он строго. — Я прикажу князю Симеону проводить княжну до Тифлиса, а оттуда Джафар-Кули-хан найдет возможным в безопасности доставить ее к отцу, в крепость Шушу, — под защитой Джафар-хана ее не тронут русские. А царице и детям я велю проследовать из Пятигорска в Вард-цихе, минуя Кутаис. Я пошлю за ними особый конвой.

— Но, батюшка, — снова заговорил было царевич.

— Что еще? — сердито спросил Соломон.

— Не лучше ли и княжне Геоухер укрыться у нас, в Вард-цихе... Это было бы безопаснее... А то, если там откроются военные действия, Джафар-хан не защитит ее.

— Нет и нет, — горячо сказал Соломон, — пусть будет так, как я решил.

Затем, ввиду занятия Кутаиса русскими и ввиду принесенных мнимым монахом вестей, решено было, что Соломон и некоторые из ближайших его советников тотчас же оставляют Кутаис и переселяются в укрепленный и неприступный замок Вард-цихе, лежащий в горах, невдалеке от границ ахалцыхского пашалыка, в котором Соломон имел тайного союзника в лице могущественного Селим-паши, полновластного владыки Ахалцыха и непримиримого врага русских. Прочие князья, оставаясь в Имеретии, должны немедленно заняться, в глубочайшей тайне, сформированием поголовного ополчения, заготовлением запасов продовольствия, порчей дорог во всей стране, в особенности же в пограничных местах, чтобы тем препятствовать вступлению в Имеретию русских отрядов. За-

тем объявить во всей стране, чтобы жители ни под каким видом, ни за какие деньги не давали расположенным в Имеретии русским командам продовольственных запасов и фуража, и обещать имеретинцам всевозможные вольности и льготы.

Царевич Константин, в другое время горячо принимавший к сердцу все, что касалось интересов его родины, ревностный советник отца и его помощник в управлении страною, теперь, в такую горячую и критическую минуту, переживаемую его отечеством, сидел в стороне в глубоком унынии. С одной стороны, прозрачные намеки князя Зураба относительно дряхлого и безобразного Джафар-Кули-хана и юной Геоухер, с другой стороны — опасение, что эта девушка может сделаться пленницею русских, — в первый раз представились ему во всей ужасающей возможности. Ведь Джафар-Кули-хан — мусульманин, и религия не запрещает ему иметь несколько жен, даже целый гарем. А несметные богатства его могут оказать неотразимое влияние на отца Геоухер... И вспомнилось ему первое знакомство с этой очаровательной девочкой. Это было в Тифлисе, куда царица Мария вместе с ним и Дареджаной ездила на поклонение чудотворному кресту просветительницы Грузии — святой Нины. Дареджана и Геоухер встретились и познакомились в доме князя Цицианова, который оказывал особенное внимание прелестной карабахской княжне ввиду могущественного влияния ее отца Ибраим-хана на все мусульманское население, пограничное с Персией. Дареджана и Геоухер так скоро сблизились и подружились, что не могли расстаться, и, когда Дареджана сообщила своей подруге, что им пора возвращаться в Кутаис, Геоухер, со всею силою восточной страсти привязавшаяся к имеритинской царевне, безутешно плакала — плакала до того, что ее прелестное личико даже распухло от слез. Тогда Дареджана предложила ей ехать вместе с ними в Кутаис погостить, на что Ибраим-хан охотно согласился, не смея ни в чем отказать своей любимице. И что это была за очаровательная поездка! Всю дорогу царевич Константин гарцевал на своем белом Лебеде около богатой арбы, из-за расшитого шемахинскими шелками полога которой, посреди лиц царицы Марии и царевны Дареджаны, выглядывало очаровательное улыбающееся личико карабахской татарки.

А в Кутаисе — сколько они бродили по горам, перескакивали через горные ручьи, забирались в темные пещеры, карабкались по скалам! Геоухер умела лазить по горам и опасным обрывам с легкостью серны. К этому приучила ее гори-

стая природа ее родины, стремнины и скалы Малого Кавказа. Однажды, когда все они — царевич Константин, Дареджана и Геоухер, а также царевичи Ираклий и Давид, бродили по лесу, Геоухер вдруг исчезла. На все оклики, обращенные к ней, никто в лесу не отзывался. Тогда начали искать ее, и все разбрелись в разные стороны. Вдруг царевич Константин слышит, что где-то недалеко кукует кукушка. Он и пошел на голос этой весенней птицы, догадываясь, что это не кукушка, а шалунья Геоухер. И действительно, он увидел ее на одной развесистой чинаре. Юная проказница сидела на одной ветке и качалась. Константин видел, что ветка непрочная и может обломиться, и потому стал под самой веткой, расставив руки. Шалунья еще сильнее стала раскачивать ветку — и вдруг полетела с хохотом прямо в объятия молодого человека. С невыразимой нежностью он прижал к себе этого ребенка и осторожно поставил на ноги. Но юная татарочка была еще слишком ребенок и не понимала, какие чувства она будила в пылкой душе молодого имеретинца.

И только накануне отъезда в Пятигорск там, на балконе, вечером случилось то, что показало царевичу, что юная дикарка уже не ребенок. Когда они втроем сидели на балконе и Дареджана вслух мечтала о предстоявшей им поездке на хребет, маленькая ручка Геоухер в темноте пробралась к руке царевича.

Вот и все...

— Константин!

Царевич так далеко унесен был отсюда своими думами, что не расслышал возгласа отца.

— Константин! — повторил тот свой оклик. — Ты уснул, что ли?

Царевич точно очнулся от сна и вскочил, встревоженный.

— Что, батюшка? — спросил он.

— Поди и пригласи сюда митрополита.

— Которого, батюшка? Генатели?

— Нет, нет, не этого...

— Этот ненадежен — этот норовит туда, — пояснил князь Леонидзе.

— Пригласи митрополита Софрония — немедленно же, — сказал Соломон.

— Слушаю, батюшка.

— Да скажи ему, чтобы он взял с собою крест и Евангелие.

Царевич вышел. Если бы его спросили, какие решения принял военный совет в его присутствии, он не сумел бы от-

ветить. Он помнил только, что говорил князь Зураб о Джафар-Кули-хане, о Геоухер, о том, как на чинаре кукушка куковала и как в темноте к его руке протягивалась другая ручка. Вместо митрополита Софрония он чуть не попал к митрополиту Генатели, да и то от этой ошибки его спас протопоп Габаони, попавшийся ему навстречу и спросивший, куда спешит его высочество. Протопоп Габаони, как и митрополит Софроний, пользовались доверием и расположением царя Имеретии.

Вскоре явился и Софроний. Это был среднего роста плотный и бодрый старик, хороший наездник (ему часто приходилось разъезжать верхом по горам своей метрополии) и до того обросший черной курчавой бородой, что лицо его почти все, чуть не до глаз, было покрыто волосами, и из этого леса волос огромный восточный нос его торчал небольшою скалою с сизым оттенком. Несмотря на свой свирепый вид, старик был очень добр и страстно любил детей, которые называли его «святой дедушка».

Соломон объяснил ему, зачем пригласил в собрание военного совета.

— Ох, знаю, знаю, ваше величество, — покачал головою митрополит, — эти барабаны да трубы до того напугали всех кутаисских ребятишек, что они и от меня бегают: боятся, как бы я не отдал их этим барабанщикам. Этого еще недоставало!

— Да, ваше высокопреосвященство, — улыбнулся старый Зураб Церетели, — теперь тютю ваши курочки!

— А что, князь? — встрепенулся Софроний, который был страстный охотник до кур и гордился своими курочками всевозможных пород и ни за что не решался их есть. — Что курочки?

— Да тютю, — продолжал улыбаться ехидный Зураб, — они — известные куроеды, и вашим курочкам несдобровать — всех переедят.

Но Соломон напомнил о деле.

— Вам известно, ваше высокопреосвященство, — сказал он, — что по договору, заключенному мною с русскими властями, военные команды их должны быть размещаемы там, где я, царь Имеретии, пожелаю и укажу, а они самовольно, точно победители, вступили в нашу столицу; по тому же договору, русского войска должно быть в Имеретии только сто двадцать человек, а они теперь запрудили солдатами всю нашу страну.

— Да, это прямое нарушение святости договора, — как бы рассуждая сам с собой, проговорил митрополит и потупился.

— Да, святость договора нарушена, — продолжал Соломон. — Что же мы должны делать?

— То, что ваше величество уже и сделали, — отвечал митрополит, подняв голову.

— Что именно, владыко?

— А то, что вы обратились к служителю Всемогущего Бога, которому дана власть вязать и разрешать.

— Но и служитель Бога ничего не может сделать против силы, — заметил Соломон.

— Может! — с силой воскликнул митрополит. — Он призовет на помощь вам силы небесные, перед которыми силы земли — ничто! Имеретия — наша обетованная земля, она отдана нашим предкам Богом. А теперь ею хотят завладеть филистимляне...

— Правда, правда! — раздались голоса. — Изгоним из нашей обетованной земли филистимлян!

— А наш царь Соломон пусть будет Иисусом Навином, — с злой иронией добавил старый Зураб, но этой иронии в пылу страстного увлечения никто не понял.

— Правда, правда!.. Да здравствует наш Иисус Навин! — гремели быстро воспламеняющиеся восточные люди.

— А изгнав филистимлян, он будет управлять вами так же мудро, как и библейский царь Соломон, — еще с более ядовитою иронией пояснил ехидный Зураб, но и тут никто его не понял.

— Присягнем же теперь на кресте и Евангелии — защищать нашу обетованную землю до последней капли крови! — заключил Соломон, уже вообразивший себя Иисусом Навином.

— Присягнем! Долой филистимлян! — заревело собрание.

И присяга действительно совершилась.

Но старый Зураб, этот Мефистофель Имеретии, не утерпел и тут. Едва окончилась присяга, как он подошел к митрополиту и шепнул ему на ухо:

— А курочки все-таки тютю!

IX. РАССКАЗ ИЕЗУИТА

Было очаровательное весеннее утро, когда царь Имеретии, окруженный своею свитой и сопровождаемый сильным конвоем из джигитов и нукеров, покидал свою столицу. Солнце только начало золотить вершины гор, окружавших Кута-

ис, а над бурными струями Риона еще колебался туман и таял в воздухе, не заволакивая собою очаровательной, утонувшей в зелени садов столицы Имеретии. Высоко в небе слышен был клекот орлов, вылетавших со своих горных гнезд на добычу, да в воздухе реяли ласточки, гармоническим щебетанием приветствуя утро. Со стороны Кутаиса доносился протяжный звон колоколов, который не одному из спутников Соломона казался погребальным перезвоном.

Когда прелестный город начал скрываться из глаз путников, Соломон обернулся и остановил свою лошадь. Он долго смотрел на покидаемое родное пепелище.

— Прощай, моя дорогая столица, колыбель моего детства, орлиное гнездо моих милых птенцов! — тихо сказал он. — Прощайте, священные могилы предков! Прощай, Кутаис! Я не возвращусь к тебе до тех пор, пока нога иноземца не перестанет топтать священные стогны города моих предков. В моем добровольном изгнании я буду думать только о тебе и об избавлении тебя от иноземцев.

По щекам его тихо катились слезы.

Взглянув в последний раз на покидаемую столицу и поворотив коня, злополучный царь продолжал свой путь. Видя печальную задумчивость Соломона, никто не говорил ни слова. Слышны были только стук лошадиных копыт о камни, лязг оружия да фырканье коней. Отряд медленно двигался горной тропой, растянувшись на значительном протяжении. Чаще и чаще слышался крик лесных соек и дроздов да выкрикивали и высвистывали задорные иволги, сверкая на солнце между зеленью деревьев золотом своих крыльев. Заслышав топот лошадиных копыт, одинокая сова срывалась с темного уступа какой-либо скалы и неслышно, совсем бесшумно махая крыльями, исчезала в темном ущелье.

Царевич Константин, ехавший вслед за отцом, видимо, переживал грустные, тяжелые минуты. Каждый шаг его коня уносил его все дальше и дальше от тех мест, где он был счастлив, хотя счастье это было так мимолетно, так недолго. Повторится ли оно когда-нибудь?..

В это время впереди, за уступом небольшой скалы, послышались голоса джигитов, составлявших авангард отряда царя Соломона.

— Стой! Кто едет?

— Доброжелатели его величества царя Соломона, — было ответом на оклик.

— А откуда и зачем?

— Из Ахалцыха, от его высокостепенства Селим-паши к его величеству царю Имеретии.

— А имеете пропуск?

— Имеем — вот он: перстень с руки Селим-паши.

Оказалось, что это были наши два путника, на границе Имеретии со стороны ахалцыхского пашалыка задержанные русскими солдатами Петровым, Сидоровым и Юхименко, а потом напоившие их допьяна в духане и бежавшие от них.

Соломон тотчас же узнал того, который называл себя поляком. Это было доверенное лицо не только Селим-паши и Соломона, но и самого сераскира Юсуф-паши. Лично знал его и доверял ему сам Наполеон, громивший в то время Европу, низвергавший троны и на месте их воздвигавший новые.

Это был католический ксендз, воспитанник иезуитов и их тайный агент.

— А! добро пожаловать, святой отец! — радостно сказал Соломон. — Как давно я не имел удовольствия вас видеть. Откуда вы теперь?

— О, ваше царское величество! — отвечал иезуит, низко кланяясь. — Трудно даже перечислить местности и города, где я мыкался за последние два года, с тех пор как покинул очаровательную Имеретию. Могу только сказать, что я к вам — из-под Аустерлица, из-под Ульма, из Вены, из Рима, из Петербурга, из Парижа, из Константинополя, а теперь — из Ахалцыха.

Соломон даже руками развел. Все князья обступили интересного иезуита, жадно вслушиваясь в его слова.

— Даже в Петербурге были, святой отец? — изумился повелитель Имеретии.

— Был, ваше величество.

Солнце уже поднималось к полудню, и потому Соломон приказал отряду своему сделать роздых, тем более что ему хотелось скорее узнать, какие вести привез таинственный иезуит.

Выбрана была лесная поляна, упиравшаяся одною стороной в горный ручей, быстро стремившийся к пенистым волнам Квириллы, которая протекала на пути к замку Вард-цихе.

Нукеры, развязав вьюки и переметные сумы, которыми навьючены были лошади и мулы конвоя, прежде всего достали ковры и разостлали их на поляне в тени чинар и столетних дубов, принесли под тень этих деревьев бурдюки с вином, золотые и серебряные кубки, табак и кальяны. Джигиты между тем разложили костры на берегу звонкого ручья, зарезали несколько барашков и быка, следовавших за отрядом царя

Имеретии, разрубили туши на куски, помыли кровавое мясо в ручье и на вертелах готовили на скорую руку шашлыки, пилав, чихиртму, чахохбили из горных курочек, которые тут же были застрелены ловкими джигитами, и другие восточные кушанья.

Соломон уселся на ковре у ствола толстой чинары, пригласив и иезуита сесть с собою рядом. Свита же царя, князья Церетели, Абашидзе, Леонидзе, Андроники и другие расположились на ковре полукругом, образовав живописную группу ярких цветов.

Соломон приказал приближенным нукерам наполнить кубки кахетинским вином и, пока готовилась роскошная трапеза, предложил выпить за счастливое возвращение дорогого гостя, одно присутствие которого оживило его и подняло упавшую было энергию.

— Расскажите же, святой отец, что делается на свете, — оживленно заговорил он, — ведь мы здесь точно в котле заперты среди непроходимых гор и дебрей, со всех сторон окруженные врагами. Мы ничего не знаем, что происходит за этими горами, с тех пор как вы оставили нашу несчастную Имеретию. Можем ли мы надеяться на лучшую долю в будущем?

— О, ваше величество, на свете совершаются непостижимые дела! — отвечал иезуит тихо и медленно. — Тот, которого невежды считают антихристом, апокалипсическим зверем...

— Это Наполеон? — торопливо спросил Соломон.

— Да, ваше величество, император Наполеон, — отвечал иезуит с почтительной торжественностью, — этот величайший гений, какие только являлись на земле, человек, который не был рожден в порфире, подобно Александру Македонскому, и не вышел из родовитой знати, подобно Цезарю, а увидевший свет чуть ли не в хижине на небольшом острове, — этот непостижимый человек заставляет содрогаться весь мир. Кажется, топнет он ногою, и поколеблется шар земной, расплещутся океаны...

Надо было видеть, каким диким огнем горели глаза слушателей, как нервно сжимали они рукоятки своих кинжалов, как порывисто они дышали! Так обаятельно было для них величие силы, хотя бы просто физической.

— И вы его видели, святой отец? — весь бледный от волнения, спросил царевич Константин.

Иезуит улыбнулся и отпил немного из своего кубка.

— Видел? Я не отходил от него ни на шаг. Слушайте же, чему я был очевидцем и свидетелем. Я, расставшись с

вами в Кутаисе, через Константинополь и Вену поспешил во Францию и явился в ставке Наполеона в тот день, когда он во главе двухсоттысячной армии, той армии, боевые силы которой закалялись и под знойным солнцем страны фараонов и пирамид, и среди ужасов смерти сирийской чумы, и под голубым небом Италии, — во главе этой изумительной армии двинулся от Рейна прямо на Вену. Когда я был в Вене, то тамошние маститые стратеги математически рассчитали, что Наполеон до Дуная должен идти не менее 64 дней. Но они не знали, как быстро летают наполеоновские орлы!

Хитрый иезуит остановился. Он видел, какими лихорадочными глазами пожирали его дикие питомцы гор, для которых война — начало и конец всего сущего, высшая цель, ради которой люди живут.

— Ну, святой отец, мы умираем от нетерпения, — сказал Соломон.

— Надо вам сказать, ваше величество, — продолжал иезуит, следя за полетом орла, привлеченного видом крови убитых баранов и быка, — что главные силы австрийцев оставались в Северной Италии: они думали, что Наполеон обрушится на эти области. Этой армией командовал эрцгерцог Карл. Восьмитысячная их армия, под начальством брата австрийского императора, юного эрцгерцога Фердинанда, стояла на Дунае, она ожидала союзной русской армии, которая двигалась к Баварии, под начальством маститого полководца Кутузова. Союзники не решались, кого назначать главнокомандующим обеих союзных армий, и австрийцы, не желая видеть чужого полководца, Кутузова, во главе обеих союзных армий и боясь в то же время обидеть русского маститого старца, возложили звание главнокомандующего на юного брата своего императора. Но это было только номинально. Его именем командовал генерал Маак — бездарный тупица. Недаром тамошние евреи — а у этого народа сам черт ума не отнимет — заранее предсказывали поражение Маака, говоря, что по-еврейски Mackah — именно и значит «поражение»... Орел! Орел! — вдруг воскликнул иезуит, так что все слушатели вздрогнули от неожиданности.

Действительно, дерзкий крылатый хищник, несмотря на шум и движение в стане Соломона, не боясь ни людей, ни пылающих костров, стрелою упал с высоты на брошенные у ручья внутренности зарезанного быка и, схватив их острыми и цепкими когтями, медленными размахами громадных крыльев поплыл к ниже лежавшим скалам.

— Унес, унес! — послышался чей-то возглас.

Грянул выстрел. В руках у одного джигита дымился ствол винтовки. Орел шарахнулся в сторону, торопливо махая крыльями.

— Промахнулся, Ростом! Послал пулю в подарок шайтану! — засмеялись джигиты.

В это время придворные нукеры притащили от костров огромные серебряные блюда, наполненные дымившимися шашлыками, кусками жаренной с чесноком или луком баранины и другими вкусными яствами, и вместо хлеба перед каждым из гостей положили тонкие листы лаваша — нечто вроде гигантских блинов, которые служили для пирующих вместо хлеба и в то же время заменяли собой... салфетки! У восточных людей, даже при царском столе, в то время (да отчасти и теперь у простого народа) за столом ни салфеток, ни даже вилок и ножей не полагалось, так как блиноподобные лаваши заменяли собой и хлеб, и салфетки, а вместо вилок служила собственная пятерня; ножи же имелись у каждого за поясом, а если не имелось ножа, то его заменял кинжал.

Аппетитный запах жареного мяса, вкусные поджаренные куски баранины и бычачины на первое время заставили было забыть Наполеона и его поход на Вену, но скоро желание знать, что совершил военный гений Франции, восторжествовало над требованиями желудка, наполовину удовлетворенного.

— Ну и что же, святой отец, Наполеон разбил Маака? — спросил Соломон, обгладывая и обсасывая вкусное ребро от шашлыка.

— Вообразите, — начал снова иезуит, — я вам говорил, что в Вене рассчитывали, что от Рейна до Дуная Наполеон должен будет идти шестьдесят четыре дня, а он явился перед оторопевшими австрийцами через сорок дней!

— О! — чуть не подавился своим куском Леонидзе. — В сорок дней!

— Да, в сорок дней... Он не дал времени русским соединиться с австрийцами, отрезал армию Маака от остальных войск, запер его в Ульме — и пятидесятитысячная армия Маака положила оружие.

— Пятидесятитысячная армия положила оружие! О! Да это величайший позор! — воскликнул в негодовании Соломон. — Пятьдесят тысяч! И они не умерли от стыда!

Все были поражены. На минуту забыты были и шашлыки, и раздражающее обоняние вкусное чахохбили из горных курочек, и кубки с кахетинским. Изумление сковало всех. Даже нукеры безмолвно, со страхом переглядывались.

— Я был в это время недалеко от Наполеона, — продолжал иезуит, — он мне казался богом войны: бесстрастное, спокойное лицо было точно мраморное, в стоячих глазах — ни искры огня — так они были холодны.

— А русские? — спросил царевич Константин, весь бледный от волнения.

— Разбив австрийцев, Наполеон пошел против них, — продолжал иезуит после небольшой паузы. — Кутузов, эта старая медведица, стал отступать к Вене, чтобы прикрыть ее собою. Все мосты и переправы, лежавшие на пути Наполеона, он велел уничтожить, а прикрывать отступление русской и остатки австрийской армий он приказал генералам Ермолову, Милорадовичу, Витгенштейну и Багратиону...

— Это наш — грузин, — не вытерпел Абашидзе, — он изменил родине.

— Ну! — остановил его Соломон жестом.

— Но Наполеон настиг русских, — продолжал иезуит, — он насел на них у Дюрнштейна...

— Насел-таки! — ударил кулаком по ковру Соломон, и глаза его злобно засверкали.

— Насел! Я не забуду этой бойни... Это был какой-то ад: гром орудий, от которого дрожали и земля, и небо, крики и стоны раненых и умирающих, груды тел, разбитых повозок, ржание коней... А он — холодный, бесстрастный, с его мраморным лицом... «Victoire!» — пронеслось по смешанным рядам... и русские были разбиты!

Безумно-радостный крик пирующих огласил поляну и соседние скалы и лес. Все вскочили на ноги, подняв высоко вслед за Соломоном свои массивные кубки. Джигиты и нукеры, побросав свои места у костров и шашлыки, стеной окружили главную группу.

— Да здравствует величайший гений войны! — дико, хрипло прокричал Соломон.

— Да здравствует Наполеон! — заревели сотни голосов.

Раздался залп из винтовок и ружей: это джигиты, как бы сговорившись, заставили дрогнуть от выстрелов и скалы, и лес. Испуганные орлы снялись с гнезд и кружились в воздухе.

Соломон обнимал и целовал вестника наполеоновских побед. Обнимали его наперерыв и обезумевшие от радости князья.

— Но это еще не все, — сказал иезуит, весь красный, садясь снова на ковер и принимаясь за шашлык и вино.

X. НАПОЛЕОН ЗА ИМЕРЕТИЮ

В слепой и бессильной вражде против России Соломон, казалось, забыл, что несколько часов тому назад он, со смертельной болью в сердце, покидал свою столицу и плакал, а теперь слушал рассказ иезуита-поляка, такого же, как сам он, врага России, о ее неудачах в первых столкновениях с Наполеоном как некую райскую музыку.

— Так это еще не все, святой отец? — спросил он, усаживаясь на ковер и знаком отпуская от себя джигитов.

— Не все, ваше величество, — отвечал иезуит. — О! Впереди еще много. В бюллетене о битве у Дюрнштейна Наполеон выразился: «Этот день был днем резни». Да, это действительно была не битва, а резня. Отсюда Наполеон двинулся к Вене, которую уже никто не защищал. Но ему мало было Вены — он хотел большего: демон войны требовал новых жертв. Захватив в Вене все оружие, какое там оставалось, а также запасы амуниции и пороху, он выступил из Вены и послал Мюрата наперерез Кутузову. Ему хотелось доконать русских.

— Молодец, джигит Наполеон! — пьянеющим языком пробормотал князь Леонидзе, но Соломон и на этот раз остановил его жестом.

— Старая медведица Кутузов, — продолжал иезуит, — поняв намерение Наполеона, оставил у себя в арьергарде, во главе семи тысяч человек, князя Багратиона.

— А! опять Багратион! — не вытерпел Абашидзе. — Изменник, предатель.

— Зато храбрец — настоящий грузин, — добавил Кайхосро Церетели.

— А вы слушайте лучше! — нетерпеливо остановил их Соломон. — Простите, святой отец.

— Помилуйте, ваше величество, князья мне не мешают, — с иезуитской любезностью сказал ксендз. — Так я сказал, что Кутузов оставил в арьергарде Багратиона. Наши лазутчики говорили после, что Кутузов при этом выразился: «Я оставляю Багратиона на неминуемую гибель, только бы спасти остальную армию». Но Багратион не погиб: со своим семитысячным отрядом он задержал у Шенграбена сорокатысячную армию Мюрата, выдержал ее натиск, потерял все орудия по теснинам и по топким болотам и две тысячи убитыми и все-таки задержал французов, а ночью с остатками своего отряда, словно бешеный, пробился через французов. Наши лазутчики видели потом встречу Кутузова с Баграти-

оном. Еще издали увидав отчаянного грузина целым, он радостно расставил руки и, прижимая к своей груди закоптелое от порохового дыму лицо храбреца, сказал со слезами: «Ты жив — этого довольно! — о потере не спрашиваю...»

— О, грузины, грузины! — с горечью воскликнул Соломон. — Что бы было, если бы все вы остались верны своей родине, священной Иверии!

У царевича Константина на глазах стояли слезы, а опьяневший князь Леонидзе прямо плакал.

— О, нет, нет! — бормотал он коснеющим языком. — Мы не изменим священной Иверии и нашей дорогой Имеретии... о, нет, нет, никогда.

Между тем трапеза кончилась, и нукеры стали убирать с ковра посуду с остатками яств. Другие набирали в ручье воды в серебряные, медные и глиняные кувшины для омовения рук пирующих по окончании трапезы. Когда же омовение было окончено и руки были вытерты о подаваемые нукерами полотенца, подали кофе в миниатюрных чашечках и беседа возобновилась.

— Я помню Багратиона, — сказал Соломон. — Впрочем, весь их род перешел на сторону русских. Теперь племянник этого генерала и героя, Петра Ивановича, князь Константин, служит здесь, в русском войске, а родной брат героя князь Роман, поручик лейб-гвардии гусарского полка, приезжал из Петербурга недавно в Тифлис и очень порицал действия князя Цицианова.

— О! этот не изменник, хотя и служит в Петербурге, — прибавил Кайхосро Церетели, — я его знаю хорошо.

— А о том, о генерале Багратионе, даже Наполеон высказывал много лестного в своих бюллетенях, — пояснил иезуит.

— Расскажите же, святой отец, что было с Наполеоном дальше? — обратился к нему Соломон. — Это точно рассказы из «Шехеразады» или из «Барсовой шкуры».

— Да, это удивительная, непостижимая личность, — согласился иезуит. — Он нагнал такой трепет на Австрию и даже на Россию, что оба императора, и Франц и Александр, поспешили к своим армиям, и последний из них — во главе своей петербургской гвардии. Но и это не устрашило великого Наполеона! До сих пор и австрийские и русские войска только защищались; теперь же, с прибытием петербургской гвардии, они сами решились дать битву маленькому императору.

— А разве он маленький? — с удивлением спросил великан Абашидзе.

— Да он вам и по плечо далеко не хватит, — с улыбкой отвечал иезуит.

— Как! Такой маленький и такой храбрый!

— Да, перед гигантами своей старой гвардии он — просто ребенок.

— Ну и что же — была битва? — с нетерпением спросил Соломон.

— О! какая битва! — отвечал иезуит восторженно. — Это было под Аустерлицем. Наполеон, с свойственным ему гением, занял превосходную позицию. Она была превосходна и для атаки, и для обороны. Железные полки его упирались в цитадель Брюнна; с правого фланга французов прикрывали непроходимые холмы, покрытые густым лесом, а перед фронтом протекал глубокий ручей с несколькими озерами поблизости; за ручьем, против центра армии, подымались высоты, занятые армиями противников. Накануне битвы, перед вечером, Наполеон велел прочесть по армии такое энергическое воззвание: «Позиции, занимаемые нами, — страшны. В то время как русские будут идти в обход моего правого фланга, они мне подставят свой фланг. Солдаты! Я сам буду направлять ваши батальоны. Я буду держаться вдали от огня, но знайте — если победа будет хоть с минуту нерешительна, то вы увидите, что ваш император подвергнется первым ударам!..»

Слушатели, казалось, оцепенели от удивления и восторга. Даже у Леонидзе прошел хмель, он нервно вертел рукоятку кинжала, точно собираясь на кого-то кинуться.

— Наступила ночь, — продолжал рассказчик. — Наполеон, пешком и без свиты, совершенно один — я издали следил за ним в темноте, — добавил иезуит, — направился вдоль бивуаков... Восторг солдат был выше всякого описания. Они устроили ему иллюминацию — огромные пуки соломы ярко пылали на его пути, далеко бросая от себя багровое зарево. Это и погубило русских...

— Как! Погубило? — лихорадочно сверкая глазами, схватил за руку рассказчика Соломон.

— Да, погубило! Соломенную иллюминацию они приняли за пылающие огни, и, полагая, что французы хотят отступать, пользуясь мраком ночи, решились вступить в битву; они рвались померяться с врагом, отплатить ему за свои неудачи. В полночь австрийский главнокомандующий, генерал Вейротер, такая же бездарность, как и Маак, явился на военный совет вместе со всеми военачальниками (наши соглядатаи-поляки тоже были там) — в ставку Кутузова. Вейротер, развернув

план местности, стал читать и объяснять сочиненную им диспозицию, и объяснял ее так долго и запутанно, что Кутузов под конец заснул, и его принуждены были разбудить.

При этих словах Леонидзе так и покатился со смеху.

— Дальше! Дальше! — волновался Соломон, сердито глянув на Леонидзе.

— Сейчас, сейчас, сейчас, ваше величество, — успокоил его иезуит. — Когда тут же, ночью, диспозицию Вейротера роздали начальникам колонн, Багратион, прочитав ее, воскликнул: «Сражение проиграно!»

— Опять Багратион! — с гордостью сказал Абашидзе. — И он потерян для нас.

Иезуит не обратил внимания на этот возглас, слишком занятый своим рассказом.

— Союзные армии были растянуты на огромном пространстве, полукругом, — продолжал он, — и в центре этого полукруга стояли французы. Наполеон, подозревая намерение противников ударить на правое его крыло и обойти его незаметно, пользуясь мраком ночи, перевел корпус Султа через ручей и в семь часов утра, когда туман скрывал и его армию и армию союзников, отдал последние приказания своим маршалам. Он и тут казался таким же спокойным и мраморно-холодным, как и перед «резней» у Дюрнштейна. Я думал, что нас задавят... Но — гений войны победил и на этот раз... Русские и австрийцы, ничего не зная о перемене расположения французской армии, начали движение по диспозиции Вейротера. Наполеон стоял на высоком кургане и с седла своего боевого коня наблюдал в зрительную трубу за движениями союзных армий. Я сидел в стороне на камне, держа в поводу своего коня, с трепетом думая о будущей судьбе Европы... Что, если Наполеон будет разбит? Но я услыхал, что Наполеон дает приказание разрезать русскую армию в центре, но не раньше как их войска двинутся. В 10 часов утра оба императора, и русский и австрийский, прибыли в лагерь с огромной свитой. Подъехав к центру высот, император Александр удивился, увидев отдыхающих солдат с ружьями в козлах. «Михаил Илларионович! Почему вы не идете вперед?» — спросил он Кутузова. «Поджидаю, чтобы собрались все войска колонны», — отвечал Кутузов. «Да ведь мы не на Царицыном лугу, где не начинают парада, пока не придут все полки», — вспылил император. «Государь! — отвечал Кутузов. — Потому-то я и не начинаю, что мы не на Царицыном лугу...» Но Александр велел вести войска в бой. Они подошли так близко, что я видел лица солдат. Что за ужасная была

для меня минута! Меня била лихорадка, но не за себя — о, не за себя! Но передовой отряд Милорадовича был отброшен словно ураганом — и мы были на высотах! Как это случилось, я не помню: в моей памяти и в моей голове остался только ужас звуков, адский грохот. Высоты обагрились кровью, устлались трупами... «Koutousoff est mort», — прошло по нашим рядам, но он был только ранен в щеку; зато многие его генералы полегли тут же... Наполеон победил! Битва еще шла по частям, но это была агония битвы... Русских полегло более двадцати тысяч, они потеряли 133 орудия и тридцать знамен... «Польша спасена!» — колотилось у меня в сердце, и я, припав лицом к гриве своего коня, плакал, молитвенно повторяя: «Te, Deum, laudamus...»

Он замолчал, подавленный воспоминаниями. Как ни сурова была школа, через которую он прошел в коллегии иезуитов в Риме, где из него вырабатывали послушное орудие строжайшего из орденов, где, готовясь к суровой профессии миссионера, он должен был убить в себе и личные чувства, и личную волю, чтобы сделаться слепым, мертвым орудием ордена — стать в его руках «трупом», «cadaver»; как ни закалилось потом его горячее сердце в подвигах самоотвержения для целей ордена — все же в нем жил поляк, мечтательный, поэтический, беззаветно любивший свою отчизну. В Риме, где он готовился быть «воином Христа», под египетскими пирамидами, куда его посылал орден вслед за войсками Наполеона Бонапарта, тогда еще первого консула, и где он из уст этого удивительного человека услыхал изумительную команду: «Солдаты! Сорок веков смотрят на вас с высоты этих пирамид», — в Сирии, в Яффе, среди ужасов чумы, пощадившей гения войны и его самого, «воина Христова», — нигде и никогда он не забывал своей милой Польши и того белого домика среди пирамидальных тополей, смотревшегося в чистые, прозрачные струи его родного Нарева, на берегах которого он играл когда-то беззаботным ребенком...

И вот теперь суровый долг миссионера бросил его — этот живой «труп», этого страстно деятельного «cadaver» ордена — в эти горные ущелья, к этим наивным, но таким же, как и он, мечтательным детям природы, чтобы и в их сердца влить каплю надежды на будущее, какое сулил будто бы всему миру тот удивительный человек, о котором он теперь с таким пламенным жаром рассказывал.

Неугомонная иволга высвистывала и сверкала золотом своих перьев среди темных ветвей чинары, сквозь которые прорезывались яркие лучи солнца; черные с красными ожe-

рельями лесные сойки весело перекликались в зелени; звонкий горный ручей пел свою вечную песню...

— Te, Deum, laudamus, — тихо, благоговейно бормотал про себя иезуит, а окружавшие его дети гор, очарованные его рассказом, старались вслушаться в непонятные для них слова и уловить их тайный смысл.

— Вы сказали, святой отец, что «Польша спасена; что же вы скажете нашей Имеретии? — прервал общее молчание Соломон.

Иезуит как бы опомнился от забытья.

— Имеретии? — спросил он, поднимая голову. — Я принес нечто и для Имеретии, а иначе зачем мне было бы возвращаться в ваши горы? То, что я принес для Имеретии — вот здесь, — он похлопал пальцами по подошве своего сапога, — но это — после.

Все с недоумением посмотрели на его сапог, но он не торопился удовлетворить их любопытство. Образ Наполеона и его подвиги заслонили на время перед его умственным взором маленькую Имеретию.

— О! Я и теперь вижу его перед собой! — заговорил он восторженно. — Униженная, посрамленная, разбитая под Аустерлицем Австрия должна была смириться, она просила мира. Император Франц прислал к нам для переговоров князя Лихтенштейна. Наполеон принял его холодно, высокомерно. Он требовал, чтобы для переговоров прибыл к нему в ставку сам император. Доведенный до отчаяния, повелитель Австрии должен был повиноваться этому суровому требованию. Он явился к нам на бивуаки. Как он был жалок, растерян! Но Наполеон принял его любезно. Он дал ему мир — но тяжелый мир! Он отобрал у Австрии весь Тироль, Венецию и чуть не половину Германии, да еще двести миллионов франков деньгами. Мало того, он тотчас же создал новые королевства и сделал королями их своих братьев: Иосифа объявил королем Неаполитанским, Людовика — Голландским, а маршалам своим роздал княжества, графства, баронства, отмежевав для этого целые области из завоеванных земель. Из Вюртемберга, Баварии, Бадена, Гессен-Дармштадта он образовал одно государство — Рейнский союз, а себя наименовал протектором этого нового государства — «Protecteur de la confederation du Rhin». Наконец, он объявил, что германской римской империи более не существует, и в довершение позора и унижения Европы заставил императора австрийского сложить с себя титул императора священной римской империи.

— А что ж Имеретии от этого? — уже с некоторым раздражением спросил Соломон.

— Повторяю, ваше величество, Имеретия не забыта Наполеоном, — отвечал иезуит. — Я понимаю ваше нетерпение и сейчас же все объясню. Я привез от Наполеона и Селим-паше ахалцыхскому, и вашему величеству копии с договора, заключаемого им с Оттоманской Портой и с Персией. На пути из Ахалцыха в Вард-цихе, где я надеялся найти ваше величество, меня с проводником схватили русские солдаты. Предвидя подобную возможность, я имел с собою дубликат копии с договора Наполеона и дубликат — несколько измененный — письма к вашему величеству Селим-паши. Эти-то бумаги и отобрали у нас солдаты. Я и хотел этого: пусть русские узнают, что Наполеон и здесь их найдет.

При этих словах имеретинцы видимо оживились.

— Так настоящее письмо Селим-паши и копию с обязательства Наполеона солдаты не отняли у вас? — спросил Соломон.

— Не отняли, ваше величество, — отвечал иезуит.

— Где ж они? Покажите.

— Сейчас, если уж вы того требуете.

— Я прошу.

Иезуит снял с себя сапог и попросил дать ему кинжал. Несколько рук потянулось к нему с кинжалами. Он взял у царевича Константина и, осторожно распоров острием клинка двойную подошву сапога, вынул оттуда небольшой пакет.

— Вот письмо Селим-паши, — сказал он, подавая один листок Соломону, — и вот обязательство Наполеона.

Он бережливо развернул другой листок и сказал, показывая его Соломону:

— В параграфе 4-м своего обязательства Наполеон говорит: «Sa majesté l'émpereur des français s'engage à faire tous les efforts pour contraindre la Russie à l'evacuation de la Gèorgie, de l'Yméréthie et du territoire persan: cette évacuation sera constamment l'objet de sa politique et de toute sa sollicitude»[1].

Но слушатели, видимо, ничего не поняли.

---

[1] «Его величество император французов обязывается употребить все усилия, дабы понудить Россию к отозванию ее войск из Грузии, Имеретин и из персидских владений: эта эвакуация постоянно будет предметом его политики и всех его настояний».

— Я сейчас вам все это переведу, — успокоил их иезуит. — Но не лучше ли сделать это в замке Вард-цихе?

— Нет, переводи сейчас, — послышались голоса князей, — сейчас же переводи.

XI. ЗНАКОМСТВО В ПУТИ

Мы оставили царицу Имеретии вместе с ее детьми и принцессою Геоухер перед их отъездом из Георгиевска.

Глазенап сдержал свое слово. Опасаясь более всего за участь молоденьких девушек — Дареджаны и Геоухер, он отрядил с конвоем царицы две пушки с небольшой партией пехотинцев, которых особенно боялись и ненавидели хищные горцы, изведав всю беспощадность и губительность русского штыка.

Внушительный караван выступил в девять часов под звуки барабана. Впереди громыхали пушки, окруженные артиллеристами. Рядом с каждым орудием шагал канонир с курившимся фитилем.

Глазенап на прощание подъехал к богатой арбе царицы и любезно раскланялся с дамами.

— Доброго пути! — крикнул он, поворачивая назад своего коня.

— Собака! — проворчал ему вслед царевич Ираклий, подбодряя своего карабахского скакуна.

Теперь караван представлял еще более внушительное зрелище, чем по пути от Кисловодска к Георгиевску. К нему примкнуло несколько телег и крытых кибиток с солдатками и казачками, отправлявшимися к своим мужьям: кто в Екатеринодар, кто в Моздок. В числе увеличивших караван царицы был также один молоденький офицер, ехавший в Тифлис из Петербурга вместе со своим дядькой и денщиком. По всему видно было, что это был барин из богатой и знатной семьи. Внешность и приемы его были изящны и деликатны. Он ехал на кровном арабском коне, а за ним в обозе следовал прекрасный дормез такой величины, что в нем помещалось целое хозяйство: всевозможные консервы и другие съестные припасы, дорогие вина, всякое оружие, книги, самовар, посуда и сундуки белья и платья. Он большей частью держался около солдат, разговаривал с ними, шутил, смеялся, и солдаты относились к нему почтительно, но вполне, по-видимому, доверчиво, как к доброму барину и новичку. Он одарил некоторых из них табаком, несколько картузов которого он

приказал своему дядьке вынуть из одного из ящиков дормеза, и добродушно смеялся, когда солдатики, набив «барским табаком» свои трубки-носогрейки, закуривали их прямо от дымившихся фитилей канониров.

Сначала дорога была очень однообразна: бесконечная равнина с более или менее высокими холмами по сторонам. Но зато чем дальше двигался караван, тем явственнее обозначалась на юго-западном горизонте ломаная линия Кавказского хребта, которая более походила на далекие беловатые облачка на краю неба, чем на снежные вершины гор. По пути попадались небольшие крепостцы, обнесенные рвами и невысокими валами, из-за которых выглядывали темные жерла пушек.

Скоро караван достиг крепости Минарета среди прелестных чинар и лип, а еще далее путешественники увидели Татартуб, главный аул Большой Кабарды, от которого остались теперь только одни развалины на месте бывших саклей и стройного минарета, с высоты которого муэдзины призывали правоверных на молитву.

Дорога делалась все живописнее и разнообразнее. Горы значительно приблизились, и видно было, как на вершинах их бродили едва заметные глазу стада, точно мошки, обсевшие горные выси.

— А вон и пастух тамотка, — заметил один солдатик.

— Да, метлешит, словно муха на кургане, поди — черкес.

— А может, и наш брат, что в полону век свой доживает, может, и видит нас, да только слезы глотает.

— Да, близок локоть, а не укусишь.

Этот простой разговор солдатиков грустью и болью отозвался в сердце молодого офицера. А если и его ожидает плен? Если и его молодая жизнь скоротается в плену, среди этих неприступных гор? И он так же, как и этот пастух, будет смотреть на родные далекие караваны, без надежды когда-либо присоединиться к ним... И он вспомнил о далеком Петербурге: проводы и слезы родных, пожелания знакомых... Но впереди, может быть, слава, геройские подвиги... О, молодость, молодость!..

По сторонам курганы, надгробные памятники с изображением шашек — это тлеют здесь кости славных наездников, для которых также целью жизни была... слава — эти буквы на песке, сдуваемые ветром...

Так прошло несколько скучных, однообразных дней, которые тянулись бесконечно. Гряда гор с снежными вершинами с правой стороны — и им нет конца; казалось, за ними там был другой мир, чудный всему тому, что было здесь.

Семейство царицы Имеретии да и все ее конвойные видимо держались в стороне от русских. Молодой офицер видел иногда, как из-за полога царицыной арбы мелькали, словно светлые видения, личики Дареджаны и Геоухер; иногда молодые девушки оставляли арбу и рвали по сторонам дороги цветы, плели из них венки и гирлянды, которыми украшали свою арбу и даже головы буйволов и гривы лошадей, но... все смотрели дикарками...

А вот и Терек. Но это еще мирный Терек, не бурный, не грохочущий. Воды его быстры и мутны, но это еще не тот бешеный зверь, который ревет и мечется там впереди, в горах.

За Тереком снова потянулись однообразные дни; но горы уже не удаляются к горизонту; напротив, громады их надвигаются все ближе и ближе; видны снежные, острые зубья, глубокие расщелины, темные массы лесов, причудливые изломы скал и темные зияющие пропасти.

Караван уперся в горы. Больше, кажется, нет ходу к тому загадочному миру, который лежит там, за этими громадами. Это — Кан-кай, ныне Владикавказ. Здесь уже Терек, выбившись из горных теснин, ревет и скачет, словно вырвавшаяся из железной клетки львица.

Караван, к которому присоединились еще одна партия солдат и отряд казаков, вступил в самое ущелье Терека. Что за подавляющие громады встали с обеих сторон! И в довершение всего — рев Терека, который с пеной скачет через каменные преграды и с ужасающей быстротой несется к новым преградам, точно кто за ним гонится.

На половине пути к Ларсу караван остановился на роздых. Солдаты и казаки, потрапезовав сухарями, размоченными в Тереке, предались отдохновению: кто лежал, кто сидел и курил, а в нужных местах расставлены были часовые с ружьями. Имеретинцы занялись приготовлением шашлыков и варкою кофе. Молодой офицер сидел в стороне, на камне, а дядька угощал его холодными закусками. Дареджана и Геоухер, украдкой поглядывая на красивого гвардейца, собирали недалеко цветы и весело болтали. Князь Церетели и царевичи с нукерами и джигитами хлопотали около лошадей.

— Ах, милая Дареджана, посмотри, какие цветы! — радостно воскликнула Геоухер.

— Где, милочка? — заинтересовалась юная царевна.

— А вон на скале.

— Ах! Что за прелесть! Точно огонь горят. Я никогда таких не видала.

— Но их достать нельзя — какая жалость!

Молодой офицер слышал их разговор (девушки говорили по-русски) и взглянул в ту сторону, куда смотрели юные красавицы. И он увидел: над страшною стремниной, высоко-высоко под узеньким выступом скалы, словно из отвесной стены, смотрели прелестные ярко-пунцовые головки неведомых ему цветов. Взглядом он смерил высоту до цветов — высота недоступная. Но выше цветов разросся куст боярышника, и сучковатые ветви его спускались почти до самых этих предательских пунцовых чашечек.

Офицер встал с камня и, быстро обогнув угол скалы, с легкостью кошки стал взбираться вверх по боковым ее ребрам.

— Смотри, милая, — с испугом прошептала Геоухер, — он, кажется, хочет взобраться на скалу.

— Да, да, как страшно, — с замиранием в голосе прошептала в свою очередь Дареджана.

— Неужели он за цветами?

Офицер был уже высоко и скрылся за боковым выступом скалы.

— Нет, он так полез.

— Нет-нет!.. Смотри, смотри!

Белая фуражка офицера мелькнула посреди куста боярышника. И Дареджана, и Геоухер замерли на месте. Куст раздвинулся, и у самого обрыва показалась высокая мужественная фигура смельчака. Он глянул вниз на оцепеневших от испуга девушек... Страшная высота!.. Он стал пробовать прочность куста. Куст, по-видимому, выдержал испытание — выдержит тяжесть человеческого тела. Смельчак, ухватившись обеими руками за спускавшиеся со скалы в виде извивающихся змей корни боярышника, повис над пропастью. Цветы глянули на него с левой стороны почти в уровень с его плечом. Он крепче, со всех сил уцепился правой рукой за корень, а левой потянулся к цветам. Это был страшный момент... Рука дотянулась до предательских пунцовых чашечек и сорвала их несколько... Из-под корня боярышника посыпались потревоженные движением смельчака камни... Далее рука не выдержит — или не выдержит корень... Он успел сунуть в рот стебельки цветов и схватился левой рукой за другой корень... Но корень этот не выдержал...

Внизу послышался крик ужаса... Все бросились к этому месту...

— О Боже! О Владычица! Что со мной теперь будет!

Это дядька метался в ужасе и отчаянии...

Но крепость мускулов молодого гвардейца выдержала роковое испытание... Левая рука его успела схватить еще один корень, тело его несколько поднялось вверх, и скоро другая рука нащупала ствол боярышника. Молодой человек был спасен.

Когда он спустился со скалы боковым ходом, которым взбирался на нее, около Дареджаны и Геоухер находились уже оба царевича, князь Церетели и несколько джигитов.

Офицер, несколько бледный и взволнованный, подошел к этой группе, держа в руке сорванные с таким риском цветы, и снял фуражку.

— Извините, ваше высочество и ваша светлость, что я невольно напугал вас, — сказал он, — с глубоким поклоном обращаясь к Дареджане и Геоухер. — Позвольте представиться: барон Клодт фон Юргенсбург, — и позвольте преподнести вам эти цветы, которые вам так хотелось иметь.

И он подал по несколько цветков Дареджане и Геоухер. Девушки, которые едва успели прийти в себя от испуга, с большим смущением, краснея и не поднимая глаз, приняли цветы.

— Простите за дерзость, — продолжал офицер, — но я желал бы иметь счастье быть представленным ее величеству, если только я не нарушу этим правил этикета вашего двора.

И Дареджана, и Геоухер не знали, что отвечать, но князь Церетели поспешил к ним на выручку.

— Я не сомневаюсь, что ее царскому величеству приятно будет выразить свою благодарность человеку, выказавшему такую рыцарскую любезность ее высочеству, царевне Дареджане, и ее светлости, принцессе Геоухер, — сказал он, вежливо раскланиваясь.

Действительно, когда Марии представили молодого человека, она приняла его очень любезно, хотя и пожурила за рискованный поступок для удовлетворения минутного каприза глупых девочек. Царевичи Ираклий и Давид, хотя вообще недружелюбно относились к русским, но в данном случае «геройство» офицера, как они назвали его ребяческую выходку, расположило их имеретинские сердца в его пользу, тем более что фамилия его — барон Клодт фон Юргенсбург — не напоминала ничего русского. Церетели же, видя, с какой нежной признательностью Дареджана и Геоухер посматривали иногда на красивого белокурого офицера, почувствовал какую-то ссадину в своем ревнивом восточном сердце. Но он несколько утешал себя тем, что его воображаемый соперник недолго будет стоять у него на дороге, потому что отправлялся в Тифлис

для поступления в действующую армию. Впрочем, если бы он был более наблюдателен, то заметил бы, что молодой офицер произвел на Геоухер более сильное впечатление, чем на Дареджану, которая все еще находилась под могущественным влиянием чарующего сна, не выходившего из ее памяти.

Когда после роздыха наши путешественники двинулись далее, то барон Клодт, несмотря на тесноту идущей между каменными стенами дороги, все-таки нередко ухитрялся ехать рядом с арбою царицы, и голубые глаза его охотнее встречались с мягкими, лучистыми, минутами знойными глазами Геоухер, чем с детски-невинными и доверчивыми глазками Дареджаны. В Ларсе наши путешественники ночевали. Здесь уже не Дареджане, а Геоухер пришлось видеть сон, который заставил сильно биться ее пылкое карабахское сердце. Она видела во сне не демона и не ангела, а очаровательного белокурого офицера с голубыми глазами. Он стоял на скале и держал в руке огненной яркости цветы, показывая знаком, что хочет бросить их к ногам Геоухер. Вдруг камни под ним обрушились, и он стремительно полетел вниз.

— Он упал, он упал! — отчаянно закричала Геоухер и в ужасе проснулась.

Крик ее разбудил и Дареджану, и ее няню.

— Что с тобой, милая? — встревожилась Дареджана.

— Он упал со скалы! — испуганно говорила Геоухер, поднимаясь в постели.

— Что ты, что ты! Опомнись...

— Ах, это сон... Хвала Аллаху, — шептала Геоухер, приходя в себя.

Старая няня поспешила дать ей воды и слегка намочила голову.

— Ах, как я испугалась! Он так страшно упал, — говорила Геоухер, понемногу успокаиваясь.

— Кто, милая?

— Он... Этот офицер... Барон... Он стоял на той скале с цветами в руке, и вдруг упал.

— Это нехороший сон, — покачала головой опытная няня, — только не для тебя, милая княжна, а для него: с ним случится несчастье.

Геоухер вдруг стало жаль его, и она начала тихонько читать молитвы из Корана. Пламенный темперамент этой юной дочери Востока и виденный ею сон быстро ускорили работу ее сердца, и оно почувствовало вдруг что-то неизведанное: и мучительно-сладостное, и мучительно-тревожное. Она, казалось, видела теперь его нежные, голубые, как бирюза ее ро-

дины, и ласково-добрые глаза. Эти глаза говорили ей что-то, и теперь она начала догадываться, что они говорили. Неужели это правда?

— А уже и утро, — сказала Дареджана, лениво потягиваясь, — и мне спать совсем не хочется... Ах, как шумит Терек! Хочешь, станем одеваться и пойдем посмотрим на Терек.

— Хорошо, милая Дареджана, — мечтательно проговорила Геоухер, — оденемся и пойдем к Тереку.

Но ей не Терек хотелось видеть.

Скоро приятельницы были готовы и вышли из палатки. Над Тереком клубился пар. Хотя солнце уже и взошло, но лучи его не проникали в ущелье, сдавленное горными великанами. Над ущельем уже плавали орлы, спиралями возносясь все выше и выше и совсем, по-видимому, не махая крыльями, словно бы их поднимала невидимая сила. Караван уже был в движении, готовясь к дальнейшему пути. Кое-где тлели костры, на которых готовился ранний завтрак. Было свежо и влажно в воздухе.

Дареджана глянула вверх, на синевшее над вершинами гор небо.

— А орлы уже видят солнце, — сказала она, — а мы еще не видим.

Но Геоухер увидела то, что с нынешней ночи стало ее солнцем. Он сидел на обрыве, завернувшись в бурку, и читал какую-то книгу. Он так, по-видимому, углубился в чтение, что не слышал ни грохота Терека, ни шумной суеты готовящегося в путь каравана. Не заметил он и Геоухер с Дареджаной.

Девушки воротились в палатку, где уже ожидала их царица и куда служанки тотчас же внесли легкую утреннюю закуску и кофе. Дареджана поздоровалась с матерью.

— Ты не слыхала, мама, как сегодня трусиха Геоухер кричала утром? — спросила она.

— Нет, девочка, я ничего не слыхала: под шум Терека так сладко спится, — отвечала Мария. — Ты отчего же кричала, милая? — обратилась она к Геоухер.

— Я видела страшный сон, — отвечала та, краснея и пряча свои лучистые глаза.

— И тоже, вероятно, сама забыла, чего испугалась, как и моя дурочка, — засмеялась царица.

— Нет, я не забыла, — потупилась Геоухер.

— Она, мама, видела, что тот офицер, барон, упал со скалы, — объяснила Дареджана.

— Это он вчера напугал вас, девочки, — сказала Мария.

За пологом палатки послышался голос князя Церетели: «Можно войти?» Дареджана слегка вздрогнула.

— Можно, — сказала Мария.

Церетели вошел и поздоровался, объявляя, что караван скоро выступит в путь.

— А где мальчики? — спросила Мария.

— Они там с офицером, ваше величество. Он им что-то рассказывает про Дарьял, про какие-то ворота.

Через полчаса караван снова двинулся в путь и скоро достиг Дарьяльского ущелья. Вид его поразил новичка — молодого офицера, который не видал на своем веку гор выше гор Парголова и ущелий мрачнее Прачечного переулка. С обеих сторон высились вертикальные стены, над которыми, где-то там, высоко-высоко, синелась полоса голубого неба, на которое приходилось смотреть точно из глубокого колодца. В своем «Путешествии в Эрзерум» Пушкин говорит: «Здесь так узко, — пишет один путешественник, — что не только видишь, но, кажется, чувствуешь тесноту».

Терек, стиснутый этими стенами и преграждаемый камнями, ревел здесь невообразимо. Караван, вследствие тесноты пути, растянулся почти на версту.

Барон Клодт, как ни старался приблизиться к арбе царицы, однако не мог этого сделать: было так узко, что можно было ехать только гуськом. Царевичи старались держаться около молодого офицера, который заинтересовал их своими рассказами.

— Говорят, что Дарьял получил свое название от царицы Дарии, которая будто бы жила здесь когда-то в своем замке, — говорил Клодт. — Но это неправда — это легенда, сказочное предание. «Дариал» на древнем персидском языке означает «ворота». Здесь в древности и были ворота. Римский ученый Плиний, который жил еще во времена Христа, говорит в своих книгах: «Кавказские ворота — это удивительное творение природы, происшедшее от внезапного разрыва гор. Самые ворота огорожены бревнами, окованными железом; внизу течет река Дириодорис (Терек), то есть вонючая река, а на одной скале, лежащей по сю сторону, находится небольшое укрепление Кумания, устроенное с целью воспрепятствовать проходу за Кавказские горы бесчисленных народов»[1], конечно диких скифов и других обитателей нынешней России.

[1] Plinii Historia naturalis, L. VI, 12.

— А теперь они свободно здесь проходят, — ядовито заметил князь Церетели.

Вдруг далеко впереди послышался ужасный грохот, точно рухнули скалы:

— Обвал! Обвал! — раздались испуганные голоса.

XII. ОБВАЛ

При криках «обвал», пронесшихся по всему ущелью Дарьяла, караван моментально остановился.

— Кого завалило? — послышались голоса сзади.

— Не видно — это далеко впереди.

Князь Церетели, барон Клодт и оба царевича бросились вперед. С трудом их кони протиснулись мимо громоздкой арбы царицы, которая была очень перепугана, хотя и старалась успокоить растерявшихся Дареджану и Геоухер. Клодт поклонился дамам, и глаза его встретились с глазами Геоухер.

— Мальчики! Куда же вы? — остановила Мария сыновей.

— Мы туда — с князем и бароном, — посмотрим только, — отвечали царевичи, пробираясь вперед.

К счастью, оказалось, что громадная лавина вместе с грудою камней и снега обрушилась на несколько сажен впереди головы каравана, где находились казаки и солдаты; а выступи караван из Ларса хотя бы пятью минутами раньше, часть его была бы заживо погребена под грудами камней и снега.

Ошеломленные солдатики стояли в смущении.

— Ну, спас Бог, а то бы...

— А Федосью-то задавило, пропала, бедная.

— Как задавило?

— Да она впереди все бежала — должно, зайца чуяла.

Один солдатик утирал слезы.

— Да что она — родная тебе была, что ли?

— Еще бы... Она у меня за пазухой и выросла... Махонькой поднял в канаве.

Это была ротная собачка, которую потому солдатики назвали Федосьей, потому что тот из них, который поднял этого заброшенного щенка и выкормил, выносив у себя за пазухой, признался как-то товарищам, что у него на родине была возлюбленная, девчонка Федосья. Теперь не стало у него и этой Федосьи, и он кулаком утирал слезы, катившиеся по его загорелым щекам.

Обвалом загатило Терек, и путешественники увидали, что вода в нем почти моментально исчезла.

— Запрудило совсем речку... Теперь надо откапываться.

— А чем откопаешься? Лопат-то у нас нет.

Но Церетели помог им. Он велел своим нукерам вынуть несколько досок, которыми обиты были обозные арбы, и из досок этих тотчас же сделаны были на скорую руку лопаты. Солдаты, казаки и нукеры стали работать дружно, поочередно сменяя друг друга. Работа быстро подвигалась вперед, и уже прорыта была довольно широкая траншея, как вдруг...

Терек не стерпел неволи. Страшным напором своих быстро скоплявшихся вод он разорвал запруду из камней и снега и с ужасающим ревом ринулся по обмелевшему было руслу. Это было что-то величественное и страшное. Все бросились в сторону, к скалам, опасаясь быть унесенными бешеным потоком. Позади, в караване, послышались крики. Оказалось, что несколько баранов, спустившихся к обмелевшему руслу, чтобы напиться остатками воды, удержавшейся во впадинах, были моментально подхвачены налетевшими бурунами и унесены, исчезнув под водою.

Рассерженный препятствием Терек был ужасен. Но скоро бешенство его улеглось, и он продолжал мчаться мимо каравана уже значительно стихший, вошедший в свое обычное русло.

Теперь расчищать завал стало удобнее, и через некоторое время караван мог двинуться дальше.

— А Федосью, должно быть, унесло со снегом?

— Знамо, унесло бедную.

Так вспоминали солдатики ротную собачку.

Путь каравана лежал через Бешеную Балку к Казбеку, где путешественники наши должны были сделать роздых. Здесь ущелье уже значительно расширилось, и можно было свободно созерцать и чудное голубое небо, и суровую природу гигантских гребней, изрытых горными ручьями.

Но Клодт все еще не мог почти ни одним словом перекинуться с дамами, особенно с той, которая околдовала его своими восточными чарами. Да и Дареджана почти не видела того, о ком теперь постоянно думала. Мало того — в ее сердце забралась тревога. Князь Церетели сказал, что он проводит Геоухер до Тифлиса, а может быть, даже и в самый Карабах, в крепость Шушу, к ее отцу, что это его нравственный долг — быть проводником и защитником одинокой молодой девушки. Вот откуда тревога — тревога не за безопасность своей приятельницы, а за что-то другое... Как же

он постоянно будет с *нею*, сопровождать *ее*, говорить с *ней*?.. У Дареджаны сердце сжималось при одной этой мысли... Что это такое? Отчего прежде ничего подобного с ней не было? И ей казалось, что, как прежде она страстно любила Геоухер, так теперь, кажется, сразу ее возненавидела... Нет, не может быть! Геоухер ни в чем ни виновата, ничего ей не сделала...

Но вот и аул Казбек, владения и резиденция молодого князя Казбека. Здесь караван должен был иметь роздых. Арба царицы остановились недалеко от духана, из которого в то время как раз выходил молодой горец необыкновенного роста. Он был одет богато и имел на себе блестящее вооружение. Это и был двадцатидвухлетний владетель этой местности князь Казбек. Пушкин видел этого гиганта через двадцать три года после описываемых нами событий, именно в 1829 году, когда совершал свое знаменитое путешествие в Эрзерум. Поэт так обрисовывает владетеля Казбека: «Князь, мужчина лет сорока пяти, ростом выше преображенского флигельмана. Мы нашли его в духане (так называются грузинские харчевни, которые гораздо беднее и не чище русских). В дверях лежал пузастый бурдюк (воловий мех), растопыря свои четыре ноги. Великан тянул из него чихирь и сделал мне несколько вопросов, на которые я отвечал с почтением, подобаемым его званию и росту. Мы расстались большими приятелями».

Князь тотчас же подошел к арбе царицы и приветствовал августейшую путешественницу самым отменным красноречием восточного человека. Это любезное красноречие молодого князя, видимо, было подогрето недавно выпитою сообразно его росту порцией чихиря и двумя парами устремленных на него хорошеньких глазок. Но великан затруднился бы, которой паре отдать предпочтение, — так обе красавицы казались ему обаятельны! И он решил в своем уме обеих этих пери поместить в свое великое сердце.

Аул Казбека расположен как раз насупротив исполина Кавказских гор того же наименования. В это время облака, окутывавшие вершину Казбека, вдруг расступились и исполин, сверкая алмазами вечных снегов, явился во всем своем царственном величии от массива подножия до самой вершины, которая, казалось, подпирала бирюзовое небо.

— Мама, мама, — радостно вскрикнула Дареджана, — смотри — весь Казбек показался... Какая прелесть! И какой страшный, какой большой!

— Это он приветствует повелительницу Имеретии и ее прелестных спутниц, — любезно сказал князь Казбек.

— Нет, это он снял свою облачную папаху с седой головы перед своим молодым владыкой и тезкой, — засмеялся князь Церетели, подходя и здороваясь с Казбеком.

Дареджана заметно покраснела. Она вспомнила, что когда они проезжали это место по пути от Имеретии к Пятигорску, то Казбек весь был закутан тучами, и она сожалела, что ей не удалось видеть этого царя гор; теперь же, когда караван приближался к этому месту, девушка загадала в душе своей, что если Казбек покажется ей, то, значит, — *он* любит ее... И вдруг Казбек показался! Глубокая радость охватила всю ее юную, суеверную душу...

«Он любит... Он любит!» — колотилось у нее в сердце.

Зато Геоухер казалась задумчивою и грустною: другой *он* не подходил к ней...

Но вот подошел и барон Клодт. Его познакомили с князем Казбеком.

— Не родственник ли вам генерал-майор Клодт? — спросил последний.

— Это мой отец, — отвечал молодой офицер.

— О! Я очень рад! Я знаком с вашим батюшкой... Имел эту честь.

Но молодой офицер казался рассеянным. Глаза его украдкой искали *ее* глаз... И нашли! Точно огнем обожгли его эти глаза.

А из открытых дверей духана доносится заунывное пение:

Ох ты, матушка родима,
На что на горе родила?

— Это он по Федосье, и чудной же, — слышится говор между солдатиками.

— Последнюю гривну просадил на чихирь.

Между тем нукеры князя Казбека, в силу восточного гостеприимства, уже жарили на вертелах жирных барашков, расстилали ковры и подушки и тащили бурдюки с кахетинским и с чихирем. Угощение предложено было не только семейству царицы, но и ее свите — благородным джигитам.

Начался пир, сопровождаемый здравицами и стрельбою из пистолетов и ружей. Явилась и зурна с другими восточными музыкальными инструментами. Музыка была адская. Откуда-то взялись и песенники. Что-то невообразимое и в их пении, и в музыке. В музыке, казалось, слышались и шум горных потоков, и дикий вой Терека, и свист горного ветра. В пении же было еще более чего-то дикого и страшного: гортанные завывания певцов заставляли иногда думать, что кого-то давят, душат или жилы из него вытягивают.

Так, по крайней мере, казалось непривычному слуху барона Клодта.

Затем следовала лезгинка — пляска среди кинжалов, воткнутых в землю острием кверху. Все это носило на себе характер дикой жизни, полной кровавых сцен. Танцующие в бешеном вихре приставляли себе острие кинжалов прямо к сердцу, к горлу, вот-вот, кажется, танцующий в исступлении дикарь повалится на землю с перерезанным горлом или с пропоротым боком. А между тем глаза зрителей горели диким восторгом и руки их с такою судорожною страстностью хватались за рукоятки кинжалов, что, казалось, сейчас начнется общая, совершенно беспричинная резня.

Клодт украдкой посматривал то на Геоухер, то на Дареджану, и, к крайнему изумлению, видел, что и у этих юных дикарок хорошенькие глазки сверкали восторгом.

«Вот она, Азия-то, — думал он и удивлялся, что его сердце все более и более пламенело страстью к очаровательному дикому существу, — такая же она, вероятно, бурно-неудержимая и в проявлении чувства любви и ненависти — это любовь и ненависть тигрицы...»

Раздались бурные одобрения и по адресу музыкантов и певцов, и по адресу танцующих.

Несмотря на шумное оживление всего каравана, пришлось, однако, прекратить веселье. До ночлега, который должен был иметь место у поста Коби, хотя оставалось немного верст, но дорога предстояла трудная, все в гору, и потому нужно было торопиться.

Через полчаса караван был готов, и царица, поблагодарив молодого хозяина за радушный прием, уселась в арбу со своими «девочками», которых горный великан продолжал пожирать глазами, точно это был вкусный кишмиш или рахат-лукум.

— Какой он смешной, — сказала Дареджана, когда арба их двинулась.

— Чего же от него и требовать, милая, — заметила ее мать, — живет в горах, как дикарь, никого не видит, кроме проезжающих, и знает только своих лошадей да баранов.

Геоухер молчала. Она думала, что скоро — завтра может быть, в Мцхете, она должна будет расстаться с Дареджаной. Но странно! Когда в Тифлисе она должна была, раньше этого, расстаться с нею, то она не могла даже допустить мысли, что вот скоро больше не будет ее видеть, и рыдала безутешно. Теперь же предстоявшая разлука не пугала ее, не огорчала совсем. Отчего это? Не разлюбила

же она ее. И она стала припоминать все, что было в эти последние дни, о чем она думала, что чувствовала. Еще в Пятигорске, как в Кисловодске, ей казалось немыслимым расстаться с своей любимицей. Ей хотелось воротиться с нею в Кутаис. С этим городом, кроме того, у нее были соединены некоторые воспоминания. И она помнила тот чудный вечер на балконе, перед их отъездом в Пятигорск, вечер, когда они сидели втроем и в темноте ее рука слилась с рукою царевича Константина. Она этого не забыла и не забудет. Поэтому ей грустно было думать, что она должна будет воротиться к отцу, в Карабах. Даже в Георгиевске, когда князь Церетели сказал, что сам лично проводит ее в Тифлис, ей стало грустно, точно ее прогоняют. Но она знала, что только необходимость заставляет царицу Марию отправить ее к отцу, так как Кутаис теперь занят русскими и царь Соломон покинул свою столицу. Но теперь ей почему-то уже не жаль расстаться с Дареджаной. Почему же? И давно ли она так легко помирилась с этой мыслью — с мыслью о необходимости скорой разлуки? Давно ли? Только сегодня... И густая краска залила ее смуглое личико... Она догадалась — почему...

«Какая я гадкая, нехорошая», — подумала она про себя. Но в то же время податливая совесть подсказывала ей оправдания: «Я не виновата, я не хотела этого... все это само собой приходит...»

И она украдкой оглядывалась назад, где красиво выступал арабский скакун Клодта и мелькала его белая фуражка. Пылкое воображение восточной девушки было поражено вчерашним, как ей казалось, «геройским подвигом» молодого русского офицера. Ради их каприза он рисковал своей жизнью. Разве сделал бы что-либо подобное хотя кто-нибудь из мужчин Карабаха? Нет, там на женщину смотрят как на забаву, на игрушку; восточная женщина — это рабыня, вещь, принадлежность гарема. А этот в белой фуражке? Да он и не похож ни на кого. Все мужчины, каких она видела прежде, и у себя в Карабахе, и в Грузии, и в Имеретии, — все черные, черноглазые, все как будто похожи друг на друга. А этот — нет: лицо белое, хоть и загорело в дороге, волосы такие светлые, нежные, а глаза — точно небо ее родины, точно лучшая бирюза Ирана.

— Что ты такая молчаливая сегодня, птичка Карабаха? — спросила ее царица, заметив задумчивость девушки.

— Молчаливая? — встрепенулась последняя. — Может быть, это оттого, что я завтра уже должна буду расстаться с

вами, — отвечала она, хотя очень хорошо знала, что не это было причиной ее задумчивости.

— Что ж, мы не навеки разлучаемся, милая, — успокаивала ее Мария. — Правда, Даря? — обратилась она к дочери.

— Правда, мама, — отвечала та неохотно, стараясь, хотя тщетно, вслушаться в то, что говорил ее братьям князь Церетели.

Вечерело. Солнце уже скрылось за гребнем гор, хотя далеко еще вечерние лучи его ярко освещали гигантские конусы хребта слева.

Подъезжая к посту Коби, наши путешественники встретили группу всадников, конвоировавших богатую арбу. Это не были грузины.

Геоухер сразу узнала, кто были эти всадники, и сильно побледнела. Это были послы ее отца, Ибраим-хана, а во главе их — молодой карабахский ага, Мирза-Али. Ибраим-хан выслал их за дочерью, потому что в Карабахе готовилось что-то неладное.

XIII. «СЕМЬ ЧЕТВЕРТЕЙ ВО ЛБУ»

Мирза-Али, сойдя с коня и выполнив весь церемониал восточных цветистых приветствий, подал царице Имеретии письмо Ибраим-хана.

Письмо было следующего содержания[1]:

«До тех пор, пока весною сады облекаются в одежду листьев и цветов, а бесчисленные голоса утренних соловьев оживляют сидящих за завесою беседы в парке роз, до тех самых пор, о! цветник счастья знаменитой Имеретии, Билкалс[2] величия, Мария, колыбель совершенства, очаровательное ожерелье царства Имеретии, счастливый рудник жемчуга славы, драгоценная коробка перлов государства, блестящая звезда на высоком небосклоне, полная луна совершенства и сияние неба благополучия — да благоухает розами вечности и да пребудет отрадным пиршеством к утолению жажды питьем вожделения!..

По изъяснении приязни высокому уму, подобному луне, представляется, что упитанный амброю запах виноградника

---

[1] Письмо это — не измышление автора, а только приспособление действительно существующего в русском переводе восточного послания.

[2] Одна из жен царя Соломона — любезный намек на жену Соломона Имеретинского.

постоянства и мускусное благоухание сада дружбы, то есть ваше дружеское письмо или высокая записка счастливым прибытием распространила благовоние в беседе сердца и умножила приятным содержанием радость души дружбы. Она была преисполнена от конца до начала (!) постоянною дружбою и от начала до конца отличалась остроумием; цветник ее выражений был украшен розами единодушия и согласия, а с розы содержания снята пыль неприязни. Очаровательные доказательства твердой дружбы отражаются в ней, как в зеркале, а зеркало сердца неизменных друзей рукою приязни очистилось от всякой вражды; содержимые в ней мысли породили славу, благополучие и веселье, а обнаружение желанного согласия, вытекающее из ее изречений, доставило великую радость. Мы благодарим Аллаха, покровителя дружбы, что он связал оба семейства наши и державы узами того согласия, которое дает нам возможность развлекаться дружескою перепискою, и соединил обе страны тем согласием, которого нить всегда в руках наших. Хотя любезное лицо свидания и скрыто за занавесью пространства, но она не препятствует проявлению искренности сердец, дальность же расстояния хотя устраняет возможность взаимного соединения, но, стремясь по пути дружбы, мы не знаем препон. Есть надежда, что основание этого соединения прочно и что способы к нашему сближению будут постоянно увеличиваться. Правила дружбы требуют, чтобы единодушие вящше украшалось разноцветными розами переписки, а радость приязненного сердца усугублялась приятельскими услугами.

При сем случае розу садов Карабаха, нежную почку будущих роз моей страны, милую Геоухер, жемчужину дома моего и перл моего сердца, прошу отпустить в мои объятия, жаждущие ее, как пересохшая земля — небесного дождя.

Да текут ваши дни вечно. — *Ибраим-хан* своею рукой».

— Что пишет вам отец? — спросила Геоухер, когда Мария прочитала это курьезное послание.

— Он отвечает, милая, на мое письмо к нему, где я писала из Пятигорска, что ты здорова и веселишься, что мы тебя все очень полюбили и что скоро думаем возвращаться в Имеретию, — отвечала Мария.

В это время к ней подошла вышедшая из прибывшей с посольством Ибраим-хана свиты старая няня Геоухер и прикоснулась губами к краю одежды Марии и Дареджаны.

— Здравствуй, няня! — ласково обратилась к старухе Геоухер.

— О, бегюм, бегюм, госпожа, — с невыразимой нежностью и со слезами на глазах бормотала старуха, — о, бегюм! Да хранит тебя Аллах в своем сердце.

— Что, соскучилась по мне? — продолжала Геоухер.

В это время послышалось радостное ржание, и красавец конь, белый, как снег на вершине Казбека, появился за спиной старой няни.

— А, мой Рустем! — весело захлопала в ладоши Геоухер. — И ты обо мне соскучился?

Радостное ржание было ответом на эти слова. В Геоухер проснулась дикарка. Глаза ее загорелись. Она выскочила из арбы и мигом очутилась на седле красавца Рустема. Не успела она гикнуть и пригнуться к луке, как дикий конь взвился и полетел вихрем по дороге в гору. От неожиданности все растерялись и с изумлением смотрели вслед уносившемуся видению.

Но в этот момент послышался еще топот, и за исчезавшим вдали видением стрелой помчался другой всадник. Это был барон Клодт. Арабский скакун его летел быстрее ветра. Огненные искры сверкали под его копытами. Он настигал дикарку...

Геоухер заметила это и снова пронзительно гикнула. Рустем рванулся вперед с новой силой. Он, казалось, земли не касался своими тонкими стальными ногами. Скакун Клодта не отставал. Это была безумная, бешеная скачка.

— Принцесса! Ваша светлость! — кричал Клодт. — Не подвергайте себя опасности, остановитесь!

Но Геоухер снова гикала и снова мчалась и мчалась. Клодт не отставал. Расстояние между ними постепенно уменьшалось.

Геоухер оглядывалась и с хохотом опять гикала.

— Принцесса! Ваша светлость! Геоухер! — умолял Клодт, равняясь с нею.

Дикая девочка продолжала хохотать. Она была поразительно хороша в этот момент — раскрасневшаяся, возбужденная, она вся пылала.

— Божество мое! Я люблю тебя, — уже шептал охваченный страстью молодой человек.

А дикая девочка продолжала хохотать.

В это время позади них послышался топот уже нескольких коней. Это мчались к ним князь Церетели, оба царевича и несколько джигитов и карабахских наездников.

— Ускачем от них! — шептала обезумевшая от страстного возбуждения дикарка.

— Ускачем, — как эхо повторял за нею Клодт, — ускачем на край света!.. Я люблю, люблю тебя!

Он уже протягивал к ней руки, чтобы выхватить ее из седла в свои объятия, но дикая шалунья снова гикнула и очутилась впереди.

— Да это чертенок! — бормотал про себя молодой барон по-немецки. — Я готов застрелить ее...

И действительно, раздался выстрел. Клодт почувствовал, что его точно кто кнутом хлестнул по левой руке, выше локтя. Он глянул по направлению раздавшегося выстрела — слева, на отвесной почти скале, из-за камня поднялся белый дымок и тотчас растаял в воздухе. Невидимый враг чуть-чуть не положил его на месте; возьми пуля на четверть правее, и она угодила бы прямо в сердце молодого барона.

Он остановился и схватил пистолет, висевший в чехле у седла. Но в этот самый момент послышалось позади него несколько выстрелов и со скалы, откуда последовал первый предательский выстрел, свалилось что-то черное, но, зацепившись буркой за острие камня, торчавшего из скалы, повисло. Это был черкес, а выстрелившие в него и положившие на месте были джигиты и наездники, что прискакали вместе с князем Церетели и царевичами.

Геоухер воротилась. Увидев Клодта, она испуганно вскрикнула — весь левый рукав и левая сторона кителя были в крови.

— Вы ранены, барон? — бледнея, спросила она почти шепотом...

— Пустяки... это царапина...

Подскакал князь Церетели и царевичи.

— Вы ранены... в руку?.. Скорее скидайте китель... надо перевязать рану, — торопливо говорил Церетели.

— Пустяки — царапина, — продолжал барон, — ее и так можно перевязать носовым платком.

Он сошел с лошади. Геоухер также соскочила с своего Рустема и, сорвав с головы белую чадру, подала ее князю Церетели.

— Перевяжите ею рану, князь, — сказала она.

Церетели настаивал, чтобы Клодт снял китель.

— Ведь так не видно раны... Задета кость?

— Не знаю, — отвечал барон, с нежностью глядя на побледневшее личико Геоухер.

— Ну, и значит — надо снять китель, — настаивал князь, — надо найти пулю... Чувствуете вы ее?

— Не знаю, — был ответ.

— Снимите китель, — тихо сказала Геоухер, ласково глядя в глаза раненому, — с левой руки только.

Клодт повиновался и правой рукой расстегнул китель. Церетели осторожно стащил рукав кителя с раненой руки и разорвал на ней сорочку, всю пропитанную кровью.

— Можете двигать рукой и пальцами?

— Кажется, могу... вот, видите?

— Да... навылет... кость, должно быть, не пробита... пули не должно быть.

И Церетели, перевязав раненое место носовым платком, туго обмотал перевязку чадрою Геоухер.

— Теперь больше не будете делать глупостей? — сказал он.

— Буду, — отвечал раненый, с любовью взглянув на Геоухер.

Девушка звонко рассмеялась.

— Это я наделала все, — сказала она.

— Не вы, принцесса, а ваш красавец конь, — возразил Клодт, — с этого дня я полюбил его, как отца родного.

— Это за то, что вас чуть не застрелили? — засмеялся царевич Ираклий.

— Да... Зато вот он как поплатился, — сказал Клодт, указывая правою рукою на черневшую на скале массу.

— Теперь уж он больше не будет стрелять, — заметил царевич Давид. — А чья пуля угодила в него?

— Вероятно, князя Симеона, — отвечал Ираклий, — ведь он на лету попадет в ласточку.

— Однако пора нам и к каравану, — заметил Церетели, — а то царица будет беспокоиться.

Все снова сели на лошадей и отправились в обратный путь. Клодт ехал рядом с Геоухер и царевичем Ираклием.

— Вы когда же, принцесса, думаете выехать отсюда домой? — спросил Клодт.

— Завтра же, конечно, — задумчиво отвечала Геоухер. — До Мцхета я по-прежнему еду с царицей, а там уже — одна.

— А вы где постоянно живете? — продолжал спрашивать Клодт.

— В Шуше... Я там и родилась.

— Большой он город? Красивый?

— Меньше Тифлиса, но он мне нравится.

— А Петербург больше Тифлиса? — спросил Ираклий.

— Пять или больше Тифлисов поместятся в одном Петербурге, — улыбнулся Клодт.

— Не может быть — пять Тифлисов! — вскричал озадаченный царевич.

— Да, пять; а ваш Кутаис весь поместится в Зимнем дворце, — продолжал улыбаться Клодт.

— В одном дворце целый город! Что же это за дворец?

— Дворец, в котором живет наш император, государь Александр Павлович.

— И он один занимает весь дворец?

— Один с семейством; но у него и еще есть дворцы... много дворцов: в Москве, в Царском Селе, в Петергофе, в Гатчине.

Слушатели были поражены тем, что им пришлось услышать в первый раз в жизни.

Уже костры зажигались, когда наши беглецы воротились к каравану. Царица Мария и старая няня карабахской княжны, узнав о приключениях с Клодтом, стали журить Геоухер за ее выходку, говорили, что могли и в нее выстрелить.

— Нет, он стрелял не в меня, а в русского, — оправдывалась шалунья, гладя шею своего коня. — Стыдно, стыдно, мой Рустем: тебя догнал русский, — говорила она.

Дареджана, видимо, дулась на свою приятельницу. Она не могла ей простить, что князь Церетели поскакал за нею. Ревность заметно начала прокрадываться в ее юное сердце.

Досталось и Клодту от его старого дядьки.

— Буду жаловаться барину и попрошу, чтобы меня отпустили в Питер, — ворчал он, подавая ему бурку. — За вами не углядишь, а за все я отвечай перед их превосходительством, госпожой генеральшей.

— Ну, полно, старина, — успокаивал его молодой барин, — ты ни в чем не виноват, я уже не маленький.

— А хуже маленького... Хорошо еще, что только ручку прострелил проклятый, а кабы в головку...

— Ну, ну — будет тебе ныть, готовь-ка мне лучше ужин, да вели денщику получше выводить Бонапарта, да потом чтобы попоной укрыл его.

Между тем старая няня Геоухер таинственно сообщала своей питомице о том, что делается у них в Карабахе.

— О, бегюм, бегюм! — шептала старуха. — Нам надо спешить домой... Там у нас большое дело затеяно, большое!

— Что же такое, няня? — спрашивала встревоженная Геоухер.

— О, Аллах керим! Аллах акбарр! Наши не хотят быть под русскими... О, большое дело!

— Как не хотят быть под русскими?

— Не хотят, бегюм... Урус одной веры, а мы другой веры... Так наши все сговорились: и Сурхай-хан, и Селим-хан, Ших-Али-хан и Мустафа-хан.

— Это шемахинский?

— Да, да, бегюм... Вся наша вера заодно, и шах персидский заодно, и Аббас-Мирза заодно... Гонцы так и летают к нам в Шушу — и из казыкумыхского ханства, и из щекинского, и из дербентского, и из шемахинского.

— А русские, няня, — они что?

— А русские ничего не знают: аллах наслал слепоту на уруса — урус ест баранину и спит... Он теперь не страшный, у уруса голову отрезали и послали к Баба-хану.

— Это у Цициана отрезали голову? Да, мне говорили об этом.

— Да, бегюм... Это большой урус, сильный, а теперь остались все маленькие — наши и прогонят их домой, в снежное их царство.

— Нет, няня, — нам говорили, что к ним, к русским, едет другой большой генерал, еще больше Цициана.

— Не может быть! Больше того, что голову отрезали, нет другого на свете, золотая моя бегюм... У него, говорят, такая была большая голова, что во лбу было семь четвертей.

— Что ты вздор говоришь, няня! — засмеялась Геоухер.

— Не вздор, бегюм, жемчужина Востока, не вздор! Мне один старый солдат говорил — а старые люди никогда не лгут; так и сказал: «У него, — говорит, — семь четвертей во лбу!»

XIV. «БЕДНАЯ ЛЕЙЛА...»

Старая няня карабахской княжны говорила правду. Ибраим-хан и его приближенные ничего не скрывали от верной, преданной старухи, хорошо зная, что ей можно доверить всякую тайну.

Как только разнеслась по Закавказью весть о трагической смерти князя Цицианова, о котором полудикие горцы в самом деле думали, что у него «семь пядей во лбу», а голова его ценилась на вес золота, то Соломон II тотчас же подослал к Ибраим-хану верного человека выведать, что он теперь думает предпринять.

— У гяуров нет теперь головы, а остались одни только ноги, — сказал владелец Карабаха посланцу Соломона. — А ноги мы перешибем — то-то будет корм нашим орлам! Ор-

лята уже летают ко мне из Нухи, из гнезда хана текинского, Селим-хана, из Шемахи, из высокого гнезда Мустафы-хана, из Дербента, из гнезда Ших-Али-хана и из гнезда Сурхай-хана казыкумыхского. Скажи царю, что мы своими крыльями заслоним свет солнца, от полета нашего вихри встанут, а клекот наших орлов уподобится громам Аллаха. Только пусть царь скорее возвратит мне благоухающую розу Карабаха.

— Какую розу, ваше высокостепенство? — спросил посланец.

— Зеницу моего ока — дочь мою Геоухер.

Все эти союзники, признавшие над собою власть России, теперь условились сбросить эту власть и коварно истребить все русские войска, размещенные в разных местах их владений.

— Лев Ирана уже рычит на гяуров, — прибавил Ибраим-хан, — за нас — средоточие вселенной и убежище мира, — так высокомерно называл себя Баба-хан, повелитель Персии. — Иди и скажи это твоему царю, — заключил самоуверенно отец Геоухер.

Против русских должен был начать свои предательские операции Сурхай-хан казыкумыхский, к которому из Дагестана лезгины перебирались толпами.

— А моя правая рука, Селим-хан, закроет глаза и уши гяурам, — продолжал развивать условный план Ибраим-хан. — У него теперь кормятся семьсот лезгин, а сто из них — его цепные собаки; они рычат в воротах его крепости. Гяуры не любят этих собак, и Селим-хан, чтобы закрыть глаза гяурам, спустил с цепи собак, а вместо собак поставил у ворот крепости зайцев. Их гяуры не боятся.

— Кто же эти зайцы, ваше высокостепенство? — спросил посланец.

— Армяне — такие же гяуры.

Разговор этот происходил в Шуше, во дворце хана. Отпустив посланца царя Соломона, Ибраим-хан пошел на половину своей жены, Роксанды-бегюм. Это была женщина лет сорока пяти, сухая, морщинистая, но с глазами, пламенный блеск которых показывал, что только от таких глаз и могла получить в наследство свои чудные глаза Геоухер. Роксанда-бегюм была окружена рабынями, которые были заняты разнообразными женскими работами: пряли шерсть, вязали, вышивали золотом и шемахинскими шелками. По знаку хана все рабыни удалились, не смея взглянуть в глаза повелителя.

— Я пришел к тебе с такими вестями, которые Аллах посылает на землю со своими ангелами, — сказал он, садясь

на низенькой оттоманке с такой легкостью, как если бы ему было двадцать лет, между тем как ему уже исполнилось восемьдесят.

— Какие вести? — спросила Роксанда-бегюм, радостно сверкнув глазами.

— У нас в Карабахе встают разом два солнца, — туманно и вычурно, по-восточному, отвечал хан.

— Я не знаю другого солнца, — возразила на это Роксанда, — мое солнце — солнце Карабаха — это мой повелитель, Ибраим-хан, а звезды — это мои сыновья и дочери.

— Так, — улыбнулся хан, — но встают два солнца, ярче твоего солнца.

— Мои уши слышат твои слова, но не передают их моему слабому разуму, — смущенно сказала Роксанда.

— Новые солнца, которые будут светить дальше Карабаха — на весь Иран, на все владения льва и солнца — это Геоухер и Лейла.

— Геоухер и Лейла — моя маленькая Лейла! — проговорила она в смущении. — Я не понимаю моего господина.

— Открой же уши твои и сердце твое и внимай, — торжественно проговорил хан, — средоточие вселенной и убежище мира, царь царей, всемогущий повелитель Ирана, милостивый Баба-хан берет Геоухер и Лейлу в жены своим сыновьям!

Роксанда-бегюм выпрямилась, словно бы по ней прошел электрический ток. Материнская гордость осветила все ее лицо и из глаз извлекла молнии.

— Моя маленькая Лейла! Моя Геоухер! О, Аллах керим!

Она больше не могла говорить — так поразила ее эта весть.

— Да, наша перелетная ласточка Геоухер и моя горная козочка, маленькая Лейла, вознесут наш Карабах на вершину славы, — гордо воскликнул Ибраим-хан, поглаживая свою серебряную бороду.

— Но как же это так сделалось? — недоумевала Роксанда-бегюм. — Мой господин ничего не говорил об этом раньше.

— Пока лучи солнца не освещают вершины гор, не говорят, что солнце встает, — отвечал хан, — но когда лицо его глянет в лицо человека, тогда говорят: солнце встало. Наши два солнца глянули в лицо мое только нынешнею ночью, когда ты спала.

— Как? Ночью?

— Да. Под покровом этой ночи воротился из Тавриза Нук-Магомет.

— Нук-Магомет? А я думала, что мой господин послал его в Тифлис, к русским.

— Да, он и поехал по той дороге, чтобы отвести глаза гяурам, и очутился в стране льва и солнца.

— Я теперь догадываюсь, — в раздумье проговорила Роксанда. — Ну, и что же?

— Нук-Магомет привез нынче ночью ярлык от непобедимого Баба-хана: повелитель Ирана высылает к нам свое войско с Аббас-Мирзой, сто двадцать тысяч рублей тегеранской монетой и просит в замужество...

— Просит!.. Повелитель Ирана просит своих рабов!..

— Да, просит нашу ласточку и нашу козочку в свой пресветлый дворец.

— Да откуда он узнал, что они у нас такие красавицы? — удивилась Роксанда.

— Да, хвала Аллаху! — сказал в раздумье хан. — Мудрый говорит: смертный не знает, где найдет, где потеряет. Один Аллах все ведает... Я и сам сначала удивился, откуда, думаю, повелитель Ирана мог узнать о красоте наших дочерей; так Нук-Магомет объяснил, в чем дело.

— В чем же, мой господин?

— А вот в чем, звезда моей молодости, — теперь, увы! — утеха моей старости... Ты помнишь того святого мужа, который был в Мекке и гостил у нас в прошлом году?

— Это дервиш? Как не помнить! Он еще говорил, что видел ту гору, которая не хотела подойти к Магомету, и пророк сам подошел к ней.

— Да, тот самый — хаджа Эйюб.

— Как же! — заторопилась Роксанда. — Он еще говорил, что даже в садах Гюлистана не видал таких роз, какие цветут в нашем саду.

— Это о Геоухер и Лейле?

— Да... Он их назвал жемчужинами Востока.

— Ну так этот самый мудрец, хаджа Эйюб, — правый глаз повелителя Ирана; он по всему свету высматривает красавиц для гарема Баба-хана. Он и сказал царю царей: «В раю Магомета ждут тебя и твоих сыновей прекраснейшие из всех гурий. Но хочешь ли ты иметь гурий на земле?» «Хочу», — отвечал ему царь царей. «Так ты найдешь их в Карабахе», — говорит хаджа Эйюб. «У кого?» — «У Ибраим-хана. Я, — говорит, — исходил всю вселенную, был и в Мекке, и в Медине, видел священную Каабу, был и в Иерусалиме, молился

в мечети Омара у того самого камня, с которого Магомет вознесся на небо и на котором, прежде, Авраам хотел принести в жертву Аллаху своего сына Исаака; был я, — говорит, — и в Египте, в Каире, молился в священном храме Эль-Азхер и в мечети Гассана; был, — говорит, — и в Стамбуле, молился в Ай-Софии; я видел, — говорит, — всех красавиц земли! Но нет других красавиц под луною, подобных юным гуриям Ибраим-хана...» И повелитель Ирана теперь спит и видит нашу Геоухер и нашу маленькую Лейлу. Это сам хаджа Эйюб говорил Нук-Магомету[1].

Роксанда, казалось, не могла прийти в себя от изумления и подавляющей радости. Как, породниться с самим шахом! Да это неслыханная честь!

— Что ж ее так долго нет? — произнесла она тоном досады и нетерпения.

— Кого нет?

— Геоухер... Она все у царицы Имеретии.

— Она скоро должна быть здесь. Я давно послал за ней в Пятигорск.

— А если она проедет опять в Имеретию?

— Все равно. Я сейчас сказал посланцу царя Соломона, что жду ее, — чтобы ее не задерживали.

В это время к ним вихрем влетела девочка лет тринадцати — прелестное смугленькое создание. Малиновая бархатная курточка ее вся была расшита золотою битью; широкие бледно-розовые шальвары красивыми складками спускались к ее маленьким ножкам, обутым в желтые с тисненым золотом ичиги; за золотистым, с серебряным под чернетью набором, поясом торчал маленький изящной работы кинжал; на черной головке ее надета была шапочка, усыпанная бирюзой, а из-под нее спадали на плечи и спину несколько мелко заплетенных кос.

Влетев вихрем, девочка на секунду было остановилась.

— А! Вот он где! А я его ищу! — запыхавшимся голосом проговорила девочка.

Это и была «козочка» Лейла. Она бросилась к отцу, который глядел на нее с восторгом.

— Иди, иди сейчас за мной! — капризно говорила девочка, хватая отца за руку.

— Куда это, ураган? — спросила Роксанда, невольно улыбаясь и любуясь резвушкой.

---

[1] Это исторический факт, что Баба-хан намеревался женить двух сыновей на дочерях Ибраим-хана; третья его дочь, старшая, в то время была уже в замужестве за Селим-ханом нухинским.

— Это не твое, не женское дело, — отрезала шалунья.

— Как не женское! А ты сама разве не женщина?

— Нет, я девочка!

— Но тебе уж пора замуж, — улыбнулся Ибраим-хан.

— Замуж?.. Да я мужу глаза выцарапаю!

— Вот тебе на! — рассмеялся хан.

— О, Аллах! — всплеснула руками Роксанда.

Лейла вскочила отцу на колени, одною рукой обхватила его воловью шею, а другою теребила за бороду.

— Да иди же, мой старичок, иди скорей! — говорила она, подобно змеенышу извиваясь в объятиях старого хана. — Иди, моя серебряная куколка!

— Да куда? Зачем?

— Я велела оседлать себе Молнию, а Тигра — евнуху, чтобы он ехал со мной, а он не хочет, — говорила балованная дочь хана.

— Что так? Почему не хочет евнух? — улыбался старик.

— «Да я, — говорит, — с такой сорвиголовой ни за что не поеду».

И мать, и отец расхохотались.

— О, Аллах! — проговорила Роксанда. — Истинно сорвиголова.

А сама думала: «И как такое ртутное существо удержать в гареме? Как усмирит этого тигренка даже сам Баба-хан?»

— Ну иди же, иди! — не унималась Лейла.

— Да куда ты, дурочка, задумала ехать? — спросил Ибраим-хан, играя косами дочери.

— Как куда? Встречать Геоухер.

— Как Геоухер! — воскликнули разом и Ибраим-хан и Роксанда.

Хан даже вскочил с оттоманки и выпрямился во весь свой громадный рост, а Лейла продолжала висеть у него на шее, почти на аршин не доставая своими желтыми ножками до полу.

— Что ты говоришь... где Геоухер? — спрашивал хан.

Лейла звонко расхохоталась.

— Ах ты, мой старичок, мой седенький Арарат! — смеялась она. — Геоухер прислала гонца, что скоро будет, а он тут сидит и не знает, что у него делается под носом... еще хан!

Ибраим сделал усилие и точно стряхнул с себя шалунью дочь, которая с него, точно с колокольни, спрыгнула на пол.

— Ну иди же! Беги скорей, — не унималась Лейла, — беги со мной!

— Да не могу же я бегать, как ты, коза! — отбивался от нее хан.

А между тем сам спешил за дочерью.

— И что за огонь девочка! Сущий ураган, — шептала Роксанда, глядя вслед убегавшей Лейле. — И такую-то ртуть — да в гарем, под десять замков!

На дворе конюхи-нукеры уже держали под уздцы двух оседланных красавцев — рыжую с золотым отливом Молнию и каракового Тигра. Тут же стояла взмыленная лошадь гонца, который прискакал вперед, чтобы известить о скором прибытии Геоухер.

— Далеко ты оставил бегюм? — спросил гонца Ибраим-хан.

— В двух агачах[1] от Шуши, господин, — отвечал гонец.

— А здорова она?

— Благодарение Аллаху — здорова и весела, как рыбка в Араксе.

Хан обратился к стоявшему тут же старому евнуху его гарема.

— Так ты не едешь с бегюм? — с улыбкой спросил хан, зная упрямство своего верного пса, берегущего его красавиц.

— Не еду, господин, — угрюмо отвечал евнух, — Аллах ошибкой вложил душу делибаша в женское тело бегюм, и горе тому евнуху, которому суждено будет смотреть за гаремом мужа бегюм.

— У меня не будет мужа, — топнула ножкой Лейла, — ни один муж не догонит меня на моей Молнии — я от всех ускачу.

Хан рассмеялся.

— Ну, так я еду с тобой, — сказал он.

Лейла была уже на седле. За нею вскочил на Тигра и старый хан, и оба весело пустились в путь.

Но никто не знал, какая ждет их трагическая участь... Бедная Лейла!..

XV. ПЕРЕД КАТАСТРОФОЙ

Возвращение Геоухер в Шушу отпраздновано было шумным торжеством. Отец и мать видели в ней уже невесту, быть может, будущего повелителя Персии и относились к ней, как и к неугомонной Лейле, с особенною нежностью. Однако де-

[1] Агач — это почти семь верст.

вушкам не говорили, какое высокое назначение ждет их. Сама же Геоухер тайно вспоминала и переживала свое романтическое знакомство с белокурым русским офицером, бешеную скачку в горах Кавказа, у поста Коби, когда этот белокурый демон нашептывал ей такие упоительные слова, от которых она готова была упасть в обморок, но которых, к сожалению, после он уже не смел повторить, хотя она и ждала их страстно, но с боязнью и трепетом. Она с любовью вспоминала, как он, когда его раненая рука несколько зажила, постоянно носил на своей фуражке ее чадру, служившую прежде перевязью для раненной руки, и иногда украдкой подмечала, что он целует эту чадру и прижимает к своему сердцу. Она вспомнила, с какою болью в сердце она оставляла Тифлис, где остался ее белокурый демон, хотя он и говорил, что непременно выхлопочет себе позволение перейти на службу в тот отряд, который расположен в Шуше. О Дареджане и ее брате Константине она теперь — увы! — почти совсем уже не вспоминала, верная своим мимолетным, непрочным увлечениям, — что последнее на нее воздействовало, тому она и отдавалась со всею страстностью своего азиатского темперамента.

Ни матери, ни сестре она не сказала о своем знакомстве с русским офицером, хотя и представлялся к тому случай.

Вскоре после ее приезда в Шушу Лейла, копаясь в шкатулке сестры, в которой Геоухер держала свои драгоценности и украшения, нашла в одном футляре вместе с жемчужным ожерельем какой-то засохший красный цветок.

— Что это за цветок, Геоухер? — спросила неугомонная сорвиголова.

— Это на память о Дареджане, — отвечала Геоухер, вся вспыхнув.

— Отчего ж ты покраснела? — поймала ее Лейла.

— Так... Ну, вспомнила Дареджану... Мне жарко... Оттого и покраснела, — путалась и заикалась красавица.

Но Лейлу не так-то легко было сбить с позиции.

— Нет, ты мне скажи, где достала этот цветок? — приставала она.

— Где достала... Ну, там, на скале...

— На какой скале?

— Там... У Терека... За Дарьялом...

— Ты сама достала его или Дареджана?

— Нет... Цветы очень высоко росли... Мы с Дареджаной не могли достать их...

— Кто же достал?

— Ну... Один там человек...

— Какой человек?

— Ну... Один русский офицер...

Лейла сделала большие глаза:

— Русский офицер!

— Да, он сорвал цветы для Дареджаны, а она дала мне на память.

— А как зовут этого офицера?

— Не помню.

Но нет шпионов, более ловких, как двенадцати-, тринадцатилетние девчонки. Лейла долго и пытливо вглядывалась в сестру, особенно когда та задумывалась и не замечала ее шпионства. А потом она нашла более верный путь к раскрытию тайны старшей сестры. Она стал увиваться, точно котенок, около старой няни, ездившей за Геоухер, расспрашивала ее о дороге, о том, что они дорогой делали, что видели, кто с ними ехал и какие приключения были с ними в дороге. Старуха растаяла и все выложила перед шпионом в бледно-розовых шальварах и о том, как Геоухер обрадовалась Рустему, как скакала на нем по дороге в горы, как поскакал за нею урус-офицер, как за ними погнались князь Церетели и царевичи, и о том, как кто-то выстрелил в урус-офицера и ранил его, как ему перевязали рану чадрою Геоухер, потому что там, в горах, не случилось другой перевязки.

Только этого и нужно было юному шпиону.

С самым скромным видом плутовка явилась к сестре.

— А скажи, милая Геоухер, — ласково заговорила она, играя с кошкой, — где у тебя та хорошенькая чадра, на которой вышито изречение из Корана?

— Не знаю, милая Лейла, — отвечала Геоухер, опять вспыхивая, — должно быть, или забыла в Кисловодске, когда укладывались в дорогу, или в пути потеряла.

— А тебе, верно, опять жарко? — лукаво спросил маленький шпион.

— А что, милая?

— Ты опять покраснела.

И плутовка бросилась обнимать и целовать сестру.

— Ах ты, хитрая! Хитрая! А я все знаю, все, все!.. А скажи, как ранили в горах этого офицера, как ты своей чадрой перевязывала его рану, как он целовал тебя...

— Целовал! — вскрикнула Геоухер, отталкивая сестру. — Неправда!.. Ты гадкая девочка!

Но сестры скоро помирились. Занятые своими личными маленькими интересами, они не замечали, что вокруг совершалось что-то очень серьезное.

По случаю наступивших знойных дней двор хана оставил душный город и перебрался на летнее помещение, в окружавшие крепость ханские сады. Там разбито было несколько палаток, в которых и разместились семья хана и весь его двор с вооруженною стражей. Климатические условия Карабаха таковы, что, по случаю летней жары, все население его вело почти кочевую жизнь: на летние месяцы иные из обитателей Карабаха, более зажиточные, перебирались в свои сады, где и жили в палатках, а прочие уходили со своим скотом в горы, в возвышенные и прохладные места, где также разбивали свои шатры около горных ручьев и речек и вели совершенно первобытную, чисто райскую жизнь среди роскошной природы.

Ибраим-хан был прав, сказав своей жене, что Баба-хан высылает в помощь ему свои войска. Действительно, наследник персидского престола, или шах-заде, Аббас-Мирза давно уже выступил с двадцатитысячною армиею и расположился временно между Эриванью и озером Гокча. Один отряд он выслал вперед, приказав ему расположиться в шести агачах от Шуши, и известил о том своего будущего тестя, Ибраим-хана. Тогда хан, расположившись, как сказано выше, в своих садах, приказал своему конвою, состоявшему из пятисот воинов, укрепить свой лагерь самым тщательным образом.

Проведав об этом, майор Лисаневич, командовавший расположенным около Шуши и в самой ее крепости русским отрядом, отправил к хану офицера с требованием, чтобы он возвратился в Шушу.

Тут только старый хан открыл свои карты.

— Как смеет майор присылать ко мне с такими требованиями! — крикнул он на офицера.

— Но я только исполняю приказание своего начальника, — отвечал офицер, почтительно кланяясь.

— А ты знаешь, кто я? — гордо спросил хан.

— Вы Ибраим-хан, — был скромный ответ.

— Я генерал-лейтенант русской службы, а какой-нибудь майор смеет присылать ко мне с приказаниями! — загремел во весь голос старый хан.

— Но я только исполняю приказание своего начальника, — оправдывался офицер.

— Своего начальника! Я твой начальник! Я начальник твоего начальника! Я здесь один начальник — начальник над всем, и нет надо мною начальника! Я хан и повелитель Карабаха!

Офицер молчал, видя негодующего старика.

— Поди и скажи твоему майору, что я не признаю над собой никакой другой власти, кроме власти персидского шаха! — закончил свою речь Ибраим-хан.

Офицер вежливо откланялся, вышел из палатки и сел на своего коня, которого держал в поводу донской казак, приезжавший вместе с офицером в ставку хана.

Проезжая садом к выходу из ханской ставки, он увидел, недалеко от богатого пестрого шатра, под огромным развесистым дубом, качели и на них — двух девушек в восточном одеянии. Это были Геоухер и Лейла, сидевшие на качелях спиною к офицеру, который зорко в них вглядывался... Вдруг краска залила его белое, хотя загорелое лицо.

Топот лошадей заставил Лейлу оглянуться.

— Смотри, милочка, русские едут, — тихо сказала она.

Геоухер оглянулась, и крик не то испуга, не то радости вырвался из ее груди.

— Ты чего испугалась, милочка? — схватила Лейла сестру за руку.

— Я так... Я ничего... — неожиданно бормотала растерявшаяся девушка.

Офицер почтительно снял фуражку и хотел, по-видимому, остановиться и сойти с лошади, но в это время из пестрого шатра показалась Роксанда.

— Дети! Что вы там делаете? — спросила она.

— Ничего, мама, мы качались на качелях, — отозвалась Лейла.

Офицер поехал дальше, но долго оглядывался. Хитрая Лейла поняла все.

— У него на фуражке твоя чадра, — шепотом сказала она. — Я ее узнала... Так это он?

— Он, — также шепотом отвечала Геоухер.

— Как же он попал сюда?

— Не знаю, — отвечала автоматически Геоухер.

— Он к отцу приезжал — зачем? — не унималась Лейла.

— Я ничего не знаю! — чуть не со слезами отвечала Геоухер.

Приезжавший в ставку Ибраим-хана офицер был действительно наш знакомый — барон Клодт фон Юргенсбург, который, по усиленной его просьбе, был прикомандирован к отряду Лисаневича. Он прибыл в отряд несколько дней тому назад и сегодня выпросил себе у Лисаневича поручение, с которым и являлся к хану так неудачно. Тайным желанием его было — увидеть свое божество, и он его увидел.

Возвратившись к Лисаневичу, Клодт доложил о неудаче своей миссии. Лисаневич видел, что дела принимают опасное положение. Его отряд был ничтожен, а Аббас-Мирза с персидским войском мог в два перехода очутиться под стенами Шуши. Приходилось действовать энергичнее.

В Шуше в это время находились под командою Лисаневича один из сыновей Ибраим-хана, Мехти-ага, и внук, Джафар-Кули-бек, сын умершего наследника карабахского ханства. Лисаневич решил их отправить уговаривать хана прекратить сношения с персиянами, возвратиться с семейством в город и призвать всех своих подданных к оружию для отражения неприятеля.

Посланные прибыли в ставку Ибраим-хана в то время, когда он диктовал Нук-Магомету, наиболее доверенному ему лицу, приказ своим подданным, чтобы они уходили в горы для соединения там с персидскими войсками.

— Это не дело ты затеял, дед, — почтительно заметил ему Джафар-Кули-бек.

— Стрела выпущена из лука, теперь ее не поймаешь, — спокойно отвечал хан. — Будет уж гяурам помыкать нами.

— Одумайся, дед! Пусть стрела улетела, а у тебя остался лук и колчан со стрелами, — иносказательно же возразил Джафар-Кули-бек. — Отец моего отца! Не становись на мозоль нукерам белого царя: у него, говорят, столько войска, сколько рыбы в море. Он одною рукой поражает падишаха, а другой — шаха; тебя же он раздавит, как давит твой палец комара.

— Что ты мне говоришь! — с сердцем воскликнул хан. — Белый царь сто лет воюет и с шахом, и с падишахом, а до сих пор они сидят на своих тронах.

— Но, дед...

— Молчи, — перебил его Ибраим, — ты еще мальчишка, тебе только восемнадцать лет, и волос мужа еще не пробивался на твоем подбородке. Ты сын моего сына-первенца — да блаженствует он в раю пророка и да усладят светлоокие гурии его пребывание там, — ты по закону отцов наших наследуешь Карабах после моей смерти. И как же ты хочешь быть рабом гяуров, когда даже вот он, — хан указал на своего сына Мехти-ага, — твой будущий подданный, как я вижу по его глазам, не хочет подставлять свою шею под ярмо пришельцев!

Мехти-ага, хитрый азиат, все время молчал, когда горячился его племянник, Джафар-Кули-бек, с юношеским пылом отстаивая права русских, сила которых, видимо, обаятельно действовала на юного дикаря. Мехти-ага так же дорожил сло-

вами, как и звонкими туманами и русскими червонцами, до которых он был большой «любовник», как он сам выражался, не всегда правильно употребляя русские слова.

— Лучше, дед, есть горячий шашлык с вилки, как это делают русские, чем обжигать себе пальцы, — скромно заметил юноша.

— Ты на что это намекаешь, сын моего сына? — спросил хан, пытливо взглянув в глаза внука.

— Я говорю о персиянах, что едят шашлык без вилки, как и мы, и только обжигают себе пальцы, как обжигаемся и мы, — отвечал Джафар-Кули-бек.

— Мои уши слышат твои слова, но голова их не понимает, — сказал старик.

— Я говорю о том, отец моего отца, — да веселится он в раю пророка! — что персияне каждый год топчут своими набегами наши посевы и угоняют скот, и только русские не позволяют им совершенно нас ограбить, — продолжал возражать юноша.

— Русские! — снова вспылил старик. — А сколько они поедают у нас баранов со своими вилками! А пятьсот халваров хлеба, в десять пудов каждый халвар[1], что они истребляют ежегодно, — разве это не грабеж? А повелитель Ирана обещает мне прислать, кроме войск, сто двадцать тысяч рублей тегеранской монетой да еще сделать и меня, и тебя, и всех нас своими родственниками.

— Как так! — изумились разом Джафар-Кули-бек и Мехти-ага.

— А вот — читайте! — И Ибраим-хан развернул перед ними бумагу, привезенную Нук-Магометом из Тавриза от Баба-хана.

Молодые люди так и впились в нее глазами. Хан смотрел на них с улыбкой.

— Как, Геоухер и Лейлу в жены повелителей Ирана! — воскликнули они.

Они стояли в каком-то оцепенении...

XVI. КАТАСТРОФА

Посольство Джафар-Кули-бека и Мехти-ага не привело ни к чему. Ибраим-хан остался непреклонен в своем решении отдаться под покровительство Персии.

[1] Известная хлебная мера.

Лисаневич нервно кусал губы, когда Джафар-Кули-бек и Мехти-ага сообщали ему об упорстве старого хана. Но они словом не промолвились о секретном ярлыке Баба-хана.

— Хорошо... Спасибо вам, князья, за вашу службу, о вашем верноподданническом усердии доведено будет до сведения государя императора, — сказал он наконец. — А мы еще подумаем: утро вечера мудренее... Теперь же вечер — вам пара спать... Прощайте, князья.

Джафар-Кули-бек и Мехти-ага удалились, ничего не подозревая.

— Утро вечера мудренее, как бы не так! — сказал Лисаневич вошедшему к нему барону Клодту. — Ждать утра, так мы сами можем остаться без голов.

— Да, господин майор, хан что-то затевает, — заметил Клодт. — Я сейчас проходил садами по направлению к его ставке — не высмотрю ли чего, — так от самой крепости до ханских палаток заметил расставленную в секрете цепь часовых из ханских татар.

«Высматривать» он, собственно, ходил не часовых — не служба тянула его туда, а он мечтал — не «высмотрит» ли в полумраке сумерек те бледно-розовые шальвары и желтенькие башмачки, что мелькали утром на качелях... но он объяснил это служебным усердием.

— Да, нам ждать нельзя, — решил Лисаневич. — Вот что, барон, вы велите людям зорко присматривать за Джафар-Кули-беком и Мехти-ага, чтобы они ночью как-нибудь не выскользнули из крепости, а я отберу сотню наиболее ловких егерей, выведу их из крепости задними воротами, и мы, под покровом ночи, застукаем старого медведя в его берлоге.

— Как, господин майор? — удивился и втайне испугался Клодт.

— Нечего делать, барон, — я хочу прибегнуть к последней мере...

— Как! К насилию?

— Да... Немножко... Чтобы сберечь свои головы, я его просто арестую, — сказал Лисаневич.

— Надеюсь, без кровопролития? — с дрожью в голосе спросил Клодт.

— Без ненужного кровопролития; без крайней нужды я не выпущу ни одной пули.

— А если?.. — Юный барон трепетал за бледно-розовые шальвары и за желтенькие башмачки. — Ведь там у него жена, дети — две невинные девочки и сын юноша.

— Не бойтесь, — успокоил его Лисаневич, — мы никого не тронем, а его возьмем сонного. Распорядитесь же.

Клодт вышел с глухою болью в сердце. Он тотчас же направился к крепостным воротам и именем Лисаневича приказал часовым никого ни выпускать из крепости, ни впускать в нее. После того он взошел на крепостную стену, чтобы взглянуть туда, где были теперь все его мысли, вся его душа. Со смутной тревогой он посмотрел туда, на юг. Кругом — ночной мрак, и только там, среди темной зелени ханских садов, светились огни в ставке Ибраима. Над нею в небе ярко блистала какая-то звезда среди бесчисленного множества других, менее ярких звезд. Клодт не знал звездного неба — в корпусе его «не проходили». Он знал только некоторые северные созвездия; но этой звезды он не знал...

— Это *ее* звездочка, такая же яркая, как ее глаза, — шептал он беззвучно.

Где-то за крепостными стенами гукала ночная птица, да подчас лягушки выкрикивали в садах около водоемов. В ставке хана еще не спали; не спала, конечно, и *она*...

По огням он обстоятельно уяснил для себя расположение ставки и с тревогой в душе возвратился к Лисаневичу. Он застал его за сбором егерей.

— Я с вами, господин майор? — спросил он.

— Если желаете, я ничего не имею против.

— Благодарю... Я достаточно ознакомился с расположением ставки и могу быть вам полезным.

— Тем лучше, барон.

Вскоре все было готово, и сотня егерей с Лисаневичем и Клодтом тихо выступили из крепости задними воротами, чтобы обходным движением, миновав ханских часовых, окружить ставку Ибраима.

Отряд двигался так осторожно, что даже не слышно было людских шагов.

По-прежнему где-то гукала ночная птица и ей вторила другая, с крепостных стен. Лягушки заводили свой хор и умолкали. В воздухе неслышно реяли летучие мыши. Там, к югу, горела все та же звезда, по временам заслоняемая деревьями ханского сада. Клодт взглядывал на нее и продолжал двигаться с отрядом, пристально всматриваясь в огни, мелькавшие из-за кустов в ставке хана. По небу прокатилась падучая звездочка и угасла.

«Чья-то душа отлетела», — подумал Клодт; он еще верил этому.

Ставка уже недалеко. Можно издали при свете костров различить силуэты некоторых палаток. Там должен быть пестрый шатер, а около него — качели... Клодт слышит чьи-то шаги — и останавливается... Нет, это стучит его собственное сердце... В пестром шатре нет огня. Где же *она*? Спит уже разве?

Клодт отошел несколько от отряда и пополз по направлению к центральному огню, мигавшему из-за кустов.

Ближе и ближе. Под ногой слабо хрустнула ветка сушняка, и он остановился. Сердце колотится усиленно. Он осторожно пополз дальше. Кусты закрыли огонь, и только по сторонам виднеются золотистые блики отражающегося на темной зелени костра. Он пополз еще дальше. Слышны уже голоса — гортанные звуки чуть ли не самого хана. Шаг за шагом, все ближе и ближе. Раздвинув несколько кусты, он, казалось, оцепенел на месте.

Да и было от чего. Перед ним открылась чарующей прелести картина — картина, которой он потом не мог забыть всю жизнь. Небольшая площадка среди освещенных огнем костра белых и цветных палаток. У костра, на громадном персидском ковре с подушками, озаряемая костром, — чудная живая группа. В центре группы — Ибраим-хан в белоснежной папахе и в белом, расшитом золотом доломане сидит по-восточному на ковре, а к коленям его приникли головками, лежа и глядя на костер, Геоухер и Лейла. Несколько в стороне Роксанда с каким-то вязанием в руках, а около нее молодой горец, любующийся лезвием своего кинжала при блеске костра. Это младший сын хана.

Хан что-то рассказывал, а дети, по-видимому, слушали его. Между палатками мелькали люди — вероятно, слуги и рабыни.

Клодт замер в немом восторге. Он, кажется, вечно любовался бы этой восточной идиллией. Что-то сказочное, волшебное виделось ему в этой чудной картине под куполом темного неба, среди белых шатров и темной зелени, освещаемых тлеющим костром...

Болью, вместе с жгучим стыдом, сжалось сердце Клодта, когда он вспомнил, зачем они пришли сюда.

Лейла потянулась, глянула вверх, на отца, и стала одной рукой перебирать его длинную бороду. Она в это время напоминала нежащегося котенка...

Вдруг раздался выстрел, за ним другой, третий!..

Все вскочили с ковра.

— Дети! Спасайтесь в кусты, в темноту! — торопливо проговорил хан. — Нападение! Измена!

Лейла с братом бросились в одну сторону, Роксанда и Геоухер — в другую, к тому кусту, где находился Клодт.

Раздались залпы, крики... Вдруг мелькнула белая массивная фигура хана — и он грохнулся у костра, пораженный несколькими пулями.

Клодт выскочил навстречу Роксанде и Геоухер, стараясь заслонить их собою.

— Ребята! Сюда не стреляйте! Здесь я! — кричал он, выступая на свет и махая саблей.

Снова раздались выстрелы с другой стороны — и смолкли. На свет костра выскочил Лисаневич.

— Убит! — проговорил он, увидев массивную фигуру Ибраим-хана, навзничь опрокинувшуюся на ковре.

Выстрелы слышались все дальше и дальше: это защитники хана, спасаясь бегством, отстреливались в темноте.

Клодт, подбежав к костру и схватив горящую головешку, бросился в кусты, куда скрылась Геоухер с матерью. Скоро он услышал стоны. Бросившись в этом направлении, он увидел лежавшую без чувств Роксанду и приникшую к ней с плачем Геоухер.

— Ради Бога, что с княгиней? Она ранена, убита? — вскричал Клодт. — О, варвары!

Девушка, услыхав его голос, вся затрепетала. Отбросив в сторону головешку, Клодт опустился на колени перед женою хана и при свете вспыхнувшей головни увидел, что Роксанда открыла глаза.

— Слава Богу! Княгиня жива и, кажется, не ранена, — радостно заговорил молодой человек. — Это несчастное недоразумение...

Роксанда снова закрыла глаза. Выстрелы между тем совсем прекратились.

— Позвольте, я снесу княгиню в палатку... Ей нужно подать помощь... С нами доктор, — торопливо говорил Клодт.

— О, мама! Мама! — чуть слышно прошептала Геоухер, ломая руки.

Клодт бережно поднял несчастную женщину и понес к костру. Но, увидев распростертый на ковре труп хана, с ужасом остановился. Геоухер шла следом и поддерживала голову матери.

— О, Боже! — невольно вырвалось у молодого офицера.

Пламя от костра осветило мертвое лицо хана, и Геоухер с раздирающим душу воплем бросилась на труп отца.

— Доктор, доктор! — отчаянно звал на помощь Клодт.

— Оставить преследование! — раздавалась команда Лисаневича во мраке.

Из кустов выбежал на свет доктор, маленький человек в очках.

— Что здесь? Я там, у другого костра, делал перевязки раненым.

— Помогите, доктор, княгиня, кажется, только в обмороке, но ее надо унести отсюда, чтобы она не увидела вон того... Что он? — И Клодт показал на хана, над трупом которого вздрагивала от рыданий Геоухер. — Что хан? — тихо спросил он.

Доктор махнул рукой:

— Две прямо в сердце — рядышком...

Он, такой маленький, один поднял Роксанду и понес к другому костру. Клодт бросился к Геоухер.

— Княжна! Принцесса! Ради всего святого... Вы убьете себя, — наклонился он к ней.

Девушка не поднимала головы.

— Нет! Вы не должны убивать себя! — с силою сказал молодой офицер и, точно малого ребенка, взял девушку на руки.

— Мама! Мама! — простонала она.

— У княгини доктор — она в безопасности... не тревожьтесь, — говорил он.

Люди окружили площадку, на которой все это происходило. Лисаневич тотчас же приказал накрыть буркой тело хана.

— Куда вы, барон? — спросил он, увидев Клодта с ношею на руках.

— Хочу передать княжну женской прислуге хана — она в бессознательном состоянии, ей нужен доктор, — торопливо отвечал молодой человек.

— Доктор около княгини — она пришла в себя, но еще ничего не знает, — тихо сказал Лисаневич.

В это время среди столпившихся егерей показалась старая ханская няня.

— О, — тихо стонала она, — где мои дети? Где мои жемчужины?

— Вот княжна Геоухер, — сказал Клодт, передавая девушку на руки появившимся служанкам хана.

— А где Лейла? Где свет очей моих — ожерелье матери пророка, краса Карабаха и всего Востока? — металась и причитала старая няня.

Тут только вспомнили маленькую Лейлу.

— Берите головни, зажигайте пучки соломы, ищите младшую дочь хана, — командовал Клодт, тогда как Лисаневич с смоляным факелом в руке, откуда-то добытым егерями, вошел в палатку хана, чтобы взять бумаги и переписку отошедшего в вечность повелителя Карабаха, если только таковые бумаги отыщутся, и велел у всех ханских палаток поставить караул.

Клодт с некоторыми егерями, вооруженными пучками горящей соломы и пылающими головнями, бросился на поиски за Лейлой.

Зловещим светом мелькали по кустам и между деревьями импровизированные факелы. Слышались иногда голоса: «Вот еще убитый татарин...»

Страшной болью в сердце отдавались те слова для такого новичка, как Клодт.

— Кто первый открыл огонь? — спросил он одного егеря.

— Они, ваше благородие, татары; а мы — ни Боже мой! — мы хотели голыми руками взять яво, хана, значит, как нам и их благородие, то бишь — высокоблагородие, наказывали... Ну, как они, этта, начали лущить, татары, мы не утерпемши — вдарили тоже которых... Ну, мы и...

— Ишшо татарин мертвый, а княжны нету.

— Може, убегла по младости своей...

— Знамо, дите ишшо — ножки прыткие...

Вдруг Клодт с ужасом остановился. Пламя пылавшего жгута соломы, который он держал в руке, осветило страшную и трогательную картину. Откинув правую руку, лежал навзничь мертвый Искандер-ага, младший сын хана, с едва пробивающимся пушком на подбородке, а на левой руке его, почти на плече, покоилась прелестная головка Лейлы, бледное личико которой было словно живое и открытыми глазами смотрело в темную глубь неба. Обе ручки ее были разметаны, и только на бледно-розовых шальварах темнело небольшое пятно крови. Видно, и брат, и сестренка бежали навстречу пулям.

Клодт стал перед ней на колени, несколько раз перекрестил, поцеловал в мраморный холодный лобик и, взяв на руки, с плачем, точно по своем собственном ребенке, понес ее к палаткам.

XVII. НА ОХОТЕ — ДУРНЫЕ ВЕСТИ

Благоприятные известия, полученные Соломоном от своего тайного союзника, Ибраим-хана, и уверения Селим-паши ахалцыхского в покровительстве Наполеона заставили легко-

верного царя Имеретии воспрянуть духом, тем более что со всех сторон получались известия о патриотическом настроении всех его подданных и о подготовлении ко всеобщему восстанию в пользу законного и наследственного владыки Имеретии.

Вследствие этого, по случаю благополучного возвращения жены и детей из далекого путешествия, Соломон приказал устроить блестящую охоту на медведей и кабанов в окрестных с замком Вард-цихе лесах.

— Надо же и нам, старикам, и молодежи упражнять свои руки и зрение, — говорил при этом старый князь Кайхосро Абашидзе, — скоро нам придется иметь дело и с двуногими медведями и кабанами.

— То-то окороков накоптим, — ядовито замечал хитрый Зураб Церетели.

Разговор этот происходил в начале июня 1806 года, утром, на террасе замка Вард-цихе.

— Я тоже, отец, поеду на охоту, — раздался вдруг голос Дареджаны.

— Вот как! — улыбнулся Соломон.

— Что же тут смешного, отец? — задорно спросила юная царевна.

— Ничего смешного, девочка, — снова улыбнулся Соломон. — Моя Тамара... Она видела себя во сне Тамарой, — пояснил он, обращаясь к князьям, — с тех пор как побывала за хребтом, стала очень храброй.

— Что ж, отец, и царица Тамара любила охотиться, — возразила Дареджана.

— Что ж, и царевна видела во сне демона? — лукаво спросил старый Зураб.

Дареджана вспыхнула и убежала.

— Я велю оседлать своего Барса, — закричала она уже издали.

— Но, пожалуй, Рустем, что у Геоухер, будет побыстрее твоего Барса, — послышался голос царевича Ираклия.

— Как бы не так! Рустема догнал конь того русского офицера, барона, а моего Барса он бы не догнал.

— Ну, это еще бабушка надвое сказала.

Дареджана действительно выехала на охоту вместе с прочими. Она грациозно сидела в мужском седле, потому что голубые широкие шальвары, в которые она была одета, позволяли ей такую посадку. За поясом ее блестел кинжал в серебряных с чернетью ножнах и с ручкой, усыпанной бирюзой. Черная персидская шапочка ее была задрапирована бе-

лою чадрой. Рядом с нею ехал князь Симеон Церетели, а за ними — два джигита. Царевичи — младшие — держались больше около отца и его почетной свиты.

Царевич Константин ехал отдельно. Он был, по-видимому, не в праздничном настроении духа. С тех пор как воротилась из путешествия Дареджана и он, из рассказов ее, мог заметить или, скорее, почуять своим влюбленным сердцем, что Геоухер оказывала в дороге внимание какому-то русскому белокурому барону, его душу стала точить глухая ревность. Его мучила мысль, что этот «белокурый шайтан» имел счастье сопровождать карабахскую красавицу до самого Тифлиса, а быть может, и до самой Шуши.

Утро выдалось тихое, но несколько пасмурное. По горам ползли облака, точно прозрачными чадрами заволакивая их вершины.

— Такой день как раз для охоты, — сказал князь Симеон своей спутнице.

— Почему же? — спросила Дареджана.

— Серенький... Солнце не будет отсвечивать на стволах винтовок, а это главное условие верного прицела.

Дареджана, которая после кисловодского сна с Тамарой и демоном начала было чувствовать себя неловко в присутствии князя Симеона, теперь снова несколько привыкла к нему и снова стала обращаться с ним почти с прежнею доверчивостью. Однако по отношению к Геоухер в душе ее оставалось еще что-то невыясненное, и она в чем-то как бы подозревала своего спутника. Ей теперь очень бы хотелось поговорить о своей карабахской приятельнице, но она, хитрая, как все женщины, ждала, не заговорит ли о ней первым князь Симеон, — и тогда обвинение его в любви к этой горной газели окончательно сложилось бы в ее убеждении. Но князь Симеон не заговаривал о ней. Так не значит ли именно это, что он ее любит? Ведь всего труднее говорить о том, о ком постоянно думаешь, как и сама она, после кисловодского сна, ни за что не решилась бы заговорить о князе Симеоне, разве только кстати. Почему же он не заговорит о Геоухер? Значит, он о ней постоянно думает? Значит, он ее любит?

Дольше она не могла выносить его молчания.

— Где-то теперь Геоухер! — заговорила она невинно, но инквизиторски бросив взгляд на своего спутника, — не поймает ли его этой неожиданностью на месте преступления.

Поймала! Лицо князя Церетели выразило как бы тревогу... Он сам пытливо посмотрел на свою спутницу... «Не о

Геоухер она вспомнила, а о том пряничном офицерике», — мелькнуло у него в уме. Но он пересилил себя.

— Вероятно, она уж в Шуше, если только не попала в золотую клетку старого Джафар-Кули-хана, — сказал он, силясь побороть свой голос.

Дареджана чутко прислушивалась к этому голосу, и ей показалось, что в голосе этом была тревога.

«Он ревнует ее к этому старику, он ее любит» — таков получился у Дареджаны логический вывод.

— А разве она пойдет за старика? — с ангельской невинностью, но и с лукавством кошки спросила она.

Теперь у него сложился свой логический вывод: она боится, что Геоухер увлечется пряничным офицериком, как она сама увлечена им, и что на стороне Геоухер больше шансов завлечь его.

— Ее отдадут, если того захочет этот старый богач; в Карабахе не справляются о чувствах девушки, а просто отдают, как вещь, — продают охотнику, — отвечал он не без горечи.

«А! значит, он боится за нее, она ему дорога», — решила Дареджана.

— А я ее в последнее время как будто стала меньше любить, — сказала она.

«А! значит, приревновала к пряничному офицерику», — решил князь Симеон.

Эта глухая перестрелка двух взаимно влюбленных продолжалась бы, вероятно, еще долго, если бы не послышался голос Соломона:

— Князь Симеон! Пора распределять места, охота сейчас начнется... Ты будешь рыцарем царевны? Я поручаю ее твоей охране.

— Считаю священным долгом охранять ее высочество, — поспешил ответить князь Симеон.

— Овечку поручили охранять волку, — пробурчал про себя старый Зураб.

Все стали сходить с лошадей и отдавать их нукерам.

— Разве и я должна оставить Барса? — спросила Дареджана грустным голосом, окончательно убедившись, что князь Симеон любит Геоухер.

— А как же, выше высочество, на лошадях никогда не охотятся на медведей, потому что никакая лошадь не выносит вида этого косматого животного, — упавшим голосом отвечал князь Симеон с горьким сознанием, что Дареджана любит проклятого офицеришку.

Старый Абашидзе Кайхосро как наиболее опытный охотник, не раз ходивший на тигра в шемахинском ханстве, за Араксом, стал указывать места для охотников. Само собою разумеется, что лучшее боевое место отведено было самому царю Соломону, которому в резерв придали несколько лучших имеретинских стрелков и кинжальщиков. Юные царевичи помещены были недалеко от отца под охраною нескольких джигитов.

— А вашему высочеству я отведу возвышенное место, — обратился князь Абашидзе к Дареджане, — вы будете царицей предстоящего турнира и будете награждать счастливых победителей.

— Где же я должна стать, князь? — спросила Дареджана.

— А вот здесь, ваше высочество, выше, у этого дуба; если медведь или кабан будет уходить от собак и от выстрелов, то он пойдет этой тропою, ниже, прямо в чащу.

Издали раздался звук рожка, которым князь Леонидзе извещал как помощник распорядителя, что и там охотники заняли назначенные им места.

— Готово, турнир начинается, — сказал Абашидзе и три раза протрубил в свой рог.

Это означало, что загонщики должны были начать свое дело. Послышались неистовые крики, улюлюканье и стук топорами и дубьем о стволы деревьев. Им начали вторить собаки.

— По голосам собак я узнаю, что зверь уже поднят, — сказал князь Симеон, зорко оглядываясь по сторонам и взводя курки своей двустволки.

Крики и лай собак все усиливались. Послышался выстрел, за ним другой.

— По выстрелам я догадываюсь, что зверь шел сюда, но убит ли? — сказал князь Церетели, прислушиваясь.

Послышался треск сухих сучьев.

— Он идет сюда, — шепотом произнес Церетели.

Вдруг на тропу выбежал громадный кабан и с глухим хрюканьем понесся прямо к пункту Дареджаны.

Девушка храбро направила на чудовищную свинью дуло своего пистолета и выстрелила; но она сама увидела, что промахнулась, и пуля ее влепилась в ствол противоположного дерева. Услыхав неожиданно выстрел, раненный, по-видимому, раньше и разъяренный зверь поднял свою морду с клыками наподобие кривых стилетов и, увидев Дареджану, повернул прямо на нее. Одна секунда — и царевна была бы распорота

страшными клыками, с которых падала белая пена; но в это мгновение раздались разом два выстрела, пуля одного джигита-стрелка угодила в левую лопатку зверя, не задев его сердца, зато пуля князя Симеона пробила череп страшного чудовища, и оно скатилось на тропу в предсмертных судорогах.

— Чудовище у ног вашего высочества, — сказал Церетели, силясь улыбнуться и с трудом переводя дух.

Он был бледен. Обожаемая им девушка была на волосок от смерти.

— Не я, а вы, князь, победили его, — сказала Дареджана, с нежностью взглянув на своего спасителя.

— Но вы открыли огонь...

Не успел он это сказать, как на той же тропе показался медведь, преследуемый собаками. Лесной царь, сердито сопя, останавливался и лапами отбрасывал от себя собак, которые с визгом отлетали от него с разодранными боками или с развороченным черепом.

— Не шевелитесь и не стреляйте, — шепнул Церетели Дареджане.

Отбрасывая собак, медведь все приближался к пункту царевны.

— Теперь я не промахнусь, — шепнула эта последняя, наводя дуло второго пистолета на медведя.

— Нет, ради Бога!

— Но я хочу! — задорно говорила девушка.

— Но вы привлечете его внимание...

— Ничего... я не одна... помоги, святая Нина!

И Дареджана выстрелила. Теперь выстрел ее был удачнее, — пуля угодила медведю в кончик уха. Но этого достаточно было, чтобы зверь рассвирепел. Подняв свою острую морду с маленькими, налитыми кровью глазами и увидав своего врага, он встал на задние лапы и, грузно переваливаясь и раскрыв передние лапы, словно для объятий, пошел прямо на Дареджану.

— Ради Бога — за дерево! — крикнул Церетели.

Девушка повиновалась, но все же обнажила свой кинжал.

Медведь приближался, не обращая внимания на собак, налетавших и щипавших его сзади. Он шел прямо на дерево, за которым укрылась Дареджана. Медлить было нельзя. Целясь в лоб, как и кабану, Церетели выстрелил, но пуля его прорезала только ноздрю чудовища, и оно, замотав головой, с страшным ревом ринулось вперед, прямо к Церетели, которому уже нечем было стрелять: оба его ствола были разряжены. Оставался только кинжал... Вот-вот смерть...

Но джигиты не дремали. Они дали залп, но — поздно!.. Хватив лапой по голове Церетели и сбив с него его белую папаху, медведь подмял его под свою чудовищную тушу...

Но он этим именно и спас своего врага. Церетели успел вонзить свой кинжал под левую лопатку зверя, поразив его прямо в сердце. Чудовище захрипело и в смертных судорогах придавило своим огромным туловищем противника...

Дареджана отчаянно вскрикнула...

Но джигиты были уже на месте катастрофы и с трудом стащили мертвое тело медведя с Церетели.

— Ай да князь! Доконал-таки шайтана! — радостно проговорили джигиты.

Князь был весь в крови. Дареджана со слезами бросилась к нему...

— О, мой князь! Мой спаситель!

— Пустяки... Царапины... Это его кровь, а не моя...

— А на лбу!.. На лице! О, мой князь, мой добрый, милый князь!

Девушка старалась концами своей белой чадры стереть кровь с его лица. Церетели поднялся.

— Я не ранен, — силился он улыбнуться, это он, дурак, принял мою папаху за голову и ударил по папахе, а ударь он по голове тогда...

С трудом отогнали собак от трупов кабана и медведя.

Вдруг сзади послышался свисток. Все оглянулись. По тропе, от замка Вард-цихе, торопливо шел знакомый уже нам лезгин, тот самый, что служил проводником польскому иезуиту, приносившему от Селим-паши ахалцыхского Соломону вести о Наполеоне.

— А, это ты, Касим, — сказал Церетели, прикрывая платком царапины, оставленные на его лбу лапою медведя.

— Я, князь, — отвечал лезгин. — Где его величество? Я к нему с вестями от Селим-паши.

— С какими вестями?

— О! Нехорошие вести, нехорошие! В Карабахе великое несчастье.

— Что такое? — разом спросили и Дареджана, и Церетели.

— Ибраим-хана не стало.

— Как! Умер старик?

— Нет, русские убили: в ночь с 1 на 2 июня они напали на его ставку, многих его беков застрелили, и сам хан пал на месте. Мало того, застрелили его младшего сына Искандер-ага и его дочь, бегюм...

— Которую? Геоухер? Лейлу? — с тревогой спросила Дареджана.

— Не знаю, как ее зовут, царевна, — отвечал лезгин.

— Старшую или младшую? — спросил Церетели.

Дареджана взглянула на него вопросительно. Сердце ее дрогнуло... «Он жалеет Геоухер...»

— Старшую или младшую? — повторила она вопрос князя Церетели.

— Не знаю — все равно, — отвечал Касим. — Где же царь?

XVIII. БРАТ ПРОДАЕТ СЕСТРУ

Вести, привезенные Касимом о событиях в Карабахе, не могли не поразить царя Имеретии. Вся прелесть охоты, столь удачной и столь романтической для некоторых из ее участников, была испорчена. Кабаны и медведи, которых было убито достаточное количество, почти никого уже не занимали.

«Эта участь и меня может постигнуть, — мучительно думал Соломон. — Где искать защиты? И Баба-хан, и падишах, и Наполеон — далеко. Всех их страшнее какой-нибудь майор Лисаневич или капитан Парфенов».

Но всех более потрясла эта весть царевича Константина. «Которая из дочерей хана убита?.. Неужели Геоухер?» Кровь, казалось, застывала у него в жилах; но вопрос оставался неразрешенным. Касим повторял «все равно»; для него все женщины были — бабы, самый дешевый товар на рынках Востока. Но для влюбленного царевича это было не все равно.

Но более всех роковою смерть Ибраим-хана была для Геоухер — и вот почему.

На вакантный престол хана Карабаха явились два претендента: законный наследник — Джафар-Кули-бек, внук убитого Ибраима, наследовавший ему по прямой, старшей линии, и родной сын Ибраима — хитрый и двоедушный Мехти-ага. Джафар-Кули-бек был неопытный, увлекающийся юноша, благоговевший перед величием русских; из него можно было сделать послушного исполнителя всех предначертаний свыше. Напротив, в Мехти-ага сидела властолюбивая душа азиатского деспота, для которого язык был создан, чтобы лгать и обманывать. Он знал, что законным путем ему не достигнуть престола своих предков, что на

дороге к трону стоит мальчишка, безбородый племянник. Оставалось проползти на трон ужом, и Мехти-ага стал извиваться ужом. Хитростью, лестью и щедрыми обещаниями он успел склонить на свою сторону наиболее влиятельных беков Карабаха. Оставалось отвести глаза русским, ослепить эти глаза покорностью и исполнительностью. И он это сделал: русским войскам полилось рекою продовольствие от щедрой руки Мехти-ага.

— Будыш баран резал, будыш шашлык жарил, будыш усо кушал — усо тебэ будыт давал Мехти-ага, — говорил русским Нук-Магомет, ставший теперь правой рукой Мехти-ага. — А Джафар-Кули-бек — у! — скупая.

Но этого мало. Мехти-ага махнул в Тифлис. Он давно заметил, что его красавица сестра, Геоухер, жестоко уязвила любвеобильное сердце старца Джафар-Кули-хана, бывшего повелителя и владыки ханства Хой, в Адербиджане, давно перешедшего на сторону России и жившего в Тифлисе с своими несметными богатствами. Этот старец в высших сферах Тифлиса пользовался большим авторитетом, потому что еще при начале управления краем князя Цицианова оказал России большие услуги, и русские власти ему ни в чем не отказывали.

К этой-то почетной развалине, истощившей свой азиатский организм азиатской невоздержностью, и подсыпался мелким бесом Мехти-ага. Он заверил старика, что за него — Мехти-ага — стоит весь Карабах, что мальчишке Джафар-Кули-беку, его племяннику, никто не хочет повиноваться.

— Но закон на его стороне, — возразил осторожный старец.

— Закон!.. Что закон?.. Закон — это негодный кишмиш: его ест только тот, кому лучшего не дают.

Старец рассмеялся беззубым ртом.

— Хе-хе... Закон — кишмиш!.. Ишь что выдумал!..

— Не я это выдумал, а так говорил мой отец — да блаженствует он в раю пророка! — возразил Мехти-ага. — Ты видел в лесу паутину?

— А что, — удивился старик, — на что тебе паутина?

— Да видел ли, говорю, как паук в лесу растягивает свою паутину?

— Ну, конечно, видел.

— Так вот эта паутина и есть закон: маленькая мошка всегда запутается в паутине, а шмель или шершень всегда пробьет ее.

— Так, так, точно, пробьет, — согласился старик.

— А как здоровье ее светлости Султанет-бегюм? — спросил Мехти-ага, переменяя разговор.

— Да что Султанет-бегюм? Стара стала, — отвечал Джафар-Кули-хан.

— А вот твоя светлость молодцом смотришь, — льстиво заметил лукавый гость.

— Да, я, благодарение Аллаху, еще тово, могу, — подбочениваясь, самодовольно прошамкал старик своим беззубым ртом.

— Где там тово! — подмигнул карабахский бес. — Все тифлисские красавицы, я думаю, заглядываются на статную фигуру Джафар-Кули-хана.

— Хе-хе... И точно — засматриваются, — плутовски-блаженно улыбался старый сатир.

— Да мне это и сестренка моя, Геоухер, говорила, — подъезжал карабахский бес.

— Геоухер! — встрепенулся старец. — Ах, какая она у тебя красавица! А что она?

— Да что! Все плачет.

— Плачет? О чем же она, бедненькая крошка?

— Да не хочется ей в Персию...

— Как в Персию! Зачем в Персию? — удивился старик.

— Да все это воля покойного отца, пошли ему, Аллах, красивейших гурий в раю Магомета! Отец так хотел: он незадолго до смерти заключил союз с повелителем Ирана, и в условия этого союза между прочим включено, что отец мой обязывается выдать дочерей своих, Геоухер и Лейлу, за сыновей Баба-хана, — объяснил Мехти-ага.

— За сыновей Баба-хана! — встрепенулся Джафар-Кули-хан.

— Да, за сыновей... такой высокий почет... Только бедненькая Лейла убита русской пулей, а Геоухер плачет: «Я, — говорит, — хочу остаться в Карабахе, а если уж и выходить замуж, то только за хорошего человека в Тифлисе».

— Так, так... Это она умно говорит, — как бы про себя говорил старик, — Геоухер умная девочка... Зачем ей в Персию? Да этим ты только русских обидишь.

— Я и сам так думаю, да боюсь не исполнить последней воли отца — да веселится он в раю пророка! — продолжал лукавить Мехти-ага. — И сестренку жаль.

— А сколько ей лет? — спросил Джафар, что-то обдумывая.

— Да уж ей пятнадцать.

— Пятнадцать... совсем невеста, совсем, — шамкал старик.

— Вот я и думал бы, — продолжал бес-искуситель, зорко наблюдая за своим собеседником, — что Геоухер была бы как раз под пару твоей светлости.

В слезящихся глазах старца блеснула искорка. Он еще более приосанился, а ввалившиеся губы его, казалось, жевали что-то сладкое.

— И ты думаешь, что она пойдет за меня? — спросил он, поглаживая жиденькую крашеную бороденку.

— Еще бы, за такого большого человека!

— А если не захочет?

— Да ведь и овечка не хочет, чтобы из нее делали шашлык, а шашлык все-таки выходит вкусным, — лукаво отразил вопрос Мехти-ага.

— Хе-хе-хе! — схватился за бока старый сатир. — Правда, правда... Глупая овечка никогда не хочет, чтобы из нее делали шашлык, а шашлык все-таки выходит вкусным... Вот придумал!

— Не я придумал, а так делается, — скромно заметил бес-искуситель.

— И то правда... Хе-хе-хе! И чем моложе овечка, тем вкуснее шашлык... хе-хе-хе!

Старик встал и с отеческой нежностью обнял своего искусителя.

— Умная, умная девочка, что не хочет в Персию! — говорил он радостно. — Что ей в Персии! Я сам бежал оттуда... Умная девочка! Я видел ее с царевной Дареджаной у князя Цицианова... И та милая девочка, красавица, только куда же ей до твоей сестры! Геоухер — настоящая гурия.

— Так ее и Баба-хан назвал в своем ярлыке к покойному отцу — да веселится он в раю пророка!

— Именно гурия, — повторял про себя старик. — Хе-хе... овечка и шашлык... вкусный шашлык... Вот придумал!

Джафар хлопнул в ладоши. На этот зов явился молоденький арабчонок.

— Подай наргиле, — сказал Джафар. — Овечка не любит шашлыка, потому что никогда его не пробовала... Хе-хе! А шашлык вкусный, очень вкусный...

Арабчонок подал наргиле, и старик, усевшись на мягкой оттоманке, забурчал водою наргиле через длинный витой чубук, выпуская клубы ароматного дыму.

— Да, да — шашлык, овечка... Хочешь — не хочешь, а иди — все равно будет вкусно, — бормотал он, бурча каль-

яном. — Ну, если это дело уладится благополучно, я тебе такого жеребца подарю, что будет стоить Геоухер... Да, хочешь не хочешь, а иди...

— Так как же, твоя светлость? — вдруг неожиданно спросил Мехти-ага.

— А что? — встрепенулся Джафар.

— Да насчет моего ханства.

— Да, да, — бормотал старик, — ты правду сказал, что закон — гнилой кишмиш, его ест только тот, кому свежего не дают...

— А паутина? — ехидно спросил Мехти-ага.

— Да, да, и паутина... точно... паутина...

— А твоя светлость такой шершень, что всякую паутину прорвешь, — подзадоривал старика искуситель.

— Нет, нет, не я шершень, а главнокомандующий — его надо просить, графа Гудовича, — шамкал Джафар, сося наргиле. — Это не шершень, а целый воробей... А жаль, что Соломон бунтует против России, — вдруг заговорил он, откидываясь на спинку оттоманки.

Мехти-ага с удивлением посмотрел на него, не понимая причины такого крутого поворота мыслей своего собеседника.

— Жаль, жаль, очень жаль!

— Почему же? — спросил Мехти-ага.

— А тогда я и царевну Дареджану взял бы себе в жены... Она тоже красавица... И с нею Геоухер было бы веселей — обе молоденькие... Да и мне — хе-хе-хе — лучше бы было: то кишмиш, а то рахат-лукум... хе-хе.

«Ну, разлакомился старый шайтан, — улыбнулся в душе Мехти-ага, — мало ему одной».

— Да, Соломон ни за что не хочет покориться русским, — сказал он, желая отнять у старого сластолюбца всякую надежду обладать Дареджаной и направить его мысли на одну Геоухер. — Говорят, что он постоянно сносится с Селим-пашой ахалцыхским и надеется на покровительство падишаха и Наполеона.

— Да, да... Мне это и князь Зураб Церетели говорил, — подтвердил Джафар-Кули-хан. — Этот князь Зураб из всех имеретинских князей один привержен к России, потому — умный человек, а у царя Соломона, кажется, Аллах в голове пальцем помешал.

«Да и у тебя, у старого шайтана, давно в голове не мозги, а чихиртма, — подумал Мехти-ага. — Удивительно, как такого дурака русские слушают; он, по-моему, и трех баранов не сумеет накормить».

— Одного я боюсь, — сказал Мехти-ага, — как бы персияне, пользуясь тем, что у нас в Карабахе нет теперь хана, не напали на Шушу и не увезли мою сестру... А это очень может быть.

Старик не на шутку испугался и даже уронил на пол чубук наргиле.

— Как же так? — тревожно спросил он.

— Да очень просто: в Шуше теперь всего небольшой отряд майора Лисаневича, а все наши беки и все население Карабаха не знают, кому повиноваться, и все потеряли голову; придет Аббас-Мирза — и увезет Геоухер.

Джафар с испугу даже вскочил с оттоманки и захлопал в ладоши. На зов опять явился арабчонок.

— Скорей мне одеваться, да парадный халат и лучшее оружие... Да вели седлать коня, и чтоб нукеры сейчас готовы были сопровождать меня к графу Гудовичу... Живо!

Арабчонок исчез. Мехти-ага встал с сверкающими торжеством глазами.

— Надо поторопиться, — бормотал старик, — а то в самом деле Аббас-Мирза... Он же сердит на меня... Ах, бедная, бедная девочка! И как же ты не догадался взять ее сюда с собою!

— Да я не ожидал благосклонного приема твоей светлости, — лукаво оправдывался Мехти-ага.

— Не ожидал! А девочка пропадай... Эх, Мехти, Мехти!

— Что ж, еще не все потеряно, — продолжал оправдывать себя последний, — если граф Гудович сегодня даст мне ярлык, что назначает меня ханом Карабаха, я сегодня же поскачу туда.

— Да, да, сегодня, непременно сегодня! — И старик опять захлопал в ладоши.

И опять появился арабчонок.

— Что ж мне одеваться, что мой конь, моя сабля, мои пистолеты, мои нукеры! — топтался на месте в большой тревоге старый хан.

— Сейчас, сейчас! — И арабчонок исчез.

XIX. ГРУСТНОЕ ПОСЛАНИЕ

Прошло около четырех лет после описанных нами событий.

Красавица Геоухер давно была замужем за совсем уже развалившимся Джафар-Кули-ханом и пережила трагическую, кровавую историю своего горячего сердца; но об этом после.

Джафар-Кули-хан, сделавшись — юридически — обладателем карабахской красавицы, с каждым годом превращался не только в развалину, но просто в щебень.

Мехти-ага, после продажи своей сестренки превратившись в Мехти-Кули-хана и повелителя Карабаха, продолжал обманывать русских и набивать свои карманы.

Царевна Дареджана из четырнадцатилетней девочки превратилась в восемнадцатилетнюю красавицу и все чаще и чаще видела во сне демона...

У князя Симеона Церетели давно зажили на лбу и на голове царапины от медвежьей лапы, а в бороде и на висках пробивалось много седины, но... все оставалось по-прежнему.

Барон Клодт фон Юргенсбург продолжал вспоминать о «красном цветке», о скачке за Геоухер в горах Кавказа, о трагической ночи под Шушею — и проклинал эту ночь.

Митрополит Софроний недосчитывался многих из своих курочек и не мог молиться за врагов.

Генерал Рикгоф давно умер. Капитан Парфенов давно произведен в майоры и продолжает злиться на «ракалью» Наполеона. Юные Вася и Гриша давно загорели и превратились в боевых офицеров первого сорта. Хохол Юхименко так и прослыл «витютянтом».

Из Риона много, много воды утекло в Черное море, а царь Соломон продолжал оставаться без царства и без столицы и продолжал, вместе с семьею и своими приверженцами, скитаться в горах и по непроходимым лесам своей родины...

Но все более и более сдавливаемый со всех сторон русскими отрядами, он впал, наконец, в глубокое отчаяние. У кого искать помощи? У ахалцыхского паши? Но и от него Соломон был уже отрезан летучими русскими отрядами. У Наполеона? Но где он? Что с ним? К чему привели обещания поляка-иезуита и где он сам запропастился? На эти вопросы никто не мог дать ему ответа. А время шло; седина все более и более заполоняла его курчавую бороду и голову. Его милая Дареджана на глазах таяла, как свечечка. Его первенец, Константин, постарел на десятки лет. Его дворец в Кутаисе разрушен почти до основания. Вся Имеретия вне его власти.

Наконец он решается на последнее средство — на свидание с русскими! Он пишет главнокомандующему, которым был тогда уже не граф Гудович, а генерал Тормасов, и просит прислать доверенное лицо. Тормасов отправляет Могилевско-

го, правителя своей канцелярии, человека опытного в канцелярской казуистике, и вручает ему для Соломона письмо-ультиматум.

Могилевский, приехав в Кутаис, отправляет гонца в замок Вард-цихе и просит Соломона в его столицу на свидание. Соломон, опасаясь, что его там схватят, не едет в Кутаис, а посылает князя Леонидзе пригласить самого Могилевского в Вард-цихе, Могилевский согласился; они поехали в горы.

Это было в начале февраля 1810 года. Ранняя южная весна уже вступила в свои права. Горные ручьи бешено пенились и гремели. Деревья выкидывали свежую благоухающую зелень. Сады белели сплошным цветом плодовых деревьев. Кругом — красота, хватающая за душу.

Могилевский, чиновник, выросший под другим, холодным небом, зачерствевший в канцелярской атмосфере, не мог не чувствовать всего обаяния этой красоты... И как не любить такой родины, такого неба!.. Как горько, должно быть, расставаться с этим раем, с привольем этой жизни.

В глубине души он это чувствовал, но... суровый долг!

— И как вы хотите, чтобы горный орел своею волею вошел в клетку, хотя бы она была и золотая? — говорил Леонидзе, видя задумчивость Могилевского.

Они ехали верхами, а за ними следовало несколько нукеров.

Могилевский ничего не отвечал на слова Леонидзе.

— А неволей вы не принудите царя ни к чему, — продолжал последний, — войска у него достаточно, народ его любит, а посмотрите на горы, на леса!

Могилевский глядел именно на эти неприступные горы, на дикие скалы и стремнины, на девственные, дремучие леса.

— Поймайте же вы теперь орла среди его скал — напрасный труд!

Могилевский все молчал. Вот они переехали и речку Квириллу.

На неприступных скалах чернеет замок Вард-цихе — действительно, орлиное гнездо.

Но вот они и в замке. Могилевского вводят в комнату, стены которой все увешаны оружием и трофеями охоты.

Соломон, окруженный князьями, ждал посла. Могилевский с поклоном подал ему пакет.

— От генерала Тормасова? — спросил Соломон с нервным подергиванием лица, принимая дрожащею рукою пакет, словно бы это было раскаленное железо.

— Да, ваше высочество, от господина главнокомандующего, — отвечал Могилевский.

— Благодарю. Я бы попросил вас отдохнуть с дороги, а по прочтении письма я приму вас, — сказал Соломон, знаком отпуская посла.

Могилевского увели в отведенную для него комнату.

Оставшись с приближенными, Соломон вскрыл пакет; но руки его так дрожали, что он не мог читать, и словно в изнеможении откинулся на спинку кресла.

— Батюшка, позволь я прочту вслух, — тихо сказал царевич Константин.

— На, читай... Они меня совсем истерзали. — Соломон подал сыну бумагу.

Голос царевича дрожал, когда он начал читать:

— «На письмо вашего высочества имею честь ответствовать с полною откровенностью, что я крайне был удивлен...»

Соломон, который при начале чтения закрыл было глаза, чтобы внимательнее слушать, вдруг круто повернулся в кресле.

— Удивлен!.. Ну, читай дальше, — махнул он рукой.

— «...Крайне был удивлен, — продолжал царевич, — получив от вас пункты, на которых вы желаете снова обязаться быть верным подданным Его Императорского Величества...»

— Подданным! — прошептал Леонидзе. — Царь-подданный!

Но его никто не поддержал, только Соломон горько улыбнулся.

— «...Отказываясь формально от обязанностей, предлежащих вам к исполнению по силе прежде заключенного трактата, вашим высочеством подписанного, по совершении присяги перед лицом всеведущего Бога на святом Его Евангелии, в том, что вы свято и ненарушимо соблюдете все пункты сего трактата, утвержденного самим Государем Императором. Почему, не смея даже и помыслить, чтобы приступить без особой Высочайшей воли к перемене трактата, я единственно из усердия моего к вам и желая вам добра, возвращаю при сем подлинные пункты, от вас присланные, и не представляю оных на усмотрение Его Императорского Величества, дабы не умножить того праведного противу вас гнева, на который и без того ваше высочество подвинули Всемилостивейшего Государя Императора через неисполнение священной Его воли в продолжение целых пяти лет».

Царевич остановился, заслышав чьи-то всхлипывания. Все оглянулись. В слабо освещенном углу, за занавесью, стояла

Дареджана, неслышно пробравшаяся в кабинет отца и, уткнувшись лицом в ладони, тихо плакала.

— Это ты, моя девочка? — со слезами в голосе проговорил Соломон. — Подойди ко мне, мое дорогое дитя.

Дареджана тихо приблизилась к отцу. Она много изменилась с тех пор, как мы ее видели в последний раз на медвежьей охоте. Она возмужала, красота ее стала еще обаятельнее; но это было обаяние затаенной грусти, невыплаканных слез, обаяние покорной кротости.

Отец с невыразимой нежностью стал гладить наклоненную головку.

— Вот для кого я борюсь и страдаю, — говорил он, глотая слезы, — для них — чтобы они не сказали, что отец лишил их царского наследия славных предков... Я не хочу, чтобы эти чистые глазки смотрели на меня с немым укором...

— Отец, милый отец, — рыдала девушка, припав к груди отца, — не говори этого.

Всех эта сцена глубоко потрясла. В темном углу сидел князь Симеон Церетели, бледный, с дрожащими губами. Даже суровый князь Зураб был тронут.

— Ну, читай до конца это послание — нашу похоронную песню, — сказал Соломон, с трудом пересилив себя, когда девушка, опустившись на пол, припала головой к коленям отца. — Да, истинно похоронная песнь.

Царевич продолжал:

— «Между же тем, следуя побуждениям искреннего моего расположения...»

— Расположения! — не вытерпел князь Леонидзе, стукнув кулаком.

— «...Расположения стараться о пользах ваших, — продолжал Константин, — я не скрою перед вашим высочеством, что мысль, вами принятая, в рассуждении перемены трактата, может быть для вашего высочества весьма вредна, тем более что сие причтется со стороны вашей единственно к оскорблению столь сильного и могущественнейшего монарха, как наш Всемилостивейший Государь Император. А потому я предварительно считаю долгом уведомить вас, что по обязанности главнокомандующего должен будучи хранить закон Его Императорского Величества, отнюдь не отступая от оного, я и в сем разе принужденным себя найду, как блюститель закона, принять другие меры, хотя бы оные и были неприятны для вашего высочества, дабы обратить вас к исполнению ваших обязанностей, ибо я не вправе ни переменять, ни делать новых трактатов без соизволения Его Императорского Величества,

но обязан почитать священными те, которые удостоены Высочайшего Его утверждения, и надзирать, дабы сила оных была во всей точности исполнена, наказывая вероломство и непокорность законной власти»[1].

— Вероломство!.. Это они считают вероломством, что я не хочу сделать нищими моих детей, — грустно говорил Соломон, гладя как бы машинально лежащую на его коленях головку дочери.

Дареджана встала. Глаза ее горели.

— Нет, нас не разлучат с тобой! — сказала она твердо. — Вот они тебя не выдадут, — указывала она на окружающих.

— Царевна правду сказала, мы не выдадим своего царя! — страстно воскликнул Леонидзе.

— Умрем за царя! — повторили остальные князья.

— А если со мною так поступят, как с Ибраим-ханом? — нерешительно проговорил Соломон.

— Никогда! — горячо возразил Леонидзе. — Государь император никогда этого не позволит... Ибраим-хан — мусульманин, а ты — одной веры с императором.

— О, если бы государь все знал, он, наверно, защитил бы меня! — горестно вскрикнул Соломон. — Но как увидеть государя России?

— Пошлите меня, ваше величество, как вашего слугу, и я найду государя, — сказал князь Симеон, — я тайно от здешних властей проберусь через хребет, я преодолею все препятствия, все опасности и повергну к священным стопам рыдания и мольбы бедствующей вдовицы — Имеретии. Государь великодушен — и он внемлет нашим воплям.

Соломон горячо обнял энтузиаста.

— Если ты это исполнишь, то у меня не найдется достойной награды для тебя, — произнес он растроганным голосом.

Князь Симеон взглянул на Дареджану — прелестные, счастливые глазки ее сказали ему, где он найдет награду.

XX. УЛЬТИМАТУМ

Долго еще Соломон и его приближенные совещались между собою, и только перед вечером, когда уже начинало темнеть, Могилевский был приглашен к царю.

---

[1] Подлинный документ (Н. Дубровин «История войны и владычества русских на Кавказе». Т. V. Спб.,1887. С. 293 — 294).

Он застал в кабинете Соломона самого царя и еще какие-то две личности, которых, за темнотою, он не мог рассмотреть, так как почему-то огни в кабинете не были зажжены. Но в одном из находившихся в кабинете он заподозрил князя Леонидзе, что впоследствии и подтвердилось.

— Извините, что я принимаю вас почти в темноте, — сказал Соломон при входе Могилевского, — слабость моих глаз не позволяет мне пользоваться вечерним освещением — оно вредно для моих глаз.

Пригласив Могилевского сесть, он немного помолчал.

— Я прочел письмо его превосходительства генерала Тормасова и очень благодарен ему за доброе расположение ко мне, — проговорил он медленно, видимо, обдумывая каждое слово.

— Я с своей стороны могу засвидетельствовать перед вашим высочеством о добром расположении к вам главнокомандующего, но и еще более — государя императора, — сказал Могилевский. — Я бы желал теперь услышать от вашего высочества лично ваши желания.

Соломон не сразу отвечал. Письмо Тормасова не могло придать ему ни мужества, ни надежды.

— Я уже многократно писал о своих желаниях и покойному генералу Рикгофу, и графу Гудовичу, и генералу Тормасову, — сказал он наконец. — Теперь повторю их вам: я прошу о передаче вновь в мое владение Лечгума, незаконно отнятого у меня; я заявляю, что мои подданные переносят много обид, что мой дворец в Кутаисе разрушен до основания. Я постоянно прошу, чтобы войска были выведены из Имеретии, — и все напрасно!

— Ваше высочество! — отвечал на это Могилевский. — Отправлением ваших депутатов в Петербург вы скорее всего достигнете исполнения ваших желаний; вы поручите им лично принести жалобу государю императору, и его величество, я уверен, удовлетворит справедливые ваши претензии.

Соломона поразило это предложение. Смелый проект князя Симеона Церетели, оказывается, не шел вразрез с видами русских властей.

— А вывод войск из моих владений? — спросил царь.

— Что касается войск, ваше высочество, то они необходимы для защиты Имеретии от вторжения турок, с которыми Россия ведет теперь войну и обязана оберегать свои владения, — отвечал Могилевский. — Когда же война окончится и край совершенно успокоится, тогда главнокомандующий выведет войска из Имеретии и оставит лишь незначительную

часть их, для охранения вашей особы и отдания приличных почестей.

«Для охранения моей особы, — мысленно повторял Соломон, — от кого меня охранять? От моего народа, который меня боготворит? От моих князей, которые готовы умереть за меня?.. Для отдания мне приличных почестей... Это ли почесть — держать меня под караулом, как арестанта?.. О, судьба! Я сам прошу, чтобы меня не охраняли, — нет, насильно охраняют! Я прошу, чтобы мне не отдавали почестей, я в них не нуждаюсь — нет, насильно чествуют: ешь почести, когда они тебе в глотку не идут! О, Господи! За что же это?»

Он не вытерпел и высказал это вслух, только в мягкой форме, хотя с дрожью в голосе.

— Я сам настолько силен, — сказал он, — что не боюсь ни турок, ни других соседей, с которыми всегда в состоянии справиться и без помощи русских войск. Если же мое желание относительно вывода войск будет исполнено и мне будет возвращен Лечгум, то я пребуду покорным верноподданным его величества и всегда буду исполнять свои обязанности.

Но это не убедило Могилевского — напрасные надежды!

— Выражая недоверие к русским войскам, вы тем самым обнаруживаете всю неискренность вашего поведения, — отрезал казуист-канцелярист.

«Неискренность! Боже великий! А они искренни, они правдивы!» — колотилось в душе злополучного царя.

Он чувствовал себя уничтоженным и молчал. Он не видел в темноте лица своего хладнокровного собеседника. Ему виделось во мраке, в его возбужденном воображении, милое, заплаканное личико Дареджаны... «Они меня хотят взять — оторвать от нее, от моей плоти, от моего утешения...»

Нелегко было и Могилевскому... Но он был раб своего долга.

Молчание было слишком тягостно, и князь Леонидзе, до сих пор ничем не обнаруживший своего присутствия при аудиенции, решился поддержать своего царя, не находившего, повидимому, слов для возражения, и тут только Могилевский убедился в присутствии в комнате этого, как он писал потом Тормасову, «царя бесов».

— Я знаю мысли его величества Соломона и могу ответить за него, — послышался из темноты голос «царя бесов».

Но Могилевскому не хотелось этого. Он знал, что без поддержки князей Соломон не устоит против его подьяческой казуистики, и не желал вмешательства в их разговор третьего лица, тем более такого, которое, как выражался сам же Мо-

гилевский, особенно было опытно и искусно «по адским делам».

— Извините, я имею исключительно и конфиденциально говорить с его высочеством и потому прошу оставить нас одних, — сказал он решительно.

Соломон издал какой-то гортанный звук, и Леонидзе, а равно и другой кто-то, молча и невидимо присутствовавший при аудиенции (князь Кайхосро Церетели, как оказалось впоследствии), молча удалились из кабинета.

Соломон и Могилевский остались вдвоем, по-прежнему не видя друг друга. Царь продолжал молчать; от него не отходило плачущее личико Дареджаны. Молчание прервал Могилевский.

— Ваше высочество находитесь под гневом государя императора, — сказал он, — и потому вам предстоит один путь к спасению — исполнить требование главнокомандующего.

— Но чем же я навлек на себя гнев государя? — спросил Соломон подавленным голосом.

— Поступками, враждебными России, — отвечал Могилевский.

— Я не признаю себя виновным, — горячо возразил Соломон, — все происходит от клеветы злых людей и несправедливых доносов.

— А разграбление вашими людьми казачьего поста, а нападение их на транспорт с боевыми снарядами, следовавший из Тифлиса к князю Орбелиани, осаждавшему Поти?

Обвинение это поразило Соломона: все, на что указывал теперь Могилевский, было сделано с его ведома... Он чувствовал, что погибает... «О, моя Имеретия, мои дети, моя Дареджана!..» Он весь дрожал, сознавая всю свою виновность.

— Разберите по совести, — дорезывал его между тем Могилевский, — и судите сами, виновны вы или нет против данных обязательств.

«Совесть... совесть... Да, я виновен, виновен, — сознавался он в душе, — но меня вынудили к этому...»

Слышно было, как за окном, в ближайших скалах, кричала ночная птица, кричала так зловеще. Соломон прислушивался к этому крику, и суеверный страх заставлял подниматься волосы на его голове.

— Что ж мне делать, чтобы умилостивить императора? — в отчаянии произнес он.

— Исполнить не позже трех дней требования главнокомандующего, — был ответ, — отправить в Тифлис депутатов, выдать аманатов, в том числе царевича Константина, дать

письменное обязательство сохранять впредь во всей святости трактат, вами подписанный, и, наконец, переехать на жительство в Кутаис.

А ночная птица все кричит... Стоны ее душу надрывают.

— В Кутаис! — в свою очередь как бы простонал Соломон. — Зачем в Кутаис?.. Там у меня и дворца уже нет... там одни развалины... Зачем же мне в Кутаис?

Он встал, ломая руки и невольно прислушиваясь к стонам филина.

— Нет, это невозможно... это невозможно! — шептал он, совсем подавленный. — И зачем требуют от меня невозможного?

— Это необходимо, — добивал его Могилевский, — необходимо в доказательство доверия вашего к войскам, и я клянусь, что вы будете там безопасны.

«Клянусь... Он клянется... Боже, вразуми меня, научи меня!.. В Кутаис... нет, ни за что!.. Там меня схватят...»

Могилевский ждал ответа, но ответа не было; слышно было только прерывистое дыхание человека, окончательно потерявшего голову, и, к его же собственному несчастью, никогда не жившего своим умом.

Могилевский прервал молчание, слишком долго длившееся.

— Теперь я вынужден говорить прямо и откровенно, — отчеканивал он слово за словом, — мера нашего терпения кончилась... Государь император, желая восстановить разрушенное благоустройство Имеретии и доставить благоденствие единоверному народу имеретинскому, повелел лишить вас царства. Для этой цели собрано уже на границе до двух тысяч человек русских войск, готовых, по первому приказанию, вступить в пределы Имеретии, а для совокупного действия с ними приглашены владетели Мингрелии и Гурии с их ополчениями.

Громом поразили эти слова Соломона. Из всего сказанного молнией прошло по его душе сознание, что он — «лишен царства»...

«Лишен царства... лишен всего... нищий без пристанища... А дети?.. А жена?.. Дареджана?.. Всего лишен... За что же такая кара, Господи!»

— Впрочем, — помолчав немного, чтобы слова его произвели наиболее неотразимое действие, продолжал Могилевский, — если вы без промедления исполните требование главнокомандующего, то можете быть уверены, что до конца дней своих останетесь самовластным обладателем Имеретии,

при всех своих правах и преимуществах. Вам будут доставлены царские регалии, жалованье и возобновлен будет на счет казны дворец в Кутаисе. Согласие или несогласие на решительные предложения главнокомандующего, из коих ни одно не может быть отменено, поведет к вашему счастью или погибели.

Что было сказать на это? «Счастье или... погибель, окончательная погибель... он сам это сказал... А счастье? Боже! Где ж оно?.. Сколько лет, как оно оставило меня!.. О, мое счастье, мое погибшее спокойствие...»

— Счастье или погибель, — бормотал он, понемногу приходя в себя, — да, да, я не хочу погибели.

— Какое же окончательное ваше решение? — спросил Могилевский.

— Я еще не знаю... подождите... я посоветуюсь с первейшими князьями... тогда дам решительный ответ, — все еще растерянно, почти задыхаясь, говорил Соломон.

— Так я ухожу, — сказал Могилевский.

— Нет, нет, подождите... Я желаю остаться царем Имеретии.

— Это будет зависеть от вас.

— Но... пусть русские войска выйдут из моих владений.

— Это невозможно.

— Невозможно...

На дворе бушевал ветер; столетние сосны, окружавшие замок, глухо шумели, и сквозь этот шум все еще доносились зловещие стоны ночной птицы.

Могилевский опять собрался уходить.

Новая мысль мелькнула в растерявшейся голове Соломона: «Государь ничего этого не знает... Он далеко... но он милостив, великодушен... Его доверием злоупотребляют... У него тоже есть дети... он пожалеет моих детей, мою Дареджану, мою бедную девочку...»

— Вот что, — сказал он, собравшись с мыслями, — если государь император, против которого я, конечно, сопротивляться не могу, не желает, чтобы я управлял царством Имеретинским, то пусть в удостоверение своей воли напишет мне собственноручно хоть несколько строк, и тогда я сам добровольно и тотчас же удалюсь от управления.

Могилевский улыбнулся, подумав: «Станет с таким кукольным царьком государь переписываться!.. Он и Наполеона-то знать не хочет, а то на́ — царь шашлыков!»

— Нет, — сказал он, — я не могу обнадежить, что последнее ваше желание будет исполнено; я только прошу, что-

бы решительный ответ дан был мне не позже утра следующего дня, так как более одной ночи оставаться в Вард-цихе я не могу.

И Могилевский в темноте откланялся, сам прервав бесполезную, по-видимому, аудиенцию.

«Хоть кол ему на голове теши — он все свое, головотяпый черкес!»

XXI. ОВЦА, КОЗА И СОЛДАТ

Могилевский, возвратившись в свою комнату, прилег на низенькую оттоманку. Он чувствовал себя совершенно разбитым. Это завывание ветра, шум леса и глухие стоны филина наводили на него тоску и страх. Ему казалось, что он попал в разбойничий вертеп. Все смотрели на него косо, враждебно.

В комнату его вошел Наркиз, нукер из армян, приехавший с ним из Тифлиса. Могилевский доверял ему и держал его при себе в качестве шпиона и сыщика.

— Подай мне трубку, Наркиз, — сказал Могилевский, зевая от нервной головной боли.

Наркиз, набив трубку и подавая ее, лукаво улыбался.

— Ты что улыбаешься? — спросил его Могилевский.

— Ой, ой, ой, гасподин, этот князь Зураб, — отвечал армянин, качая головой. — У! старый лисиц! За ним сабак, за ним сабак, а он им хвастом к носу... Сабак вот-вот схватил хвост, а лисиц как махнет хвастом в сторону, под гору, — все сабак за хвастом так и свалился под гору, и старый лисиц на горе, и только смейся над сабак.

— Я сам его довольно знаю, — сказал Могилевский. — А что он теперь?

— Сказал мне: «Скажи твоему гасподин, что я не пойду к нему — меня царь за это секим башка».

И армянин вдруг схватился за живот и стал качаться из стороны в сторону, словно от нестерпимой боли.

— Что с тобой, Наркиз? — спросил Могилевский.

— Ой, ой! умру от смех, убей тебя Бог — умру!

— Спасибо за пожелание... Чего ж тебе смешно, дурак?

— Ого! Не я дурак, а аны все дурак, ой, какой балшой дурак, какай свинский дурак! Князь Зураб, старый лисиц, всех их напугивал... О, какой дурак эти имеретин! Князь Зураб, старый лисиц, им сказал: «Русская земля — такой балшой земля, что в нем солнце никогда не заходил: с левой старана солнце еще не сел, а с правой уж встал, у Москва

ночь, а у Сиберу день...» И дурак имеретин поверил — вот дурак! Разве я поверил, когда б он мне сказал: «В Кутаис солнце сел, а в Тифлис встал?»

Могилевский не счел нужным просвещать его на этот счет; напротив, ему было на руку, что имеретинцы напуганы рассказами о неизмеримости России.

— Еще князь Зураб напугивал глупых имеретин царем-пушкам и царем-колоколам, — продолжал удивляться армянин имеретинской глупости. — Он сказал: «У русского царя есть такой пушка в Москва, так ядро упадет на Тифлис — и Тифлис капут...» И дурак имеретин поверил и испугал себя... «А царь-колокол, — говорит, — такой балшой, как дом, и, когда зазвонит на Москва — в Сиберу слышно, и там люди начал крестить себя».

В это время в комнату вошел князь Леонидзе с самым приветливым выражением на лукавом и заискивающем лице.

— А я к вам, я велел подавать вам сюда ужин, — сказал он. — Вероятно, вы очень устали.

— Благодарю вас, князь, — сказал Могилевский. — А устать я действительно устал.

— Да, да, неудивительно... А царь так огорчен, что даже заболел и от пищи отказался.

В это время слуги внесли подносы, уставленные восточными кушаньями, а равно кувшинами с вином. Князь Леонидзе сам налил два кубка кахетинским, и один кубок подал Могилевскому.

— Пью за здравие его императорского величества, государя императора! — сказал он, чокаясь с гостем.

Они отпили из кубков.

— Теперь выпьем за здравие его превосходительства, господина главнокомандующего.

Снова выпили. Потом пил князь Леонидзе за самого Могилевского.

— Вы имеете большое влияние на царя, — говорил за ужином этот последний, — убедите его исполнить требования генерала Тормасова.

— О! я все силы употреблю для этого — поверьте мне, — уверял Леонидзе.

— Не забудьте, — напомнил ему Могилевский, — что я жду решительного ответа завтра утром.

— Будьте покойны, все сделаю.

И он вскоре ушел в совет. Когда слуги унесли принадлежности ужина и Могилевский остался один, он велел своему

армянину сходить секретно к князю Зурабу Церетели и позвать его к себе.

— Да чтоб никто об этом не узнал, — прибавил Могилевский.

— О, не бойся, гаспадин! Нет такого имеретин, которого Наркиз не провел бы, — самодовольно проговорил армянин, — я и старого лисиц за хвост поймал.

Но скоро Наркиз воротился ни с чем.

— Старый лисиц у царя, — сказал он. — А мне мой кунак тут сейчас сказал, что к тебе придет старый волк в овечья шкура.

— Кто такой?

— Сам старый князь Кайхосро Церетели... Кунак мой сам одевал его овцом.

— Как одевал? Переодевал?

— Да, гаспадин, в чужой бешмет, чтоб ты его не узнал.

«Что за чепуха! — подумал Могилевский. — Они точно дети».

Действительно, вскоре явился переодетый в чужое платье князь Кайхосро Церетели. Но Могилевский сразу озадачил его.

— Что с вами, князь Кайхосро? — спросил он. — Вы не в своем виде.

— Да, точно, — смешался старый хитрец, — видите ли, на дворе дождь, и меня всего промочило, так я и переоделся... Я пришел поговорить с вами.

— Я очень рад, — сказал Могилевский. — Вы, князь, сколько мне известно, самое уважаемое лицо в Имеретии и всех более любимы вашим государем... Помогите мне — на вас только надеюсь.

— Охотно, в чем могу, — отвечал польщенный хитрец.

— Вспомните, какие бедствия ожидают Имеретию, ее царя и всех вас, если вы не исполните справедливых требований главнокомандующего, — говорил Могилевский и достал из своего портфеля какую-то бумагу. — Вот копия с письма главнокомандующего к царю, которое должен вручить ему полковник Симонович, имеющий занять войсками Имеретию. Генерал Тормасов пишет: «Имея меч, уже подъятый для карания преслушных священной воле его императорского величества, я должен буду удалить ваше высочество от управления царством Имеретинским».

— Меч подъятый, — повторял про себя князь Кайхосро. — Это ужасно, ужасно! — качал он головой.

— Но вы слушайте дальше, — продолжал Могилевский. — «Между же тем, — пишет главнокомандующий, — по искреннему моему к вам усердию, коего опыт можете видеть из того чистосердечия, с каковым я объясняюсь с вами, давая вам через то время обратиться на путь истинный, я молю благость Всемогущего Бога, чтобы Он святою силою Своею вселил в вас спасительные мысли и даровал вам через то спокойствие и ненарушимое благоденствие, коего лишают вас злые ваши совещатели...» — При этом Могилевский так неожиданно глянул прямо в глаза князя Кайхосро, что тот невольно вздрогнул и потупился. — «...Злые ваши совещатели, желающие гибели вам и собственному своему отечеству», — закончил Могилевский и положил бумагу в портфель.

— Не знаю, о каких это злых совещателях говорит главнокомандующий, — смиренно заметил князь Кайхосро.

— Есть такие, — уклончиво отвечал Могилевский. — Даже такие есть, которые обнадеживают царя помощью Наполеона.

— Кто ж это такие? — с деланною наивностью спросил Церетели.

— А те, которые сносятся с польским иезуитом и шпионом... «Sa majesté l'empereur des francais s'engage...» — с улыбкой проговорил Могилевский.

Церетели догадался, что это он намекает на ту бумагу, которая перехвачена была солдатами на границе Имеретии... «Ну, да она не подлинная — мы от нее всегда можем отпереться», — успокаивал себя князь Кайхосро.

— Мало ли что на нас клевещут! — смиренно произнес он. — Наполеон... Наполеон далеко от нас.

— Да, — согласился Могилевский, — от Наполеона до Имеретии дальше, чем от Кутаиса до луны.

Время перевалило уже за полночь. Дождь перестал, и из-за разорванных облаков показалась полная луна, прямо глядевшая в окна комнаты Могилевского. Оттого он и упомянул о луне... «Светит, да не греет, — подумал он, — так и Наполеон для Имеретии...»

Князь Церетели посидел, помолчал и стал прощаться.

— Так завтра утром я жду решительного ответа, — сказал Могилевский, провожая своего гостя.

— Будет решительный ответ, — сказал князь Кайхосро, удаляясь.

Вошел армянин Наркиз. На лице его играла многозначительная улыбка. Могилевский достаточно изучил это лицо и

знал, что под улыбкой оно скрывает или какую-нибудь сплетню, или же серьезное известие, и стоило обозвать его дураком, чтобы он его выложил.

— Ты что, дурак, улыбаешься? — прибегнул Могилевский к обычной своей уловке.

— Нет, я не дурак, гаспадин, — возразил горячо Наркиз, — армянин не дурак, никогда никакой армянин не был дурак... Армяшка — машенник! Никогда армяшка не был машенник! Имеретин — все дурак и машенник, грузин — дурак и машенник, а армянин — все умный!

— Ну, хорошо, хорошо, верю, — улыбнулся Могилевский.

— Имеретин — вот дубовый дурак! Мой кунак имеретин сичас гаварит: «Болши вада — болши русским беда, болши зелоны лист — болши имеретин в гора свист».

— Что? Что? Ты что болтаешь?

— Не я балтаю, а имеретин: «Болши вада — болши русским беда, болши зелоны лист — болши имеретин в гора свист».

— Что же это означает?

— Эта азначаит следующи: кунак гаварит — река в Имерети все разольют — русским беда, хадить нельзя; а деревья болшом листом пакроют — имеретин в гора ни адин шайтан не найдет.

— Теперь понял, — соображал Могилевский, — значит, они ждут, чтобы все реки разлились да деревья покрылись бы погуще листом, тогда русские ничего с ними не поделают?

— Да, так гаварит мой кунак. Он дурак, а я не дурак.

Могилевский все понял. «Так они потому оттягивают с решительным ответом, что ждут таяния снегов в горах и разлития рек, чтобы русским отрядам нельзя было шагу сделать? Они выжидают, чтобы леса, сплошными борами покрывающие горы Имеретии, вполне оделись листом?.. Вполне восточная дипломатия!.. Тогда лови их в горах да в дремучих лесах... Ловко придумано. Так я же не дамся на эту удочку», — соображал он, выкуривая последнюю перед сном трубку.

— Ты умный человек, Наркиз, — сказал он, — и спасибо тебе за усердие... Вот тебе лобанчик, — и Могилевский сунул армянину в руку червонец.

— Хитра, хитра имеретин, а дурак, — бормотал Наркиз, пряча червонец в карман. — Ишь ты! Болши вода — болши беда... Толко вы, гаспадин, мой кунак не трогай.

— Какой твой кунак? — спросил Могилевский.

— А тут есть мой кунак имеретин: он все мне гаварит и будет все гаварить, а я тебе.

— Хорошо, мы его не тронем.

Вдруг Наркиз опять схватился за живот, стараясь не рассмеяться громко и не шуметь ночью.

— Ты что еще? — спросил Могилевский, ожидая новой выходки своего Лепорелло.

— Ой, ой, ой, гаспадин! Мой кунак гаварил мне еще об каза и об овца, и им всем гаварил старый лисиц, князь Зураб.

— Что это еще за коза и овца? — полюбопытствовал Могилевский.

— А вот. Жил себе, гаварит князь Зураб, каза и авца и паслись на луга; вот каза и ну пырять авца рагам: «Не ешь мою траву». Овца заплакала и пошла к русскому салдату: «Не вели казе меня пырять рагам и гнать с луга». «А ты что мне дашь, авца, если я праганю казу?» — гаварит салдат. «Дам тебе шерсть», — гаварит авца. «Харашо». Прогнал салдат казу и стал авцу стричь, а детей ее, молодых барашка, стал резать себе на шашлык.

И Наркиз снова схватился за живот.

— Ну, что ж, только-то? — спросил Могилевский.

— Нет, не все, гаспадин... Князь Зураб гаварит: «Авца — эта Грузия, каза — Персия, а салдат — салдат и есть».

Могилевский понял все ехидство басни, проповедуемой имеретинцам коварным Зурабом.

— Гнусная змея! — прошептал он.

Могилевского тем более возмущало поведение князя Зураба Церетели, что государь отличал его особенными милостями, пожаловал ему чин полковника при самом лестном рескрипте и положил содержание по 1200 рублей в год... И вдруг такая гнусная измена!

XXII. ЧИСТИЛИЩЕ И ВИДЕНИЕ

Могилевский проснулся, когда утреннее солнце, прорезав своими лучами бор, окружающий замок Вард-цихе, залило светом всю его комнату.

Встав с постели и надев на ноги кавказские ичиги из желтого сафьяна, он подошел к окну. Лес действительно весьма заметным образом одевался пышным зеленым листом.

«Да, скоро густота его будет непроницаема, — подумал он, — Наркизов кунак прав... Дикари и их дикий царь разбредутся по горам и лесным ущельям, как горные козы, и

тогда ищи их... Но что за красота кругом!.. Дикари, как и птицы, умеют выбирать такие чудные места...»

— Наркиз, — позвал он своего слугу, — давай умываться и одеваться.

Замковые служители принесли утреннюю холодную закуску с вином и кофе.

Подавая Могилевскому одеваться, Наркиз все что-то качал головой.

— Ты что? — спросил его Могилевский.

— Да вот, кунак мой смеется, гаварит — не Грузия авца, а Имеретия, и не Персия каза рагатая-бадатая, а князья имеретинские; все это, гаварит, казол на казле, и своих бедных имеретин и стригут, и доят, и масла с них пахтают, и барашка их на шашлык режут, а царь их ничего этого не видит.

Могилевский сам очень хорошо знал, что князья потому так стоят за своего безвольного, бесхарактерного царя, что боятся за свою шкуру, боятся, что русские не позволят им грабить свой народ, живущий в полудиком состоянии и питающийся крохами, падающими со стола князей. Не Имеретия им дорога, а даровой шашлык...

В это время к нему вошел князь Симеон Церетели и, поздоровавшись, пригласил в царский совет.

— Все уже собрались и готовы дать окончательный ответ, — пояснил он.

Могилевский встал, и они направились в залу совета. Отворив дверь в залу, князь Симеон пропустил мимо себя Могилевского, поклонился, но в залу не вошел, потому что не принадлежал к составу царского совета.

В зале совещания Могилевский увидел волосатого митрополита Софрония, любителя кур, протоиерея Николоза, князя Соломона Леонидзе — «царя бесов», как его назвал Могилевский, князя Цехнию Цулукидзе и князя Кайхосро Церетели. Не было в совете ни самого царя, ни князя Зураба Церетели.

Вошедшего пригласили сесть.

— Я не вижу здесь князя Зураба Церетели, — заметил Могилевский, которому очень хотелось бы теперь взглянуть в лицо этой старой лисе, распускавшей аллегории об овце, козе и солдате.

— Князь Зураб болен, — отвечал Леонидзе.

— Теперь я желаю услышать, — начал Могилевский, немного помолчав, — на чем остановилось решение его высочества царя Соломона и его совета по предъявленным вчера мною требованиям главнокомандующего.

Все потупились, и только с волосатого лица митрополита Софрония смотрели на вопрошающего два сердитых глаза, которые как бы говорили: «И ты ел моих хохлатых курочек».

— Его величество, царь Соломон II, Божией милостью государь и повелитель Имеретии, приказал объявить вам, посланцу генерала Тормасова, что он, самовластный владыка Богом врученной ему страны, из всех требований генерала может согласиться только на одно — на отправление к государю императору депутатов от царства Имеретинского; прочие же требования генерала исполнены быть не могут, — одним духом, словно ектенью, проговорил сердитый митрополит. «А, — мелькнуло в голове Могилевского, — вы ждете разлива рек да покрытия деревьев листом; не будет же вам этого!»

— Это решительный ответ царя? — спросил он, обращаясь к Леонидзе и думая поймать на его лице хоть тень замешательства после ночных переговоров.

Ничуть не бывало! Лицо это было нахально невозмутимо, словно у профессионального вора, пойманного на месте и глубоко убежденного, что воровать — святое, законное дело.

— Решительный! — отвечал он невозмутимо.

Возмущенный этим нахальством, Могилевский не нашелся сразу что сказать. Зачем же его пытали вчера целый день? Зачем мучили ночью? Для чего оставили ночевать в этом разбойничьем гнезде? «А, вам нужна полая вода и зеленые листья... Хорошо же!» Он порывисто встал.

— В таком случае мне нечего делать здесь, — сказал он с дрожью в голосе, — и я прошу доложить царю, что желаю ему откланяться и уехать с этим ответом.

Все переглянулись.

— Ара икнеба! Этого нельзя, — пробурчал сквозь бороду Софроний и, перекинувшись несколькими гортанными звуками, все вышли из залы, оставив Могилевского одного.

«Ну, желал бы я, чтобы на моем месте был сам генерал, — тогда узнал бы он, что значит быть послом у имеретин».

Он встал, подошел к окну и снова залюбовался расстилавшейся перед ним чудной картиной. Более чем когда-либо ему понятно стало, как дорога должна быть свобода для этих детей гор и лесов. Живут на одной высоте с орлами, такие же, как орлы, хищники, ничего, кроме своих гор, не видали, никаких законов, кроме прадедовских обычаев, не знают и знать не хотят — и вдруг... Его взор приковало какое-то видение: на боковой замковой террасе мелькнуло что-то белое...

Это — женщина, закутанная чадрой... С карниза башни слетел белый голубь и сел ей на плечо. Головка голубя протянулось к лицу этой женщины, к губам, точно птица хотела поцеловать это прелестное видение... Видение тихо отстранило головку маленькою ручкой.

«Неужели это Дареджана, о красоте которой так много говорили в Тифлисе?»

Девушка казалась печальною. «И неудивительно», — подумал Могилевский и отошел от окна; он догадался, что невольною причиной печали этой прелестной девушки был он, Могилевский, и ему не хотелось, чтобы она его увидела... «Еще назовет мучителем своего отца...»

Долго не возвращались советники царя. Наконец дверь отворилась, и они начали входить один за другим. Могилевский ждал их стоя, как бы намереваясь сейчас уйти. Он молчал. Вперед выступил князь Леонидзе.

— Его величество соглашается, — заговорил он, — вместо аманатов послать к главнокомандующему преосвященных Кутатели и Генатели и первейших имеретинских князей, которые, от имени его величества, дадут обязательство и присягнут, что впредь ни они, ни сам царь не отступят от своих обязанностей и будут свято сохранять все пункты трактата. Аманатов же его величество дать не соглашается, точно также и нового письменного обязательства; однажды приняв присягу и подписав трактат, он считает достаточным, если новые обязательства будут подписаны князьями и духовенством. Выдача же царевича Константина и приезд его величества в Кутаис есть дело невозможное и не может быть исполнено царем.

Леонидзе кончил и взглянул на Софрония. Митрополит сердито перебирал четки, точно считал, сколько у него осталось в живых его любимых курочек.

У Могилевского глаза сверкнули досадой; но, как дипломат и парламентер, он сдержался.

— И в сем случае я повторяю, — твердо произнес он, — что должен проститься с царем и уехать.

— Подождите немного, мы еще поговорим с его величеством, — сказал Кайхосро Церетели.

Он знал, что бесхарактерный и безвольный Соломон, перепуганный чуть не до обморока, был бы сговорчивее и податливее всех их, почему они и не пускали ни его к Могилевскому, ни Могилевского на глаза к царю; а потому и решил, по безмолвному соглашению с другими, еще поторговаться с упрямым чиновником.

Советники снова ушли к царю.

Могилевский выглянул в окно, приняв предосторожность, чтобы его не заметили; но милое видение уже исчезло с террасы; вместо него там стояли двое юношей и что-то говорили, показывая на лес. То были царевичи Ираклий и Давид.

«И они ждут от леса чуда, — подумал Могилевский и усмехнулся. — Ну, имеретинцы не похожи на овец: это скорее волки».

Опять воротились советники.

— Его величество решился, — объявил Леонидзе, — послать к главнокомандующему скорее митрополитов и князей с просьбой о помиловании и просит вас остаться при нем, пока не будут собраны депутаты, чтобы вы, отправляясь вместе с ними, могли ходатайствовать у главнокомандующего в пользу Имеретии.

Могилевский все более и более терял терпение.

— Оставаться я здесь не могу, — возможно сдержанно отвечал он, — и тем более, что, зная решительную волю государя императора, считаю излишним ехать с предполагаемым посольством и потому больше нежели напрасно тратить время... В последний раз объявляю: требования главнокомандующего должны быть непременно исполнены.

Помявшись на месте и несколько раз перекинувшись своими гортанными «ара икнеба», советники снова пошли к своей царственной кукле, точно к таинственной и невидимой Пифии.

— Это ад! Чистилище! — невольно вырвалось у Могилевского.

Ему пришлось ждать недолго. Не успел он взглянуть в окно — не явится ли ему опять милое видение, — как в комнату вошли советники.

— Нет, нет! — еще на пороге горячился Леонидзе. — Мы не выдадим царевича Константина! Он наследник престола, он надежда Имеретии, наша надежда!

— Требуйте, кого хотите, только не царевича, — говорил и Кайхосро Церетели.

— Он правая рука царя, — добавил и молчаливый Цехния Цулукидзе.

— Мы за царевича, как и за царя, у престола Всевышнего предстоим! — кричали и Софроний, и протопоп Николоз.

Это была самая чувствительная струна в сердце Имеретии, до которой нельзя было дотрагиваться.

Сдержанность покинула, наконец, и Могилевского.

— Я еду сейчас! — И он направился было к двери, но его удержали, умоляя остаться.

— Мы идем в последний раз к царю, — торопливо говорили они, — мы скоро вернемся...

Опять Могилевский остался один. «Господи, да это чистилище!» — хватался он за голову[1].

Вдруг ему послышалось, что кто-то тихонько вошел. Он оглянулся и остолбенел... Пред ним предстало... видение... Белая чадра, прозрачной фатой ниспадавшая на плечи, не скрывала прелестных черт милого видения... Оно робко приближалось и остановилось в нерешительности с потупленными глазами...

— Вы кто? — тихо, словно испуганно, спросил Могилевский.

— Я несчастная дочь несчастного отца, — чуть слышно проговорило видение.

Могилевский не знал, что сказать. Воля его, казалось, была парализована.

— Я царевна Дареджана, — проговорило видение, и в голосе ее слышались слезы.

— Ваше высочество! — мог только сказать посол главнокомандующего.

— О! зачем вы мучаете моего несчастного отца! — подняла она на него свои лучистые, умоляющие глаза.

— Ваше высочество, это не моя воля...

— Знаю... Но мой отец страдает — это пытка! За что же?

— Повторяю, ваше высочество: это не моя воля.

— Знаю... Но государь добрее, чем вы его хотите нам представить...

— Ваше высочество... я...

— О да! Государь, говорят, ангельской доброты — это все говорят... Нет государя великодушнее его... У него и на портрете ангельское выражение... Сжальтесь над нами!

И она взяла его за руку. Могилевский совсем растерялся. Он почувствовал, что это видение сильнее всех советников Соломона, всех его князей и митрополитов. Он был побежден...

— Богом клянусь вам, что я постараюсь сделать все, что от меня будет зависеть, — сказал он растроганно, целуя маленькую ручку царевны.

---

[1] В письме к Тормасову от 24 февраля Могилевский говорит: «Если живой грешник может на земле мучиться адскими муками, то пусть заведет дело с имеретинцами для очищения своей души».

Она с нежною благодарностью взглянула ему в глаза, в самую душу, казалось.

— Благодарю вас, — прошептала она, — я буду за вас молиться.

И видение исчезло. Могилевскому показалось, что он видел сон, и он стоял потрясенный, очарованный.

Когда вслед за тем в комнату вошли советники царя, он, под влиянием непонятных для него чар, первый заговорил с ними, и голос его был мягче, задушевнее.

— Верьте мне, я искренно желаю добра его высочеству, — сказал он. — Я решаюсь на крайнюю меру, на которую я не уполномочен: я буду ходатайствовать перед главнокомандующим и просить его, чтобы он сделал некоторые уступки согласно желаниям царя. Я тотчас же из Кутаиса отправлю к генералу курьера с изложением мыслей его высочества и надеюсь — он уважит мое ходатайство.

Лица советников несколько просветлели. Они видели, что роковой час откладывается, а там — что будет, то и будет. Главное для них было — выиграть время. А в несколько дней и природа, и они сами сделают много.

Когда затем Могилевского допустили к Соломону, последний встретил его с радостным лицом и горячо жал ему руку.

— Я бы просил вас только остаться у меня здесь гостем до тех пор, пока ваш курьер не возвратится из Тифлиса, — сказал он, не выпуская его руки.

— Глубоко благодарен вашему высочеству за милостивое приглашение погостить у вас, но, к сожалению, я не могу воспользоваться вашей милостью, по инструкции я сегодня же должен быть в Кутаисе, — отвечал Могилевский, а сам думал: «Если я хоть день останусь здесь, то лесная фея окончательно сведет меня с ума, и я не ручаюсь, что не поступлю противно моему долгу и присяге».

И он откланялся. В комнате своей он застал князя Симеона Церетели, по распоряжению которого замковые слуги сервировали богатый обед отъезжавшему послу.

Пока Могилевский наскоро обедал вместе с князем Симеоном и князем Леонидзе, лошади были оседланы и все было готово к отъезду.

Выехав из замка в сопровождении своего верного Наркиза и особого конвоя из имеретинцев, он невольно оглянулся и, как ему показалось, вздрогнул и покраснел.

На внешней террасе замка стояло видение и кивало ему головкой, закутанной белой чадрой...

XXIII. ЛЮБОВЬ И ПРЕДАТЕЛЬСТВО

Хотя, как мы видели выше, советники царя Соломона более всего сопротивлялись отправке царевича Константина в Тифлис в качестве аманата, однако теперь царевич сам рвался туда всеми силами своей пылкой души. Ему не мила стала Имеретия; для него потеряла обаяние будущая корона его предков.

Что же случилось?

Около четырех лет тому назад мы оставили красавицу Карабаха, прелестную Геоухер, женою старой развалины, бывшего хойского владетеля Джафар-Кули-хана, купившего ее, как свой будущий шашлык из молоденькой овечки, у ее брата, лукавого Мехти-ага, исходатайствованием ему, помимо прямого наследника, владение карабахским ханством. Геоухер как восточная женщина покорилась горькой необходимости. В силу векового восточного афоризма, что «овечка не знает, какой из нее выйдет вкусный шашлык», она сколько ни плакала, а должна была пойти на шашлык сластолюбивому Джафар-Кули-хану, хотя шашлык этот и оказался только... иллюзиею старца... Геоухер так и осталась овечкой...

Само собою разумеется, что она заскучала в гареме постылого супруга, между тем как ее огненный темперамент и молодость требовали жизни, любви, всего, к чему неотразимо влекла ее всесильная природа.

Милый братец, продавая сестрицу за трон Карабаха, не желал однако, терять из виду ни свой товар, ни его всесильного покупщика, который, пользуясь расположением русских властей, мог ему и впредь пригодиться при его политической блудливости. Для этого он оставил при сестре своей, жене Джафар-Кули-хана, своего соглядатая, или министра-резидента, в лице ловкого и красивого карабахского Мирзы-Али-ага, любимца покойного Ибраим-хана.

Первый раз мы мельком видели этого красавца в то время, когда Геоухер вместе с царицею Мариею и Дареджаной возвращалась из Кисловодска и Пятигорска и когда на середине Кавказского хребта, у поста Коби, ее встретил конвой, посланный ей навстречу отцом, Ибраим-ханом. Во главе этого почетного конвоя находился Мирза-Али, и он же с своим конвоем сопровождал Геоухер до самой Шуши.

Этот красавец, как и все мужчины Карабаха, Грузии и Имеретии, давно был неравнодушен к кружившей всем головы дочери карабахского хана.

Теперь, очутившись при особе старого Джафар-Кули-хана в качестве его личного секретаря, Мирза-Али только и мечтал о предмете своей тайной страсти. Но теперь Геоухер была для него невидима и недосягаема, как звезда небесная. От юного арабчонка Юсуфки, подававшего Джафар-Кули-хану наргиле и трубки и бегавшего впереди его коня в роли «саиса»[1], Мирза-Али знал, что молодая бегюм Геоухер очень скучает в своем гареме и часто плачет. Юсуфка, как подросток, был вхож в гарем, и ему была известна вся закулисная сторона женской половины дома Джафар-Кули-хана. Мирза-Али стал ласкать Юсуфку и усердно пичкать лакомку-арабчонка кишмишем и рахат-лукумами, воспитывая в нем себе союзника и соглядатая. Юсуфка поедал кишмиш и рахат-лукум, превозносил в гареме «доброго господина» до такой степени, что и черномазая, но все-таки очень миленькая дочь Джафар-Кули-хана от первой его жены, Султанет-бегюм, Фатима, заочно влюбилась в Мирзу-Али. Охотно слушала болтовню Юсуфки и Геоухер, тем более что она давно знала Мирзу-Али и еще дорогой из Пятигорска, когда он был в ее конвое, и в Шуше, в доме отца, не могла не заметить его страстных взглядов, украдкой бросаемых им на нее, и взглядов ненависти, которыми он дарил барона Клодта фон Юргенсбурга.

Исподволь приручив к себе арабчонка, Мирза-Али стал осторожно посвящать его в свое доверие. Тактика его была следующая.

— Был ты сегодня в гареме? — спросит он Юсуфа, насыпая в его карман кишмиша.

— Был, — отвечает Юсуфка, глотая рахат-лукум.

— Здорова ли Султанет-бегюм?

— Здорова, пила кофе.

— Благодарение Аллаху, что добрая бегюм здорова. А маленькая Фатима (ей было двенадцать лет) здорова?

— Здорова... Она тихонько велела тебя поцеловать, — лукаво улыбается Юсуфка.

— Да? Так ты ей скажи тихонько, что я целую ее ручки и ножки, да чтобы никто не слыхал.

— Ого! Как бы не так! Я шепну ей, что добрый господин целует ее ручки и ножки, губки и глазки, — она будет очень рада.

— А Геоухер-бегюм здорова?

---

[1] «Саисы» — маленькие скороходы, длинной тростью расчищающие путь от прохожих, когда по улице едет знатный вельможа.

— У нее сегодня глаза красные.

— Отчего? Разве плакала?

— Плакала... Она часто плачет.

Мирза-Али задумался. Отворив дверцу ящика у письменного стола, он взял оттуда еще горсть кишмиша и всыпал в широкие карман шальвар Юсуфки.

— Мне жаль бедненькую Геоухер-бегюм, — сказал Мирза-Али печально. — Я знал ее маленькой девочкой... Скажи ей тихонько, милый Юсуфик, что есть на свете человек, который плачет вместе с нею — горько плачет.

— Кто он? — спросил Юсуфка.

Юсуфка лукаво улыбнулся и с той поры стал посредником между Мирзой-Али и Геоухер и также юной Фатимою, в силу своего южного темперамента уже в двенадцать лет чувствовавшею потребность любить и быть любимой. Когда на другой день Юсуфка очутился в гареме, где его вообще баловали, он тотчас же шепнул Фатиме: «Добрый господин сказал, что целуют твои ручки и ножки, губки и глазки», — и Фатима так обрадовалась, что даже ущипнула Юсуфку и велела сказать «доброму господину», что она целует его глаза, губы и бороду. Хитрый Юсуфка успел исполнить поручение Мирзы-Али и по отношению к Геоухер. «Кто же плачет вместе со мной?» — спросила она. «Добрый господин, Мирза-Али», — отвечал лукавый арабчонок.

Для Геоухер это был луч света, проникший в непроглядную тьму ее подневольной жизни. Эта жизнь была тем печальнее для нее, что новую, юную и прекрасную жену Джафар-Кули-хана невзлюбила сразу его главная супруга, старая Султанет-бегюм, мать Фатимы, — невзлюбила как свою соперницу. Геоухер помнила Мирзу-Али. Она не забыла его страстных, хотя почтительных взглядов, когда она, беззаботная и счастливая, жила еще в доме отца, в Шуше, на своем Рустеме перегоняясь с ветром в долинах и горах Карабаха или качаясь на качелях в садах своего отца с милою Лейлою, так рано погибшею. Правда, она не забыла и барона Клодта, его шелковистых светлых волос, его ясных бирюзовых глаз. Но когда в ту ужасную ночь, с 1 на 2 июня 1806 года, в ставке отца, труп которого валялся у костра, прикрытый буркою, а мать лежала в обмороке, — когда она увидела мертвую Лейлу на руках у Клодта, ей показалось, что этот русский офицер — убийца ее отца, брата и сестры, что он внес смерть в ее семейство. И с той поры светлый образ русского офицера затуманился в ее воображении — он стал ей чужим. Она не забыла и царевича Константина. Она часто вспоминала тот

чудный вечер в Кутаисе, накануне их отъезда на минеральные воды Пятигорска, когда, на балконе, вся охваченная неведомым волнением и сладкой истомой, она бессознательно, в темноте, вложила свою руку в руку царевича да так и застыла в невыразимо-блаженном томлении... Но это было так давно, а царевич так далеко, скитается с отцом где-то в горах и, быть может, уже позабыл о том чудном вечере, о руке Геоухер, о ней самой... А Мирза-Али так близко, в одном доме...

И теперь каждый день, сидя в гареме, в своей хорошенькой опочивальне, окно которой выходило в небольшой гаремный садик, обнесенный высокими каменными стенами с острыми гвоздями наверху и весь утонувший в зелени гранат и олеандров, и вышивая золотом дорогой чепрак под седло своего постылого мужа или прогуливаясь в этом гаремном садике с вязанием в руках, она с волнением влюбленной поджидала, когда покажется глуповатая черная мордочка арабчонка «саисика», который всегда приносил ей тайный привет и поцелуй от «доброго господина». Плутишка часто присочинял то, чего и не было, передавал ей такие ласки, которые ему и не поручались вовсе, но тем более верила ему скучающая затворница и тем с большею страстью ласкала его, предназначая эти ласки для «доброго господина». Эти ласки все более и более нравились Юсуфке, и арабчонок сам не сознавал, что полюбил прелестную затворницу. Там его до отвала пичкали кишмишем да рахат-лукумом, а здесь осыпали его ласками и поцелуями — и он как сыр в масле катался.

Скоро Мирза-Али, уверившись в скромности и ловкости своего маленького Меркурия, осмелился более — и послал с арабчонком страстную записку Геоухер. На другой день на записочку ответили записочкой же с нежным признанием, и между влюбленными началась постоянная переписка. И пошли в ход: «жемчужина Востока», «звезда души моей», «роза благоухания», «источник блаженства», а там — «покров ночи», «безмолвные свидетели взаимного блаженства — кроткие очи звезд», «скромная луна, покровительница влюбленных» и т. д.

Немного погодя добыта была и веревочная лестница, и Мирза-Али очутился в гаремном саду.

Начались ночные свидания под покровом гранатовых ветвей — повторение вечной, бессмертной истории Ромео и Джульетты.

И гранатовые ветви, и «безмолвные свидетели взаимного блаженства — кроткие очи звезд», и «скромная луна, покровительница влюбленных», и теплые, волшебные южные но-

чи — все молчало и хранило тайну... Не молчала и не засыпала только ревность.

Юная Фатима, также любившая Мирзу-Али и поручавшая Юсуфке целовать его глаза, губы, бороду и голову, стала замечать, что хитрый арабчонок также шушукается и с Геоухер и даже остается с нею дольше, чем с Фатимою, и стала за ними следить глазами ревнивого тигренка. Потом она уловила, как Геоухер целует и ласкает арабчонка, — и удвоила свое шпионство. Наконец она подметила, что Юсуфка передал Геоухер записку. После многих тщетных усилий Фатима открыла, что Геоухер прячет эти записки в хорошенькую серебряную шкатулочку, подаренную ей еще отцом и вмещавшую в себе драгоценные украшения Геоухер вместе с засохшим красным цветком (она таки сохранила его!).

И маленькая предательница, обезумевшая от ревности, выкрала эту шкатулку и вручила матери!

Какою злобною радостью загорелись глаза старой матери, когда она вскрыла чужую шкатулку и нашла там письма Мирзы-Али к ненавистной ей Геоухер с объяснениями в страстной любви и с назначением по ночам свиданий в гаремном саду!.. С диким шипением вместо злорадного хохота она перечитывала эти сотни раз покрытые поцелуями Геоухер письма и безумно торжествовала победу над своей соперницей. Юную изменницу ждет позор! На нее должно обрушиться жестокое наказание со стороны обманутого и опозоренного мужа!.. «Не женись на старости лет на молоденьких! Не клади красивую змею за пазуху! Не отдавай на поругание свою седую бороду!» — шипела торжествующая Султанет-бегюм.

Насладившись вдоволь своим торжеством, она передала роковые письма мужу.

Светлая лунная ночь. Серебристо-голубоватый свет полного месяца обдает ослепительной яркостью крыши и стены, площади и улицы Тифлиса. Холодной сталью сверкают под лунным блеском бурные струи мутной Куры, которым и ночью нет ни сна, ни угомону.

Спят под серебристо-голубоватым блеском месяца и дом Джафар-Кули-хана, и его гаремный сад. Зато тем гуще тени, падающие от дома, от высоких стен сада и от густых, только что одевшихся первою весеннею зеленью кустов гранатника и пирамидальных тополей гаремного сада. Все спит. Не спят только любовь и ее шпион — ревность.

Полночь. За высокою стеной гаремного сада глухо прокричала ночная птица. В то же время что-то мгновенно выросло на стене сада, бросило от себя темную тень и само исчезло, покрывшись тенью стены. Неслышно отворилась низенькая дверка в стене гарема, что-то скользнуло вдоль стены и пропало в тени кустов гранатника.

— Жизнь моя! — слышится шепот.

— Душа души моей! — отвечает шепоту звук поцелуя.

— Твоим ножкам холодно...

— Нет... Твои ласки жарче огня...

Мирза-Али стоял перед Геоухер на коленях, пряча ее маленькие ножки в свою высокую и глубокую барашковую папаху, белую, как снег на вершине Арарата.

Вдруг Геоухер испуганно вскрикнула:

— Спасайся! Спасайся!

Перед ними стоял сам Джафар-Кули-хан с исказившимся лицом и занесенным над головою Мирзы-Али кинжалом.

— Спасайся! — И в одно мгновение Геоухер сильным толчком выбила кинжал из слабой руки дряхлого мужа, который опрокинулся навзничь.

— Ловите злодея! Стреляйте в злодея! — хрипел он, с трудом поднимаясь с земли.

Мирза-Али с быстротою кошки вскочил было на стену; но в то же мгновение последовало несколько выстрелов, и он опрокинулся со стены назад.

— Убита наповал собака, — сказали нукеры Джафар-Кули-хана, — толкая ногами бездыханное тело Мирзы-Али.

— А жаль, что не взяли живьем.

К убитому подошел поднявшийся с земли и сам Джафар-Кули-хан и, нагнувшись, с старческой злобой плюнул ему в лицо.

— Собака... вор... змея, — хрипел он, становясь ногою на лицо убитого врага.

Когда старик воротился к Геоухер, то нашел ее лежащею под кустом в глубоком обмороке. Над нею стояла в позе торжествующей злобы старая Султанет-бегюм.

— Вот тебе и шашлык из молоденькой овечки — не по твоим зубам, видно, так другой его скушал, — с злорадством прошипела мегера.

Старик только рукой махнул.

Зато маленькая предательница Фатима горько и безутешно плакала, когда утром узнала, что жертвою ее предательства погиб тот, кого она полюбила первою недетскою любовью.

XXIV. ИЗЛОЖЕНИЕ

О печальном приключении с Геоухер и о насильственной смерти ее возлюбленного, Мирзы-Али, царевич Константин узнал в то самое время, когда в замке Вард-цихе находился Могилевский. Известие это привез из Тифлиса один курьер, приезжавший к Могилевскому с письмом Тормасова и передавший рассказ о происшествии в доме Джафар-Кули-хана одному из знакомых джигитов царевича, сопровождавших в 1806 году Геоухер вместе с царицей Марией и ее детьми в Пятигорск и Кисловодск.

Царевич, все еще любивший Геоухер, был страшно поражен тем, что узнал. Мысль, что теперь станется с предметом его страсти, не давала ему покоя. Сознание, что она изменила мужу, за которого отдана была силой, и отдалась другому, мысль о том, что она его забыла и, быть может, никогда не чувствовала к нему привязанности, — ничто не могло ни уничтожить, ни ослабить того чувства, которое, раз зародившись в душе его к прелестной дочери Ибраим-хана, продолжало жить и крепнуть.

Вот почему он был бы рад теперь лететь в Тифлис не только в качестве аманата Имеретии, но даже в качестве простого пленного. А между тем дело Имеретии близилось к трагической развязке.

Могилевский, возвращаясь из Вард-цихе в Кутаис, как ни силился вытеснить из своей канцелярской души то «видение», которое очаровало и смутило его в замке, однако не мог этого сделать; милое умоляющее личико так и стояло перед ним, и он, казалось, слышал нежный, ласкающий голосок: «Я буду молиться за вас». А там, на террасе, последнее немое прощальное приветствие...

Поэтому у него было очень тяжело на душе, когда, воротившись в Кутаис, он должен был сделать распоряжение об окончательном занятии Имеретии войсками и о движении с тою же целью ополчений Мингрелии и Гурии с их владетелями.

Между тем около этого времени и сам Тормасов прибыл в Сурам, чтоб находиться ближе к месту ожидаемой им трагической развязки дела царя без царства и царства без царя.

Соломон видел, что войска все ближе и ближе стягиваются к его неприступному орлиному гнезду. Мало того, он с ужасом узнал, что майору Лисаневичу, теперь уже полковнику, тому страшному Лисаневичу, который около четырех лет тому назад разгромил Карабах, приготовив ужасную смерть

Ибраим-хану, его сыну Искандер-ага и юной дочери Лейле, — что этому самому Лисаневичу специально поручено «поймать Соломона». В отчаянии он отправляет в Кутаис всех своих митрополитов с тем, чтобы они умолили отдалить от его головы неминуемую грозу.

Девять дней бесполезно тянулись тягостные для Могилевского совещания с митрополитами. Ему мучительно хотелось хоть немного облегчить участь горемычного семейства Соломона. Убеждая митрополитов принять то или другое решение, он постоянно припоминал слова милого видения: «Я буду молиться за вас...» Что же может он сделать для нее, для ее отца! После каждого совещания митрополиты тотчас же отправлялись в Вард-цихе — доложить царю о результатах совещания. И Могилевский невольно поддавался мысли: «*Она* ждет их... *она* их спросит: что же *он* сделал для *ее* отца?..»

И митрополиты снова возвращались в Кутаис для бесполезных переговоров с Могилевским и полковником Симоновичем — и снова все без толку.

Не добившись ничего, Могилевский писал Тормасову: «Надобно думать, что в продолжение переговоров наших с митрополитами сей собор или не хотел понимать наших внушений, которые через них были делаемы царю, или река Квирилла, за которою лежит Вард-цихе и через которую сии святые отцы, невзирая на свою тяжесть, переправлялись более двадцати раз во время своих переездов, есть древняя баснословная *Лета*, или река забвения, которая, при переправе их уносила всегда наши внушения, только никогда они не привозили нам от царя ответа, согласного с нашими представлениями, и всякий раз, когда отъезжали от нас, просили, чтобы мы яснее объявили им, в чем состоят настоящие от царя требования. Посему, чтобы избавиться сих хлопот, мы принуждены были с ними послать на письме сии предложения, дабы царь внятнее мог оные разобрать... Весьма замечательно было то, — поясняет он, — что когда, при повторении наших требований духовным особам, доходило дело до переезда в Кутаис и выдачи царевича или требуемого обязательства, то всякий раз получали мы единогласный ответ от всего собора: *ара икнеба*, то есть «не бывать сему», и многие из них повторяли сии слова и тогда, когда, быв заняты между собою посторонними разговорами, не внимали совершенно нашим представлениям и резонам, делаемым одному кому-либо из них. Это похоже на польское *не позволяем*».

Между тем, пока митрополиты разъезжали из Вард-цихе в Кутаис и из Кутаиса в Вард-цихе и упорно повторяли свое

«ара икнеба», Соломон и его приближенные лихорадочно готовились к защите. В Вард-цихе и в окружающих его лесах сосредоточено было до четырех тысяч вооруженных имеретинцев, преимущественно из княжеских родов, из дворянства и джигитов. Митрополиты и попы едва успевали приводить их к присяге. В то же время Соломон приказал укладывать и упаковывать все свои сокровища — драгоценную посуду, утварь, все золото и серебро и другие богатства, которыми располагал дом Имеретии. С этими сокровищами должны были отправиться в неприступные горы царица Мария, царевна Дареджана и все вообще женщины дома Соломона вместе с юными царевичами Ираклием и Давидом в сопровождении сильного конвоя.

Но против этого распоряжения восстали юные царевичи и храбрая Дареджана.

— Мы с детства привыкли носить оружие, — с сверкающими глазами говорил Ираклий, — мы уже не мальчики, мы сыны Имеретии и должны защищать ее.

— Мы не женщины, — говорил в свою очередь Давид, — мы умеем постоять за себя и за свою родину.

Отец с грустью обнимал их, а мать плакала, плакала, боясь оставлять своих мальчиков.

— Мы не мальчики! — протестовал Давид.

— Пуля и в руках богатыря, и в руках ребенка — все та же пуля, — говорил Ираклий.

Растроганный отец обнимал юношей, но тем безутешнее плакала мать.

— Не плачь, мама, — говорила Дареджана, — и я с ними останусь, я не покину отца!

— Что ты, что ты, моя девочка! — испугалась царица.

Дареджана знала силу обаяния своей красоты и наивно воображала, что и здесь она ей поможет. Русские офицеры казались ей совсем не страшными. Она помнила, как они любезничали с ней и в Пятигорске, и в Кисловодске, как они заглядывали ей в глаза, ловили ее взгляд, подносили ей букеты. Даже старый генерал Глазенап в Георгиевске увивался около нее и Геоухер. А барон Клодт? Он чуть не погиб, доставая со скалы для нее и для Геоухер красные цветы. Он такой ласковый, любезный. Она увидит его в рядах русских войск, и он сделает для нее все. Наконец, сам Могилевский — он чуть не онемел от изумления, как только она явилась к нему. И он обещал ей... А если на то пошло, то и у нее есть кинжал! Она дочь этих гор, дочь Имеретии. Ее поддержит святая Нина. Ведь царица Тамара действовала же

оружием... Тамара... И она вспомнила свой первый сон в Кисловодске и все последующие сны с демоном...

И ее посетила счастливая мысль: в случае крайности она сумеет быть имеретинскою Юдифью... Только Олоферном для нее будет Лисаневич; она отмстит ему за Геоухер — за смерть ее отца, сестры и брата...

— И я не хуже Ираклия и Давида умею владеть оружием, — говорила она. — Вспомни, отец, библейскую Юдифь.

— И что же, моя девочка? — удивился Соломон.

— Я также могу быть Юдифью! — гордо сказала Дареджана.

— О, моя маленькая Юдифь! — обнимал и гладил ее голову отец. — Нет, останься лучше Дареджаной! — с любовью говорил он. — Поезжай лучше с мамой да молись хорошенько, твою чистую молитву слышит Бог... А мальчики остаются со мной, они мужчины, они воины.

Давид гордо посмотрел на сестру.

— Какая ты Юдифь! Ты и кабана испугалась.

— Нет, я не испугалась, я в него выстрелила! — с краской в лице возражала Дареджана.

— А потом спряталась за дерево, и если бы не князь Симеон...

— Полно вам, дети, — остановила их мать, — теперь не до споров.

В это время в дверях показался князь Симеон Церетели. Он был одет в платье простого нукера. На бледном, забрызганном грязью лице его выражалось глубокое уныние. Все глядели на него с изумлением и испугом.

— Что с тобою, князь Симеон? — спросил взволнованно Соломон.

— Простите, ваше величество! Вчера я переоделся в одежду своего нукера, чтобы тайно пробраться в Кутаис и выведать, что там делается, — отвечал упавшим голосом князь Симеон. — Имеретию постигло величайшее несчастье — мы погибли... Сегодня во всех церквах Кутаиса обнародована прокламация главнокомандующего, что ваше величество навсегда устраняетесь от управления царством Имеретинским...

— Как! В церквах? — с негодованием воскликнул Соломон. — И митрополиты допустили это насилие!

— Они ничего не могли сделать, ваше величество, — отвечал Церетели, — у входа в церкви поставлены караулы, и митрополитов не впустили туда... Прокламации прочитаны простыми попами.

— Что же в этих прокламациях? — спросил Соломон, как бы не веря тому, что он слышит.

— Вот, ваше величество, я тихонько сорвал одну из них, — отвечал Церетели, вынимая из-за пазухи бумагу и подавая ее царю.

У Соломона руки дрожали, когда он развертывал бумагу.

— У меня в глазах темнеет, — как-то подавленно сказал он.

— Дайте, батюшка, я прочту, — потянулся за бумагой царевич Константин и взял ее. — Да тут начало оторвано, — сказал он, взглянув на бумагу.

— Да, прокламация была приклеена и я не мог отлепить начала, — объяснил князь Церетели. — Но я помню начало — в нем его величество обвиняют в том, что он сносился с лицами, враждебными России, что будто бы, по приказанию его величества, разграблен казачий пост и сделано нападение на пороховой транспорт, что это якобы поступки, обличающие измену его величества и нарушение присяги...

— Мы присягали императору Александру Павловичу, а не Тормасову, — перебил его царевич Константин.

— Ну, все равно, — безнадежно махнул рукою Соломон.

— За это будто бы ваше величество и отстраняетесь от царства, — закончил князь Церетели.

— Читай, — слабым голосом сказал царь без царства.

— Сейчас, батюшка. — И царевич начал: — «Исполняя сим священную волю Всеавгустейшего нашего монарха, яко правосудный Его закон, я обращаюсь к вам, благороднейшее сословие имеретинского духовенства, князей и дворян, призывая вас обще со всем народом, именем Всемилостивейшего Государя Императора, не обинуясь, принять присягу на вечную верность подданства, признать и покориться единой и непременной верховной власти могущественнейшего и сильнейшего российского императора, отвергнув отныне навсегда всякую зависимость вашу от бывшего царя Соломона...»

— От бывшего царя, — точно в полусне проговорил последний, — от бывшего.

— «...От бывшего царя Соломона, — продолжал царевич со слезами в голосе, — правосудием Его Императорского Величества отчужденного от управления вами, и навсегда прекратить с ним всякие явные и тайные связи, сношения или даже переговоры через посторонних людей, опасаясь навлечь на себя неминуемые бедствия, когда сие будет открыто».

В стороне царица Мария и царевна Дареджана, обнявшись, тихо плакали... Вот тебе и Юдифь!.. У юных царевичей

Ираклия и Давида глаза сверкали, точно у затравленных волчат.

— Все? — слабо, как бы безучастно, спросил Соломон.

— Нет, батюшка, — отвечал Константин, — вот еще: «Ныне учредится для благоденствия вашего временное имеретинское правление, составленное из членов, избранных из среды почетнейшего имеретинского дворянства, с председательствованием российского военного чиновника, кои, сообразуясь умоначертанию и народным обычаям, будут управлять с кротостью и милосердием...»

— А я управлял с жестокостью! — прошептал Соломон с горькою улыбкой.

— «...Милосердием, повеленным от Всемилостивейшего и Великого нашего Государя Императора, — продолжалось чтение, — и займутся единственно благоустройством и счастьем народным. Сим же священным именем Его Императорского Величества обещается всему благороднейшему имеретинскому сословию духовенства, дворян и народу свободное отправление каждому своей веры, представление всех прав и преимуществ, беспрепятственное пребывание в жилищах, где родились ваши предки, и никем не отъемлемое владение каждого своею собственностью, если, беспрекословно совершив присягу на вечную верность подданства, пребудете верны России и покорны во всем Высочайшей воле. Тогда истинное счастье и благоденствие водворятся между вами и благопопечение Всесильного и Милосерднейшего Государя Императора пребудет неразлучно с верным народом имеретинским».

Царевич остановился, чтобы передохнуть после длинных, тяжелых и непривычных для имеретинца периодов официальной русской речи.

— Кончил? — спросил Соломон.

— Нет еще, батюшка, но сейчас конец. Вот: «Для непокорных же непобедимые российские войска уже собраны в большом числе, и меч готов наказать преступников священной воле Могущественнейшего Государя государей. Я надеюсь, однако же, что ни один из обитателей Имеретии не уклонится от пути истины и, не желая себе погибели, изберет стезю прямую, ведущую к благополучию и истинному счастью». Все! — с облегчением вздохнул царевич.

Казалось, можно было бы ожидать, что Соломон должен быть подавлен тем, что ему сейчас прочитали. Если простые угрозы Тормасова чуть не повергли его в обморок, то вести, привезенные князем Церетели из Кутаиса, и эта прокламация,

объявляющая его лишенным престола, должны бы, казалось, поразить его как громом. И однако совершилось нечто обратное. Этот последний удар судьбы, как удар хлыста по нервам или как гальванический ток, пущенный в тело умирающего, заставил его очнуться.

— Мы еще поборемся, — сказал он, выпрямляясь и сверкая глазами. — Не плачьте, — подошел он к жене и дочери, — что Тормасов отнимает, то может возвратить сераскир Шериф-паша.

Дареджана бросилась ему на шею.

— Так это правда? Ты еще царь? — плача и смеясь, говорила она.

— Царь, девочка моя, — отвечал он нежно, — царь — всегда и везде царь: и на троне, и в гробу... А я еще не в гробу.

Юные царевичи также бросились целовать его.

— Князь Симеон, — сказал Соломон, обращаясь к Церетели, — готовься в путь, сегодня же князь Кайхосро, князь Беро и ты отправляетесь в Ахалцых к сераскиру Шериф-паше с подарками от меня... Он пришлет мне своих лезгин... Пусть же крест вступит в союз с полумесяцем — *они* этого хотели!

XXV. НЕЖДАННАЯ И НЕЖЕЛАННАЯ ВСТРЕЧА

Среди недоступных гор и непроходимых лесов, на небольшой зеленой лужайке, разбито несколько палаток. Тут же, в стороне, пасутся лошади, ишаки и буйволы. Кое-где мелькают женские чадры или черные бурки имеретин.

Это лагерь царицы Марии, вместе с Дареджаною, сокровищами дома Соломона и женщинами, принадлежащими этому дому, перекочевавший в горы.

Дареджана ходит у опушки леса и собирает цветы. Случайно она подняла глаза вверх и в изумлении остановилась. По небу кружили такие стаи орлов, каких она еще никогда не видывала. Огромные птицы плавали в воздухе спиральными линиями, точно это была какая-то условленная, им одним понятная игра. Едва заметно шевельнет широко распластанными крыльями громадная птица и долго-долго потом, не двинув ни одним крылом, плывет все выше и выше по спирали, пока снова чуть заметно не шевельнет крыльями, и снова плывет, плывет. Другая так же, не шевеля крыльями, плывет по

наклонной спирали, — и все эти черные точки переплетаются в небе, то сходятся, то расходятся.

Дареджане даже страшно стало и, постояв с широко раскрытыми глазами, проследив удивленным взором за этой непонятной игрой птиц, она подошла к самой большой палатке и окликнула мать:

— Мама! Иди сюда — посмотри, что это такое в небе?

Царица вышла из шатра.

— Что такое, моя девочка? — спросила она.

— Посмотри, мама, на небе — видишь? — сказала девушка.

— Вижу — орлы. Да какое их множество!

— Что это с ними, мама? Я никогда ничего подобного не видела.

— Сама не знаю, девочка, что с ними. Весна — вот они и играют.

— Нет, мама, что-то странно; ведь весна бывает каждый год, а ничего подобного прежде не было.

В это время к ним подошла Дадия, старая няня Дареджаны. Старуха многозначительно качала головой.

— О! это не к добру, не к добру, — говорила она, осеняя рукою глаза и всматриваясь в небо. — Это птица далеко видит, чего люди не видят.

— Что ж она видит, няня? — спросила Дареджана.

— Ох, золото мое, когда при покойном царе Арчиле, твоем деде — царство ему светлое! — мы были в Осетии, такие же стаи орлов кружились над горами Чечни — и что потом крови пролилось в этих горах!

Царица испуганно перекрестилась. Она также предвидела нечто подобное.

— Так неужели же птица знает будущее? — спросила Дареджана.

— Знает, мое золото, знает, — утверждала старуха. — А как же птица погоду предсказывает? Птица знает много такого, чего люди не знают... Вот ласточка, которая каждую весну вьет гнездо у тебя над балконом, в Кутаисе, — знаешь, куда она на зиму улетает?

— А куда няня?

— В святой город Иерусалим, и там также вьет себе гнездо. А кто ей показывает туда дорогу? Туда и люди доходят только спросом: куда идти? какой дорогой? через какие города и моря? А она никого не спрашивает — сама знает дорогу. Бог ее этому научил. Так и орлы, мое золото, знают то, чего мы не знаем... Они кровь чуют, добычу чуют.

Но орлы — не пророки; только глаза их видят дальше людских глаз. Если бы Дареджана могла теперь подняться на высоту, на которой парили орлы, то она увидела бы следующую картину.

Вон далеко внизу темнеют стены замка Вард-цихе, а вокруг него, по всему лесу и по скалам,— точно муравейник. То — тысячи защитников ее отца и их ускользающего из рук царства.

А вон там, к Чхери, принадлежащему ее старшему брату, царевичу Константину, двигаются темные массы, извиваясь змеей и блестя на солнце сталью штыков и стволами ружей. Другая темная масса движется к Опишквити, все ближе и ближе наползает к Вард-цихе. А третья темная масса наползает со стороны Саджавахо. Это — русские войска и ополчения Мингрелии и Гурии. Их-то видят орлы и знают по историческому опыту, унаследованному от орлов-предков, от орлов времен фараонов, времен Кира и Камбиза, от орлов времен греков и римлян, — знают, что бывает, когда двигаются такие массы людей, убивающих себе подобных с такой свирепостью, какая не ведома ни зверям, ни птицам. Хорошо это знают орлы, и радуются теперь, и играют высоко в небе в полной уверенности, что их ожидает роскошный пир.

С тревогой следили за полетом орлов Дареджана и ее мать.

— А что, мама, как ты думаешь, князь Симеон, Кайхосро и Беро уже в Ахалцыхе? — спросила первая.

— Давно, должно быть, там, милая, — отвечала царица.

— Значит, скоро и войско прибудет к нам на помощь от сераскира?

— Надо думать, что Шериф-паша не замедлит его выслать; он нам друг, хотя и поклоняется своему Богу, не нашему.

Но им пришлось недолго оставаться в неизвестности. Из лесу, по тропе, ведущей на лужайку, показались всадники, и впереди их князь Симеон Церетели. Дареджана и обрадовалась ему, и испугалась. Какие-то вести привез он? По выражению лица князя нельзя было ожидать ничего утешительного.

Церетели соскочил с лошади, которая вся была в мыле от скорой и трудной езды по горам.

— Что, князь, сераскир прислал войско? — поспешила к нему Дареджана.

— Увы! Я нерадостные вести привез вам, — печально отвечал Церетели.

— Что случилось? — испуганно спросили и мать, и дочь.

— Мы отрезаны от войск сераскира — ахалцыхская дорога занята уже отрядом полковника Лисаневича,

— Лисаневича! — с ужасом вскричала Дареджана.

Она вспомнила, что это тот самый Лисаневич, который осиротил бедную Геоухер, отняв у нее отца, сестру и брата.

— Вот они, орлы-то, — как бы про себя проговорила старая Дадия.

— Что ж нам теперь делать? — упавшим голосом спросила царица.

— Я за тем и прислан сюда его величеством, — отвечал князь Церетели. — Надо сниматься с этого места.

— Куда же? В Вард-цихе возвращаться?

— Нет, ваше величество, мы должны следовать к местечку Хани, куда выступает и все наше ополчение вместе с его величеством.

— Как! Разве Вард-цихе покидают?

— Да, ваше величество. Мы думали остановить движение русских войск к Вард-цихе и потому изрубили и уничтожили все лодки на Рионе, в которых русские могли бы переправиться через реку, но они отыскали-таки семнадцать лодок в разных местах и 6 марта, несмотря на жестокую бурю и проливной дождь, переправились через Рион. В ущелье же близ Хани никакая человеческая сила нас не достанет.

— А дальше что? Не оставаться же нам вечно в ущелье! — с отчаянием в голосе проговорила царица.

— Дальше что, ваше величество? — проговорил князь Церетели. — Мы с часу на час ожидаем известий из Франции.

— От Наполеона?

— От нашего доверенного, от ксендза-иезуита. Наполеон скоро двинется на Россию, а может быть, уже и двинулся, — тогда России будет не до Имеретии и все войска ее будут отозваны или за хребет, или на защиту своих границ здесь; грузинские царевичи извещают нас...

— Это которые? — спросила царица, ибо сама она мало входила в дела политики.

— Царевичи Александр и Теймураз, ваше величество, они выступили уже с шах-заде Аббас-Мирзой во главе несметного войска, чтобы отнять у русских Тифлис и все Закавказье, и пограничные ханы, признавшие было власть Рос-

сии, явились к ним с повинною — с повешенными на шеях саблями.

Он говорил это, по-видимому, уверенно, хотя в душе сам начал уже сомневаться в скорой помощи Наполеона. То, что им, имеретинцам, равно и своим соотечественникам, полякам, обещал на родине знакомый нам поляк-иезуит, горячий мечтатель, все еще продолжало оставаться мечтою и для Имеретии, и для Польши. Но князю Церетели жаль было разочаровывать Дареджану; она смотрела теперь такою убитою, жалкою. Оба они, и Дареджана, и князь Симеон чувствовали, что та «награда», которую обещал ему царь Соломон, теперь также отходит в область мечтаний... Не до их взаимного чувства теперь... Кто станет думать о свадьбе, когда, быть может, придется скоро хоронить Имеретию!..

«Неужели и Могилевский ничего для нас не сделает?» — думала между тем Дареджана.

Но надо было наскоро укладываться и двигаться в путь. И думала ли она, беспечно веселясь в Пятигорске и в Кисловодске, что их ожидает такая горькая участь?

Вдруг в лесу, окружавшем лужайку, на которой находился лагерь царицы, послышался треск валежника, и в одно мгновение с криками «ура!» вся лужайка окружена была русскими солдатами. Это был разведочный отряд 9-го егерского полка, которым командовал полковник Лисаневич. Отрядом же этим командовал знакомый нам толстяк, майор Парфенов.

— Сдавайтесь, ни с места! — грозно закричал этот добряк.

Два офицера, также знакомые наши, Гриша Поливанов и Вася Жданов, также выступили было грозно вперед; но их остановил сзади чей-то торопливый голос.

— Господа! Что вы делаете?.. Это ее высочество, царица Имеретии!

И из лесу с обнаженной саблей выбежал барон Клодт фон Юргенсбург.

И Парфенов, и оба его младшие помощники, Гриша и Вася, остановились в недоумении.

— Меня послал к вам полковник с предупреждением, чтобы царица Имеретии Мария и царевна Дареджана, со свитою их, не были подвергнуты никакой, даже самомалейшей неприятности, — торопливо проговорил барон Клодт и поспешно направился к перепуганным дамам, около которых стоял князь Церетели с обнаженным мечом и сурово нахмуренными бровями.

И офицеры, и егеря переглядывались в недоумении, видя, как барон Клодт почтительно снял с головы свою белую фуражку, все еще обвязанную чадрою Геоухер, порядочно истрепанною.

— Извините, ради Бога, ваше высочество, за причиненное вам беспокойство, — говорил между тем Клодт, почтительно стоя перед царицей, — это просто недоразумение наших егерей... Они приняли ваш обоз за неприятельский лагерь, поторопились и ввели в ошибку офицеров, моих товарищей... Ваша особа, как и особа царевны, — Клодт при этом поклонился Дареджане, — неприкосновенны... Позвольте же представить вашему величеству моих товарищей. — И барон Клодт обратился к офицерам: — Петр Иванович! Господин Поливанов! Господин Жданов! — позвал он товарищей, стоявших в стороне. — Пожалуйте — позвольте вас представить ее высочеству царице Имеретии и царевне.

Офицеры приблизились. Майор Парфенов, «имевший зуб против Наполеона», как над ним втихомолку подсмеивались молодые повесы, Гриша и Вася, в сущности, был премилый добряк и теперь красный как кумач молодцевато приблизился к дамам.

— Извините, ваше высочество... майор Парфенов... недоразумение... усердие моих людей к службе его императорскому величеству... ошибка, так сказать, недоразумение, — бормотал он. — Мы не разбойники... неприкосновенность женщины и царицы...

— Поручик Поливанов, поручик Жданов, — поспешил перебить его красноречие барон Клодт, представляя царице младших офицеров.

Те раскланялись смущенно, пораженные красотою Дареджаны.

— Здравствуйте, князь, — обратился Клодт к Церетели, — вы, кажется, не узнали меня?

— Здравствуйте, барон, — неохотно отвечал Церетели, — я узнал вас.

Эта встреча поразила его. Успокоившееся было сердце ревнивого имеретина относительно чувств Дареджаны к барону Клодту теперь снова забило тревогу — и встреча эта показалась ему не случайною. Как очутился здесь этот голубоглазый немец, когда он сам говорил, по дороге от Георгиевска до границ Грузии, что настаивать будет на прикомандировании его к русским отрядам, расположенным в Карабахе? И вдруг — он в Имеретии, да еще привез от сво-

его полковника приказ охранять царицу... Ясно, что он искал Дареджану. Взглянув на нее подозрительно, Церетели увидел, что она разговаривает с Клодтом о Геоухер.

— Да, она очень плакала, когда за нею приехал в Шушу старый Джафар-Кули-хан, чтобы взять ее себе в жены, — отвечал Клодт на вопрос Дареджаны.

— А разве вы были тогда в Шуше? — спросила последняя.

— Да, ваше высочество, я имел несчастье присутствовать и при той ужасной катастрофе, когда был убит Ибраим-хан, а равно прелестная Лейла и ее брат... Я хотел отвратить это несчастье, но приверженцы хана первые открыли огонь по нашим егерям, и солдаты ответили тем же, не получив приказа убивать хана.

— А что она теперь — примирилась с своею участью? — спросила Дареджана.

Из этого вопроса Клодт заключил, что девушка не знала о несчастном увлечении Геоухер Мирзою-Али, об увлечении, кончившемся смертью последнего.

— Я давно ее не видел, — уклончиво отвечал Клодт.

Царица в это время разговаривала с Парфеновым и его молодыми субалтернами.

Егерям было сказано «вольно», и они, собравшись кучками, толковали между собою о нападении, кончившемся так неожиданно.

— А все это безмозглый хохол — витютант, — саркастически поглядывал на Юхименко Сидоров, — говорю ему — бабы, а он прет.

— Бабы! — огрызался Юхименко. — А хиба ты не видел этих чертей кунаков? — указывал он на джигитов царицы, навьючивавших лошадей и ишаков.

— Хиба! Хиба! — передразнивал Сидоров противника. — Уж и язык у эстих хохлов, его и с маслом не проглотишь, топор по-ихнему сакира, Божий хлеб у их палиница — тьфу!

Все было готово в обозе царицы к выступлению, и она стала прощаться с офицерами.

— Вы куда же теперь, ваше высочество? — любезно спросил Парфенов.

— В Кутаис, — отвечала Мария, — многозначительно переглянувшись с Дареджаной и князем Церетели.

— И отлично, ваше высочество: там гораздо покойнее, чем здесь, в этих дебрях... Счастливого пути!

И Парфенов скомандовал своим егерям: «Налево кругом... марш!..» — и молодцевато поклонился дамам.

XXVI. ПОД ЧАРАМИ ВЗОРОВ ИМЕРЕТИНКИ

Отчаяние Соломона не знало границ, когда он увидел, что все, казавшиеся ему неприступными места заняты русскими и ему отрезаны все пути отступления, — бежать в Турцию, к Ахалцыху, под защиту сераскира Шериф-паши? Но там стоял страшный Лисаневич со своими егерями. Скрыться в горах Большого Кавказа также нельзя было, потому что и там протянута была непрерывная цепь отрядов. Оставался один выход — пробраться в ущелье Хани.

Принимая это последнее решение, Соломон был словно помешанный. В отчаянии он бросался на пол, царапал себе лицо, рыдал истерически, как женщина. Он тем более терзался, что со всех сторон слышал одно и то же: русские войска никому из жителей не делают обид и притеснений; офицеры и солдаты со всеми обращаются не как с врагами, а как с друзьями; жители, со страху бежавшие было в горы со скотом и имуществом, безбоязненно возвращаются в свои жилища; крепость Чхери, удел царевича Константина, присягнула русскому знамени; царевич Ростом, побочный сын покойного царя Давида, также присягнул во главе своих подданных.

— О! Они только моей души хотят! — метался «дурак», как его уже открыто называл князь Зураб, и рвал на себе волосы. — Я должен один пострадать за всех. Мою душу они уже прободали копьем — остается истерзать мое тело.

Отправляясь с войском в Ханийское ущелье и вызвав туда жену и дочь, Соломон отправил гонца к Могилевскому и к полковнику Симоновичу — умолять их приехать к нему, без войска, в ущелье и поклясться, что личность его будет неприкосновенна.

— Пора, наконец, прекратить эту глупую погоню за трусливым зайцем, — сказал Симонович, отпустив гонца с обещанием приехать. — Надо отправиться в эти трущобы.

— Да, но он просит приехать «без войска», — заметил Могилевский.

— Конечно, мы поедем одни: надо же и пожалеть бедных солдатиков, которым уж, я думаю, надоело лазить по этим адским дебрям. Возьмем по паре казаков — и айда!

— Отлично... Я же в долгу у красавицы, — улыбнулся Могилевский.

— У какой красавицы?

— У царевны Дареджаны, у дочери этого царя Гороха... Что за милая девочка!

— Ого, — лукаво подмигнул Симонович, — кажется, наш Талейран, господин надворный советник и кавалер, — тово... И у него не одни дипломатические чернила в сердце...

— Не смейтесь, полковник, — серьезно сказал Могилевский, — эта девочка с такой нежной верой говорила мне об ангельской доброте и кротости нашего боготворимого государя, что и мое дипломатическое сердце не могло не растаять.

— А хороша? — заинтересовался полковник.

— Чудо что за красота! Это какое-то волшебное видение, мечта!..

— Ого-го-го! И в чернильнице, я вижу, забушевали страсти, — улыбнулся Симонович.

Призвав казака-ординарца, Симонович приказал ему седлать лошадей.

— А бурки и башлыки, ваше высокородие, прикажете захватить в дорогу? — спросил ординарец.

— А что? День, кажется, погожий будет, — сказал Симонович.

— Нет-с, ваше высокородие, — быть грозе.

— Да почему ты знаешь? — удивился полковник.

— Да как же, ваше высокородие, не знать? Вон имеретинские свиньи все сено у наших лошадей перетаскали к себе в хлев.

— Свиньи! — засмеялся полковник. — Что ж из этого?

— Да свинья, ваше высокородие, знает, когда быть грозе, она лучше человека это понимает.

— Ну, захвати уж и бурки, и башлыки, когда свинья приказывает, — окончательно рассмеялся Симонович.

— Слушаю-с! Захватим.

— А вы разве еще не всех свиней переели у царя Соломона? — с улыбкою спросил полковник. — Вон митрополит Софроний жалуется, что вы у него кур воруете.

— Помилуйте, ваше высокородие, мы ихних свиней не трогаем, — оправдывался казак, — ничево ихняво не берем, ни синь-пороху... А што кур митрополичьих станишники, кубыть, несколько скрали, это точно што...

— Ну, чтоб вперед этого не было.

— Слушаю-с.

Действительно, Симонович и Могилевский, в сопровождении четырех казаков, выехали из Кутаиса при отличной весенней погоде. Небо было ясное, глубокое, синее. Весенняя зелень сверкала изумрудами. Но едва путники переправились через Рион, как на вершине одной из высших гор Имеретии стал клубиться беловатый дымок, который все более и более

затягивал прозрачной пеленой гору и медленно тянулся по соседним возвышениям. Вдруг что-то глухо загрохотало в горах.

— Да, свиньи-то правы, — стал оглядываться во все стороны Симонович. — Вот метеорологи-прорицатели.

— А что, полковник, какие свиньи? — недоумевающе спросил Могилевский.

— Да вот Щербов мне давеча говорил, что свиньи таскали у их коней сено для своих берлог и что мудрые четвероногие натуралисты делали это, предвидя грозу, — отвечал полковник. — А вон гроза-то и собирается.

Загрохотало еще ближе и явственнее. Глухое эхо отвечало в дальних горах, и небо стало почти моментально заволакивать. Заволоклось и солнце.

— Нечего делать, надо прибегать к буркам и к башлыкам, — сказал Симонович. — Ай да свиньи! Вот бы с ними чаще было советоваться Соломону, мудрее бы правил царством.

— И то правда, — согласился Могилевский, — уж лучше советоваться с свиньями, чем с Церетели и Леонидзе, для которых виселицы мало[1].

— Эй, Щербов! Подавай бурки и башлыки! — закричал Симонович.

Едва все они успели облечься в эти ничем незаменимые горские антука, как крупные капли дождя, словно горох, застучали по деревьям, по камням и по башлыкам. Скоро дождь превратился в ливень, и почти моментально горные ручьи зашумели и понесли мутные, пенистые и стремительные, как ураган, волны в Рион и Квириллу. Гром грохотал удар за ударом, точно Прометей, сорвавшись с своей вековечной цепи, мстил теперь своему палачу, Зевсу, бросая в его огненные молнии целыми скалами, а Океаниды, его союзницы, плеснули на Олимп всеми водами океана. Ручьи вздулись как бешеные, и коням наших путников пришлось уже брести по колена, а то и по брюхо в воде.

Но как быстро налетает гроза в горах, так она быстро и уносится.

Достаточно было нескольких минут, чтобы гроза перекинулась за Сурамский перевал, и гром грохотал уже там, словно кого преследуя, а здесь выглянуло солнце, как бы приветствуя природу после первой весенней грозы. Она прошла полосою, не захватив всей Имеретии. Горные ручьи еще

[1] Документальное выражение Могилевского.

продолжали бурлить и пениться, словно со злобы, но и для их злобы материал постоянно иссякал, и они скоро присмирели.

— Ну и мудрые же у Соломона свиньи! — заговорил Симонович, освобождаясь от намокших и отяжелевших бурки и башлыка. — Не будь этих мудрецов, что бы с нами сталось в эту бешеную грозу?

— Да, — согласился Могилевский, — мы бы ловко схватили по лихорадке.

— Ну, спасибо тебе, братец, что послушался Соломоновых свиней, — говорил Симонович, вручая Щербову бурку и башлык. — Спасибо за совет.

— Рады стараться, ваше высокородие, — осклабился казак.

Теперь дорога пошла совершенно сухая и признаков грозы как не бывало. Птицы запели еще радостнее. Орлы повылетели из своих горных прикрытий и плавно кружились в голубой, словно бирюза, выси.

Скоро стали показываться иногда вдали одинокие всадники и, завидев наших путников, быстро исчезали.

— Это царские лазутчики, — говорил Щербов, у которого привычные глаза видели лучше всякой зрительной трубы.

— Значит, близко Хани и сам царь: это они нас высматривают, — заметил Симонович.

— Все еще боятся, не с войском ли мы, — улыбнулся Могилевский.

Скоро они въехали в такое ущелье, в котором четырехтысячному войску Соломона можно было бы долго оставаться перед стотысячной армией, если бы у войска были запасы и если бы... Но не судьба!

Показались группы имеретинцев. Впереди, навстречу нашим путникам, ехал на вороном коне одинокий всадник в белой как снег папахе и в богатом вооружении. Это был царевич Константин, наследник имеретинского престола. Не доезжая несколько шагов до Симоновича и Могилевского, царевич остановился и сошел с коня. Затем он приблизился к нашим путникам и остановился. Остановился и его умный конь, который, словно собака, следовал по пятам своего господина и умная морда которого, казалось, говорила: «Мой господин в горе, и горе его я разделяю...» Остановились и наши путники.

— Приношу повинную его императорскому величеству, моему господину и повелителю, — прерывающимся голосом проговорил царевич, — отдаюсь на его милостивую волю... Вот мое оружие...

И царевич снял с себя вооружение и передал Симоновичу... Слезы медленно текли по щекам несчастного... Умный конь его заржал жалобно, словно покинутый матерью жеребенок, и из глаз его также текли слезы... Симонович не выдержал этой грустной, трогательной сцены.

— Нет! Нет, царевич, — проговорил он растроганно, — оставьте при себе оружие... вы его заслужили чистосердечным раскаянием... Ваша воинская честь должна быть соблюдена... Я сам блюду воинскую честь...

И он возвратил царевичу его оружие, которое этот последний принял из рук Симоновича и с нежностью поцеловал как самое дорогое для горца сокровище.

— Теперь садитесь на своего милого коня — видите, он плачет — и поедемте к вашему батюшке.

Царевич ловко вскочил на своего умного товарища, который радостно заржал и заплясал под всадником, — и все поехали дальше. Великодушие Симоновича привело в такой восторг царевича, что он решительно ликовал, бодря своего лихого скакуна, — горцу показаться перед людьми без оружия — все равно что явиться в многолюдное собрание голым и обесчещенным. А он был не простой горец, а царевич среди своих воинов и подданных.

Скоро показался и царь, окруженный митрополитами и князьями, а в углублении расширявшегося ущелья — войско, расставленное шпалерами.

Не доезжая немного до Соломона, Могилевский и царевич Константин сошли с коней. Последний подошел к отцу и радостно обнял его.

— Мужайся, батюшка, — тихо сказал он, — мне возвращено мое оружие.

После обычных приветствий Симонович сказал:

— Хотя, ваше высочество, нам и не следовало бы являться к вам без особого разрешения на то главнокомандующего, но, чтобы доказать вам наше искреннее расположение, равно и то, что, кроме добра, могущественная Россия ничего иного не желает для единоверной ей Имеретии, мы прибыли по вашему желанию...

Тут речь его мгновенно оборвалась, и сам он как будто застыл, не покончив того, что он хотел сказать. Ему показалось, будто молния блеснула у него перед глазами, — и он с трудом сообразил, что с ним... С прелестного, почти детского личика на него смотрели такие ясные, такие чудные глаза, каких он в жизни не видывал, и они-то произвели на него впечатление молнии, блеснувшей среди ясного неба... То были

глаза Дареджаны... «Так вот она, чаровница. Вот какие глаза-молнии произвели бурю в чернильной душе дипломата...»

Полковник был побежден.

— Я приехал заверить ваше высочество честным словом, — бормотал он уже далеко не с прежней самоуверенностью, — что... что я... что вы не будете арестованы.

Те же дивные глаза с мольбой смотрели и на Могилевского... «Видение, видение... мечта наяву», — колотилось у него в душе.

— Вы заверяете честным словом, — говорил между тем Соломон, — вы поклянитесь.

— Клянусь!.. — У Симоновича чуть не вырвались слова: «Клянусь этими божественными глазами!..»

— Вы поклянитесь на кресте и Евангелии.

— Поклянусь, присягну...

Вперед выступил митрополит Софроний с крестом, а рядом с ним протопоп Николоз с Евангелием.

По знаку, поданному князем Леонидзе, войско Соломона взяло на караул.

— Говорите присягу, полковник Симонович! — громко произнес Софроний.

— Обещаюсь и клянусь Всемогущим Богом пред святым Его Евангелием, — торжественно произнес Симонович, — что царь Имеретии Соломон Второй не будет арестован, а царица Мария будет оставлена на жительстве в Кутаисе, во исполнение чего целую слова Распятого за ны и животворящий крест Его.

— Аминь! — словно пригвоздил Софроний.

Симонович приложился к кресту и к Евангелию, и в это время, по знаку же князя Леонидзе, последовал залп из ружей и винтовок — то был салют войска, обрадованного присягой.

Могилевский чувствовал на себе взгляд Дареджаны. Он, казалось, говорил: «Что же ты молчишь?.. А я за тебя молилась...»

Могилевский выступил вперед.

— И я клянусь, — проговорил он.

— В чем? — спросил Соломон.

Могилевский, сложив пальцы правой руки на молитву и высоко подняв ее, торжественно произнес:

— Обещаюсь и клянусь Всемогущим Богом пред святым Его Евангелием, что в проезде царя Имеретии Соломона Второго в Грузию ему будут отдаваемы царские почести и что со стороны русского правительства не будет сделано царю

Соломону никакого насилия, во исполнение чего целую животворящий крест на нем Распятого за ны и божественные слова Его.

— Аминь! Аминь! Аминь! — гвоздил Софроний.

Могилевский прикладывался ко кресту и Евангелию, а войско Соломона снова оглашало Ханийское ущелье залпом и радостными криками.

Соломон со слезами обнимал превысивших свою власть под чарами взоров имеретинки русских чиновников, а та, в чью пользу они превысили свои полномочия, припав на грудь матери, плакала радостными слезами.

XXVII. «СОРВАЛОСЬ!..»

Рассказанное в предыдущей главе происходило 12 марта 1810 года.

Как ни был очарован Симонович красотою Дареджаны и как ни хотелось ему подольше остаться около этого очаровательного существа, однако он в тот же день должен был возвратиться к своему отряду. Впрочем, прощаясь с Соломоном и Марией, он услышал от последней, что она, проводивши мужа, тотчас же с дочерью воротится в Кутаис.

«Значит, я еще буду видеть ее в Кутаисе», — подумал он, ловя последний благодарный взгляд Дареджаны.

Могилевский же остался при Соломоне. С одной стороны, его также побуждало остаться здесь обаяние красоты девушки, с другой — он решился лично сопровождать царя, чтобы сдать его с рук на руки главнокомандующему. Он все продолжал бояться, как бы Соломон не ускользнул из его рук, и тогда бегство царя неизбежно было бы приписано его небрежности и непредусмотрительности.

Что Соломон, несмотря на данную при всех присягу покориться своей участи и уехать в Тифлис, лелеял в душе мысль о побеге — это впоследствии и обнаружилось. Мало того, и князь Леонидзе, также принесший вместе с царем и князьями его присягу на верность России, своим неожиданным поступком укрепил Могилевского в его опасениях: в тот же день, 12 марта, как писал он Тормасову, «царь бесов Леонидзе, изменивши, наконец, и царю, бежал в Ахалцых вместе с братом своим по адским делам, патером Николаем».

Могилевского тревожили, вообще, подозрительные колебания Соломона. Этот, по-видимому, безвольный, но в то же

время изворотливый и двуличный азиат вдруг отказался ехать прямо в Тифлис.

— А клятва? — спросил его Могилевский.

— Я клятве не изменяю, я еду, покоряюсь вам, но только в Карталинию, и там, не доезжая до Гори, буду просить Тормасова, чтобы он приехал ко мне на свидание, — отвечал увертливый азиат.

Нечего было делать. Могилевский должен был согласиться, тем более что на него умоляюще глядели глаза «видения», глаза, которым он ни в чем не мог отказать.

Наконец, 15 марта назначен был выезд Соломона из ущелья Хани. Дареджана очень плакала, прощаясь с отцом. С трудом он мог оторвать от своей шеи ее цепкие руки.

— Не плачь, моя девочка, мы скоро увидимся, — утешал он ее.

— Когда же? Когда? — допрашивала Дареджана.

— Еще розы не зацветут, как ты будешь в моих объятиях.

Благословляя и целуя ее в глаза и в голову, Соломон что-то шепнул дочери. Могилевский наблюдал за ними, и от его зорких глаз не ускользнул блеск, загоревшийся в глазах девушки. Предательский блеск этот заметил и Соломон и поспешил затушить его новыми поцелуями.

— От вас, царевна, и от вашей матушки, царицы, будет зависеть, когда угодно соединиться с его высочеством, — вмешался Могилевский, желая показать, что он не заметил того, что произошло между отцом и дочерью. — Вы хоть сейчас можете ехать с нами.

— Мы этого не можем сделать теперь, — отвечала за дочь царица, — у меня на руках хозяйство, и, чтобы ехать в Тифлис, нам нужно все привести в порядок, а этого скоро сделать нельзя.

— О да, хозяйство, — улыбнулся Могилевский. А знаете, ваше высочество, — продолжал он, — ваши кутаисские свиньи спасли нас с полковником Симоновичем от большой беды.

— Как? Мои свиньи спасли вас? Каким образом? — удивилась царица.

— Они предсказали нам грозу и ливень, когда мы собирались с полковником ехать сюда.

— О да, они чуют погоду и перед грозой бывают неспокойны, — тоном сельской хозяйки пояснила царица.

— А у нас они все сено от наших коновязей перетаскали себе в берлоги и тем спасли нас от простуды, дав нам понять,

что мы в дорогу должны были запастись бурками... Поэтому я заочно шлю вашим умным свиньям свой привет, — улыбнулся Могилевский по адресу Дареджаны.

Та засмеялась — у молодости слезы так же скоро высыхают, как роса на солнце.

Выезжая из Ханийского ущелья в сопровождении своей свиты, численностью доходившей до четырехсот всадников, Соломон долго оглядывался назад, пока за поворотом и за выступами скал не скрылись его семейство и весь многочисленный штат царицы.

За версту и более впереди кортежа Соломона ехали его разведчики, обязанность которых состояла в том, чтобы наблюдать за русскими войсками и направлять шествие своего царя и его свиты подальше от русских штыков. Даже отряд Симоновича кортеж Соломона объехал в полуверсте, хотя для этого нужно было пробираться по крутой, головоломной скале в местечко Сазано — родовое имение царицы. Могилевский не понимал, как можно было проезжать по таким адским стремнинам и дебрям, над такими зияющими пропастями, где мыслимо было только пребывание орлов да горных коз. А имеретинцам, этой горной дичи, все было нипочем, да и лошади их своей ловкостью и цепкостью не уступали кошкам.

Но едва проехали верст пять по этому адскому бездорожью, как Соломон вдруг остановился.

— Я дальше не поеду, — мрачно сказал он.

— Почему же? — удивился Могилевский.

— Меня там арестуют, — отвечал царь, пытливо глядя в глаза Могилевскому.

— Но ведь мы клялись с Симоновичем, что вы не будете арестованы, — возразил последний.

— Поклянитесь еще раз, поклянитесь прахом ваших предков, — настаивал несчастный.

— Клянусь, хотя думаю, что клятва на кресте и Евангелии должна бы быть для вас успокоительнее всех других клятв, — снова возразил Могилевский и тем несколько успокоил своего подозрительного пленника.

Они продолжали путь. Могилевский следовал за царем шаг за шагом, стараясь не выпускать его из виду. Он был убежден, что Соломон думает о побеге. Но в то же время его удивляло следующее. С Могилевским было всего два казака, свита же Соломона состояла из четырехсот всадников. Что им стоило бросить беззащитного русского чиновника на произвол судьбы в этих ужасных дебрях, а казаков его связать или даже убить? Что стоило им покончить и с самим

Могилевским и потом пробраться врассыпную к пределам Турции? Но они этого не делали. А между тем снова, через пять-шесть верст, Соломон требовал от своего провожатого новой клятвы. Это было что-то несообразное, дикое и в то же время ребяческое.

Целых пять суток продолжались эти мытарства по невообразимым дебрям, и только 21 марта, к вечеру, кортеж прибыл в Карталинию и остановился близ Суража, в селении Бекам, в имении родственника Соломона, князя Кайхосро Абашидзе.

Старый князь Кайхосро, который также находился в свите царя и мужественно переносил все трудности похода, еще с дороги послал гонца в Бекам с известием о приближении злополучного владыки Имеретии, и потому царя и его свиту ожидал там богатый ужин, а для прочих спутников разведены были на воздухе костры, на которых и жарились десятки бараньих туш.

За ужином сын хозяина, красавец и великан князь Димитрий Абашидзе, самый дельный и самый храбрый в семье богатырей, особенно усердно угощал Могилевского. Хитрый имеретинец думал напоить своего незваного и нежеланного гостя допьяна, чтобы у него под носом выкрасть своего царя и родственника, но ловкий канцелярист и дипломат, или «курной Талейран», как называли русские в Тифлисе Могилевского, любившего купаться в Куре, в мутной «курной» воде, — был себе на уме и тотчас же проник в замыслы хитрого имеретинца.

— Где мне с вами, князь, тягаться на «кахетинском поле», — с лукавою улыбкой заметил он угощавшему его Димитрию Абашидзе, — вы почти вдвое выше меня и вдесятеро храбрее... Моя стихия — чернила, а не вино.

В разговор вмешался Соломон, почти ничего не евший.

— Отчего бы главнокомандующему не приехать сюда? — сказал он. — Ведь я ехал к нему пять дней: отчего бы ему не проехать ко мне пять часов? Только пять часов!

— Но он ехал навстречу вашему высочеству из самого Тифлиса, — возразил Могилевский.

— Да... Но мой титул и мои лета?

— Согласен, ваше высочество; но главнокомандующий являет собою здесь зерцало священной воли его императорского величества... А согласитесь, сей титул — титул царя царей: царь казанский, царь астраханский, царь сибирский, царь польский... При одном перечислении имен царств, земель и народов, подвластных государю императору, священный трепет проникает в душу...

Слова Могилевского действительно вселили трепет в души присутствовавших; но тем страшнее казалось им то, что ожидало их маленькую Имеретию.

Не присутствовал за ужином только князь Церетели. По поручению царя и по личному желанию, он в это время в особой комнате писал в Кутаис письмо к царице о том, что они благополучно прибыли в Бекам, и часто, сидя с пером в руке, задумывался, забывая, где он и что с ним. Думы его были в Кутаисе, и полны тоской были эти думы. Тоску эту увеличивала еще давно засевшая в его память и нервы какая-то плачущая мелодия, какой-то мотив, который он никак не мог припомнить. Эта мелодия грызла его душу всю дорогу, с того самого момента, когда, оставляя вместе с прочими Ханийское ущелье, он оглянулся назад в последний раз и в последний раз увидел исчезавшую за уступом ущелья белую чадру Дареджаны... Что это за проклятая мелодия? Где он ее слышал? Где она отравила собою его слух, его память?.. Это мелодия не имеретинская. Но она хватает его за душу, она заставляет слезы подступать к горлу. Это — мелодия плачущая, безнадежная, как безнадежно его собственное положение... Когда же и где она вползла ему в душу? Да, да... Он вспоминает, он вспомнил... Он слышал ее в горах Кавказа, и слышал, помнится, вскоре после обвала, недалеко от Дарьяльского ущелья, чуть ли не около Казбека... Да, именно там!.. Тогда в душе его распускался робкий цветок надежды... Обращение Дареджаны с ним изменилось... Он сердцем понял тогда зарождение ее чувства... И вдруг там же эта проклятая мелодия! Там она в первый раз прозвучала в его ушах и отравила его память... Теперь он все вспомнил. Эту заунывную, жалующуюся на что-то песню пел там русский солдатик... Да, это он... Теперь князь Симеон вспомнил даже слова этой проклятой мелодии... Да, да, в песне пелось:

Ох ты, матушка родима,
По что на горе родила?

Это было тогда, когда снежным обвалом унесло ротную собачку, и потерявший ее солдатик плакал о своей любимице и пел... О! Как к нему самому теперь шли слова этой песни! Да, «на горе», на потерю любимой девушки и своей родины — Имеретии родила его несчастная имеретинка... Зачем он не турок, не персиянин, а имеретинец, сын имеретинки, сын осужденной неизбежным роком Имеретии? Зачем мать-имеретинка родила его подданным этого злополучного царя

без царства, подданным отца той, которая была для него дороже жизни?.. Зачем, зачем! Бессмысленные вопросы! Они так же бессмысленны, как бессмысленны первые строфы песни, мелодия которой продолжала терзать его душу...

«Нет, не бессмысленны они, эти вопросы, — протестовал его рассудок, — это — вопросы отчаяния, крики изболевшей души...»

Церетели снова начинал писать, стараясь отогнать мучившую его мелодию. Он не хотел огорчить царицу, а тем более Дареджану печальными известиями, но при всем том письмо его выходило полным затаенной тоски.

Между тем к Тормасову уже скакал гонец с донесением, что Соломон прибыл в Бекам и здесь ночует. Наутро воротился гонец с приказом главнокомандующего — ехать с царем в селение Вариани, куда должен был прибыть и Тормасов. Соломон смутился, когда Могилевский сообщил ему приказ генерала.

— Я не могу ехать в Вариани, — сказал он, незаметно переглянувшись с великаном Димитрием Абашидзе.

— Почему же? — спросил Могилевский.

— Я боюсь, что с удалением от границ Имеретии и с выходом из лесов меня арестуют, — отвечал царь.

— А мое клятвенное обещание? — возразил Могилевский.

— Я ему верю... но вы не полновластны там, где воля Тормасова — закон... Я лучше перееду завтра в селение Дирби — оно на половине пути между Сурамом и Гори, и оттуда отправлю письмо с просьбою, чтобы главнокомандующий назначил мне место свидания. Я совершенно теперь в руках русских, и меня могут везти, куда захотят.

Для Могилевского в этих словах слышалось скорее отчаяние, чем искренность и покорность... Все-таки он согласился ехать с царем в Дирби, тем более что гонец, возвратившийся от Тормасова, тайно сообщил ему, что около Дирби, в лесу, поставлены, в скрытых местах, пять рот пехоты, эскадрон драгун и сотня казаков.

Еще из Бекама Соломон отправил к Тормасову митрополита Генателя и князя Сехнию Цулукидзе — они должны были просить генерала приехать в Дирби на свидание с царем. Но это был только отвод глаз. У Соломона был другой умысел. Недаром при разговоре с Могилевским он многозначительно переглянулся с Димитрием Абашидзе.

Замысел их, однако, был обнаружен в следующую же ночь.

Приехав в Дирби, Соломон объявил, что здесь он намерен выждать возвращения от Тормасова митрополита Генателя и князя Цулукидзе.

— А разве ваше высочество не располагаете ехать в Вариани? — спросил Могилевский.

— Конечно, я принужден буду туда ехать, — отвечал Соломон, — но я надеюсь, что главнокомандующий, из уважения к моему несчастью, окажет мне должную почесть и приедет в Дирби.

— А я полагаю, что ваше высочество сами должны искать своего счастья, а не требовать, чтобы главнокомандующий заискивал в вас, — с скрытою иронией заметил Могилевский.

— Да, вы правы! Сила всегда права, — с горечью проговорил Соломон, — но я во всяком случае должен дождаться здесь возврата митрополита Генателя и князя Цулукидзе.

К вечеру беспокойство царя перешло в тревогу, чего не мог не заметить такой психолог и физиономист, как Могилевский, хорошо изучивший психологию и физиономику в своей канцелярии. Соломон видел, что Могилевский о чем-то догадывается, и, желая отвести ему глаза, не в меру переложил в приготовленное для своего аргуса блюдо азиатской хитрости.

— Жители Дирби, говорят, разглашают, будто я намерен нынешней ночью бежать, — сказал он с напускным пренебрежением, — это совершенная клевета. Имея в Имеретии и на пути в Карталинию тысячи способов к побегу, я не исполнил этого, а тем более теперь, когда я предал себя во власть русских, конечно, не решусь бежать. Впрочем, если угодно, поставьте караул, — пренебрежительно закончил он.

Едва наступили сумерки, Соломон объявил, что ему нездоровится и он идет спать.

Настала ночь, но Соломон не ложился, напротив, он был одет по-дорожному и вооружен.

Вдруг к нему входит Димитрий Абашидзе с искаженным от злобы лицом.

— Мы погибли! — сказал он, задыхаясь. — Дирби окружено войсками... Этот шайтан открыл наше намерение, и оседланные для нашего бегства лошади арестованы им... Сорвалось!

Утром, чуть свет, Могилевский вошел к Соломону.

— Вы мой пленник! Вы сами сняли с меня мою клятву.

Соломон со стоном закрыл лицо руками.

XXVIII. ТРОН И МОНАСТЫРЬ

Прошло месяца полтора после описанного в предыдущей главе приключения с царем Соломоном.

Теперь уже более месяца, как он находился в Тифлисе под стражей. Дом, в который его заключили, день и ночь был охраняем особым караулом.

Наступил вечер 10 мая 1810 года. Ночи на юге, как и вечера, очень темны, и темнота эта наступает быстро, почти без сумерек.

В этот вечер, довольно поздно, из дома, в котором заключен был Соломон, кто-то спускался по ступенькам лестницы на двор. Судя по одежде, это был простой комнатный служитель, но в темноте лица его нельзя было рассмотреть.

— Кто идет? — окликнул его часовой, ходивший с ружьем около крыльца.

— Свой, — был ответ, — служитель.

— А что у тебя в руках?

— Кувшин для воды.

Часовой пропустил. У ворот, выходивших на улицу, стоял другой часовой. Вышедший из дому направился к воротам.

— Кто идет? — окликнул и этот часовой.

— Свой, служитель, — отвечал окликнутый.

— А куда идешь?

— К Куре.

— Зачем?

— Разве не видишь? За водой.

— Экое дурье эти черкесы! Раньше не подумал сходить за водой.... Народец! Ну, проходи, дурова голова!

«Дурова голова» очутилась на улице. Не прошла «дурова голова» и двадцати шагов, как к ней осторожно приблизился полицейский.

— Это ты, Мамия? — шепотом спросила «дурова голова».

— Я, ваш...

— Тс... — перебила «дурова голова», — зови меня Бежаном.

— Слушаю.

— Ну, что там — готово, мой верный Мамия?

— Все готово, ва... Бежан.

— А кто именно?

— Оба царевича — Ираклий и Давид, четверо князей Церетели, князья Эристовы.

— А князь Симеон Церетели с ними?

— С ними, ваш... Бежан.
— А где остановились?
— Сейчас за городом — в Саган-балке.
— По ахалцыхской дороге?
— Как раз около дороги, ваш...

Тихонько разговаривая, они все более и более удалялись от дома, в котором заключен был Соломон.

— О, если бы Тормасов знал, что готовится ему в Саган-балке! — с злорадством в голосе проговорил тот, кого часовой обозвал «дуровой головой».

Что же готовилось в Саган-балке? В эту самую минуту на обрыве, у расщелины, в которой находилось гнездо филина, сидела эта ночная птица на ловле летучих мышей и от времени до времени глухо стонала... Если бы главнокомандующий Кавказа и Закавказья генерал Тормасов мог хотя на один час превратиться в филина и очутиться на обрыве над Саган-балкой, то он увидел бы и услышал бы то, чего ни он, ни прозорливый его Талейран — Могилевский, никак не могли ожидать.

Он увидел бы в Саган-балке группу всадников, более двадцати человек, которые, сойдя с коней и усевшись на камни, о чем-то тихо и таинственно разговаривали. Все они были в черных бурках и солидно вооружены.

— Как же ты это все устроил, князь Симеон? — спросил кто-то, кого по голосу можно было тотчас признать за царевича Ираклия. — Ведь мы были в Кутаисе и ничего не знали.

— И хорошо, что не знали, — отвечал голос, сразу обличавший гортанный тенор князя Симеона Церетели. — Чем меньшему числу такое дело известно, тем безопаснее.

— Ты сам это устроил? — снова спросил царевич.

— Нет, при помощи верного Мамии... Разве я мог проникнуть даже во двор тюрьмы?

— Да, Мамия хороший нукер, совсем джигит; я помню его еще из Пятигорска и Кисловодска он туда сопровождал нас. Каждую ночь он берег нас, не отходил от палаток, — говорил царевич.

— Ну вот он все и сделал, — продолжал Симеон Церетели. — Когда царя увезли в Тифлис, Мамия притворился рьяным приверженцем русских и явился в Тифлис, где и поступил в полицейские. Ему дали пост почти около самой тюрьмы царя. Вот он все и уладил. Он как полицейский беспрепятственно входил во двор царского заключения и подговорил одного водоноса, также из имеретин, в кувшине —

у них огромные глиняные кувшины — пронести к царю платье слуги: в этом платье он теперь, с кувшином в руках, и должен выйти из своей тюрьмы будто бы за водой к Куре, а Мамия должен дождаться его на улице и привести сюда.

— Ну, уж теперь на свой пост Мамия не воротится, — весело заметил царевич Давид.

— Еще бы! С нами, конечно, поедет, — сказал Ираклий.

— А я не успел вас спросить, все ли благополучно в Кутаисе? — переменил разговор Симеон Церетели. — Как здоровье царицы и царевны?

— Мать и сестра здоровы, только Дареджана часто плачет, — отвечал Давид.

— Ну, теперь перестанет плакать благодаря молодцу Мамии, — заметил Ираклий. — Зато другой Мамия оказался баба-бабой.

— Какой другой Мамия, — спросил князь Эристов, — Элизбар?

— А Мамия, владетель Гурии, он совсем переходит в русское подданство, хочет даже строить казармы для русских солдат... Такая баба!

В это время в темноте послышался шорох приближавшихся шагов. Все притихли. Мало ли кто мог набрести на них ночью! А если это облава со стороны русских? Если все открыто и за ними тайно выслана погоня?

Но в мертвой тишине вдруг явственно послышался крик перепела.

«Хавав-хавав-хавав», — отвечал ему крик самки. — Это был условный сигнал.

— Они! Они! — радостно проговорил младший сын Соломона.

Действительно, это были бежавший из заключения последний царь Имеретии и его верный слуга Мамия.

Соломон бросился обнимать своих спасителей. Все обнимали и благодарили Мамию.

— На коней! В путь, друзья! — воскликнул Соломон задыхающимся от счастья голосом.

Все вскочили на коней. Ввиду быстрого и безостановочного бегства каждый всадник имел две лошади, одну запасную, свежую, чтобы на всем бегу облегчить усталую, перескакивая на свежую, что имеретинцы, врожденные наездники, делали необыкновенно быстро, на всем скаку, подобно птице перелетая с лошади на лошадь.

Беглецы скоро скрылись во мраке. Если бы кто в это время увидел их, драпированных черными бурками и подобно вихрю несущихся в темноте, то принял бы за демонов.

Скоро от общей группы беглецов отделились три всадника. Это был князь Симеон Церетели с двумя джигитами. Он направлялся в Кутаис, чтобы известить царицу и Дареджану, что Соломон спасен.

— Я не знаю и не помню, когда полюбила вас; но это было давно. Вероятно, я любила вас еще маленькою, когда, при встрече с вами, бросалась вам на шею и говорила вам: «Моя милая бородатая няня!» Но я тогда не сознавала еще, что люблю вас не как няню. А об истинном моем чувстве к вам я догадалась только в Кисловодске, в день нашего отъезда оттуда. В ту ночь я видела сон и вас в этом сне, — как — это все равно для вас: тут только я поняла, что люблю вас. Если помните, то Геоухер еще смеялась тогда надо мной, что я плакала, будто испугалась во сне, а когда Геоухер спросила, что же я видела, я сказала, что забыла. А я совсем не забыла; мне только никому не хотелось сказать, что именно я видела, мне было и жаль рассказать это кому-нибудь, и совестно... Слишком дорого было для меня то, что я видела. Оттого, когда мама и вы засмеялись над тем, что я плакала от сна, который забыла, мне стало еще совестнее, и я снова расплакалась как дурочка. Но с того самого утра что-то такое во мне произошло, что я не могла уже относиться к вам по-прежнему, по-детски, и я стала избегать вас, хотя вы стали мне еще дороже — дороже всего на свете, хоть я вижу, что вы этому не верите... Ну, Бог с вами! А я все-таки доскажу вам до конца историю моего сердца. Я не хочу, чтобы вы страдали, не хочу, чтобы вы уехали, не узнав ничего о моих страданиях... Как святыню, я заключила в своей душе мое чувство к вам. Поверите ли — с того самого утра я только и жила мыслью о вас; ваш голос, который до того дня звучал для меня, как все другие знакомые голоса, с того утра заставлял биться мое сердце — он стал музыкой для меня. В толпе сопровождавших нас джигитов, нукеров мои глаза искали только вас... Это была не любовь, а поклонение... А вы все не верите — о Боже!

Так говорила Дареджана, сидя в своем кутаисском саду, на берегу Риона, под тенью густолистой чинары. В стороне от нее сидел князь Симеон Церетели и угрюмо смотрел

куда-то в неопределенное пространство. Лицо его передергивалось судорогой, а рука нервно сжимала рукоятку кинжала.

— Я верю вам, — глухо произнес он.

— Да! Да! — страстно продолжала Дареджана. — Верьте мне — будет легче... Знаете ли, — продолжала она, стыдливо потупив глаза, — когда в Кисловодске вы сказали, что вы проводите Геоухер до Тифлиса, а может, и в самый Карабах, что это — нравственный долг мужчины, охранять безопасность одинокой девушки, я ощутила боль в моем сердце... Я любила Геоухер; но тут в моей душе проснулись нехорошее чувство по отношению к ней и — тревога... такая тревога, как будто я теряла вас... Я, казалось, возненавидела Геоухер... Это было такое скверное чувство... Видите, я говорю вам все, все, точно на исповеди... этого я никому никогда в жизни не сказала бы... И с той минуты я ревниво наблюдала за вами, ловила каждый взгляд, брошенный вами на Геоухер...

Князь Симеон, слушая ее, вспоминал, что и он точно так же ревниво следил тогда за Дареджаной, особенно с того момента, когда в их караване появился этот белокурый русский офицер с своими красными цветами.

— Мне было стыдно за себя, досадно, противно, но я не могла избавиться от этого гадкого чувства, — продолжала между тем девушка. — Это чувство не покидало меня все время, как мы ехали по Военно-грузинской дороге, пока в нашем караване оставалась Геоухер. Во весь наш переезд через хребет я была счастлива только несколько минут. Это было тогда, когда мы остановились у подножия Казбека. Когда наш караван, после того страшного обвала, приближался к Казбеку, я, глупая девчонка, загадала, если на вершине этой горы не будет облаков, если Казбек покажется нам во всей своей красе и величии, это значит, что вы меня любите... И Казбек как бы нарочно разогнал кучившиеся у его вершины облака и весь глянул на меня своими вечными снегами, как бы говоря мне: смотри, он любит тебя. И я поверила, но не надолго: Геоухер все еще была с нами... Видите, я все говорю вам... Когда Геоухер в Мцхете оставила наш караван и отправилась дальше с своим конвоем, я свободно вздохнула... Я была тогда хуже, чем обо мне могли думать; я, гадкая, показывала вид, что с горем расстаюсь с Геоухер, между тем как на душе у меня была радость. «Она больше не будет торчать у него на глазах», — думала я с торжеством. Но когда и после того я видела вас иногда

задумчивым, мою душу грызло подозрение: «Он думает о Геоухер, ее вспоминает, о ней грустит...» Даже в те самые счастливые часы в моей жизни, когда мы охотились на медведя и кабана, мне все казалось, что вы о Геоухер думаете... Я нарочно и заговорила о ней...

«А мне казалось тогда, что она потому заговорила о Геоухер, что у нее в мыслях был тот белокурый русский офицерик», — думал в свою очередь князь Церетели.

— Но когда на вас бросился медведь, я думала, что умру с горя... Лучше бы он меня растерзал... Потом эта кровь у вас на лице — о! это были ужасные минуты, но затем — и самые блаженные... Я сама отирала кровь с мужественного чела моего героя и спасителя... А тут сейчас — этот Касим с известием, что русские убили Ибраим-хана, одного из его сыновей и дочь... Которую? Геоухер? Лейлу? Мне показалось, что вы испугались за Геоухер... Потом я убедилась, что вы меня любите, одну меня... О, сладкое, блаженное сознание, незабвенные часы, дни и годы моей несчастной жизни!.. Память о них я унесу с собою в монастырскую келью... Да! — как бы спохватились девушка. — А там, в Вард-цихе, когда вы решились пробраться в Петербург и обо всем сказать русскому императору, обо всех обидах, которые терпит мой дорогой отец, когда он сказал, что у него не найдется достойной награды, чтобы заплатить вам за ваш подвиг, вы взглянули на меня... Я поняла ваш взгляд и затрепетала от счастья.

Дареджана смахнула слезу, повисшую на реснице, она оплакивала память этих дорогих мгновений.

— Но затем эти горькие, горькие дни, — продолжала она, силою воли подавляя рыдания, — когда отца схватили, как арестанта, силою вырвали из его царства, лишили престола, разлучили с семьей, — о! что должна была чувствовать я, царевна Имеретии, его дочь, его любимое дитя! Что могла я сделать, чтобы спасти его, воротить ему семью, родину, престол? Я, слабая девушка, имела в себе одну силу — любовь и веру... Я поверглась перед Богородицей, я говорила Ей, неудержимо рыдая: «Ты, Превысшая от человек, ты узнала когда-то скорбь матери, когда видела твоего возлюбленного и божественного Сына на кресте! Спаси моего отца, Всеблагая, и я посвящу мою жизнь на служение тебе...»

Дареджана встала. Глаза ее были сухи и горели огнем вдохновения. Она подошла к Церетели и положила руки к нему на плечи.

— О, мой дорогой, мой любимый, моя гордость! — страстно заговорила она. — Теперь вы принесли известие, что мой отец спасен. Благодарю вас, мое сокровище, моя любовь. А теперь я должна исполнить обет, данный Богородице: за трон отца я беру себе монастырскую келью...

— Девочка! Ты там с своею бородатой няней? — послышался голос царицы.

XXIX. «СЛЕПЦЫ! — ОНИ НЕ ЗНАЛИ РОССИИ»

Прошла неделя после бегства Соломона, а известий от него пока еще не доходило до Кутаиса. Предполагалось только, что он теперь в Ахалцыхе, у трапезондского сераскира Шериф-паши, заступившего место Селим-паши.

— Благополучно ли он доехал туда? Здоров ли после всех перенесенных им потрясений?

Так, сидя у себя на балконе, тихонько разговаривали царица Мария и Дареджана.

— А вон, мама, идут митрополиты Софроний и Генатели, — проговорила последняя, приглядываясь к двум черным тучным фигурам, двигавшимся к наскоро ремонтированному дворцу Соломона.

— Я не разберу, — заметила царица, — у тебя глаза молоденькие, зоркие.

— Да, мама, они, кажется, сюда идут, к нам.

— Зачем бы им? Нет ли вестей от отца?

Митрополиты действительно шли ко дворцу. Поравнявшись с балконом, они поклонились.

— А мы к вам, матушка царица, — сказал Софроний, многозначительно улыбаясь.

— Милости просим, святые отцы, я всегда вам рада, — отвечала Мария.

Она встала и пошла им навстречу во внутренние покои. Святые отцы вошли.

— Мир и благословение дому цареву! — возгласили оба святителя, крестясь и кланяясь. — Здравия и долгоденствия царице!

Мария и Дареджана подошли под благословение.

— Бог милости прислал, — сказал Софроний, крестя наклоненную головку Дареджаны. — Его величество Соломон, Божией милостью царь Имеретии, здрав и невредим и обретается ныне в благополучном месте.

Обрадованные царица и Дареджана не знали, что сказать. Они только крестились.

— Из Ахалцыха пишет царь, — пояснил Генатели.

— Слава Тебе, Создателю! — радостно крестилась царица. — Садитесь, святые отцы.

— Кому пишет батюшка? — спросила Дареджана, вся охваченная волнением и счастьем, насколько она могла быть счастлива вследствие принятого ею сурового решения.

— Нам обоим пишет царь, — отвечал Софроний, садясь и отдуваясь от жары.

Во второй половине мая дни в Кутаисе стояли знойные, несмотря на умеряющую зной температуру соседних гор и лесов.

— Пишет царь, — сказал Генатели, — что, проведав о намерении Тормасова отправить его внутрь России на вечное там пребывание и будучи не в силах расставаться с подвластным ему народом, он тайно бежал из Тифлиса, из своего заточения.

— И вот еще что он пишет, — добавил Софроний, вынимая из-за пазухи письмо. — «Всякой поднебесной славе я предпочел быть с вами, радоваться, жить и умереть, — читал владыка. — Прошу, сообразно вашей ко мне отеческой любви, оказать в моем деле участие и постараться, чтобы предоставили мне мою землю и тем обязали меня и мое царство пролить кровь за верность им...»

— То есть русским, — пояснил Генатели, — но это так, на всякий случай, щель для сквозного ветра, если наше не выгорит, — лукаво добавил он. — А вот здесь уже не щель, а целая дверь настежь.

И Генатели, сняв клобук, вынул из-за подкладки его свернутую бумагу.

— Вот для этих ласточек дверь открыта настежь, — сказал он.

— Что же это такое? — спросила царица.

— Воззвания царя к народу имеретинскому. Эти ласточки летают теперь по всей стране и предвещают Имеретии весну, — сказал лукавый митрополит. — Вот что царь пишет: «Я ожидаю от вашей верности ко мне, что положите за меня ваши головы, да и родственные вам дома и соседей ваших ободрите, чтобы не погибнуть вам, подобно Грузии, жители которой, под властью русских, духовно едят мясо в великую пятницу, а телесно в горьких мучениях вздыхают о смерти».

— Правда, правда, — качала головой царица, — плачутся там, да поздно спохватились... Простите, святой отец, — я вас перебила.

— Ничего, успею дочитать, — сказал Генатели. — Дальше царь пишет о грузинах: «Сперва и их обманули клятвою и золотом, а ныне грузины не рады ни богатству, ни домам своим: теперь с бедных даже за каждого мертвеца по три рубля взыскивают, а бесчестие домов и семей заставляет их горько вздыхать и стонать, и дома их день ото дня приходят в унижение. Когда русские успеют поработить и вас, тогда ваше положение будет еще горше и труднее, и те, которые сегодня сулят вам золото, завтра лишат вас насущного; сегодня с честью обходятся...»

— С честью! — не вытерпела Дареджана. — Царя запирали, как арестанта!

И Генатели, и Софроний с любовной улыбкой посмотрели на девушку.

— Так, так, дочь моя, — сказал последний, а Генатели продолжал читать: — «...Сегодня с честью обходятся с вами, а завтра, знайте, они уронят достоинство и честь ваших семей — качества, коими они отличаются противу всех других земель»[1].

— Что ж, святой отец, народ сочувственно принимает эти воззвания? — спросила царица.

— О! Это искры огня, брошенные в пороховой погреб! — с дикой энергией поспешил ответить фанатик Софроний. — Имеретия — это пороховой погреб... В несколько дней восстала вся страна. Руководят восстанием все Абашидзе с Димитрием Абашидзе во главе, князь Симеон Церетели...

При последнем имени Дареджана вздрогнула, и слезы показались у нее на глазах. Она вспомнила свое последнее объяснение с ним, его отчаяние и свои страдания. Когда она на прощание его поцеловала, он сказал: «Этот поцелуй я возвращу смерти — я иду в ее объятия...» Но девушка силою воли подавила свое волнение, свою боязнь за любимого человека — она должна была остаться верной своему суровому обету для спасения родины... Другие жертвуют для нее жизнью, она же пожертвовала только личным счастьем... только!.. Сердце ее готово было разорваться.

— Полковник Симонович спрашивал нас в совете управления: чего ищет Имеретия? — продолжал Софроний. — Мы отвечали ему: «Зачем вы взяли у нас царя? Вы лучше бы сделали, если бы умертвили его...»

---

[1] Документ исторический (Н. Дубровин: Истор. войн и влад. рус. на Кавказе. V, С. 323 — 324).

Царица при этом испуганно перекрестилась.

— Да! Лучше бы умертвили, — продолжал фанатик, — тогда бы у нас не было царя, которому мы и вся страна присягали. Но теперь, когда наш повелитель, без нашего согласия и силою от нас удаленный, опять пришел...

— Разве он пришел? — встрепенулась Дареджана.

— Да, пришел... Он уже вступил в Имеретию со стороны Ахалцыха, — отвечал Софроний. — Мы и говорим Симоновичу: «Когда он опять пришел и требует нашей помощи, мы священным себе вменяем долгом оказать ему все опыты нашего усердия и не перестанем до тех пор проливать кровь, пока не будет Соломон по-прежнему восстановлен на царство, и что другого царя мы никак иметь не согласны».

Слепцы! — они не знали России... Они воображали, что имеют дело с чем-то, похожим на Абхазию, Карталинию, Мингрелию — тоже царства! Россия представлялась им в лице Симоновича, Лисаневича, Могилевского, Тормасова — несчастные! — и они шли на верную смерть и увлекали за собой доверчивых дикарей... И сколько невинной крови пролито было из-за их слепоты, сколько слез!

— И уже началась война? — спросила царица.

— Началась, — отвечал Софроний.

— В каких местах?

— Около Аргуст, где засело в лесах ополчение князей Абашидзе.

«А где-то теперь моя бородатая няня?» — с горькой усмешкой подумала Дареджана.

Он был там, где пролилась первая кровь и ее соотечественников, и русских. Князь Симеон Церетели, собрав свое ополчение, примкнул с ним к соединенному ополчению братьев Абашидзе у селения Аргуст. На них шли гренадеры под начальством майора Колотузова.

— Он идет на верную смерть, — прошептал Церетели, вместе с Ростомом Абашидзе прячась за деревьями.

— Кто? — спросил Абашидзе.

— Майор Колотузов — вон с саблей впереди.

— А ты его разве знаешь?

— Знаю... Еще в Пятигорске он все глаза проглядел на царевну Дареджану... Вот же тебе от нее поцелуй — на!

Грянул выстрел, Колотузов схватился за грудь и грохнулся на камень.

— Братцы! Наших бьют! — закричали гренадеры, пораженные неожиданностью.

— Ребята! В штыки! Ура! — раздалась команда капитана Титова заступившего место убитого Колотузова. — За мной!

— Ур-ра! — прогремело по рядам, и гренадеры пошли в штыки.

Завязался отчаянный бой. Выстрелы трещали из-за каждого дерева. Слышались крики и стоны раненых.

Схватка продолжалась не долго. Имеретинцы не выдержали штыкового натиска и отступили, оставив на месте около ста трупов. Среди убитых найдены были и три великана-красавца: это были три брата Абашидзе, сыновья старого князя Кайхосро Абашидзе. В числе убитых был и Ростом Абашидзе, за несколько минут перед тем разговаривавший с своим другом князем Симеоном Церетели. Последний, как и князь Димитрий Абашидзе, остались в живых и вывели из боя свои ополчения, чтобы подкрепить собою отряд самого царя.

Между тем русские войска с каждым днем наводняли Имеретию все более и более. Один значительный отряд их настиг ополчение князей Абашидзе и Симеона Церетели недалеко от крепости Чхери. Имеретинцы решились удержать свою позицию.

— Умрем на месте, — мрачно сказал князь Симеон, вспоминая последние слова, сказанные им Дареджане: «Ваш поцелуй я возвращу смерти — я иду в ее объятия...»

— Нет, я еще не хочу умирать, — с отчаянной энергией отвечал Димитрий Абашидзе, — я еще должен отмстить за трех братьев, тела которых теперь, вероятно, клюют орлы и вороны.

Они находились во главе семитысячного ополчения, которое и расположили за рекою Чхерители, на возвышенностях, прикрыв его завалами и засеками, и таким образом прикрыли собою путь к Кутаису. Русским приходилось брать дорогу с бою.

Двинулись они в таком порядке: пятьдесят егерей и сто человек рабочих Кабардинского мушкетерского полка, с трехфунтовым единорогом, шли в авангарде, имея по обеим сторонам фланкеров — две роты егерей и сотню казаков Линейного казачьего полка. За авангардом шел батальон Кабардинского полка, а за ним вьюки, под прикрытием двухсот человек. Рота егерей и остальные нижние чины Кабардинского полка составляли арьергард.

Обстреливаемые с высот неприятелем, русские переправились через Чхерители вброд. Между тем фланкеры, прикрываясь то кустарниками, то возвышениями, незаметно подползли под самые засеки. Минута была решительная.

— Ур-ра! — точно вылетел из-под земли этот электризующий русского солдата крик, и выросшие из-за прикрытий молодцы бросились в штыки.

Между тем единорог брызнул картечью в самую гущину неприятельского скопища, и началась свалка,

В числе первых упал красавец великан Абашидзе, сраженный картечью.

— Умираю, — успел он еще сказать, — выведи остальных из бою, друг Симеон, и скажи царю...

Он не окончил и опрокинулся навзничь. Что хотел он, умирая, сказать своему царю, осталось неизвестным.

Где же был и что делал в это время царь без царства?

Он находился в эти отчаянные дни, когда крепчайшие столпы его царства валились, как подгнившие подпорки, в Сазано, в имении царицы, оберегаемый отрядом турок и имеретинским ополчением. Он ожидал прихода ополчений князей Абашидзе и князей Церетели, чтобы двинуться в свою столицу, как лазутчики его принесли ему письмо Тормасова к Симоновичу, взятое у убитого ими грузина шпиона.

Ему подали это письмо в тот самый момент, когда он отправлял гонца в Кутаис с успокоительным известием, что он скоро с торжеством вступит в свою столицу, чтобы обнять дорогую супругу и нежно любимую дочь. Руки его дрогнули, и лицо исказилось яростью с первых же прочитанных строк письма главнокомандующего.

— Да, да, — бормотал он, — они твердо решились погубить меня... Я это знал... Они меня обманывали... Тормасов прямо пишет: «...или поймать, или убить Соломона...» Прямо-таки убить... Вот, вот тут — убить как собаку! — стучал он пальцами по письму, показывая его старику Кайхосро Абашидзе. — «Если же только выгнать его из границ, — продолжал он читать, — то дело будет не только не кончено, но может быть еще вреднее для нас...» А! Каково!.. Убить!.. Даже назначает премию за мою голову... Две тысячи червонцев... А! Каково!.. Только две тысячи!.. За голову царя... И две тысячи!.. Мало, очень мало... Ах, да... нет!.. «...и обещать награждение чином и недвижимым имением...» А!.. Это моему убийце... Чин.

Он задыхался. Опасаясь, чтобы с ним не приключился удар, царевич Ираклий поспешил подать ему воды.

— Выпейте, батюшка, — говорил он, — успокойтесь... Бог разрушит козни наших врагов.

— Бог, который извел царя Имеретии из темницы, снова возведет его и на престол, — наставительно произнес старый Кайхосро.

Соломон несколько успокоился и снова взялся за письмо.

— Да, да... «Необходимо, — пишет, — принудить премудрого и хитрого покориться сильнейшим или против хитрости употребить такую же хитрость...» Да, просто убить — не велика хитрость, да еще за двадцать тысяч рублей... Да, отлично... «Хитрость, — читал он, — какого бы рода она ни была, так как против извивающейся с улыбкою злости...» Я и улыбаться-то давно разучился... «...Против извивающейся с улыбкою злости ничего не должно быть священного, и коварству умышленному всегда позволительно мерить тою же мерою, особливо для спасения человечества, которое будет страдать впоследствии, если улыбка в коварном человеке не изгладится смертным сном...»

Он схватился за голову... «Улыбка... Смертный сон... Да я действительно, кажется, во сне все это вижу...»

Он снова отпил воды. «Надо, однако, дочитать». Он тяжело вздохнул, словно поднимал в гору непомерную ношу.

— Что-то он еще скажет в заключение?.. «Ваше превосходительство теперь знаете, в чем состоит дело. Итак, действуйте неослабно, не жалея никаких орудий к уничтожению зла: железо, золото, силу и всякие обороты употребляйте на окончание дела!..»[1]. Железо, золото. И это христиане!.. Зачем же Ты, Господи, взошел на крест! Для кого!..

XXX. ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ИМЕРЕТИИ

Князь Симеон Церетели с остатками своего ополчения настиг Соломона уже недалеко от Ханийского ущелья, куда злополучный царь, теснимый со всех сторон русскими отрядами, направил свой бег, надеясь на неприступность этой позиции.

— А где князь Димитрий Абашидзе? — спросил Соломон, увидев князя Симеона во главе небольшого отряда.

— Князь Димитрий убит.

И Соломон, и князь Кайхосро Абашидзе, отец убитого, безмолвно перекрестились.

[1] Документальные выражения (см. у Дубровина, V, С. 333).

— А другой мой сын, Ростом? — спросил этот последний.

— Убит.

— Третий мой сын, Георгий?

— Убит.

— А четвертый — Симеон?

— Убит!

Несчастный старик поднял глаза к небу.

— Дети мои! Гордость моя!.. Что же я без вас?.. О, Господи!

Но медлить было некогда. Надо было укреплять ущелье. Путь к нему пролегал над ужасающею бездной и был до того узок, что на нем двое едва могли разминуться. Его пересекали страшные обрывы, куда, по выражению официального документа, можно было спускаться только «с трепетом». Над этой стремниной нависли горные глыбы, поросшие густым лесом, откуда можно было сбрасывать на нападающего груды камней и раздавить его.

В этом-то адском месте и засели последние защитники своего царя.

Но едва они успели укрепиться, как показались русские. Их вел Симонович. Изучив страшное место в первое свое пребывание в этом ущелье, Симонович разделил свой отряд на три части; две из них он послал в обход, по горам, чтобы зайти в оба фланга неприятеля, третью двинул прямо по ущелью.

Здесь-то, именно в самом горле ущелья, и засел князь Симеон Церетели, прямо искавший смерти, но решившийся продать свою теперь постылую для него без Дареджаны жизнь возможно дорогою ценой. Ему в расстроенном воображении казалось, что милый образ любимой девушки витает над страшным ущельем — его могилой. В ушах его еще звучали ее слова: «О, мой дорогой, мой любимый, моя гордость!» Ее девственный поцелуй он обещал возвратить только смерти — и возвратит.

Впереди своего ополчения он засел за огромный камень, заграждавший вход в самое горло ущелья. За ним, по линии, залегли другие его сподвижники с винтовками и кинжалами. Они должны были передавать ему заряженные винтовки, по мере того как он будет разряжать их в наступающих на него русских, подобно тому, как в деревнях, на пожаре, передают наполненные водою ведра от реки до самого пожарища.

Едва голова наступающей колонны показалась в ущелье, как последовал выстрел, и фланговый упал, успев только крикнуть: «Братцы! В штыки!»

— Первый! — с бешеною злобой прохрипел Церетели.

С криком «ура!» через труп товарища перескочил следующий и, пораженный пулею, опрокинулся в пропасть.

— Второй! — с тою же злобною радостью прохрипел Церетели.

Но смерть первых не остановила остальных. Снова перескочив через тело товарища, бросился вперед следующий, и также пал.

— Третий! — продолжал свой ужасный счет Церетели.

Но вдруг в дальнем конце ущелья послышались крики.

— Обошли, обошли, спасайте царя!

Руки у Церетели от неожиданности дрогнули, он промахнулся на четвертом выстреле — и в тот же момент штык намеченной им четвертой жертвы пронзил его насквозь.

— О, Дареджана! — пролепетал он коснеющим языком и в предсмертных конвульсиях свалился в пропасть.

Паника охватила все ополчение, обойденное с обоих флангов. Турки, бывшие с Соломоном, первые обратились в бегство, но, сжатые в узком ущелье, почти все переколоты были штыками. Иные с криком «Алла!» бросались со стремнин, думая спастись этим путем, но и там гибли, разбиваясь о камни и об острые зубья скал.

Имеретинцы, охваченные ужасом, помнили одно, что надо спасать царя, и слились в сплошную стену, чтобы прикрыть этою живою стеной Соломона. Их кололи штыками, они падали, заграждая телами путь, а на их место вставали другие и также падали, делая из своих трупов бруствер, гать, чтобы через нее не могли пробиться русские и захватить их царственного вождя.

— Последний день Имеретии! — ломал руки старый Кайхосро Абашидзе.

— Нет, не последний! — твердил упрямый фанатик, царь без царства, посылая в бой остатки ополчения. — Не последний... С запада взойдет солнце Имеретии...

Он все еще надеялся на Наполеона и на обещания поляка-иезуита.

Но его отчаянные защитники продолжали падать, запружая телами ущелье Хани и кровью своею дополняя бурливший внизу стремнины горный ручей.

Наконец безумный фанатик сам увидел, что около него осталась небольшая горсть князей и что последние отчаянные попытки его и надежды разбиты в прах.

— О, Наполеон! — стиснув зубы, простонал он, и, поворотив коня, ускакал по ахалцыхской дороге с оставшимися

в целости князьями. Больше он уже не видал своей Имеретии, скитаясь по чужбине.

Больше уже и Имеретия не видала у себя царей...

Что же сталось с другими лицами этой печальной истории: с царицей Марией, лишенной мужа, с Дареджаной, потерявшей отца и человека, которого она любила, с Геоухер? — спросит, может быть, читатель, если эти лица заинтересовали его более, чем трагический конец царства Имеретинского.

Думаю, что едва ли это будет занимательно. Впрочем, я полагаю, что с некоторыми лицами, вплетенными мною в ткань настоящего повествования, мы еще встретимся, но только в другое время и в другом месте.

СОДЕРЖАНИЕ

ВСПЫШКИ ПОНИЗОВОЙ ВОЛЬНИЦЫ В 1812 г.
Историческая монография
5

БЕГЛЫЙ КОРОЛЬ
Историческая повесть
41

НОВЫЕ ЛЮДИ
Повесть из жизни шестидесятых годов
189

ЦАРЬ БЕЗ ЦАРСТВА
Роман из истории последних дней царства Имеретинского
389

ДАНИИЛ ЛУКИЧ МОРДОВЦЕВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В 14 ТОМАХ

ТОМ 8

Редактор
И. Шурыгина
Художественный редактор
И. Сайко
Технический редактор
Н. Привезенцева
Корректоры
В. Антонова, М. Александрова, В. Рейбекель

ЛР № 030129 от 02.10.91 г.
Подписано в печать 27.10.95.
Уч.-изд. л. 35,73.
Цена 19 800 р.

Издательский центр «ТЕРРА». 113184, Москва, Озерковский пер., 1/18, а/я 27.

Оригинал-макет подготовлен ТОО «Макет». 141700, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Первомайская, 21.

Scan Kreyder - 17.11.2018 - STERLITAMAK

Д.Л. МОРДОВЦЕВ